ИХИЛ ШРАЙБМАН

Дас...

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Новый сборник еврейского писателя И. Шрайбмана интересен и разнообразен по составу. Роман «Далее…» — большое автобиографическое произведение, действие которого происходит в досоветской Бессарабии. Рассказы и очерки — и о прошлом, и о наших современниках. В миниатюрах автор касается темы искусства, литературы, писательского мастерства.

- Далее...
  -
  - ДАЛЕЕ…
    - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
    - ЧАСТЬ ВТОРАЯ
    - ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
    - ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
    - ЧАСТЬ ПЯТАЯ
    - ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
    - ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
  - СТАРЫЕ И НОВЫЕ РАШКОВСКИЕ ИСТОРИИ
    - ОДНА МАЛЕНЬКАЯ РАШКОВСКАЯ УЛОЧКА
    - КАНТОР И ЕГО ПЕВЧИЕ
    - В ДЕНЬ, КОГДА РАШКОВ СТАЛ СОВЕТСКИМ
    - БОЖЬЯ КАРА
    - БАСЯ, ДОЧЬ ИСААКА, И ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
  - РАЗНЫЕ РАССКАЗЫ И НОВЕЛЛЫ
    - В ТО ЛЕТО, КОГДА МНЕ БЫЛО ЕЩЕ ТОЛЬКО СОРОК ВОСЕМЬ
    - УЗБЕКИСТАН — 42
    - ДВЕ СВАДЬБЫ
    - ПАРЕНЬ ИЗ МЛАВЫ
    - ГОРЕСТИ И РАДОСТИ ДЯДИ ЮЗИСА
    - ПЕСНЬ СТАРИКА
    - СВЯТОЙ БАШМАЧНИК
    - РАССКАЗ О СМЕХЕ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА
    - ДОКТОР ЯМПОЛЬСКИЙ
    - ДАВИД, КАПРИЗНЫЙ И ВСПЫЛЬЧИВЫЙ
    - ПОДРОБНОСТИ О СОНЕ
    - ДВА СЮЖЕТА ДЛЯ РАССКАЗОВ
    - ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ
    - АНИКУЦА
    - ТРУДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
    - ДЕВУШКА ИЗ ВИЛЬНЮСА И АВТОГРАФ

- ЛЕВА
- ЛЮБОВЬ
- ЕВРЕЙ В ДЕРЕВНЕ
- ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ
- ЗДЕСЬ
- КРУГИ И КРУЖОЧКИ
- ДВА ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЯ

○ МАЛЕНЬКИЕ НОВЕЛЛЫ, ДЕТСКИЕ МОТИВЫ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ МИНИАТЮРЫ

- МАЛЕНЬКИЕ НОВЕЛЛЫ
  - СТАРАЯ ВЛЮБЛЕННОСТЬ
  - ЧУДЕСА
  - КРАСОТА
  - ЗАУПОКОЙНАЯ МОЛИТВА
  - ОЧКИ
  - ЯМОЧКИ НА ЩЕКАХ
  - НА БЕРЕГУ МОРЯ
  - ПУСТЯК — УКУС ПЧЕЛЫ
  - СТРАХ БОЖИЙ
  - ЖИЗНЬ
  - СНЕГ
  - ТОПОЛЬ У АПТЕКИ
  - МОЛОДЫЕ ВЛЮБЛЕННЫЕ
  - РАННЯЯ ВЕСНА
  - ДЛИННЫЙ БЕГУЩИЙ ПОЕЗД ПОСРЕДИ МЕСТЕЧКА
  - СОЛНЕЧНЫЕ ГОРКИ
  - ДВОЕ НА МОГИЛАХ ПРЕДКОВ
  - МОРЕ
  - СТАРАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА
  - ГОЛЫЕ ВЕТКИ, ЗАДРАННЫЕ КВЕРХУ
- ДЕТСКИЕ МОТИВЫ
  - САМАЯ КРАСИВАЯ ТУФЕЛЬКА НА СВЕТЕ
  - НОВЫЕ ЗАБОТЫ
  - ЗИНОЧКА-СЛЕЗИНОЧКА
  - ПЕТУХ
  - ВОВА
  - МОИ МАЛЕНЬКИЕ КОРАБЛИКИ
  - ВЕЛОСИПЕД
  - ЛЕДЕНЕЦ
- ЛИТЕРАТУРНЫЕ МИНИАТЮРЫ
  - ВООБРАЖЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ
  - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЧИ И ПОСТУПКИ

- СОВЕТЫ
- УА… УА…
- ОДНИМ СЕРДЦЕМ
- ЯЗЫК И КРАСИВОСТИ
- МАМИНО СЛОВО
- МОЙ ПЕРВЫЙ КРИТИК
- СЛИШКОМ МАЛО И СЛИШКОМ МНОГО
- ЧИТАТЕЛИ
- РУКИ И НОГИ
- СОЧНОСТЬ И ЦВЕТ
- ТРИ ЗВЕЗДОЧКИ И ЗАНАВЕС
- КАК СКАЗАЛ БЫ ОМАР ХАЙЯМ
- КРУПИЦА ВЫСОКОПАРНОСТИ
- ДИДАКТИКА
- СТИХИЯ
- МЕДИТАЦИЯ О МЕДИТАЦИИ
- РУЖЬЕ НА СТЕНЕ
- СТРОЧКА ПРОЗЫ
- ПЕРЕВОД
- ТАК ЭТО ПРОИСХОДИТ СО МНОЙ
- СКОЛЬКО ПИСАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЖИТЬ
- ИНТЕРВЬЮ
- ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20

- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41

Далее...

ИХИЛ ШРАЙБМАН

Дикс...

РОМАН,

РАССКАЗЫ,

МИНИАТЮРЫ

Перевод с еврейского

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1988

ДАЛЕЕ…
Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Камера в тюрьме, где я сидел, была несуразно высокой комнатой, холодной и облупленной, и носила, помню, номер сорок два.

Маленькое окошечко, крест-накрест зарешеченное, на самом-самом верху, прямо у потолка. Чтобы что-то увидеть через пару запыленно-грязных стеклышек, надо было встать кому-нибудь на плечи, вытянуться, повиснуть, держась обеими руками за прутья решетки, потом подтянуться, уцепиться подбородком за каменный подоконник, и тогда, после всего, — голый угол крыши с двумя или тремя узкими железными дымоходами, внизу — кусочек тюремного дворика среди четырех стен с бессчетным количеством таких же крест-накрест зарешеченных окошечек, сверху — горсть неба, иногда пепельно-хмурого, низко висящего над головой, иногда, наоборот, как назло, пронизанного синим светом, подзолоченного, открыто-прозрачного, как стекло, далекого-далекого, глубокого-глубокого, уходящего куда-то в бесконечность.

У стены камеры — во всю длину стены, от одного конца до другого — стоял такой деревянный топчан, нары. Там мы все, двадцать восемь заключенных, спали. Спали все поперек нар, головой к стене, стиснутые, обнявшиеся, прижатые друг к другу, разумеется, не на спине, только на боку; если кто-нибудь ночью сползал по своим делам, он уже еле-еле мог втиснуться обратно на свое место.

Около нар — посреди камеры, можно сказать, стоял старый изрезанный стол.

За столом народ ел, брился, заглядывал в книжки, вел дискуссии, совещался, каждый час дня имел свой смысл.

По всей поверхности стола были выцарапаны (гвоздем или даже ножиком), выжжены (огоньком свечи, сигаретой, а может, спичкой) или просто выведены чернилами, химическим карандашом имена и фамилии, инициалы, буквы — готическо-немецкие, латинско-румынские, славянские, еврейские. Столу, видимо, было уже порядочно лет. Он пережил поколения. Видел десятки необычных лиц. Слышал сотни тайных бесед. Стол из простых, даже толком не обструганных досок. Простой деревянный тюремный стол.

В углу, возле тяжелой двери со стальным засовом снаружи, с

круглым глазком посередине, через который заглядывать к нам надзиратели могли, а мы выглядывать — нет, стояла огороженная чем-то вроде полустенки или заборчика параша. Каждый день два человека выносили ее, висящую на палке между их плечами.

Вся стена напротив нар была пустой. (Чуть не сказал «свободной».) Там арестованные должны были выстраиваться с сорванными шапками в руках, когда в камеру вдруг заявлялось тюремное начальство. Наши, однако, за мое время никогда у этой стенки не выстраивались и шапок никогда ни перед кем не сдергивали. Это было уже отвоевано раньше. Не легко, но отвоевано. И за мое время я не помню, чтобы начальство заявилось когда-нибудь в камеру. Оно просто, наверно, боялось себя уронить. Это ж надо потерять к себе всякое уважение, чтобы войти к преступникам со своей свитой, со всякими там блескучими погонами, в аксельбантах, при оружии, при полном параде, а каждый преступник в отдельности чтобы остался хладнокровно сидеть там, где он сидит, делал и дальше то, что делал, не поднял глаза и не сдвинулся с места как ни в чем не бывало.

В камере стояла, тем не менее, одна человеческая кровать тоже. Узкая железная кровать с кряхтящей проволочной сеткой, с матрацем, даже с простыней, с жестким солдатским одеялом, с подушечкой в головах — стояла она у стенки напротив двери под зарешеченным оконцем.

На этой единственной железной кровати спал старый Вестлер.

В черновицком движении был еще один Вестлер — молодой Вестлер. Его я знал. У меня даже один раз была с ним встреча. О старом Вестлере я только слышал. Само имя: «Старый Вестлер» ходило как легенда. И вот сижу я со старым Вестлером в одной камере. Под одной крышей. Изо дня в день с ним вместе. Знаю его. Вижу его. Разговариваю с ним. Говорю ему даже «ты». Как все товарищи говорят ему. Как вообще говорят друг другу товарищи, без разницы, что один старше, а другой моложе, знакомы давно или только что познакомились.

Молодой Вестлер ходил всю зиму с непокрытой головой, волосы зачесывал на косой пробор. На австрийский манер, по-спортивному, наверно, носил он бриджи, ниспадающие на колени и засунутые в длинные ярко-клетчатые носки, в «штуцы», как такие носки называли в Черновцах. Носил болотного цвета ворсистое пальто, рубаху с твердым воротником, галстук, усики.

До Черновиц я не представлял себе революционера без черной, или пусть уж белой, вышитой косоворотки. После встречи с молодым Вестлером я, помню, подумал, что одно из двух: или

этот стройный расфуфыренный парень — что-то не то, или, наверно, не в косоворотке дело. И еще я подумал: а может, ради конспирации, а? Но все равно: не по сердцу пришлись мне ни его вид, ни его манеры, ни слишком высокие, слишком выспренние речи, что он говорил.

Старый Вестлер — это было совсем другое дело. Ты тут же проникался к нему доверием. Сразу. С первого взгляда.

Во-первых: очень простой человек. Как говорится, свой человек. Во-вторых… То-то и оно, что ни во-вторых, ни в-третьих, ни вообще особых крупных достоинств, чтобы выделить их и описать вот так-вот, не видно было в нем. Исхудавшее тело, кожа да кости. Редковатая, заснеженная, коротко обросшая голова. Лицо без бороды, но и не бритое — бело-седая короткая щетина, жесткая и колючая, на обеих впалых щеках, вокруг носа и даже по всей жилистой шее. На пустых местах — морщины и складки, глубокие, как порезы. Глаза воспаленные, как будто они ночи напролет не смыкались, бдили. Выглядит как натруженный жестянщик где-нибудь в местечке, как замученный, запыленный столяр или забеганный мельник с лицом в муке и головой в муке.

Особые достоинства этого старого человека были запрятаны где-то глубоко-глубоко внутри, проявляясь в его на редкость честной жизни, в испытаниях прожитых лет.

Старый человек. Сегодня я, наверно, старше него. Тогда для нас старый Вестлер выглядел совсем старым человеком. Стариком. Среди нас всех самым-самым старшим.

Он всю жизнь больше сидел в тюрьмах, чем был на свободе. У него уже не было ни одного зуба во рту. Ему отбили легкие, испортили зрение. Он не имел ни семьи, ни угла.

Почему целое государство, с сигуранцами, с полками жандармов, с арсеналами, казематами, десятками тысяч преданных чиновников боялось такого тощего человечка, кожа да кости?

Для нас такой вопрос не был вопросом. У нас был на него ясный, сам собой разумеющийся ответ. Наоборот, часто ночью, зажатый людьми на нарах, лежал я с открытыми глазами, смотрел, как свет от обмотанной проволокой лампочки на потолке падает на раскрыто-пустой рот старого Вестлера, на заостренно-задранный подбородок его, на все его истощенно-узкое тело на железной койке и задавал себе вопрос: откуда берется у этого тощего человечка, кожа да кости, такая сила всю жизнь упрямо, без страха, противопоставлять себя целому государству с сигуранцами, с полками жандармов, с арсеналами, казематами, судьями, тюрьмами, да мало ли еще с чем?

Старый Вестлер руководил тюремным комитетом. В тесном

квадратном дворике, куда каждый день на час времени выпускали из всех камер политзаключенных на прогулку по кругу построенными по двое, старый Вестлер шагал каждый раз рядом с другим товарищем. Каждого в отдельности любил он порасспрашивать, как живут дома отец и мать; есть ли братья и сестрички; как выглядит село или местечко, откуда приехал; что думает о мире; что читает и где работает; не голодал ли; один или уже есть подруга; как попался; главное, он любил выслушать с глазу на глаз все подробности, все, что произошло, когда тот был в сигуранце. Если случалось иногда, кто-нибудь держался на допросах не слишком стойко, старый Вестлер не так просто, не сразу, переставал называть его товарищем. Наоборот: он держал его в тюремном дворике возле себя, шагал с ним по кругу несколько дней подряд. Он докапывался до самых деликатных причин, чтобы понять и простить. Не рубить сплеча, даже не оттолкнуть, а наоборот — еще больше приблизить, речами своими вылечить, сделать лучше, тверже. Народ, однако, знал, что старому Вестлеру достаточно одного малейшего лживого слова. За одно только лживое слово он уже никого не прощал и никого не оправдывал — пусть даже и держались на допросах стойко.

Одного малейшего лживого слова чьего-нибудь было достаточно, чтобы старый Вестлер перестал называть его товарищем и считать товарищем.

Каждый вечер, перед отбоем, старый Вестлер завел в камере особый час. В этот час каждый должен был работать над собой — месить, лепить, воспитывать свою честность. Честность в широком смысле. Искренность. Товарищество. Чистоту. Выдержанность. Преданность. Даже просто доброту.

Своего рода час вечерней молитвы перед тем, как лечь спать. Или: своеобразная вечерняя гимнастика — гимнастика души. Тогда мы это называли проще, точнее и, наверно, немного суше: час самокритики.

Старый Вестлер руководил этим часом сам. Каждый в отдельности должен был бичевать себя. Встать и во весь голос, чтобы все слышали, разбирать свой прожитый день, выискивать в себе грехи, совершенные за день. Сказал сегодня товарищу не то слово, что надо; даже только посмотрел косо; только подумал плохо; чувство жадности, скажем, когда брал в руки миску с едой; капля сомнения, лень, зависть, лесть, и так далее, и так далее. Слово «честность» у старого Вестлера было самым главным словом. Он ставил его превыше всего. Оно вбирало в себя все. И силу мир переделать, и в будущем переделанном мире — лицо его. Он выговаривал это слово с каким-то трепетным

благоговением. Могло показаться, что он всю жизнь свою больше сидел в тюрьмах, чем был на свободе, ради этого одного святого слова. Он требовал его от каждого из нас с какой-то детски-наивной преувеличенностью. Он требовал его в наших делах и в наших помыслах. В самом большом и в самой последней мелочи:

— Честность!

Годы спустя мой знакомый, участник гражданской войны в Испании, рассказал мне такую историю. Когда бессарабские интербригадовцы в сороковом году вернулись домой из французских концлагерей, где они были интернированы, их всех послали отдыхать на месяц в подмосковный санаторий. Почти каждый день они разъезжали по Москве. И как-то раз один из них не взял в трамвае билет. Вечером, в санатории, интербригадовцы устроили ему открытый суд — судили за нечестность. Старший товарищ, известный деятель Коминтерна, защищал провинившегося:

— Товарищи, — сказал он, — к чему эта игра? Честность не надо понимать так узко, так мелко. Ну, не взял он билет за несколько копеек. Глупости. Люди ведь — не более, чем люди. Каждый со своими человеческими слабостями. Ангелы по земле не ходят…

Сейчас, вызывая в памяти образ старого Вестлера, удивляюсь я тому старшему товарищу и думаю, что он не совсем прав.

Хорошо известно, что один маленький компромисс тянет за собою другой. Самые маленькие компромиссики в силах иногда подорвать святость, разбить скрижали. Старый Вестлер с его детски-наивной преувеличенностью был, думаю, больше прав.

2

Крутится среди нас в камере молодой человек лет двадцати с чем-то, коротенький и толстенький, с лысинкой на голове, в одном только выцветшем жилете с двумя иголками возле верхнего кармашка, обмотанными белой и черной нитками, носит пару тряпичных тапок на ногах, темную рубашку с распахнутым воротником под жилетом. Спина его слегка согнута, лицо чуть бледновато, и, хоть он еще слишком молод, чтобы отпечаталось на нем его ремесло, и хоть на шее его не висит сейчас сантиметр, как-то сразу видно, что этот молодой человек — прирожденный портной.

Он крутится среди нас посторонним, неожиданным, как неожиданно одетый среди голых. Больше молчит, чем говорит. Прислушивается всем своим удивленно-бледным лицом, что

говорят другие. Если он спрашивает что-нибудь у кого-нибудь, спрашивает он с «извините, пожалуйста». Меня он зовет реб Ихил. Когда он хочет мне что-то сказать или спросить меня о чем-то, он делает за мной следом пару нерешительных шагов, касается пальцем моей спины, как бы постучав, можно ли ему в меня войти, и говорит просительно-мягким, местечково-бессарабским поющим голосом:

— Так что же вы говорите, из этого когда-нибудь что-нибудь выйдет, а?

— Что ты мне выкаешь? Как тебе не стыдно?

— Что за разница? Мы знаемся уже разве давно? Я думаю, эта идея, конечно, хорошая идея. Но вы же видите, что делается. Бандиты. Головорезы. Ни за что ни про что сижу здесь я. Тюрьмы ведь были построены для воров и разбойников. Так делается как раз наоборот. Они лишь тех сажают, которые против воровства и разбоя. Чтоб он лопнул, этот мир. Как меня зовут Нусн. — Он прокашливается и смеется: — Я портной. Так сидел бы я хоть за какой-нибудь остаток. Вы знаете, что это такое? Так я вам сейчас расскажу.

Молодой человек, единецкий портной, приехав на день в Черновцы что-то закупить, случайно встретил на улице своего земляка, который как раз носил при себе мопровские марки для распространения. Нусн заплатил за две марки и так с земляком своим заболтался, что тот забыл ему сказать, что, заплатив за эти марки, надо их сразу выкинуть. Эти две марки Нусн положил глубоко во внутренний карман, рядом с документами и парой сотен, что еще оставались у него. Красивые красные марочки. Черное окошко с решеткой. Он их привезет домой, мальчику своему, пусть ребенок поиграет с картинками. Короче — в ту ночь у вокзала случилась облава. Потом единецкого портняжку просто замучили: где он эти марки взял? Он не знает. Что значит, он не знает, чего он из себя придурка строит? Он нашел их, они валялись на улице. Такие марки не валяются на улице. Он не знает, что это за марки такие. Чего же он их засунул так глубоко в карман? Так он говорит: красивые красные марки, он хотел их привезти домой, мальчику своему. Ага, красивые красные марки? Короче, Нусна повезли в Единцы, привезли обратно в Черновцы, пара сотен его стала постепенно называться мопровскими деньгами, соорудили ему красивое «дело», красивый «досар», как это в Румынии называлось, и вот крутится уже единецкий портняжка по имени Нусн сам под черным оконцем с решеткой.

Постепенно, день ото дня все больше и больше, стал Нусн среди публики своим. Он спит, зажатый, на нарах. Старый Вестлер неделю времени отдельно занимался им. Он, Нусн, знает

уже точно, наизусть, что означают эти четыре буквы сокращения в слове МОПР. Он уже знает даже, Нусн, что кастрюля борща с плавающими поверху жирными кусочками мяса, которую получают каждый день с воли — мопровская кастрюля борща, он уже знает также, что кроме его собственного адвоката, которого выставит, с божьей помощью, он сам, МОПР выставит для него еще адвоката — и, даст бог, все будет хорошо.

В тихий час, когда народ читает, сидит Нусн, задвинувшись куда-то в угол, и тоже смотрит в брошюрку. Тяжелое чтиво. Нарубить повозку дров против этого — раз плюнуть. Он теряет каждый раз нить, оглядывается, не видит ли кто, перелистывает страницу за страницей, а мысли его, сами собой, улетают пока что ни с того ни с сего туда, в Единцы, домой, к его жене и к мальчику.

В час, когда народ ведет дискуссии, Нусн моргает глазами, чувствует, как горят у него щеки. Добрые, серьезные разговоры, мировые проблемы. Он, конечно, как и каждый, тоже бы мог что-нибудь сказать. Только вот язык у него как приклеенный — где взять такие слова и такие мысли?

Старый Вестлер назначил товарища, чтобы тот каждый день вел с Нусном легкие «теоретические» беседы. И Нусн внимал. Товарищи, видит он, уважают его, наверно. А он, чувствует он, тоже уважает их очень. Он бы их всех обшил и одел, только нет ничего под рукой. Он прямо просит, чтобы ему дали делать хоть что-нибудь. Народ ходит по камере — сегодня один, завтра другой — в одних пиджаках, с голыми коленями, а Нусн сидит на нарах, скрестив по-турецки ноги, сидит оживший, он в своей стихии, и с песенкой под носом зашивает у брюк распоротые швы, укрепляет пуговицы, заштопывает дыры, обрасывает каким-то удивительным зигзагом протертые, растрепавшиеся манжеты понизу.

Этот случайный здесь единецкий портняжка меняется, видим, день ото дня. С каждым разом он становится все разговорчивее. Начинает вмешиваться понемножку в беседы. Даже вваливаться без своего «извините, пожалуйста».

Больше всего, что он видит здесь и слышит здесь целый день, говорит он, запал ему в душу последний час дня, вот этот час перед отбоем. Такого вообще себе не представить.

Расскажи кому-нибудь, так не захотят поверить. Одного этого, говорит он, уже стоила вся история, что с ним произошла, вся беда, что свалилась на его голову.

Хоть он и говорит мне уже, слава богу, «ты», иногда, тем не менее, он еще трогает пальцем мою спину, как бы постучав, можно ли ему в меня войти, и говорит своим мягко-

просительным, поющим голосом:

— Слышишь, что я тебе скажу, боюсь, что я уже-таки пропащий.

— Глупости, — отвечаю я. — Ничего им не поможет. Суд должен будет тебя освободить.

— Не. Не это. Я имею в виду — ты же видишь, что делается: я начинаю становиться человеком.

Я как раз не очень понимаю, что он имеет в виду.

— Ну так хорошо, почему же вдруг пропащий?

— У меня ведь жена с ребенком.

— Чтоб они тебе были здоровы, — говорю я, — тем более хорошо. Они только радоваться будут.

— Прикидываешься. У меня за них душа болит. Я уже буду ошиваться все время по тюрьмам. Ну а как теперь поднимется у меня рука на этот кусочек? Так нужна мне была вся эта история, а?

И он смеется таким добрым мелким смешком, Нусн.

Не знаю почему, когда я хочу увидеть перед глазами всю тогдашнюю тюремную камеру, появляется передо мной одним из первых этот единецкий святой портняжка, как мы его все называли.

3

Снаружи тюрьма выглядела обычным трехэтажным домом.

Три ряда обычных окон на улицу, запертые ворота в городе, прикрытые, когда как следует стемнеет.

Уличный тюремный фасад стоял себе благопристойно на Австрийской площади как ни в чем не бывало, будто и не о нем речь. Не колол глаза. Не мешал вечной торговле на площади. (Утром — пожилые промерзшие женщины около базарных лотков, вечером — помоложе, мерзнущие под фонарями на тротуаре.) Он по-приличному причислял себя к остальным высоким домам на площади, с балкончиками вверху и с магазинами внизу.

Тюрьма начиналась лишь внутри. По ту сторону ворот. Железные винтовые лестницы между этажами. Черные коридоры с запертыми на засовы дверьми. Наверху камеры, внизу подвальные карцеры. Тесный дворик-курятник. Острые крыши башен над закутанными в тулупы охранниками с ружьями в руках в задней части тюрьмы возле косо обрубленного холма.

Тюрьма, получается, имела переднюю сторону и заднюю сторону. Внешность и нутро. Старая почтенная тюрьма, поставленная еще, наверное, в добрые почтенные времена

Франца-Иосифа.

Сидело в тюрьме больше ста «особо опасных преступников». Все двадцать восемь в моей камере были, можно сказать, городские, местные, схваченные за руку здесь, в Черновцах, большей частью молодежь. Одна камера была женской. Еще в трех камерах сидели только деревенские, гуцулы, русины, люди уже не молодые, отцы семейств, в большинстве крестьяне, батраки, лесорубы, плотогоны на Пруте и на Черемоше. Почти все носили длинные волосы ниже плеч. В час прогулки по кругу в тюремном дворе мелькали перед глазами их одинаково бурые грубошерстные сукманы, белые, туго обтягивающие штаны, одинаковые зашнурованные постолы с остро задранными носами.

Одинаковой полосатой тюремной одежды здесь в тюрьме никто не носил. Черновицкая тюрьма была тюрьма временная. Здесь большей частью сидели до процесса. Потом — в тюрьмах для осужденных — было уже все. И одинаковые полосатые одежды, и кандалы, и мокрые одиночные камеры, и вообще — все семь удовольствий, чтобы человек перестал быть человеком. Тюрьмы, известные в мире: Дофтана, Галата, Жилава…

Почему-то, помню, мне представлялось, что эти селяне, гуцулы нарочно, как сговорившись между собой, надели свои собственные одинаковые одежды, чтобы, наоборот, выразить этим единую общность и протест против одинаковой полосатой тюремной одежды, против тюрьмы, против преступлений.

Стоит у меня перед глазами Тарас Штефаник. Высокий и широкоплечий, на первый взгляд — грузчик-силач, который может взвалить на плечо самый тяжелый ящик и даже не согнуться, пойти с ним пританцовывая. На самом деле — тяжело и медленно двигающийся, с больными легкими и сердцем. Простое обветренное лицо с очками на носу. Длинные волосы, темно-русые, с пепельной сединой. Весь облик его — какая-то смесь грузчика, крестьянина и ученого.

Хоть прошло уже с тех пор столько лет и хоть, чтобы хорошо разглядеть Штефаника вблизи, были у меня считанные часы, не больше, и потом я его уже нигде не видел и нигде не встречал, стоит он сейчас живой перед глазами, со всеми штришками и с каждым движением своим, будто это было лишь вчера.

В буковинских гуцульских селах Тараса Штефаника хорошо знали. Он исходил Буковину пешком, рассказывали, вдоль и поперек. Повсюду ждали его появления, как ждут иногда хорошей вести, доброго совета в нужде, внезапного часа удачи. Он не только бунтовал народ против беспросветной жизни под румынскими жандармами и перчепторами — сборщиками налогов, не только зажигал в глазах бедняков, говоря и

рассказывая, лучик зари завтрашнего светлого дня. Он еще, кроме этого, мог просто так сидеть до поздней ночи с людьми, у которых ночевал, и обмозговывать с ними их каждодневные дела, заботы, болезни, как растут их дети, помогать им распутывать запутанные родственные отношения, ссоры с соседями, бытовые дрязги. А то и вовсе усесться читать вслух украинскую книжку. Или даже собрать где-нибудь в хате малышей и учить их славянской азбуке. Сам Тарас Штефаник, рассказывали, до четырнадцати-пятнадцати лет был пастушком. Пас овец где-то в горах, возле Вижницы, в угодьях австрийского барона. Мать Штефаника, красавица, немая, бедняжка, служила у барона в имении, помогала чистить конюшни, мыть кареты барона. От кого она родила ребенка, осталось тайной. Говорили — от кучера барона. Говорили даже — от баронского сынка. Кто-то сказал — немая обманутая любовь, а кто даже — принуждение, изнасилование. Точно так же осталось тайной, почему через пару лет, когда мальчик бегал уже босой за мамой в конюшнях, в один прекрасный вечер нашли вдруг немую красавицу гуцулку утонувшей меж острых камней под шумным, падающим с высокой горы, водопадом. Барон сам велел отвезти маленького Тараса в горы к пастухам, в свои овечьи стада… Историю жизни Тараса Штефаника рассказывали, как рассказывали бы гуцульскую сказку. Подпасок в горах сам собой выучился читать и писать и по-немецки, и по-украински, и, позже, по-венгерски, по-румынски, по-сербски, по-русски. Он вырос высоким и красивым, как сосна. В семнадцать лет отправился в Вену. Какое-то время был в Киеве и Петербурге. В Будапеште застал венгерскую революцию. Вернулся потом домой и поднял в нескольких деревнях всех пастухов и всех лесорубов, поджег имение барона. Румыны шесть лет держали его закованным в цепи, приговорили к смерти. История жизни Тараса Штефаника обросла в гуцульских селах и подвигами, и чудесами, и уже сейчас, здесь, в тюрьме, ее рассказывали, как гуцульскую народную сказку. Он обладает, говорили, памятью, какой не сыскать. Целые запрещенные книги, скажем, «Коммунистический манифест» или Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма», носит он в голове. Он может цитировать наизусть, слово в слово, и указать точно, на какой странице цитата находится. Даже в которой строке сверху вниз или снизу вверх стоит такое-то и такое-то слово. Он смотрит в немецкую книжку и читает оттуда по-румынски. Смотрит в румынскую книжку и читает оттуда по-немецки, по-украински, по-русски.

Так говорили люди о Тарасе Штефанике.

Тем, кем старый Вестлер был в нашей «городской» камере,

Штефаник был в трех «деревенских» камерах. Каждый день я видел его на прогулке. Однако видел я только его спину. И лишь раз, когда мы заходили уже обратно и круг повернулся, увидел я часть лица. Он шагал высокий, немного сутулый, голова втянута в сукман. Тем не менее — самый высокий.

Я, прямо по-детски, помню, мечтал хоть чуточку поглядеть на Штефаника вблизи. Слышать его голос и чувствовать его дыхание. Сидеть возле него и просто на него смотреть.

Я даже стеснялся втихомолку такого детски-капризного желания. И тем не менее не выдержал — в наш вечерний час высказался об этом вслух. Старый Вестлер выслушал мои речи с такой серьезностью, как если б я говорил о какой-нибудь очень важной мировой проблеме. Он сказал потом, что такие преувеличенные чувства к Штефанику можно понять и стесняться этого глупо. Он разрешил мне прямо послезавтра, якобы ошибившись после прогулки из-за того, что гонят и толкают, заблудиться, зайти обратно не сюда, в сорок вторую, а в сорок третью, в камеру Штефаника. Потом, на вечерней поверке, сказать, что из-за того, что так гоняют и толкают, можно не только перепутать дверь, но вообще как-нибудь остаться снаружи. Надзиратель в коридоре послезавтра такой надзиратель, что гонит и кричит именно так, как ему велено, но глазами видит он не точно так, как велено ему…

Я сидел, помню, среди гуцулов и разглядывал Тараса Штефаника вблизи.

Я вглядывался во все черточки его лица, в малейшее движение его рук.

Я вслушивался, впитывал в себя звуки его голоса.

Человек. Обыкновенный человек, как все люди. Очки пристроены были у него на лбу. Светлые седоватые волосы — слегка растрепаны. Вышитая рубаха с широкими рукавами — расшнурована, чуть распахнута. Гуцулы вокруг него, и я среди них (я сегодня — в первый раз, они — столько дней, столько недель, может, лет), мы все смотрели на него с одинаковой «преувеличенностью», как сказал старый Вестлер. В обеих руках, близко к глазам он держал «Инпрекор» — так называли тогда коминтерновское издание «Интернациональная пресс-корреспонденция». Когда он читал, очки были подняты на лоб. Когда он прочитанное объяснял и обговаривал, он сдвигал свои очки обратно на нос, чтобы видеть, наверное, по глазам, достаточно ли ясно то, что он объясняет и обговаривает, может, надо еще яснее, еще проще. «Инпрекор» тогда прибывала в Черновцы на немецком, из Вены или из Берлина. Читал же Штефаник людям и комментировал прочитанное на украинском,

гуцульском, русинском.

Он спросил меня потом:

— Ты тоже понял?

— Понял, — ответил я.

— Знаешь украинский?

— Нет, — ответил я.

— Не знаешь украинского и понял?

— Понял.

Какое-то мгновение он смотрел на меня внимательно и сказал:

— Если ты не знаешь украинского и понял, то это очень, очень хорошо. Но если ты не знаешь украинского и обманываешь, что понял, это очень, очень плохо.

Я еще тогда ни одного украинского слова не знал, но все, что читал Штефаник, понял, и — конечно же, конечно — не обманывал.

Или еще правдивее:

Понять я, возможно, и не понял, но и обманывать не обманывал.

4

Ночью, на нарах, среди сна, я вдруг просыпаюсь: где я? Где я лежу? Наверно, это полуявь-полусон. Лампочка на потолке горит всю ночь — неопалимая купина, что горит и не сгорает, помогает надзирателям стеречь нас. Я лежу с зажмуренными глазами и вижу перед собой мерцающую темноту. В круги темноты вворачиваются огненные круги. Во сне я слышу свой собственный крик, далекий и приглушенный, и окончательно просыпаюсь.

Товарищ слева рядом со мной обнимает меня, я, справа, обнимаю Беню.

Беня открыл на миг глаза, повернул ко мне голову. Мой крик разбудил только его одного. Он похлопал меня успокаивающе по руке и спит дальше.

Добрый друг мой. Редкостно добрый Беня Иоргрой. Как сложилась бы наша дружба дальше, годы спустя, если бы Беня был жив? Два лучших друга моих, Беня и Боря, оба ушли из этого мира слишком рано. Боря Лернер — гильотинирован гитлеровцами в Париже, Беня — погиб еще раньше в Мадриде. Эти два друга моих — повторяю — не перестали жить в моем сердце, старились вместе со мной, и мне кажется, что стоят они сейчас и слушают мои слова о них с точно такими же посеребренными головами, как моя.

Как раз сегодня Бене передали из дома две новые рубахи. Одну рубаху надел он сам, другую надел на меня. Днем, получается, отдал, как говорят, свою рубаху. Сейчас, ночью, успокаивает он меня. Прижимает к себе мою руку, спи, спи. И как бы нашептывает какое-то заклятие.

Я, однако, больше не сплю. Я лежу с закрытыми глазами и, кажется, больше не сплю. Народ на нарах похрапывает понемножку. Железная кровать старого Вестлера время от времени постанывает. Не помню — слышатся ночью в камере шаги надзирателя или нет?

Отец — с черной кушмой на голове, скорченный, в старом своем засаленном тулупчике. Ему холодно. Он вздыхает. Всегда в беде пробирает его страшный холод, и вырывается откуда-то глубоко-глубоко изнутри тяжелый длинный вздох. Письмо мое отсюда он уже, конечно, получил? Конечно, получил. Еще до письма, в те несколько недель, когда от меня не было ни слова, что-то начал чувствовать, понимать, что, наверно, именно так все…

Чего тут долго думать? Нехорошо. Хотя, с другой стороны, позором это не назовешь. Наоборот. Он понимает это и не против этого, и тихонько, про себя, думает даже, что для него как раз — это даже честь. Ой, но что делать с нею, с мамой? Она ведь, и в самом деле, не больше чем женщина — что знает она о таких вещах? И она ведь не больше чем мать. Как отдать ей такое письмо? И чем ее к этому подготовить? А как можно вообще обмануть ее? Уже больше месяца, как она места себе не находит: беги, лети, что ты молчишь? Куда ему лететь и как ему лететь? Он еще тот бегун, и тот еще летун он. Он садится, отец, скорченный, в засаленном старом тулупчике своем, с черной кушмой на голове, по ту сторону стола, на длинную ободранную скамью. Длинная ободранная тюремная скамья, как длинная ободранная скамья в хедере. Он смотрит на меня своими черными, всегда блестящими и всегда печальными глазами.

— Ой, сыночек, паскудный, гадкий мир.

— Ладно, я слышал от тебя это не один раз.

— Знаю. Понимаю. Мальчиком я тоже хотел то, что ты хочешь. И наверно, тоже делал бы то, что ты делаешь. Так ты же сам видишь. Закрутила меня жизнь. И отмучиваю я свои годы в этом темном Рашкове.

— Осуждаешь меня, отец, или оправдываешься передо мной?

— Маму мне жалко. Она этого не выдержит. Она и так ходит — еле дышит. Она же только недавно поднялась после болезни.

— На нее сваливаешь это, на маму?..

Я, кажется, разговариваю с отцом чуть строговато. Не так, как надо говорить с отцом. Я лежу с закрытыми глазами, полубодрствуя-полудремля, и разговариваю то с отцом, то с Малией.

Почему я говорю с отцом именно сейчас, когда ему нужно утешение, так жестоко? Конечно, его жизнь закрутила. Обкрутила полным домом детей, нуждой, болезнями, заботами. Закрутила, закабалила. Как я могу хотеть, чтобы он считал, что именно это, само мое сидение в тюрьме, и есть как раз утешение?

Отца я очень любил. Чем дальше — больше. Малию, казалось мне тогда, люблю я не меньше. Боюсь согрешить — может, еще больше.

С Малией я разговариваю мягко. Она же говорит со мной как-то строго. Она не называет меня больше ласково «мальчик», как называла. Разумеется, те десять — двенадцать месяцев, как она уехала, как я видел ее в последний раз, были такие месяцы и у меня, и, наверное, конечно же — у нее — там, на ее настолько секретной работе, что мне нельзя даже знать где и нельзя даже письмо от нее получить, что уже не идет ни ей ласкать кого-нибудь таким словом «мальчик» и ни мне, чтобы кто-нибудь таким словом ласкал меня. Как она теперь выглядит, Малия? В чем она ходит? Я прошу ее снять с головы платок или шляпку, что она носит. Я хочу взглянуть на ее высокий лоб, тот самый высокий умный лоб ее, который так запал мне в душу. Когда она смеется, у нее на щеке появляется ямочка. Не помню, ямочка появляется у нее на одной щеке или на обеих? Я должен собраться с силами, чтобы точно увидеть цвет ее глаз. Разве дело в точном цвете глаз? Все лицо ее вижу где-то далеко в неизвестности, как и сама она сейчас далеко и неизвестно где. Разговаривает ли порой издали и она со мной так, как я с ней? Может, она уже не одна? Я должен собраться с силами, чтобы точно услышать звук ее голоса. Далекий, чуть строгий, но — ее, Малиин, знакомый голос:

— Ну хорошо, первый экзамен, можно сказать, ты выдержал, сейчас посмотрим дальше.

— Почему надо смотреть и смотреть? И сколько же экзаменов надо выдержать?

— Всю жизнь. До конца. Ты что же, думал, что это что-то такое, что это игрушки?

— Сейчас, здесь, говоришь мне то же самое? Просто, наверно, не веришь в меня.

— Если бы я в тебя не верила, не говорила бы с тобой так жестко. Сейчас, когда ты зашел уже так далеко, ладно, скажу тебе: как это можно взять и вляпаться по уши в девушку вот так-вот,

раз-два, так легкомысленно?

— Я не влюбился в тебя, как просто влюбляются в девушку. И не вот так-вот, раз-два. Я ждал тебя дни и недели. Сама разве не знаешь? Ты ведь, как и я, точно так же была влюблена.

— Ну хорошо, мальчик. Спи, спи. Сейчас посмотрим дальше.

Так лежу я на нарах и разговариваю в полусне-полуяви с Малией, с отцом, с собой. Товарищ слева рядом со мной обнял меня, я, справа, обнимаю Беню. Сладко засыпаю я аж на рассвете — вот-вот надо уже вставать. Тихого ежеутреннего поединка над нами на потолке между горящей лампочкой, что горит и не выгорает, и нарастающей горстью дневного света в зарешеченном оконце в то утро я уже не видел. По правде говоря, этого поединка не видит никто. В камере не становится ни светлее, ни темнее. Я опять слышу во сне крики. Мои друзья кричат мне: «Соня!» — стаскивают за ноги с нар. Наказывают за то, что встал последний и меня еле добудились. Теперь я один должен застелить «постели» наши, прибрать в «спальне». Возле пустой стены, где нам бы надо было выстраиваться перед начальством с шапками в руках, мы, несколько ребят, выстраиваемся, полуголые, и разминаем несколько минут руки и ноги. Мы моемся, смеясь, и обдаем друг друга, моясь, брызгами воды. Выпиваем жестяные кружки чая, обмакивая четвертушки хлеба. Мы завтракаем и рассаживаемся все вокруг стола к первому, утреннему, политчасу. День в тюрьме — он становится раз от раза все дольше — начинается веселее, чем кончается раз от раза укорачивающаяся ночь. Свежих газет на утреннем политчасе у нас, разумеется, нет. Из позавчерашних и позапозавчерашних газет мы вычитываем между строк все новости, которые произойдут в мире завтра и послезавтра. С целым миром, весь день, можем мы легче объясниться, чем пару часов ночью с отцом, с Малией или с самим собой…

5

В такое вот утро меня наконец-то вызвали к следователю. К следователю, который должен здесь, после сигуранцы, когда вы уже у него в руках со всеми фактами преступления и со всеми уликами, спокойно и не торопясь, без битья и даже без окрика, якобы юридически обоснованно, даже демократично, подготовить великому преступнику великий справедливый приговор, какой ему полагается.

Тюремный конвоир, положив руку на револьвер у бедра, вел меня по коридорам, вниз по крученым ступеням и опять по

коридорам такой молчаливо-тихий, такой настороженный, будто из меня вот-вот что-то выпрыгнет или я сам вдруг вырвусь, тюремные стены развалятся, камеры раскроются, арестанты окажутся все на свободе, а тюрьма, боже упаси, будет гореть ярким пламенем.

Беня каждый день твердил, что не к добру это о нас так надолго забыли. Они нам готовят, наверно, новые грехи. Тюремный комитет же, напротив, считал, что то, что нас так долго не вызывают, как раз не плохо: у них нет против нас ничего достаточно толкового, нет того, что им нужно. Вот они и тянут. Вот они и думают. А мы чтобы пока сидели. Но ничего им не поможет. Если уж нету, так нету. И если мы там не говорили сами на себя ничего плохого, сами на себя не валили, то здесь они не смогут нам это пришить, будь у них хоть тысяча голов.

Адвоката, которого наняли Бенины родные, к нам пока еще не допустили. Он, однако, наверное, не молчал. Тюремный комитет, очевидно, тоже передал на волю, чтобы что-то делали. И вот вчера свели вниз к следователю Беню, а сегодня ведут вниз меня.

Я иду с высоко поднятой головой, даже с улыбкой на губах из-за комичности, с которой ведет меня конвоир, что уже само это вызывает у него большую настороженность к каждому моему шагу и к каждому движению, делает его еще комичнее.

У меня на сердце хорошо потому, что я знаю: вчера следователь велел Бене написать прошение, «черере» оно называется, чтобы его, Беню, выпустили до процесса. Мне, думаю я, следователь такое прошение, наверно, не велит написать. Понятно, не очень бы хотелось оставаться в тюрьме одному, без Бени. У меня хорошо на сердце потому, что я знаю, что именно ответил на это следователю Беня. Если уж речь идет о том, чтобы выпустить до процесса, надо выпускать нас обоих вместе. И его, и меня. И то — без прошения.

Внизу, у двери, где мой конвоир зна́ком велел мне остановиться, я увидел Тоню. Она сидела напротив, на скамейке, а ее конвоир стоял возле нее. Она меня тоже сразу увидела. На мгновение наши глаза встретились. Мы потом даже и не попытались друг на друга взглянуть. Вроде бы мы вовсе не знакомы. Вроде мы сейчас, возле этой вот двери, первый раз увиделись. Прямо будто людям, которые не знакомы и видятся в первый раз, даже глянуть друг на друга нельзя.

Я украдкой все же бросил на Тоню взгляд. За все время в тюрьме я не видел ее ни разу. Однажды я влез на чьи-то плечи и глядел через зарешеченное окошко вниз, в тюремный дворик, в тот час, когда гуляли женщины. Но не то что ли́ца — тени

прогуливающихся женщин на стенах вокруг были едва-едва различимы. Сейчас я хотел посмотреть разок, как она выглядит, какое у нее лицо. Не могу сказать, что я ощущал большую ненависть к ней или какую-то обиду большую за то, что она втянула меня, выдала. Тюремный комитет считал, что она назвала мое имя в таком жутком полуобмороке, когда сама уже не знала и не чувствовала, что делает и что говорит. Может, она рассказала тюремному комитету не всю правду. Может, тюремный комитет считал так пока, чтобы дать Тоне возможность исправить то, что натворила, а разбираться будут потом. Она сидела сейчас на скамейке, напротив двери, где конвоир без слов велел мне остановиться, вовсе не изменившаяся. Красивая и обаятельная, как всегда. Она за все время даже украдкой не глянула на меня.

Потом я стоял напротив следователя. Он оставил меня так стоять несколько минут. Заглядывал в раскрытый «досар», в «дело» мое, как будто он сейчас впервые с ним знакомится. Ни слова не спросил и ни слова не сказал. Даже не поднял на меня глаза. Будто меня вообще в комнате не было.

У меня промелькнула мысль, что он делает так нарочно. Чтобы я, пока стою, мог выглянуть через окно за ним на Австрийскую площадь. Люди бегут, шумят, что хотят, то и делают, люди свободны. Раздразнить, думает он, наверно, тоску по свободным улицам и площадям — так, может, подействует сильнее, чем мучить и пытать. Потом, значит, будет легче со мной разговаривать.

Я стоял и смотрел на пальцы с заостренными ногтями, щиплющие мой «досар». На зализанно-блестящие волосы. На платочек в нагрудном кармашке. На глаза его, налитые ненавистью, хоть держит он их опущенными и хоть подымет он их сейчас на меня, понимаю, с улыбочкой.

«Вещественное доказательство» мое — «Мать» Горького, с подчеркнутыми меткими строками, откуда я якобы выписывал прокламации, что уже чуть ли не означало, что все прокламации в мире — моя работа — он вдруг резко отодвинул в сторону, буркнул «идиоты» и наконец, все еще глядя в мой «досар», сказал:

— Так мы, значит, коммунисты. Как же сочетается древнееврейская семинария с коммунизмом, а?

Я молчал. Он поднял ко мне глаза. С улыбочкой:

— На вопрос надо сразу отвечать. Даже если мы большие герои. Я спрашиваю: так мы, значит, коммунисты?

— Древнееврейская семинария не сочетается с коммунизмом, — ответил я.

— Сочетается. Сочетается. Эта красивая идея влазит во все

дырки. Даже в ваши синагоги. Даже в монастыри к монашкам. Почему ты обманываешь? Коммунист ведь говорит только правду.

— Я говорю правду, — ответил я.

— Ага. Признаешь, значит. Это мне нравится. Так скажи мне, пожалуйста, ту девушку, что ждет в коридоре, ты знаешь?

— Знаю, — ответил я.

— Как ее зовут?

— Тоня.

— Правильно. Это мне нравится. Так скажи мне точно, не бойся, никто тебя здесь пальцем не тронет. Давно ли ты знаешь Тоню? Как ты ее знаешь? Откуда ты ее знаешь? Все. С самого начала, пожалуйста.

— Я знаю ее из сигуранцы, — ответил я.

Его интеллигентности хватило только на несколько минут. Он вскочил со своего стула и грохнул ладонью по моему «досару»:

— Лжешь!.. Подонок!..

Он расшвырял бумаги на столе, сгреб их обратно, ставшее было красным лицо его побледнело. Он выхватил из ящика стола второй «досар», начал листать его и между делом, тихо уже, все бурчал мне:

— Вот это несчастье ваше. Вы думаете, что вы умнее всех! Весь свет перехитрите? Тупицы! Дегенераты! Лжецы!

Потом рядом со мной напротив следователя стояла Тоня. Он опять говорил деликатно, с деликатной улыбочкой в глазах. Тоня тоже не скрывала: она знает меня. Она даже назвала меня и по имени, и по фамилии. Но она мое имя тоже в первый раз в своей жизни услышала там, на допросах в сигуранце.

Следователь снова расшвырял бумаги по столу. Лицо его опять налилось. Он, однако, больше не кричал и больше не ругался. То, что Тоня показала сейчас, было полной противоположностью тому, что черным по белому записано в ее «досаре».

Он впился глазами в бумаги и все пожимал плечами. Загадка, дескать. Он вообще перестает понимать, что здесь происходит. Он еще такого не встречал и уразуметь такого не может. Он бурчал в бумаги:

— Я не понимаю. Что вы за люди? Здесь вы говорите одно, там — другое. Слово у вас не слово. Подпись не подпись…

Он посмотрел на Тоню таким правдоискательским взглядом, как будто хотел сказать: где же справедливость на свете, а?..

Тоня не ответила. Обеими руками она задрала вдруг свое платье до самого верха, аж пол-лица им закрыла. Она не стеснялась ни его, интеллигентного следователя, ни меня, своего

товарища. На ее голых ногах, хоть прошло уже несколько недель, виднелись еще тут и там иссиня-черные распухшие бугры, разодранные и затянутые, как засохшее сырое мясо.

Она стояла так несколько мгновений. Лицо ее — чуть повернуто ко мне.

Я понял, что это не слишком интеллигентное задирание платья было Тониным ответом на те интеллигентные речи, которые вел только что следователь.

Еще не зажившие раны на своих голых ногах она показывала, разумеется, больше мне, чем ему.

= = = =

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Писатель может делать, что он хочет.

Вот хочу я, и я делаю прыжок, и я опять дома. Спускаюсь с высокой каменистой горы, и я опять в этом Рашкове, у этой высохшей сморщенной груди, к которой я часто и жадно припадаю губами и пальцами, сосу и сосу, и не могу, такой уже, слава богу, большой парень, отвыкнуть, хоть эти посиневшие, растрескавшиеся соски намазали горечью, и все кричат на меня.

Этот крошечный Рашков. Малюсенькая точечка в огромном божьем мире. Звездочка среди миллионов звездочек и звезд. Сколько я уже о нем рассказывал и рассказывал, а все еще нахожусь вначале, еще ничего не рассказал и ничего не сказал. И сколько я еще, наверное, скажу и расскажу, все равно, конечно, больше останется не рассказанного и не сказанного.

Народ месит глубокую предпасхальную рашковскую грязь. Сын старого раввина, Хаим-Довид, уже вот-вот где-то в литовском ешиботе должен был тоже закончить на раввина, и из-за того, говорят, что переучился, из-за слишком умной головы, сейчас здесь, дома, около отца — рашковский местечковый сумасшедший. Он стоит возле нашей открытой двери и пальцем подзывает мою сестричку, Фейгеле. Он один знает, какое доброе у Фейгеле сердечко. Украдкой, пока мама будто не видит, выносит она ему каждую пятницу под фартучком пару горячих оладушек. Хаим-Довид не благодарит и не благословляет. Горячие оладушки за пазухой обжигают его голое тело под распахнутой рубахой. Он смеется хрипловато-придушенным смехом. Глаза у него синие — бледно-синие небесные глаза. Бородка — светлая, редкая, хоть по пальцам пересчитай эти несколько волосков. Голова — сверхъестественно заросшая, льняная. Он ведет вечные беседы и дискуссии с раввинами и талмудистами. Он смеется, прерывая хрипловато-придушенным смехом свои доводы. Черный изодранный кафтан свой он не надевает, как надевают кафтан. Но ходит завернутый в него, как в талес, черный талес. Или забросит его на одно плечо, одна пола туда, другая пола сюда, придерживает разлетающийся кафтан рукой за середину, останавливается с задранной головой, как принц Гамлет в своем плаще. Не горячие оладушки за пазухой отвечают на вопрос: быть или не быть, а, как видно, доброе сердечко этой маленькой девочки. Потому что вторая рука местечкового сумасшедшего

Хаим-Довида между тем щиплет мою сестричку за щеку. Конец Хаим-Довида, к слову: зимней ночью, в сильный мороз, остался сидеть на ступеньках около домика, где его отец добрым евреям давал добрые советы. Не постучал, чтобы отец впустил его. Или уши старого отца не услыхали стук сына. Рано утром местечкового сумасшедшего Хаим-Довида, сына старого раввина, нашли на отцовских ступеньках одеревеневшим…

Чего вдруг я влез с Хаим-Довидом? Писатель может-таки делать, что он хочет, но что-то глубоко внутри него ведет его за руку, чтобы он всегда делал не то, что он хочет, а то, что он должен делать.

Я еще ничего не рассказал о моем дружке из хедера Аврум-Мойше, сыне мельника. Три водяные мельнички стояли в Днестре, одна возле другой, с замшелыми крышами, старые, деревянные, седовато-зеленые, одинаковые, как будто одна мама их родила. Возле них нельзя было купаться, потому что утопленника, которого Днестр из лета в лето требует, чтобы ему дали, требует он, говорили, именно здесь, на этом вот месте, около этих трех водяных мельничек. Перед вечером я всегда видел отца Аврум-Мойше, Мейера-мельника, идущего домой со своей мельничной работы мимо наших окон с торбой муки на плече и с ведром живых рыбок в руке. Он шел тяжело, скрючившись, седой и старый с ног до головы, лицо, правда, красное, бритое, белые брови и белые усы, белые высокие сапоги зимой и летом, нахмуренный, без улыбки и без кивка кому-нибудь, натруженный и замученный — злой на мир — думал я. После года хедера Аврум-Мойше стал учеником у жестянщика. Всего несколько месяцев мы, хедерники, завидовали ему, что он вышел из оглоблей. Несчастье случилось с ним совсем скоро. Ему еще тогда, наверно, и полных десяти лет не было. Железный штырь, или просто кусок жести, отскочил ему в лицо и выбил глаз. Когда потом мы встречали его иногда с куском черной кожи на вытекшем глазу, мы вовсе не были уверены, надо ли нам очень уж жалеть его из-за его несчастья, а может, совсем наоборот, опять-таки завидовать ему из-за его героичности или хотя бы необыкновенности того, что случилось с ним одним, и больше потом ни с кем. Он и сам, наверно, считал себя немножко героем. Он избегал нас, отворачивался при встрече. Не потому, думаю, что стеснялся перед нами своего выбитого глаза. Но, наоборот, скорее, он начал стесняться нас: малышня, хедерские мальчики, сопляки — еще не видят и еще не знают, что в любой момент может произойти в мире. Ничего особенного в истории с Аврум-Мойше, может, и не было. Просто за короткий отрезок времени десятилетний мальчик по имени Аврум-Мойше начал называться

Аврум-Мойше-жестянщик, и из мальчика Аврум-Мойше-жестянщика в два счета стал Аврум-Мойше-слепой…

Настоящее несчастье произошло лишь потом.

Летним днем разнесся вдруг слух, что Мейер-мельник уже несколько дней лежит при смерти и не может умереть, не может отдать душу. Он требует, чтобы ему привели раввина, он хочет исповедаться, в чем-то он должен покаяться перед смертью. Вся улица смотрела, как маленький Аврум-Мойше с черной кожаной повязкой на слепом глазу сопровождает ребе Нохемла домой, к отцу. Ребе Нохемл шел одетый в атласную капотэ, в отороченной соболем шапке, одна рука на костяном набалдашнике палки, другая заткнута за широкий пояс с кистями — в полном праздничном облачении, как, скажем, к кому-нибудь на венчание. За ним, злой, шел Янкель. Его староста. Мейер-мельник лежал в своей кровати раскрытый. Его белая, коротко стриженная голова, белые, давно уже не бритые щеки, рубаха и кальсоны, вся прочая белизна, что окружала умирающего мельника, вызывала в памяти забитые мукой мельничные жернова, и размолотые зерна, и белизну муки, в которую Мейер-мельник окунулся перед смертью, чтобы избежать покаяния, да, видно, не помогло. Только нос и только раскрытые глаза были красными. Он приподнял голову с подушки, сам подпер ее ладонью и посмотрел на ребе Нохемла с такой мольбой в красных глазах, как у разбойника и убийцы, у которого за мгновение до казни вспыхивает надежда, что еще может произойти чудо. Слова его были едва слышны:

— Ребе… Я полон греха… Простите мне, ребе…

— Не я, всевышний, да будет благословенно имя его, должен простить тебя.

— Ребе…. Мои руки все в крови…

— Боже мой, в крови?

Ребе Нохемла, рассказывали, аж заколотило. Он так растерялся, что начал называть Мейера-мельника, который был на хорошие несколько лет старше его, «дитя мое». Прямо будто не он, а сам всевышний стоит теперь здесь, возле умирающего мельника, и ОН говорит через него, ребе Нохемла, с умирающим:

— Говори, дитя мое. Выскажи все перед вознесением души…

— Ребе… Вы же помните… В том году, когда украинские евреи бежали от погромов… Сюда… Переплывали к нам… Верьте мне, ребе… Я помог спастись десяткам евреев… Этими же руками… Они по ночам переправлялись ко мне в мельничку… Как родные братья, ребе… Только одна пара… Муж и жена… Одна-единственная пара… Не я, Мейер-мельник, сделал это… Черт в меня вселился… Нечистый, наваждение… Кольца, серьги, червонцы… Золото лежит еще с тех пор спрятанное наверху, на

чердаке, в щербатом глиняном кувшинчике… Возьмите это, ребе, для всех… Раздайте беднякам… Чтобы евреи простили меня… Дайте мне умереть, ребе…

Ребе Нохемл, рассказывали, несколько мгновений стоял окаменевший, потеряв дар речи. Потом он подошел ближе к Мейеру, нагнулся над ним и без слов плюнул ему в лицо. Рашков ходил ходуном. В середине того жаркого, яркого летнего дня на местечко опустилась вдруг темень, небо затянулось черными тучами, задуло, закружило, ветер высаживал стекла, срывал крыши, начало ляпать, как из ведер, все как с ума посходили. Ночью Мейер-мельник кое-как умер. Ни одна собака даже не шла за гробом. Все местечко, как родных, оплакивало загубленную убийцей пару, заламывало руки, рвало на себе одежды. Похоронами занимался бедняга Аврум-Мойше с черной повязкой на слепом глазу и их родственник, прихрамывающий еврейчик, который пек бублики. Покойника, отверженного, зарыли под забором с наружной стороны кладбища. На следующий же день целая комиссия румынских господ — местечковый примар, сборщик налогов, шеф-де-пост со своими жандармами — окружила дом Мейера-мельника, все внутри перевернули вверх дном, рылись и искали и наверху, на чердаке, и внизу, в подвале, а тот щербатый кувшинчик с золотом после всего так и не нашли. И все это несчастье, разумеется, было Аврум-Мойшино. Мы, его хедерские дружки, уже больше его не встречали. А если мы и встречали его, то старались избегать, отворачивались, и не думали больше, что его нужно жалеть, а наоборот, отворачивая голову, тихонько, про себя, трижды сплевывали и тихонько, про себя, шептали: «Проклят, проклят, проклят!» Ай-яй-яй, откуда взялась у нас эта жестокость? Кто вбил в нас, как гвозди, такие жестокие, якобы правильные, законы? Я по сей день не знаю, что вышло из этого Аврум-Мойше. Остался ли он жестянщиком? Женился он потом, имел детей? Может, где-то дети его — большие люди? Может, он сам совершил что-то доброе в своей жизни, тихое добро, о котором мало кто слышал? Может, он и вовсе погиб где-нибудь в гетто, сгорел в печи крематория? Сколько я уже о моем Рашкове рассказывал и рассказывал, а мне никогда не приходило на ум имя Аврум-Мойше. Сейчас — вдруг — всплыл, как из темноты, рашковский мальчик с черной кожаной повязкой на слепом глазу. Я сижу и терзаю себя за ту жестокость. Я хочу этими строками моими загладить ее, уменьшить. В том, что это жестокость, я не сомневаюсь.

Больше того: кто знает, был ли вообще когда-нибудь у Мейера-мельника кувшинчик с драгоценностями на чердаке; бросил ли-таки Мейер-мельник в воду около своей мельнички

супружескую пару с двумя тяжелыми камнями на шеях? Чего только не может случиться с человеческим разумом в предсмертных муках!

Вот вам, совершенно между прочим, еще один кусочек Рашкова.

2

Итак, я снова дома. Синюю черновицкую студенческую фуражку я больше не ношу. Был студент — и нету. Мне оставалось еще три месяца, чтобы закончить учительскую семинарию. Что закончить, ради чего закончить? У меня с ней уже было закончено еще до того, как я начал. Чего же я больше двух лет мучился? Ради фуражки — называться студентом? Ради бумажки — называться потом закончившим? Наверно, не хватило сил и ума или впитывать в себя те немногие знания как следует — может, когда-нибудь, они пригодятся — или сразу, вначале, зашвырнуть к черту фуражку — и все, не ждать, чтобы за три месяца до окончания о н и сказали: будь добр, сними ее, ты не имеешь больше права ее носить. Парень с моего курса встретил меня на улице и без всяких разговоров сразу заявил, что меня исключили; он при этом даже бровью не повел. Возможно, этот парень думал, что новость эта — не такая уж для меня ужасная новость. Возможно, он, точно так же, как и о н и, считал, что я заслужил, чтобы такую новость мне сообщали вот так-вот, без церемоний. Ладно, для меня это не горе. Я этого ждал. Я этого хотел. Сам я не мог этого сделать, время сделало это за меня. Но о н и. Хорошие, уважаемые люди. Рабинер Марк, доктор Готлиб, ну а такой добренький доктор Порат? Как могут хорошие, уважаемые евреи взять и зарезать еврейского мальчика? За три месяца до окончания. До «достижения», как вы сами всегда говорили, «цели». За что? Этого мальчика посадили ведь не за воровство или, не дай бог, разбой. Или, может, он тронул кого-нибудь хоть пальцем? Разве у н и х такие тупые головы, разве о н и не понимают, что этот мальчик хочет, чтобы мир стал хорош? И не только на словах хочет он того, чего хочет. Он идет ради этого на все. Сидеть в тюрьмах. Стать мучеником. За что же о н и его еще наказали? Может, от страха? Может, из-за злости? Может, просто старая известная история: хорошие, уважаемые люди. Так лежу я себе на кушетке в первой комнате, возле нашей кухоньки, и старая кушетка скрипит — я все кручусь: повернусь на один бок, потом переворачиваюсь обратно на другой бок. Днем я думаю обо всех моих семинарских делах с улыбкой. Днем я,

кажется, вообще о них не думаю. Ночью, в дреме, в полусне, они всплывают откуда-то из самого-самого нутра. Не улыбкой, а чем-то вроде суда. Все переживания мои, второстепенные и главные, маленькие и большие, ночью, на моей постели, во сне или наяву, превращаются в суды. Возможно, слово «процесс», черновицкий процесс мой, который висит надо мной постоянно в виде поднадзорности, вызывает ночью, в постели, во сне или наяву, все эти антипроцессы, антисуды. Отец в спаленке храпит и стонет, ой да ой. Он еще был тогда, отец, молодой человек, а храпел и стонал, как старик. Дети, по двое и по трое на своих постелях, посвистывают в сладком сне носиками, дуют губками, кто громче, кто тише, кто выше, кто ниже. На улице, возле нашей входной двери, прислонился к стене ночной сторож, наверно, вздремнуть на крылечке, и тоже храпит совсем неплохо. Горит на стене лампа без колпачка на фитиле, возносит над собой на потолок желтый кружок света, как выцветший нимб у святого. Я перестаю различать, когда отец храпит, а когда сторож на улице храпит. Я спрыгиваю с постели, пробираюсь в спаленку и легонько дергаю ногу отца, которая торчит из-под одеяла пальцами вверх — я не хочу, чтобы отец и сторож храпели оба одинаковым храпом. Отец последний раз захлебывается, всхлипывает и открывает глаза. Мама тоже открывает глаза. Она лежит в кровати около отца, свернувшись калачиком, ночью она не разговаривает и не вскрикивает, тихая и воркующая, как голубка. Она расталкивает отца, чтобы он сходил посмотрел, чего я хочу, и отец сидит потом на кушетке около меня в одних кальсонах. Сейчас вот, посреди ночи, хочет он узнать у меня не больше и не меньше: «Ну, что же будет дальше, а?» Я зеваю. «Значит, ты решил, остаешься-таки здесь?» — спрашивает он меня тем же печальным и просительным голосом, как три года назад, когда он спросил меня: «Значит, ты решил, таки уезжаешь?» «Видно, так, — отвечаю я, — пока я остаюсь здесь». — «Что же значит пока?» — «Пока, папа, значит пока». Я лежу и смотрю на потолок, на пятно света от лампы. «Слышишь, а может, было бы дело посреди пасхи поговорить с приличными людьми. Ты ведь знаешь, сейчас как раз нанимают учителей. Середина пасхи — это как раз время. Можно заиметь себе пару учеников». Он хочет, значит, чтобы я снова натаскивал сокровище Залмена-процентщика, выплачивал процент с тех нескольких сотен, которые он пару лет назад взял у Залмена, а процент, не сглазить бы, вырос со временем выше и больше, чем сами эти несколько сотен. «Папа, но сейчас ведь не середина пасхи. Сейчас ночь, поздняя ночь». Отец поднимается с кушетки, отходит от меня, сгорбленный, по-стариковски шаркает ногами. Я слышу, как он в спаленке говорит маме шепотом: «Ой, Рэйзл,

топит меня жизнь, вода уже выше горла!» И мама, тоже шепотом, что-то отвечает ему. Так они шепчут и шепчут друг другу что-то. Я пока задремываю. Вода, в которой тонет отец, чувствую я вдруг, хлещет к нам в дом. Через окна, через чердачный лаз, через печурку в кухоньке. Дом наполняется, как пруд. Папа и мама лежат оба в кровати, накрыв головы одеялом. И хоть воды уже выше горла, я знаю, что от горя на постельках, где по двое и по трое лежат дети, отыщется место, даст бог счастья, еще для одной сестрички. На воде, верхом вниз, как таз, подставленный под течь в поломанной крыше, плавает моя синяя черновицкая семинарская фуражка. А в паре снятых перед пасхой грязных дырявых сапог булькает вода, как бы напевая: буль-буль, буль-буль…

3

Узенькие улочки. Дом к дому. Дверь против двери. Не улочки, а закоулки.

Двухэтажный домик с застекленной верандочкой наверху, с тесными ступеньками вверх к верандочке. Крошечные кривые балконы на портновской улочке. Косые мясные лавки на мясницкой. В окне, между двумя-тремя старыми часами, вывеска с нарисованным циферблатом. На второй вывеске — два человечка со странно-острыми носами. Один человечек сидит, укутанный простыней, второй стоит с закрученными усами, держит поднятые ножницы. На третьей вывеске — пиджак, или сюртук, или женское платье, или поди знай что.

Таблички, вывески, лавки, прилавки, дверь с железными шторами, чердачное оконце, длинные балконы, глубокий спуск в полуподвал с задрипанными окошечками у самой земли, у самого деревянного тротуарчика.

Одна высохшая акация напротив аптеки Рабиновича. Немножко зелени — на замшелой крыше бани. Ночлежка. Заезжий дом. Старая синагога. Портняжская синагогочка. Приличная синагога для «простаков», как рашковские ремесленники называют людей без ремесла в руках.

На самом верху, на передней стене этой синагоги вытесана из камня раскрытая книга, а по обе стороны книги стоят два льва, один против другого, с поднятыми лапами. Над львами полукругом могильным шрифтом выбито: «Стараниями реб Зусие Чоклера». Он, мой дед Зусие, занимался строительством этой синагоги, он ее и снаружи, и изнутри «съархитектировал».

Деды деда, вернее, деды деда деда, наверно, как я понимаю,

всю эту рашковскую архитектуру принесли с собой сюда, в наши края, откуда-то, возможно, из Кордовы, или из Регенсбурга, а может, вовсе из стародавней Праги.

Эта узость и двухэтажность, эта дверь против двери, это прижимание домика к домику не означает, думаю, прежнюю принадлежность к большому городу, урбанизм, так сказать. Это, скорее, прижимание друг к другу во время беды. Наступать на пятки, чтобы чувствовать один другого. Это, скорее, свидетельство древней гетто-архитектуры.

И наверно, из-за этого таки самого она и дальше так поддерживалась, передавалась из поколения в поколение, не выродилась за долгие столетия.

Отец, в высокой черной кушме и в меховой безрукавке, с темным, выскобленным лицом и запавшими щеками, с морщинками вокруг носа, вокруг черных глаз, на лбу, с его бесхитростностью и честностью — он весь здешний, рашковский, молдавский еврей. Где-нибудь в другом месте среди тысяч узнаешь, откуда он. Однако, вслушайся как-нибудь в его всхлипывающий вздох, когда он стоит под вечер, озабоченный, на пороге нашего дома; вглядись в водянистый блеск его печальных глаз; перехвати его взгляд, когда кто-нибудь постучит ночью в окно. Красиво говоря: из глубин столетий тени древних гетто, запах тел, горящих в пламени костров.

Нашу родню с папиной стороны в местечке называли «бней-софрим» — дети писателя. Я уже как-то об этом рассказывал. В то время — когда еще было у кого — мне не пришло в голову разузнать или просто кого-нибудь хорошенько порасспрашивать, в каком поколении мой предок грешил пером, как его звали и как он выглядел; был он хорошим человеком или плохим человеком. Бедным или не очень бедным; что за книги он писал; как писал и ради кого писал; был ли он писателем, настоящим писателем, или просто переписчиком. Во всяком случае, тетей и дядей отца, двоюродных его братьев и сестер и их детей, более близких и более дальних родственников наших — детей писателя, внуков и правнуков — писатель никаким особо важным наследством не обременил. Без особой цели в жизни выпустил в мир. Все были похожи один на другого. Глаза черные, лица землистые. Бедняки с гонором. Они могли неделями сидеть без куска хлеба в доме и не пикнуть. Мудрое слово, философствование, доморощенную хитрость, или просто полдня на голодный желудок стоять и рассказывать какую-нибудь историю — они не променяют на лучшее жаркое богача. На словах можно сдвигать горы, поднимать города, перевернуть мир. А разобьется стекло в окне — они будут сидеть всю зиму, заткнув стекло подушечкой,

пусть задувает, пусть продувает — не такое уж это большое несчастье. Они горячие. Огонь прямо, большие герои — дома, между собой. На улице, среди людей, они ходят обмякшие, маленькие, забитые. Одно да: слово «бней-софрим» — дети писателя — они выговаривают с блеском в глазах, свысока. Что правда, то правда: прадедом-писателем гордятся внуки, наследники его. С особой целью в жизни — нет, но с очень большой важностью — да, выпустил в мир детей своих, внуков и правнуков мой прадед, писатель. Я говорю это без улыбки, без малейшей иронии.

Вот идет, скажем, через улицу, по подсохшим тропкам, сестра деда Ихил-Аврома, папина тетя, Годл.

За ней следует дочь ее Шейндл.

Тетя Годл махонькая, низенькая. Шейндл — худая и длинная. Обе уже старухи. Тетя Годл, знаю я, уже много лет вдова, а дочь ее, Шейндл, сидит много лет в девах — уже и неудобно как-то называть ее девой, даже старой девой. Тетя Годл поддерживает свое платье рукой, чтобы это платье ее красивое, не дай бог, не измазалось понизу грязью. Шейндл шагает с палкой. Какая она длинная, а палка еще длиннее. Она держит ее не сверху, за конец, а посередине. Ради чего ей нужна такая длинная палка, только одному богу известно. Наверно, чтобы выглядеть возле нее немножко короче — еще есть, значит, на свете кое-что подлиннее, чем она. Два бурнусика их так обложены и обшиты заплатами, что, будь ты семи пядей во лбу, не отыщешь свободного места, чтобы пришить еще одну, если понадобится.

Тетя Годл замечает меня и подзывает к себе.

— Ты только посмотри, — говорит она, — Шейндл, не сглазить бы, Ицика мальчик.

Она опирается рукой о мое плечо и тяжело дышит. Шейндл смотрит на меня сверху вниз, смотрит искоса, чем-то, кажется, недовольна.

— Вылитый Ицик, — говорит тетя Годл, — чтобы ребенок был так похож на отца!..

— Папин ребенок… — ворчит Шейндл раздраженно, грубым голосом.

— Ты ведь приехал, знаю я, из большого города, — произносит тетя Годл, — ответь же мне только, прошу тебя, там тоже есть бедняки?

— Мама, оставь бедняков. Спроси его лучше про босяков, про безбожников…

Тетя Годл задает мне много вопросов, но ответов моих толком не слушает. Ответы ей не нужны. Потом она сообщает мне, наверно, самое-самое главное, что она имеет мне сказать:

«Ай, порядочный человек был твой дед Ихил-Авром, ай, порядочный!» А потом она спрашивает меня, наверно, самое-самое главное, что она имеет меня спросить: знаю ли я хоть толком, откуда мы все происходим? Когда Шейндл слышит слово «писатель», два слова «дети писателя», ее лицо начинает сиять таким сиянием, прямо как будто сейчас вот, в эту вот секунду, покинули ее все несчастья, все горести, а она — самый наидобрейший, самый наисчастливейший человек на земле.

С чего, собственно, живут тетя Годл с ее дочкой Шейндл? Живут. С ничего живут. Возятся иногда, никому такого не пожелаешь, около покойницы. Знают законы, тихо командуют обмывальщицей, родными покойной. Знают, что нужно раньше делать, а что нужно позже делать. Потом, в первую поминальную неделю, заходят в осиротевший дом утешить сидящих в трауре, подать им что нужно. Делают то есть только хорошее. Добрые дела. Подаяний даром, боже упаси, не берут. Даже если будут десять раз на дню, не дай бог, умирать от голода.

Или, например, наш Шапсэ. Сын папиного дяди. Родной двоюродный брат, значит. Еще один внук или правнук писателя.

Шапсэ — это было имя в Рашкове. Его знали все от мала до велика. Он был вхож во все рашковские дома. Точнее, к дверям, к порогам всех рашковских домов.

Его одежда и его вид: пиджак с длинными рукавами висит на узких плечах, как на ребенке, который напялил на себя отцовскую одежку; черно-седая раздвоенная бородка; одна рука и одна нога парализованы — рука скрюченная, висящая, нога прихрамывающая, постукивающая, как деревянная; черная шапка на голове; черные горящие глаза.

С суженой своей, с Эстер (рашковские умники звали ее Царица Эсфирь), без детей, разумеется, Шапсэ жил в видавшем виды домишке где-то внизу, у Днестра, между тремя водяными мельничками и уважаемой рашковской баней. Не знаю почему, уличные мальчишки, проказники, именно на крышу этого самого домика Шапсиного любили бросать камни, лежать, спрятавшись под заборчиком, и помирать со смеху, глядя, как тетя Эстер, Царица Эсфирь, выбегает, растрепанная, и кричит во весь голос: «Ша-псэ, ка-ра-ул!»

С таким видом, с такой одеждой и с таким счастьем Шапсэ мог бы быть на порогах рашковских домов первым среди первых. Но опять то же самое: писательский гонор, гордая нищета — попрошайничать не попрошайничают, даром свой кусок хлеба не едят.

Такой вот, хромой, кривой и несчастный, он трудился больше, чем многие благополучные евреи в Рашкове. Он запряг в

узду сверхъестественную память свою — тоже, наверно, наследственную. Он стал своего рода живой рашковской летописью. Памятью всего местечка. Вот стучится он наверху, на горе, в дверь: у вас завтра поминальный день по бабушке Песе, царство ей небесное; или где-то внизу улицы: по дяде Боруху; или по крошке Янкеле, который покинул мир, бедняжка, на другой день после обрезания. С рукавами длинней, чем руки, он хромает по кладбищу между могилами, показывает тот бугорок, где много лет назад похоронили крошку. Отыскивает старый стершийся памятник, никто уже не знает, кто под ним лежит, вваливается вечером домой, к Эстер, промерзший и посиневший, с несколькими черствыми бубликами и парой грошей в кармане, праведно заработанными и честно заслуженными. Рашковец, известно, немножко завистник: никто никогда не сказал, что с такой редкостной памятью, как у Шапсэ, другой человек, в другие времена, пошел бы очень-очень далеко. Рашковец, однако, любит тонкую издевку: вот Шапсэ, сказали, будь он поумнее, мог бы с такой отточенной памятью стать богачом. Не может он разве говорить об одном и том же поминовении четыре раза в год?..

Так и блуждали между узкими рашковскими улочками внуки прадеда-писателя. Я, бывало, думал, что Шапсэ и тетя Годл с ее дочкой Шейндл, которые должны, значит, возиться вокруг мертвых и умерших, обслуживать старый, мертвый мир, сами ходят как живые покойники, ходят над бездной, между жизнью и смертью, между бытием и небытием.

Я мучил их и мучился сам, на них глядя. Записать мне их тоже в список обманутых и обиженных, униженных и оскорбленных? Как? Чем? Кто захочет взять их с собой? Пусть живые покойники тихо отойдут в свой покой, исчезнут.

Теперь, после Черновиц, в те несколько недель дома между пасхой и швуэс, после того как я отсидел пару месяцев в тюрьме и после того как повзрослел там на пару лет, я стал вдруг думать, что они, несчастные и бедные родные мои, тоже идут в счет. Я шел на муки и страдания и пойду и дальше на муки и страдания, чтобы и они, эти несчастные гордые бедняки, тоже числились в этом мире.

Может быть, именно в те дни старый рашковский книгописец через долгие годы, через поколения несчастных и забитых своих «бней-софрим», опять завязался в своем дальнем-дальнем внуке.

4

«Что же будет дальше, а?» Извечный папин вопрос. Вопрос и

себе, и миру, когда ребенок лежит больной, когда ребенка, не приведи господи, теряют, когда ребенок подрастает, когда долгов выше головы, когда все идет вкривь и вкось, когда муторно на сердце — а когда отцу не муторно на сердце?

Можно так все спрашивать и спрашивать, это «дальше» все дальше и дальше передвигать, до… до… самого последнего дня — отспрашивал, отдрипал жизнь, как он сам, отец, любит говорить.

Этот вопросик свой он мне больше не задает. Он уже молчит. Пока так пока. Я выполнил его желание и пока, пока что, пока я еще здесь, дома, нагрузил на свои плечи (чуть не сказал: на свой горб), как нагружают на верблюда, «уроки». Целых десять — двенадцать уроков. Десять — двенадцать домов (опять «дома», «пороги»), куда я захожу каждый день, каждый раз на три четверти часа, чтобы сидеть и заниматься с маленьким ученичком. Я сижу, разумеется, не с указкой в руке и не с ермолочкой на голове, как старый ребе. Но по мне, так оно выглядит той же Ентой, только в другом платке. Наоборот: я еще и хожу к ним, отношу еще каждому в отдельности свой товар на дом. Точно такие же «уроки», такое же «учительство» тащил я на себе два года назад, три года назад, до того как вырвался в большой мир. И удрал я, как мы хорошо знаем, в Черновцы, в семинарию, якобы совершенствовать себя как учителя, чтобы из такого вот учительства вырваться. Сейчас, после того как произошло то, что произошло, и я уже из семинарии тоже вырвался — ну, пусть меня вырвало, — хожу я лишь опять здесь, в Рашкове, с утра до вечера в десять — двенадцать домов и делаю лишь опять то же самое, что делал здесь два года назад, три года назад. Хорошенькая история. Хорошенькое дальше.

Но если подумать, так не страшно.

Там, в большом городе, я разве не давал уроков? Больше того: я помню тот счастливый день, когда нашел там таких вот пару уроков. Правда, там я давал уроки между прочим, так сказать, чтобы содержать себя, не голодать и иметь возможность и дальше делать главное. Здесь, вижу, они, уроки, — главное. С утра до вечера хожу я в эти десять — двенадцать домов, тащу на себе эту нелюбимую поклажу, как мне наверно присуще, не фальшивя. И даже вкладываю в это, как бы то ни было, сердце, мысль. Никогда никуда не опаздываю. Делаю все, чтобы ученики меня любили. Чтобы ждали с нетерпением. Одним словом, чувствую, что эта нелюбимая ноша, эта гора на плечах, может меня потихонечку-понемножечку просто раздавить.

Не страшно оно вот из-за чего. Во-первых — пока; во-вторых — помочь все-таки отцу расправить немножко плечи; в-

третьих — как бы то ни было, это занятие, то есть не слоняешься впустую, не бездельничаешь.

Кроме того, может, так вообще лучше, а? С Рашковом, я знаю, не играются. Раньше, два года назад и три года назад, меня мало трогало, что люди будут говорить. Наоборот: чем худшее люди говорили, тем это лучше, думал я, для меня. Не то чтобы из какой-то зловредности, а как хороший признак, что прав я. Что вся кривизна мира не выправляется только потому, что люди предпочитают скорее оставить грязь, чтобы она стояла так, как она стоит, чем чтоб кто-нибудь тронул ее, всколыхнул. Хорошо ли, плохо ли, горько, кисло, но пусть уж будет так, как есть. И чтобы никто не хотел что-нибудь переставить, перевернуть, лучше сделать. С рашковскими мудрецами не играются. Два года назад, когда я однажды на театральной афише вывел красивыми печатными буквами слово «суббота» не по-древнееврейски — без гласных, а просто, как мы говорим, на обыкновенном идиш — что-то вроде: «Сегодня, в субботу, такого-то и такого-то, там-то и там-то, будут играть пьесу «Деревенский парень», так целая толпа окружила наш дом и требовала у отца, чтобы он им меня выдал. Их не радовали ни красиво разрисованная афиша, ни театр, которого уже давно в Рашкове не было, а сегодня, в субботу, будет. Слово «суббота», которое было написано не так, как его до сих пор писали, вывело их из себя. Они это называли «осквернение». Их приход в святую субботу с палками в руках, их желание в святую субботу разорвать меня на куски, это, разумеется, не называлось «осквернение». Отец стоял на пороге бледный, с белыми дрожащими губами, но не испугался, был на моей стороне — крикнул в толпу: «Дикари!» Я со смехом выбрался из дома через заднюю дверь, поднялся к Жене, и лишь там, вместе с Жениной матерью, мы все хорошо посмеялись. Вечером все-таки в театре стояли чуть не друг на друге. Я в «Деревенском парне» играл Янкеля Бойле, Женя — Наташу, публика чуть не разнесла зал, хлопали и хлопали. И кажется, среди хлопавших было несколько «дикарей» тоже. Но тут уже скорее работала сила театра, чем слабость рашковской уступки. Рашковец как раз не любитель вот так-вот, в два счета, уступить. Есть в рашковце такая закоренелая упертость, что не уступит тебе, хоть стой на голове. Тогда, однако, два года назад, меня это мало трогало. Наоборот, я даже рад был этому.

Точно так же, можно сказать, меня мало трогало и даже радовало, когда однажды, на другой день после Судного дня, разнесся слух, что несколько наших ребят вчера, в самый день суда, когда рыба дрожит в воде, не только не постились, как постятся все евреи, но еще пошли к крещеной Гитл и объелись

трефной колбасой. Назло, значит, царю царя царей и назло целому городу евреев. Был это пустой слух или не пустой, но я рад был видеть, как эти «дикари», божьи стряпчие, как зовет их Менделе, бесятся, как они готовы резать, душить, стрелять, вешать, забрасывать камнями, топить, травить, сотворить все казни, перечисленные в главной молитве Судного дня, в общем, показать, как выглядят они вместе со своим милосердным богом. Правда, в этот раз отец тоже ходил весь вечер но дому надутый, не смотрел в мою сторону и ни слова в мою сторону не произнес.

Теперь, после Черновиц, эти вещи выглядят для меня местечковым мальчишеством. С Женей я больше не встречаюсь. Или Женя не встречается больше со мной. Я ведь уже называюсь сидевшим, а Женя как-никак называется порядочной дочерью, девушкой на выданье, которая должна не сегодня завтра идти под венец. Даже просто в театре играть ей уже не к лицу. От Малии до Жени такая же даль, как между всем тем, что я делал там, в Черновцах, и этими мальчишескими выходками, которыми я упивался здесь два года назад и три года назад. Я вижу себя более взрослым, углубленным в себя, вдумчивым. С друзьями моими ни вечером на низ улицы, ни даже в субботу днем в Гитманихин сад или в Климауцкий лес на прогулку я больше не спешу. Трех моих прежних друзей из «Главы Рашков», Вигдора, Нисла и Нюки, в местечке нет. Нюка служит. Вигдор и Нисл работают оба в Яссах, один портняжит, другой столярничает. Арка и Фридл, правда, хорошие, понятливые ребята, сознательные, как тогда говорили, уже, наверное, немножко делают что-то в местечке, и оба одного со мной возраста или, может, даже на год или два старше, но мне они кажутся совсем зелеными, совсем молодыми, или им кажется, что я держусь старше и важнее — настоящего разговора и большой дружбы что-то не завязывается между нами. Кроме того, я хорошо помню, что называюсь уже сидевшим. Выпустили меня из тюрьмы пока, до процесса. Может, мне до тех пор нельзя было уезжать оттуда. Никто этого здесь не знает. Я сам тоже притворяюсь незнающим. Ради чего же опять шуметь, горячиться, бросаться в глаза? С Рашковом, мы ведь сказали, не играются. Так может, вовсе и не плохо, что я тащу на плечах эти несколько добропорядочных уроков моих, хожу с утра до вечера каждый день в десять — двенадцать домов, каждый раз на три четверти часа, чтобы добропорядочно, как ни в чем не бывало, сидеть и заниматься с маленьким ученичком. Может, уговариваю я себя, так лучше?

Что же будет дальше, а?

Я напеваю эти пять слов на заунывный мотивчик. Вдруг, ни с того ни с сего. И шести-семилетний ученик мой, Пейси Ривилиса

младшенький, Хаимл, поднимает на меня от тетради глазки, перестает жевать кончик своего язычка, смотрит на меня секунду, трудится дальше над предложением, с головой уйдя в тетрадь, и точно на такой же заунывный мотивчик, наверно передразнивая меня, повторяет тихо сквозь зубки, как дальний-дальний отголосок: что-же-будет-даль-ше-а?..

Отец не задает мне больше свой извечный вопрос. Я задаю его себе сам.

5

Я опять должен свернуть немного в сторону и здесь вот, если уж зашла речь о прежних рашковских друзьях и дружках моих, посвятить пару страниц Хоне Одесскому.

Я хочу, чтобы эти страницы стояли отдельно, выделялись, как памятник его недолгой жизни. Отдельный памятник полагается ему.

Я и в сторону сворачиваю, и перепрыгиваю на десяток лет вперед.

В украинском местечке Кодыма, совсем недалеко, на той стороне Днестра, где-то между Балтой и Бершадью, стоит в лощине высокий мемориальный камень с несколькими сотнями выбитых имен. Здесь, в яру, у склона горы, лежат расстрелянные и заживо погребенные в те первые недели войны, когда гитлеровские убийцы прошли через Кодыму.

Весь Рашков эвакуировался. Весь Рашков. Без преувеличения. И стар и мал, дети и взрослые. Оставили все нажитое, домишки и все, что в домишках, чердаки и подвалы, даже небогатую постель, даже горшок супа, что варился на припечке. Кто на подводе, кто пешком, кто переправился на пароме, кто на лодке, а кто просто переплыл. Одним словом, весь Рашков пошел за Хоной Одесским. Сделали то, что Хона Одесский посоветовал. То есть кому советовал, кого просил, а кого, говорят, даже стращал, хватал за грудки, честил, что и вовсе уж не было на него похоже, всех предков. Перед кем перед кем, а перед Хоной самые большие рашковские упрямцы стали мягкими, как тесто. Такую силу имел в себе Хона. Особенно в такое время, в таком горе, когда самые большие упрямцы сами не знали, надо ли упрямиться на «нет» или, может, правильнее упрямиться на «да». Остались только пятнадцать — двадцать стариков и старух. Собрались все в одном доме. Старики — завернувшись в свои талесы, старухи — с молитвенниками в руках. Такими и застали их, бедняг, их убийцы, румынские фашисты, выволокли всех на улицу и прямо

так, стариков завернутыми в талесы, старух с молитвенниками в руках, сбрасывали по одному в глубокий колодец, засы́пали ими колодец доверху, забили потом крышку гвоздями.

Весь Рашков эвакуировался, но мало рашковцев спаслось. На подводах и пешком, медленно едущие и тяжело идущие, люди, которые до тех пор никогда в своей жизни из местечка никуда не трогались, были в конце концов настигнуты, захвачены немецкими убийцами в тех местах, где они остановились, и — кто сразу, через несколько дней, кто позже, дальше — уничтожены были там же на месте, или потом, на дорогах обратно, или месяцы спустя на дорогах в Транснистрию, или еще позже, в самих транснистренских гетто.

Большая часть Рашкова, самый цвет, можно сказать, — молодежь, молодые люди — лежит под высоким кодымским мемориальным камнем. На мраморной плите, прикрепленной к нему, перечислены эти рашковские герои. Первым среди них, сверху, стоит Хона Одесский.

Приписать Хоне Одесскому особого, необыкновенного геройства я не могу. Точно, как и что произошло, некому было мне рассказать. Говорят, у рашковских ребят нашли оружие: винтовку, якобы пару гранат. Как попало к рашковским парням оружие? Большой стрелок он был, Хона Одесский? Говорят, рашковский мальчик набросился на немецкого офицера и сорвал с него погоны. Просто так, значит, набросился на немецкого офицера и сорвал погоны? Нашлись даже умники, которые сказали, что виноват во всей этой истории таки он, Хона Одесский. Сразу, как только все оказались захваченными в Кодыме и как ни есть разместились по домам, где-то в школе, в пустом бараке, Хона Одесский ходил и бунтовал народ: не надо молчать, надо начинать что-то делать, не надо сидеть сложа руки. Может, было еще слишком рано, говорят умники. Они ведь пока никого не трогали, так надо было их трогать? Я тоже говорю, что виноват во всей этой истории Хона Одесский. И именно поэтому посвящаю я его светлой памяти эти страницы. Ставлю рядом с кодымским мемориальным камнем маленький отдельный памятник.

Одна женщина, одна из немногих оставшихся в живых тогда, в Кодыме, и потом, после Кодымы, рассказывала мне, что она стояла на горе и своими глазами видела, как внизу, в лощине, расстреливали рашковских ребят. Отцов и матерей, жен, сестер, родных и просто рашковцев убийцы согнали наверх, на гору. Чтобы все всё видели сверху своими глазами. Хона Одесский стоял перед солдатами с нацеленными ружьями, выдвинувшись немного вперед. Он начал вдруг что-то кричать или петь что-то.

Точно разобрать было нельзя. Но, кажется, петь. И кажется, даже слова «Это есть наш последний…». Потому что ружья начали стрелять как раз тогда, когда остальные ребята уже тоже кричали или пели. И этот крик или это пение, перемешалось со стрельбой, и сюда, наверх, доносились только какие-то обрубленные отголоски.

Потом убийцы согнали родных вниз и стали совать им в руки лопаты. Люди бились над убитыми в истерике, теряли сознание, рвали на себе волосы. Солдаты ружьями и лопатами били их по головам. Требовали, чтобы те начали рыть. Кто-то крикнул: «Люди, мертвых все равно надо похоронить!» Сейчас уже наверху стояли солдаты. Стояли с нацеленными винтовками в руках. Когда яма была уже вырыта, покойники опущены в нее, началась лишь стрельба. Одни упали в готовую могилу, другие разбежались и остались лежать вокруг, на склоне горы. Не передать тех воплей, криков. А крови…

С тех пор как Рашков есть Рашков, он такого не переживал. Разве что когда-то, поколения назад, еще до того, как Рашков стал Рашковом, во времена инквизиции, кровавых боен, когда евреев тоже вот так-вот ни за что ни про что бросали в костры.

Получилось, слышите, как будто внуки тех палачей и убийц пришли сюда, в наши края, чтобы внуков тех, прежних жертв и святых отыскать и работу дедов своих завершить, сделать до конца, как положено…

Я возвращаюсь назад, к тем предпасхальным и послепасхальным нескольким неделям моим дома, и вижу Хону Одесского в его светлой летней тужурке с четырьмя накладными карманами. Так он до конца своей жизни любил ходить — в тужурке с четырьмя карманами.

Хоть ему нет еще и полных двадцати лет, пробивается уже на голове приличная лысинка; две широкие залысины по обеим сторонам лба.

Он курит папиросу, сощурив глаз, как будто только-только начал курить и с горькими завитками дыма еще не подружился. Хотя курит он с детства. А дома ему с детства разрешали курить по двум причинам: во-первых, потому что он у них один-единственный и неповторимый, — попробуй ему не разреши, во-вторых, у Одесских такая семья — детей приучают с мала самим стоять на ногах, сами должны они знать, что для них хорошо, а что не хорошо.

В Рашкове дом Одесских считался очень интеллигентным домом. Фройке Одесский, отец Хоны, ходил всегда с бритой головой. О бороде уже и говорить нечего. То есть таки бритый со всех сторон. Он был недоучившийся провизор. Не доучился он

где-то в далеком русском городе потому, что доучивание это все тянулось и тянулось — то до после свадьбы, то до первых двух детей, пока не стащило его сюда, в Рашков, и он для себя решил, что недоучившийся провизор тоже что-нибудь да значит. Он держал в Рашкове что-то вроде маленькой неофициальной аптеки. По секрету всему свету продавал он из-под прилавка мазь, полоскание, микстуру, какой свет еще не видывал, им самим скомбинированную и годную для всего, какой-нибудь заумный порошок и всякие прочие снадобья. На виду лежали в стеклянном шкафчике несколько пахучих кусочков мыла, пара тюбиков крема, флакончики одеколона, бандаж, спринцовка и всякие прочие аптекарские штучки, которые можно продавать, даже не будучи настоящим провизором.

Были у Хоны две сестры. Одна — Бетя, с грубым мужским голосом, с коротко стриженными волосами, шумная, подвижная, беспрерывно болтающая. Вторая, Аня, наоборот — с длинной косой на спине до самых пят, с изможденным бледным лицом, тихо ходит и тихо говорит, можно даже сказать, больше молчит, во всяком случае — всегда смолчит.

У Одесских в доме больше говорили по-русски, чем по-еврейски. И не только Фройке и дети между собой. Но даже Одесскиха, Хонина мать Брайна, простая будничная еврейка, которая могла остановиться поболтать с соседкой около дома часа на два и сыпать рашковским идиш со всеми проклятьями, любила между прочим, тут и там, закинуть русское слово. Как например, «короче говоря» или «не без того», и вдруг совсем перейти на русский, так что соседка, ее собеседница, стоит и плечами пожимает, ведь это, кажется, не больше, думает она, чем повседневная болтовня о том о сем, о пятом-десятом, и куда вдруг клеится тут русский ни с того ни с сего.

Бетя и Аня, из числа девочек постарше, прочли в рашковской библиотеке те несколько полок русских книг, что остались там еще с прежних времен; а кроме библиотеки, кроме, скажем, Пушкина, Герцена, или Достоевского, или даже Горького, доставали еще иногда — видимо, через отца, через Фройке Одесского, который, бывало, ездил в Кишинев за товаром для своей аптекочки, — Блока, Есенина, даже Маяковского; и не только прочли все это, но выучили наизусть, чтобы вечером в пятницу, за столом, или субботним днем, когда собирается компания, встать, особенно старшая, молчунья Аня, и декламировать их наизусть с тихой грустью в голосе и, кажется, даже, с поблескивающей влагой в глазах.

Хона Одесский сам по себе научился играть на скрипке. То есть это только говорится так: сам по себе. Его часто встречали

шагающим со скрипочкой в руках в сторону Климауц, к Тодэрикэ-лэутару. Для многих рашковцев навеки осталось загадкой, что вдруг единственный сын Фройки Одесского, Хона, такой деликатный и с такой головой на плечах, ни с того ни с сего бросил сорокскую гимназию, ни с того ни с сего стал вдруг музыкантом, стал ходить с компанией Тодэрикэ играть по деревням на свадьбах, на жоках у качелей и даже, без капли стеснения, здесь, в городе, на еврейской свадьбе тоже.

Говорили, говорили и в конце концов, по рашковскому обычаю, замолчали. Загадка — загадка. Если тебе, реб отец Фройке Одесский, нравится, то нам, сторонним людям, и вовсе ладится. У нас у всех, слава богу, свои собственные ноши со своими собственными напастями.

Чем-то Хона Одесский был не такой, как все. Не такой даже, как любой из наших, из рашковских левых в те годы. Левизну свою он не выставлял напоказ. Не носился с ней. Она не была у него веянием моды. Понятия Революция, Советская Россия, Коммунизм пришли к нему не извне, не из самого бессарабского воздуха, который раскален был ими в то время. Он долго в них копался. Они взросли в нем изнутри, потихоньку, постепенно. Наверно, еще с малых лет, дома. Свою левизну он носил в себе постоянно и глубоко запрятанно. Он вообще выглядел как-то таинственно, немножко не от мира сего. Видимо, из-за этого каждый его «ненормальный» шаг был для рашковцев загадкой, вызывал пересуды на крылечках. Почему бросил гимназию? Почему вдруг музыканты? Почему Хону Одесского угораздило вдруг влюбиться в Мойше-маляра дочку, простую девушку из закоулков? Но раз уж Хона Одесский влюбился, то никакие уговоры не помогли. Опять говорили, говорили, пока и с этим ненормальным шагом свыклись. На сей раз даже в доме были против этой влюбленности. Из чужих, однако, никто об этом не знал. Ели друг друга поедом, но — дома. До тех пор пока Хона не женился в конце концов на дочке Мойше-маляра и не ушел из дома — жить-таки туда, в закоулки, к Мойше-маляру.

Но это уже произошло много позже. За три-четыре года, не больше, до Кодымы…

Вот вижу я, как мы гуляем оба в послепасхальных сумерках наверху, в тихом переулке возле поповского двора, между двумя рядами каменных заборов, что огораживают виноградники.

Раньше, до Черновиц, я с Хоной не очень дружил. Мне казалось всегда, что он меня не уважает, смотрит на меня сверху вниз. Из-за этого я его тоже недолюбливал. Уже тогда, наверное, я не любил того, кто не любит меня. Сейчас, после Черновиц, приходит ко мне Хона каждый вечер, вызывает меня из дома,

говорит по-дружески: «Пойдем, прогуляемся немного».

Хорошие вечера. Виноградники уже в листьях. Деревья здесь, за городом, в молдавских дворах, уже отцвели, зазеленели. Солнце заходит где-то наверху, на рашковской горе, отсвечивает, поблескивая во всех окнах напротив, на той стороне Днестра, в советском Рашкове. Каменные заборчики виноградников такие низкие, что мы можем поставить на заборчик ногу, упереться локтем в колено, а в ладонь — лицом, и так стоять какое-то время без слов, просто смотреть напротив, на ту сторону Днестра. Туда.

В тот вечер, помню, я аллегорично сказал:

— Солнце заходит и солнце восходит…

Слово «аллегория», благодаря, наверное, перецевским[1] многоточиям, было тогда очень популярно в бессарабских местечках среди наших.

Хона усмехнулся. Он не любитель таких крылатых выражений. Он тут же взял меня под локоть, наверное, чтобы усмешку свою загладить, извиниться за нее.

— Послушай, — сказал он, — давай сегодня говорить конкретно (слово «конкретно» тоже было тогда популярным словом). Ты думаешь что-то делать со своими детьми?

— С детьми? Делать?

— Да. С ними. С учениками твоими.

Он шел в тот вечер все время рядом, обняв меня. Для того, видимо, чтобы тон, которым он говорил, не показался мне снисходительным. Он говорил таким тоном, будто не я — он вышел только что из тюрьмы, прошел уже огонь и воду. Я передаю его речи растрепанно, приблизительно. Он, сказал он, в большой город не рвется. Он остается здесь. На столько, на сколько это будет возможно. Отсюда он не уезжает. Что такое, здесь больше нечего делать? А в селах вокруг Рашкова уже что-то сделано? Хоть он еще не проверил, за что я сидел, и как именно меня выпустили, и будет процесс или не будет процесса, и хоть Рашков, как известно, Рашков, и в таких случаях могут ходить различные толки, — он ни к кому не прислушивается и верит мне. Между нами обоими, сказал он, довольно много общего. Не в том, что он бросил гимназию, а я семинарию, — вообще во многом. Так ему кажется. Доказательство, что он мне верит, — вот он мне рассказывает, что в Рашкове сейчас ведется работа. И немалая работа. Везде. Среди молодежи. Среди ремесленников. В обеих магалах. Даже среди девушек, что работают на горе, на табаке. И просто среди людей. Везде, где наболело и нагорело, где ждут нашего слова и где наше слово по душе. И чего это я так дернулся, когда он спросил меня про детей? Что же, среди детей, думаю я, уже совсем нечего делать? Это как раз хорошо, сказал

он, что мне подвернулись мои десять — двенадцать учеников. Сегодня это маленькие дети, завтра, через несколько лет, — глянь — это уже большие мальчики, люди. Это уже мы. Тихо, деликатно, тонко надо вдохнуть в них чувство, искру. Разве я не знаю, что из искры возгорелось пламя? Если я думаю, что с музыкантами Тодэрикэ на сельских свадьбах он просто играет, получает свои пару копеек за игру, и все, отыграл и дальше пошел — то я сильно ошибаюсь. Революционером, считает он, надо родиться. Это — как особый талант. Не каждый имеет, например, красивый голос. И не каждого, скажем, тянет к игре на скрипке. Это не из тех работ, что сделал, верстак убрал и освободился, закончил работу. Это работа, которую делают днем и ночью, всю жизнь. От нее никогда нельзя отделиться, как нельзя отделиться от таланта, которым навеки одарены. Разве что суждено несчастье, и ты теряешь талант. Или растопчешь его собственными ногами. Такое тоже случается. Ого! Еще как случается такое!

Хона все время шел и говорил. Я молчал. Я только, помню, думал: на́ тебе — Хона Одесский. И на тебе — Рашков. Про Хону я еще расскажу позже. В дальнейших главах.

6

Между пасхой и швуэс.

Два дня швуэс были мои два последних дня в Рашкове. На долгие, долгие годы. Можно даже сказать, навсегда.

На завтрашний же день, когда я шагал с одного урока на другой, шагал себе, как обычно, задумавшись, посередине улицы, вдруг, как из-под земли, вырос передо мной рашковский жандармский шеф, шеф-де-пост, как он назывался, со своим маленьким толстеньким жандармчиком за спиной, которого в Рашкове звали Кусачий. Рашковский шеф-де-пост, помню, был худой, изможденно-костлявый, с длинным острым носищем, с глубокими впадинами на щеках, с маленькими, быстро бегающими глазками. Его синий френч, перекрещенные ремешки, погоны и аксельбанты висели на нем, болтаясь, как на вешалке, им просто не на чем было держаться, вот-вот выскользнет он, бедняжка, из них всех. Но такой вот, худющий, нескладный, он был страшный изверг. Не один мещанин чувствовал на себе, где-нибудь на спине или на плече, все пять худых костяшек жилистой руки шефа-де-пост. Хлопнуть по спине, ткнуть под дыхало, якобы по-приятельски, в шутку. Он, кто шутит, получает капельку удовольствия, а тот, с кем он шутит, чтоб чувствовал и помнил.

Не говоря уже о том, когда в его благородие вселялся бес. Двери запирались на засовы, окна — на крючки: бешеная собака бегает по улице с пеной у рта. У него, однако, было большое достоинство: брал. Брал — одно удовольствие, как говорили лавочники в Рашкове. Достоинство, однако же, говорили снова, ходило в паре с большим недостатком: еще до того, как он брал, он сразу же забывал, что брал, и иди судись с ним, иди сделай ему что-нибудь. Маленький толстенький жандармчик всегда ходил сзади шефа-де-пост с коротким ружьем на плече, с коротким ружьем, которое из-за его, жандармчика, невысокого роста выглядело длинным. Ему в местечке дали имя Кусачий, потому что однажды вечером он Менаше-сапожника парню Бурцие, Бурцие Менашеному, за то, что он встретил того поздно на улице, запрыгнул на спину и сильно укусил его в голову. Рашков над этой историей смеялся. Смеяться-таки смеялись, но кошки на душе, понятно, скребли.

Шеф-де-пост положил мне на плечо свою узловатую руку: стой, значит, и не двигайся с места. Он спросил, тот ли я и тот, то есть я ли я. Жандармчик по всем правилам сорвал с плеча ружье. Точно в тот самый момент и в том самом ритме, в котором шеф-де-пост здесь вот, посреди улицы, объявил мне:

— Ты арестован. Пошли!

Я шел якобы спокойно, немножко окаменевший, якобы хладнокровный. Мне показалось, что люди в дверях по обеим сторонам улицы вглядываются с ладонями-козырьками у лбов, как меня ведут, и не могут себе толком представить, что здесь только что, средь бела дня, произошло. Но это мне только показалось. Еще до того, как меня провели перед нашим домом, кто-то туда уже должен был раньше прибежать и рассказать эту хорошую новость. Потому что мама уже стояла на улице растрепанная, с красным заплаканным лицом, рвала себя за щеки, заламывала руки. Губы ее подрагивали, и я слышал, как она меня спросила — или она спрашивала саму себя:

— Что уже опять такое, а? Горе мне, господи, за что?..

Мы завернули в другую улочку, наш дом остался далеко внизу, а я все еще видел мамины дрожащие губы, все еще слышал тихие, рвущие душу причитания.

Надо же, лишь вчера, во второй день швуэс, день у меня был такой хороший. Мы собрались все у Сорке Герценштейн на гулянку. Сорке Герценштейн как раз два дня назад вернулась из Ясс с особо редким тогда успехом: сдавала бакалавриат и выдержала.

Соркин отец, Хаим-Рувн Герценштейн, был простой человек,

отнюдь не большой ученый, всю неделю, с рассвета в воскресенье и до заката в пятницу, когда зажигают уже свечи, мотался он по деревням с лошадью и тележкой: кляча — кожа да кости меж двух оглоблей, потрескавшаяся бочка сверху посреди тележки, вот с этой упряжкой он ездил и скупал в деревнях мед и щетину. Хорошенькая смесь: мед и щетина. Он был простой, широкоплечий деревенский еврей. Грубоватый голос, чаще молчавший, редко-редко слово скажет, буркнет что-то, во всяком случае в субботу, дома, среди городских, а особенно среди Соркиных друзей, которые заходят в дом и говорят о таких высоких материях, что не разобраться, можно только стоять просто так и слушать, тихонько, про себя, радоваться, благодушно, с каким-то внутренним удовлетворением что-нибудь буркнуть, но, упаси боже, не влезть с разговорами, упаси боже, не помешать.

Соркина мать, тоже, разумеется, не из великих грамотеев, была женщиной с очень хорошим лицом, очень обаятельная, добрая, приветливая ко всем, хозяйка, каких не сыскать. Она ходила всегда сияющая, счастливая, что вот здесь, в этом маленьком домике, доставшемся ей по наследству, на самой наибеднейшей улочке, появилась у них такая удачная дочка с таким, не сглазить бы, острым умом и с таким желанием учиться, с таким разумением, с такой заметностью людям, со столькими друзьями и подругами, никому не во вред, только позавидовать, и чтобы ей, никому не во вред, никогда только не изменяла удача.

И когда их ненаглядная Сорке, слава богу, там, в большом городе Яссы, выдержала такой трудный «экзамент», сама, бедненькая, поехала, сама выдержала и сама вернулась и, даст бог, дальше поедет туда учиться на аптекаршу, так как же не устроить в честь этого какой-никакой праздник? Как не пригласить всю ее компанию на праздничные бэйгелех?

Мы же, если уж есть у нас такой хороший повод собраться всем вместе, почему нет, пусть-таки называется бакалавриат, бэйгелех — как же нам не использовать такой хороший повод?

Короче, все углы в доме были обвешаны, как полагается в швуэс, зеленью — ветками акации, ароматными ореховыми листьями. На столе стояли фруктовницы с орехами, пара пузатых графинов с красным вином. Сорке была в белой кофточке. Две длинные косы ее, забранные со спины, где они лежат обычно, сюда, вперед — дескать, мне таких кос стыдиться нечего, хоть я уже без пяти минут студентка, — были на белой кофточке черными, как смола, блестели таким же горячим блеском, как и пара горячих Соркиных глаз.

Младшая сестра Соркина, Хана, красивая округлая девушка,

не более того, все же Соркину компанию обхаживала: встречала, помогала рассаживаться, следила, чтобы возле каждого были вилка, стаканчик, сама потом водрузила на стол тарелки с горячими бэйгелех.

Сидели довольно тесно, прижавшись друг к другу. Соркина мать стояла с той стороны порога, в другой комнатушке, в их спаленке, лицо, обрамленное цветастым платком, выглядывало каждый раз сюда, к нам, и, как всегда, больше еще, чем всегда, сияло. За ее спиной — Хаим-Рувн, в длинном праздничном пиджаке, с обстриженными усами, как всегда со своим еле слышным ласковым бурчанием на губах.

Верховодил за столом Даниэль Шойхетман. На таких «открытых» сходках Хона Одесский, для конспирации, разумеется, никакой не руководитель. Наоборот: самый маленький среди самых маленьких, самый тихий среди самых тихих.

Даниэля Шойхетмана рашковцы звали Даниэль-красный, в смысле рыжий. У него действительно были красно-рыжие брови, красноватые глаза, довольно редкие волосы на голове, которые тоже отдавали красным. Прозвище, однако, он воспринял не на этот счет. Он принял его с любовью, гордился им и даже любил во время спора с кем-нибудь заявить: «Ты говоришь с Даниэлем-красным!»

Среди всей компании он был самый старший в те годы. Бакалавриат-шмакалавриат. Он смеялся над такими вещами. Он уже сам стоял одной ногой в университете, был уже на втором курсе юриспруденции и ногу свою обратно вытащил, пролетаризовался, стал ткачом и гордился тем, что он ткач. В то лето Даниэль болтался пару месяцев в Рашкове, потому что ткацкая фабрика там, в большом городе, вдруг закрылась, он остался на улице, без работы, и званием «безработный» тоже, кажется, немало гордился. Для скрытной подпольной работы он не подходил. Он любил шуметь, суетиться, бороться с миром в голос. На крылечках наверху улицы, бывало, до поздней ночи, до хрипоты, слышались Даниэля споры, Даниэля аргументы. Он был в курсе каждого малейшего события в каждой, самой далекой, точке мира и все, и самые большие, и самые маленькие, события истолковывал с точки зрения классовой борьбы, марксистски. Он смертельной ненавистью ненавидел равнодушие, обывательщину, гнилую интеллигентщину, как он это называл. Он в пух и прах разносил на крылечках тех нескольких рашковских задавак, которые против аргументов Даниэля в конце концов не находили больше слов и вынуждены были прибегнуть к одному контраргументу: молчаливый пренебрежительный взмах руки или высокомерная улыбка на губах.

Вообще, народ у Сорке Герценштейн на вечеринке был разновозрастный. Даниэль, самый старший среди нас — на несколько лет старше Сорке; я, Мойше Гульчин, Эстер Будешеская (потом ее все годы звали Стелла), Фейге Шпринц — моложе Сорке на пару лет; Хона Одесский, Миша Гиревский, Эстерка Беркович и другие школьные друзья и подруги Соркины — в одних годах с ней. Читатель все эти перечисленные имена еще встретит.

Даниэль Шойхетман стоял со своим стаканчиком вина в руке, как будто он произносит тост за Сорку, и голосом, чуть более тихим, тоном тише, чем всегда, потихонечку перебывал во всех концах света, вернулся потом обратно сюда, к рашковской грязи, к рашковской бедности, перескочил туда, на ту сторону Днестра, в советский Рашков, завернул в Дофтану, где томятся в мрачных тюремных камерах за пролетарскую правду рабочие, пролетарии, товарищи — за них поднимает Даниэль этот тост.

Мы потом пели, помню, тюремную песенку «Ла Дофтана сус ла хаш» — наверху в Дофтане, в камере «хаш». Мы пели рабочую песню «Мы кузнецы». В больших городах, когда собираются так открыто, разыгрывается всегда скульптурная фигурка, шкатулка или даже шахматная доска, которые товарищи в тюрьме мастерски лепят из хлеба, высылают на волю, чтобы их разыграли или продали, а деньги идут для «красной помощи». Мы такой тюремной редкостью не располагали. У меня, однако, была песенка. Новая, собственная, недавно сложенная песенка. Не ах что такое. Без высокой, понятно, поэзии и, конечно, без тонкого мастерства. Но песенка. Мною сложенная песенка. Я бы ее, возможно, сейчас даже и не вспомнил и, конечно, в расчет бы ее не принимал, если б с этой самой песенкой не произошла позднее необычная история. И возможно, что как раз эта ученически-наивная, грубо отесанная песенка позже, роково и упрямо, подсказала мне смысл моей дальнейшей жизни. Сила песенки. Сила стиха. Откроюсь заранее: когда я всего через несколько месяцев прибыл в Бухарест, песенка моя была уже там до меня. Ее уже пели. Я и по сей день не знаю, как это так быстро произошло. Но так быстро это произошло. И в первое время, когда, бывало, при мне эту песенку пели, я не решался сказать, что это мое, — чтоб меня не называли лгуном, хвастуном, всем, чем угодно.

Новая, мной самим сложенная песенка. Почему же песенку нельзя тоже разыграть? Я поднялся, помню, и аж красным стал. Народ, кажется, без особого восторга воспринял мою идею — тоже мне, новый песенник. И очень тихо, кажется, тоже не стало. Но я отложил все обиды в сторону и сказал, что вот сейчас я эту песенку спою, потом ее разыграют, и тот, кто эту песенку

выиграет, тому она будет посвящена потом, когда песенка будет напечатана.

И начал петь. Петь горькую судьбу бедного босого чистильщика обуви. Голоса, чтобы петь, у меня тогда уже не было — но надтреснутая хрипловатость в судьбу чистильщика обуви как раз вписывалась. Мелодия — знакомая, простенькая. Песенка пришлась по душе. Несколько раз повторенный припев начали потихонечку подхватывать, поддерживать:

Туфельки я щеткой тру,
Все про них я знаю,
Сам же я босой сижу,
Я, чистильщик Шае…

(Что вдруг чистильщик обуви посреди рашковской грязи? Наверно, из большого города привезенный. Почему «туфельки», уменьшительно? Наверно, для ритма. Не знал, как справиться с ритмом. Кто определил, что чистильщик должен зваться Шае? Наверно, слово «знаю», а не наоборот. Главное, однако, наверно, не это. Главное, наверно, вот что: он, Шае, чистит всем туфли, а сам сидит босой.)

Как бы то ни было, первая радость творчества была. Песенку я спел. Потом ее разыграли. Мопровских денег стало больше сотни. Выиграл песенку, то есть посвящение к песенке, представьте себе, Даниэль Шойхетман.

По-детски счастливый, как другой на его месте, если бы он выиграл миллион, Даниэль эту песенку переписал, прижал меня к себе, хлопал по спине. Песенка, разумеется, так никогда и не напечаталась. Черным по белому, что она посвящена Даниэлю, никто никогда не видел. Даниэля я любил. Мы дружили много лет. Его нет больше. Я отдаю ему сейчас, вот здесь вот, долг, посмертно, как говорят. Светлая память ему!

А Сорке Герценштейн?

Недавно, сорок лет спустя, будучи в Бухаресте в гостях, я встретил ее. Четыре десятка лет. Почти целая жизнь. Сорке уже долгие годы зовется Санда Совард, носит имя французского коммунистического деятеля — ее мужа, ее первой и единственной любви. Фармацевтический факультет она, разумеется, не закончила. Аптекарские знания, однако, здорово пригодились ей позже, в Испании, во фронтовых лазаретах гражданской войны. Там она познакомилась с Совардом, там они влюбились друг в друга, поженились, боролись потом вместе против Гитлера во французском Сопротивлении. Совард замучило гестапо, Санду — отправили в Освенцим. Мы сидели оба в ее красиво

обставленной, но одинокой, вдовьей квартирке. Наверху, посредине стены — портрет ее мужа. На ее руке — когда подавала чашечку кофе, когда делала любое движение — освенцимский номер. Санда — представительница в международном освенцимском комитете, ездит на конгрессы и съезды участников Сопротивления, узников Освенцима. Сорок лет, кажется, совсем ее не состарили. Я видел те же самые ямочки на щеках, ту же самую подвижность, ту же веру в будущее, как тогда, вроде совсем недавно, во второй день швуэс у нее на вечеринке. Посеребренные волосы на ее голове блестели тем же горячим блеском, как тогда ее черные косы на белой кофточке, как — и тогда, и сейчас — ее горячие умные глаза.

Сорке-Санда стоит у меня в том списке рашковцев, ради которых одних стоит, чтобы Рашков стал хоть немного известен в мире. Рашков чтоб был Рашков.

Шеф-де-пост держал меня запертым в погребе где-то до вечера. Мама и тетя Ита с той стороны забора целый день крутились вверх-вниз заплаканные, с черными платками на головах, как, не приведи господи, при… язык не поворачивается сказать…

Потом, дома, мама общупала мне все кости, целы ли руки-ноги, я ли это таки опять здесь, дома, живой.

Оказывается, шеф-де-пост получил бумажку, мандат-де-адучере, как это у румын тогда называлось, немедленно отправить меня в Черновцы на процесс. Арестовывать меня он не имел права. Он просто хотел сотню. И иди судись с ним, иди сделай ему что-то.

Где отец так быстро раздобыл целую сотню, не спрашивайте. Отец, известно, не очень-то великий делец. Слабый человечек. Кряхтящий и вздыхающий. Даже взаймы попросить у кого-нибудь посылает он маму. Но если случится, скажем, вдруг что-нибудь с ребенком, температура, или косточкой подавится, или так вдруг надвинется нежданная беда, тогда отца не узнать. Силач. Быстрый и деятельный. В состоянии мир перевернуть, город на ноги поставить, стребовать помощь даже от камня.

Отец сразу отправился к Аврум-Лейвиному Леве, первому собутыльнику шефа-де-пост в местечке. Папино лицо, рассказывает мама, было такое белое, губы такие пересохшие, что этот Лева Аврум-Лейвин аж испугался. Лева сам назначил цену — сотня. Обещал, что сразу после обеда он туда поднимется, пусть отец берет эти гроши и тоже приходит туда.

Шеф-де-пост орал, кидался, кричал, что такого типа, как я, надо вешать, стрелять, что такому типу, как я, надо голову

отрубить. Сотня — ерунда, сотня — не деньги. Но Лева Аврум-Лейвин эти десять десяток потихонечку засунул ему в верхний карман френча, потихонечку вытащил у него из руки мандат-де-адучере и сзади потихонечку передал его отцу. Шеф-де-пост кричал, что утром, когда извозчик поедет на вокзал, он сам выйдет на улицу проследить, чтобы этот тип уехал прямо в Черновцы. Лева Аврум-Лейвин взял это на себя, моргнул отцу, чтобы он уже шел себе — его «тип», даст бог, скоро будет дома.

Я уехал тогда из Рашкова, можно сказать, навсегда и ни с кем не попрощался. Мама весь вечер не отходила от меня ни на шаг. Она со слезами заштопывала мне носки. Она выгладила мою пару белья и, скорее, мокрым его сделала, чем выгладила. Она требовала, чтобы я ей хотя бы обещал, что этот самый процесс там, в Черновцах, закончится хорошо.

Рано утром раззвенелись Лейзера-балагулы бубенчики. Как всегда, когда я уезжаю, мама стояла с одной стороны брички, а отец с другой стороны брички. Прибежал шеф-де-пост со своим маленьким толстеньким жандармчиком, Кусачим. Когда бричка тронулась, шеф-де-пост грозил мне кулаком: «Езжай, значит, черт тебя подери, прямо в Черновцы!» Отец остался стоять сзади, застывший. Мне показалось, что он спрашивает меня издали глазами: таки прямо в Черновцы? А может, прямее не прямо в Черновцы?..

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Два с половиной месяца сейчас, на старости лет, проносятся мимо как мотылек, остаются в памяти как один день. Вся жизнь так быстро пролетела — говорят старые люди. Тогда, в юности, два с половиной месяца значили очень много времени. Что только не может произойти в два с половиной месяца? Что в одну неделю не может произойти, в один день, в один миг?

Мне показалось, что черновицкая хозяйка моя, мадам Шалер, в эти два с половиной месяца сильно сдала, лицо ее — сплошь в морщинах. Обедов нашим товарищам она больше не варит. Дом ее, сказала она, уже скомпрометирован. Перед первым мая и потом еще приходила полиция, рылись, искали, все раскидали и рассыпали. Из четырех квартиранток у нее осталась одна Соня. С чего же ей жить? Заходит иногда в какой-нибудь дом навести порядок, вымыть пол. Ах, если бы ее покойный Рудольф знал, что после его смерти жена его пойдет мыть полы по чужим домам, он бы все равно умер.

Мадам Шалер уголком платочка вытерла глаза, лицо ее просветлело, она, кажется, даже начала смеяться, опять, как раньше, назвала меня шутя «кавалер», расспросила обо всех маленьких сестричках моих дома, снова стала старой, прежней мадам Шалер.

Она пересказала мне все новости, которые произошли в Черновцах за это время. Но перед тем как пересказать новости, она со смешком вдруг сказала, что плохие, глупые люди после моего отъезда выдумали, что между нами, между мной, значит, и мадам Шалер, что-то было нечисто. Прямо как будто, если две «персоны» друг к другу хорошо относятся, это должно быть только потому, что между ними что-то не чисто. Но чего только о бедной женщине, о вдове, которая мучается так тяжко с ребенком без отца, чтоб он ей был здоров, не могут выдумать? Мадам Шалер опять поискала платочек где-то в рукаве своего халатика.

В эти два с половиной месяца в тюрьме умер старый Вестлер. Он, кажется, даже не болел. Умер, говорят, вдруг. Ночью испустил дух, во сне, тихо, как святой. Родные его и, разумеется, товарищи, всех на ноги подняли, чтобы им его выдали похоронить — предать земле, как сказала мадам Шалер, — здесь, на свободе. Не так легко этого добились. Тянулось это суток пять. Но похороны у старого Вестлера были — пол-Черновиц шло за

ним. С нижних улиц, с фабрик. Старики и дети, просто люди. На улице остановились фиакры, трамваи. Его несли завернутым в черное покрывало, окаймленное красным кантом. Несли его, наверно, человек двадцать. Сзади и с обеих сторон процессии шли конные полицейские, как у царя. Уже на краю города, пройдя мостик, остановились и держали речи. Кто-то выхватил из-за пазухи красное знамя. Полиция стала разгонять, топтать копытами. Много людей, окровавленных и избитых, осталось лежать на земле. Много людей арестовали. Но потом, говорят, всех выпустили. Они этого старого почтенного рабочего человека, как сказала мадам Шалер, видать, больше боялись мертвого, чем раньше живого!

(В те два с половиной месяца вставляю я и похороны Элиэзера Штейнбарга[2]. Хотя за гробом Элиэзера Штейнбарга я шел еще сам. Похороны случились как раз в ту неделю, когда я уже вышел из тюрьмы, но еще не уехал домой. Был холодный день начала весны. Перед пасхой, говорят набожные евреи, умирают праведники. Что Элиэзер Штейнбарг был писатель-праведник — для этого никаких, разумеется, святых примет не нужно. Вся улица на пути к черновицкому кладбищу забита была скорбящими. Шли за гробом замерзшие, с поднятыми воротниками. Штейнбарг тоже умер вдруг, совершенно неожиданно. Простая операция. Аппендицит. Во всем мире через эту операцию проходят в два счета. Сегодня это ерунда, а не операция. Штейнбарг же, бессмертный Штейнбарг, ее не выдержал. Штейнбарга тоже несли человек двадцать. Тоже завернутого в черное покрывало, окаймленное красным. Перед еврейским театром Рейша процессия на миг остановилась. На один миг, не больше. Наверное, не чтобы Штейнбаргу оказать честь, а чтобы оказать честь еврейскому театру Рейша. Басни Штейнбарга прочитали позже, на кладбище, у открытой могилы. Сзади и по обеим сторонам процессии конной полиции не было. Откуда им знать, полицейским, сколько пороха заложено в баснях Штейнбарга против них и против их хозяев, которых они так преданно охраняют? А может они и знали и только прикидывались незнающими? В конце улицы, уже на той стороне моста, наши товарищи стали передавать друг другу, чтобы «скомпрометированные», сидевшие, значит, или просто известные, немедленно уходили. В толпе узнали пару переодетых полицейских агентов. Мы исчезли в боковых улочках. Так мне и не пришлось тоже склониться над открытой могилой Штейнбарга со своей горстью земли.)

И еще новость.

Эту новость рассказала мне уже Соня, единственная сейчас

квартирантка у мадам Шалер.

Читатель помнит, конечно, что среди всех четырех квартиранток, вместе с которыми я тут раньше жил, Соня была самая преданная. Маркулештская девушка, она работала на маленькой трикотажной фабрике, у нее был низкий хрипловатый голос, большие губы, усики, остро выставленный подбородок, как у старухи, одним словом, не ах какая красавица. Часто бывает, что девушки, не наделенные красотой, становятся раздражительными, нервными, завистливыми, злыми на весь свет. Соня была полной противоположностью. Сама доброта и участие. И не потому, что этим она конкурировала с красивыми, просто — добрая душа, как говорят. Добрая к каждому, все равно к кому. Лишь бы только ему нужна была ее доброта, и даже, когда он не хочет ее доброты, тоже. Она и дальше осталась жить у мадам Шалер — хотя жить одной, без подруг, ей не сладко и хотя здесь она рискует из-за частых полицейских облав — потому что мадам Шалер осталась между небом и землей, и без нее, и даже и с ней, мадам Шалер хуже, чем ей, Соне.

Я сидел у мадам Шалер как на иголках. Выйти походить по улице — кто знает, стоит ли? Долго сидеть здесь, однако, тоже, наверно, не стоит. Как сердце мне подсказало. Я в конце концов дождался Соню. Она прибежала, разрумянившаяся, с работы на пару часов раньше, чем обычно. Мы расцеловались. Она поняла, сказала она, что, наверно, сегодня я приеду. Она не знала, что со мной делать: не голоден ли я, почему я не прилягу немного отдохнуть с дороги? Сейчас она мне даст воды умыться, вот она уже готовит чай. Стала накачивать примус в коридорчике и пальцем позвала меня. Сказала мне тихонечко, что здесь, в этой квартире, где я жил, мне нельзя ночевать ни в коем случае.

— Почему? Чего мне бояться? — Я притворился уверенным. — Все равно же. Я ведь приехал на процесс.

— Не то. Дело в другом, — Соня кивнула в сторону мадам Шалер. Мадам Шалер, дескать, ничего об этом не знает. А я подумал, что Соня дает мне так понять про те глупости, что сплетники после моего отъезда выдумали про Шалер и про меня.

Мы с Соней сидели на ее диванчике и пили чай. Мадам Шалер глянула на себя в зеркало и пошла искать где-то по дворам мальчика своего, Эрика, который бегает там целый день со всеми «сорванцами», и не надоедает им столько бегать, столько играться, пусть он хоть эту радость имеет, сирота ее маленький, чтобы он ей был здоров. И как только мадам Шалер ушла, Соня сразу встрепенулась:

— Да, чтобы мы не заговорились, так я тебе сразу скажу. В шесть часов ты должен встретиться с Борей.

— С Борей, с Борей Лернером? Ты что, знаешь Борю?

— Он сам со мной познакомился. Он меня два раза поджидал у фабрики. Он мне сказал, что если ты сегодня приедешь, чтобы я тебе передала, что ровно в шесть часов он будет тебя ждать возле студенческого общежития. Он будет крутиться на улице чуть выше, возле кино. Он сказал, что здесь тебе ни в коем случае нельзя ночевать.

— Я не понимаю. Я ведь все равно иду завтра на процесс.

— Боря мне сказал, чтобы я тебе сказала, что на процесс ты не пойдешь. Я не знаю, он тебе сам все скажет.

И Соня рассказала мне, что в железнодорожной ремесленной школе, в механических мастерских «Хайсгауза», как называли в Черновцах железнодорожное депо (там, где мы с Беней еще в начале зимы наладили с учениками связь и начали вести с ними работу), перед первым мая творилось что-то невообразимое. Ученики стали готовить забастовку. В мастерских несколько раз распространяли манифесты. Как раз перед первым мая у ворот депо произошло что-то вроде блицмитинга. Наверху, на коньке крыши, трепетал даже, говорят, красный флажок. В этих механических мастерских, рассказала Соня, всегда висели объявления, что тот, кто выдаст коммуниста, получит денежную премию. Оказывается, один их ученик, якобы даже секретарь ячейки, то ли потому, что захотел премию, то ли потому, что он просто был подставной провокатор, — он больше всех старался насчет прокламаций, забастовок, митинга у ворот, чтобы, во-первых, разнюхать, кто из учеников поддается, и чтобы, во-вторых, все это самому потом раскрыть и выдать. Много учеников арестовали. И ихних, из ремесленной школы, и пару гимназистов из города. Боря тоже целый месяц сидел. А сейчас сигуранца ищет тех, кто имел с ремесленным училищем первые связи.

— Какое же отношение имеет это ко мне, к моему процессу? — недоумевая, как ни в чем не бывало спросил я.

— Боря сказал, что если ты явишься на процесс, сигуранца тебя там сразу арестует. Сигуранца ищет тебя. Хочет тебя и в эту историю замешать.

— Если бы они меня искали, разве дома нельзя было меня найти?

— Не знаю, Боря тебе сам все скажет.

Мне стало зябко. Посреди жаркого летнего дня. Одной истории рашковскому мальчишке, наверное, мало. Так у него вот-вот будет вторая история. И она, как мы потом увидим, не так скоро закончится. Вытянет из него все жилы. Оставит навсегда следы в его характере. Не закалит его, а наоборот, расслабит, истончит. Но с другой стороны, кто знает? Может, оно вообще

было к лучшему. Было так, как все равно было бы.

Мадам Шалер вошла со своим Эриком с улицы, подгоняя его шлепками. Эрик хныкал. Но, как только он меня увидел, сразу, повеселев, кинулся ко мне, обнял ручками и ножками и сразу спросил, что за «презент» я ему привез. Почему я таки не захватил ребенку какой-нибудь подарок? Поди расскажи Эрику, почему я не привез ему «презента».

Соня переоделась, причесала у зеркала волосы, показала мне глазами будильник на комодике. Тихонько сказала, что идет меня проводить. Мы немножко пройдемся пешком. Она доведет меня почти до общежития.

Я расцеловался с мадам Шалер, и мадам Шалер пожала плечами: чего вдруг целуюсь я с ней, уходя? Я поцеловал и погладил ребенка. Больше я мадам Шалер никогда в жизни не видел. Никогда не встречал и никогда не видел ни ее и ни ее Эрика. Мадам Шалер уже нет. Эрик может уже быть сегодня человеком в годах, отцом семейства. Возможно, даже дедом.

А может, Эрика тоже нет? Кто знает, что преподнесла ему потом жизнь, с чем его жизнь переплелась?

Кто знает?

2

Боря показался мне изможденным. Исхудавший, нос заострился, глубже две впадины на щеках, обстриженные волосы на голове еще толком не выросли. Но, как всегда, стройный, бодрый, в спортивной рубашке с закатанными рукавами.

Боря мне сказал:

— Нет. Завтра на процесс тебе являться нельзя. Не то что тебе не надо и не то что тебе оно ни к чему, но тебе нельзя являться. И не я велю тебе это. Это приказ сверху. От руководства.

— Как же я буду так болтаться нелегально, ни туда ни сюда, это что, настолько-таки опасно?

— Опасно. И для тебя, и для всех нас. Для всего дела. Имя Янкл Фишман ты ведь знаешь, а?

— Янкл Фишман — это я сам. Я это. На первых заседаниях товарищи из депо требовали сразу создать комитет. Один из них составил список. И я тогда назвался Янкл Фишман. Как с ходу пришло в голову, так и назвался.

— Знаю. Так слушай. Сигуранца ищет сейчас Янкла Фишмана. Если Янкл Фишман есть, значит, та каша, которую они заварили, таки хорошо заваренная каша. Если же такого Янкла Фишмана вовсе на свете не существует, то останется, возможно,

так, как мы утверждали, — что провокаторы все это выдумали, сами организовали, спровоцировали. Так говорят наши адвокаты. Харлампия ты ведь знаешь, он сидит. Он тоже так говорил. Он все взял на себя. Прокламации он сам распространял. Знамя — сам лично повесил. Он один начал организовывать забастовку, с улицы никто никогда к ним не приходил, никаких связей они ни с кем не имели. Жалко, лучший парень этот Харлампий среди тех ребят. А провокатор, оказывается-таки, этот самый Виорел, как вы с Беней и подозревали тогда. Фашист. Подонок. Он все закрутил и все потом предал. Но — стоило. К ремесленникам раньше даже подступиться не могли. Теперь уже там кое-что сделано. Искра тлеет уже. Работу там ведут дальше. То ли будет забастовка, то ли не будет — мы там уже есть. Нашу силу там уже чувствуют. Короче, то, что Янкл Фишман существует и что ты и есть этот Янкл Фишман, сигуранца знает, но они не могут это доказать. Им надо это засвидетельствовать.

— У них ведь там есть моя фотография. И анфас, и в профиль.

— Фотография — ничто. По той фотографии провокатор может сказать, что это и есть Янкл Фишман. Тебя самого им надо. Живого. Завтра после процесса они тебя арестуют и сразу возьмут тебя в оборот.

— Я не признаюсь. Чтоб они меня даже убили.

— Знаю. Но, во-первых, достаточно, чтобы один свидетель подтвердил тебе в глаза, что Янкл Фишман — это ты. Во-вторых — сигуранца не убивает. Что сигуранца делает, ты уже знаешь. Они могут еще лучше. Если б ты знал, что они сотворили с Харлампием. Не всегда и не при всякой пытке можно выдержать. Зачем рисковать? И вообще, если только можно этого избежать, надо сделать все, чтобы попадаться сигуранце в руки как можно меньше. Мы выставили тебе хорошего адвоката. Он говорит, что завтра на процессе вам с Беней срока не дадут. Вас оправдают заочно. Серьезных материалов на вас, чтобы засудить, нет. Уже завтра, после процесса, ты сможешь уехать из Черновиц. И — кончено, кончено с Янклом Фишманом, Янкла Фишмана у них нет, Янкла Фишмана не существует.

— Могут ведь отложить процесс.

— Вот в том-то и дело. Если процесс отложат, придется тебе какое-то время промучиться нелегально. Пока в конце концов процесс не закончат. Завтра вечером я скажу тебе точно, куда ехать. Ты получишь связь, пароль. Здесь мы сделаем все, чтобы суд тебя в конце концов освободил. И ты опять станешь легальным. Живи где хочешь, езжай куда хочешь.

Мы гуляли с Борей вдоль высокого забора Черновицкого

кафедрала, зашли потом в Габсбургский парк, посидели в боковой аллее на скамейке. Где же я сегодня буду ночевать? Уже в этот, первый день — без крыши над головой; куда деваться? Почему Боря ничего не говорит об этом? Но Боря об этом тут же заговорил.

— Единственное: куда ж свести тебя, чтоб ты переждал до завтрашнего вечера? О мадам Шалер и речи быть не может. Я б тебя к себе взял, но наш дом теперь тоже на виду. Скажи, у тебя ведь были здесь вроде какие-то уроки. У хороших людей, приличных. Может, попробуем там, а?

— Про это я тоже подумал, — сказал я, — но что-то неудобно. Я ведь ни с того ни с сего пропал. А может, они знают, что я сидел? Хотя я им сказал, что лежал больной, что у меня была операция. Кроме того: что вдруг? Лето, дети сейчас не учатся, у меня, знают они, тоже каникулы, откуда я вдруг свалился?

— Надо придумать предлог какой-нибудь хороший. Нет так нет. Что мы теряем?

— Не знаю… Могу сказать, что приехал на день забрать в семинарии диплом и ночь должен переночевать. Одна мамаша, кажется, очень хорошая. Каждый раз она подносила мне стакан молока и смотрела на меня всегда с сочувствием, с каким-то состраданием. Я очень люблю, просто таю, когда ко мне проявляют сострадание. Может, к ней удастся мне напроситься? Просить мне тоже очень, очень легко.

— Ай, брось. «Люблю», «легко». Сейчас многие вещи должны будут стать тебе любимыми и легкими. Пошли сходим туда. Поздно становится. Я посмотрю, где это. Ты зайдешь, а я покручусь минут пятнадцать на улице. Если ты не вернешься, то завтра я приду к тебе сюда около шести. А нет — так нет. Поищем в другом месте. Может, в студенческом общежитии? Нет, там тоже не стоит. Если не будет другого выхода, я тебя к себе возьму. Ничего не случится, пронесет. Завтра утром что-нибудь придумаем.

Дом был в центре, на тихой чистой улочке. Боря остался внизу, а я поднялся вверх по лестнице. Я одернул полы пиджака, прокашлялся и нажал кнопку дверного звонка.

Вниз, обратно к Боре, я уже не вернулся.

3

Черновицкого хозяина моего звали Людвик — господин Людвик. Где-то в городе у него был магазинчик готового

мужского платья, и магазинчик на вывесках тоже назывался «Господин Людвик». По-румынски — «Ла домну Людвик». У домну Людвика, значит, вы можете купить лучшие из лучших мужские пальто, костюмы, брюки, жилеты, нательное, все, что душа ваша пожелает, все, что нужно мужчине.

Год назад, уезжая домой на пасхальные каникулы, я тоже купил себе в магазинчике господина Людвика пару брюк. По знакомству, это называлось. Два приказчика господина Людвика накидали передо мной на стойку, наверно, сто пар брюк. Один приказчик примерял на меня брюки сзади, на пояснице, другой — от пояса до ступни. Они вертели меня оба, как вертушку. И всучили-таки в конце концов пару клетчатых желтовато-зеленоватых брюк без ширинки. Мама проклинала все Черновцы и всех господинов Людвиков всего мира. Взять и одеть мальчика, учителя в доме, уже, слава богу, вполне мужчину, в брюки без ширинки, без переда и зада. Издевательство, а не брюки. Пара уродливых штанов, смотреть на них тошно. На покойника брючки.

Со мной господин Людвик за все время словом не обмолвился. Прямо будто одним-единственным сказанным мне словом он тут же осквернит свой рот. Если случалось, что он был дома, когда я занимался с двумя его мальчиками, он сидел всегда, надутый, в холле в глубоком плюшевом кресле, уткнувшись в немецкую газету, венскую или берлинскую газету с готическими буквами. Он и сам, со светлыми завитушками на голове по обеим сторонам лысины, с тонко закрученными кончиками усов, с вычурной зашнурованностью спереди на обеих полах его мягкой пижамы, — он и сам выглядел как готическая буква. Закрученный, заостренный, лощеный — мне, во всяком случае, такого господина Людвика и такую букву трудно было раскусить, трудно было разжевать.

Полы в комнатах господина Людвика были, разумеется, паркетные. Именно там я первый раз в своей жизни увидел такие блестящие, отшлифованные и навощенные, скользкие полы, куда ногу надо ставить очень осторожно, а не то можно еще поскользнуться в два счета и переломать себе руки-ноги. И я таки, извиняюсь, поскользнулся как-то раз и растянулся во всю длину. Оба ученичка мои, Тео и Фридлайн, давились своим придушенным хохотком. Хозяйка, мадам Берта, помогла мне подняться, накричала на детей, потом поднесла мне этот стакан молока с особой добротой на лице, у нее был тогда лучший повод в полной мере проявить свое сострадание к людям, которое она носит в себе всегда.

Семинарскую фуражку я оставлял в коридоре на вешалке и,

проходя через гостиную без фуражки, с боканчами на ногах, со штанами, заправленными в штуцы, и в темной бессарабской косоворотке, выглядел, наверно, как что-то вроде слесаришки, который, зайдя на минуту в дом починить кран на кухне, оставляет на блестящем полу отпечатки своих шагов, и приходится молчать, приходится затирать потом тряпочкой следы, приходится терпеть все это, потому что кран на кухне капает и капает, все время капает.

А тот кран, который должен был починить я, таки действительно капал. Ужасно капал. Тео и Фридлайн каждый день приносили домой тетради с одними красными единицами и двойками. И я должен был с ними долбить и долбить, чтобы единицы и двойки превратились со временем хотя бы в тройки и четверки, пятерки и шестерки. Старший, Тео, был повыше, со светлым чубчиком на лбу, с очками на носу, молчун — копия отец. Младший, Фридлайн, — кругленький карапузик, смешливый и непоседливый, добрый и разговорчивый — копия мама.

Посреди занятия, бывало, оба они останавливались, как останавливаются, к примеру, две ленивые капризные лошадки — дальше они не едут. И мне приходилось время от времени их подстегивать. Под столом, когда Тео, когда Фридлайна, щипал я легонько за ногу. Тео принимал мой щипок молча. Он опускал глаза с очками к столу, немножечко краснел, немножечко надувался, но молчал — что делать, он это заслужил. Фридлайн же испускал из своей глотки такой вопль — мертвого поднять можно. А после вопля он начинал так смеяться — поднимал на ноги весь их четырехэтажный дом. Мадам Берта появлялась на пороге детской в своем шелковом, в огромных цветах, халате с невероятно широкими рукавами и глядела с сочувствием не на них, наказанных, а на меня, который вынужден, бедняжка, их наказывать.

Мадам Берта была-таки очень хорошая. Бывает иногда очень хороший человек просто так. Она к тому же была еще и весьма разговорчива. Она сидела и болтала со мной гораздо больше времени, чем я сидел и занимался с детьми. То есть не со мной болтала, а говорила сама, сыпала, сыпала. Я уже досконально знал обоих учителей Тео и Фридлайна, директора школы, бесконечное число соседей, родственников, портных, у которых она шила себе платья, прислугу в доме и даже всех родственников прислуги, даже клиентов у них в магазинчике, которые морочат им вечно голову и никогда не знают, чего они хотят. Больше всех мадам Берта расписала мне во всех нюансах сестру свою, Эрну, она живет немножко дальше, сразу за

кладбищенским мостом, имеет собственный домик с большим двором, коровник с четырьмя коровами, сбивает масло, делает лучшую сметану в городе, лучший творог, каждое утро на двуколке развозит по домам молоко. А сыночек единственный есть у сестры, Норбертик, — единица и двойка — уже праздник. Этот ублюдок целое утро шляется с ранцем на плечах по парку или по базару и вообще забывает дорогу в школу. Ей, Эрне, нужен бы репетитор для недоноска ее, как воздух. Но она такая скупая, эта сестра, свет таких не видывал. Надо бы ей таки подослать меня как-нибудь к Эрне, чтобы и я с Норбертиком начал что-то делать. И ему тоже повправлять немножко мозги. А если сестра станет жаться, крутить носом, толковать про то про се, чтобы я ей сказал, что она, мадам Берта, передала, чтобы Эрна немедленно со мной договорилась. Платить учителю, мне, значит, за Норбертика она будет сама, тетя Берта.

В тот вечер мадам Берта была в доме одна. Господин Людвик часто и надолго задерживался после закрытия магазина в городе. Тео и Фридлайна прислуга увезла на десять дней к себе домой, в деревню, на воздух. Мадам Берта не расспрашивала меня особенно, что и как. Расспрашивать она вообще привычки не имела. Приехал забрать в семинарии диплом — на здоровье. Побыть у нее денек — пожалуйста. Она позвала меня на кухню чего-нибудь перекусить, рассказала мне пару новых историй, приготовила мне потом постель в свободной комнате прислуги, на железной кровати с бесчисленными фотографиями над ней на стене.

Я, наверно, сразу заснул. Во сне мне вдруг показалось, что господин Людвик открывает дверь в комнату, всовывает голову и сразу закрывает дверь обратно, чуть резче и злее, чем открыл. Потом мне показалось, что за дверью о чем-то шушукаются. Потом мне показалось, что где-то дальше, в комнатах со скользкими полами, уже не шушукаются, а разговаривают уже в голос, кажется, даже кричат. Хлопает дверь, и звякает стекло в двери. Сразу становится тихо. Опять начинаю слышать громкие голоса, и опять становится тихо. Потом мне уже больше ничего не казалось. Я, наверно, снова заснул.

Рано утром мадам Берта заявилась ко мне в комнатку совершенно переменившаяся. Не как просто говорят иногда, но абсолютно. Другие щеки, другой подбородок, другие, растрепанные, волосы на голове, другие, воспаленные, глаза. Если бы я увидел ее такую на улице, я б ее не узнал. Она говорила другим голосом, говорила другими выражениями. Говорила не по-еврейски, а наполовину по-немецки, наполовину по-еврейски. Сказала мне вместо «вы» «зи». И каждый раз

вставляла в свою речь «висн зи» — «знайте».

— Висн зи, зи должны немедленно одеться и уйти… Сразу уйти…

Она путалась. Вот она сказала, что муж ее, господин Людвик, злой и нервный человек, когда он разозлится, висн зи, так ничего не поделаешь. А вот она сказала, что муж ее, господин Людвик, сама кротость и порядочность. Человек, висн зи, с положением в городе, с именем. Такие вещи могут повредить, висн зи, его делу. (Какие такие вещи, она, разумеется, не сказала.) Она, боже упаси, не выгоняет меня, сказала она, она только велит мне немедленно одеться и сразу уйти к ее сестре, к Эрне. Там совсем другое дело. Там в коровнике крутится несколько коров, Эрна держит при коровах несколько парней… (Так я могу, значит, тоже крутиться среди парней и коров.) Кроме того, висн зи, сестра живет в стороне. Кроме того, этот Норбертик снова остался в том же классе, и ее сестре нужен для него сейчас учитель. Я смогу там, висн зи, пересидеть, сколько захочу. (Подбросила, значит, сестре свинью.)

— Ко мне сегодня должен прийти сюда человек… — еле произнес я, — около шести часов… Очень нужный человек.

— Неважно. Я дам ему адрес сестры. Я его сразу пошлю туда, к Эрне.

Разговоры туда, разговоры сюда. Я, как миленький, должен был одеться, кажется, и не умыться даже и, как миленький, сказать до свидания. Отправился я, разумеется, к сестре мадам Берты. Шел боковыми улочками, еще было совсем рано. Люди тут и там спешили на работу. Я шел с таким лицом, будто только что человека убил, и все встречные, казалось мне, прекрасно видят по мне, что я убил человека.

Ворота во дворе мадам Бертиной сестры были распахнуты, и, когда я вошел во двор, буквально следом шумно вкатила на своей двуколке с двумя жестяными молочными бидонами, пусто громыхающими за ее спиной, сестра мадам Берты, сама Эрна. Она сидела, широкая, на всем сиденье, повязав голову треугольным цветастым платком. Такая вот, слишком широкая, слишком толстая, она ловко спрыгнула с тележки и, держа еще кнут в руке, спросила меня, чего я хочу. У нее было суровое, жесткое лицо и голос в тяжелых и низких тонах. Но при всем при этом она, тем не менее, сразу завела меня на какую-то стеклянную верандочку и усадила за приличную миску сметаны. На толстый ломоть хлеба она намазала масла, а поверх масла наложила еще более толстый слой творога. Я никогда еще такого толстого куска хлеба с маслом и творогом и такой густой и вкусной сметаны не ел.

Норбертик, сказала она, еще спит. И встанет он еще не так

скоро. Каникулы — пусть ребенок поспит немножко подольше. Я могу посидеть вон там вот, во дворе, на скамейке, и подождать немножко на воздухе.

Это «немножко» тянулось довольно долго. И меня, естественно, как раз даже радовало, что солнце на небе все движется и движется, все ближе и ближе ко мне, и вот-вот будет уже над моей головой. Часов в одиннадцать — полдвенадцатого парнишка, Норбертик, вылез из дома, протер заспанные глазки, пришаркал ко мне и, как ни странно, смущаясь, спросил, не я ли господин учитель. Он скривил свой носик — я ему, видно, не очень понравился, все же изобразил какой-никакой книксен и пригласил меня обратно на стеклянную верандочку.

Я велел, чтобы он вынес все свои книжки и тетрадки. Порасспрашивал его потихоньку о том о сем — тем временем, значит, проверил его. Где-то через час мадам Эрна вынесла блюдо горячих вареников с творогом, плававших в море масла, и сказала, чтобы мы оба пока что перекусили — ради господина учителя ребенок тоже возьмет что-нибудь в рот.

Потом я слонялся по двору. Это означало, что я жду мужа мадам Эрны, хозяина. Он поехал сегодня в Садогору на ярмарку присмотреть пару телок и должен уже с минуты на минуту появиться. Я зашел в коровник на коров взглянуть. Я и в самом деле покрутился там немножко возле двух работников, которые скребли скотину проволочными щетками, сгребали в кучу большими вилами черную загаженную солому.

Около шести я вышел потихоньку на улицу, шагал по ту сторону ворот туда и обратно и с екающим сердцем ждал, придет ли Боря. И вот я его увидел. Боря, улыбаясь, пожал плечами — оставил меня наверху, в городе, в самом центре, а нашел здесь, внизу, аж черт-те где.

Взяв меня под локоток, он сказал: «Пошли. Сейчас мы идем в надежный дом». Он уже по дороге все мне даст и все скажет. Я должен еще сегодня уехать туда, куда мне велят.

Процесс таки отложили.

4

Боря принес мне тысячу лей — на билет и на прочие расходы в первые дни. Ехать я должен в Яссы. Послезавтра в восемь вечера около Национального театра подойдет ко мне парень и спросит, не знаю ли я, когда играют «Разбойников» Шиллера. «Разбойников» Шиллера, должен я ответить, играли только вчера. Никакой другой человек в мире, кроме этого товарища, который

должен ко мне подойти, не может меня спросить про «Разбойников» Шиллера. И никакой в мире человек, кроме меня, который должен этого товарища встретить, не может ответить, что Шиллера «Разбойников» играли только вчера.

Это будет пароль. В руке я должен держать газету. Товарищ пристроит меня где-нибудь на квартиру и даст потом задание делать то, что будет нужно. Если товарищ не выйдет в первый день, послезавтра, чтобы я ждал его у театра на следующий день, через два дня, это будет наш контрольный час.

Мы идем сейчас, сказал Боря, в совершенно «чистый» дом. Тот, к кому он меня ведет, гимназист восьмого класса, его зовут Яксл Штейн. Толковый парень, маленький, веселый, очень свойский, товарищи зовут его Штейндл. Отец его — зубной врач. Яксл еще с детства имеет в доме свою отдельную комнату. Имеет много книг. У него я смогу посидеть почитать, прилечь отдохнуть, если захочу. Спокойно провести несколько часов до поезда. Вечером туда придет Соня. Соня и Штейндл оба проводят меня к вокзалу. И чтобы мы шли через нижние, темные улочки, вдоль железной дороги. И чтобы шли мы осторожно, глядели в оба, вокруг вокзала бывают иногда облавы. Беня тоже не явился на процесс. Адвокат говорит, что процесс могут отложить один раз, два раза, но в конце концов им надоест, и они в конце концов нас обоих, меня с Беней, должны будут заочно освободить, и мы опять станем легальны. Товарищи в Яссах обо всем своевременно дадут мне знать. Все будет хорошо.

К Якслу в дом Боря не зашел. Яксл, сказал он, уже все знает и ждет меня. Возле дома мы остановились попрощаться. Боря обнял меня, притиснул к себе. И потому, что такая уж у него натура, и, наверно, чтобы меня подбодрить, он, уходя, лихо вскинул сжатую в кулак руку и сказал мне весело: «Рот фронт!»

С Борей я встретился лишь три года спустя. Я уже тогда жил с Ольгой. Боря был вместе с Биби. Они тогда оба только-только вышли из Констанцской тюрьмы, где она, прямо там, в тюрьме, родила ему сына. Ребенка они звали Лени, чтобы не бросалось в глаза полное имя, данное ему при рождении, — Ленин. Биби отвезла мальчика в Галац, к своей матери, и первое время, четыре месяца, они жили оба у нас с Ольгой, наверху, в нашей мансарде. Спали вместе с нами на единственном диване поперек — с табуретками, подставленными под ноги. Боря и Биби — на одной половине дивана, я и Ольга — на другой половине. Боря, помню, писал статьи, печатал их в левом румынском еженедельнике «Кувынтул либер». Потом он ушел служить. А когда вернулся со службы, Биби уже была с другим. Тонкий, очень добрый и очень честный, Боря переживал это трагически. Всего за две недели он

стал неузнаваем. Потом Боря уехал в Париж, к своему дяде, художнику Соломону Лернеру. В Париже участвовал, разумеется, в антигитлеровском Сопротивлении и, как читатель уже знает, в Париже, при Гитлере, был гильотинирован. Светлая память ему!

Якслу провел меня по коридору прямо в свою комнатку и глазами свойскими, дружескими, будто мы знакомы уже много лет, дал мне понять, чтобы я чувствовал себя свободно, чувствовал себя как дома. Стены в комнатке были еще расписаны деревцами, птичками, разными домиками, детски-веселыми рисунками, как в самом раннем детстве. Якслу показал мне свои книги. Каждый раз он вынимал из застекленных полок другую толстую книгу, каждый раз кожаные переплеты, книги в основном на немецком, в основном по философии, по марксизму.

Ростом Якслу и в самом деле был маленький, но, видно было, крепкий, сбитый, совсем не малыш. Лицо его, наверняка еще не бритое, было гладким и свежим, но уже носило отпечаток упорства, немалой воли.

Здесь, у него, мне как-то хорошо было на душе. Не знаю почему, то ли веселые детские рисунки на стенах, то ли то, что зовут Якслу ласково Штейндл — камешек, но что-то меня вдруг с такой нежной тоской перенесло в детство, когда мы на берегу Днестра выбирали самые красивые, самые плоские, самые отшлифованные камешки, пускали их по речным волнам и спорили, у кого получится больше блинов. Держался я, однако, перед Якслом важно, даже как-то серьезно-задумчиво. Раз уж он хорошо знает, что у себя он прячет меня эти несколько часов и что должен незаметно провести меня к вокзалу и куда-то отправить на поезде, — как же не держаться такому серьезно и важно? Мы оба сидели уткнувшись в книги. Отца Якслу, зубного врача, я за все это время так и не увидел. Мать Якслу зашла один раз в комнату с двумя чашечками черного кофе, двумя стаканами воды и горстью конфеток на подносике, сказала только «пожалуйста», и больше я ее тоже не видел.

За час до выхода появилась Соня. Она жалась ко мне, ластилась и спросила наконец своим хриплым голосом: «Ну, когда мы еще увидимся?» И не ждала ответа. Ответила себе сама: «Скоро, скоро. Все будет в порядке. Все кончится хорошо!» Она гладила мою руку, заглядывала мне в глаза, хотела передать мне за несколько мгновений всю теплоту и всю преданность, которые в этой маркулештской девушке были неисчерпаемы.

Мы стали собираться в дорогу. Заранее точно вычислили улицу за улицей, переулок за переулком, по которым пойдем. Якслу знал все кратчайшие проходы во всех глухих, самых тихих уголках от своего дома до вокзала. Соня предложила, чтобы Якслу

один шел впереди, а мы, я с Соней, чтобы шли в тридцати шагах за ним следом. Если, не дай бог, облава или просто какие-то подозрительные типы, и Яксл разберется, кто это и что это, он начнет кашлять, и мы сразу убежим. Яксл сказал, что убегать нельзя ни в коем случае. Мы должны спокойно, не спеша, завернуть во двор и прямо за воротами постоять переждать. Или подняться на крыльцо дома и присесть, просто присесть. На нижних улицах, по которым мы пойдем, почти перед каждым домом есть крыльцо, и у каждого двора возле каждого дома есть ворота.

На улицах и улочках вдоль железной дороги было довольно темно. Над нами, подрагивая, мерцали звезды. Справа, между путями, как звезды, мерцали тут и там электрические лампочки. Свистели локомотивы. Свистели сейчас, казалось мне, особым свистом, с особой грустью в растянутых посвистах.

Я шел и чувствовал себя очень большим заговорщиком, большим конспиратором, которого, если поймают, расстреляют или повесят, не меньше. И признаюсь, я чувствовал это великое заговорщичество, великое конспираторство как-то слишком великим на моих маленьких плечах. Сердечко у меня, признаюсь, сильно колотилось. Соню я держал под руку. И рука моя под Сониным локтем, кажется, чувствовала, что у Сони сердечко тоже колотится здорово.

Поход к вокзалу не обошелся и без приключеньица.

Вдруг мы услышали, что Яксл кашляет. Мы с Соней сразу же подошли к первому попавшемуся крыльцу и быстро присели внутри. Шли, конечно, к крыльцу не медленно и не хладнокровно, как договаривались, а довольно-таки быстро, вмиг добежали. Мы сидели на корточках за деревянной стенкой крыльца, держась за руки и навострив уши, как сидят дети, спрятавшиеся под заборчиком во время игры в прятки. Сразу же мы услышали, как Яксл кричит громким шепотом: «Алло! Алло!» По его тону мы поняли, что он зовет нас, и из укрытия своего вышли. Яксл нас еще спрашивал, что случилось.

— Ну нет, скажи ты, что случилось, — сердито бросила Соня.

— Раскашлялся я. Вдруг на меня, как назло, напал жуткий кашель.

— Так надо было сдержаться. Что это, шутки тебе? — хрипло злилась Соня.

— Да я чуть не подавился. Я ж все-таки тоже человек. Я сразу начал кричать «Алло!».

Короче, дальше мы шли уже рядом, втроем. Тем более что идти осталось недолго. Издалека уже виднелся вокзал. Вокруг вокзала было светло, но тихо, ничего опасного и

подозрительного. Мы с Соней сели в тени на скамейку под деревом в привокзальном скверике. Якслу я дал денег, и он пошел в кассу взять мне билет. Поезд уже, кажется, стоял. Якслу вернулся с билетом, не забыл сказать, чтобы через зал на перрон я проходил осторожно. Чтобы шел немножко быстрее. Не оглядывался. В зале часто крутятся шпики.

И мы распрощались. Якслу, как-никак новому знакомому, я только пожал руку, сказал спасибо. С Соней мы стояли мгновение обнявшись, и глаза, кажется, у обоих были не слишком сухие.

Я выпрямился, взял себя в руки и вошел в вокзал. Но мое разбушевавшееся воображение, наверно, уже работало. Мне показалось, что все люди в зале, и эти, что стоят у окошечка кассы, и эти, что крутятся туда-сюда, и даже те, что дремлют с задранными головами на скамейках и на узлах, все, все переодетые полицейские агенты, которые следят за мной, вот сейчас они меня окружат и вот сейчас схватят.

Как бы то ни было, длинный зал я прошел, вышел на перрон, подошел к ступенькам вагона, подал проводнику свой билет и всего через несколько мгновений сидел уже на скамейке в купе. Мне показалось, что остальные пассажиры в моем купе тоже что-то не то. Подставные типы, которые едут в поезде не потому, что им надо ехать, а потому, что еду я.

Спиной и головой я прислонился к жесткой вагонной стенке. Прикрыл глаза, чтобы они, типы, меня не видели. Нет-нет, это не опечатка и даже не шутка. Я прикрыл глаза, чтобы они не видели в них моего беспокойства, не видели, что я чувствую какую-то вину, что я растерян. Это даже было слишком быстро — тут же, как только я уселся, поезд стоит еще, взять и сразу спать. Но я таки быстро прислонился к стенке вагона и быстро притворился спящим.

Поезд тронулся. Колеса понемногу начали крутиться. Все быстрее и быстрее. Начали отстукивать — как иногда банально говорится — с каждым разом все сильнее:

«Мы крутимся и вертимся, крутимся и вертимся…»

Если мне тогда стало от этого чуть легче на душе, то не страшно, что это несколько банально. Мир от этого не перевернется…

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Рашковский мальчик один-одинешенек слонялся в большом и чужом городе Яссы, и на сердце у него было очень тяжело.

Тяжелую ношу взвалил на себя.

Усталость и голод меня мало волновали. Часами шагал я из улицы в улицу, но волдырей на ногах не замечал. Со вчерашнего дня у меня крошки во рту не было, но еда меня не привлекала. Тяжелого чемодана мои руки тоже не несли. Узелок мой с кой-какими вещами остался у мадам Шалер. Взял я оттуда только пару носков, которые заштопала мне мама, да полотенце с кусочком мыла, которые она дала мне с собой, рассовал их где-то по внутренним карманам пиджака и стал самым наилегчайшим пассажиром. Одиночество, одиночество, подступившее вдруг ко мне в этом большом и чужом городе, легло на мои плечи ужасно тяжелым, ужасно громадным сундуком. Носильщик еле ноги под ним переставляет. Такой громадный сундук, что носильщика под ним и вовсе не видно. Одна только тяжесть, один лишь сундук. И если он раздавит меня собой, десятки и сотни чужих лиц на улице даже не заметят, что кого-то раздавило.

Сундук этот играющий. Подрагивая и ворча, он заиграл на самых разных струнах моих.

Боря сказал мне ясно: в восемь вечера возле Национального театра парень спросит меня, когда играют «Разбойников» Шиллера. Где, однако, возле Национального театра? У входа? Сзади у кассы? Спереди напротив вывешенных афиш? С газетой в руке я крутился среди людей и здесь, и там. Ведь этот парень должен, наверно, тоже искать меня так, как я ищу его. Может, не смогли еще так быстро сюда передать? Может, мне надо было крутиться на одном месте? Может, вообще что-то случилось? Встречи нельзя ждать больше, чем десять минут. Большая черная стрелка на театральных часах каждый раз вздрагивала, перескакивала с одной черточки на другую. Уже двадцать минут девятого. Вокруг театра стало пустеть. Девушка одиноко стоит в уголочке, ждет, наверно, кого-то и, кажется, поглядывает каждый раз на меня. Человек в фуражке швейцара на голове поливает резиновым шлангом газон. Из-за угла, размеренно шагая, появляется вымуштрованный полицейский.

Сегодня был очень жаркий день. Целый день под палящим солнцем шагал я из улицы в улицу, одетый в свой толстый

перелицованный пиджак. Сейчас, вечером, когда солнце уже зашло, подул прохладный ветерок, я свой пиджак снял. Рубаха под пиджаком стала вдруг насквозь мокрой, струйки пота потекли по всему телу. Я снова шагал по улицам, нес пиджак в руке и чувствовал, как прохладный ветерок высушивает мою мокрую рубаху, отклеивает ее понемножку от тела. Куда идти? Где сегодня переночевать? Почему этот парень не вышел? Может, он был, даже видел меня, но решил, что это не я? А может, виноват этот грубый, неуклюже перелицованный пиджак мой? Смешно, честное слово: у всех на свете людей нагрудный карманчик пиджака находится с левой стороны, на моем пиджаке карманчик перелицован, находится на правой стороне. Как же я выгляжу в этом нелепом рашковском пиджаке? Я снова надел пиджак. На тихой улице, перед освещенной галантерейной витриной, разглядел себя в зеркале. Рашковский пиджак ни в чем, бедняга, не виноват. Пиджак как пиджак. Я как я. Напротив, даже если бы у меня не было газеты в руке, этот парень должен был из тысячи узнать меня.

Ерунда запоминается. Где-то в темном скверике я уселся на скамейку, и вместо того, чтобы меня мучил вопрос «куда деваться?», меня мучил мой перелицованный рашковский пиджак. У каждого этот карманчик с левой стороны, у меня — наоборот, с правой. Смешная пиджачная история трансформировалась в смешную пиджачную философию. Почему все у меня перевернуто, вывернуто — не как у всех? Под одиночеством, навалившемся на меня, под этим тяжелым сундуком, легшим мне на плечи, осталось, наверно, достаточно места даже для улыбки. Я сидел в темноте на скамейке и сам себе улыбался, вспоминая, как Копл-портной обманул мою маму. Когда она дала ему мой коричневый пиджак перелицевать, Копл-портной клялся всеми святыми, что он дырку от карманчика на левой поле, которая сейчас, с божьей помощью, станет правой полой, так заделает, что будь ты хоть семи пядей во лбу, тебе и в голову не придет, что там когда-то была дырка. Мама, вообще-то разбиравшаяся в вещах, сразу и не заметила, что Копл никакой дырки не заделывал, он просто переставил карманчик на правую сторону, наоборот, не как у всех. Копл-портной столько крутил этот перелицованный пиджак туда и сюда, столько морочил маме голову, что наконец-таки заморочил. Он подсовывал ей под самые глаза правую полу, которая теперь, с божьей помощью, стала левой полой: «Ну, Рэйзл, хорошо присмотритесь. Можно заметить, что когда-то здесь была дырка? Копл свою работу знает. А?» Мама хорошо присмотрелась: «Э, — сказала она, — чтобы так-таки ничего и не заметить? Немножечко да заметно…»

Я, кажется, на той скамейке в скверике еще и вздремнул чуть-чуть. Пару мгновений, не больше. Эх, если б можно было так на скамейке продремать до утра, просидеть до завтра, до восьми вечера — опять к Национальному театру, к контрольному часу. Но долго сидеть одному в темном скверике опасно. Бродить ночью по улицам, наверно, еще опасней. Мне стало холодно. Наверно, от дремы, застигшей меня на скамейке. Я задремал, видно, больше, чем на несколько мгновений. Уже, наверно, час, как стемнело. Куда идти? Где переночевать? В какую чужую дверь постучаться?

В Яссах живет несколько рашковцев — поди знай, где они живут. Поди знай заранее, что завернешь вдруг сюда, что здесь, в большом городе Яссы, почувствуешь себя вдруг одиноким, как на острове, что в первую же ночь некуда будет голову приткнуть, и будь у тебя в кармане хоть какой-нибудь адрес рашковца, у тебя в кармане было бы громадное счастье. Ты, о котором рашковцы говорят, что ты парень — огонь, такой-то и такой-то, самый-самый…

Шмуэль-меламед со своим семейством живет сейчас, кажется, в Яссах. Что занесло такого еврея, как Шмуэль-меламед, сюда, в Яссы? Он здесь, говорят, служка в синагоге, ночной сторож на складе, уже не меламед. Хорошенькая перемена! Что-что, переночевать ночь я бы даже у Шмуэля-меламеда мог.

Маня-рыжая работает в Яссах на трикотажной фабрике, живет уже здесь, говорят, с кем-то. Маня-рыжая — одного со мной возраста, она была среди наших девушек. У нее огненно-рыжая копна волос, рыжевато-желтые веснушки обсыпали нос и лоб, но при всем при том она очень симпатичная, она даже считалась у нас красивой, красивой рыжей. Маню я не видел давно-давно, мы уже оторваны друг от друга, сейчас она уже, значит, замужем. Но переночевать у нее одну ночь — с большим удовольствием, как же иначе?

С Бенчиком Боруха-столяра мы в детстве были оба певчими в хоре Иешике Котляра. У Бенчика глаза косят. Больше, чем несколько недель в хоре перед Новым годом в то единственное лето, мы не дружили. Пути наши совсем разошлись. Бенчик сейчас в Яссах, говорят, что-то вроде кельнера то ли в ресторанчике, то ли в корчме. Не ах что такое. Но если бы у меня был в кармане хоть Бенчика адрес…

А может, мне вовсе в таком положении встречаться со своими нельзя? Я себя чувствовал в этом новом положении своем прямо так, будто только что начал ходить, только что начал говорить, начинать лишь должен с самых-самых азов. Почему Боря не обговорил со мной все эти вещи как следует? Я же шел

наверняка. Я иду по такому пути первый раз. Но я ведь не первый и не единственный. Такое уже, конечно, случалось. Почему же этого не предвидели? Почему Боря не наказал мне точно, как себя вести, куда обратиться, если вдруг меня не смогут выйти встретить?

Тяжелая ноша.

Из тысячи лей, что принес мне Боря, у меня было еще в кармане две сотни. К ним я пока не прикасался, даже бублика себе не купил. Тысяча лей. На билет, сказал Боря, и на прочие расходы в первые дни. На какие расходы? Может, он имел в виду именно такое вот неожиданное положение? Надо, наверно, ко всему этому легче относиться, проще. Нельзя жаться к стенкам, самому выставлять себя беглым, виноватым, испуганным. Надо, видимо, держаться свободнее, обыденнее. Не в темноте, а наоборот, на самом свету. Надо себя вести, как все обыкновенные люди ведут себя. Как ни в чем не бывало. Это будет лучшей защитой и лучшим прикрытием. За деньги можно подыскать себе где-нибудь постель на пару дней. Или можно даже в гостинице ночь переночевать. Разумеется. На лбу ведь у меня ничего не написано.

Но легко сказать. По нескольким светлым улицам, сквозь толпы людей, гуляющих по тротуарам, я не прошел, а, как в тумане, протолкался, промчался. Мне встречались освещенные гостиничные вывески с мигающими буквами, но я в их сторону даже и не глянул.

Одиночество, охватившее меня, принесло с собой и страх тоже. Раньше среди толпы я никогда, кажется, такого не испытывал. Ни перед пытками в сигуранце, ни во время пыток, ни потом в тюрьме, ни после тюрьмы. Теперь же, когда я остался внезапно один, такое чувство страха, без моей воли и даже без моего ведома, появилось во мне. К вечеру, после пары часов взвинченности и перед перспективой провести целую ночь на ясских улицах, это чувство разрослось, приумножилось. Мне опять стало казаться, что на каждом углу шныряют переодетые полицейские агенты. Из Черновиц уже сообщили сюда, в Яссы, чтобы меня нашли, чтобы меня поймали, чтобы меня привезли. Гуляющие по улицам люди — не просто гуляющие люди, а неизвестно кто и неизвестно зачем.

Куда деваться? Куда идти?

Спасла меня в ту первую ясскую ночь (кто знает-таки, что бы со мной произошло) случайность. Я верю сегодня в предопределенность случая. Спас меня мельчайший среди мельчайших, невидный среди невидных — Боруха-столяра Бенчик, Бенчик-косой.

Я увидел его вдруг в дверях какой-то корчмы. На нем был короткий кельнерский халатик. На пороге двери он объяснялся с пьяницей. Поворачивал и поворачивал пьяного за плечи, все разворачивал его лицом к улице, а тот все время разворачивался обратно, лицом к Бенчику, к корчме. Бенчик оставил вдруг пьяного в покое. Совершенно случайно он меня тоже увидел.

— Ты только посмотри. Это, кажется, ты? — спросил он меня, как рашковец может спросить.

— Это я и это не я, — я ему тоже ответил, как может ответить рашковец.

Мудреный ответ мой Бенчика не удивил. Он спросил меня дальше:

— Ты в Яссах?

— Да, я в Яссах. И уже сегодня мне негде переночевать.

Бенчик глянул на меня, как может глянуть только косой: не прямо на меня, но как бы на кого-то рядом со мной, за мной.

— Большое дело: не иметь в Яссах где переночевать! — произнес он с такой миной, прямо будто речь шла не о Яссах, а о Содоме и прямо будто ничто плохое в мире Бенчика уже не удивит.

— Ты здесь работаешь? Кем ты работаешь?

— Я здесь кум королю. Помощник кельнера. Кум королю при кельнере. То есть я тут — что угодно. Что велят мне, я делаю, и что я делаю, ни к черту не годится.

— Мне сегодня негде переночевать, — сказал я снова.

— Переночуешь здесь, наверху, у нас. Если не брезгуешь, — кивнул Бенчик на два ряда окон над корчмой.

В корчме, внутри, звенела цимбала, сквозь шум еле просачивался хрипловатый голос певицы. Столики тесно наставлены были и внутри, в зале, и снаружи, во дворе. У входа, с одной стороны двери и с другой стороны двери, два висячих фонаря освещали одно и то же название — и корчмы, и гостиницы над корчмой. Названия я уже не помню точно. Только помню, что оно было очень веселое и очень многообещающее.

Бенчик сказал «пошли» и завел меня не внутрь, в зал, и не наружу, во двор, к столикам, а в какую-то камеру без окон, с одной тусклой электрической лампочкой у самого потолка. Кругом у стен были наставлены до самого верха ящики с пустыми бутылками, просто пустые ящики, накиданные вповалку. В углу примостился топчанчик, накрытый залатанным матрацем.

— Я ночую здесь. Вот на этом вот царском ложе, — сказал Бенчик, — но ты не бойся, ты будешь спать наверху, в комнатах, как король. Сначала, правда, надо чего-нибудь перехватить. По твоему носу видно, какой ты очень сильно сытый.

По Бенчикину носу видна была дикая радость, что пришел наконец такой миг, когда он может мне так услужить. Он усадил меня на перевернутый ящик, второй ящик, повыше, поставил предо мной, застелил его белой скатеркой и оставил меня сидеть на уютненьком стуле перед уютненьким столом. Потом он внес на такой круглой деревянной дощечке кусок жареного, наперченного и начесноченного мяса, тарелочку с хлебом, и, среди ломтиков хлеба, даже стопочку водки. Он сказал мне: «Кушай на здоровье, разговаривать с тобой долго я сейчас не могу, ты же видишь, меня рвут на куски», и на добрых пару часов исчез.

Уже было, наверно, одиннадцать — полдвенадцатого ночи, когда Бенчик появился со связкой ключей в руке и опять сказал мне «пошли». Мы поднялись по тесной скрипучей лесенке. Он отпер какую-то дверь, зажег за дверью свет. Изнутри пахнуло духотой и затхлостью. В комнате стояла застеленная железная кровать. На шкафчике с зеркалом в вырезанную дырку вставлен был таз, полотенце висело сбоку. У кровати лежал коврик.

— Вот здесь ты будешь спать, как король!.. — Бенчик, наверно, очень любил слово «король».

Выходя, Бенчик остановился у двери, повернулся, поколебался секунду: сказать или не сказать и все-таки сказал. Он косо посмотрел не на меня, а на шкафчик с тазом и полотенцем — мимо меня. Один косой глаз его даже подмигивал:

— Послушай, если тебе скучно и ты чувствуешь себя в силах, я могу-тебе кого-нибудь прислать…

Я ему на это ничего не ответил. Я только сильно скривился. Он, Боруха-столяра Бенчик, хочет мне показать, что готов для меня чудеса сотворить, а я кривлюсь еще тут. Он на миг растерялся. Потом буркнул мне, чтобы я запер как следует дверь, а в случае если вдруг постучат, чтобы я не открывал и не отвечал, как будто меня в комнате вовсе нет.

2

Ночей пять я ночевал у Мани-рыжей. То есть не только пять ночей, но пять ночей и пять дней. Потому что и к этим ночам, и к этим дням действительно подходит слово ночевал.

В ту неделю я почти не выходил на улицу. У задернутой занавески крутился я по дому босой, без рубахи, в одних брюках, ложился на диванчик и что-то читал, просто лежал и думал. Кто-то загнанный и прячущийся, очень опасный, потихоньку-понемножку укоренился во мне. Дни были ужасно длинные и ужасно мучительные. Ночи — на составленных табуретках у Мани

в передней — ужасно жаркие, душные, бессонные, еще длиннее и еще мучительнее, чем дни.

Рано утром Маня с мужем уходили на работу. Маня за те пару лет, что я ее не видел, стала старше, располнела и раздалась, огненно-рыжие волосы ее пригасли, выцвели. Работала она на трикотажной фабрике. Ее мужа звали Дуцэ, и он был, кажется, на хорошие несколько лет старше Мани. Высокий и костлявый, с корявым худым лицом, меховщик на меховой фабрике. Наверно, из-за этого имени Дуцэ в Рашкове решили, что Маня-рыжая живет в Яссах с румыном. Но «румын» этот был вполне еврейский парень, родившийся и выросший в Яссах, в еврейской бедняцкой черте, на «красном мосту». В Манином и Дуценом шкафчике с книгами на двух полках стояли румынские книжки, на двух — еврейские. Румынские книжки как раз читала она, Маня, а еврейские книжки читал как раз он, Дуцэ. Дуцэ был веселый, разговорчивый. Он любил показать, что умеет и анекдот рассказать, и спеть еврейскую песенку. Он напичкан был всеми еврейскими пьесами, которые играли в ясском «Помул верде», и всех еврейских актеров называл по-свойски и по-дружески только по имени. Не, скажем, Сиди Таль, а Сиди, и не Севилла Пастер, а Севилла. Однажды он мне даже сказал, что он хорошо знаком с Ициком Мангером[3]. Только знаком? Они даже вместе пили, вместе не один вечер провели. Он повозился у лацкана, вытащил оттуда большую меховщицкую иглу и засмеялся. Только провели? Этой вот иглой он Мангеру зашивал порванные штаны. Мангер улегся в парке на скамейку, извините, кверху задом, а он, Дуцэ, зашивал ему распоротые штаны. Вот этой вот толстой меховщицкой иглой.

Еще мне Дуцэ рассказывал, что он сам, собственными глазами, видел, как великий Энеску после своего концерта, который наделал такой переполох во всем городе, зашел в маленький ресторанчик на Николинэ, у отдельного столика наверху, на галерее в ресторанчике, выпил пару рюмок цуйки, вынул скрипку из футляра и встал играть гаммы. После такого концерта, который взбудоражил Яссы, после такого успеха и такого возвышения, после всего этого стоял и стоял и играл гаммы, учился играть. Публика сидела внизу и замирала от восторга. Ресторанчик тогда закрыли часа в три ночи. Он видит его перед глазами, Энеску, как он стоит себе так у столика на галерее, с длинными, разметавшимися волосами и со скрипкой у плеча.

Лгать Дуцэ не лгал. Все истории его были, наверно, только любимыми выдумками, фантазиями, пусть даже хвастовством. Но то, что он хвастается именно таким хвастовством, мне как раз в

Дуцэ нравилось. Это не унижало его в моих глазах, а, наоборот, поднимало. И меня, помню, сразу, с первой же минуты, как-то по-особенному потянуло к мужу Мани-рыжей.

Манин адрес дал мне Бенчик. То есть адреса он мне не дал. Он только назвал мне улицу и обрисовал закоулок возле бакалейного магазина, куда надо свернуть, и где сразу, во вторых воротах, точно напротив них, в самой глубине двора, живет Маня-рыжая со своим мужем Дуцэ.

Когда на следующий день, в контрольный час, в восемь вечера, парень, который должен был в Яссах встретить меня, снова не вышел к Национальному театру, я больше трех-четырех минут не ждал. В таких случаях нельзя ждать больше, чем считанные минуты. Я отправился разыскивать Манину улицу. Не спеша отыскал я и улицу, и бакалейный магазин на углу, и закоулок, и ворота, и Манину дверь в глубине двора, и — замочек на двери. Я откинул крючок на дверце Маниной веранды и так на этой веранде и просидел в темноте, пока не пришли из города Маня с мужем. Маня обнялась со мной и расцеловалась не просто как со своим человеком, земляком, можно даже сказать, другом детства, а как с очень близким и родным, ну прямо как с братом.

И я допустил ошибку. Это не первая, и не единственная, и не величайшая, и не последняя ошибка в моей жизни. Ну, в самом деле — оба фабричные рабочие, она так радушно меня приняла, да и он выглядел таким приветливым, добрым — так что на следующее же утро я Мане проговорился и, разумеется, по секрету, дал ей понять, что со мной делается. Маня на миг сильно переменилась в лице. Но только на один миг. Тут же снова появились ямочки на ее щеках. Желто-рыжие веснушки, обсыпавшие ее нос и лоб, снова стали красивыми. Через миг она снова стала собой. Она мило сказала мне, что я смогу быть у нее, сколько будет нужно. Она мне поможет. На фабрике она знает одного товарища. Она с ним очень осторожно поговорит, может, он что-нибудь посоветует. Она мне поможет, красиво сказала она, снова связать оборвавшуюся нить. Но только одно: чтобы я из дома никуда не выходил. Не потому, что она боится, и не потому, что им это может повредить. Мне может повредить. Меня не должны видеть на улице. Никто даже знать не должен, что я в Яссах. Бенчику это, конечно, тоже нельзя было знать. Но ладно, что сделаешь? Бенчик все равно мало встречается с рашковцами. Вернее, рашковцы мало встречаются с ним. Она, как бы случайно, пройдет мимо корчмы и постарается сказать Бенчику, что я на следующее же утро уехал. Кроме того: а может, за мной таки следят? В Яссах можно и такого ожидать. Что там говорить — не веселая история, но боже упаси, она не отказывается. Наоборот,

она сделает все и поможет мне. Несколько дней я смогу у них переждать. Она думает, что ничего не случится. Но ходить по улицам мне нельзя. Ни за что.

Первые три вечера были даже веселыми. На столе стояла бутылка вина. Дуцэ все рассказывал свои истории, шутил, напевал, а Маня смеялась, сияла, влюбленно смотрела ему в рот. Я тоже смеялся, и у меня тоже была минута радости. Их маленькая квартирка была бедной, но аккуратно обставленной. Во всех углах, в каждом простеночке, какая-нибудь меблишка, даже на табуретках — белые накрахмаленные накидки. Может, несколько многовато — казалось мне. Две простыни на моей постели аж трещали, слепили глаз. Мои ночи были длинные и мучительные, их ночи, видимо, тоже не были короткими и спокойными. Манин знакомый товарищ на фабрике никакого толкового совета не дал. Надо иметь терпение, сказал он, надо ждать, время все выправит. Маня, правда, передала это мне очень спокойным голосом. Затем, однако, совсем тихо, как не мне, а себе самой, пробормотала: «Легко сказать, ждать. Сколько ждать? Где ждать?» Каждое утро, после того как Маня и Дуцэ уходили на работу, я находил на столе приготовленный завтрак: салат из помидоров, пару кусочков хлеба с маслом, яйцо, стакан молока. Видно было, что приготовлен завтрак с любовью. Свежая скатерка на краю стола, нож, вилка и ложечка красиво уложены с правой стороны, солонка с солью, яйцо в отдельном блюдце, помидорный салат забелен ложкой сметаны, присыпан укропом, на стакане молока блюдце, все вместе накрыто белоснежной салфеточкой. Один раз в день я, однако, нарушал Манино условие: ближе к вечеру, перед их возвращением, я выскакивал в бакалейный магазин на углу и покупал кусочек брынзы, селедку, колбасу, сахар, иногда-таки бутылку вина — пусть будет хоть ужин мой. Маня злилась. И за то, что я выскакивал на улицу, и за то, что тратил деньги. Злилась чистосердечно, искренне. А Дуцэ шутил: «Боже праведный, доходный гость. Пошли мне сто таких гостей, так у меня будет со временем счет в банке!»

Так выглядели первые три дня. На четвертый день и на пятый день все стало иначе.

Разговорчивый и веселый Дуцэ перестал разговаривать, перестал шутить, стал вдруг молчуном. У Мани будто щеки запали, и запалость эта стерла ее ямочки. Красивые веснушки на ее носу перестали быть красивыми. Наоборот. Тем более что она ходила с опущенным носом.

Ужинали мы опять все трое вместе, за одним столом. Но мы сидели и больше молчали, чем разговаривали. Как три случайных человека, случайно севших за один случайный стол. Дуцэ и Маня

словом между собой не обмолвились, сидели друг против друга надутые. Со мной все же говорили. Но без охоты, мне казалось, больше для вида, больше ради этикета: «Кушай, почему ты не кушаешь? Возьми кусочек селедки» — и прочее в этом роде.

Ночью, лежа в постели, я не слышал больше из-за двери, с их постели, как до сих пор, громкого смеха, громкого разговора. Оба лежали тихо. А если я что-нибудь и слышал, так это был тихий шепот, отрывистое бурчание.

Возможно, я ошибался. Вполне может быть, что эта внезапная перемена не имела тогда ко мне и к моим переживаниям никакого отношения. Я тогда еще не знал, что муж с женой могут, очень любя друг друга, вдруг, иногда из-за пустяка, так разругаться между собой, как будто они друг другу самые злейшие враги, самые расчужие люди.

Последняя ночь моя у Мани и Дуцэ была субботняя ночь. Я хорошо помню это, потому что на следующее утро они спали дольше, на работу им идти не нужно было. На дворе уже разгорался день. Сам я был налегке. Паковать мне было нечего. Я оделся, открыл дверь, откинул крючок на дверце веранды и ушел без до свидания. Без до свидания и без спасибо.

С того воскресного утра и до сегодняшнего дня Маню и Дуцэ я больше не видел.

3

Что я за человек?

Я пишу эти строки в ялтинском Доме писателя. Через пять десятков лет. И мог бы уже знать, что ответить.

Иногда веселый, иногда грустный. Иногда слишком уж молчун, иногда слишком разговорчивый. Иногда деятельный: чего бы я только не смог сделать! Иногда совсем бестолковый — ни на что не гожусь. Иногда захлестнут всепрощением, даже к тем, кто мне всегда делал только плохое; иногда распаляюсь во гневе, когда один только раз наступят на мозоль. Иногда смелый. Иногда боязливый. Иногда очень добрый к людям, иногда не очень добрый. Иногда бегу я к ним, ищу их, радуюсь каждому и всякому; иногда бегу от всего и от всех, даже собственные четыре стены мне лишни. Иногда мне плохо, когда мне плохо, иногда хуже, когда хорошо, лучше — когда мне не хорошо. Иногда щедрый, готов обнять весь мир, отдать себя всему миру. Иногда — скуп на улыбку, тяжел на подъем даже для самых близких и любимых. Иногда сильный. Способен приказать себе, ухватить себя за чуприну и заставить себя эти приказы выполнять,

иногда — слабейший из слабейших: не делаю то, что хочу, или делаю то, чего не хочу, или совсем ничего не делаю.

Иногда так, а иногда так. И так, и не так. Что перевешивает? Стрелка весов не останавливается. Вот склоняется она в одну сторону, вот в другую сторону. Посередине, выпрямившись, она колышется, подрагивает. На одной стороне или на другой стороне она не задерживается, никогда не останавливается, не застывает на месте.

Что я за человек?

Если б можно было на одно мгновение вылезть из собственной шкуры, освободиться от самокопания и самоискания, свободно, со стороны, в один этот миг вдруг найти такой штрих, где ты есть полностью ты, самому схватить себя за руку: вот такой ты!

Как случилось со мной как раз сегодня утром. Здесь. В ялтинском Доме писателя, где пишу я эти строки.

Женщина средних лет, обыкновенная женщина, чуть полноватая, с добрым открытым лицом, какие часто бывают у полных людей. Что-то слишком уж долго смотрела она на меня. Мы, тогда еще незнакомые, входя в столовую поесть, стали друг с другом здороваться. Сегодня мы столкнулись с ней лицом к лицу, остановились и разговорились. Да, Кишинев она знает, она в Кишиневе закончила университет. Она знает многих моих знакомых — кишиневских писателей. Нет, меня она не знала. Я ее тоже никогда не видел. Живет она в Москве, коренная москвичка. В Москве она подружилась с Ионом Друцэ[4]. То есть не так с ним, как с ней, женой Друцэ, Эрой, дочерью Росина[5]. «Вы знали Самуила Росина?» — «Я была еще тогда ребенком. Мой отец дружил с Росиным». — «Ваш отец, он был писатель?» — «Да, еврейский писатель». — «Кто?» — «Иоффе»[6]. — «Юдл Иоффе?»

В одно мгновение — в то мгновение, о котором я только что говорил выше, — я увидел на обеих руках моих, снизу доверху, гусиную кожу, ощутил влагу в своих глазах. Юдла Иоффе я уже не застал. Я впервые приехал в Москву в сорок пятом, он умер в сорок первом. Но мне было достаточно увидеть его дочь. Достаточно было только услышать имя Иоффе.

— Помню рассказ вашего отца. Кажется, «Чистое золото».

Я поднялся в свою комнату взволнованный. Один штрих свой — любовь, любовь к советским еврейским писателям, ко всем без исключения, к самому большому и самому маленькому, увидел я в один момент как бы со стороны, нащупал в себе вот этот штрих, где я — полностью я, сам схватил себя за руку: вот какой ты человек!

Строки эти не имели бы никакого отношения к тому, о чем я

рассказываю в этой главе, если бы я не помнил так четко, что в те ясские дни у Мани и Дуцэ, в их шкафчике с книгами, я нашел «Зельменьяне» Кульбака[7] и «Меру строгости» Бергельсона[8]. Я лежал, опершись о стенку, на диванчике, читал и читал, и одиночество мое, и моя растерянность стали понемножку слабеть, отступать от меня.

Я прикрыл глаза. Во тьме привиделась, пригрезилась мне моя собственная, далекая, звездная тропа.

Любовь мою к советской еврейской литературе — за ее новые, и своеобразные, и трудные, и неистоптанные пути, за углубленность ее в обиды человеческие и за ее возвышение людской красоты, за трудно утверждавшуюся судьбу ее — ношу я в себе с тех дней.

Все пять десятков лет.

Стрелка на весах не колеблется, не подрагивает.

И никакой тяжелой гире ее не перевесить.

4

Город Яссы виднеется издалека. Издалека он какой-то приземистый. Дымы и дымки стирают верхушки церквей, высокие башни, фабричные трубы — город выглядит как большая деревня. Ночью вспыхивают, мигая, мириады огоньков, густо, близко друг к другу, сливаются друг с другом, среди дымов и дымков превращаются в сплошной огонь — город зажегся, город горит.

Внутри, в нем, среди его высоких стен и тесных улиц, чувствуешь себя как бы под ним — раздавленным и расплющенным.

Здесь, наверху, среди длинных рядов виноградников, бегущих вверх-вниз по холмам насколько хватает глаз, чувствуешь себя как бы над ним.

И опять же, раздавленным и расплющенным.

Ночью спим мы оба, я и Федя, в старой разрушенной конюшне. А может, это даже и не конюшня. Две почерневшие каменные стены с дырявой замшелой крышей прямо на этих единственных двух стенах. Мы спим в фаэтоне. Спим сидя. Федя с запрокинутой головой, я с запрокинутой головой. Два франта после ночной гулянки трясутся утром с пьяно-запрокинутыми головами в фаэтоне без кучера, без вымуштрованной лошадки с белым пятном на лбу, и лишь две рассохшиеся и растрескавшиеся оглобли зацепились за крышу. Мы жутко пьяны от усталости. Сквозь дыры в крыше и сквозь другие две стены, которых нет, заглядывает свет луны, звездный свет, и всю ночь нам сквозь сон

все мерещится, что уже занялся день, уже взошла утренняя звезда, вот послышится хлесткий крик, как хлест кнута: хайде, мэй! Хватит, дескать, дрыхнуть. Подымайтесь к божьей службе! Целый день на палящем солнце, до первых вечерних звезд, обрезать и опрыскивать лозу, столько-то и столько-то кустов. Мы спим на пружинах. Пружины фаэтонного сиденья старые, ржавые, но, наверно, еще достаточно сильные, упрямые, прорвали сопревшую кожу сиденья и выбрались наружу, вытянулись во всю свою длину: «Вот и наше время пришло свободно вздохнуть, на мир поглядеть!» Усаживаясь спать, мы обеими руками вдавливаем пружины обратно в сиденье, быстро плюхаемся на них, чувствуем, как они с нами сражаются, лезут нам прямо в печенки. В один прекрасный день (мы, с божьей помощью, становимся день ото дня все легче) они пнут нас хорошенько и скинут с себя вовсе, от таких господ, как мы, тоже избавятся. Фаэтон, наверно, очень старый, какого-нибудь давнего-давнего барина. Чего он только за свою веселую жизнь не перевидал! Каких только господских историй не смог бы он нам рассказать! Но нам с Федей хватает сейчас своих собственных историй. Мы так наработались, что спим без снов. Мы не храпим даже. Мы и не спим — мы дремлем. Большей частью даже и не дремлем. Мечемся между явью и сном. Федя на своей пружине корчится, вертится на ней туда и сюда, сплевывает, коротко ругается и вдруг, среди ночи, задает мне тяжкий вопрос:

— Скажи, ты ж больше разбираешься. Отчего мой отец повесился?

Я аж вскакиваю.

— Нашел время говорить о таких вещах! Сиди. Спи.

— Взял веревку, залез на чердак и повесился. Утром я туда поднялся покормить голубей. Все мои четыре голубка приткнулись под стрехой, перепуганные, с растрепанными чубами, жались друг к другу. Увидели меня, стали ворковать, что-то рассказывать, жаловаться на что-то. Поворачиваюсь — за трубой висит отец. Он, наверно, на веревке сильно дергался, боролся с веревкой, он, наверно, сразу пожалел.

Федя зарывается в меня. Я провожу рукой по его волосам, склоняю свою голову к его голове. Мы сидим оба на пружинах, прижавшись друг к другу, как Федины голуби в то утро под стрехой. Федя, глухо воркуя, жалуется мне на божий мир:

— Мама мне сказала, что это все равно не мой отец. Я не от него. Я не его. Чей же я? Ничей? А?

Или вдруг, в другой раз, в другую ночь:

— Прошу тебя. Скажи мне правду. Ты был когда-то у моей мамы?

Он втирается в меня еще до того, как спрашивает, и до того, как слышит ответ. И чтобы вызвать меня этим на полную откровенность, и чтобы я простил его за такой вот вопрос, и чтобы ответ мой услышать приглушенно — он его услышал, и он его не услышал.

— Был. И не один раз был, — отвечаю я ему ясно и быстро.

— Ты тоже?

— Глупый мальчишка. Твоя мама выстирывает и выглаживает рубаху — в Рашкове ни одна мама так не сделает. Вот и носят ей ребята свои рубахи в стирку перед праздником. Твоя мама зарабатывает свой кусок хлеба честным трудом. Стирает чужое белье, ходит убирать по домам, белит.

— Знаю. Почему же говорят что-то другое? Почему надо мной все время издеваются? Меня всегда этим шпыняют.

— Ты что, Рашкова не знаешь? Рашков любит выдумывать.

— Почему же про других такое не выдумывают?

— Выдумывают. Про одного выдумывают это, про другого то — еще хуже.

— Чистую правду говоришь?

— Ты что, не веришь мне?

Федя зарывается в меня поглубже, приклеивается ко мне, я тоже зарываюсь в него.

— Я тебе верю. Тебе я верю, — придушенно воркует он мне прямо в сердце, — из-за этого-то я оттуда и убежал. Мой отец хотел, чтобы я стал кузнецом, как он был. А мама ну только парикмахером хотела меня сделать. Я не могу быть парикмахером. Знаешь, я тебя обманул, что не нашел в Яссах работы в парикмахерских. Я даже не искал. Не хочу быть парикмахером. Не могу мылить чужие головы, не могу гладить обжорские рожи.

— Не у всех ведь обжорские рожи.

— Все равно. Не хочу этим зарабатывать. Каждого всякого гладить.

— Парикмахер — специальность, как все специальности. Это же стрижка, бритье.

— Все равно.

Днем Федя обо всем этом не говорит. Ночью, в фаэтоне, прет оно из него. Федя еще совсем юный парнишка, на два или на три года моложе меня. Мать его, прачка Паша, была красивая, ходила всегда причесанная, чисто одетая. Сорочку, которую Паша выстирала, накрахмалила и выгладила, и в самом деле носили показывать всем на удивление. Они жили в домишке с соломенной крышей, в самом низу, у Днестра. Во дворе висело на столбе, как вывеска, колесо от телеги. Под небольшим жестяным

навесом стоял горн, рядом — наковальня, заостренная с обеих сторон. Да только колесо на столбе — перекошенное, грязное, горн — погасший, покрытый пылью, наковальня — без звона. Признаки того, что здесь была кузня, а теперь кузни больше нет. Федьку я помню маленьким мальчиком, он бегал всегда по улицам босой и чумазый.

Когда я в первый раз уезжал, он был учеником у Биньомина-цирюльника. То есть больше слугой у Биньомина-цирюльника, чем учеником. С веником в руке он постоянно сметал пучки волос вокруг «кресла», мыл чашку для пены и помазок, стоял и кланялся, когда клиент заходил и выходил; дважды в день, сразу по приходе и поздно ночью перед уходом, мыл пол и в цирюльне, и внутри, в доме Биньомина-цирюльника. И вот, через пару лет, Федька уже — Федя. Все еще маленький, худющий, льняные волосы на голове пока еще скорее белые, чем русые, в голубых глазах — еще детская синева, но, такой вот, он уже убежал из дома в большой город и может уже так вот сказать, твердо и упрямо: не хочу и не могу. За две с половиной недели на помещичьих виноградниках мы с Федей очень сроднились, просто слились в одно целое. О Федином житье, об его отце и матери, об их судьбах и о его дальнейшей судьбе можно было бы написать целую книжку. Но так уж у нас повелось, что мы пишем здесь только самое необходимое, только то, что связано с главным героем нашего рассказа. Мы оставляем Федю в стороне, незаконченным, не вполне отшлифованным, как до сих пор мы оставляли много близких и дальних. Как делает жизнь. Как оставляет она на твоем пути незавершенными и не ясно очерченными десятки, а у кого, может, сотни, ближних и дальних, любимых и не любимых, которые появляются и исчезают, исчезают и появляются снова, если путь у тебя не гладкий, не равнодушный, не легкий и никогда не законченный, тянется и тянется, вверх и вниз, петляет и петляет.

Федя повстречался мне по дороге, у овощных рядов на ясском базаре. Тогда же, в воскресенье, когда я, не попрощавшись, ушел от Мани и Дуцэ.

Мы вышли из города пешком, прошагали в гору несколько километров, до помещичьих виноградников. Прелести виноградников Федя обрисовал красиво. Дают есть. Платят двадцать лей в день. Тебя только записывают и не требуют у тебя никаких бумаг. И стой себе на открытом воздухе и надрывайся с самого восхода до самого заката. Но эта работа — на время. Работа на сезон. То есть даже не на сезон. Говорят, как только виноград поспеет, скажут: иди себе. Собирать виноград у них есть свои люди. Но что будет потом, один бог знает. Лишь бы было

сейчас чего пожрать.

В узком бараке с маленькими оконцами без стекол под самой крышей ночевали на нижних и верхних нарах, как в товарных вагонах, шестьдесят — семьдесят мужчин и женщин: молодые украинские парочки откуда-то из-под Хотина. В начале лета они тоже пришли сюда пешком, чтобы за еду и двадцать лей в день обрабатывать помещику больше ста гектаров виноградников. Каждая парочка, наверно, точно так же, как я, и точно так же, как Федя, имела свою собственную историю. Но парочками лежали они на нарах, парочка к парочке. Свет в бараке не горел, сквозь высаженные окошки слышались порой украинские напевы, тонко-протяжные, с одной и той же тоской и с одной и той же грустью. Одетые в одинаковые белохолщовые украинские рубахи, они выглядели все как один, как один человек с одной судьбой и одной историей.

Спустя месяц, по пути из села Шептебань, от моего дяди Меера, в Бельцы, сидя на подводе, я издали увидел их всех, пара за парой шли они по тропинке вдоль дороги, по низу долины. Они уже шагали назад, в Хотин. Снова пешком. Я их издали узнал. Их белые холщовые, с украинской вышивкой, рубахи играли на солнце, блестели, как, скажем, блестят и играют на солнце ружья на плечах у марширующей роты.

Но это так, между прочим.

Между прочим, когда я вспоминаю иногда эти ясские виноградники, вижу я не зеленые ряды виноградных кустов, не искусно вырезанные виноградные листья, не морщины спусков и подъемов кругом, не горящий вдалеке город Яссы, не даже сказочный фаэтон наш и нас с Федей, разметавшихся с пьяно-запрокинутыми головами на сопротивляющихся пружинах фаэтонного сиденья. Это все может немножко подождать. Первонаперво предстает перед моими глазами ужасно большая, наверное, пятипудовая, желтая и круглая мамалыга, сваренная конечно же из грубой, непросеянной кукурузной муки и, конечно, испещренная черными точками, которые скрипят потом на зубах, сплошь сверкающая острой кукурузной шелухой, которая втыкается в нёбо. Она такая огромная, эта мамалыга, что аж лежит на больших носилках с четырьмя ручками по четырем углам. Несут носилки целых четыре человека. Они тащатся к нам по заросшей дорожке, то мы видим их, то мы их не видим, вот увидели мы их снова. У них есть время, они не спешат, они идут что-то очень-очень медленно — кажется нам. У каждого из нас, кто бы он ни был и каким крепким бы он ни был, рот наполняется слюной. Четыре человека ставят в конце концов носилки на землю. Начинается церемония деления. И у каждого из нас, кто

бы он ни был и каким бы умным он ни был, не укладывается в голове, каким образом можно такую гигантски огромную мамалыгу разделить на такие ничтожно махонькие порции. То есть кусочки мамалыги, которые достаются каждому, на ладонь, вполне ничего, но в глазах наших они выглядят малюсенькими, совсем маленькой жменькой, на один зуб. Фокус-покус, два глотка, и куски мамалыги тут же исчезают — вот они были и вот их нет. Остается после них только хороший скрип на зубах и добрая изжога в кишках.

Это была почти вся моя вкусная еда за целый день. На заре, перед выходом на работу, давали в жестяных мисках пару ложек макарон, перемешанных с творогом. Но это макаронное блюдо сильно попахивало нафталином. В рот его невозможно было взять. Ты жевал сплошной нафталин, а не макароны. Откуда эти ящики с макаронами взялись, и почему их так долго держали пересыпанными нафталином, по сей день не могу понять.

Когда день кончался, нам в те же миски наливали суп из фасоли. В супе, поговаривали, плавают червячки. Его ели уже в темноте. И возможно, в супе том плавали просто кусочки длинненьких, закрученных фасолевых шкурок, только выглядевшие червячками. Но достаточно лишь было, чтобы кто-нибудь сказал «червячки».

Для меня, понятно, не в еде было дело. Для меня дело было в двух с чем-то неделях, которые пока что прошли, и в той паре сотен лей, что я заработал. На дорогу в Шептебань. К дяде Мееру. Пересидеть у него в деревне еще две-три недели. Может, за это время что-то прояснится, я снова смогу быть человеком, как все люди.

Феде я свою историю не рассказывал. Я ему даже не произнес название «Шептебань». Я только сказал ему, что еду отсюда в деревню, к дяде Мееру.

Федя проводил меня до полпути назад, в Яссы. Мы остановились и распрощались. Он, помню, сказал мне невесело:

— У тебя есть дядя Меер… Нет, конечно. Здесь тебе не место…

Несколько раз я оглядывался, смотрел, как он удаляется. Он тоже оглядывался, смотрел, как удаляюсь я. Помню, я сразу пожалел, что не рассказал Феде свою историю. Что вообще мало говорил с ним об этих вещах. Говорил еле-еле. Намеками. Туманными, осторожными намеками.

Я шел, помню, и думал, что этому Феде я чего-то не досказал.

Чего-то я не доделал.

Мой старый друг сидел у меня вместе со своей женой.

Друг с тех старых черновицких времен. Времена старые, а он, друг мой, выглядит еще старее. Сгорбленный, сморщенный, считанные волосы на голове — белые, рот — слегка искривлен, нижняя губа отвисла. Единственное «вечное», непреходящее в нем — его теплые, всегда улыбающиеся голубые глаза. Такими я знал их в те времена, когда он еще был совсем молодым и я еще был совсем молодым, такими остались они и сейчас, в старости, когда я уже не очень молодой и он выглядит уже стариком, старой развалиной. Когда он на тебя взглянет, когда скажет тебе что-то, или когда говоришь что-нибудь ему, а он слушает, его глаза распрямляют сразу всю его сгорбленность, разглаживают сморщенность, вырастает вмиг на голой голове высокая густая шевелюра, губы становятся сочными, пухлыми, почти детскими — если можно себе такое представить.

Я называю своего друга его настоящим именем. Как делаю с большинством персонажей в моем повествовании. Норберт, как называла его черновицкая мама. Трайфлер. Как зовут его все годы среди наших товарищей.

Я помню черновицкий подвал, где он жил. Из всех жилых подвалов, что я в своей жизни видел, его подвал был самый глубокий. Для чего нужно было столько ступенек вниз? Внизу приходилось лишь подниматься уже по другим нескольким ступенькам. Входили в темную комнату с двумя постелями, со столиком посередине, с несколькими фотографиями на стенах и с вечно мелькающими наверху, у стекол, ногами прохожих. Мама, рано овдовевшая, единственного сыночка своего вытянула без отца. Не знаю, прошел ли Трайфлер какие-нибудь классы, учился ли он вообще где-нибудь, когда-нибудь. Знаю только, что он был не просто «сознательный парень», как это тогда называлось, но парень с кучей знаний, марксистских, философских знаний, кроме того, любил литературу, много читал. Возможно, университетами его были тюрьмы. Он начал сидеть совсем молодым, пересидел в Румынии во многих тюрьмах. А может, эта жажда знаний была у него врожденной, как, бывает, рождаются с каким-нибудь особым талантом. Глубокий подвал, бедность, в которой он вырос, то, что он уже в тринадцать лет вынужден был идти работать в слесарной мастерской, не задавили талант, наоборот — помогли раскрыться, повернули его туда, куда нужно было.

И еще одно достоинство было у Трайфлера: очень скромный человек. Слово это стало уже немножко банальным, дешевым. Так говорят почти о каждом и при каждом случае. Ценность, однако, этого достоинства все равно не уменьшилась. Достоинство

осталось достоинством. Трайфлер был органически скромен, скромность была у него, если можно так выразиться, в крови. В подпольном движении он занимал место не из последних. Работал в руководстве и тогда, в Черновцах, и позже, в Яссах, в Бухаресте. Но в нем это никогда не было заметно, он никогда не выставлял это напоказ. Ни тогда, в старые времена, ни потом, во времена новые. Он никогда на этом коньке не выезжал, никогда не размахивал саблей: «Я был, я делал». Солдат. Он исполнял свой долг. Делал то, что велело ему его сердце. Не для того чтоб похвалили, и не для того, чтоб мраморный памятник поставили. В тринадцать лет, в Черновцах, он начал свои трудовые будни в слесарной мастерской и в старости, в шестьдесят лет, закончил свои трудовые будни в черновицкой слесарной мастерской.

И еще одно достоинство: фанатично честный. Вообще, можно сказать, немножко фанатик. Но фанатичен, боже упаси, не в упрямых догмах. Фанатичен в своей вере. В том, во что он верит: верит в людей; в прекрасное завтра; в то, что все неправильное, несправедливое вокруг него преходяще, как тени в летний день, что никакое пятно на солнце не заставит солнце померкнуть, перестать быть солнцем. Свято фанатичен в своей семейной жизни. Фанатично честен и в больших делах, и в самых последних мелочах.

Я не скуплюсь на похвалу, перечисляю только достоинства, как это делают в надгробной речи; к сожалению, это уместно. Трайфлера больше нет среди живых. Несколько месяцев назад у него снова было кровоизлияние в мозг. Второго инсульта он уже не перенес.

После первого инсульта у него осталась одеревеневшей рука и одеревеневшей нога. Рот — немножко перекошен. Нижняя губа — отвисла. Он стал ходить мелкими шажками, как в путах. Но ходил. Не сдавался. Ходил на лекции, к друзьям в праздничные дни, иногда в театр, на концерт, просто погулять по улице, встретить кого-нибудь. Не Ханеле, жена его, вытаскивала его из дома — он ее тащил: пошли. Нечего сидеть. Нельзя поддаваться болезни. Надо ее перешибить.

Ханеле — наша, бессарабская, из Калараша. Он прожил с ней длинную жизнь. Она была для него и жена, и друг, и сестра, и даже мать — в последние годы его. Не красавица, для него она была красивейшей в мире. Он смотрел на нее влюбленными глазами до самого последнего дня своего. Она родила ему двух сыновей. Оба живут сейчас где-то в сибирском Академгородке.

Он вытаскивает Ханеле из дома не только чтобы идти, но даже ехать. Такой вот, больной, один раз в год он ездил с ней в Сибирь, к детям. Они приезжали оба в Кишинев. К другу на

свадьбу. К круглой дате друга. На похороны друга.

Он любил зайти с Ханеле на пару часов ко мне. Посидеть напротив меня, глядя своими теплыми, всегда улыбающимися глазами, перекинуться со мной словечком о мировых проблемах, попросить, чтобы я ему почитал что-нибудь свое. Он был мне большим другом, можно даже сказать — большим моим почитателем. Он радовался каждой маленькой радости моей, каждой новой строке, что я написал.

Когда он в последний раз сидел у меня со своей женой, мы вдруг разговорились о тех ясских днях. Я и рассказал ему во всех подробностях то, что выше, в начале главы, рассказал читателю. Я сказал, что эта несправедливость к лирическому герою моего рассказа тогда, в подпольных условиях, не была единственной несправедливостью, какая случалась в движении. Берут и отправляют человека, лишь бы отправить. Со стороны, кажется, все было как должно быть. Пароль, точное время, точное место. Товарищ, который выйдет тебя встречать. На самом деле, наверно, ничего никуда не передавали. Делай себе дальше все сам, как подскажет тебе твой ум и твоя совесть. Кто считался с тем, что может произойти в твоей душе, какая рана может там остаться? Такое было время. Такой воздух. Слишком жестко как-то.

Старый товарищ мой вдруг переменился в лице. Улыбчивые глаза его на мгновение перестали улыбаться. Он спросил меня:

— Подожди. В какой день, говоришь, это произошло?

— В последние дни июня. Летом, — ответил я.

— Нет, я имею ввиду точно, день, дату.

— Точную дату я не помню.

— Видишь, ты не помнишь, а я помню. Двадцать пятое июня.

— Ты — помнишь? Чего вдруг?

— Спрашиваешь — чего вдруг? Чего вдруг — надо тебя спросить. Что же это ты, братец, опоздал, а?

— Я не опоздал. Я крутился возле театра целых двадцать минут. Откуда ты взял вдруг, что я опоздал?

— Потому что я выходил тебя встречать.

— Ты?

— Да, я.

— Ничего себе… Но я же все-таки не опоздал. Откуда ты знаешь, что я опоздал?

— В первый день опоздал ты, а на второй день я на пару минут опоздал.

— Может быть… — сказал я холодно.

— Не может быть, а так оно и было. И не ищи, пожалуйста, виноватых. В первый день ты сам виноват, а во второй день

виноват я.

— Может быть… — сказал я снова.

Больше я ничего не сказал. Я понял, что мой старый товарищ выдумывает, сочиняет на ходу. Он берет вину на себя, лишь бы, упаси боже, ни одна пылинка не упала на то, что для него всю жизнь было самым святым. И, конечно, для того еще, чтобы у меня, на моей душе, не осталось и малейшей царапинки. Хоть царапинки эта уже давным-давно зажила, растворилась со временем среди многих других таких же царапинок.

А может, оно действительно было так, как он сказал? Мой старый товарищ никогда в своей жизни, знаю, не обманывал. Если даже цель, которой служил бы этот обман, была бы великой, самой великой.

Во всяком случае, тайна вокруг того ясского события в моей жизни осталась для меня тайной. Я и по сей день не разгадал ее. Из того сорта тайн, что порхают иногда вокруг человека заколдованно, до его последних мгновений. Он уже берет их с собой туда, в свое небытие. Или в свою вечность. Называй это, как назовешь.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

1

Я сижу и пытаюсь сейчас разобраться как следует в моем шептебаньском дяде Меере. Плохим человеком он, кажется, не был. Наоборот, всегда веселый, никогда не хмурился, не злился, любил шутить, любил подхватить на руки ребенка, своего или чужого, и, гримасничая, рассмешить его, защекотать его пальцем аж до колик. Мой отец всегда ходил задумчивый, замученный, озабоченный. Дядя Меер — правда, моложе моего отца на пару лет — всегда был живым, ловким, подвижным, как ртуть. Отец с малых лет тянулся к простому труду, в труде чувствовал и вкус и смысл мира, самим словом «труд» гордился до конца своих дней. Дядя Меер тянулся к утонченности, к учености, к чему-то особенному. Я не говорю, что один был лучше, а другой хуже. Просто: два родных брата от одного отца и одной матери — два совершенно разных образа. Да взять хоть бороды их. Папина борода (он стриг ее, позже брил от праздника к празднику) была густой, жесткой, разросшейся почти по всему лицу, борода, можно сказать, будничная. Бородка дяди Меера ножниц, а тем более бритвы, не знала вовсе, но тем не менее бородой так и не стала, вечно оставалась маленькой и жиденькой мягкой черной бороденкой, редко засеявшей подбородок, позже она пронизалась бело-седой посеребренностью, бородка, можно сказать, утонченная, шелковая. После ранней смерти деда Ихил-Аврома мой отец, пятнадцатилетний тогда парнишка, остался в осиротевшем доме, полном детей, причем больше девочек, чем мальчиков, единственным старшим братом, который должен был тащить на себе ярмо усопшего дальше. Отец мой всегда рассказывал, как дедушка Ихил-Авром за пару мгновений перед тем, как отпустить от себя душу, раскрыл вдруг глаза, отыскал ими среди людей в доме моего отца и глазами показал на трех сестричек, которые, одна меньше другой, стояли вокруг умирающего сжавшиеся, дрожащие, заплаканные — только что помогали его откричать. Завещание деда Ихил-Аврома мой отец выполнял строго. Целые зимы перебирал он табак в деревнях у помещиков, неделями не раздевался, спал, может, два или три часа в сутки. О мечте дяди Меера вырваться куда-нибудь учиться в ешиботе уже, понятно, и речи быть не могло. Он помогал бабушке Хане в лавке, нянчил малышню; в свободную минуту, однако, сидел все же над книгой. Время шло. Маленькие девочки

поднялись, сами стали трудиться. Мой отец со временем женился на моей маме, в снятой комнатке устроил, как говорится, субботу для себя. Позже женился и дядя Меер и в конце концов добился чего-то своего. Уже после свадьбы с тетей Зисл, даже, кажется, уже отцом, он подучился за несколько месяцев правилам резничества, раздобыл себе резницкие ножи, уехал с тетей Зисл куда-то в далекое село под названием Шептебань и уже до конца своих дней звался Меер — шептебаньский резник, до конца своих дней остался утонченным человеком с тонким делом в руках. А может, различие между отцом и дядей Меером вовсе не было таким глубоким, как я его тогда видел? Обликом, если хорошо присмотреться, разрезом и блеском черных прадедовских глаз, да и голосом, они даже похожи были друг на друга. И в самом деле — родные братья от одного отца и одной матери. Почему же дядю Меера у нас в доме не любили? И почему у дяди Меера в доме не любили моего отца? Отца, знаю, эта братская ненависть сильно мучила. Она шла, наверно, больше от мамы, чем от отца. Моя мама была простой женщиной из народа с врожденным чутьем, кого любить, а кого не любить. Неважно, родной или не родной. Дедушка Зусие — давала она на свой лад понять — когда-то тоже учился на резника, но стать резником не смог. На первой и единственной курице, которую он должен был зарезать, у него начали трястись руки, и курица выскочила недорезанная, для еды уже не годная… Почему же в доме у дяди Меера моего отца не любили? Это и понятно, и непонятно. Наверное, в этой родственной вражде было и что-то глупое, и что-то трагичное.

Больше трагичного, чем глупого.

Эта глава, чувствую, будет самой короткой главой. В селе Шептебань, у дяди Меера-резника, где я мог какое-то время переждать, пока все прояснится, я не задержался больше чем на три дня. Дядя Меер, да простится ему, уже на третий день лихо меня выставил.

Я пытаюсь сейчас разобраться как следует в моем шептебаньском дяде Меере и не сержусь на него. Чего я хотел? Чтобы он, дядя Меер, меня понял? Я тогда, скорее, хотел, чтобы он меня не понял. Я рассказал ему, что черновицкую учительскую семинарию я успешно в этом году закончил, был сейчас напротив, в Штефанештах, где ищут учителя в древнееврейскую школу; а когда находятся так близко, рядом, летом, как же не заехать на неделю-другую к дяде в гости? Глаза дяди Меера сузились. Их насмешливым блеском он сразу показал мне, что понимает, что я его обманываю.

— Так ты сильно скучал по дяде?

— Скучал. Как же не скучать? Родной дядя. Ты же знаешь, что

мы, дети, не считаемся с вашими с отцом счетами.

— Отца оставь, ты и так доставляешь ему много горя.

— Горя? Отцу? Я?

— Что-то говорят, что ты уже и сидел тоже.

— Сидел? Где? За что сидел?

— В тюрьме, где. И не за кражу пары лошадок.

— Первый раз слышу.

— Ну-ну, иди умойся, тетя Зисл даст тебе что-нибудь поесть.

Я его не понял. Почему так дрожали его губы? Он аж заикался, разговаривая. Голые щеки над бородкой, лоб, даже, кажется, уши его стали белыми как мел. Прямо будто в дом заявился не брата сынок, пусть не очень любимого брата сынок, и не просто худой запыленный мальчик, а целый ураган ворвался в дом через двери и окна. Громы и молнии — через трубу. Вот-вот все внутри начнет гореть. Земля под ним разверзнется и поглотит его сейчас вместе со всеми его домочадцами.

Тетя Зисл на кухне аж порезала себе палец. Слышно было, как она вскрикнула. Потом, сильно скривившись, она вынесла из кухни два поджаренных яйца в сковородке, в маленькой плетеной корзиночке — несколько ломтиков хлеба, и при этом имела возможность выдать свою скривленность из-за явившегося вдруг ни с того ни с сего гостя за гримасу от порезанного пальца.

Кривясь, она сердито буркнула на дядю Меера, называя его «он»: «Он так всегда точит ножи, что я сейчас же режусь. Таки прямо как разбойник». Логичней было бы сказать «таки прямо как резник». Тетя Зисл, однако, слово «разбойник» произнесла таким тоном и при этом глянула на меня таким взглядом, что дядя Меер должен был понять: не этот слишком наточенный нож виноват, что тетя Зисл порезала палец, и не он, дядя Меер, разбойник.

Я макал кусочки хлеба в желтки поджаренных яиц, медленно и спокойно жевал, как ни в чем не бывало. Дядя Меер, с ермолкой на макушке, быстро вышагивал по комнате от стола, где я сидел, к окну и от окна обратно к столу. Глядя, наверно, на мое спокойствие, он тоже постепенно успокоился и присел рядом со мной на табуретку.

— Слышишь, у нас тут в Шептебани шеф-де-пост, мм-м! Ест людей живьем. Смешно, честное слово. Недавно был здесь Мойше-Довид-Рашковский. Так что же ты думаешь? Он Мойше-Довида не остановил? Держал его несколько часов. Твердил, что шапка раввина у него на голове и его шелковая капотэ — это так, только для вида. Нашим благоверным евреям это стоило приличных денег. Шеф-де-пост — огонь… Сейчас же пронюхает где и что…

— Шеф-де-пост как все шефы-де-пост. Какое это имеет

отношение ко мне, дядя? Я его не боюсь.

— Ну да, вы ведь никого не боитесь.

Злющего жандармского шефа, что ест людей живьем и может сейчас же пронюхать где и что, мне, разумеется, было чего бояться. Больше, конечно, чем дяде Мееру было чего бояться меня. Вместе с табуреткой дядя Меер придвинулся поближе, склонился ко мне и пристально посмотрел мне в глаза, чтобы увидеть, так ли в самом деле то, что я говорю, как я говорю. Я тоже посмотрел ему в глаза, чтобы увидеть, так ли то, что он говорит, как он говорит. Страх против страха — как два драчливых козла друг против друга на узком мосточке над бурлящей речушкой. Во всяком случае, в этом первом приеме, что устроил мне дядя Меер, тоже было и глупое, и трагичное.

Больше глупого, чем трагичного.

Я не могу сейчас сердиться на моего дядю Меера не потому, что дядя это дядя, и не потому, что его уже больше нет, просто нет. Чтó та малость трагичности в тогдашней его жизни против его жуткой, трагической смерти? В сороковом году, когда Шептебань стал советским, он и дальше остался Меер — шептебаньский резник, и дальше обслуживал кроме Шептебаня еще и села вокруг. Старшая дочка его, моя сестричка Малкеле, стала в тот год невестой. Ее жених учился в Кишиневе на курсах агрономов и тогда, перед пасхой, за два месяца до того, как началась война, ушел служить в Красную Армию. Через несколько дней после начала войны мой отец, медленно шагающий и медленно соображающий, ушел из горящего Кишинева с мамой и младшими детьми без тюков и узлов в руках, пешком. Они прошагали по военным дорогам всю Украину, остановились на несколько недель на хуторе где-то под Краснодаром, снова ушли пешком, втиснулись на станции в переполненный эшелон эвакуированных и в конце концов прибыли в далекий узбекский кишлак — пережили войну. Хотя, конечно, не так это легко делалось, как говорится. Ловкий, подвижный как ртуть дядя Меер со своей семьей тоже эвакуировался. Вместе с еще несколькими шептебаньскими они таки выехали на подводах. Но то ли деревенские евреи по натуре своей жалели лошадей, то ли они на этих опасных дорогах часто останавливались, судили-рядили, дальше ехать или, может, вернуться назад, — фашисты захватили их подводы где-то у лесочка, совсем недалеко, еще до днестровской переправы. И лишь только пару лет назад от одной шептебаньской еврейки, которая сама была там и чудом спаслась, узнал я точно, как погиб мой дядя Меер. Убийцы с нацеленными винтовками окружили подводы, дядю Меера моего, «раввина» в плюшевой шапочке на голове и с утонченным, выделявшимся

лицом, сразу стащили с повозки, и его с тетей Зисл, с двумя их дочерьми, моими двоюродными сестрами, не застрелили, не повесили на виселице и не удушили в газовой камере, как сотни тысяч других, но простым «бычеком», как выразилась еврейка, толстой палкой с острыми сучками, чтобы смерть была очень-очень медленной, били их, били зверски, били так долго, пока они не скончались. Солдаты стояли тем временем перед захваченной толпой, нацелив взведенные винтовки. Крики тети Зисл и моих сестер взлетали до неба. Дядя Меер, без шапки, в разорванной капотэ, с красной окровавленной бородкой, все время держал зубы стиснутыми и не издал ни единого стона. Только губы его еле-еле шевелились, тихо бормотали молитву — рассказывала шептебаньская еврейка. Мне, однако, не думается, что дядя Меер, которого так зверски, ужасающе-медленно убивали, думал в это время о молитвах. Скорее, мне кажется, он, погибая, прощался так с любимыми и близкими людьми. Губы его бормотали имена. И я не сомневаюсь, что он, умирая, с любовью произнес и имя своего старшего брата — моего отца, и имя старшего сына брата своего — мое.

Иначе и быть не может.

2

Я полагал, что у дяди Меера хорошо вымоюсь, сменю почерневшую пару белья. Но в эти три дня никакого белья я уже не менял. Ладно. Рубашка моя под коричневым пиджаком все равно была темная, ее еще можно было носить и носить.

В доме я был явно лишний. Дядя Меер, в одном только жилете, с одной лишь ермолочкой на голове, подвижно и молча, с большим усердием точил свои ножи, углубился в это занятие, показалось мне, больше, чем всегда. За обедом я сидел на самом углу, слегка отодвинутый, как чужой едок за субботним столом. Тетя Зисл подала горячую мамалыгу с брынзой, с маслом. Лицо ее так пылало от кухонного жара, что хорошо видны были все морщинки на ее лице. За обедом дядя Меер даже шутил. Но шутил он или с детьми, или просто так, сам с собой. На меня он толком и не взглянул. Прямо будто меня вовсе за столом нет, будто гость этот — и гость, и не из очень-то высоких гостей.

Раз сестричка моя двоюродная, Малкеле, ей тогда было лет десять-одиннадцать, вдруг увидела, что по мне что-то ползет, и страшно тоненьким голосочком крикнула: «Мама, ты посмотри, козявка!» Тетя Зисл завизжала еще громче, жутко скривилась и глянула на меня с такой брезгливостью, будто она видела

«козявку» первый раз в жизни и будто я сам, такой, как я есть, и есть эта самая «козявка». Да не будут мои слова ей в тягость, моей тете Зисл.

Я больше болтался во дворе, чем в доме. Впереди, в длинном дворе перед деревенским домиком дяди Меера, не росло ни одно деревце, не прогуливались ни утки, ни индюшки, не стояла телега, не лежала нигде копна соломы. Длинный пустой двор. Один лишь деревянный сарайчик у забора для дров и чтобы держать немножко зерна, которого у дяди Меера не было. Возле сарайчика — навес на четырех столбах, ряд острозаточенных крюков под навесом, ящик для перьев — своего рода резницкая.

За домом, однако, за глухой стеной без окон, тянулся под гору сад с редко разбросанными яблонями, сливами, вишнями, абрикосами. Высокие травы росли дико и запущенно и даже цвели. Когда я прилег ненадолго за стеной, я лежал не на траве, а в траве. Отрешенный и заслоненный от мира, один со своими собственными мыслями. Среди трав жужжали и копошились самые разные жучки. На ветках деревьев щебетали самые разные птички. Самые разные запахи трав и запахи листьев аж захватывали дух. Но я еще тогда не знал разницы между одним деревом и другим, между одной птичкой и другой. Всякое дерево у меня просто называлось дерево, всякая птичка — просто птичка. Маленький муравей, что тащит за собой в норку еду на зиму — черный козий орешек в сто раз больше его самого, мало волновал меня. Меня волновал большой мир, хотя я еще тогда толком и не знал, где он начинается и где кончается. Меня волновали испорченные пружины этого мира, его ржавые колеса и колесики. Я лежал среди высоких трав, думал о дяде Меере и о тете Зисл. И выдумал для них жуткое сравнение. Щепки, запутавшиеся в колесах и колесиках мира. Чтобы ржавые колеса и колесики, которые крутятся и так еле-еле, крутились еще труднее, вообще перестали крутиться.

Среди трав я думал и еще о двух рашковцах, что жили в селе Шептебань: Шэпсл Двойры-канторши и Бейнеш Мильштейн, оба тоже путались у большого мира в ногах.

Двойра-канторша была какой-то нашей родственницей. Муж ее, Зейдл-кантор, умер внезапно, прямо у амвона, еще совсем молодым и оставил вдове трех мальчиков-сирот, один — Срулик, другой — Шумке, а третий — Шэпсл. Мальчики подросли, уехали в большие города, а в Рашкове поговаривали, что они там все трое стали босяками. Ничего себе босяки! Срулик в Бельцах выучился водить автомобиль, носил замасленную кожаную куртку, шоферскую фуражку с глянцевым козырьком, день и ночь возил пассажиров, Бельцы — Кишинев, Кишинев — Бельцы.

Шумке подхватил в большом городе туберкулез, стал харкать кровью и умер потом в легочной больнице еще более молодым, чем его отец, Зейдл, знаменитый кантор. Шэпслу, самому старшему среди трех сыновей Двойры-канторши, сваты всучили в жены шептебаньскую девицу, таки дочку богача, папенькину дочку, но страшную — страшнее не сыскать. Шэпсл жену свою, понятно, терпеть не мог. Целыми днями слонялся он по селу впустую, пальцем не хотел прикоснуться к хозяйству своего тестя. Каждые две недели он сбегал от своей суженой в Бельцы, к Срулику, через неделю возвращался обратно в Шептебань, чтобы двумя неделями позже снова сбежать. Шэпсл был красивый парень с густыми кучерявыми волосами, с ямочкой на подбородке, широкоплечий и статный. В те три шептебаньских дня мои он часто заходил к дяде Мееру, отыскивал меня за домом в траве, усаживался рядом, поджав под себя ноги, и со всеми подробностями рассказывал мне всю свою жизнь. Он курил одну сигарету за другой, бил себя кулаком в грудь, а один раз даже расплакался, как дитя малое, он тогда, кажется, был еще и пьян тоже.

— Они называют меня поджигателем, а? А чтоб они все огнем горели! Я валяюсь целыми сутками в Бельцах на вокзале, разгружаю вагоны, таскаю мешки на плечах, лишь бы ее физиономии не видеть. А они пустили про меня слух, что я там, в Бельцах, поджигатель. Торговцы нанимают меня поджигать лавки, чтобы они могли потом получить свою страховку. Огнем бы им гореть! Чего они хотят, эти порядочные? Чтобы оно было без любви? Я не могу. Не могу с ней жить. Убейте меня, а я с ней жить не могу. Не могу, не могу, не могу.

— Ну и не живи!

— А я и не живу!

— Но ты ведь живешь!

— Я живу с ней так же, как ты с ней живешь.

Гнев не отрезвил его, а наоборот, сделал еще более пьяным. Он посмотрел на глухую стену дома дяди Меера и подмигнул:

— Как тебе нравится твоя тетя Зисл? С твоей тетей Зисл я спал.

Я почувствовал дрожь в коленях.

— Как это?

— Вот так, спал.

Я вытаращил на него глаза и тут же опустил их: меня аж передернуло. Я помолчал минутку, потом посмотрел на Шэпсла снизу вверх и сверху вниз и все же спросил:

— Как же это? А она хотела?

— Ну а как ты думаешь? Она не хотела?

Шэпсл положил мне на плечо широкую ладонь и сказал, что в селе есть вдовушки, каких я и во сне не видел. Если мне хочется, можно вечерком к ним пойти. Я ответил Шэпслу, что вечером поглядим, и увернулся от этих разговоров. А потом один лежал в траве за домом дяди Меера и продолжал читать книжку, которую начал до того. Но все эти разговоры Шэпсла лезли мне все же в голову. Любовь в книжке тоже где-то, наверно, помогала. Как бы то ни было — сознаюсь в грехе. Книжку, помню, я отложил в сторону, вытянулся на земле во всю свою длину, кругом не было ни живой души, я отложил в сторону все свои горести и все горести мира, закрыл глаза и делал, извините, то, что делают мальчики, когда они только начинают становиться мужчинами, — с закрытыми глазами спал с кем мне только хотелось…

Я лежал в траве дальше, уже с открытыми глазами. Глядел на небо, на солнце где-то за лесочком, на белые облачка вокруг солнца, которые вот появились, вот снова исчезли, и мне было очень жалко дядю Меера, жалко Шэпсла, и чуточку жалко и себя самого…

3

Кто же это Бейнеш Мильштейн, второй рашковец, который, кроме дяди Меера, жил в Шептебани?

Он был щупленький, близорукий, носил напяленные на нос очки с очень толстыми стеклами, к тому же имел большую лысину и к тому же, как некая компенсация за то, что спереди голова голая, отпустил себе сзади, как поп, длинные, до плеч, волосы, ставшие раньше времени седыми при его сорока или, может, таки только тридцати пяти годах.

Детей шептебаньских деревенских евреев он учил читать и писать. В эти три дня, ради меня, он каждый вечер заявлялся к дяде Мееру, усаживался в углу на табуретке, втягивал голову в свои узкие плечи, и никто, кажется, в мире не мог так долго, как он, сидеть на табуретке и молчать. Сидеть и сидеть, молчать и молчать. Дядя Меер и называл его реб Бейнеш и дразнил его, как цуцика:

— Реб Бейнеш, ваши ученики сдают уже скоро бакалавриат или они еще из азбуки не вылезли? Кадиш сказать через сто двадцать лет вы их хоть сможете научить?

Бейнеш не отвечал. Он только фыркал губами, как коза над ведром, и его невообразимо толстые стекла очков только посверкивали на дядю Меера.

Я знал, что этот Бейнеш Мильштейн, как и Шэпсл Двойры-

канторши, тоже беглец. Но не из тех беглецов, что возвращаются обратно, убегают снова и снова возвращаются. Не б е г л е ц — много раз, а б е ж а в ш и й — раз и навсегда.

Я знал, что вдруг, в одну прекрасную ночь, он без всякой причины сбежал и от Рашкова, и от жены своей, Брохи-красильщицы, и от мальчика своего — бедняжка, тот при живом отце сирота, не дай бог. Рашковские шутники говорили, что он убежал из-за черных рук Брохи-красильщицы, которые становились с каждым разом все чернее и чернее. Он в ту прекрасную ночь, говорили рашковские шутники, так вдруг испугался в кровати Брохиных закрашенных рук, что соскочил с постели, схватил только тулупчик на плечи и вот так-вот, как стоял, так и пошел, убежал в далекий мир. Что далекий мир — это, подумать только, аж село Шептебань, я узнал лишь сейчас, здесь, в Шептебани.

Однажды, когда дяди Меера в доме не было и я остался с Бейнешем один, он вдруг так разговорился, что, кажется, ни один молчун на свете никогда бы не смог так сразу стать разговорчивым.

Он поднялся с табуретки, подошел ко мне, оглядел близоруко, я ли это на самом деле, у него, наверно, столько было чего сказать, что он аж начал не сначала, а с середины.

— Ай, брось. Ерунда. Не от Рашкова я убежал. И не от нее, от моей Брохи. Я убежал от себя. От себя я убежал.

— Как это можно убежать от себя?

— Вот-вот. Вот в том-то и горе, что никак.

Задом наперед он отпрыгнул на шаг, от себя, значит, крутнулся на одной ноге, как юла, упал на одну руку на землю, и впрямь, как падает юла, когда перестает крутиться.

— Вот-вот. В том-то и горе, что никак. Ломают себе руки-ноги и остаются все равно при себе. При своих собственных кишках в животе. Я торчу здесь в Шептебани, как торчит суслик в норке. Я моргаю глазками, шевелю усиками, утаскиваю в норку еще зернышко и еще зернышко. И что же из этого следует? Не знаешь, а? Что мирок этот — гадкий мирок. Гадкий, и кислый, и терпкий, и горький. Он стоит у меня поперек горла, и я не могу его проглотить и не могу его выплюнуть. Это грязная сточная вода с карпами и карасиками. Карпы глотают карасиков, и обоих вместе жарят их потом на одной сковородке. А тех, что жрут жареный кусок рыбы, не жарят, думаешь, потом на сковородке? О-о! Еще как жарят! Аж трещит, аж полыхает и коптит аж. Закопченный, зажаренный мирок. Знаешь, что я тебе скажу? Вы, левые, по-моему, таки правы. Надо этот клубок размотать, распутать, развязать, расчесать и смотать по-новому. Да где там, глупости.

Ерунда. Вы этот вонючий мирок не проветрите. Так и будет вонять до скончания веков. Одно да. В одном я целиком с вами. Бога нет. Нема, нету. Нету. Нету.

На слове «нету» он осекся, вытянутыми губами стал втягивать воздух, как рыба на суше, шептал и шептал без конца: нету… нету… нету…

Вошел и остановился дядя Меер. Он раздул ноздри, как будто здесь только что горело и пахнет еще сажей. Он обошел меня вокруг, как бы обнюхивая, и сразу повернулся к Бейнешу:

— Послушайте, реб Бейнеш. Вы уже тоже кричите «нету»? Или он уже за эти пару дней и вас перевернул? Приехал в гости к дяде… А! Враг в доме…

Бейнеш, пятясь, быстро выскользнул из дома, и дядя Меер через пару мгновений тоже ушел. Это было как раз на третий день. К вечеру. На улице уже начинало темнеть. Где-то через час дядя Меер вернулся. Кровь, ударившая ему в лицо, уже схлынула. Он был теперь бледный, не красный. Он несколько раз пытался что-то сказать мне и не знал, как начать, скорее выдавил из себя что-то, заикаясь, чем сказал. В конце концов поймал нить и заговорил вполне спокойно и вежливо:

— Слышишь, утром идет повозка на станцию. Мой сосед. Хороший молдаван. Мы уже с ним договорились. Я уже даже и заплатил ему. Я велю тете Зисл, она вскипятит тебе пару яиц, приготовит кусочек брынзы в дорогу. Иди ложись, встать надо будет очень рано. Сосед постучит в окно. Хороший мужик. Иди. Иди.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

1

В одной из предыдущих глав я сказал, что два дня швуэс в то лето были двумя последними днями моими в Рашкове на долгие, долгие годы, можно даже сказать, навсегда. Это ошибка. Вот лежу я через полтора месяца в густо разросшейся кукурузе на Рашковской горе, на белом свете кончается пятница, я лежу и смотрю в небо, прошу солнце, чтобы оно быстрее закатилось, чтобы стало темно, чтобы я мог уже выйти из этой кукурузной гущи на дорогу, спуститься в темноте в местечко, и никто чтобы меня не видел.

А если хотите, так это и не ошибка. В последующие пару недель, что мне снова суждено было провести в Рашкове, Рашкова я даже и не видел и Рашков не видел меня тоже. На улицу — ни ногой. Рашкову даже казаться не начинало, что я в Рашкове есть. Из своего укрытия в нашем пустом заброшенном доме внизу, возле колодца с «простой» водой, я мог иногда тем не менее откинуть щеколду на ставне и сквозь щелочку смотреть на рашковцев. Они же меня, однако, не видели. Им даже и случайно не приходило в голову, что там, за ставнями, стоит он, тип, который переворачивает миры, которого шеф-де-пост все ищет и ищет, а он стоит и смотрит на них. Он их видит, а они его нет — просто человек-невидимка какой-то.

Я лежал в высокой зеленой кукурузе и ждал, чтобы стемнело. Я не был разбойником с большой дороги и уж, конечно, не был ночной совой и все-таки жаждал ночи, темноты, и меня ничуть не беспокоило, что я лежу, засунут в густую кукурузу, жду с колотящимся сердцем, навострив глаза и уши, чтобы опустилась темнота, как ждет темноты разбойник с большой дороги или хотя бы ночная сова. Наоборот, я чувствовал в этом возвышенность, можно даже сказать, удовольствие. Все скитания мои, всю неприкаянность и обиду, а теперь то, что я лежу здесь на горе, возле дома, и жду темноты, воспринимал я не как наказание, не как кару, а наоборот, как своего рода награду. Не каждого наделила судьба такими возвышенными муками. Лежать и ждать темноты — думал я в тогдашних категориях — как откуп, чтобы вечно было светло. Ждать ночи — откуп, чтобы когда-нибудь был сплошной день.

Солнце стало садиться. Время от времени по дороге проскрипывала крестьянская подвода, запряженная быками.

Понемножку начало сереть и стихать. В опустившихся сумерках, в предвечерней тишине, с самого низа, из Рашкова, стали доноситься сюда, на гору, голоса. Разрозненные обрывки далеких детских, а может, женских голосов. Голоса — или отголоски. Но мне казалось, что я узнаю их, родные голоса, узнаю даже, чьи они.

Знаю, что тогда на всем белом свете был вечер пятницы, потому что хорошо помню, как, лежа в кукурузе, вычислял, что вот скоро, когда зажгутся субботние свечи, рашковские улочки опустеют, народ сядет за субботний стол — кто с молитвой, кто без молитвы, кто с бульоном с яичной лапшой, кто с пустым кулешом с жирной костью в честь субботы, — и будет самый удобный момент войти в местечко, чтобы никто меня не встретил и никто чтобы меня не видел.

Я спустился по белому каменистому спуску. В темноте камни белее, освещают путнику дорогу своей белизной. В первых молдавских двориках варят лишь во дворе что-то на ужин. Сухие ветки вспыхивают и потрескивают между двумя кирпичами под казаном. Поят или еще только доят коров. Все затурканы и озабочены — кому до тебя какое дело? В первых еврейских окнах задернуты занавески. По всей длине занавесок разметали свои тени две свечи с вытянутыми дрожащими огоньками. На улице не видно-таки, как я и рассчитывал, ни одной живой души. Портновскую улочку миновал я благополучно. Я шел по темному переулку за базарной улицей, где стоит больше высоких запертых ворот, чем домов. Обогнул старую церковь. Вот уже скоро я буду у переулка, где нужно свернуть к нашему дому, пустому и заброшенному, в котором никто сейчас не живет. Но как раз у этого-то переулка, то есть уже в самом конце, галдели девчонки Шлойме-Арна-сапожника. Недаром, наверно, говорят, что Шлойме-Арн-сапожник со всей своей семьей справляет субботу с одной селедочной головой. Шлойме-Арниха заворачивает голову селедки в бумагу, жарит на раскаленной сковороде, замешивает мамалыгу, и вся компания Шлойме-Арна-сапожника, восемь ртов, не сглазить бы, макает комочки мамалыги в жирный кусок бумаги, и вот это и есть весь Шлойме-Арна-сапожника субботний стол. И таких вот, так справляющих субботу, тоже надо было избегать? Тоже надо было бояться?

Чтобы дети Шлойме-Арна-сапожника меня не узнали, я снял пиджак и накинул его себе на плечи; сделал себе какую-то особую, раскачивающуюся походку, даже прихрамывал чуть-чуть. Но дети Шлойме-Арна-сапожника все равно меня сразу узнали. Одна из девочек Шлойме-Арна тут же побежала к нам домой сообщить новость. Принести хорошую новость — не меньшее

благо, чем красиво встретить субботу. Девочка вбежала к нам в дом запыханная и раскрасневшаяся, так быстро она бежала и так сильно она радовалась:

— Рэйзл… Реб Ицик… Ваш старший сын приехал!..

Мама замерла на стуле с куском во рту. Она глянула на отца, как он сразу стал белый как стенка, и вместо «спасибо» заговорила с бедной девочкой, повысив голос:

— Ты что, с ума сошла?.. Кто приехал, что приехал?.. Где же он приехал, ты же видишь, его нет?..

— Приехал, Рэйзл… Чтоб я так жива была. Пришел через переулок. Внизу, в ваш нижний дом…

Мама, хорошо все понимавшая, переглянулась с отцом. Как бы то ни было, мой приезд надо замять. Как же замять, по-хорошему или по-плохому? Она собралась с силами и натянула на лицо тонкую хладнокровную усмешечку:

— Слышишь, девочка, или тебе это приснилось, или у тебя жар… Мы только сегодня получили от него письмо. Как он мог вдруг приехать, когда он так далеко? Тебе показалось. Что-то тебе, тьфу-тьфу-тьфу, померещилось. Ицик, дай девочке попить. Иди, сморкатая, и не говори этого больше. Никто не приехал, и ты никого не видела. Слышишь, что тебе говорят?

Через забор я перепрыгнул во двор нашего заброшенного дома, запутался в бурьяне и крапиве, сидел потом на еле поднятой над землей двери нашего погреба. Двери и окна в доме стояли запертые, заколоченные, сквозь оконные стекла выглядывала изнутри густая черная тьма, такая же густая и черная, как темень на улице. Я сидел на невысокой двери погреба, и надо мной, подрагивая, мерцали на небе миллиарды звезд, как мерцали звезды только в пятницу вечером на рашковском небе. Этот заброшенный дом наш отец много лет назад купил за бесценок у Иойла-длинного. Иойл-длинный «ушел» в Америку. Они с отцом еще мальчишками ходили вместе перебирать табачные листья в деревнях у помещиков, и он всегда считался ближайшим другом отца. Дом свой он перед «уходом» в Америку скорее подарил отцу, чем продал за бесценок. Дом имел большой чердак, две комнатки с кухней, если спуститься на несколько ступенек — башка внизу с маленькими зарешеченными окошками. Для отца этот дом был — просто дворец. Но счастья этот дом-дворец отцу не принес. Скорее наоборот. Мы жили в нем два-три года, не больше. Мама там проболела после родов несколько месяцев подряд, чуть не покинула этот мир. В этом доме умер мой братик — Шэпселе. И мама вбила себе в голову, что она в этом доме жить не может. Говорила только об одном — она здесь жить не может, это проклятый дом! Не помогли ни

уговоры, ни объяснения, что это глупости, что она себя уговорила. (Разъяснять что-нибудь отец был специалист — один на свете.) Он даже пытался кричать на нее, кричал, что в нее, спаси господи, вселился злой дух, и тоже не помогло. (Выгнать злого духа, что вселялся иногда в маму, отец никогда в жизни не мог.) Кроме того, мама говорила, что мы оторваны — магазинчик, доход, то есть, наверху, на базарной улице, а проклятый дом где-то в самом низу, возле колодца с простой водой, возле торговки свечами, сразу около бани. Она валится с ног. Она не может разорваться — и здесь, и там. Лавку надо охранять. Надо лежать возле нее, как собака возле конуры. Оставить отца одного — так его десять раз в день обдурят, десять раз в день разнесут в клочья. Короче, не помогли никакие контрдоводы. Отцу, хотел он или не хотел, пришлось закатать рукава, опять наодалживаться по завязку и, воспользовавшись архитектурными советами деда Зусие, самому поставить за лавкой три стенки из старых досок, обить их дранкой, обросать стенки комьями глины, кое-как положить на них потолок, крышу, достать где-то два старых окна, одно больше, другое меньше, и из «дворца» мы в добрый час въехали сюда, в две дыры, которые мама называла «спальни» и про которые сказала, что детям зимой здесь будет тепло, как в ухе. Проклятый дом стал называться заброшенным домом. Там остался стоять старый фамильный шкаф, который уже нельзя было трогать, расшатанный топчанчик, изъеденный молью, паутина в углах, веревочка на окне, на которой когда-то висела занавеска. Продавать дом и некому было, и отцу что-то не очень хотелось — подрастают дети… В подвале отец просеивал в решете свои семечки. В кухоньке он эти семечки жарил на листе у огня печи, грустно подпевал себе под это чудное занятие, всегда тихо вздыхал, что горит он день и ночь на огне и не знает за что. Во двор заброшенного дома спускались иногда поиграться дети. На чердаке младший братишка мой, Бузя, растил пару голубей, вложил в это всю детскую радость свою, а когда он их уже вырастил и «она» сидела уже на яйцах, кошка эту парочку голубей загрызла как-то ночью, так что от них даже перышка не осталось. (Еще одно доказательство мамино, что оно и в самом деле так, как она говорила, — проклятый дом.) А когда у мамы вовсе хорошо было на душе, она еще наверху покатывалась со смеху, показывая на отца: богач в Рашкове, с двумя домами, одним бурчаньем в животе и с двадцатью дырками в штанах…

Так сидел я на двери погреба и вместо того, чтобы думать, сколько же я буду здесь так сидеть и каким образом дать знать кому-нибудь, что я сижу здесь, я еще раз хорошо обдумал все, что делается в Рашкове, рашковские радости, рашковские мечты, и

думал, что именно ради этого самого, именно ради того, чтобы все это самое когда-нибудь было не так, как оно есть, сижу я здесь такой наказанный, и не волнует меня, что со вчерашнего дня и капли воды у меня во рту не было, и все мои скитания не волнуют меня, и все страдания мои принимаю я с любовью.

Вдруг я услышал, что внутри, в доме, возится кто-то. Испуг длился недолго. На двери, что выходит во двор, откинулся крючок, и на пороге появился отец. Он со мной не расцеловался, и мы не обнялись, как бывало. Темнота сделала его темное лицо еще более темным, казалось — сердитым. Но отец не сердился. Он присел рядом со мной на дверь погреба, и я почувствовал, как он притулился ко мне. Он меня ни о чем не спросил. Такой у него был характер, он имел время. Добрые вести, с которыми я появился, никуда уже не убегут. Он сможет их, с божьей помощью, выслушать позже на пару минут. Я его спросил:

— Откуда ты знал, что я здесь?

— Знал. Шлойме-Арна дочка прибежала сказать.

— Вот чертенок, она меня все-таки узнала.

— Что же, тебя уже и узнать нельзя?

— Таки нехорошо, что она меня узнала.

— Мама заговорила ей зубы. Надо же, мама сразу все поняла. Она вдолбила ей, что это не ты.

— Как она себя чувствует, мама?

— Как ей себя чувствовать?.. Ты доставляешь нам много горя.

Мы оба с минуту молчали. Первое «что слышно?» опять не он меня спросил, а я его.

— Здесь что слышно? — отец, в конце концов, испустил из глубин своих свой булькающий вздох. — Что может быть слышно?.. Шеф-де-пост где-то через неделю после того, как ты уехал, прибежал со страшными криками. Махал кулаками, хватался за ружье, кричал, что он стрелять будет, он вешать будет — где ты есть, почему ты не явился в Черновцы? Десять дней подряд, день за днем, он цеплялся, кидался, стращал, душу выматывал. Пока пришлось ему еще раз сунуть хорошую болячку в бок. Лишь с большими уговорами, оно опять обошлось кровной сотней. А ты таки в Черновцы не поехал? Ты таки на процесс вообще не явился?

Я не спеша рассказал отцу все, от «а» до «я», так, разумеется, как отцу можно было рассказать. Он встал и ответил на мою историю:

— Ладно… Надо, значит, ждать, переждать. Сколько же может человек ждать, а? — Уже больше, наверно, себя имел ввиду, чем меня.

— Процесс отложат один раз, отложат другой раз, пока у них

не останется другого выхода, и они его должны будут закончить. И я буду потом свободный человек.

— Ладно… Свободный человек… Идем, зайдем в дом. Так ты здесь вот, в этом пустом доме, должен будешь прятаться? Взять и запереть себя в тюрьме в собственном доме? Ладно. Заходи, хоть крыша над головой. Мама послала тебе кусочек мяса, коврижку, груш несколько. Или кушать уже тоже не надо? Присядь на топчанчик, перекуси, а я пока схожу принесу одеяло с подушкой. Будешь крутиться в темноте? Принести, может, лампу?

— Нет, отец. Лампы пока не надо.

Я жевал вкусную мамину коврижку, и она больше разбередила тоску, чем утолила голод. Кусочки коврижки я не жевал, а причмокивал, как старик без зубов, присасывался к ней, как сосунок. Чувствовал мамину любовь и мамины слезы, замешенные в коврижке. Сквозь стекла на улице было светлее, чем в доме. Виднелась стрешня соседской крыши. Во дворе стрекотал в крапиве сверчок. Где-то далеко выла собака. Вскоре вернулся отец с мешком на спине — принес постель. Мы вытащили из мешка подушку, простыню, одеяло, пару поношенных пиджаков. Отец в оставленном фамильном шкафу нащупал старый ватный бурнус. Мы возились в темноте. Крутились один возле другого и один другого еле различали. Будто крутились здесь одни спины, одни плечи, без лиц. Постель мою разложили на земле и уселись потом оба, молча, на топчанчике. Я, помню, сказал:

— Отец, очень курить хочется. У тебя с собой нет табака?

Отец сунул мне свою табакерку, книжечку папиросной бумаги. Я скрутил в темноте цигарку и языком ее не просто заклеивал, а прямо-таки гладил. Отец забыл, что на белом свете суббота, и чиркнул спичкой.

Но отец ничего не забыл. Он тут же произнес:

— Дай сюда, я тоже закурю… в субботу.

Что отец курит «в субботу», я знал. Мама любила всегда рассказывать, как еще тогда, когда они оба «ходили», она однажды зимой, субботним днем, гуляя с отцом по замерзшему Днестру, увидела вдруг, что из папиного рукава валит дым. «Ицик, — крикнула она, — что это за дым в субботу?» — «Это не дым, — ответил отец, — это из меня пар идет». «У нас была любовь с паром», — смеялась всегда мама. Я, однако, отца курящим в субботу раньше никогда не видел. Это было тогда, наверно, лучшим, молчаливым доказательством, что он поддерживает меня, что не надо падать духом, что он, отец, со мной.

Два цигарочных огонька один против другого на топчанчике

в нашем заброшенном доме вспыхивали каждый раз, мерцали в темноте, как на рашковском небе звезды в пятницу вечером.

2

И отец, и мама впряглись в мое ярмо. Мама три раза в день спускалась с ведром в руке якобы к колодцу за водой и три раза в день приносила мне ведро еды. Когда соседка остановила ее как-то и спросила: «Рэйзл, чего это вы бегаете так часто за простой водой, что вы стираете столько?» — мама со вздохом ответила: «Стираю. Мои горести я стираю, ой боже мой…» Она, правда, сразу почувствовала, что это может быть каким-никаким, а намеком, тут же спохватилась и поправилась: «Пеленки я все стираю, чтоб не грешили на меня. У моей Ханцеле уже снова желудочек».

Она эту «конспирацию» делала без жалоб и без роптаний, можно даже сказать, с любовью. Когда имеют, не приведи бог, ребенка-калеку, что не может ногами двигать, или с твоим ребенком, не дай бог, случается что-нибудь, так ты его разве не любишь, не готова ради него на все? Ты разве не мама? Наоборот. А как же, господи?..

Отец на следующее же утро, в субботу, поменял на заброшенном доме замки. Меньший замочек, с передней двери, он повесил сзади, на подвал, а больший замок, с подвала, где он держит семечки, повесил спереди, на двери. Чтобы большой замок бросался в глаза, чтобы люди видели, что дом закрыт, что называется, живой души в нем нет.

Тогда же, в то же самое утро, в субботу, я дал отцу три дела. Во-первых — следить, чтобы мама не проговорилась, чтобы не вырвалось у нее слово, даже перед детьми, особенно перед детьми (отец мне на это несколько раз качнул головой отрицательно — нет, такого не случится); во-вторых — достать где-нибудь несколько книжек, каких бы то ни было, и каждый день доставать мне газету (отец на это угловато пожал плечами — где ему взять такие книжки, какие мне нужны?); в-третьих — самое главное. Чтобы поймал на улице Хону Одесского и под большим секретом сказал ему, что так и так — чтобы Хона Одесский как можно скорее потихоньку спустился сюда (на это отец несколько раз качнул головой утвердительно — да, это дело!).

Пока что, пока этих книжек нет, я залез на чердак и возле ящика с пасхальной посудой, которую мы держали еще тогда на чердаке заброшенного дома, отыскал ящичек со старыми книгами. Старые, истрепанные молитвенники. Я прихватил с

собой пыльное пятикнижие без обложек. Пусть будет пока пятикнижие. Я растянулся на топчанчике и листал не пожелтевшее пятикнижие — я листал свое рано пожелтевшее детство. В детстве, во времена хедера, истории из пятикнижия представлялись мне происходящими прямо здесь вот, в Рашкове. На Рашковских горах, возле рашковского колодца, где поят овец и ягнят, в кривых рашковских улочках, наверху — в рашковской пещере. Сейчас мне вдруг представилось, что я сам как-то замешан и в том, что Авраам разбил отцовских идолов, и в том, что ангелы во сне Иакова лазят по лестнице на небо вверх и вниз, и в том, что Иосиф лежит в яме, куда его бросили родные братья. Из семинарии меня исключили — пусть будет, я сам себя исключил, — и от того, ради чего я растоптал семинарию, с чем я связывал прекраснейшие свои мечты, во что я вложил свое чистое сердце и верное чувство, меня оттолкнули — пусть будет, я сам себя оттолкнул. Я сразу почувствовал себя маленьким и разбитым. Меня охватила тоска по тем возвышенным дням в тюрьме. Там я уже был ой как далеко. В закованной тюрьме я ощущал свободу, крылья. Сейчас, на свободе, дергаюсь я, как спутанная птица. Все. Отлетался.

За такими черными мальчишескими мыслями и застал меня Хона Одесский. Он сразу увидел потрепанную книгу на топчанчике, полистал ее и усмехнулся:

— Пятикнижие изучаешь?

— Я лежу, как Иосиф в яме, — ответил я ему тоже с усмешкой, — с меня сорвали шелковую рубашку.

— Не спеши, — сказал Хона Одесский, — не накликай беду раньше времени.

Он оглядел меня. У меня, наверно, был тот еще вид. Небритый, помятый, сгорбившийся. Потом он оглядел заднюю комнату, где нашел меня. Подошел к окну и вслушался в тишину во дворе. Затем уселся на топчанчик, спросил: «Что случилось?» — и велел мне рассказывать с самого начала, подробно, со всеми мелочами.

Я говорил, а Хона Одесский закурил цигарку, вставил, как обычно, цигарку в мундштучок, попыхивал ею все время, зажмурив один глаз, слезящийся от дыма, будто он только что первый раз закурил, будто цигарка эта была первая цигарка в его жизни.

Я долго рассказывал, и Хона Одесский ни разу меня не перебил. Когда я закончил, он задумался на миг и сказал:

— Геройством это все, разумеется, не назовешь. Трусостью, однако, тоже. Так что же это, а?

— Судьба, — ответил я.

— Э, не спеши. В нашем возрасте, и уже судьба?

— Я делал то, что мне велели. То ли мне правильно велели, то ли неправильно велели, не знаю. Но я готов и дальше делать то, что мне велят. Поэтому, такой растерянный, я и пришел сюда, домой, к своим товарищам, которые знают меня всю жизнь. Не могу же я так и остаться висеть в воздухе…

Хона снова оглядел комнату, глянул на окно, что выходит в тихий переулок, и минуту спустя сказал:

— Ну, будь пока тут. Думаю, ничего не случится. Жди. Распутается. Мне сюда ходить, ты ж понимаешь, нельзя. К тебе будет заходить наш товарищ. Могу тебе даже сразу сказать кто. Фейге Шпринц. Делать что-то больше я не могу. Мне ж нужны для этого инструкции…

Хоне Одесскому в одной из предыдущих глав я поставил памятник. Памятник ему причитается. И за то, что он погиб в Кодыме, поднимая народ против фашистов, и вообще за все, еще до Кодымы. Но слово это «ин-струк-ции» тогда, в моей комнате, высыпалось из его рта, как горсть камней. Откуда у такого хорошего парня взялась такая сухость, такая жесткость?

Почти сразу Хона Одесский спросил меня:

— Послушай, ты еще пишешь? Пишешь еще на карманчике?

На мое бумагомарание Хона всегда смотрел свысока. Кому нужно это стихоплетство? Куда я прусь со своей писаниной? «Еще пишешь на карманчике?» — это была постоянная Хонина шутка, он все годы любил донимать меня ею. Когда мы, еще малышами, ходили вместе во второй класс румынской «шкоалэ примарэ», однажды у одного ученика из пенала украли целых три лея, которые ему дала его мама, чтобы он купил себе ручку и тетрадку. Мальчик плакал, а учитель наш кричал, приказал классу встать, угрожал, что если вор сейчас же не выйдет к доске сам и сам не сознается, то весь класс так и будет стоять на ногах, пока вора не найдут. Мне показалось, что на слове «вора» учитель посмотрел на меня, и я опустил глаза. Этого учителю было достаточно. Он велел мне выйти к нему с сумкой и перед всем классом стал меня обыскивать. Я тогда ходил одетым в тужурку с двумя накладными верхними карманчиками. Учитель искал, перевернул мою сумку вверх дном, а я стоял с надутыми губами и вдруг пальцем начал что-то писать, и писать на клапане своего карманчика, выписал на карманчике всю боль и всю обиду этого напрасного подозрения… Когда Хона уже учился в гимназии и мы иногда встречались, он любил подшучивать: «Еще пишешь на карманчике?» Когда через пару лет я прочел ему свои стихи, он тоже не удержался: «Ну, да, ты ведь еще в первом классе писал на карманчике». Сейчас же он вовсе не шутил. Он спросил меня об

этом вполне серьезно.

— Пиши, пиши, если ты еще пишешь, — сказал он еще серьезнее, — здесь лучшее место и лучшее время. Это тоже дело… Для нас…

Я молчал. Я ему не ответил. Горсть камней отняла у меня речь и придавила меня. Как будто понесшие лошади промчали по мне только что тяжелую подводу. Мой товарищ стоит рядом, но поднять он меня не поднимает, протянуть руку он не протягивает, ему нужны для этого инструкции.

3

Весь день я обшагивал две пустые комнатки наши от стены до стены. На переднем окне, что выходит на улицу, в переулок с колодцем, ставни были прикрыты. Два задних, дворовых окна я завесил мешками. Я залез на чердак, просто так залез, просто послушать на чердаке, как шумит местечко. Я спустился через лаз на кухне в подвал, сложил раскиданные поленья дров, подмел кучки семечковой шелухи, что, наверно, оставили после себя мыши, схрумкав ядрышки семечек. Когда стемнело, я вышел во двор, тихо уселся на дверь погреба, сидел до поздней ночи. Ложиться спать мне не хотелось, да и не мог я спать.

Так было первые два дня. Был я тогда дома целый месяц. Последний летний месяц.

На третий день Хона Одесский прислал мне с Фейге Шпринц несколько книжек. Том Переца, два тома «Жан-Кристофа», Н. Огнева «Дневник Кости Рябцева», Ремарка «На Западном фронте без перемен», «Лес повешенных» Ливиу Ребряну — книги и на идиш, и на румынском.

Я зачитывался до опьянения. Почти все это я уже раньше читал. Но сейчас читал я как заново, читал сейчас иначе. Фейге Шпринц в первый раз сидела у меня не больше, чем несколько минут. Потом она стала сидеть дольше, потом она просиживала со мной целые часы. Она заходила ко мне каждый день, все дни до единого, сколько я тогда был в Рашкове.

Мы читали вместе. То есть я читал вслух, а она слушала. Я полусидел-полулежал на земле на расстеленном старом бурнусе, опершись локтем о закатанную постель. Фейге сидела рядом. Я читал, а она и вслушивалась в то, что я читаю, и вглядывалась своими большими, всегда блестящими, будто влажными, глазами, как я читаю.

Фейге Шпринц прибрала в доме, сбрызнула водой «полы» и подмела их, вытерла тряпкой пыль, паутину по углам, однажды

принялась даже вытирать запыленные стекла. С Фейге Шпринц вошли в мое «укрытие» свежесть, живость, девичья нежность, сочувствие, понимание, преданность. И еще что-то такое особенное, что не имеет названия и что очень быстро и во мне вызвало что-то такое, для чего точного названия у меня пока еще не было. О Фейге Шпринц я больше расскажу чуть позже, особо.

Когда я сейчас, во второй раз, читал Переца, Ромен Роллана, Ремарка, видел повешенных в лесу восставших крестьян у Ребряну, мне как-то само собой, где-то в подсознании, наверно, одновременно с чтением писалось. Как я мог делать такие два дела вместе, в одно время? Прочитанные картины и мысли, людские судьбы, споры, потрясения, радости и разочарования, победы и поражения, жизнь, смерть, ум, красота — все это на меня в моем тогдашнем состоянии так, наверно, действовало, тревожило во мне столько струн, что отозвались глубоко в подсознании, как далекие голоса и отголоски, строки. Другие строки. Мои строки. Я тогда, помню, не отдавал себе отчета, что нечто такое происходит. Объясняю я это так лишь сейчас. Сейчас, когда я уже знаю немножко, как читается, когда читается вкусно, до опьянения.

Я закрыл книгу, а строки писались дальше сами. Я писал их не пером и не на бумаге. Только мысленно. В голове. А может, надо еще сказать — в сердце.

Я писал, разумеется, не потому, что Хона Одесский велел мне это делать, дал мне на это свое согласие. И даже не потому, что мне велели это делать два босых мальчугана с двумя своими ржавыми обручами, — в переулке у колодца.

Об этом я должен рассказать, хоть, наверное, это ерунда. Однажды днем я вдруг услышал на улице, возле колодца, знакомую мелодию, знакомые слова. Я кинулся к окну, отпер ставни и обомлел. Я стоял и смотрел в щель, как два босых рашковских мальчика катят согнутым куском проволоки два больших ржавых обруча от бочки. И, между прочим, напевают себе двумя тонкими писклявыми голосочками. Маленькие детские спинки их удаляются, издали доносятся уже только одни лишь отголоски.

Сам же я босой сижу,
Я, чистильщик Шае…

Я пережил такую же радость, как чеховский герой, когда он имя свое, из-за какого-то пустяка, увидел напечатанным в газете. Но это была радость. Честное слово, была. Чистая радость, первая радость.

О чем я писал? Не о собственном состоянии, разумеется. Я еще тогда не мог знать, что писать, любым из сотен способов, это всегда и прежде всего исповедь. И через эту собственную исповедь о чем-то предупредить мир, не дать ему повторить твои или героя твоего ошибки, подсказать ему твои или героя твоего удачи — грубо говоря. Рассказать о твоем далее и сказать тому, кто слышит тебя: далее! Грубо говоря.

Я, наверно, писал неуклюже и наивно. (Я еще говорю «наверно».) Как начинающий. Даже как еще предначинающий. Я не помню ни одной строки. Я эти строки не записывал. А те, что записывал, — потом порвал. Сейчас было бы как раз таки любопытно взглянуть. Если б кто-нибудь нашел вдруг в преклонные годы свою первую школьную тетрадь, где он калякал кружочки и палочки, разве не было б это для него найденным кладом?

Вещь свою, помню, я назвал «Глаза». Такой антивоенный монолог в стихах. Слово «война» уже в то время, точно так же, как и до того времени, точно так же, как и после того времени, витало всюду в воздухе, как вечное проклятие, преследующее человека еще со времен Адама и Каина. Монолог-крик солдата, который в окопах потерял глаза и лишь теперь, ослепнув, стал видеть.

Я написал стихотворение о смерти моей тети Иты. Длинное жалостливое стихотворение, помню, в стиле тех длинных песен, что нищие поют по дворам. Стихотворению я дал красивое название: народная баллада. Тетя Ита моя замуж не вышла, умерла в молодости старой девой. Она жила с бабушкой Ентой в низеньком домике, таком низеньком, что маленькая бабушка Ента чуть не касалась головой потолка. Наверху, в углу, как икона, висело тети Иты девичье зеркало с ржавыми пятнами. Висело так наклонно, что я всегда видел себя в нем вверх ногами. Бабушки Ентино кухонное окошечко выходило в конюшню, которую поставил там добрый сосед после смерти дедушки Зусие. И вся «панорама» бабушки Енты и тети Иты состояла из длинного корыта и лошадиного зада, что стоит и гадит прямо на стекла. Тетя Ита любила читать книжки Шомера[9]. Она находила в них, наверно, искру надежды, что на земле могут случаться чудеса, из пастуха может получиться король, из бедняка — богач, из грязи да в князи. После смерти дедушки Зусие бабушка Ента и тетя Ита сидели обе, согнутые над ситом, чистили для богачей перья, белые легкие перышки летали по домику, как снежинки, покрывали обеим головы, и бабушка Ента с тетей Итой выглядели обе как одинаковые белые сказочные старушки. Тетя Ита умерла в рашковской «казенной» больнице от тифа. Ее выдали в

заколоченном гробу, обмазанном смолой и побрызганном карболкой. Никому к покойнице нельзя было прикасаться. На похоронах отец мой один нес гроб на спине, а родственники шли сзади, чуть поодаль. Отец шагал, согнувшись, с гробом на спине в гору на кладбище, как сам распятый с тяжелым крестом на себе. Вот-вот он сам себя пригвоздит наверху к этому кресту.

Я написал стихотворение о нашей большой, вожделенной стране, что лежит так близко, на той стороне Днестра, руку протянуть, но из-за плохих людей, назвавших Днестр границей, так далека от нас.

И я написал стихи о любимой девушке. Эта девушка ушла от родителей, бросила гимназию, махнула рукой на благополучие, вырвала из себя собственное сердце и несет его в руке, как факел, к обиженным и отверженным. Этой девушке я выразил всю тоску и всю нежность, что были во мне тогда. Эта девушка была не Цейтл, из-за которой в тринадцать лет я аж заболел от любви. Не Женя, возле которой за одно короткое лето я вырос на несколько лет. И даже не Малия — примечтавшаяся, может, и вовсе придуманная, исчезнувшая Дульцинея моя.

Кто же была эта девушка?

4

Биография Фейге Шпринц.

Пока еще совсем короткая. Пока еще достаточно для нее несколько строчек, не больше. В одной деревне жил еврей со своей женой и с тремя дочерьми. Еврей — силач. И как хороший пловец, бывает иногда, тонет, так бывает, что человек сильный умирает иногда до времени, не своей смертью. Однажды ночью в дом к этому деревенскому еврею залезли грабители, обобрали его, он ринулся свое добро защищать, и они его убили. Немного спустя, от горя, покинула мир и его жена. Трех сирот и оставшееся немудреное хозяйство поделили между собой рашковские родственники. Фейге среди сестричек была самой маленькой.

Она воспитывалась у бабушки, потом у тети, потом у другой тети, потом у старшей сестры, которая вышла уже тогда замуж. Она столько настрадалась и столько натерпелась, что на все это не хватило бы и тысячи строк. Но тем не менее так, в такой обстановке, она закончила рашковскую четырехклассную гимназию, «шкоалэ медие», как она называлась. Так она сняла себе угол у какой-то старушки, жила тем, что помогала учиться деткам с «трудными головками», которым кроме учителя в школе

нужно было дома еще иметь репетитора. И вот так она постепенно прибилась к нашей компании.

Как выглядела Фейге Шпринц.

Откуда у такой, можно сказать, набедовавшейся девочки взялось столько обаяния, столько яркости, столько влекущей девичьей женственности? От нее веяло, казалось мне, лесной свежестью вымытой дождем листвы и только что скошенной травой. В ее лице я видел смесь деревенской простоты и местечковой наивности. У нее были прямые черные волосы, она всегда носила их расчесанными, рассыпанными по плечам. Рот у нее был широковат, губы — довольно-таки полные, зубы — какой-то особой белизны. Из ее глаз, всегда влажных, блестящих, постоянно выглядывали и удивление, и доброта, и смущение, и любопытство. Была ли она красивой? Мне в те дни мои казалось — самая красивая, такой красивой девушки я еще не видел.

Выцветшая гимназическая форма, которую она еще надевала иногда в будни, сидела на ней в обтяжку. Она выросла из формы. Колени ее были наполовину открыты, где-то под мышкой бросался в глаза лопнувший шов. Она больше носила белую кофточку без рукавов. Обнаженные руки ее были загорелые, блестели черно-коричневым зеркальным глянцем. Как и лицо ее. Как ее загорелая шея, окаймленная белым вырезом кофточки.

И кроме всего этого, у нее была совершенно особенная улыбка. Улыбка, какую даже и описать невозможно. Когда она улыбалась, я никогда не знал, улыбаются ли это глаза ее, рот, полные губы, все ее лицо, волосы на плечах, шея, руки, или что-то такое, что витает около нее, вокруг нее, и пока оно не улыбнется, его и не видно, а имени ему вовсе нет.

Нежность Фейге Шпринц.

Нежность или доброта. Среди нас тогда оба эти слова были не в моде. Больше воспитывали в себе жесткость, колючесть, непримиримость. Чтобы иметь силы сопротивляться миру со всеми его обидами и несправедливостями, чтобы суметь разрушить старый мир. То, что называют нежностью, носили пока в себе, где-то в потаенных уголках души, держали припрятанным до того счастливого времени, когда все надо будет строить заново. У нее же этого было столько, что оно било через край, вырывалось из тайников. Точно так же, как женственность ее выпирала из лопнувших швов ставшей тесной гимназической формы.

Она просиживала со мной часами, говорила и говорила, все утешала меня. Я ни разу не слышал от нее ни одного колкого слова. Ей не мешали мои странности. Сам я терпеть не мог свою

расхлябанность, рассеянность, расписывание своего незавидного положения еще больше, чем оно есть, она же из всех этих недостатков выводила достоинства. Когда на меня вдруг нападала молчаливость, она тоже сидела передо мной без слов, ласкала меня одним лишь взглядом. Как если бы она сидела, не приведи бог, возле больного, которого надо лечить только тишиной и только уверенностью во взгляде, что он выздоровеет.

И в часы, когда мы вместе читали — я читал, а она слушала, — меня тоже ласкали ее всегда сияющие влажным блеском глаза. Вокруг лица ее восхищенно витала ее особая улыбка. Не столько от того, *что* я читаю, сколько от восторженного звона моего голоса, от того, как восхищаюсь я сам тем, что читаю.

А когда я в первый раз прочел ей свои собственные стихи, которые, наверно, гроша ломаного не стоили, глаза ее вообще наполнились до краев, и мелькнули в них и удивление, и любопытство, и смущение, и счастье. Как будто она удостоилась чести, чтобы стоял перед ней и читал свои собственные произведения по меньшей мере величайший поэт мира.

Как мне это назвать: нежность или просто доброта?

Необыкновенность Фейге Шпринц.

Она и Малия — они были совершенно разные. Малия называла меня «мальчик», она взяла меня за руку, и впрямь как берут за руку мальчика, и повела меня за собой, за собой вверх, в ее таинственный мир, в который я стремился, — повела по ступенькам. И я всегда знал, что она была наверху, а я — внизу. Ступеньки между нами остались навсегда. Малия была полна таинственности, и таинственность эту не могла передо мной раскрыть. Малия была только видением, только мечтой моей. Мою влюбленность она приняла, даже кивая головой, что, дескать, она в меня тоже влюблена, — чтобы глубже затащить меня в свой мир, чтобы я сильнее любил то, что любит она. Малия бредила своей романтикой подполья, любила часто говорить об этом таинственными намеками, в подпольные дела свои уходила с головой, жила ими каждый час и каждый миг круглые сутки. Малия вообще была само видение, сама мечта. И, как приснившийся мне красивый сон, она быстро исчезла. Исчезла, оставив во мне одну лишь тоску, одно лишь послесонье.

Она же, Фейге, была более простой, более земной. Она ко мне снизошла по ступенькам — снизошла к моей тогдашней растерянности, к моей униженности. Она на коленях склонилась к земле, как склоняются к земле в деревне, чтобы раздуть пригасший огонек, и разожгла мой огонек вновь. Она меня первого втолкнула обратно на ступеньки. Она тянулась ко мне,

как раскрывшийся поутру подсолнух. Она вошла в мой мир, и мир мой стал ее миром. Она не ждала моей влюбленности заранее, чтобы потом кивнуть головой, дескать, она в меня тоже влюблена. Мы никогда об этом, собственно, и не говорили. Это произошло проще — без слов. Любоваться своими подпольными делами она не любила. Их она тоже делала просто, без высоких слов. Она разожгла во мне огонек, который называют «писать», согревая меня им, как согревает солнце. Она во мне заглушала оставшуюся тоску по улетевшему сну моему — Малии. Саму тоску, саму мечту она превратила в простую земную явь.

Она и Малия. Она возле Малии. Она против Малии. Обе совершенно разные. Малия была в прошлом году, целый год назад. Она была сейчас, год спустя.

Разговоры Фейге Шпринц.

Вообще-то она не любила много говорить. Она больше любила слушать. В наших длинных разговорах говорил я, она только вставляла изредка слово, что-то иногда спрашивала, подкидывала новую искорку, чтобы наш разговор не остыл, чтобы шел дальше. Мне до тех пор такую хорошую слушательницу встречать еще не доводилось. (Сегодня я могу сказать, что она была одной из буквально трех хороших слушательниц, какие встречались мне в жизни.)

Голос у нее был, в общем-то, грубоватый, даже с такой мягкой хрипотцой в тонах. А мне тогда казалось, что все речи, что она иногда произносит этим широким мягко-хрипловатым голосом своим, не просто речи, а какое-то особое пение, как бы банально ни звучало это сравнение сегодня.

Она выслушивала мои рассказы обо всем, что я впитал в себя до того времени. О каждом пустячном происшествии, что до того времени со мной произошло. Все, разумеется, о Малии, о Черновцах. И главное, понятно, о том, что я пережил и передумал за последние месяцы. Я рассказывал только о себе. Я смаковал, можно сказать, перед ней свои переживания, как смакуют их иногда перед самым близким человеком, потому что знают, что твои переживания волнуют его точно так же, как тебя.

Помню, однажды она мне вдруг сказала:

— Знаешь, никто никогда не поймет тебя так, как ты понимаешь себя сам.

— И ты не поймешь? — спросил я.

— Я? Нет. И я не пойму.

— А как я понимаю себя, хорошо или нехорошо?

— Себя ты понимаешь хорошо, лучше, чем кого другого.

Она аж покраснела. Первый раз она бросила мне упрек. Она, однако, и это не считала недостатком. Она покраснела, подумав,

наверно, что я могу это плохо истолковать. И тут же добавила:

— Только когда так хорошо понимают себя, могут потом хорошо понимать других.

Она разговорилась в этот раз больше, чем всегда:

— И еще что-то хочу тебе сказать. Не требуй ни от кого больше доверия к себе, чем ты сам к себе имеешь.

— Как это надо понимать?

— Просто. Доверяй себе. Верь в себя. Знай, что все, что ты по сей день делал, делал ты честно. Не чувствуй себя маленьким, меньше, чем ты есть. Надейся на свои силы больше, чем надеешься. Не пугайся своих слабостей, беспомощности своей, излишнего копания, хныканья, даже сумасшедшинки. Люби все это в себе.

Верь. Знай. Чувствуй. Не пугайся. Люби. Она все заповеди свои перечислила мне с такой уверенностью, будто держала их передо мной в руке, выбитыми на скрижалях. Потом рассмеялась:

— Да, все те вещи, что мне как раз нравятся в тебе.

— Нравятся? — спросил я.

Она решила, наверно, что слова «нравятся» мне мало, и добавила:

— Без «нравится» вначале никакая потом любовь не может, я думаю, быть серьезной.

На Малию она как-то даже разозлилась:

— Эту Малию я не понимаю. Что это была за девушка? В каких небесах она летала? Так играть чувствами только можно или если не добрая, или если не искренняя. Ты только послушай. Ты говоришь ей: «Малия, знаешь, Малия, я бы очень хотел тебя поцеловать… Один поцелуй!..» Так она тебе отвечает: «Ну, ну. Не спеши. Спи. После пасхи…» И вы были оба в одной комнатке. И между вами до тех пор произошло, говоришь, столько сердечных разговоров, встреч. Или она тебя просто не любила, или это была игра и она тебе ответила совсем не то, что думала.

Эти речи Фейгины не были, боже упаси, никаким намеком. Фейге таки просто Малию не понимала. Она была более простой, более земной и более естественной. Я не помню даже, как мы пришли к поцелуям. Когда это случилось и как началось. Это произошло так естественно, с таким открытым сердцем, как будто и не было при этом никакого особого начала. Как будто оно и не начиналось, а продолжалось. Как будто это случалось между нами и раньше тоже. Уже давным-давно. Всегда. С детства. От самого рождения.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

1

Рашков начал понемногу шушукаться, что Ихил-Авромова Ицика старший сын здесь, в местечке, и прячется где-то на чердаке. Кто говорил — сын Ицика, а кто говорил — сын Ициковой Рэйзл. Кто говорил — на чердаке, а кто говорил-таки так, как оно и было, — внизу, в нашем нижнем доме.

Эти слухи разнеслись то ли, может, из-за дочек Шлойме-Арна-сапожника, а может, и из-за моих собственных сестричек. Однажды, день был очень душный, я распахнул окно, что выходит во двор, и оставил его завешенным одним только мешком. Наши дети спустились поиграться во дворе. Одна моя сестричка встала вдруг на цыпочки, дотянулась до открытого окна, отогнула угол мешка, всунула внутрь любопытную головку и увидела меня. Она так завизжала, что аж дети все разбежались. Мама крепко отшлепала мою сестричку, крепко ее отругала: чтобы она заткнулась уже, наконец, чтобы не кричала так громко — вся улица слышит. Она к ребенку применила и другой ход. Отпираться будет хуже. Она заговорила с той, как с понимающим человеком: так и так, оно таки так, как ее глаза видели, но должно быть ша, тихо, пикнуть об этом никому нельзя. А нет — может еще, боже упаси, прийти большое несчастье на весь наш дом. Сестричка моя перешла напротив, к нашему соседу Берлу Ривелису, и своей подружке, Менеле, дочке Берла, шепотом — ша, тихо — по секрету, сказала те же слова, что мама сказала ей. Но нельзя об этом и пикнуть никому. А нет — может еще, боже упаси, прийти большое несчастье на весь наш дом. Менеле те же самые слова — ша, тихо — сказала своим папе с мамой. Короче, через пару дней в дверь во дворе постучал ко мне Берла Ривелиса сын, Янкл, который был моего возраста, даже немного старше меня, и, значит, считался моим другом.

Я дверь не открыл. Янкл же не дал себя морочить, не отступился, постучал еще раз, и еще раз, и сказал мне из-за двери так:

— Открывай, открывай. Это уже ни для кого не секрет. Вы не умеете хранить тайны. Это уже секрет на весь свет. Открывай, тебе же здоровее будет!..

Я сейчас начинаю, совсем уж, можно сказать, под конец, новую историю. Потому что этот Янкл Берла Ривелиса вместе со своей клячей, как раз с той самой клячей, что вечно стояла,

развернувшись задом к бабушки Ентиному окошечку на кухне, они оба, Янкл — погоняя, кляча — таща телегу, провожали меня в последние рашковские часы мои, распрощались со мной последними и врезались в мою память, когда темной ночью я уехал из местечка, на этот раз уж действительно навсегда, можно сказать, на веки вечные.

Отец Янкла, Берл Ривелис, жил напротив нас, наверху, на Базарной улице, дверь против двери. Берла Ривелиса в Рашкове звали и Берл Ривелис, и Берл слепого. Хоть отец его, дед Янкла, значит, слепым никогда не был. Рашковские шутники рассказывали, что много лет назад, когда он еще был жив, сидел, бывало, отец Берла, поджав под себя ноги, на ярмарках, держал на земле сбоку перевернутую кушму, моргал прикрытыми глазами, как слепой, и припевал при этом, качаясь и кланяясь: «Богопростие, богопростие». А когда он видел возле себя кого-нибудь из знакомых, он посреди «богопростие» вставлял ему: «Иди, иди!» Но — чего рашковские шутники не могут сляпать? Или: чего не сделает рашковец ради заработка?..

Он же, Берл, был трудяга, все сам, своими руками. Высокий, зимой и летом в сапогах, с постоянно стриженной поседевшей головой. Никогда не видели, чтобы он стоял на месте. Всегда бегал, шумел, делал что-то. Он держал лошадь с подводой, делал сам газированную воду на продажу, тоже семечки жарил. Летом еще как-никак жили: газировка Берла была знаменита в Рашкове. Холодная как лед, и такая крепкая, что аж щиплет язык, как спирт. Зимой же, когда «завод» газированной воды останавливался, пухли все от голода вместе с клячей в конюшне. Моя мама говорила, что когда столько шумят и столько работают, так можно было б уже есть хлеб с маслом круглый год, да еще с гаком. Но когда живут без головы! Когда так распускаются! И кишки свои распускают! Если есть — жрут сколько влезет. А если нету — кладут зубы на полку и двадцать раз в день помирают с голода.

Дети Берла крутились возле дома, трудились вместе с родителями. Янкл, самый старший среди детей, наверное, тоже рвался к чему-то. Он сам отправился в Коверешты, село недалеко от Рашкова, и сам поступил в Коверештскую сельскую ремесленную школу, в «шкоалэ-де-месерие», где крестьянские дети, большинство без родителей, за три года становились слесарями или кузнецами и где ученикам в своего рода интернате давали и еду, и одежду. Летом, в каникулы, Янкл носил тужурку с медными пуговицами, прямо совсем как гимназист. Целыми днями возился он в их газировочном «заводе». Орудовал напильником, паял, чинил старые баллоны из-под газа, а то мог

просто выискать где-нибудь на чердаке старый ржавый замок и сделать из него вещь. По вечерам, втихомолку, гордился он и пуговицами своими медными на тужурке, и мозолями, набитыми на черных руках, и, конечно, как истинный будущий рабочий, сильно тянулся к нашим. А наши ребята как раз Янклу не слишком доверяли, не подпускали его слишком близко. Почему — по сей день не могу понять.

Так что же это значит? Что он имеет в виду, Янкл, «открывай, тебе же здоровее будет»? Он что, угрожает мне, что ли? Я откинул крючок.

Янкл какое-то мгновение стоял как вкопанный на пороге и смотрел на меня. Когда я сказал ему, чтобы он зашел, что я хочу прикрыть дверь, он ответил мне без обиняков:

— Она уже может быть открытой. Все равно все уже знают. Я не понимаю вас, товарищи. Другого места тебя спрятать вы не нашли? Чего ты молчишь, а?

— Я не молчу, — сказал я, — и если это так, то, наверно, так и должно быть.

— Но так ведь не годится же.

— Почему не годится? Иногда так даже лучше. Кому может прийти в голову, что я вдруг здесь, у себя дома?

— Любите вы умничать. Играются с вами, что ли? Спроси мою Менеле, она тебе скажет, кому это может прийти в голову. Выслушай меня, так не годится. Надо что-то придумать.

Пришел отец. С перепуганным лицом белее стенки. Янкл повел разговор с ним. Почему он молчит? Это же не пустяк, реб Ицик. Это же рисковое дело. Отец, как будто спокойно, сказал, что в Рашкове есть всякие — пьяницы, хулиганы, конокрады, просто паскудники, но доносчиков, кажется ему, в Рашкове нет. Янкл сказал: «Во-во, еще как есть! До них только дойти должно, так сразу видно будет, что они есть». Отец сказал: «Что же можно сделать?» Янкл дважды повторил: «Надо что-то придумать, надо что-то придумать». В окно тихо постучала Фейге. Она аж покраснела, когда увидела нас всех троих вместе. Янкл потом сказал, что если бы сейчас была зима и Днестр бы стал, раздобыл бы он где-нибудь сани, взял бы кобылу свою и ночью в два счета перебросил меня на ту сторону — и кончено. Фейге снова покраснела и сказала, что Янкл болтает глупости и вообще делает слишком много шума. Отец сказал, что, тем не менее, считает он, нужно что-то делать. Может, было бы хорошо, чтобы я на несколько дней уехал куда-нибудь в деревню, он бы раскрыл окна и двери, и пусть люди видят, что здесь никого нет и что никто здесь не прячется. А то, что говорят, тыкают пальцем в небо, рашковцы такую манеру имеют. Иногда против вора годится

замок, а иногда открытая дверь лучше. Янкл на это снова сказал, что надо что-то придумать, и Фейге на него аж разозлилась: нечего паниковать. Думать есть кому. За эти дни и придумают что-нибудь, и сделают что-нибудь. И не надо об этом лучше много говорить.

Эта история — лишь предыстория. Сама история еще впереди.

В Рашкове жил человек по имени Ихил Штивельман. Загубленный талант — говорили о нем в местечке. С малых лет любил он рисовать всякие картинки. Сначала он рисовал углем на стене, куском мела на заборе, потом карандашом на бумаге, потом кистями на кусках картона. Отец его, Хаим Штивельман, набожный еврей с красивой длинной бородой, был разорившийся полубогач. От прежнего богатства остался дом с высокими окнами и зеленой жестяной крышей. Но жесть на крыше прохудилась, растрескалась, а в кармане уж не осталось даже, чем эту поломанную крышу залатать. Гонор же прежний и высокомерие остались тем не менее полностью. Отец ни за что не разрешал Ихилу рисовать. Во-первых, это не еврейское дело; во-вторых, это бедняцкое занятие, мазня, и вообще ничто; в-третьих, ладно бы это еще было раньше, можно было бы его взять и послать в Петербург, чтобы хоть вышло из него что-нибудь приличное. Но так, ай, бросьте — ни за что. Ихил рисовал, а отец рвал. Отец рвал, а Ихил упирался. Что творилось — кошмар. Отец грозил, что прогонит Ихила из дома, выкинет его в чем мать родила. А Ихил рисовал. Прятался и рисовал. На чердаке. Где-то в коровнике. Просто за городом в полях. Короче, когда рашковскую большую синагогу отремонтировали и перекрасили, Ихил Штивельман нарисовал внутри, на стенах между окнами, все двенадцать знаков Зодиака. Нарисовал их так, что все местечко бегало смотреть на это чудо. И вот после этой истории кончился талант Ихила и началось ремесло. Хозяйственные рашковцы рвали Ихила на куски, чтобы он украсил им их дома. Ихила стали встречать на улицах в забрызганных, расцвеченных красками штанах, со стремянкой на плече, со щетками и ведром краски в руках. Маляр как все маляры, самый простой маляр. Отец Ихила от боли и обиды очень скоро сошел в могилу. Со временем Ихил женился на бедной девушке, да еще и болезненной к тому же. Она начала рожать ему детей. Скрутила его жизнь здорово. Заботы, долги, нужда и болезни. Еще молодым он стал сутулиться, на щеках появились глубокие борозды, на голове — приличная лысина. Сердце у него вечно стонало по потерянным годам и по растоптанному таланту. Талант же в нем, видимо, не сдался, ныл, требовал свое. Когда Ихила одолевала тяга, как опьянение какое-

то, выводил он на стенах домов, куда его звали малярничать, вместо обыкновенного трафарета, рамочки и своими собственными пальцами, тонкими кисточками, зажатыми в пальцах, врисовывал в рамочки все, что было у него в голове и что лежало у него на душе. Такое малярничанье могло затянуться у него на недели. Хозяева ругались, скандалили. Но когда все было готово, снова весь город бегал смотреть на чудо. Кто знает, если бы Ихил писал свои картины на холсте или хотя бы на простом картоне, может, сегодня, годы спустя, стоили бы они состояний…

Фейге Шпринц, как она рассказала мне позже сама, руководила в Рашкове мопровской группой. (Потому-то Хона Одесский именно ее и послал ко мне.) Неудивительно, что такой вот Ихил Штивельман тоже был в этой группе. И неудивительно, что Фейге пришло на ум заговорить обо мне с этим Ихилом Штивельманом.

В то лето Ихил Штивельман работал в селе Шиншеуцы у шиншеуцкого еврея, торговца зерном. Целых шесть комнат нужно было там разрисовать. Каждое воскресенье утром приходила за Ихилом подвода, чтобы отвезти его в Шиншеуцы, а в пятницу вечером, когда уже зажигают свечи, вернуть обратно домой. Ихил жил наверху, на горе; первый домик, когда въезжают в местечко, домик, обмазанный снаружи одной только глиной. В то раннее воскресное утро, помню, было еще так темно, что у Ихила Штивельмана горела еще в доме лампа. Ихил сразу, прямо в сенях, дал мне надеть пару своих старых малярских штанов. Жена Ихила, Пэрл, крутилась уже по дому, крутилась, ну будто на цыпочках, легко и тихо, как голубка. Такая маленькая и такая легонькая, что правильней, наверно, было бы сказать: легко и тихо, как пташка. Больная птаха, что прыгает на своих тоненьких ножках по земле и не имеет, бедная, сил, чтобы взлететь.

Пэрл подошла ко мне, склонила чуть набок голову, оглядела меня, и лицо ее, кажется, просияло. Удовольствием своим она и показала мне, как смешно я выгляжу в жестких малярских штанах и что раз уж Ихил-Авромова Ицика парень решился стать подмастерьем маляра, то не надо лучших доказательств, что этим проклятым малярством нечего особенно кидаться.

В Шиншеуцах мы с Ихилом спали всю неделю оба во дворе, на длинном крыльце хозяйского дома. Внутри, в доме, наставлены были банки с краской, ведра с известью, с клеем, с олифой, длинные щетки и маленькие кисточки. Мебель в доме стояла сдвинутая в середину, накрытая старыми скатертями или простынями. Я, подмастерье, Ихилу Штивельману все подавал. Зачерпывал из колодца во дворе ведро воды, подавал Ихилу на

лесенку свежевымытые кисти, вычищал ведро от засохшей краски. В задних двух меньших комнатках, где побелены пока были только потолки, а стены еще сплошь покрыты гипсовыми пятнами, Ихил Штивельман поставил меня со щеткой в руке и с ведром мыльной воды на полу рядом, и я намылил этой мыльной водой стены, чтобы новый фон не смешивался потом со старым. Он сам, Ихил, стоял целый день наверху, на своей двойной лесенке, держал ее между ногами и мог, если надо было, шагнуть, стоя на ней. Он стоял на лесенке сгорбленный, с изможденным лицом и с сердито растрепанными волосами по обеим сторонам лысины. На шее у него висели на веревочках склянки с краской, в левой руке он держал между пальцами несколько кисточек, а правой рукой, каждый раз другой кисточкой, врисовывал в кантовые рамки на стене ряды широко раскинувшихся орехов, высоко торчащих тополей, солнце, садящееся в тихий лес, шиншеуцкие домишки с соломенными крышами, плетни с глиняными кувшинами сверху. Хозяин, зерноторговец, маленький и круглый, с красным лицом без бровей, стоял внизу за лестничкой и втихомолку ликовал, чуть ли не облизывался. Но сказать это Ихилу вслух он себе не позволял. Наоборот, он крутил всякий раз носом и говорил, что мазня Ихила никуда не годится. Чего это он ему рисует на стенах такие вещи, которые он видит в окне круглый год задаром? Пусть Ихил воткнет где-нибудь сверху что-то еврейское тоже. Например — ханукальную лампу, какую-нибудь занавеску с кистями или еще что-нибудь такое, чтоб пело. Не так они друг друга поняли и не так они раньше договаривались. Ну а Ихил долго не спорил. Среди красивых пейзажей своих в рамках врисовывал он, тоже в рамочке, красиво вырезанную ханукальную лампу, в углах между стенами опустил длинные плетеные шнуры с красными кистями внизу. Две комнаты были уже закончены. Они выглядели как два зала на выставке, обвешанные кругом картинами в рамках. Рисунки Ихила были, наверно, примитивно-наивными, в слишком ярких красках и слишком кричащие. Тысячи детей во всех наших детсадах рисуют сегодня так же. И как раз потому-то я и говорю: кто знает, если бы Ихил тогда рисовал свои рисунки на холсте или даже на простом картоне, может, сегодня, годы спустя, стоили б они состояний…

Ели мы с Ихилом или во дворе на крыльце, или в доме на полу. Ихил посылал меня купить кусок колбасы, буханку хлеба, несколько луковиц. Луковицу он никогда не разрезал, он разбивал ее рукой. Ломтик хлеба же, наоборот, любил долго держать в ладони, отрезать каждый раз ножиком квадратные кусочки, ножиком же класть их в рот, жевать медленно, устало, с

удовольствием, как после хорошей бани. А после еды он любил еще посидеть немножко на полу и перекинуться со мной словом, «помолиться» после еды, как он это называл. Издалека, через открытую дверь, глянет он, бывало, на те две комнаты, покачает головой и вздохнет:

— Ой, на что это и кому это? Через пару лет всю эту мазню мою снова намылят мыльной водой. Каждый раз обнови им, освежи им. Им же скучно. Скучно, бедным, в шести комнатах. Нарисуй ему ханукальную лампу, невеже этому. Зачем ему ханукальная лампа, спроси его, с чем ее едят, он знает?

Меня Ихил Штивельман называл: дружочек.

— Ой, дружочек, как ты думаешь, доживу я еще до тех времен? Ой, нет. Ни я и ни отец твой. Нам уже добра не видать. Может, вы, молодежь, может, вы до чего-нибудь да доживете.

— Вы же еще молодой, Ихил.

Ихил рассмеялся:

— Молодой… Старая развалина, дружочек. Старик без единого зуба во рту. В молодости было кого кусать и было что кусать. Сейчас уже поздно. Пиши пропало. Помогать я еще изредка помогаю немножко, чем могу и сколько могу. Ради вас, ради молодых. Мне, дружочек, до хорошей жизни уже не дожить.

Каждое утро я выбегал принести газету. Ихил брал ее в руки первым, вполглаза просматривал, что слышно на свете. Помню, в конце недели, в четверг, а может, таки в пятницу, нам уже скоро надо было уезжать из Шиншеуц домой, Ихил ткнул мне пальцем в газету, даже вроде обрадовался:

— Посмотри-ка, дружочек, вот же здесь про тебя тоже.

В газете (тогдашняя румынская газета «Универсул») была напечатана корреспонденция из Черновиц, что «в эти дни в Черновцах состоялся процесс над группой юношей, которые занимались подрывной антигосударственной деятельностью. Такие-то и такие-то обвиняемые (перечислены имена) осуждены на два и на три года тюрьмы. Двое обвиняемых (мое имя и Бенино) исчезли из города. Их будут строго судить по закону, когда они предстанут перед трибуналом».

Ихил Штивельман, увидев, как я переменился в лице, забрал у меня газету, повертел ее в руках туда-сюда и стал как бы оправдываться передо мной:

— Конечно, дружочек, вам хуже. Вы сидите в тюрьмах. Мучают вас и пытают вас, жить вам не дают. Но поверь мне, мне тоже не сладко. Ой, мучаюсь я тоже. Ой, страдаю…

В пятницу вечером, уже было темно, привезла нас обоих шиншеуцкая подвода домой. Ляпал дождь, дождь, какой бывает только на исходе лета, вот перестал он, вот он снова начал лить.

Мы оба промокли насквозь, холод пробирал меня до костей, я весь дрожал. Пэрл, Ихила жена, выставила в окошке свое маленькое личико, высматривала Ихила, как высматривала чуть раньше первую звездочку, чтобы чиркнуть спичкой и встать, скорчившись, как больная пташка, попискивая, шептать одними губами, благословлять свечи. В сенях мы обтряхнулись, обтерлись, я снял малярские штаны, и Ихил велел мне зайти пока в дом — пусть на улице как следует стемнеет.

Две свечи в подсвечниках на застеленном столике в углу брызгались, трещали, кричали, казалось мне, караул, изогнутыми огоньками своими показали мне на несколько кучерявых головок, одна над другой, выглядывавших из-за занавешенной двери во вторую комнатку. Ихил пошел к своей «банде», а Пэрл подошла ко мне, как на цыпочках, и тихим писклявым голосочком спросила:

— Ну? Он таки работает, бедный, как ишак, а? Такая длинная неделя. Она тянулась как год. А ты, бог даст, в воскресенье снова придешь? Ты снова с ним поедешь? Так, значит, придешь-таки?

— Он придет, он поедет! — Ихил вышел от детей сияющий. — Давай лучше что-нибудь к столу, Пэрл. Наша банда уже не выдерживает. Есть у тебя что-нибудь на стол поставить, что-нибудь такое, чего не увидишь?

Небо на дворе было затянутое, тусклое. После дождя местечко выглядело выкупанным и растрепанным. Пахло размокшей землей, распаренной пылью, мокрыми пронизывающими ночами ранней осени. Не знаю почему — меня опять начало колотить. Улочки стояли пустые, нигде никого не видно было. Я шел медленно, вяло, еле тащил ноги. Я думал об Ихиле, о стоне Ихила «ой, страдаю». И я думал о своих собственных стонах. Эта распрекрасная новость в газете и радовала меня, и пугала. Радовала — пусть народ читает и видит, пусть тот, кто, может, хоть чуточку сомневался во мне, видит собственными глазами и остается в дураках сам. Испугала — что же теперь будет? Снова все начинается сначала? Когда же будет конец? И какой это будет конец? Отец, наверно, целую неделю открывал, как он говорил, двери и окна. Чтобы люди видели, что в доме никого нет и никто там не прячется. Новое средство от вора — открытая дверь. Хорошенькое средство! А Шиншеуцы, эта поездка с Ихилом в Шиншеуцы — Фейгино средство? Меня снова заколотило. Меня вдруг охватило желание сразу, как только войду в наш заброшенный дом, завалиться в постель на полу и сразу заснуть. Спать. Проспать. Я шел и думал, что начинаю со временем в точности становиться отцом. В самом большом горе падает отец, измочаленный, на что бы то ни было, спит и

выстанывает во сне свои великие стоны. Так что же, судьба отца станет со временем и моей судьбой? Моя судьба будет как судьба Ихила Штивельмана?

Но я, однако, в ту пятницу всю ночь глаз не сомкнул.

2

Удивительное утро. После такой ночи без сна, ночи в море пота, первые брызги утреннего света начали понемножку вызволять комнату из темноты, высвечивать убогие вещи в комнате; сами эти вещи, да и я среди них в своей постели на полу, все ночные видения и ночные борения мои, все это сейчас, в эти первые утренние минуты, выглядело удивительно ярким, удивительно сияющим. Такие утра потом не раз случались в моей жизни. Потому что и ночи такие случались в моей жизни потом не раз.

Ночь между сном и явью. Терновник где-то далеко во тьме горел и горел и все не выгорал. Глубоко внутри себя я слышал голоса. Всю ночь я «писал». Моя собственная далекая звездная тропа, которую я вдруг увидел перед собой, перечитывая у Мани с Дуцей на диванчике Бергельсоновскую «Меру строгости» и Кульбака «Зельменьяне», сейчас снова привиделась, пригрезилась мне. Эта звездная тропинка выведет меня на большую дорогу, приведет меня к людям. И по этой вот дороге буду идти я до конца своей жизни. Сними ботинки и оставайся в одних носках — это святая тропинка! Это будет мое далее. Я возьму с собой несчастных и гордых бедняков моих. Тетю Годл и дочку ее Шейндл — чтобы у них тоже было место в этом мире. Мудрого деда Зусие. Отца с его вечными хриплыми вздохами. Растоптанного Ихила Штивельмана. С собой, на плечах своих, понесу я Рашков. Всех обиженных и отверженных, что встречу я на своем пути. Нет, моя судьба не будет ни такой, как судьба отца, и ни такой, как судьба Ихила Штивельмана. Хватит ли мне на это сил? Ночь между сном и явью. Я лежал, вымоченный в семи потах. Всю ночь я «писал». Ночь среди десятков ночей моих, когда я чувствовал такое, что чувствуют, наверно, только раз в году, в день рождения, — что и на год возраста прибавилось, и на год зрелости прибавилось. Звездная дорожка мерцала во тьме перед моими глазами. Вытягивалась далеко-далеко ввысь всю ночь, пока первые брызги утреннего света вытащили понемножку комнату из темноты. И всё вокруг меня, все видения и все борения мои сейчас, в первые утренние минуты, стали выглядеть удивительно яркими и удивительно сияющими.

Удивительное утро.

Солнце еще толком не взошло, а Фейге уже пришла. В своей ослепительно белой кофточке, волосы забраны наверх, уложены на голове, все лицо открытое, светлое — она здорово вписалась в это утро. Она вся была сама улыбка, само сияние.

— У меня для тебя много новостей.

— Видела газету?

— И газету видела. Нет-нет, не это. Хорошие новости.

За время, что я был с Ихилом Штивельманом в Шиншеуцах, она специально ради меня съездила в Сороки. Поехала поговорить с сорокскими товарищами из регионального комитета. Она пробыла там целых три дня. Товарищи схватились за голову. Как можно так по-местечковому прятать меня в моем же собственном доме, в таком маленьком местечке, где каждый знает, что у другого в горшке варится? Не говоря уже о том, что меня держат изолированным от мира, оторванным от людей. Мне ни одного дня нельзя было быть дома. Хона Одесский сделал большую ошибку. То есть ошибка в том, что он ничего не сделал. Пустил на самотек, ждал чуда. Надо помочь мне легализоваться, стать свободным, выкарабкаться из растерянности. Из хомута, что я сам на себя надел. О черновицком процессе я должен пока забыть, не носить его в себе больше, как будто его вовсе не было и нет. Меня надо вернуть к живой жизни, к работе. Такое возможно только в большом городе. Чем город больше, тем лучше. В бухарестском студенческом общежитии есть наш рашковский товарищ, Бузеле Гринберг, очень серьезный товарищ и очень хороший парень. Сорокские ребята решили вывести меня на Бузеле Гринберга. Это не встреча на улице, в чужом городе, с человеком, которого ты никогда до этого не видел. Такая встреча из-за вещей, которых никто наперед предвидеть не мог, может быть и неудачной тоже. Такое вполне естественно, и не надо из-за этого теряться. Сейчас это и точный адрес, и точное имя. А Бузеле Гринберг — свой человек. Он знает меня, я знаю его. Бузеле Гринберг всем меня обеспечит, во всем мне поможет.

Фейге рассказала мне все это и с большой радостью — это наша общая победа — и потом, под конец рассказа, с такой тихо-затаенной грустью в красивом хрипловатом голосе ее — сегодня наш последний день вдвоем. Запнувшись, она даже вздохнула:

— Я уже все приготовила. И с Янклом договорилась. У меня уже есть деньги тебе в дорогу. Янкл сегодня же ночью отвезет тебя на их повозке в Кобыльню на станцию. Не в Шолданешты, где на вокзале можно наткнуться на знакомых, а в Кобыльню, на кобыльненский вокзал.

Папа и мама уже об этой новости знали. Мама ко мне

приходила несколько раз за день, то принесла мне поесть, то принесла свежевыглаженную пару белья, еще рубашку, еще платочек, каждый раз вспоминала она дать мне еще что-нибудь, чтобы каждый раз снова прийти ко мне, как бы снова прощаясь, сказать: «Ну, езжай, будь здоров и будь удачлив, и чтобы ты сразу написал, слышишь?» — снова и снова, обняв, целовать меня, пустить слезу. Отец сидел со мной дольше. Хотел, чтобы я растолковал ему в точности, как же оно там, в большом городе, произойдет. Потом сказал, что если товарищи так велели, так это, конечно, правильно, это, конечно, неплохо велено. Янкл Берла Ривелиса зашел ко мне только на одну минуту, только спросить меня: «Ну, кто был прав, а?» — и только договориться со мной, что точно около трех ночи он постучит в окно; чтобы я знал, что это он, и чтобы я уже был готов.

Ближе к вечеру я остался с Фейге один. Она помогла мне упаковать вещи. Я присел к окну побриться, а она маленькими ножничками своими подровняла мне волосы на шее. Мы вместе поели чего-то на топчанчике. До сегодняшнего дня мы больше говорили о том, что было до сих пор, сейчас же мы больше говорили о том, что будет от сейчас и дальше. Фейге очень хвалила Бузю Гринберга, а я Фейге описал всю прошлую бессонную ночь. Ночь без сна. Полную видений, размышлений и выводов. Ночь, можно сказать, тяжелого труда. Будто я предчувствовал те новости, которые она, Фейге, принесет мне утром. Можно сказать, ночь приготовлений в дорогу. В длинную дальнейшую дорогу мою в жизнь.

— Помнишь, я рассказывал тебе про моего товарища в Черновцах. Мордхэ Школьник, молодой революционный поэт, поэт-солдат, боец, как он сам себя называл. У меня был с ним как-то разговор. Даже, можно сказать, спор. И тот спор наш тоже вертелся ночью у меня в голове. Мордхэ прочел мне свое стихотворение, и я признался ему, что тоже пишу стихи. Но я считаю, сказал я, что не это должен я сейчас делать. Если нарубить вязанку дров в лесу, назваться Василием и растопить этой вязанкой дров печку в доме больной еврейки для перецовского Немировера чуть ли не выше, чем прийти в синагогу к молитве, то прокламации, сказал я, прокламации, что я распространяю по ночам, мое «чуть ли не выше». Мордхэ, помню, положил мне руку на плечо и ответил: «Глупый, «чуть ли не выше» не бывает. Хватит того, что бывает низкое, среднее и высокое. Если ты думаешь, что мне незнакомо то дело, которое называется распространением прокламаций, то ты ошибаешься. Но какое отношение имеет то к этому? Стихи могут иметь в себе тот же жар, что и Немироверова вязанка дров, тот же порох, что и

прокламации, которые мы распространяем, и могут в то же время быть золотым колечком — нести в себе золотую возвышенность искусства…» Я спорил с Мордхэ, а сегодня ночью подумал, что я не был прав. Слышишь, Фейге, тебе мне не стыдно сказать: я хочу делать для нашего дела что-то большее, чем делал до сих пор, более высокое. То есть я выражаюсь, наверно, неправильно, я хочу делать то, что могу делать всеми своими силами. Я всю ночь изводил себя. И не знаю почему — мне было хорошо. Передо мною как бы засияло светлое утро. Тебе мне не стыдно сказать: всеми фибрами своими, всей честностью, что есть во мне, я чувствовал, что я в силах это делать и что я должен это делать.

Фейге обняла меня одной рукой за плечи. Влажные глаза ее, казалось мне, стали сейчас влажней, чем когда-либо. То ли она не вполне поняла мои слова, то ли, наоборот, разделила их, восприняла:

— Послушай. Я хочу, чтобы ты мне сейчас, в последние часы, что мы еще вместе, чтобы ты дал мне слово. Как бы дальше ни было, чем бы ты ни занимался, большим или малым, дай мне слово, что ты будешь писать, будешь и дальше писать.

Чуть позже, после маленькой паузы, наверно, чтобы не мешать одно с другим, Фейге вдруг вынула из сумочки заклеенный конверт. Она и покраснела, и засмеялась:

— Я тебе здесь письмецо написала. Письмецо к тебе до того еще, как ты уехал. Но я хочу, чтобы ты прочел его завтра, когда мы уже будем далеко друг от друга. Первое письмо мое из всех писем, что я тебе напишу.

— И ты думаешь, что у меня хватит сил читать твое письмо лишь на следующий день? Хорошо ж ты обо мне думаешь. Давай не будем детьми. Я захочу читать твои письма еще до того, как ты их написала. Дай сюда, я вскрою конверт.

— Делай как понимаешь, — только покраснела Фейге.

То, что до сих пор она мне никогда не высказывала вслух, высказала она сейчас в заклеенном конверте. То, чего она никогда не говорила мне вблизи, сказала она сейчас издалека. Письмо свое она подписала «Твоя Фейге». Она называла меня не просто «дорогой», а «самый дорогой». «Беспомощный, растрепанный, самый дорогой мой». Она сейчас — впервые за все время — повторила несколько раз то слово, что мы оба, все время, думали и чувствовали: люблю, люблю, люблю…

Был уже вечер. Сквозь окно золотилась еще над соседской крышей последняя полоска солнца. Я обнял Фейге. С той же чистотой, как год назад Малии, сказал я Фейге:

— Слышишь, Фейге, я очень хотел бы с тобой проститься…

— Я тоже, — просто и нежно ответила Фейге.

Полоска солнца на соседской крыше исчезла. На дворе стало темнее. В доме же, наоборот — светлей.

3

Ночь была прохладной, в полях вовсю уже пахло осенью.

Я сидел глубоко в соломе на Янкла повозке. Кляча Берла Ривелиса не слишком спешила. Небо над нами — в тучах, кругом чернота. Наверно, осторожности ради мы с Янклом всю дорогу почти не разговаривали. Янкл даже на клячу ни разу как следует не прикрикнул, только тыкал ее время от времени кнутом. Я сидел, скрючившись, в соломе, и не могу сказать, что у меня было очень весело на душе.

Рашковский местечковый паренек опять в большом чужом городе. Город — котел. Как он его переварит? Понравится ли он людям? Успехи будут или провалы? И провалы, и успехи. Спуски и подъемы. Снова скитания. Голод, борьба. Страдания и радости. Жизнь. Глубокая и тяжелая жизнь.

Но тот ночной отъезд рашковского местечкового паренька на повозке Янкла Ривелиса описываю я сейчас, пятьдесят лет спустя, когда все его мальчишеские мечты осуществились, сон стал явью — и дорога в ту ночь на вокзал в Кобыльню поет во мне.

Янкл сидел на повозке впереди, на поперек положенной доске. Сидел, укутавшись в грубую дорожную бурку, опоясанную веревкой, каждый раз он подстегивал лошадку тихим странным «Нё». И мне вдруг в темноте показалось, что эта спина — не Янкла. Не он, этот простой парень Янкл, выкрал ночью лошадь с повозкой из отцовской конюшни, не он, Янкл, везет меня в мой дальнейший путь — Немировер Переца делает здесь свое «чуть ли не выше».

Кляча, бедняга, бежала изо всех сил, выматывалась ради меня. И я думал, что кляча искупает вину. Она искупает вину свою за все те дни, что загораживала своим лошадиным задом оконце на кухне моей бабушки Енты, за все грехи, что она совершила против бабушки Енты и тети Иты. И конечно, я думал и иначе: что, в конце концов, знает бедная немая кляча? Где ей велели стоять, стояла она, и куда ей велели бежать, бежит она.

Во внутреннем кармане, у самого сердца, грело меня Фейгино письмецо. И еще грели меня строки новых стихов, что проклевывались у меня в голове. Черной и холодной осенней ночью я по-весеннему назвал эти стихи «Земля рожает». Рожает зазеленевшие ростки хлеба на полях. Майские колокольчики в лесах. Почки и цветы на ветках. Рожает нам новые всходы.

Дальнейшую жизнь.

Письмо любви и строки стихов. В простой повозке Янкла Ривелиса я ехал, опершись на эти две опоры, как в карете.

Любовь и поэзия. Две опоры среди тех немногих опор, на которых держится мир.

Повозка бежала. Дорога вела меня к кобыльненскому вокзалу, в большой город, годы спустя — сюда, в мой дом. Длинная дорога, где было много мук и много радостей. Муки творчества и радости творчества. Дорога привела меня к этим главам моим и приводит меня сейчас, у стола, к последнему слову, которое я хочу поставить в конце этих глав.

Самое желанное, и самое дорогое, и самое человечное, и самое банальное, и самое обыкновенное, и самое таинственное слово — потому что каждый чувствует его по-своему и понимает его по-своему, —

Счастье.

Пер. Ю. Цаленко.

СТАРЫЕ И НОВЫЕ РАШКОВСКИЕ ИСТОРИИ

ОДНА МАЛЕНЬКАЯ РАШКОВСКАЯ УЛОЧКА

Памяти Марка Шагала

Откуда мне начать?

От начала, разумеется.

Где же это начало, вверху или внизу? Куда положить мне первый мазок кисти?

Длинная полоска вверх, покороче — в сторону, две перекрещенные полоски сбоку: дверь и окно. Даже и не окно, широкая деревянная ставня, заложенная железным запором. Резницкая. Первый домик на улочке сверху. Я сразу слышу встревоженное кудахтанье над крышами. Жертвенные куры хорошо понимают, бедняги, и для чего их выхватывают вдруг ночью из курятника, и слова искупительной молитвы. Я сразу вижу трепетную спину Зусие-резника, его острый нож во рту. Сегодня, один раз в году, он режет до поздней-поздней ночи. Сегодня он — нужнейший среди нужнейших. Снаружи толкутся к нему женщины и девушки с кошелками в руках. Хрипят на крючьях зарезанные куры. Старые женщины злятся, проклинают весь свет. Молоденькие девушки перекидываются в темноте смешочками, грубостями, весь свет обсмеивают. Сейчас уже можно, наверно, все. После жертвы уже все-все простится.

А может, первый мазок кисти положить внизу, в нижнем конце улочки? Может, скорее начать снизу вверх, а не сверху вниз? Все равно? Все равно!

Три или четыре ступеньки, высокая резная дверь, стена с полудюжиной закругленных окон — «аристократическая» синагога в местечке. Небольшая синагога под жестяной крашеной кровлей стоит и молчит. В ее окнах день и ночь темно. На резной двери висит большой черный замок, прямо как на амбаре с зерном. Я прижимаюсь лбом к стеклу, приплющиваю нос, как когда-то в детстве носик, и еле различаю внутри двух позолоченных львов над алтарем, блескуче-лакированные перила вокруг амвона. Так как вверху улочки, в резницкой, сейчас время предпраздничной суеты, перескакиваю я здесь, внизу, на пару дней вперед, и все окна в синагоге сразу вспыхивают. Я вижу двух «аристократов», прогуливающихся у синагоги в квадратных ермолках и с узкими блестящими талесами на плечах. «Аристократами» называются потому, что во всю эту ерунду, в молитвы-шмалитвы и все такое, уже не верят. Но «аристократическую синагогу» имеют из-за трех вещей. Первое — чтоб видели, что есть. Во-вторых — за что им не любить

канторское пение? А в-третьих — со всевышним не шутят, есть он или нет его, два раза в году, на Новый год и в Судный день, отдать ему что причитается невесть каких денег не стоит. А может, он все-таки есть, а?

Сверху, снизу — все равно? Нет, не все равно.

Как раз напротив синагоги, на другой стороне улочки, я вижу ледник. Вот отсюда, с почерневшей и замшелой соломенной крыши на самой земле, начну я вырисовывать, восстанавливать для памяти домик за домиком, заборчик за заборчиком, крылечко за крылечком, хоть одну рашковскую улочку. На полотне или на бумаге — одну маленькую рашковскую улочку. Домик за домиком, крылечко за крылечком — хоть по пальцам пересчитай.

Ледник со льдом для больных. Соломенная крыша прямо на земле с почти лежачей дверью вкривь, как у обыкновенного погреба. Таки вкривь и таки выкрашена особо кричащим цветом, как нарочно, ради веселости, ради надежды, что больной выздоровеет. Сейчас, осенью, почти весь ледник уже пуст. Весь лед уже использован.

Я открываю дверь, кладу ее на крышу, стою с ведром в руке, с секачом в ведре, и гляжу в глубину, как в колодец. Я бегаю сюда за льдом пол-лета, и раз от раза колотится сердечко все сильнее: раз от раза ледник становится все глубже и глубже. Все мамы в Рашкове умирают? Все мамы лежат в кроватях с остекленевшими глазами и с пузырями льда на лбах? Шаткая лесенка качается подо мной. Секач колет лед с эхом, как в жуткой пустоте. Сквозь проем двери заглядывает вниз светлый кусок неба и подбадривает меня. Я карабкаюсь с ведром льда по лестнице обратно наверх, с перекладины на перекладину, и на каждой перекладине отдыхаю. Со стен ледника срываются капли талой воды. Мне вдруг кажется, что не простые капли капают со стен. Все больные в местечке уже давно поумирали, и мама тоже не сегодня завтра умрет. Мне вдруг кажется, что этот ледник — не просто ледник. Я подымаюсь по лестнице в глубоком святом домике, где оберегаются все слезы, пролитые по умершим. Я еще очень маленький и громко-громко реву. Кусок неба в двери исчезает. Кто-то кричит мне сверху: «Эй, мальчик, что ты ревешь? Скажи, ты чей, я твою маму приведу, ну же!» Но я слышу нечто другое: «Эй, мальчик, что ты несешь? Беги скорей, твоей маме лед уже не нужен!»

Лед маме и вправду больше не понадобился лишь несколько недель спустя, ближе к зиме. Я вижу, как она ходит уже маленькими шажками по дому, кожа да кости, опирается о край стола, о спинку стула. Я чувствую на своей щеке исхудавшие и обескровленные пальцы ее. Я слышу, как она говорит мне еще

очень слабым голосом: «Конечно, сыночек, когда суждено, так суждено. Но если бы не ледник с твоим льдом, кто знает, была бы я еще жива сейчас?» Ну? Так как же не начать именно отсюда, с соломенной крыши прямо на земле, над глубоким святым домиком слез, внизу, у самого конца, у самого начала улочки?

Рядом с ледником, чуть выдвинутая вперед, точно такая же низкая почерневшая соломенная крыша. Не прямо на земле — между землей и соломенной стрешней маленькая желтая стенка, оконце и крошечная дверь. Стрешня слишком глубоко и слишком косо надвинулась на стенку. Как сердитый козырек над хмурым лицом. Поэтому издалека обе соломенные крыши выглядят как близнецы. Поди угадай, где ледник, а где Довид-Иосифа хедер. Конечно, так только говорится. Я еще до полных шести лет не дорос, а ни разу не заблудился, точно попадал к Довид-Иосифа щеколде. И главное, без провожатого. И главное, короткими зимними днями — еле начинало светать. Только-только синело за окном.

Вокруг Довид-Иосифа соломенного домишка я развесил бы все наши кабаковые фонарики, которые мы сами мастерили, собственными руками, а семечки изнутри начисто сгрызали еще сырыми. Вырезанные квадратные «окошечки» в выскобленных кабаках выглядели оконцами старой крепости или даже тюрьмы. Когда нас распускали по домам, на дворе давно уже было темно, мы зажигали свечки в фонарях, с дикими радостными криками высыпали на улицу, не шли — бежали, фонарики бежали вместе с нами, как звездочки наши, разбрасывали вокруг нас блики света, единственные блики света на темной улочке.

Пусть висят фонарики-звездочки, как нити бус, вокруг соломенной крыши Довид-Иосифа, пусть приукрашивают и прихорашивают Довид-Иосифа соломенный домишко.

Единственное оконце в хедере Довид-Иосифа имело шесть стекол. Четыре затянуты были морозом, два — всегда высажены, заткнуты подушечками. Довид-Иосиф был очень старенький, очень сгорбленный, очень махонький — самый маленький ученик выглядел выше него. Не помню, чтобы он когда-нибудь что-нибудь ел. Не помню, чтобы у него была жена, дети. Не помню, чтобы он когда-нибудь на кого-нибудь прикрикнул, когда-нибудь кого-нибудь ущипнул. Ему можно было подстроить любую штучку из тех, что хедерники подстраивали иногда меламедам, а он, Довид-Иосиф, спустит, притворится, что ничего не видит и ничего не знает, зато они, шалуны, от своих штучек никакого удовольствия не получат. Больше того: я не помню, чтобы Довид-Иосиф умер, как все простые люди, чтобы он вообще когда-нибудь умирал. Мне представляется, что он так изо дня в день

становился все крошечней, все легче, и однажды, как легкий дымок, потянулся он через припечек вверх, в трубу, из трубы на соломенную крышу, с крыши рассосался в облаках, обволок кроны деревьев, слился с лучами солнца в самой вышине, под самым небом.

Пусть висят фонарики-звездочки, как нити бус, вокруг второго домика на рашковской улочке.

Дальше, за боковым заросшим переулком, что выходит на Мясницкую, стоит дом Шлойме-табачника. Возле двух приземистых соломенных крыш дом Шлойме-табачника выглядит таким высоким, что аж шею начинает ломить, когда смотришь на него вверх. Возле двух соломенных домишек дом Шлойме-табачника выглядит как дворец. Стеклянная угловая дверь с жестяным изукрашенным козырьком над дверью. Деревца под окнами. Синие «граммофончики» тянутся по веревкам от земли до самой крыши. Что творится в доме изнутри, какой вид у него там, не знаю. Так же как не знаю, почему Шлойме зовут Шлойме-табачник. Он никогда, кажется, табаком не занимался. Точно как Фейге-Лея-свечница никогда не промышляла свечами. Точно, как Бася-молочница никогда, поверьте, даже и вкуса молока толком не знала. Имена унаследовались, наверно, от отцов, от дедов, от прадедов. Зато я хорошо знаю, что делается у дома Шлойме-табачника снаружи.

Возле стеклянной угловой двери и возле заросшего репейником проулка всегда стоит железная кроватка, а в кроватке, стянутая, как повивальником, известково-белыми бинтами, вытянувшись, как, боже упаси, маленький покойник, лежит Шлойме-табачника дочка моего возраста, девочка с очень красивым именем: Переле. Переле лежит все лето в гипсе. Еще крошкой, говорят, Переле выпала из окна, и у нее на спине начал расти горбик. Горбик на спине — для Рашкова не бог весть что. Но такая в этой маленькой девочке сила, что лежит она все лето в железной кроватке, затянутая гипсовыми бинтами, как окаменевший кусок гипса, только бы скинуть со спины рашковский горбик.

Я останавливаюсь у железной кроватки. И горбику Переле я сочувствую, и терпение Переле трогает меня. О чем говорить с ней, я не знаю.

— Правда тебя зовут Переле, да?

— Кому какое дело, как меня зовут!.. — зыркают на меня ее круглые глазенки.

— Я хочу дружить с тобой, Переле!

— Иди, иди! Со смертью иди дружи!..

За что мне такая плюха? Почему Переле такая вредная? Я

стою как ошпаренный. У меня аж глаза наполняются слезами от обиды. Переле выглядывает из своего гипсового повивальника, как обманутый бельчонок из клетки:

— Тебе меня жалко, я знаю, знаю!

— Наоборот, Переле. Я тебе так удивляюсь!

— Иди-иди, ты все врешь!..

Чуть выше живут друг возле друга двое портных. Первый портной, Додя Борух-Мордхэ — высокий человек с широкими плечами, с широким квадратным лицом и широкой улыбкой, с громким широким голосом, который слышен с утра до ночи. Все рашковцы любят говорить много, но Додя Борух-Мордхэ не говорит — Додя Борух-Мордхэ кричит. Не на жену, боже упаси, и не на двух своих сыновей, на Нюку и Фридла, и даже не на соседа, второго портного, который потихоньку-понемножку порядком выматывает ему душу, да и вообще ни на кого. Просто у него такой сильный голос, что слышно его по всей улочке. Прямо будто он, Додя Борух-Мордхэ, среди портных не последний среди последних, а наоборот: первый среди первых.

Додя Борух-Мордхэ — портной деревенский. Он одевает и обшивает целые села вокруг Рашкова. На крыльце у Доди Борух-Мордхэ, на длинной скамье у открытой двери, часами ждут молдаване, иногда даже ночевать остаются прямо здесь, на крылечке, лишь бы он, Додя Борух-Мордхэ, и именно он, Додя Борух-Мордхэ, выдал им побыстрее готовую работу — сукман, жилет или пару полотняных штанов.

Портные, известно, любят посмеяться друг над другом. На лучшей одежке, что сшил другой, сейчас же отыщут тебе тысячу недостатков: тут пола тянет, там рукав вставлен не ай-ай-ай, здесь лацканы не сегодня завтра скрутятся. Тем более над таким, как Додя Борух-Мордхэ, который говорит еще к тому же, как нарочно, чтоб позлить, громким, самоуверенным голосом. Что такое железка, то бишь утюг, чтобы разгладить шов, он не знает — издевались портные. Раз-два, тук-тук на машинке, пока он строчит вторую пару брюк, первая уже выглажена под его задницей. Ширинки он не делает. Зачем брюкам вообще ширинка? Но если он уже делает эту ширинку, делает ее сзади, не спереди — издевались портные.

Портные издевались, а Додя Борух-Мордхэ и бровью не вел, хотя, с другой стороны, эти шуточки здорово его обижали:

— Эх, братцы-портняжки, не от хорошей жизни вы все это делаете. Или я не знаю, откуда все эти шпильки идут? От него (большой палец выворачивается к стене, к соседу за стеной), от молчуна, который якобы до двух считать не умеет. Эх, братцы-портняжки, над кем смеетесь? Над собой смеетесь? Здорово он

вас всех обвел. Он ведь уже и портным называться не хочет. Вы бегаете с высунутыми языками без работы, иголку воткнуть не во что, а он открыл себе мануфактурную лавку на базаре. Откуда он это вдруг взял? Кого он ограбил? Эх, братцы-портняжки, в себя вы камни кидаете! Кидайте камни туда, куда надо.

Второго портного зовут Беришл Шиншевуцер. Действительно-таки молчун, молчун с упертой молчаливостью — никогда не знаешь, что он себе думает. Какая-то совсем не портновская узкая бороденка, как черная рамочка. Обе руки засунуты всегда в рукава. И при всем при том быстрый, шустрый, везде поспевающий, нервный.

Дом Беришла, возле дома Доди Борух-Мордхэ, недавно побелен, двери — свежевыкрашены, дранка на крыше — новая, белая. Окна затянуты занавесками, под окнами — грядки, огороженные красным штакетником. Не шумит уже внутри швейная машинка, детей у Беришла нет — тихо-тихо, шороха живого не слыхать. Целый день сидит жена портного у окна, угол занавески отогнут, локти ее уперты в подоконник, она любит, говорят, так сидеть и смотреть в огород. Она получает, говорят, удовольствие, когда сидит и смотрит, как петрушка растет, как становится все выше и выше.

Каким образом из портного, из жалкого портняжки, получился вдруг лавочник с мануфактурной лавкой — остается тайной. Тайной среди всех рашковских тайн. Крупный выигрыш Шимеле Сорокера[10] здесь ни при чем. Большого наследства получить тоже не от кого. Все дедушки и бабушки, дяди и тети, двоюродные и троюродные братья и сестры, просто родственники — бедняки бедняками. Тогда что же? Вообще-то поговаривают, что Беришл обходительным говорком своим уболтал вояжеров, и они все вдруг прислали ему ткани без копейки денег, за одни только векселя, и не смотрите на его вид, Беришла, он со временем объявит себя банкротом, ни копейки денег не отдаст, и поди сделай ему что-то, поди не позавидуй ему! Но все эти разговоры — пустые разговоры. Где Беришл Шиншевуцер и где вояжеры? Ну, а вояжеры дадут разве так запросто себя одурачить? Короче — тайна среди всех рашковских тайн, земля давно уже их покрыла.

Два соседа, дверь в дверь — враги. Круглый год не разговаривают, не глядят друг на друга. Правда, один раз в году, в Судный день, говорят друг другу с порогов: «С праздником, выпросим себе хороший год!», а в конце Судного дня, когда год уже выпрошен, бормочут друг другу, опять же с порогов: «Остается по-старому!»

Оба дома — Доди Борух-Мордхэ облупленный дом с вечно

дырявой крышей и Беришла Шиншевуцера свежепобеленный, свежевыкрашенный дом со сверкающе-новой драночной крышей — одинаково, в одно и то же время стерты были с лица земли, обоих, совершенно одинаково, больше нет.

Рашковские зубоскалы рассказывают в шутку — а рашковские зубоскалы любят шутить даже при величайшей беде — что фашистские головорезы в те жаркие июльские дни настигли обоих рассоренных соседей на подводах как раз вместе, где-то у переправы через Днестр, где-то возле Вертюжен. Их увели вместе в лес, раздели догола и поставили рядом у открытой ямы. Когда клацнули уже затворы винтовок, Додя Борух-Мордхэ посмотрел на Беришла Шиншевуцера и гаркнул ему своим громким голосом:

— Нас мирят, а?

А Беришл Шиншевуцер своим тихим говорком ответил:

— Остается по-старому!..

Как будто я кнопку нажал, выдвигается вдруг из глубины, чтоб его хорошо было видно, опять низенький домик, крытый старым, прогнившим и пересохшим камышом; и каким это образом такая сухая крыша — достаточно ведь было одной искре вылететь из трубы — столько лет не сгорала? Рассказывают, что давным-давно праведник, цадик, благословил Рашков, чтобы здесь никогда не было пожаров. Рашковские мудрецы умничали: благословил? Может, проклял?

В домике, на голой земле, даже глиной не обмазанной, с двумя голыми деревянными топчанчиками и с закопченным припечком в углу, живут несчастная вдова — Лоне и ее сын, долговязый парень лет двадцати с чем-то, Шапсэ Лонин. У Лоне всегда скривившееся в плаче лицо. Шапсэ Лонин на рашковском языке — причмеленный. В хорошие минуты марширует он босиком по улице, штаны откромсаны выше колен, маршируя, он делает гимнастику — машет длинными, раскинутыми руками. Раз, два! Раз, два! В плохие минуты он буянит, вышибает стекла, срывает с петель и так уже несчастную дверь. Лоне раздирает себе лицо, визжит на улице жутким визгом: помогите, люди добрые!

Пол-улочки, все мальчики из хедера толкутся вокруг домика с пересохшей тростниковой крышей. Я тоже. Стою у выбитых стекол и дрожу. Внутри лежит на земле Шапсэ в луже воды. Люди добрые связали его длинной веревкой, обмотали его с ног и до шеи. Он лежит и орет, как зарезанный: ххра-а-а… ххра-а-а… Потом он перестает орать и начинает плеваться в потолок. Потом на миг замирает, и горло его начинает выбулькивать из себя тихие просительные слова: «Я умный. У-у-умны-ы-ый. Это вы все сумашечие!»

Пол-улочки идет за повозкой, что увозит Шапсэ Лониного в Костюжены. Я — тоже. Шапсэ лежит связанный в соломе и все еще выбулькивает, без сил, еле слышно: «Я умный. У-у-умны-ый. Это вы все сумашечие!» Потом, через несколько месяцев, возвращается он из Костюжен остриженный, с совершенно переменившимся лицом, исцеленный. Он шагает по улочке медленно и степенно, ни к кому не цепляется, и никто не цепляется к нему. А когда сорванцы, шалопаи, останавливают его и начинают подначивать: «Скажи, Шапсэ, кто сумасшедший, а?» — он отступает в сторонку и отвечает с улыбочкой, быстро, как бы откупаясь:

— Я!.. Я!..

…Крылечко колышется. Маленькое крылечко без перил — пара планок прибиты с одной стороны к одному столбику, с другой стороны — к другому столбику. Крылечко колышется, когда внутри, в доме у окна, гудит швейная машинка. Три сестры. У старшей, у Кейле, уже седеет коса. Младшая, Хайкеле, всегда веселая, всегда смеется. На швейной машинке строчит средняя — Ривке.

Вокруг машинки, вокруг Ривкиных быстро-быстро работающих ног, валяются разноцветные тряпочки: желтые, красные, зеленые, всех цветов радуги. На стене висит увеличенный портрет отца. Сестры знают своего отца только таким, как здесь, на стене. Вытянувшийся по струнке, на голове русская солдатская фуражка без козырька, усы, ряд железных пуговиц, длинная шашка — эфес выше локтя, а кончик у самых ботинок. Никто не знает, куда он подевался, где его похоронили, когда и как он погиб на войне. Война закончилась, началась революция, сюда вошли румыны, Рашков остался на этой стороне Днестра, он, отец — на том берегу. Куда же он подевался? Хоть похоронили его где-нибудь? А может, он и вовсе живет где-нибудь там, живет, дела творит, горы переворачивает?

Я еще парнишка лет четырнадцати, а уже влюблен в Цейтл Харитон. В Ривкину лучшую подругу. Не просто влюблен — без памяти влюблен. Никто на свете не знает об этом, сама Цейтл об этом не знает, знает одна Ривке. Цейтл ходит принцессой, к ней не подступись. Ривке добрая, хорошая, простая. Я могу часами говорить с ней о своей влюбленности. То, что я должен рассказать Цейтл, рассказываю я Ривке. Я сижу возле нее на табурете, машинка ее строчит, и мне приходится говорить довольно громко. Старшая сестра, Кейле, возится на кухне и злится. Вдруг она, все еще из кухни, выкрикивает:

— Когда нет ума, и годы не помогут. Сидит с этой и говорит о той!..

Ривке перестает строчить и взглядывает на меня точно такими же влюбленными глазами, как мои:

— Говори, говори. Рассказывай, прошу тебя!

И вдруг голова ее падает на машинку, плечи начинают подрагивать, кажется, что не она — что швейная машинка всхлипывает.

Никогда потом не говорил я с Ривке о тех всхлипываниях. Много лет спустя, когда я встретил ее как-то в Кишиневе, старую седую женщину, после всех разговоров у меня было сильное желание спросить: «Отчего вдруг ты так расплакалась тогда?» Но поди задай старой седой женщине сейчас, столько лет спустя, такой глупый вопрос.

Эта улочка называется в Рашкове Дайенской улочкой. Длинное крыльцо с четырьмя точеными столбиками, два по краям и два посередине, у четырех деревянных ступенек на улицу. Очень-очень старое крыльцо, кряхтящее и ойкающее, со скрипучим одышечным кашлем; еле уже держится, даже сердитое дуновение ветерка вмиг, кажется, раскидает его на щепки и унесет. Еще старее, во всяком случае, точно такой же старый и седой, едва-едва кряхтящий и легкий, как перышко, сам рашковский дайен[11] — Янкл-дайен.

Лишь изредка старушка, сомневаясь, была ли разделанная ею курица вполне здорова, поднимется по этим ступенькам спросить у старого дайена совета: есть ее или не есть? Когда-то на крыльце часто кричали и ругались компаньоны и даже родные братья, пришедшие с наследственными тяжбами или с деловыми распрями, чтобы старый дайен с его белыми, мудро нахмуренными бровями и с пергаментным глубокоумно сморщенным лбом тяжбы распутал, распри утихомирил, компаньона с компаньоном и даже брата с братом уравнял и помирил. Поссорившиеся супруги могли заскочить к Янклу-дайену за разводом. Хоть я и не припомню, чтобы кто-нибудь в Рашкове за все мое время разводился.

Я всегда вижу старого дайена сгорбившимся над книгой у окна или стоящим в окне закутанным в свой талес. Когда он появляется иногда на улочке, одетый в свою черную капота, с черным картузиком на макушке и с талесом в мешочке под мышкой, я вижу, как медленно, шаг за шагом, двигается вперед длинная, белая, обвислая, бедняцкая борода, и я вижу, как под белыми, мудро нахмуренными бровями прикрываются в такт шагам старого дайена глаза. Рашковские умники острили, что Янкл-дайен закрывает глаза потому, что по дороге в синагогу может еще встретиться, боже упаси, молодая красивая женщина. Но рашковские умники острили, наверно, не всегда умно. Кто

знает, чего именно старый рашковский дайен не хотел видеть на улочке открытыми глазами?

Рассказывают, что когда убийцы в тот горящий июльский день ворвались в Рашков, весь Рашков был уже пуст. И старые и малые ушли за Днестр, кто на подводах, кто пешком. Несколько оставшихся стариков и старух палачи повытаскивали из домов, засыпали ими колодец, а крышку колодца заколотили гвоздями. Старого дайена убийцы вели закутавшимся в свой талес. Белую длинную бороду свою он держал задранной вверх, и весь путь до колодца шел с прикрытыми глазами. Так глаза его и остались закрытыми навечно.

Возле дайенского дома с длинным крыльцом опять стоит такой вот простой маленький домик: . В домике живет Велвл-мясник. Велвл-мясник носится всю неделю по деревням, по ярмаркам, заполошен на бойне, у мясницкой колоды в мясной лавке, и поэтому здесь — только его домик. Ему самому не уделяю я на улочке много места.

Затем, аж до резницкой, до верхнего конца улочки, тянется длинный забор, сколоченный из бочковых клепок, одна клепка к другой приделана распрямленными обручами. Не простой забор — своего рода вывеска: здесь живет Берл-бондарь, мастер-бочкодел — единственный в мире.

Дом Берла-бондаря задвинут в глубь двора, стоит как-то неуклюже повернутый, ни туда, ни сюда, не дом здесь главное; королевство Берла-бондаря — это его двор. Посреди двора — узкий верстак Берла с тисками спереди, на верстак можно усесться, как на норовистую лошадку. На стене резницкой, что выходит к Берлу-бондарю во двор, висит шкафчик (тоже сколоченный из клепок) со всяким инструментом: долота, клещи, отвертки, фуганок, пила, молотки, кувалды, коробочки, баночки, куски пакли и все такое прочее. По двору катаются витые стружки. В стороне, сложенные друг на друга, лежат свежевыдолбленные клепки, сияюще-новые обручи. Но главное — выставлены рядами, одна за другой и одна рядом с другой, бочки и бочечки с одинаковыми блестящими поясками вокруг животов, как лейб-гвардия королевства Берла-бондаря.

Для чего Рашкову столько бочек и бочечек? Нашему бочонку для пасхального борща уже бог знает сколько лет, служил он еще бабушке и прабабушке, и будет еще стоять на чердаке от пасхи до пасхи бог знает сколько лет. Бочка, в которой мы держим воду, таки подтекает понемножку, но отец заткнул щелочки паклей, и воду там можно держать и держать без конца.

Я люблю останавливаться у Берла-бондарева забора. Стоять и заглядывать во двор. Берл-бондарь, в фартуке, без шапки, с длинными обвислыми усами, скачет с молотком в руке вокруг высокой бочки, выше него самого. Зачем Рашкову нужна такая высоченная бочка? Молоток наколачивает на бочку обруч с раздольным звоном, и пустая бочка отвечает молотку еще более раздольным эхом. Весь двор уже наполнен молоточным звоном и бочечным эхом.

Берл-бондарь замечает меня у забора, подмигивает мне издали и распевается вдруг громким-громким голосом, еще громче и еще раздольней, чем звон молотка и чем ответ бочки на этот звон:

Точно обруч в руках бондаря,
Нам любовь — вокруг шеи петля.
Ой-вэй, ой-вэй…

Берл-бондарь пьянеет, наверно, от одних только бочек. Пьяненькое пение его, звон молотка и эхо в бочке возносятся вместе над крышами и крылечками, растекаются по всем уголочкам маленькой улочки.

Рашковец, конечно, скажет:

— Я бы рассказал это лучше.

Правильно. Все рашковцы имеют талант рассказчика. Говорят, что когда ангел воображения (есть и такой ангел) на своих крыльях нес миру мешок историй, мешок этот зацепился за острый камень на высокой рашковской горе, разорвался, и все истории рассыпались над всем Рашковом. Половина историй упала в Днестр, они уплыли вниз, покачиваясь на волнах, как бумажные кораблики, застряли в каждом из прибрежных местечек, тут несколько, там несколько. Другая половина целиком осталась у рашковцев.

— Послушай, — спросит рашковец, — на что тебе это надо, что ты хочешь этим сказать?

На такого рода вопросы и ответить-то нечего. Но с рашковцем разговариваю я всегда как равный с равным:

— Ну а просто так нельзя?

— Просто так не бывает. — Рашковцы к тому же еще и философы тоже.

— Значит, оно таки не просто так.

— Например?

— Не для рашковцев. Рашковцы никогда толком Рашков не понимали. Для всего мира. Вернуть миру рассыпанный мешок историй.

— Ай, брось, не тяни корову на чердак.

— Что ж тебе здесь покоя не дает, корова или чердак?

— Ты мне покоя не даешь. Само то, что ты тянешь, не дает мне покоя.

— То, что тяну, или то, что получу за это, — слава?

С рашковцем можно спорить день и ночь. Рашковец тебе так скоро не уступит. Разве что щелкнешь его как следует по носу. После щелчка он начинает делать одолжения:

— Ну, будет. Ты уже начал, рассказывай дальше. Ты рассказывай, а мне уж придется тебя выслушать. Ладно.

= = = =

таким, не сглазить бы, количеством рук, портняжская Лейба Шлойме-Ореша и в самом деле не просто портняжская, а прямо-таки целая фабрика. А Лейб Шлойме-Ореша действительно заслуживает, чтобы называли его, как он сам хочет — Лейб Фридман, или таки Лео Фридман. Особенно если встречают его иногда после работы на улице. Твердый круглый котелок на голове, цветастый галстук на шее, а пальтишко с плюшевым воротничком такое точеное, такое вылизанное, аж сияет. Будто сам манекен на винте, рекламы ради, выбрался погулять по местечку.

Мачеха же, кроме всего, прекрасная хозяйка, золотые руки. Сзади дома, совершенно сама, посадила деревца: черешни, вишни, сливы. Деревца постепенно разрослись. Ребята поставили вокруг них забор. И со временем за мастерской Лейба Шлойме-Ореша поднялся чудный фруктовый сад. То есть и задняя сторона дома Лейба Шлойме-Ореша тоже сияет.

Мне уже лет пятнадцать, и я дружу со средним сыном Лейба Шлойме-Ореши, с Решеле Лейба Шлойме-Ореша, с Гершеле Фридманом. Дружны мы, понятно, потому, что оба левые. Субботним днем собираемся мы с Нюкой, Вигдором и Нислом у Гершеле Фридмана в саду. Сидим в траве под вишней и обмозговываем мир. Самый горячий среди нас всех — Нюка. Нюка говорит, что Рашков надо расшевелить. Единственное, что нужно в Рашкове, это забастовка. Объявить хозяевам забастовку! Гершеле, видим мы, сильно переживает. Он все вздыхает, аж постанывает:

— Ой, и как раз моим хозяином должен быть родной отец!

— Ну и что? — горячится Нюка. — Какая тут разница, отец или не отец? Есть кое-что повыше, чем отец!..

То ли мачеха подслушала наши разговоры, то ли просто так, без всяких почему, она выскочила вдруг из дома с длинной кочергой в руке, смешала нас всех с грязью, обругала на чем свет стоит и по одному выгнала нас кочергой из сада. Гершеле был страшно расстроен, издалека он пожал нам плечами: мачеха! А Вигдор, самый старший и самый умный среди нас, сказал с усмешкой:

— Мачеха ему виновата. Всю злобу мира навешивают на мачех.

Ниже стоит точно такой же маленький домик, как напротив:

. Как домик Велвла-мясника. Здесь живет Азрилик-маляр. Азрилика-маляра часто видят слоняющимся по улице в кругло торчащих, цветасто-забрызганных штанах. На плече его висит стремянка. В обеих руках — ведра с кистями, с мастерками, с

линейками, с торбочками краски, со скрученными трафаретами, да и вообще, чего там только нет. Таким видят Азрилика-маляра в «мертвый сезон» — в те месяцы, когда работы нет, когда он слоняется и ищет работу. В летнее время, перед праздниками, когда какая-никакая, а работа есть, его вовсе не видно. А если и увидят его иногда на улице, тогда лишь на нем пара чистых брюк, чистые ботинки. Но кое-где лоб и кое-где щеки по обеим сторонам носа слегка подкрашены.

Азрилик-маляр не маленький и не молоденький. Как раз даже большой и как раз уже в годах. Если люди называют такого не Азриэль, а уменьшительно — Азрилик, то одно из двух: или люди души в нем не чают, или это тот еще Азрилик. Здесь как раз первое, не второе. И почему, собственно, такого Азрилика-маляра не любить? Никого он не трогает, претензий ни к кому не имеет. Уходит еще год и еще год, на голове прибавляется еще несколько белых нитей, на шее и на щеках еще пара складок, еще пара борозд — та же лесенка на плече, те же ведра в руках. С хозяевами не ссорится. Хозяйкам потакает сколько душе угодно. Хотите другой рисунок, этот вам не нравится? Нате вам другой рисунок! Потолок перебелить? Вот вам потолок уже перебеленный! Лишь бы только дни и ночи благополучно уходили, лишь бы только дни и ночи благополучно ушли…

Как вроде бы назло, рядом с крошечным домиком Азрилика-маляра расстилается и ввысь и вширь домина целиком из кирпича, со стеклянной верандой, выходящей на улицу, и с густым ветвистым орехом у веранды. Стекло веранды раздвигается, и Хананья Меерсон, хоть богач он уже и разорившийся, стоит в открытой раме с красиво расчесанной, седовато-рыжей квадратной бородой, с бархатной ермолочкой на макушке, и потирает ладони. Когда-то Хананья Меерсон торговал зерном, арендовал у бояр участки леса, имел долю в гертопской спиртокурне. А сейчас, говорят люди, не имеет он ничего. Совершенно ничего. Но те же самые люди говорят и обратное тоже: имели бы м ы то, что выбрасывают еще сейчас у Хананьи Меерсона, не надо нам было бы днем и ночью пахать носом землю, терпеть обиды и унижения, чтобы увидеть наконец живой грошик в руке, тоже учили бы детей за границей и тоже имели бы девчонку-бездельницу, что сходит целый день с ума от скуки.

Правда. Два сына Хананьи Меерсона, Яша Меерсон и Миша Меерсон, учатся оба на доктора в Праге; здесь, дома, их не видно; как эта учеба на доктора достается им в Праге, знают только они. Здесь знают, однако, что Яша и Миша служили оба у румын в армии не больше двух месяцев. Служили в кавалерии, с собственными лошадьми. Через два месяца оставили лошадей в

полку, стали свободными птицами и сразу уехали в Прагу учиться на доктора. Знают, однако, еще, что было это несколько лет назад.

Сейчас у Хананьи Меерсона нет ничего. Совершенно ничего. Самой старшей его, Фейге Меерсон, давно бы уже пора замуж. Но так повернулось, что она сидит в девках уже несколько лет; после окончания сорокскои гимназии целый год ходила с приехавшим в Рашков хромым дантистом, а ничего из этого не вышло. Люди говорят, что ей уже и не хочется вовсе выходить замуж. Ей сильно скучно, Фейге Меерсон. Она уже было собиралась уехать в Прагу, к братьям, и это ей тоже расхотелось. Говорит она в нос, таким прелестным прононсиком, тоже от скуки — говорят люди.

В последние дни что-то творится в пяти комнатах Хананьи Меерсона. Из Бельц съехались сюда обе замужние дочери Хананьи. Отец еще, слава богу, жив, а в доме, у круглого стола, уже делят что-то, что-то уже переписывают, уже требуют у живого отца подпись. Ох, нехорошо быть богатеем — богатеем, который уже разорился.

Возле Хананьи Меерсона в домике с двумя дверьми прямо на улицу живет Зусие-резник.

Бывает резник, что режет в удовольствие, с розовыми довольными щечками, с круглым пузиком под резницким кафтаном. Бывает резник, что уговорил себя: ладно, курица ниспослана человеку. Чем каждый бы в отдельности калечил курицу или петуха топором, или тупым ножом, делаю я один свою работу острым ножиком, таким острым, что лезвие еле видно, и курица или петух его еле чувствуют, да еще спасаюсь от этого молитвой. Зусие-резник был такой резник, каким может быть только настоящий рашковец. Он вечно ходил опечаленный, вечно ощущал себя грешным-виноватым перед живыми созданиями божьими. Могу об заклад побиться, что ночами реденькая растрепанная седая борода его вертелась на подушке то в одну сторону, то в другую сторону, не имела покоя из-за живых созданий, что мучили его во сне аж до синего рассвета. Петух со шпорами, с красным гребнем на голове, как корона, с длинным золотым пером в распушенном хвосте. Квочка с опущенными крыльями прогуливается со своими маленькими желтенькими детишками.

Зусие-резник по натуре был добрый, в жизни мухи не обидел. Он вечно сам выискивал кого-нибудь, кому нужно сделать что-нибудь доброе. Далеко бегать искать ему, понятно, не приходилось. Но я думаю, что все добро, что он вечно делал людям, было каким-то искуплением, каким-то очищением в себе виновности и грешности, которые он вечно ощущал перед

простой курицей, простой уткой, или иногда-иногда, к очень-очень редкому празднику в Рашкове — перед простым индюком.

Таким мог быть только истинный рашковец.

Про два добрых дела Зусие-резника знаю я сам. В деревне вдруг умер его дальний родственник, оставил полный дом детишек — девочек. Зусие-резник тут же, на следующий же день, уехал на подводе в деревню, привез сироток к себе, отдал им вторую половину своего дома, вырастил их, вывел в люди. Одна девочка из выросших потом сестер была Фейге Шпринц, чистая, беззаветная, неповторимая Фейге Шпринц, которую я описал в моем романе «Далее…».

В сороковом году, когда Рашков стал советским и отец с мамой и с сестричками моими вернулись из Бухареста домой, а домик наш в Рашкове был сдан, Зусие-резник забрал всех моих к себе, уступил им свою постель, делил с ними свои крохи, и мой отец, помню, рассказывал потом, что часто, сидя вместе с ними за столом, Зусие-резник снова и снова переспрашивал:

— Значит, все? Кончено? Мне уже хоть сейчас, на старости, не надо будет больше резать? А, реб Ицик? Вы же должны знать…

Песнь песней улочки — простая рашковская девушка по имени Двойра. Хоть и не было Двойры дома уже несколько лет, да и сейчас пробудет она на своей рашковской улочке не больше, чем пару дней, может, ради мамы — неделю. Нет, не простая рашковская девушка.

Двойрина мама, Меня-прачка, живет сразу за резником. В таком домике, что выглядит он как разрубленный пополам. Косой скат крыши только в одну сторону, прямо как полкрыши. Между крышей и потолком — открытый чердак, даже простыми досками не заколоченный. Наружные стены домика обмазаны одной лишь глиной; соломинки золотятся на глиняных стенах, поблескивают на солнце — ну просто обсыпан кусочками золота Мени-прачки дворец.

Меня-прачка — узкоплечая худая женщина, ходит стирать по чужим домам, круглый год у нее хмурое, горестное лицо, а сейчас, в эту неделю, она — самая счастливая и самая веселая в мире. Она не знает только, можно ли миру видеть такое ее веселье и счастье, что дочка вышла на свободу и сейчас дома, или, может, лучше, чтобы мир этого не видел.

Вся улочка, все местечко говорит о Двойре. Это ж надо же! Что может рашковская девочка! Ну ладно, сидеть годами в тюрьмах тоже что-то значит. Но сделать так, чтобы король, и все министры его, и все его полки солдат испугались такой рашковской Двойры и выпустили ее из тюрьмы, это ж надо же! «Голодала сорок четыре дня? Не может такого быть. Ай, бросьте.

Сказки!» — «Не говорите глупости. Все газеты об этом писали. Вся заграница шумела об этом». — «Сорок четыре дня не брать в рот ни крошки хлеба и ни капли воды? И откуда вообще в простой рашковской девочке такая сила? Бросьте, насочиняли тут. Чтобы рашковец да не загнул!»

Ничего, разумеется, не насочиняли. Просто не укладывалось в покорной голове, чтобы из такого маленького, забитого Рашкова могло подняться величие. На самом-то деле все действительно было точно так, как говорили в местечке. В тот год в женской румынской тюрьме Двойра и еще двадцать таких же, как она, девушек объявили вместе с Хаей Лившиц голодовку, продолжали голодовку сорок четыре дня и в конце концов победили. Конечно, помогло то, что заграница подняла по этому поводу шум. А еще больше то, что во многих румынских городах голодовку поддержали на фабриках и заводах, да еще и забастовали в знак поддержки. И конечно, Хая Лившиц, руководившая голодовкой, пала жертвой. Якобы не пришла уже после голодовки в себя. Но остальных девушек из той женской тюрьмы пришлось освободить. Каждую в отдельности отправили с жандармами пешком, от города к городу, от деревни к деревне, каждую туда, откуда она родом. Так и Двойра пришла на неделю домой. Дать окровавленным и распухшим ногам своим отдохнуть немного у Мени-прачки в ее «дворце».

Кого в Рашкове имя Двойра и коробило понемножку, а у кого запела Двойра в сердце, как песнь песней.

Мы с Вигдором, Нислом и Нюкой довольно долго крутились перед вечером вокруг домика Мени-прачки, не могли собраться с духом, чтобы сразу подойти к двери, нажать щеколду и войти в дом. Но в конце концов мы все же вошли. Лишних стульев в доме не было. Мы уселись все вчетвером в ряд на длинной скамье. Сидели, молчали и смотрели на Двойру. Волосы Двойрины были распущены по плечам. Замученные ноги свои она парила в тазу. Особенно красивой Двойра не была — симпатичная местечковая девушка. Но мы смотрели на нее и видели, что она самая красивая на свете, красивее и обаятельнее и представить себе невозможно. Она не сказала нам, что не от солнца она загорела — дни и месяцы в тюрьмах на нарах, в карцерах, семь недель голода сделали ее черной. Она нам не сказала, что наша дружба ей лучше вина. Мы это сами хорошо знали и чувствовали. Все четверо тихо сидели мы на длинной скамье и без слов вымолчали нашу к ней любовь, не меньше и, кажется, не хуже, чем царь Соломон Суламифи.

Рашковские умники, с шуточкой, разумеется, рассказывали о разговоре между Меней и Двойрой:

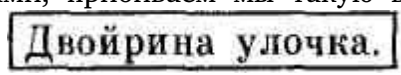
— Скажи мне, дочка, ладно, столько дней голодать для меня не ново, голодать я, слава богу, тоже умею. Но тебя же столько били, мучили, столько лет ты сидела по тюрьмам, зачем тебе это надо, чего ты хочешь этим добиться?

Отвечает Двойра Мене с улыбкой:

— Я хочу, мама, чтобы все люди были сыты. Чтобы все люди были здоровы. Чтобы у всех людей было весело на душе. Чтобы все люди могли учиться, имели работу. Чтобы все люди были добрыми и честными. Чтобы все люди были умными. Чтобы все люди были красивыми…

Меня, вздыхая, перебивает Двойру:

— Ой, доченька, хочешь ты таки очень-очень хорошо. Но слишком многого ты хочешь…

Пусть рашковские умники умничают себе на здоровье, если имеют от этого удовольствие. Мы же делаем свое. Мы меняем название улочки. Спереди, на глиняной стене Мени-прачки с золотыми блестящими соломинками, прибиваем мы такую вот новенькую длинненькую жестянку: 

Возле Мениного домика уходит в сторону проулочек прямо к колодцу Шишмана. Шишман был караим, он уже выехал из Рашкова лет сто назад. Но колодец его, который он сам, говорят, выкопал, зовется еще и по сей день колодцем Шишмана. Два раза в день, рано утром и перед вечером, стоит у колодца народ с ведрами, с чайниками и кувшинами и вытягивает из колодца воду. Железная ручка в деревянном вороте над колодцем накручивает и раскручивает цепь с ведром на конце с ужасным визгом. На улочке, издалека, слышится этот визг: «У-у-у-а!.. У-а-у-а!..» Это такой визг, что нельзя его ни пером описать, ни кистью нарисовать — его надо слышать собственными ушами.

Потом, почти в конце улочки, внизу уже, возле аристократической синагоги, стоят еще два дома, один меньше, другой больше, опять с длинным крыльцом. В обоих домах живут опять двое портных. В меньшем доме — Зейдл Бодкес, тоже такой простой деревенский портной, как Додя Борух-Мордхэ. Но только без широких плечей Доди Борух-Мордхэ и без его громкого голоса. Наоборот: щуплый человечек с короткой седой бороденкой, с тихим и хриплым, еле слышным голосочком. Рассказать о Зейдле Бодкесе что-то кроме того, что мы уже рассказывали о Доде Борух-Мордхэ, кажется, нечего. Тоже вечно в работе, в запарке до поздней ночи, скрючен с иглой над очередной тряпкой на колене; те же тяжести и те же горести; и месяц за месяцем, и год за годом — то же самое смиренное «Быть бы живу!».

В доме побольше живет Ихил Фурман, или, как зовет его Рашков — Ихил Кире. Почему вдруг «кире», совершенно себе не представляю. Когда-то так, бывало, называли выходцев из Австрии. Но ни он и ни его предки никакого, кажется, отношения ни к Австрии и ни даже к Буковине не имели. Случается иногда, особенно в Рашкове, что к человеку приклеивают прозвище без объяснений. Возможно, потому, что этот портной, Ихил, был человек очень пунктуальный, очень педантичный, говорил спокойно, медленно, всегда ходил чисто одетым и всегда называл себя дамским портным. Возможно, выражение это — «дамский портной» — здесь, в Рашкове, отдавало комичным, чем-то немецким, попахивало «кире». Что может Рашков!

В доме у Ихила Фурмана произошло в те годы страшное несчастье. Весь Рашков заламывал руки, долгое время не мог прийти в себя. Мальчик Ихила, моего возраста, Элик Фурман, парнишка лет тринадцати, влез как-то летним днем на чердак и повесился. Никто не знал почему вдруг.

Я дружил с Эликом. Он приходил к нам домой, я приходил к ним домой. Один я кое-что знал. За несколько дней до этого Элик сказал мне: «Все равно. Так жить я не буду!» Но поди знай, что это не просто слова. Поди знай, что он возьмет и выкинет такую штуку.

Один я даже знал немножко — почему. Но это было такое почему, что я просто стеснялся об этом кому-нибудь рассказать, даже своему родному отцу. За несколько месяцев до этого Элик вдруг поймал где-то лошадь, вскочил на нее верхом; лошадь стала скакать, брыкаться, скинула с себя Элика через голову и подковой растоптала ему ниже живота нехорошее место. С Эликом тут же отправились в Сороки, порванное зашили, пару недель он пролежал в сорокской больнице, вернулся домой уже здоровым, но мы, мальчики, шушукались между собой, что Элик уже больше не мужчина и мужчиной никогда уже не будет. Он сам об этом, разумеется, не знал. Возможно, оно даже и не было так, как мы, мальчики, шушукались. Но однажды, когда Элик с кем-то подрался и расцарапал ему лицо, тот крикнул во весь голос: «Ты, кастрат! У тебя ж там ничего уже нет. Ты даже жениться не сможешь. А царапаешься, как кот!» Несколько дней Элик ходил хмурый и сказал мне потом те самые слова. Поди знай, что у тринадцатилетнего рашковского мальчика найдутся силы подняться из-за такого на чердак и наложить на себя руки. Что может рашковский мальчик!

У Элика Фурмана была тогда маленькая сестричка Басенька, девочка лет трех, с золотыми локонами, красивая, как ангелочек. В Кишиневе я часто встречаю ее сейчас. Это уже женщина около

шестидесяти, а золотые поседевшие волосы ее все еще полны прелести. Она Элика и не помнит, наверно, толком. Я же — когда встречаю ее — сразу вижу его перед собой.

Бася Фурман окончила медучилище, все четыре года была на фронте, прошла войну от Рашкова до Берлина (ну-ка, еще раз, звучит, как хорошая песня: от Рашкова до Берлина!). С большой гордостью носит Бася на своем жакете с левой стороны три ряда колодок фронтовых орденов и медалей. Когда я встречаю ее, я тоже смотрю на эти три красочных ряда с гордостью: что может рашковская девочка!

= = = =

Рашкова, большим должником. Я, кажется, впитал в себя вершины гор вокруг Рашкова и высокие скалы на рашковских горах точно так же, как Маяковский — возвышенные небеса своего Багдади…»

Давайте же назовем здесь полное имя, отчество и фамилию моего рашковского земляка: Давид Вениаминович Свечарник.

Если рашковцы хотят, я могу им дать его точный адрес в Москве.

Мой земляк — внук Мотеса Брохеса. Мотеса Брохеса я упоминал уже пару раз в моих «Рашковских историях».

= = = =

Я как раз был в Рашкове в тот именно летний день, когда в клубе собрались все рашковские родители. Представитель из районного отдела народного образования сообщал им со сцены, что в Рашкове открывается школа-десятилетка и кто хочет, может прямо сейчас записать своих детей. И я видел, как рашковские папы и мамы толкались вокруг стола — каждый хотел записать своего ребенка раньше другого.

Я потом снова был в Рашкове за неделю до войны. Директор школы, мой первый учитель, Пиня Резницкий, водил меня из класса в класс. Когда мы входили, младшие дети в младших классах, а старшие — в старших, как обычно, вставали. Резницкий знакомил их с «писателем, который и сам рашковец». Дети снова все сразу вскакивали, и глаза у них блестели.

На перемене я долго глядел на рашковских мальчиков и девочек, заполнивших весь школьный двор детским шумом, детским смехом, детской радостью. И у м е н я блестели глаза.

Ай, ай. Сердце разрывается, и ком становится в горле. Если бы не война! Если бы не фашистские изверги! Весь Рашков эвакуировался. Но три четверти рашковцев настигнуты были в пути, семьями погибали от рук убийц, каждая семья — своей особой дикой смертью. Где те мальчики и девочки, что так шумели, так смеялись, так радовались в ту неделю перед войной на рашковском школьном дворе?

И поэтому закончить свой рассказ я хочу пожеланием. То есть нет — проклятием: пусть эти два слова — «война» и «фашизм» — будут прокляты на веки веков!

Аминь.

Пер. Ю. Цаленко.

КАНТОР И ЕГО ПЕВЧИЕ

1

И опять о моем дедушке Зусе, царство ему небесное.

Такой уж он был — бедняк бедняком, без краюхи хлеба в доме, вечно с дырявой крышей над головой, вечно в долгах и ссудах, с засидевшейся в девках дочкой, которую надо за кого-то пристроить, со стонущей, хворой старухой женой, что с каждым годом усыхала и становилась все меньше и меньше, с вечным мешком забот на плечах: откуда же все-таки взять на субботу и как выдюжить неделю? Такой уж он был. Он мог забыть обо всем и ходил с сияющей рыже-седой бородой: э, все это, знаете ли, пустяки против того, что его внучек, старший его внучек, наделен таким голоском… таким голоском… не горлышко — флейта. Что-то особенное. Просто клад.

Все разговоры — а дедушка Зуся был не прочь потолковать по душам — он сводил к чудо-голосу внучка.

— Люди, что вы думаете, что? Деньги-шменьги — это полова, пыль. Тьфу! Вот они есть, вот их нет. Сила, удача — всему этому грош цена. Но уж если ты родился с этим во-во-во… даром божьим, талантом, что называется, поэзией, пением…

Он переделал на своем веку, может быть, тысячу дел, дедушка Зуся. Одно время ведал паромами на Днестре. Стоял, подпоясанный веревкой, с полами кафтана, забранными той веревкой, с обветренным лицом, с острой бородкой, сбитой на сторону, и командовал по-молдавски паромщику, хозяину подводы на берегу, бычкам и кошелкам с курами, евреям и молдаванам: паром должен был в ярмарочный день переправить их туда, на ту сторону Рашкова, а потом, тоже не пустым, конечно, вернуться сюда, на эту сторону Рашкова. Когда эти его корабли пошли, как говорится, ко дну, одно время он архитекторствовал — размечал хозяевам, строящим себе на главной улице дома, на какую глубину рыть фундамент, на какую сторону выходить окнам, какой толщины балки класть на стены, как должны выглядеть фасад, крыльцо с резными карнизами. Одно время он просто мыкался по домам с парой лотерейных подсвечников под мышкой. Потом был меламедом, улаживал споры, даже, кажется, пробовал заключать браки. Он, бедный, за все брался, все переделал. И все у него, видно, шло вперекос. Долго он при одном деле не оставался. Она ему, верно, здорово укоротила годы, эта тысяча его дел.

Я уже, понятно, всех этих дедушкиных занятий не застал. Но не раз слышал о них в доме. Бабушка Ента эти рассказы сопровождала причитаниями и стонами. Все несчастье, жаловалась она, шло оттого, что дедушка Зуся не умел резать. Это такое страшное слово, что я даже боялся переспросить, что резать и кого, упаси бог, резать. Оказалось, что дедушка Зуся, который окончил в молодости ешиву и должен был числиться резником со всеми правами в Рашкове, кроме одного-единственного петуха, ничего не зарезал. Да и этот один-единственный петух тоже остался недорезанным. Ни с того ни с сего после обряда благословения дедушке стало вдруг дурно, отказали руки и ноги, и он выпустил петуха из рук с недорезанным горлом. Хоть и связанный и полузарезанный, петух выпорхнул из-под навеса, взлетел на забор и клокочуще-страшно запел — стрефнился[12]. И дедушкины ножи, шесть житомирских чудо-клинков, которые будущий тесть подарил дедушке сразу после помолвки, как дарят жениху, скажем, золотые часы, остались лежать нетронутыми в своих ножнах, пока наконец годика через два не продали их настоящему резнику, резнику, что резником уродился.

— Курицы он резать не мог, твой дедушка Зуся, но себя самого он резал без ножа и без халефа![13] — заключала философски бабушка Ента, хотя в Рашкове бабушка Ента и не слыла очень уж большим философом.

Когда произошло то, о чем я собираюсь рассказывать, дедушке было уже за семьдесят, одной рукой он уже не владел, чуточку волочил ногу, смеялся перекошенным ртом, пуская слюну. Это с ним сталось после тяжелой хвори. И года через два однажды ночью эта хворь охватила его и уже не отпустила.

Было это, помнится, ровно за две недели до моего бармицве[14]. Добрый кусок зимы дедушка готовил для меня великолепную речь, сидел по вечерам у нас на топчане, плотно зажмурив глаза, и нашептывал ее, шлифовал. Речь я, конечно, сказал собственную. Сказал лишь бы как. Ему, бедняге, так и не пришлось ее слушать.

Мне пришла на ум эта речь потому, что последние годы именно это и было дедушкиным занятием: он разъезжал по местечкам вокруг Рашкова и по субботам в синагоге, за предвечерней трапезой, выступал с речью. Из всех дел он выбрал самое роскошное, самое сытное дело. Что он чувствовал при этих своих выступлениях, знал один он. Но добрые люди расценивали их по-своему: говорит, чтобы не думали, будто милостыню просит… Как бы то ни было, бабушка Ента годы спустя могла говорить: «Речи держал ваш дедушка!..»

Несмотря на то, что бабушку Енту не считали в Рашкове большой умницей, она иногда могла сказать и умное слово. Особенно когда ее припекало и жгло.

— Каждый речун, известно, держит речь за себя. Он был таким речуном, дедушка твой, что держал речи против себя! — говорила бабушка Ента таким тоном, что нельзя было понять, как она считает — хорошо, что дедушка был таким речуном, или нехорошо.

Какие именно речи держал дедушка в местечках на предвечерних трапезах, точно не знаю. Знаю только, что в рашковском раввинском дворе дедушку Зусю из-за этих речей прямо-таки ненавидели. В самом деле, как это у неудачника, ничтожества набирается столько нахальства, бесстыдства? Они там твердили, что в примерах и притчах, которыми он уснащает свои речи, он допускает намеки и выпады против раввинского двора. Двор пустил стрелу в дедушку Зусю — дал славное имя Зуся-босяк. А дедушка Зуся тоже, наверное, славно ответил на стрелы двора. Слово за́ слово — разгорелась свара между большим знатным двором и маленьким евреем с рыже-седой будничной бородой. Часто я слышал, как дедушка Зуся, плотно зажмурив глаза, шептал что-то на нашем топчане о бархатных ермолках на пустопорожних головах, о фальшивых, жестоких сердцах, об охмурении людей.

Видно, из этой драки и вышел дедушка Зуся таким, каким такой вот силач может из драки выйти: одной рукой уже не владел, волочил ногу, а если смеялся, то перекошенным ртом, пуская слюну.

Такой уж он был, дедушка Зуся, царство ему небесное.

2

Но вернемся к делу — к пению.

Тем летом, в июльский день, в самое что ни на есть пекло, дедушка Зуся завернул со своими речами в Кэпрешты. Местечко Кэпрешты лежало верстах в тридцати — сорока от Рашкова в сторону Бельц. Славилось оно большими ярмарками, которые устраивались там раз в неделю — по четвергам. За каждым кэпрештским домом росла кукуруза. Главная улица была широкая, прямая. В общем Кэпрешты выглядели полугородком-полудеревней. Лавочники с приличными магазинчиками и землепашцы с клочком поля под боком, десяток-другой ремесленников, династия балагул, несколько драчунов, кучка студентов, местный сумасшедший, глашатай, девушки-швейки,

приказчики, — короче, бессарабское местечко в степи. Не Рашков с его узкими переулками, втиснутыми в овраги, среди скал, но открытый, разбросанный, весь лежащий на виду, так что можно, не дай боже, за одну ночь целиком его разворовать, растащить.

В этих-то Кэпрештах жил тогда кантор реб Довид. То есть звали его не просто реб Довид, а реб Довид Зильберман. Во-первых, потому, что был он не простой кантор, не простой молельщик реб Довид, во-вторых, кроме канторства был у него еще бакалейный магазин, где верховодила его жена Феня, а кроме магазина он еще вписывал в большой гроссбух на одной стороне только что родившихся, а на другой стороне только что скончавшихся и по этой книге выписывал потом метрики и свидетельства о смерти, то есть делал то, что положено было делать казенному раввину[15], какового местечко Кэпрешты в то время, как видно, не имело.

У Довида Зильбермана в зале стояло пианино, на стенах висели скрипки, флейты, и была у него книга с нотами его собственных сочинений, которая называлась «Песни Давида».

Пел он молитвы, конечно, с певчими. Один-два альта, столько же дискантов, бас, тенор и специальный дирижер, управляющий хором.

Пели только в осенние праздники: в ночь на слихес[16], оба дня рошашоно[17], йомкипур[18].

Четырехразовому этому пению отдал он половину жизни. Все лето готовил новые композиции, два часа в день отрабатывал голос, вел переписку с городами, со старостами синагог и, конечно, задолго до праздников дни напролет возился со своим хором и здорово с ним потел.

В Кэпрештах Довид Зильберман был в некотором роде замаран. Какая-то история, когда поймали его ночью выпрыгивающим из окна, история с чужой женой, не дай боже. Впрочем, злые языки нашептывали, будто он вообще… Но мало ли что завистники могут нашептывать. Однако так или иначе, а Кэпрешты пока что не допускали своего певца к алтарю. Довид Зильберман не очень-то принимал это близко к сердцу. Он все равно считал себя кантором совсем другой категории. Молельщиком, так сказать, не для Кэпрешт. Ему нужны были для пения большие города, другие слушатели и другие ценители.

Короче, в ту летнюю субботу, когда дедушка Зуся завернул в Кэпрешты, Довид Зильберман пригласил его к себе в гости. Сидели за субботним столом, ели фаршированную рыбу, бульон с «миндальками», курицу, опрокидывали по доброй чарочке. Дедушка сначала сидел съежившись, с вытянутым, несчастным лицом. Потом, когда от еды и питья дедушкино сердце

хорошенько согрелось и размякло, стал он смелее и по обыкновению своему разошелся. Взяв в горсть кончик своей бороды, завел он речь о бердичевском и бреславском раввинах, двух благочестивых евреях, у которых, бедных, добро было в помыслах и добро в душе, а на смену им пришел рашковский раввин Ицик-Мейерл, который больше обманщик, чем невежда, больше невежда, чем обманщик, больше злонамеренный еврей, чем благочестивый еврей.

Когда же дедушка Зуся увидел, что Довид Зильберман сидит против него с пенсне на носу, глубоко заложив оба больших пальца в прорези жилета, смотрит ему в глаза и сияет, то налил сам полную рюмку, бросил вдруг Ицика-Мейерла рашковского на волю божью и завел речь о своем собственном одиннадцатилетнем внучке, что родился с тем самым во-во-во… голосок у него альт прима, не услышишь сегодня такого и не увидишь сегодня такого, хоть объезди весь свет. Дар божий. Талант, что называется. Поэзия. Пение.

— Вот это вот… вот это вот, реб Довид, нужно нам, слышите!.. — И дедушка Зуся выпустил из пальцев кончик собственной бороды, чтобы ухватить ими клинышек куцей бородки Довида Зильбермана.

Бабушка Ента, видно, была не права, говоря, будто дедушка Зуся из тех речунов, что держат речь против самих себя. Потому что Довид Зильберман высвободил свою бородку из дедушкиных пальцев, встал и промолвил своим густым баритоном, прямо пропел:

— Что же вы молчите, чудак-человек?

— Кто молчит? Я уже тут рассказываю битый час, а вы лишь теперь говорите, что я молчу.

— Так как же все-таки кошка перейдет ручей, а?

— Какая кошка?

— Ну, та самая кошечка. Внучек ваш. Как я увижу его здесь, у себя?

Дедушка Зуся на минутку опешил, но тут же пришел в себя и ткнул пальцем куда-то назад, далеко за свои плечи, наверное прямо в Рашков:

— Надо завтра же в воскресенье, если будем живы, дать телеграмму зятю моему… отцу!..

— А письмо, просто письмо не годится? Что-то горит, кто-нибудь тонет?

— Я знаю? — И дедушкины пальцы с гордостью почесали бороду, почти совсем как если бы Довид Зильберман был у него гостем, а не наоборот. — Я знаю? Подходящее письмецо. Чтобы взяло его за живое, зятя моего Ицика…

— «Многоуважаемый, глубокочтимый, высокопочтенный, сиятельный друг мой, господин Ицхок…» Чтоб он был жив и здоров… Положитесь на меня, реб Зуся… А сам он, ваш гений, ваш внучек? Как его зовут, вашего внучка, а?..

3

Письмо пришло в середине недели, днем. На дворе пылала жара. В доме жужжал, может быть, миллион мух.

Мама сидела на лавке, поставив ногу на маленький стульчик, кормила грудью ребенка. Отец, не в силах уже столько стоять на пороге и, вздыхая, высматривать, когда наконец в такое сумасшедшее пекло сюда забредет покупатель, взял в руки тряпку, стал протирать стекло к лампе. Протирание стекла входило в обязанности отца. Он вытирал стекло так старательно и так чисто, что когда его разглядывал на свет, оно едва-едва различалось в руках. В каждый пустяк он вкладывал всю свою душу.

Я, наверное, был с ребятами на Днестре, или рвал абрикосы у Гитманши в саду, или, на худой конец, лежал во дворе на травке, на погребе в холодке, — значит, с книгой.

Когда рашковский почтальон Василе Длинный в своей высоченной почтальонской шапке с черной сумкой через плечо встал на пороге нашего дома с конвертом в протянутой руке, у отца и у матери заколотилось сердце. Что вдруг за конверт? Или, может быть, просто ошибка? А может, не дай бог, несчастье, беда на голову в будний день, в середине недели? От кого они могут на этом свете получать письма? И откуда знают в большом мире, что где-то, в каком-то Рашкове, проживает какой-то Ицик, сын Ихила-Аврума, и жена его госпожа Рейзл, дочь реба Зуси, чтоб она была здорова?

Мама оторвала грудь ото рта младенца, опустила плечо, и грудь сама легла на свое место, под кофту. У отца обе руки были заняты: в одной он держал стекло, в другой — тряпку, он стоял и с минуту не мог придумать, как положить или поставить стекло, чтобы во всей этой истории хотя бы стекло осталось целым. Отец потянул конверт к себе, мать к себе. И когда они в конце концов дрожащими пальцами вытащили письмо, оба стали вертеть его взад-вперед, взад-вперед, держа вверх ногами, глядя один на другого и пожимая плечами, словно в жизни не видели писаных букв.

Письмо начиналось с «поскольку».

«Поскольку мы с божьей помощью были поставлены в известность, что так и так, мальчик особенный, с хорошим голосом альтом, и это нам нужно, и он пропадает в Рашкове, так и так, то возьми сына твоего единственного и пришли его с балагулой или поездом к нам, в Кэпрешты, и придет спасение мальчику, нам и всему еврейству, так и так, аминь».

Отец объяснял матери мудреные слова, втолковывал суть письма, а мать всплеснула руками и трижды сплюнула.

— Черный, дурной, хмарный сон всем Кэпрештам на голову! Руки и ноги у меня отнялись… Что только кантору, дуралею, не взбредет на ум!..

Отец ухмыльнулся в усы: никто не может знать, откуда привалит счастье. Он разгладил письмо пальцами, сложил вчетверо, сунул за пазуху и сказал матери, как бывало в самую лучшую их пору, мягкие, ласковые, утешительные слова:

— Не бранись, Рейзл. Не огорчайся, Рейзл. Ты же видишь, Рейзл, это хороший знак!..

Он всегда был таким, отец: либо так, либо эдак — либо все сводил к дурному, либо во всем видел хороший знак.

Но на письмо Довида Зильбермана он все-таки не ответил: ничего-ничего, если уж приспичило этому Довиду Зильберману, то он хорошо, видно, знает адрес, найдет нас здесь еще раз.

Так оно и было. Через неделю пришли с почты звать отца к телефону. Мама, конечно, не пустила отца одного. Меня на этот раз тоже взяли с собой.

Почта в то утро ходила вся ходуном. Начальник почты, домнул Папушой, который чуток говорил по-еврейски и каждого рашковского еврея звал «мамеле» или «тателе», с вспотевшей бритой головой наставлял отца, как кричать в телефонную трубку, чтобы Кэпрешты услышали наверняка. Отец не своим голосом кричал «алло», а начальник с двумя другими служащими, сидевшими за своими окошками, просто покатывались со смеху. Мать стояла со мной в стороне, держала меня за руку, крепко стискивала мои пальцы, а себе самой то и дело нервно пощипывала лицо.

Отец, видно, услышал Довида Зильбермана, услышал едва-едва, так как начал кричать таким голосом, словно между Рашковом и Кэпрештами не было вообще провода, не было вообще телефона, а просто они перекрикивались друг с другом из одного местечка в другое. Кричал он, отец, и все повторял одно-единственное слово:

— Ско-о-о-лько?

Когда Довид Зильберман ответил: «Полторы тысячи леев», мама потянула отца за рукав, и он стал кричать и все повторял другое слово:

— Маловато!.. Ма-ло-ва-то!

Довид Зильберман добавил еще пятьсот, и отец закричал: «Когда?», потом крикнул: «На той неделе!» — и на этом единственный в жизни телефонный разговор отца закончился.

Помню, мы тогда шли все трое с почты домой здорово вспотевшие и измотанные. Отец расстегнул пиджак, распахнул рубаху, вытер маминым платком шею, опустил потом руку на мое плечо и заговорил со мной, как со взрослым, будто оправдываясь:

— Понимаешь? Разве важно, больше на сотню, меньше на сотню? Важно, чтобы не было дешево… Значит, на той неделе отправим тебя, а?

Я шел и чувствовал себя вроде как проданным. И не очень-то было у меня весело на душе. Но когда думал о Кэпрештах — новое место, другой мир, — я втихомолку считал на пальцах, прикидывал, сколько еще до той недели, и думал, что оставалась целая уйма дней — как их прожить?

Мама, всегда такая бойкая на язык, шла рядом с нами и молчала. Молчала и, уйдя глубоко в себя, все время вздыхала.

4

Певчим я заделался еще в прошлом году. Певчим в хоре Ишике Котляра.

Звучит красиво: хор Ишике Котляра. Но так называл лишь он. Люди не удостоили Ишике даже фамилии. Звали его — по прозвищу отца — Ишике Малай.

А хор откуда, какой хор? Держится весь на трех молодцах Арона Малая — Ишике, Авруме и Меере, портняжках и распортняжках. Иглой маши, утюгом чеши, как сказано в песне. Портачи, что двух слов толком прочесть не могут, а тоже туда же, хотят породниться с божественным пением. Вместо того чтобы сладить приличную куртку или выкроить пару добрых штанов, оглашают весь дом песнопениями, рвутся к алтарю и дохнут с голоду восемь с половиной раз в сутки, прищелкивая и причмокивая.

Часто я, бывало, забегал в портновские переулки, прятался за открытой дверью Арона Малая и оттуда любил смотреть на отца с тремя сыновьями — все в матерчатых шлепанцах, кто сидит на столе со сметанным пиджаком на коленях, кто вертит ногами колесо швейной машины, старый Арон с сантиметром на шее, с

окулярами на кончике носа расчерчивает материал плоским куском мела, а сам Ишике ни с того ни с сего встает посреди комнаты с портновской линейкой в руке, взмахивает ею вверх-вниз, и швейная машина останавливается среди строчки, мел перестает оставлять за собой белые линии, сметанный пиджак повисает на коленях без движения, а из открытой двери выливается такое пение, какого до тех пор я никогда не слышал и не знал вообще, есть ли такое на свете.

Хотя каждый в отдельности поет что-то свое, как будто свою мелодию, все эти мелодии сплетаются вместе, перевиваются, вкручиваются друг с дружкой верхними голосами, нижними голосами, как если бы пел целый свет, а не только один Арон Малай со своими тремя сыновьями.

Как-то Ишике вышел во двор раздувать утюг. Он махал и махал утюгом, обрамленный огненным колесом брызжущих искр. Заметил меня за дверью, сказал:

— Эй, парень, что ты там стоишь и молчишь? Заходи на минутку. Тебя не съедят.

Я шагнул на порог, как птичка, которую приманивают горсточкой зерен. Стоит и смотрит своими бусинками, клонит головку набок, вертит туда-сюда, знает, что это приманка, но делает шажок, еще шажок, пока не захлопнется дверца, — и кончено, птичка внутри.

Ишике пока что оказывал мне гостеприимство. Полной горстью улыбок.

— Нравится тебе у нас, а, мальчик?

— Нравится.

— Что? Как брызгают искры? Или что-то другое?

— Все нравится.

Старый Арон Малай наклонил лицо с окулярами на кончике носа и поверх окуляров всматривался в меня.

— Ишике, оставь. Сам видишь, мальчик хочет петь в твоем хоре. Голосок у него первый сорт!..

Меня не прослушали, даже ни о чем не спросили. Велели только с завтрашнего дня каждый вечер приходить в восемь часов на репетицию.

Кроме сыновей Арона Малая — трех братьев Котляров — пели в хоре еще двое таких мальчиков, как я. Один мальчик — Велвл, другой — Бенчик-парша, бедняжка. Средний сын Арона Малая Аврум пел низким, глубоким голосом, имел все данные, чтобы быть в хоре басом. Но был он в хоре дискантом, и все он выдавал верхним фальцетом, с красивой колоратурной трелью, иногда с тонким протяжным всхлипом. Напротив, младший сын Арона Малая Меер, худой, с оспинками на лице и косыми

глазами, был в хоре и басом, и тенором. Как нарочно, Бенчик-парша был тоже косым. И, как нарочно, оба они стояли в хоре рядом. Когда пели, Меер косил вниз, на Бенчика, а Бенчик косил вверх, на Меера. И рашковские остряки и насмешники уверяли, что смотрят они косо один на другого потому, что оба путают слова и Меер злится на Бенчика за то, что путает Бенчик, а Бенчик злится на Меера за то, что путает Меер. Мы с мальчиком Велвлом были оба в хоре альтами, «меццо». Дирижировал, конечно, Ишике, старший сын Арона Малая. Дирижировал руками и ногами, локтями и кончиками пальцев, коленями и плечами, носом и лбом. То он внезапно тянулся вверх, становился узким и длинным, со втянутым животом. То опускался, приседал, становился круглым, подпрыгивал, словно мяч. Будто все его кости и все его суставы были пружинами и пружинками, а не костями и не суставами.

Хор Ишике Котляра репетировал почти целое лето и в конце концов добился своего: на рошашоно и йомкипур — в портновской синагоге, конечно, — показал, что может.

У алтаря стоял кантор Эля. Кантор он был никакой, но кое-что знал, разбирался в том, что читал, а иногда даже посреди пения забывался и переходил на простой идиш, чтобы портняжки и башмачники тоже знали, что к чему, и тоже получили удовольствие.

Портновская синагога в Рашкове была все-таки большая, даже с высоким куполом-ермолкой над головой, как выражались портняжки. В портновской синагоге я до тех пор никогда не был. Но купол, то есть изнанку его, я хорошо знал. Года два назад один мальчик за кружку подсолнухов взял меня с собой на чердак синагоги ловить голубей. Голубей на чердаке портновской синагоги было полным-полно.

Мы забрались на чердак через приоткрытую дверцу и поползли на четвереньках к самому верху купола, где сидели и ворковали парочки голубей. Голубей я тогда не принес домой. На самом верху — я уже почти что держал в руках парочку голубей — вдруг затрещала подо мной доска, еще секунда, и я бы рухнул из купола прямо в синагогу и остался бы лежать там покойником на алтаре.

А теперь я стоял внизу, в двойном ряду певчих, одетый в праздничный, нарядный костюмчик, чинно-торжественно, впивался глазами в чудодейственные руки Ишике Котляра и все же время от времени косился украдкой на страшный купол и думал, что если бы отец с матерью, которые тоже стоят, наверное, где-нибудь здесь, сияя от гордости за маленького своего певца, узнали сейчас о том, что едва не стряслось тогда наверху, в этом

куполе, какой истошный вопль раздался бы вдруг на всю портновскую синагогу.

Синагога была полна народу. Дедушка Зуся пригнал сюда евреев в талесах из других синагог посмотреть, на какие чудеса способен его внучек.

Ишике Котляр дал мне даже выступить соло. Вот сейчас станет совсем тихо вокруг, певчие будут только держать тон, и все будут слушать меня одного. Ишике поднял на меня бровь, сделал знак быть готовым. Одна его рука управляла хором, указывала, когда тянуть приглушеннее, едва-едва, и, наоборот, когда разойтись, размахнуться; вторая рука, то есть пальцы второй руки, выпрашивала у меня, требовала и получала соло. Я мотнул головой, закатил глаза и изо всех своих чувств, всеми переливами голоса, чуточку в нос, затянул:

Не сподобились мы,
Ой, в твоих глазах…

Хор подхватил:

Тим-тыдл-дидл-дидл-дидл…

И кантор Эля с засаленным талесом поверх головы выбросил рыданием эти слова на общепонятном идише:

Мы в глазах твоих,
Ой-вей, господи боже.
Никто и ничто.

Ишике Котляр потянулся вверх, снова присел и, подпрыгивая, буркнул сердито певчим в одну и в другую сторону тоже на простонародном идише:

— Нас имеет в виду. Детей утюга и ножниц!..

Аврум Котляр, дискант хора вторил ему своим высоким фальцетом:

Это ему так не пройде-о-от…

(Господу богу, значит.)

А Меер Котляр, самый младший из братьев Ишике, глянул косо на Бенчика, Бенчик тоже ответил косым взглядом, и оба вместе на свой лад, сквозь зубы, пропели:

Ну его к чертовой бабушке, ну его…
Ну его к чертовой бабушке, ну его…

И это все вместе, с прищелкиванием и причмокиванием по-портновски, было вкуснее всех яств и дороже всех денег. Люди стояли и смаковали.

5

Отправили меня «на той неделе» в Кэпрешты, конечно, не на простой подводе, а поездом.

Правда, от Рашкова до станции, до Шолданешт, надо было ехать с балагулой, а потом от кэпрештской станции, от Рогожен, надо было до Кэпрешт опять-таки добираться с балагулой.

Добавили, в общем, немалый кусок пути. Двойное, а то и тройное расстояние. Но так уж пожелал отец, и можно было его понять. Во-первых, такая поездка — это вам не сесть на подводу и смотаться за какие-то двадцать пять верст до соседнего местечка, такая поездка должна быть особенной, как можно более длинной, с двумя балагулами, с бубенцами, с двумя вокзалами и, самое главное, с поездом. Во-вторых, если уж старший его сынок выезжает в большой мир, то пускай уж посмотрит его, пускай уж собственными глазами увидит тот поезд.

Лейзер-балагула как раз в те дни отсиживал шиве по усопшей своей дочке, и рашковских пассажиров повез в Шолданешты к вокзалу на бричке Лейзера Шлоймеле, сын Хаи-Ципы. Шлоймеле Хаи-Ципы — это было в Рашкове имя. Не какой-то там богач, упаси бог, и, конечно, не мудрец из мудрецов. Наоборот, неудачник из последних рашковских неудачников, тех, кто давал пищу мудрецам, чтобы говорить что-то мудрое, а знатным на эту мудрость облизываться.

Шлоймеле Хаи-Ципы выполнял в Рашкове все, что только требовалось. Был какой-то общей затычкой, можно сказать. Если, к примеру, Лемл-банщик выдает замуж дочку и, бедняга, вконец заморочен свадьбой, топит Шлоймеле Хаи-Ципы в пятницу баню. Сломает себе Костя-глиновоз ногу — и Шлоймеле тащит за него хозяйкам мешки с глиной. Если могильщикам требуются иногда для толстосума покойника дополнительные руки, снова выручает он, Шлоймеле. Он даже круглый год бегает дважды в день в «холодную» синагогу читать за другого кадиш, если его нанимают.

Про кадиши Шлоймеле Хаи-Ципы рассказывали в Рашкове

историю за историей. Насмешники уверяли, что для запоминания древнееврейских слов кадиша Шлоймеле делает себе в уме для каждого слова «знак». После он все равно забывает слово, и весь его кадиш состоит из одних «знаков». «Знаковый» кадиш Шлоймеле годами передавали из уст в уста, и люди хватались за бока. Стоило бы, конечно, привести тот кадиш из слова в слово. Но, во-первых, для этого потребовалось бы много места, во-вторых, есть там такие «знаки», которые не очень пристойно выглядят на бумаге. Чего только насмешники, бездельники не наклепают на человека!

Лейзер-балагула отсиживал, значит, в те дни шиве по дочке, а пассажиров на вокзал в бричке Лейзера вез Шлоймеле Хаи-Ципы.

Люди хорошо знали, что это будет за езда. Это будет такая езда, как его кадиш. Но зато в веселье недостатка не будет. А рашковские евреи, надо знать, до смерти любили две вещи: либо охать, стонать, либо шутить, высмеивать.

На улице было еще довольно темно. Но Рашков уже не спал. В окнах горел свет, двери хлопали, главная улица полнилась голосами. Бричка подкатила к крыльцу Ихила Гольденберга, к подворью, где останавливались на ночлег вояжеры, которым выпадало ночевать в Рашкове. И когда отец с матерью и я с сундучком, которым снабдили меня на дорогу, подошли к дому Ихила Гольденберга, бричка была уже забита пассажирами. Шлоймеле Хаи-Ципы с длинным кнутом в руке, с красным поясом Лейзера-балагулы на бедрах укрепил на задке брички последний чемодан и кнутом показал моему отцу и матери куда-то поверх своей черной островерхой кушмы — кушмы Лейзера-балагулы, лихо заломленной на самой макушке:

— Посадите ребенка наверх, на мое место, суньте ему эту швабру в кулак, и пусть он догоняет поезд…

Отец с матерью не сдавались. Отец встал по одну сторону брички, а мать по другую сторону. Мать сразу же, с места в карьер, взяла самую верхнюю ноту:

— Ты, хоймеле[19], чтоб тебе ни дна ни покрышки… Тоже мне, командуешь в Рашкове! Караул! Люди добрые, что вы молчите?..

Отец, напротив, вступил по-хорошему, по-доброму:

— Фе, Шлоймеле, где же порядочность? Вжаться нельзя немножко?

Люди в бричке загоготали. И кэпрештская нарядная дама, прогостившая лето в Рашкове у сестры и восседавшая сейчас в бричке на самом видном месте, с большущей картонкой на коленях, впритык к вояжеру, заявила, что если уж мальчик едет к Довиду Зильберману, то такого мальчика можно устроить вот

здесь, наверху, возле нее, даже на месте коробки, что у нее на коленях, и пускай мама не беспокоится, мальчик будет сдан в Кэпрештах прямо Довиду Зильберману в руки. Мама пожелала кэпрештской дамочке всего самого наилучшего и наипрекраснейшего, а Шлоймеле Хаи-Ципы сверху, с козел, крикнул отцу:

— Ну что ж вы стоите, реб Ицхок? Сами видите, какие дела. Вот и вжимайтесь!..

Сундучок мой он подхватил, пристроил между ногами, спросил потом, все ли пассажиры на месте и не передумал ли кто, — велел покрепче держаться, потому что не на волах едут, встал во весь рост, щелкнул кнутом и, как это делает Лейзер-балагула, обратился к лошадкам на своей тарабарщине:

— Атя, еким-пирким!.. Нью, хине-вехизде! В Шолданешты, чтоб они горели, ваши копыта поганые!..

Бричка залилась бубенцами, а отец с матерью, бедные, остались одни позади, не успели даже расцеловаться со мной. Не успели лишний раз напомнить, что обе трешки, которыми меня наделили, лежат, завернутые в бумажку, в боковом кармашке тужурки, крепко зашпиленные булавкой; что в мой сундучок мать положила мешочек со снедью, а ключик от сундучка тоже там, в зашпиленном боковом кармашке; чтоб я без всяких в ту же минуту, как прибуду, набросал пару слов домой и чтобы, не дай боже, не полагался ни на какие вызовы по телефону, как заведено там, у этого Довида Зильбермана. И чтоб я был человеком. Уже давно пора. Чтобы не думал, что у меня лишь прорезаются первые зубки.

Бричка вихрем промчалась по улочке мясников, пронеслась мимо Шлоймы-портного, вымахнула за двор священника, и буквально через считанные минуты, наверху, у колодца с журавлем, Шлоймеле выдал раскатистое «тпр-ру», натянул вожжи и велел седокам слезать: если не пожалеем лошадей и при таком подъеме в гору станем отсиживаться в бричке, как графы, будем с божьей помощью иметь поезд ровно в среду через неделю.

Начинало светать. Пассажиры плелись потихоньку за бричкой, поднимались шаг за шагом по знаменитой рашковской каменистой горе — знаменитой, конечно, только для Рашкова, который считал, что это его гора с торчащими обломками скал, с провалами, с причудливыми выступами и впадинами, где можно среди бела дня переломать себе руки и ноги, самая высокая и самая любимая гора в мире.

Я наравне со всеми шел за бричкой. Белый камень перед глазами становился светлее, белее. Рашков внизу оставался все ниже, все дальше. Я хотел оглянуться назад, кинуть последний

взгляд на дом и вот здесь, сейчас, на горе, в это раннее утро впервые в жизни, помнится, почувствовал ту сердечную дрожь, которая называется тоской по дому и которую я потом не раз ощущал, поднимаясь по этой рашковской горе или спускаясь по ней.

Хотел оглянуться назад и побоялся, как бы, упаси боже, не опозорился, не заплакал, как маленький…

Наверху, на горе, у виноградника Гершла Гуревского, пассажиры вновь уселись в бричку и только тогда увидели, что не так уж в ней тесно, что мне вовсе не надо сидеть на каких-то картонках и уж тем паче на каких-то дамских коленях.

Я сидел на самом виду, в середине, между вояжером, который без конца сыпал остротами, и кэпрештской дамой, моей покровительницей, которая обещала сдать меня Довиду Зильберману прямо в руки. А Шлоймеле Хаи-Ципы удостоил меня титула жениха. Он нет-нет да и поворачивал голову и спрашивал через плечо:

— Сидит он, жених, или убёг домой, жених?

— Тут он, жених, или мы его обронили в дороге, жениха?

Что тут было смешного, не понимаю. Но пассажиры, видимо, знали, что они сейчас у него в руках: захочет — приедем благополучно, куда едем, не захочет — будем валяться где-нибудь среди дороги колесами вверх и еще скажем спасибо, что отделались только испугом. И пассажиры, как видно, должны были угождать Шлоймеле Хаи-Ципы, смаковать каждое словечко, вылетавшее из его уст.

Вояжер говорил раскатистым басом, широко и густо, совсем как председатель рашковской ссудо-сберегательной кассы Хаим Сестачер:

— Оставь жениха, Шлойме. Скажи лучше, дашь поезд?

— Я-то дам. А мне что дадут?

— Пинки с кулаками. Аж искры посыплются!..

Почему вояжеру тоже надо было угождать и на его дивные хохмы тоже без конца разражаться смехом, я уж и вовсе не мог понять.

Понемногу стало совсем светло. Бричка катила среди зеленых и желтых полей. Я еще никогда в жизни не видел в небе такой узкой полоски солнца, еще никогда не видел, как за несколько мгновений эта узенькая лучистая полоска поднимается, вырастает, круглится, становится настоящим солнцем и с ходу принимается жечь и палить.

Шлоймеле Хаи-Ципы свернул в долину, к роднику, —

напоить лошадей. Родник выглядел как беленый погреб у нас во дворе. В каменное корыто тянулась из родника тоненькая нитка воды. У меня как-то не укладывалось в голове, что из-за этой тоненькой струйки корыто всегда переполнено через край. На бугорке под полукруглой жестяной крышей стоял окруженный штакетником крест. А Иисус на кресте распростертыми руками и согнутыми коленями, реденькой растительностью на исхудалом лице и печальными черными глазами был почему-то похож на младшего брата моего отца дядю Зусю, да будет ему земля пухом.

Напоив лошадей, Шлоймеле Хаи-Ципы сам припал к роднику, вытер затем всем рукавом губы, кинул несколько слов «орлам», и бричка с пассажирами понеслась дальше.

Вояжер, видно, выплеснул весь запас шуток, потому что начал все заново:

— Шлойме, что же слышно? Дашь поезд?

— Дам. Только чтобы мне тоже дали…

— Пинки с кулаками. Аж искры брызнут!

Ехали лесом. Шлоймеле дал лошадям минутку-другую передохнуть, перевел их на шаг. А пока что повернулся лицом к пассажирам и именно тут, в лесу, — нашел подходящее место! — завел разговор о каких-то разбойниках в масках, которым якобы ничего не стоило превратить в два счета миллионщика-богача в голоштанника-нищего. Он рассказывал, а сам нет-нет да и кивал на рашковского торговца посудным товаром Ицла Жабского, набожного, благочестивого еврея, тоже сидевшего сейчас в бричке и облаченного в негнущийся, громыхающий, словно жесть, балахон. Ицл Жабский не выдержал, вышел из себя:

— Ша, хватит, заткнись! Чепуху несешь!..

Бричка мчалась через деревню по имени Шипка. Куры разлетались с кудахтаньем кто куда. Во дворах женщины доили коров. Ребятишки в одних рубашонках выбегали и ошалело глазели с завалинок — такой езды они еще, верно, не видывали. Назло всем врагам и насмешникам Шлоймеле Хаи-Ципы «даст» поезд так, что аж дым пойдет.

Так оно и было. Сразу же после Шипки показались Шолданешты. Мы пронеслись через мост, и кэпрештская дама начала показывать мне большой мир. Первый раз в жизни я увидел своими глазами то, что называется «железнодорожным путем». Она даже показала мне пальцем на него и на поезд. Вот он змеится там, интеллигентно сказала она мне, далеко на горизонте, и вот он сейчас подползет к станции. Но Шлоймеле Хаи-Ципы так разогнал лошадей, что змеистости поезда глаза мои так и не уловили, и я поверил кэпрештскои даме на слово. Через минуту-другую бричка покатила под гору, прямо к вокзалу.

Кто-то сидевший неподалеку от меня сказал, что поезд уже там. Я встал на ноги, но и на этот раз мне ничего не удалось увидеть. Потому что Шлоймеле Хаи-Ципы круто остановил бричку, не так, наверное, ее повернул и всех пассажиров высыпал на землю, в самом конце, у самой своей, так сказать, победы.

То ли потому, что я был легче других, а может быть, потому, что в тот миг я стоял на ногах, упал я довольно далеко от перевернувшейся брички. Сам поднялся, отряхнулся, с минуту постоял, оглушенный, ощупал рукой, помнится, не нос, не лоб и не разодранные колени, которые изрядно-таки ныли, но боковой кармашек тужурки: не расстегнулась ли булавка при этом торжественном прибытии на вокзал?

Тут же я ощутил возле себя кэпрештскую даму. Она взяла меня за руку и сказала:

— Слава богу, все кончилось хорошо. Пойдем, мальчик, я уже имею билеты…

Напрасно я думал, что поезд — с рогами, как черт. Ничего страшного. Этот поезд выглядел совсем как тот поезд, который я и мой братик Сролик сооружали, бывало, из всех наших четырех табуреток.

Я садился верхом на одну опрокинутую табуретку, а Сролик впереди на другой опрокинутой табуретке держал в руке трубу от нашего жестяного самовара и во весь дух дудел: «Ту-у…» Сейчас я сидел не верхом на табуретке, а в самой табуретке. А сама табуретка больше всего нашего дома. И в ней целая уйма окон. И наставлена в ней уйма скамеек. А на скамейках сидят люди, совсем как у Липы-цыгана в сарае, где в Рашкове «театр».

Правда, «ту-у» этого поезда чуточку громче, чем «ту-у» моего Сролика. Табуреточный дом начинает двигаться. Я выглядываю в окно и не знаю в точности, мы ли уезжаем или уезжает вокзал со всеми домами, со всеми деревьями, что вокруг вокзала. Крыши, телефонные столбы, а потом и все поля, и все холмы начинают кружиться, убегают назад, солнце блестит во всех окнах, и это в общем неплохо и даже очень красиво. А колеса под поездом все стучат и стучат: «Таки-таки, таки-таки».

Только сейчас я по-настоящему почувствовал, что оба моих разодранных колена здорово-таки болят и что я после всех этих переживаний сильно проголодался. Я тихонько достал ключик из зашпиленного бокового кармашка, отпер сундучок и вынул мешочек со снедью. В мешочек мама положила два помидора, два вареных яйца, два куска хлеба и какой-то малюсенький кулечек. Что в нем было, в том кулечке? Ничего. Просто горсточка соли…

С той поры прошло немало времени. Обычно такое первое путешествие запоминается до конца жизни. Но все эти годы перед

моими глазами стояла не балагульская бричка, которую Шлоймеле Хаи-Ципы опрокинул на самом пороге вокзала, не первый поезд, в котором я ехал впервые в жизни, не все те слова и события, которые описаны выше, а малюсенький кулечек с горсточкой соли, которую моя мать дала мне на дорогу.

Не знаю, читатель дорогой, всегда ли была еда, которую я вкладывал тебе в мешочек, вкусной и сытной, но кулечек заботы моей матери я никогда не забывал тебе дать.

Поверь мне.

6

У Довида Зильбермана был-таки изрядный животик. Под темным блестящим сюртуком с округлыми полами он носил светлый жилет, выглядевший, наверное, из-за живота довольно куцым. Из жилетного кармашка наполовину высовывалось пенсне, пристегнутое к петельке длинным крученым черным шнурком.

Он надел на нос пенсне, придержал его двумя пальцами и поверх пенсне пристально на меня посмотрел. Он даже, кажется, чуть поморщился, — чтобы я пока не подумал, что ему со мной ой-ой как повезло.

— Сундучок, — сказал он, — можно поставить вот здесь, у двери. «Это значит, — подумал я, — что уже не на улице, но еще и не внутри». — Вот сейчас увидим, — сказал он. «Это значит, — подумал я, — что сундучок этот вместе со мной самим еще ой-ой как могут отправить обратно в родительский дом».

Это было бы совсем не плохо.

Меня позвали в залу.

Довид Зильберман раскрыл пианино, сел перед ним на круглый стульчик и всеми десятью пальцами пробежал туда и обратно по белым и черным костяшкам.

Опершись локтем на угол пианино, стоял бас Биньомин. Бас Биньомин был простым портным в Кэпрештах. У него был толстый нос, пробор посреди головы, он всегда носил выглаженную сорочку с галстуком. Он был из тех портных, которым всю жизнь неохота, бедняжкам, называться портными, а ничего не поделаешь, должны, несчастные, денно и нощно корпеть с иголкой в руках, хоть есть у них, как у многих других, и голова на плечах, и капелька знаний в голове, и даже в придачу, как это было у Биньомина, на редкость мягкий и глубокий бас. Такие портные ужасно не любят говорить о портновских делах, вообще не любят долгих разговоров. Отвечают вам хмыкая,

полусловами, чем-то вроде «ладно», «в общем», — вот так оно, значит, есть, таков мир, и его не переделать. Бас Биньомин увидел через окно въехавшего кэпрештского балагулу, накинул субботний пиджак, повязал галстук и прибежал к Довиду Зильберману за минуту до балагулы. Он так прибегал уже третий день. Довид Зильберман попросил его: «Что ж, приходите, Биньомин, вместе посмотрим».

За спиной Довида Зильбермана встал сын Довида — Абрам Зильберман. Абрам учится аж в Праге на аптекаря. Когда был маленьким, говорят, он выпал из люльки, очень неудачно выпал. Он не вырос высоким, и спина у него осталась выгнутой. Она у него такая, как будто с горбиком. Но никакого горбика на ней нет, она просто немножко выгнута. И все говорят, что это намного лучше, чем если бы на ней был настоящий горбик. Абрам Зильберман, говорят, очень знающий, знает ноты еще лучше отца. Но не выносит канторства. Это потому, говорят, что отец с матерью с малых лет вколачивали в него пение силой. В летние месяцы, когда Абрам дома, на каникулах, отец заставляет-таки его попотеть на работе с хором. После Абрам выстаивает со своей выгнутой спиной рошашоно и йомкипур в синагоге и дирижирует. После Довид Зильберман отдает Абраму Зильберману всю наличность, полученную за эти три дня, Абрам Зильберман забирает выручку с собой в Прагу и имеет там на что учиться круглый год.

Обо всем этом я, конечно, узнал позже. Пока что я стоял против троих чужих дядей и чувствовал, как горят оба мои изодранные колена и склеиваются глаза и я вот-вот свалюсь с ног. Довид Зильберман перестал бренчать на пианино и повернулся ко мне вместе со стульчиком.

— Ну, многоуважаемый, будьте любезны, спойте нам что-нибудь.

— Что же спеть?

— Что можешь. Что-то ведь можешь.

Я посмотрел вверх, в потолок. Я чувствовал, что должен на что-то опереться, и оба больших пальца сунул за шнур, которым мама подпоясала мне рубашку под тужуркой. Потом мотнул головой, закатил глаза и чуточку в нос, как учил меня Ишике Котляр, затянул его же, Ишике Котляра, соло:

Не спо-до-би-лись мы,
Ой, в тво-их гла-зах…

И поскольку соло было уж очень малюсеньким, я себя сам поддержал, как, бывало, раньше меня поддерживал хор:

Тим-тидл-дидл-дидл-дим…

Довид Зильберман подыгрывал мне на пианино, и когда я с божьей помощью кончил, посмотрел на баса Биньомина, бас Биньомин посмотрел на сына Довида — Абрама, Абрам посмотрел на отца, Довид Зильберман опять посмотрел на баса Биньомина и тогда лишь впол-рта спросил:

— Ну?

— Ну-ну… — ответил Биньомин ответом вдвое бóльшим, чем вопрос.

Абрам Зильберман стоял и молчал. Вроде с улыбочкой на лице напевал себе: «Тим-тидл-дидл». Отец повернулся к сыну:

— По-портновски немножко, а?.. То есть не немножко, а очень-таки по-портновски… Но это уже относится не к нему, это уже относится к тому портачу, что в Рашкове… Ничего, мы его с божьей помощью от этого отучим!..

И Довид Зильберман сорвался со стульчика. Пенсне его осталось висеть на шнурке, качаясь у колен туда-сюда как маятник. Потом он чихнул с таким видом, будто это было не просто чиханье, но чиханье-благословенье. Распахнув двери залы, он закричал двум своим дочерям куда-то на кухню:

— Дуня! Таша!.. Можно уже чего-то подавать к столу!

Как если бы только что закончился какой-то большой пост, какой-то йомкипур, и в небе показались первые звезды, и, значит, можно уже, благодаренье богу, сесть за стол, можно что-то вложить в рот…

Сплю я на полу в первой комнате, где обедают и где все четыре стены вокруг — сплошные окна и сплошные двери.

Одна дверь выходит в магазин, другая — в залу, где стоит пианино и где за столиком с множеством ящичков и каким-то резным карнизом по краю часто сидит Довид Зильберман в одном жилете, с пенсне на носу и пишет свои ноты; две двери выходят в «спальни»; одна дверь ведет через узенький коридорчик в кухню; мне стелют между высоким буфетом, уставленным посудой, и дверью в комнату Абрама.

Абрам приходит ночью домой очень поздно, совсем уж, верно, под утро. Как бы неслышно он ни вошел, я все равно просыпаюсь, спрашиваю спросонья: «Абрам, это вы?» А Абрам садится на корточки у моей постели, крепко щиплет меня за ногу и шепчет мне на ухо, что отец с матерью и все Кэпрешты не должны обязательно знать, когда Абрам Зильберман приходит домой спать. При этом он не полагается на щипок и обещает мне

за соблюдение тайны солидную взятку:

— Будешь человеком, я и тебя когда-нибудь возьму с собой!..

В котором часу Абрам приходит домой спать, мне не так уж важно, но я просто умираю, до того хочется знать, откуда он так поздно приходит. Когда через несколько дней застаю его одного в кухне улыбающимся и наряжающимся и напоминаю ему, что он обещал брать меня иногда с собой, на него нападает такой смех, что он выплескивает в меня изо рта всю воду, которой только что полоскал горло.

— Ты, тимтидлдидл, ты уже тоже хочешь к девкам? Пускай прежде вырастет первый волосок у тебя над губой. Возьми сперва как следует терцию.

Репетируем мы на задней застекленной веранде, которую в доме Довида Зильбермана называют «суке»[20]. Утром мы уже все сидим и ждем. Абрам входит с камертоном в руке. Брюки он носит на подтяжках. Рубаха, как назло, вечно задирается, и из-за этих подтяжек выгнутая спина Абрама выглядит-таки изрядно горбатой. Когда кто-то из нас берет иногда фальшивую ноту или когда все вместе мы начинаем с «ми» и во время пения скатываемся вниз и кончаем «ре» или «до», он ударяет нас, каждого в отдельности, камертоном по пальцам, говорит, что покуда пение не дойдет нам до самого мозга костей, людей из нас не получится.

— Протяните, — говорит он, — лапочки сами, по-хорошему… Уж если умения нет, покажите хотя бы, что есть желание.

Кроме меня пение должно дойти до мозга костей еще трем таким же пацанам, как я. Одного зовут Файвл, второго — Меерл, третьего — Зейдл.

Файвла прозвали в Кэпрештах «Файвл — дырявый король». Почему его так прозвали, знает один бог. Это тощий мальчишка с тонкими ногами, с длинным заостренным носиком, бровей у него не видно или вообще нет, волосы на его голове светло-желто-выцветшие, как недозрелая кукуруза. Когда он смеется, вид у него скорее плачущий, чем смеющийся. Дискант у него какой-то совсем особый. На самом верху, там, где кончается обычный дискант, у Файвла лишь начинается новый дискант с очень-очень тонкими и очень-очень высокими, вроде не горловыми, а головными звуками.

Мать Файвла бедная, забитая женщина, вдова. Живут они в маленьком домике возле кэпрештской синагоги. Мать Файвла здесь, в синагоге, служка. Кроме того, она тут сидит целый день и латает для кэпрештских торговцев рваные мешки. Когда бы мы ни зашли в дом, она вечно встречает нас оханьем. Красивый голос Файвла она называет не голосом, даже не голоском, а прямо-таки

скрипочкой:

— Если бы где-нибудь на свете, горе мое, была у ребенка в горле такая вот скрипочка… Чтоб он был мне только здоров, ребеночек мой…

Файвл разговаривает с матерью сердито. Его, кажется, раздражает, что она называет его ребенком. Такого, как он, добытчика! Он вытягивается в рост, и его длинный, заостренный носик раздувается, как зоб у индюшки.

— Скрипочка-дрипочка! Если бы не пара сотен, стал бы я ему петь, горбуну! Так бы он и дождался.

Второго певчего, Меерла, зовут в Кэпрештах Меерл-телар. Не «телар» по-еврейски, то есть тарелка, а «телар» от молдавского слова «тылхар» — вор. С Меерлом случилась история. Как-то в четверг вечером дала ему соседка несколько леев — пойти купить ей дрожжей. Меерл забыл дорогу обратно. За те несколько леев он вместо дрожжей купил себе кружку семечек, стакан сельтерской и пару картинок из тех, которые, если чуточку намочить водой, приложить к обложке книги и потереть хорошенько пальцем, переснимаются на обложку. Соседка из-за этих нескольких леев подняла такой гвалт и наделала столько шуму, будто разбойники ночью напали на нее и обобрали дочиста. От этой истории осталось Меерлу доброе имя в Кэпрештах — Меерл-телар.

Имя, даже зазряшное, видно, не пустая вещь. Оно уже само делает свое. Несколько щербинок на лице Меерла, плевки сквозь зубы с присвистом, блестящие его глазенки остались бы его личным делом, не назови его Кэпрешты Меерл-телар.

Меерл-телар научил меня курить. То есть прежде чем научить меня курить, он показал мне, как он «пускает дым через глаза». И после того, как он здорово обжег мне руку цигаркой, «пуская дым через глаза», не помогли уже никакие разговоры — я кашлял, хрипел, едва не задохнулся, но курить он меня научил, Меерл.

Меерл-телар звал меня купаться в Реуте, уверял, что за каких-нибудь десять минут так научит меня плавать, что я стану самым лучшим пловцом в мире.

В день, когда Абрам Зильберман начал репетировать со мной соло, Меерл-телар показал мне пять пальцев, пригнутых у ладони, и заявил мне, что все те пять пальцев будут в моем рту, а зубки из моего рта лягут в его ладонь, если соло в хоре буду петь один я, рашковский вонючий внучек.

Но альт был у Меерла просто на редкость, так и лился, так и таял. Альт с разливом и широтой внизу. Наверху даже чуть с хрипотцой. Но как раз этот хрип придавал голосу особое обаяние. Когда я все-таки спросил Абрама, почему он Меерлу тоже не дает

соло, у Меерла ведь самый лучший альт, Абрам хорошенько накричал на меня, сказал, что, во-первых, никто у меня не спрашивает, у кого самый лучший альт и у кого не самый лучший альт, во-вторых, никто меня не нанимал адвокатом, а в-третьих… в-третьих, я уже не очень-то понял, что к чему.

— Если б его альт, — сказал он, — был сам по себе, а он, Меерл-телар, сам по себе… Но когда бог захотел, чтобы они были вместе, то это ни к черту не годится…

Третий певчий, Зейдл, был старше нас всех и выше нас всех. Отец его и мать жили в Чичилештах, деревне километрах в двух от Кэпрешт. Они держали там лавку и каждую неделю брали товар у Довида Зильбермана в кредит. Зейдла звали и Зейдл Чичилештский, и Зейдл — двойная губа. Абрам одарил его еще тремя кличками: «перестоялый борщ», «глупая ряшка» и «дребезжащий горшок».

Зейдл пел у Довида Зильбермана уже третий год. Его дискант был действительно и перестоялым, и дребезжащим. Может быть, поэтому, а может быть, потому, что отец и мать Зейдла были, бедняги, у Довида Зильбермана в долгу как в шелку, Абрам не давал Зейдлу никакого спуску. В перерывах, когда мы сидели и отдыхали, Абрам любил, бывало, подозвать к себе Зейдла и немножко позабавиться:

— Зейдл, иди сюда. Скажи правду, хочешь-таки стать кантором?

— Хочу.

— А кем-то другим не хочешь?

— Например, кем?

— Я знаю кем? Станешь, например, раввином.

— Хи-хи… раввином! Надо же уметь…

— Стань тогда просто богачом.

— Хи-хи… Надо же иметь…

— Значит, чтобы стать кантором, надо ничего не уметь и ничего не иметь, а?

— Хи-хи…

— Дивно. Дальше некуда. Протяни-ка, деточка, твою умную лапочку. Дай хоть взболтаю его маленько, этот перестоялый борщ…

Зейдл подыгрывал, он всегда отвечал, как Абрам хотел; еще «прихихикивал», как нравилось Абраму, после протягивал руку и получал свою дюжину камертонов по пальцам, чтобы пение дошло ему до мозга костей.

Разве, думал я, Зейдл на самом деле «глупая ряшка»? Может, он все это делает ради отца и матери? Или просто так сильно хочет стать кантором?

До Рашкова надо добираться в три езды. А до Чичилешт рукой подать. Можно же смыться пешком — раз-два, за один миг.

Две дочери были у Довида Зильбермана.

Старшая, Дуня, любила одеваться просто: простое платье, туфли на низких каблуках, волосы гладко зачесаны, никакой пудры на лице, никакой помады на губах. В Кэпрештах говорили, что Дуня, дочь Довида Зильбермана, как добрый кусок хлеба. Кажется, больше других я это мог сказать.

Дуня стелила мне постель и, может, двадцать раз взбивала подушку, чтобы мне было мягко спать. Дуня двадцать раз в день спрашивала, не голоден ли я. Дуня каждый вечер грела воду в тазу, чтобы я мыл ноги. Дуня нередко совала мне лей-другой в карман на порцию мороженого. Дуня, бывало, из-за меня схватывалась с Абрамом, обзывая его эгоистом, садистом и другими словами, смысла которых я еще точно не знал, но понимал, что для Абрама это совсем не лестные слова. Дуня расспрашивала, сколько у меня братиков и сестричек, как их зовут, в чем они ходят, что едят и во что играют, и при этом она всякий раз так вздыхала, что просто разрывалось сердце.

Мужа Дуни звали Исак. В Кэпрештах говорили, что он сын бельцкого сапожника. Да еще плохого бельцкого сапожника. Сапожника, который сидит на базаре и на что-то большее, чем набить на каблук набойку или нашлепать латочку на рвань, кишка у него тонка. Рассказывали, будто Дуня и Исак без памяти влюбились друг в друга и мир чуть не перевернулся, пока они не поженились. Но они поженились, ничего не помогло. Исак, говорили, вот такой, каким вы его видите, учится на доктора. Но учится вот уже скоро десять лет и еще не выучился, еще не доктор.

Помню его у Довида Зильбермана в доме в белом халате и белых матерчатых тапках. У него был втянутый живот, бледные впалые щеки и вся голова уже была как запорошенная снегом. Ранняя седина, говорили, пришла к нему от чрезмерной учебы и от слишком затянувшегося ухаживания за Дуней.

Исак любил заниматься мною. Он не давал мне ходить дома в шапке, срывал ее с моей головы, твердил, что голова должна дышать, голове надо дать свободу. Бывало, тащил меня за собой во двор, садился со мной на скамейке, пригибался ко мне, кивал на застекленную веранду и спрашивал потихоньку, нахожу ли я в этом какой-то вкус и зачем мне все это надо. Прежде чем я успевал ему что-то отвечать, он прикладывал мне руку ко рту и говорил, что пока еще рано толковать со мной о таких предметах, но он хочет, чтобы потом, когда я немножко подрасту, я начал кое

о чем думать и кое-что начал сам понимать. Однажды я застал его сидящим во дворе и «оперирующим» птичку. Он подозвал меня и показал на своей ладони крохотное сердечко. Чуть виновато сказал мне, что это не была, упаси боже, живая птичка. Он нашел ее всю в крови под деревом, в траве. Кто-то, видно, бросил в нее камень и убил. Воскрешать мертвых пташек невозможно пока, сказал он, но понимаю ли я смысл того, зачем он сидит здесь и копается в птичьих внутренностях? Смысла я, конечно, не понимал. Мне только помнится, весь день кусок не лез в горло, и я понял, что Дунин муж Исак какой-то особенный человек, совсем не такой, как другие люди.

Дуню и Исака я любил, и они мне, кажется, платили той же монетой. Однажды я, помнится, забежал с улицы весь в поту, и канторша стала ворчать, что как раз когда будет нужда во мне, я буду сипеть, как бревно, что я забываю, что у меня есть хозяин, что мне платят деньги за это и кормят меня за это… Дуня подошла к матери, и губы у нее были белые, как папиросная бумага.

— Мама, что это за разговоры? Говоришь, как если бы кормила гуся…

А Исака я тогда впервые в доме Довида Зильбермана услышал разговаривающим таким громким голосом:

— Вот это они умеют… кормить… держать в клетке… и зарезать!

Младшая дочь Довида Зильбермана Таша была высокая и дебелая, с гладким круглым лицом, большой грудью и широким задом. Она никогда не сидела без скамеечки под ногами и выглядела так, будто она на последнем месяце и сейчас, в летнее время, приехала к матери, чтобы не сегодня завтра рожать.

Но вот такая, с грузным телом и грузными ногами, Таша все-таки ни на секунду не оставалась без дела. Она или круглила себе ногти маленькой пилкой, старательно отмачивала их в блюдце с теплой водой, красила красной щеточкой; или строчила на швейной машинке сверхъестественно огромный лифчик; или весь день варила варенье, фаршировала перцы, пекла баклажаны, стояла среди, может быть, тысячи банок и баночек, которые надо было перевязать белыми тряпочками, плотно накрыть крышками, чтобы потом, уезжая, можно было взять их домой и иметь там целую зиму чем заморить червячка.

Ташиного мужа, такого же высокого и дебелого, как Таша, звали Марчел. Жили они, как я слышал, где-то далеко, в Румынии, возле самого города Плоешти, где Марчел был вроде подрядчиком. Он ходил в доме Довида Зильбермана в шелковой пижаме, постоянно носил вдавленное в глаз стеклышко, ступал

широко и важно, несколько длинных волосинок начесывал на блестящую лысинку и выглядел каким-то министром. По-еврейски он говорил с твердым, чужим акцентом, вместо «эфшер»[21] произносил «эшфер» — можно было зубы сломать таким идишем. Весь день он держался возле Таши, либо суетился вокруг нее в кухне, среди банок и баночек, либо стоял рядом с ней и гладил ей руки, либо сразу же после обеда оба уходили в свою «спальню» и не выходили уже оттуда до самого утра.

Таша с мужем тоже относились ко мне неплохо. То есть относились и не плохо, и не хорошо. За все время они ни разу мне ничего не сказали и ни разу ни о чем не спросили. Они, кажется, ни разу меня даже не увидели. Были оба так заняты собой, собственным желудком и собственным телом, что никогда ко мне не присматривались, как не присматривались, например, к кошке, которая не раз, бывало, извивалась, терлась у их ног.

И когда я сталкивался иногда с Ташей и ее мужем нос к носу, у меня было такое чувство, что они меня только сейчас, впервые, заметили, глядят друг на друга и пожимают плечами:

— Смотри, что это за чужой мальчик?

— Смотри, слоняется чужой мальчик в доме, и все открыто, все настежь. Хоть бери и выноси все из дому.

Кэпрештская река Реут, или Ревет, как звали ее кэпрештские евреи, была, конечно, не так величаво-широка и могуче-раздольна, как рашковский Днестр, тут не было двух Рашковов — двух раздельных миров по обеим своим сторонам, пограничников с винтовками на плечах, водяных мельниц, одна возле другой, с их замшелыми крышами и пограничной таинственностью в серо-сумеречной глубине, страшных историй, которых никто к ночи не смел рассказывать.

Реут был, можно сказать, внутренней рекой. Рекой среди поля. Местами суженный, как климэуцкий ручей возле рашковского леса: перекинь через него длинную доску, распахни руки и помаши ими, чтобы удержать равновесие, — и ты уже на той стороне.

Но зато это была река единая — и на том берегу, и на этом берегу. А потому и река веселая: старики и дети плещутся в воде с криком и гиком сколько душе угодно; водовоз черпает обеими своими бадьями воду в бочки, а его клячонка, кожа да кости, плывет себе пока что в сторонке, задрав кверху морду с сияющими лошадиным блаженством глазами; прачка с высоко подоткнутой юбкой бьет на камне белье, полощет его, выкручивает, пригибаясь к воде, а я стою наверху, на пригорке, и лучше всего на свете вижу обнаженные ноги прачки.

Меерл-телар тащил меня на Реут, как только выпадает свободная минутка. Я люблю оборачиваться в поле лицом к местечку, издали озирать Кэпрешты, все Кэпрешты у меня на ладони. Люблю останавливаться наверху, на пригорке, и чувствовать терпко-угарный дымок. Меерл бежит под гору, уже раздетый, далеко впереди. Машет мне рубахой и брюками, я же люблю задержаться на несколько мгновений у самого последнего кэпрештского домика.

Люблю, люблю, — разве тогда я уже точно знал, что люблю?

В самом последнем кэпрештском домике живет Мордхе Гольденберг. Мордхе Гольденберг, я знаю, писатель. Рассказы, которые он пишет, печатаются в газетах и известны, говорят, повсюду. Здесь, в Кэпрештах, он просто меламед. В этом домике на самом краю местечка его школа. Домик чуть в стороне от дороги, вокруг него никакого забора; свободный, открытый двор, где ребята могут гоняться один за другим, играть, дать себе волю. Стою у дороги, хочу собственными глазами увидеть Мордхе Гольденберга. И вот выходит из домика худенький человек в жилетке и четырехугольной ермолке, с плеткой в руке. Хрипловатым голосом он кричит: «Марш в дом, пострелы, нелегкая вас возьми!» Шумная улица сразу умолкает, пустеет. Мордхе Гольденберг приближается тихими шажками к дороге, близоруко вглядывается в мальчишку, который стоит и не трогается с места: свой или не свой? Смотрит мальчишке в задумчивые, печальные глаза, ласково треплет двумя длинными сухими пальцами его худенький подбородок, и рашковскому мальчику чудится, будто Мордхе Гольденберг мягким, душевным голосом говорит ему:

— Иди, мой мальчик, иди к нам! Будем вместе!..

Это, конечно, чудится рашковскому мальчику теперь, пятьдесят лет спустя, когда ему уже за шестьдесят. Тогда он, конечно, даже в самых тайных помыслах не мог вообразить такого приглашения. Во всяком случае, даже много позже он не подозревал, что в эту святая святых кто-то его пригласит, а он сподобится войти. Точно так же, как тогда он не подозревал, что мальчишка, его одногодок, шумевший где-то там на главной улице мальчишка с прелестной ямочкой на подбородке, в гимназической фуражке с блестящим козырьком, по имени Герцл Гайсинер, станет когда-нибудь еврейским поэтом и будет зваться Герц Ривкин. И другой кэпрештский пострел с бледно-матовым лицом и красивыми серыми глазами, Герш Цельман, тоже станет в один прекрасный день еврейским поэтом.

Маленькое бессарабское местечко Кэпрешты лежало, разбросанное в степи, словно вынесенное наружу, и выглядело

так, будто могут его, не дай боже, за одну ночь разворовать, растащить.

Позади местечка течет Реут. На главной улице каждый четверг ярмарка. На застекленной веранде Довида Зильбермана разучивает Абрам с певчими рошашоновское песнопение унсане-тойкеф.

Само название «Кэпрешты» идет от молдавского слова «капра». «Капра» значит «коза». Кэпрешты — козья страна.

Вот, значит, куда меня завели беленький чистый козлик, маленькая моя колыбель, песенка моего детства![22]

7

Был путь, и был привал, — кажется, только что я приехал на двух бричках с бубенцами через два вокзала и на поезде между ними, и вот опять уже надо ехать. Это будет, как видно, самая лучшая поездка. Бельцы — самый большой и самый красивый город. Чудеса о Бельцах рассказывает нам, впрочем, именно деревенщина Зейдл из Чичилешт, «дребезжащий горшок» и «перестоялый борщ». Потому что Зейдл вот уже третий год ездит с Довидом Зильберманом в Бельцы. Город Бельцы, рассказывает он, весь в электричестве. Блестящие фаэтоны с красными резиновыми колесами снуют по улицам взад-вперед, как божьи коровки. Улиц в Бельцах, может быть, триста, а то и четыреста. И если ты на минуточку выскочил из дому, не найдешь дорогу обратно, будь ты даже о ста головах.

Ночью перед отъездом я просто не находил себе покоя. Лежу в постели и глаз не могу сомкнуть. Мне-то известно, что для того, чтобы ночь поскорее прошла, надо зарыться головой в подушку и спать. Но как можно спать, если и темнота в доме, и голова, и подушка под головой, и все вокруг переполнено Бельцами, большим миром Бельц…

Перед самой зарей я, наверное, крепко-таки задремал. Потому что внезапно почувствовал, как кто-то тянет меня за ногу, и вижу, что Абрам стоит надо мной, щелкает меня по носу.

— Вот этот вот даже мессию проспит!..

Так оно всегда. Сам, наверное, здорово ночь продрыхнул, а я, значит, тот, кто проспит мессию.

На улице уже ожидает подвода. Простая телега, туго набитая соломой. На перекинутой поперек доске уже восседает Довид Зильберман в клеенчатом дождевике, излучающем такой блеск, словно мы уже после дождя, а не, упаси боже, перед дождем. Рядом с кантором сидит бас Биньомин в башлыке, завязанном

спереди двумя концами, как женский платок. Зейдл, Меерл-телар, Файвл и я садимся в телегу и даже не сидим, а лежим в соломе, похожие на связанных телят. Абрам Зильберман лихо вскакивает в телегу рядом с возницей. Дуня и Таша, дочери Довида Зильбермана, остаются стоять на пороге в мужниных пиджаках поверх ночных рубах и машут нам руками: уезжайте на здоровье и приезжайте на здоровье!

Мы шажком переехали Реут, переехали не по мосту и не на пароме, а просто через такое узкое, плоское место, что намокли только колеса телеги, не больше. Потом миновали первую деревушку после Кэпрешт — Цэгэнешты. Маленькая цыганская деревенька. Несколько облезлых хатенок с черными соломенными крышами. Полегшие деревянные заборчики. То ли дворы, то ли не дворы. На дверях висели швары[23] табака. Около скирды коза жевала кукурузные стебли. На завалинке сидела молдаванка и кормила грудью младенца. Цыган что-то не было видно в цыганской деревушке.

Меерл-телар встал в телеге и начал кричать: «Хольдере-мольдере!»[24] Довид Зильберман крепко обругал Меерла, а Абрам повернулся лицом к нам, смачно рассмеялся и сказал, что кричит Меерл как раз по первому сорту, на верхнем «си».

— Так они тебе и будут сидеть дома, чернявые, — сказал Абрам, — делать им нечего.

Довид Зильберман с наслаждением, по-философски, взял свою бороденку в горсть.

— Скитаются, бедняги… точно как мы вот скитаемся, — сказал он с такой усталостью и таким надломом в голосе, как если бы мы в этой телеге скитались вот уже две тысячи дней, а не отъехали от Кэпрешт на какие-то пять-шесть верст.

Пошел длинный разговор о цыганах. Бас Биньомин спросил:

— Они происходят от египтян, а, реб Довид?

— Каких там еще египтян! — дал Довид самый вразумительный ответ.

Абрам сказал:

— Своей грязищей они себя защищают. Как роза защищает себя своими шипами. Чтобы ее не хотели трогать и не могли сорвать.

— А мы чем защищаемся, реб Довид?

— Канторством, Биньомин.

— Пением?

— Не забывайте, — «и плакали». Пением и плачем, Биньомин.

— Мольбой, значит, реб Довид?

Мы, связанные телята, лежали в телеге, в соломе, и, конечно,

в этот долгий разговор не вмешивались. Мы беззвучно шалили, то и дело награждали друг друга щипками и, закусив губу, удерживали крик, чтобы не заработать от Довида, Абрама или даже Биньомина крепкого нагоняя.

Цыганский табор мы все-таки потом встретили, но гораздо позже, когда уже оставили позади больше половины пути. Около рощи мы остановились, чтобы подкрепиться и передохнуть. Издалека виднелось несколько цыганских шатров, одна-две лошаденки со спутанными ногами, два распряженных, с латаным верхом воза, дымки и огни костров между ними. Наша телега тоже стояла распряженная, с задранным дышлом. С чего это вдруг Довид Зильберман именно здесь велел сделать привал?

Сбежался десяток цыганят с черными пупами наружу, выстроились вокруг нас, наблюдали с жалостными лицами, как мы сидим на траве и едим. Довид Зильберман велел вынуть из саквояжа с едой кусок калача, разорвать в длину на узкие полоски селедку. В мгновение ока цыганята расправились с калачом и селедкой и снова уставились нам в глаза.

Прямо перед нами встала молодая цыганка в платье из одних лент, с несколькими рядами бус вокруг шеи, с монистами, вплетенными в косы. Она мигом стасовала колоду карт и пристала к Абраму, чтобы он показал ей ладонь, и она ему сразу скажет, сколько лет ему жить и сколько он будет иметь детей. Довид Зильберман, пряча улыбку в бороду, начал копаться в кошельке, выбирая мелочь.

Цыганята, почувствовав сильную конкурентку, вдруг стали подпрыгивать, подрагивать плечиками, дергать головенками, вскидывать локотками, шлепать себя по голым животикам, но коленкам — словом, показывать нам свою вовсе не простую цыганскую пляску. Несколько мгновений — и мы уже сидели на траве, окруженные, может быть, половиной табора. Цыган в распахнутой грязной рубахе, с гривой до плеч схватил скрипку и заиграл знаменитую «Чокырлию» — «Жаворонка». Неистовство струн оборачивалось птичьими трелями, жаворонковым пением, лесными голосами и лесным эхом. Целая роща трепетала и заливалась у цыгана на плече.

Довид Зильберман поднялся с травы и тихо сказал Абраму:

— Ну как, показать им, что мы тоже что-то кумекаем, а?

Абрам сначала отмахивался, пожимал плечом: что вдруг, ни с того ни с сего? Но тут же достал из бокового кармана камертон, спросил отца: «Кевакорас…»[25], да?», снова выслушал камертон, и тут же певчие выстроились возле Довида Зильбермана и Абрама, по одну и по другую сторону, совсем как в синагоге, у алтаря. Приложив палец к губам, Абрам показал нам, чтобы мы

начали тихо-претихо — пианиссимо. Сперва еле слышное, как далекий плач заблудившейся овечки, а дальше нарастая все громче, все сильнее, словно крик безутешного пастуха среди гор, словно дикий вой отощавших волков, наше пение отзывалось где-то в глубине рощи, сливалось с шумом зеленой кукурузы в полях:

Как… бе… как бе… ре-жет…
Как бе-ре-жет, ой-ой, пастух, ой-ой, стадо…

Цыганский табор расположился вокруг нас; мы, словно возле алтаря, стояли торжественно под небом, будто под синим куполом. Солнце над нами плавилось, как огромная сальная свеча. Один только наш возчик, колдуя над упряжью двух своих лошаденок, хмуро косился на нас со стороны, как на нечистую силу: мол, вам бы мои заботы, бездельникам, не сходили бы с ума среди бела дня…

От Кэпрешт до Бельц в тот день, помнится, миновали добрый десяток сел и два-три местечка. Все в моей памяти перемешалось и стерлось: заборы, соломенные крыши, верхушки церквей, виноградники, холмы и долины, местечковые крылечки, лавки, кучки бородатых евреев. Но ту остановку возле рощи помню во всех мелочах. Цыганка с монистами в косах, длинноволосый цыган со скрипкой стоят перед моими глазами, словно это было вчера.

Я только до сих пор не могу понять, что тогда произошло. Какой нам был смысл распевать перед цыганским табором? С какой целью велел Довид Зильберман остановиться именно там, возле рощи?

А может быть, это случилось без всякого смысла и без всякой цели?

Разве во всем и всегда должен быть смысл?

8

Бельцы.

Синагога, где Довид Зильберман в осенние праздники уже в третий раз будет красоваться у алтаря в своем черном канторском облачении, с пышной кистью на восьмиугольной канторской ермолке, что выглядит черной короной на его голове, — синагога эта называлась «Врата небесные».

Всего-навсего. Ни больше ни меньше.

Вот здесь, значит, в этом святом храме, и находятся ворота небесные. В Кэпрештах Довид запачканный, Кэпрешты не

допускают своего певца даже близко к алтарю, здесь же, в чужом городе Бельцах, он, значит, имеет доступ к самим воротам, его мольбы будут услышаны именно там, где нужно, лягут у самого трона, у самых ног вседержителя, и будут отпущены все грехи, будет вымолен для народа воистину счастливый и добрый год.

Бельцы, как видно, умнее Кэпрешт или, кто знает, может, глупее?

Синагога «Врата небесные» находилась на Дворянской улице. Как раз напротив ворот небесных, чуть пониже, стояли железные, выкрашенные в серое ворота литейного завода Розентулера. Ворота против ворот. Одни, можно сказать, сплошная духовность, вторые сплошная вещественность. Так оно и выглядело, будто одни ворота парят в воздухе, а вторые стоят обеими своими железными ногами на земле.

Но это уже совсем другая история. Она пока что к нашему рассказу не относится.

Дворянская улица по логике вещей должна была быть населена сплошь дворянами. Видел же я на Дворянской улице одних веревочников. Впервые я узнал об этой новой для евреев профессии. С утра весь день на тротуарах лежали кучки конопли, около кучек конопли стояли какие-то одноколесные машины. У каждой машины работало два веревочника. Один совал в машину куски конопли и крутил ногой колесо, как крутят ногами швейную машину, второй тянул из машины готовую веревку и вот так, с веревкой в руках, уходил, сколько было возможно, до самого конца улицы. Веревочники встречались с веревочниками. Веревки перепутывались с веревками. Веревки потолще, веревки потоньше, совсем тоненькие веревки. К вечеру Дворянская улица вся была выткана, оплетена, перетянута веревками. Откуда взялось столько веревочников? Для чего миру столько веревок?

Не один такой нелепый вопрос задавал я себе в Бельцах.

Нас, певчих, разместили пока у хозяев. Меня взял к себе, можно сказать, хозяин из хозяев — еврей по имени Анчл Гройсман, владелец солидной корчмы в одной из боковых улочек между Дворянской и Николаевской. На высечке корчмы был изображен попугай с большим крючковатым клювом, прямо как у орла, а над попугаем была полукруглая надпись «Ла папагалул весел» — «У веселого попугайчика», значит. Дверь и оба передних окна были одеты в железные шторы, которые по утрам поднимались, а по вечерам опускались с таким трудом и таким гулом, что вся улица слышала это.

Зал внутри был тесно заставлен белоструганными столиками. На стене висел «Реджеле Фердинанд», и возле самого короля можно было прочесть на картонке всю философию корчмы:

«Пей — умрешь, не пей — умрешь, пей же, брат!»

Господин Анчл Гройсман был, вопреки фамилии[26], маленький, щуплый человек с остроконечной подбритой бороденкой, некогда желто-красной, а ныне серо-белой. Он постоянно носил синий сюртучок с развевающимися полами, был вечно заморочен делами, всяческой беготней и суетой, и среди хмельных гостей, сидевших за столиками, казался скорее прислужником, чем владельцем солидной корчмы.

Зато мадам Хана, жена Анчла, имела вид настоящей корчмарки. Во-первых, она сидела на возвышении в глубине зала, у полок, уставленных сплошь бутылками. Во-вторых, она была ужасно толстая, сидела на двух стульях, и обе ее груди лежали на всей стойке; в-третьих, о ней рассказывали такую историю: некий дюжий нахал стал к ней приставать, требовал от нее чего-то покрепче водки; она сказала: «Пошли», завела его в заднюю комнату, подняла одну юбку, вторую юбку, из кармана третьей юбки вытащила бутылку девяностошестиградусного спирта и сказала: «На, босяк, вот тебе покрепче. И гори огнем…»

Меня корчмарка звала соплячком. Ее приветливая улыбка словно ласкала меня.

— Соплячок что-то уже сегодня имел во рту?..

— Выпьешь стакан цикория с молоком, соплячок?..

— Садись вот сюда, соплячок, за столик, и будь человеком среди людей!..

У господина Анчла и мадам Ханы была одна-единственная дочка Люба. Они ее, свою единственную, берегли как зеницу ока. Не давали ей даже шагнуть на порог корчмы. Из залы уходил узенький коридор с тремя дверьми в три отдельные комнаты. В одной комнате спали хозяин с хозяйкой, вторую комнату отдали мне, а третья комната, увешанная сплошь коврами, с дверью, затянутой плюшевым, вышитым золотом занавесом, как священный ковчег, была комнатой Любы, любимицы.

У Любы были черные жгучие глаза, черные, с блеском волосы, рассыпанные по плечам, нежная белая шея, белые-белые зубки.

Дома она носила, по-моему, слишком тонкие платьица — на спине проглядывали сквозь платье все три пуговки тесно застегнутого розового лифчика.

Однажды, поймав меня с поличным, перехватив то есть брошенный мною украдкой взгляд, она без стеснения спросила, люблю ли я уже девушек.

— А зачем их надо любить? — не растерялся я.

— Потому что канторы, говорят, большие юбочники.

— Я еще не кантор.

— Но ты хочешь быть кантором? Скажи правду… —

сверкнула она на меня своими черными жгучими глазами, и я никак не мог взять в толк, зачем ей надо непременно знать, хочу я быть кантором или не хочу быть кантором.

Люба уже окончила гимназию, раза два пыталась сдать бакалавриат, сидела пока дома. Ей, думаю, было года двадцать два. В глазах одиннадцатилетнего мальчика она, конечно, выглядела не вдвое, а втрое-вчетверо старше. И малейшая нескромная мысль о ней казалась большим грехом и большим оскорблением.

Вечером, когда Люба, бывало, наряжалась на прогулку, она подзывала меня к себе, просила поправить платье, и я ловил ее взглядом в зеркале и в обаянии красоты и видел себя у ее ног, заслужившего вполне, чтобы меня секли и кололи, жгли и палили.

Бельцы меня утомляли страшно. В субботнюю ночь, на слихес, когда мы впервые должны были показать во «Вратах небесных», на что мы горазды, мой хозяин господин Анчл еле меня добудился. Я шагал с ним в полусне по темным ночным Бельцам, пел затем в полусне слихес и сам не помню, как это происходило. Помню только, как в тумане, что потом, дома, на своем диванчике, сразу же снова заснул одетым, а Люба хлопотала вокруг меня, потихоньку сняла с меня ботинки и носки, расстегнула рубашку, а я отбивался ногами, не давал снимать с меня одежду, хоть убей.

Как раз в те дни в Бельцах играла виленская труппа. На круглых рекламных тумбах были расклеены афиши с большущими буквами: «Певец своей печали». Я не очень-то понимал, что означает название пьесы. Но и младенцы в люльках у нас уже знали, что означает виленская труппа. Булов, Штейн, Камень — даже в Рашкове, который никогда до тех пор и никогда после того в глаза не видел их, шумели об этих актерах. Помню, с самого раннего утра я уже сидел на ступеньках у театральной кассы и первым взял билет на «Певца своей печали». (Он воспевает свою печаль? И почему вдруг печаль? А уж если печаль, почему вдруг поет?) Но сейчас надо было обдумать другое: как вернуться из театра ночью так поздно и чтобы господин Анчл и мадам Хана не выгнали меня наутро из дому? Я, конечно, попросил совета у Любы. А Люба решила задачу очень просто: я постучу пальцем в ее окно, она потихоньку впустит меня через заднюю дверь, отец с матерью даже не увидят и не услышат.

В театре я слонялся как потерянный. Билет у меня был «стоячий», а стоять, значит, могли где хотели. Народ сидел на скамейках и лущил семечки. Я передвигался вдоль стены все ближе и мало-помалу продвинулся до самого занавеса. Как же не

посмотреть, что творится с той стороны, внутри? Кто-то белил какую-то стенку и щеткой брызнул мне прямо в лицо. Я утерся рукавом, в театре стали гасить лампы, и я совсем-совсем близко увидел, как старая бабка с очками на носу, с двумя быстро снующими спицами и чулком в руках напевает беззубым ртом внуку: «Иошка на скрипке, Берл на контрабасе…» Вдруг бабка в красноватом свете одного-единственного рефлектора сбросила с себя шаль, старушечью кофту, отшвырнула очки, чулок со спицами и осталась стоять посреди сцены не древней сгорбленной старухой, а стройным, красивым юношей — Иошкой-музыкантом… Черный, закопченный трубочист вошел в дом не через дверь, как все люди, а через дымоход, через печку… Куролапничка[27] все время кудахтала, как курица… Иошка-музыкант влюбился в дочь богача, терпел во всех трех действиях невзгоды и беды, лишился под конец ума, рвал на себе рубаху, занавес медленно опускался, а народ бешено хлопал, стучал ногами, чуть не разнес театр. Признаюсь, я далеко не все понял, что происходило на сцене. Возможно, на сцене показывали одно, а я видел другое. Я только знал, что сам, своими глазами, посмотрел виленскую труппу. И знал, что любовь к дочери богача кончается плохо, хуже не может быть.

Я шагал один по темным пустым бельцким улицам и не боялся. Пожалуй, я больше боялся стука в Любино окно. Люба, видно, лежала в постели и не спала. Она тотчас же встала, тихонько отперла заднюю дверь, и в уличном свете, вломившемся в открытую дверь, я увидел Любу в одной ночной рубашке, слишком длинной, слишком широкой, слишком тонкой ночной рубашке. Мне показалось, будто рубашка сама по себе, а она, Люба, сама по себе.

Люба заперла дверь и шепотом спросила меня, понравился ли мне театр и был ли театр с любовью.

— Не с любовью… — ответил я. — То есть да, с любовью… но не с хорошей любовью.

Люба спросила, почему мне так холодно, и, взяв мои ладони в свои, согревала их у себя под мышками. Я снял ботинки у двери. Вот так, босыми ногами, мы пошли к своим постелям.

Все это я помню едва-едва, как сквозь сон.

Две бельцкие ночи — как сквозь сон. Одна ночь отпущенья, прощенья. Вторая ночь — начала нового списка грехов…

9

«Бог и люди позавидуют нам». Нам, бедным, несчастным

певчим. Каждое утро мы репетируем во «Вратах небесных», у самого алтаря. Довид Зильберман на другой же день после первых слихес и потом, после обоих дней рошашона, уезжал домой, в Кэпрешты, к жене и своим делам. Не хватает сейчас, у алтаря, спины Довида. Спины, у которой есть глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, даже нос, чтобы вынюхивать, как мы стоим, знать, что делаем в это время руками и ногами, с каким усердием «читаем», о чем думаем, когда «держим тон», — спины самого господа бога. В пустой синагоге звучат не столько наши голоски, сколько наши отголоски. Наши голоски как бы соперничают с нашими отголосками. Один среди нас под куполом «Врат небесных» Абрам Зильберман выглядит меньше и сгорбленнее. Ворот его рубахи распахнут, галстук сбит на сторону, шляпа сдвинута на самый затылок. Но Абрам, видно, плюет на то, как он выглядит под куполом «Врат небесных». Осталась всего неделя до конца йомкипура, когда он возьмет у отца всю выручку и укатит обратно в Прагу, где он станет в свое время аптекарем или не станет в свое время аптекарем, но жить будет пока что, до будущего года, там, а не в вонючих Кэпрештах. Окна синагоги с улицы облеплены головенками мальчишек-завистников. Окна, как окна всех синагог, большие, высоко над землей. Зависть же еще больше, еще выше. И торчат эти головенки в окнах, как будто подвешенные. То и дело показывается головенка и исчезает. Они висят, и едят нас глазами, и не могут насытиться. И когда служка Нахман гонит их палкой, окна пустеют ровно на столько секунд, сколько продолжается ворчливое шествие Нахмана обратно от окна до двери. «Бандиты» на улице, завистники, завидуют не столько нам, приезжим певчим, сколько новому бельцкому певчему Сашке Штранвасеру. Ладно уж, с нами куда ни шло. Так суждено. Такими родились. Но как это вдруг, за одну ночь, ни с того ни с сего, Сашка стал певцом? Бас Биньомин говорит, что этот Сашка поет совсем как ворона с куском сыра в клюве… У отца Сашки Штранвасера на Петроградской конфетная фабрика, а здесь, во «Вратах небесных», у него первое место у восточной стены. От конфет, говорит Биньомин, пока еще никто в мире не заимел красивого голоса. Ни дисканта, ни альта, ни баса.

Так говорит Биньомин. А вот же Сашка Штранвасер заимел.

И, может быть, самый красивый голос. Потому что на рошашоно он стоял среди нас у алтаря в самой красивой шапочке, одетый в атласную, с иголочки, самую красивую ряску, а на шее у него был талесик с лучисто-серебряным шитьем, самый красивый талесик. Довид Зильберман велел, чтобы Сашка пока только стоял и шевелил губами. Когда все-таки Сашке захотелось издать горлом какой-то звук, спина Довида сразу почуяла и

гневно пригнулась к басу Биньомину: «Ну-о… Осел — губами!..» Чтобы, значит, Биньомин дал знать Абраму, чтобы Абрам дал знать ослу, значит, Сашке, — пусть поет одними губами. Но знают ли прихожане, что самый красивый талес может только шевелить губами? Половина синагоги, от двери до балемера[28], была полна веревочников. Евреев без мест и, кажется, даже без талесов. Близко от нас, в «центре», сидел мой хозяин Анчл Гройсман со свежеподбритой бородкой. Прямо напротив него, почти совсем рядом со священным ковчегом, отец Сашки Штранвасера в крошечной ермолке на макушке. Оба то и дело довольно переглядывались, и оба то и дело кивали головами на нас, певчих, то есть на него, на Сашку: в этом году, мол, все совсем по-другому, совсем другое пение в этом году!.. Но головенки завистников в окнах очень хорошо знают, что за фрукт этот Сашка Штранвасер. В окнах морщат носы, высовывают языки, грозят кулаками: пусть только кончится репетиция, и целым этот паршивец домой не придет и завтра из дому не выйдет. Кто-то из нас еще должен каждый день провожать Сашку домой. Делает это, конечно, Меерл-телар и ходит с полными карманами конфет и плюет на весь мир. Конфеты пробуем мы все, хотя потихоньку злимся, считаем, что это не очень-то чистые конфеты. После репетиции мы слоняемся по бельцким улицам. Я останавливаюсь у книжного магазина Левтова, разглядываю новехонькие книги в витрине на стеклянных полках. Среди книг тот же «Реджеле Фердинанд», что в корчме моего хозяина. Не знаю почему, но мне вдруг начинает казаться, что куда ни иду и где ни стою, все имеет такой же вкус, как конфеты Сашки Штранвасера.

Люба хотела, чтобы у них дома осталась моя фотография. У них дома — это значит на столике в Любиной комнате, увешанной внутри сплошь коврами, с дверью, затянутой плюшевым, вышитым золотом занавесом, как священный ковчег. Фотограф поставил меня у холщовой стенки, разрисованной деревьями и лесенками с перильцами. Он приподнял мою голову и втиснулся в какой-то черный рукав. Он то и дело поправлял мою голову, а она то и дело скашивалась. Откуда на лесенках деревья? И откуда взялся я сам возле лесенки и возле деревьев? Я, в певческой шапочке, с двумя черными пелеринными крыльями на плечах и талесиком на шее? Хожу по бельцким улицам, держу в руке конверт с полученными фотографиями и в который раз разглядываю себя издалека. На фотографии талесик выглядит таким же лучисто-серебряным, как у Сашки Штранвасера. И не знаю почему, но мне вдруг начинает казаться, что талесик на моей шее такой же нечистый, как Сашкин. До конца йомкипура остались считанные дни… Бог и люди могут нам позавидовать.

Потом, перед самым концом, произошло то, что произошло. То, что можно сказать, должно было произойти.

Не случись этого, пожалуй, вся эта история, во всяком случае сейчас, через пятьдесят лет, не была бы написана.

В первые мгновения случившееся не очень меня потрясло. Одиннадцатилетний мальчишка не в силах был, конечно, в первую минуту все охватить и осмыслить. Наоборот, в первые мгновения это меня даже обрадовало — необычное, запретное, острое…

По логике вещей я должен был сперва ужаснуться. Потом постепенно привыкнуть к ужасному, успокоиться. Было же наоборот. Потрясение пришло позже, нарастало постепенно.

Пусть читатель не подумает чего-нибудь. Случилось похуже…

Даже в гостинице, где Довид Зильберман остановился, утро выглядело по-йомкипурски.

Во всяком случае, в моих глазах.

Фонарь над парадной дверью еще висел непогашенный. На нескольких ступеньках, что вели вверх, к номеру Довида, коврик под нашими ногами был той же приглушающе чинной мягкости, каким был накануне вечером коврик во «Вратах небесных» под коленями кающихся и бьющих себя в грудь. Мы сидели в гостиничном коридорчике на соломенных стульях и говорили друг с другом, казалось мне, каким-то особенно трепетным шепотом. Довид, как видно, вчерашнюю трепетность колнидре[29] прихватил с собой сюда, в гостиницу.

На тротуарах сегодня веревочников не было видно. Улицы были, возможно, так же подметены и так же утренне тихи, как каждое утро. Но сегодня это выглядело по-йомкипурски убранно, по-йомкипурски тихо.

Абрам пошел к отцу, а мы покуда сидели в коридорчике и ждали. С чего это вдруг велел нам Довид Зильберман прийти рано утром сюда, в гостиницу? Бас Биньомин злился на нас.

— Сидите тихо и имейте терпенье. Не болтайте… Здесь гостиница! — сказал он таким сердитым шепотом, как если бы сказал: «Здесь вам не алтарь, где вы вечно болтаете».

Из-за твердого стоячего воротника с загнутыми концами подбородок Биньомина выглядит сейчас более низким, более мощным, что ли. Очень тонкая улыбочка, спрятанная где-то глубоко в складках подбородка, придает всему какую-то большую таинственность.

— Имейте терпение. Все увидите собственными глазами… Не болтайте только!

С той же таинственностью поддержал Биньомина Зейдл чичилештский: уж он-то, слава богу, здесь с Довидом Зильберманом третий йомкипур. И именно потому, что Зейдл уже «дребезжащий горшок», он знает такое, чего мы, мелюзга, не знаем и что даже во сне нам присниться не может…

— Так он ведет себя, реб Довид, все годы… И что ты ему сделаешь!

Абрам пришел нам сказать, что можно уже войти к отцу. Первым, помню, бросилась мне в глаза белая йомкипурская ряса Довида, висевшая против двери на отдельных плечиках, накрахмаленная, видимо свежевыглаженная, такая белая, что просто сияла. Лишь потом я увидел стол, стулья вокруг стола. Лишь потом — Довида. Стол был придвинут к кровати, накрыт скатертью. Глубоко в низком мягком кресле сидел Довид, помятый и сгорбленный, совсем не такой, как его ряса на стене. Он поднялся, насадил на нос пенсне, опять стал собой. Показал нам рукой на стулья, на кровать. Вот так, без слов, кивнул Абраму, и Абрам раскрыл стол, как открывают занавес. Мы все переглядывались между собой и не знали, хорошо мы делаем, что переглядываемся, или нехорошо. Меерл-телар дал мне под столом крепкого щипка. Файвл закашлялся, поперхнулся. Довид Зильберман повернулся к басу Биньомину:

— Пропустим сперва по рюмочке, а, Биньомин?

— Как прикажете, реб Довид.

— Какой еврей перед постом обходится без капельки водки? Для малышей у нас есть гоголь-моголь… Вы им объяснили, Биньомин, почему мы это делаем?

— Я им сказал, реб Довид, чтоб они не болтали…

— Бе, ме… Кантор разве всегда должен быть дурнем, Биньомин?

Довид сам налил три рюмки. Одну рюмку протянул Биньомину, одну рюмку — Абраму. Потом сказал: «Будем здоровы, доброго нам всем года!» — и первым осушил свою рюмку. Закусил ломтиком калача, взял с тарелки кусок холодной курятины. Жуя, выглядел очень помятым, говорил опять, казалось, с одним Биньомином:

— Простота-темнота постится. Они хотят, Биньомин, отделаться постом. Мне, посланцу общины, говорят: заступайся, проси, восхваляй, воспевай! С пустым желудком, Биньомин, не восхваляется и не воспевается. Знаете, что я вам скажу, Биньомин? Он сам там, наверху, тоже не любит голодных посланников…

Помятость стала понемногу с Довида сходить. Засверкало пенсне на его носу.

— Все они, Биньомин, постятся ради себя, ради собственной шкуры. Мы берем на себя этот грех ради пения, Биньомин. Вы же знаете историю «Троих, которые ели». Ну да, трое велели кушать на йомкипур, чтобы можно было справиться с эпидемией. Я, посланец общины, Довид Зильберман, велю вам, дети мои, кушать, чтобы мы могли пропеть наше пение…

На носу Довида сияло пенсне. Засияли щеки Довида, лоб Довида. Не сияла только больше белая ряса Довида на стене.

Во всяком случае, в моих глазах.

Уже тогда, как видно, в одиннадцать лет, действовало во мне мое «наоборот». Довид Зильберман велел нам есть, чтобы мы могли петь, — я, наоборот, из-за этого перестал уметь петь. Я уже тогда знал о том деревенском парнишке, который вдруг среди молящихся евреев в талесах свистнул изо всех сил. Я представил себе, как неотесанный мальчишка стоит в синагоге в своих тесных праздничных ботинках, держит молитвенник в руках вверх ногами, смотрит на нарисованные знаки зодиака на потолке, ковыряет у себя в носу и вдруг сует два пальца в рот. Белая борода раввина поворачивается к прихожанам: «Ну-ну, где он, тот цадик, который свистом своим распахнул небесные ставни, чтобы мольба наша была услышана?..» Небесные ставни я себе вообразил очень простыми: совсем как наша чердачная дверца, которую отец подпирает поленом, когда чердак проветривается. Я стоял сейчас у алтаря и точно так же смотрел вверх, на все двенадцать нарисованных на куполе знаков зодиака. Эта же история, думал я, но наоборот. Тот свист распахнул ставни, наш «свист» утром в гостинице ставни закрыл. Даже отскочило полено, и дверца замкнулась на семь замков. Я стоял у алтаря измученный. Как если бы пост был постом. Как если бы он длился несколько суток. Прихожане в талесах смотрели на нас с бледными сочувствующими лицами: ай-ай, бедняжки, даже капли воды в рот не брали и так себе разрывают горло… Спина Довида Зильбермана, упрятанная в рясу и покрытая талесом, казалась им согнувшейся под бременем возложенных на нее ими, прихожанами, бед и забот.

Я же видел наоборот. Через талес и рясу я видел багровый, в складках, затылок Довида. Будто от двух-трех кусочков еды и рюмки-другой водки затылок может так раздуться и раздаться.

Высокие свечи кругом на окнах чадили, горели желто-черными дрожащими языками, бросали вверх, к нарисованным знаком зодиака, завитушки дымных колец. Мне казалось, что дымки превращаются наверху в буквы. Из букв образуется там не слово «шадай»[30], но слово «шекер»[31]. «Ложь, ложь», — повторял

я себе все время, и это слово мало-помалу съедало мой красивый альт. Абрам подмигнул мне, чтобы я начал соло. Из моего рта вышло не пение и даже не ржание, как у Сашки Штранвасера, но какой-то вопль, какой-то свист, почти совсем как у того неотесанного деревенского парнишки. Довид Зильберман в бешенстве нагнулся к басу Биньомину: «Ну, с паршивцем кончено! Меер и Зейдл вместе!..» Чтобы Биньомин, значит, сейчас же передал Абраму, чтобы Абрам передал мне, что больше соло я не пою, что петь мое соло будут Меерл-телар и Зейдл чичилештский вместе. Не знаю, произошло ли что-нибудь после моего свиста с небесными ставнями. Что-то я не видел белой бороды раввина, обернувшейся к молящимся. Знаю только, что до самого вечера я простоял со стиснутыми губами и скривившимся лицом, словно и вправду носил ужасно тесные ботинки. Я даже, кажется, тоже несколько раз ковырнул у себя в носу. Недоставало только сил закинуть ботинки за плечи и уйти, убежать. Между нами говоря, такой силы мне потом, позже, много-много раз не хватало.

Вечером в доме старосты «Врат небесных» я видел, как Довид Зильберман и бас Биньомин, и даже Меерл, и Файвл, и Зейдл разговлялись. Все вокруг длинного стола пели. Каждый певчий в отдельности исполнил потом кое-что свое. Я сидел совсем один где-то у края стола. Сидел, как маленький дурачок среди больших умниц. Довид Зильберман смотрел на меня поверх пенсне и заступался за меня:

— Оставьте его. Вы же видите, у него меняется голосок. — Он подмигнул старосте. — У него уже не то на уме, у пацана. А когда появляется на уме не то, ну-ну, голосок начинает меняться…

10

И опять о моем дедушке Зусе, царство ему небесное.

В вагоне, по пути домой, я уже не сидел, как два месяца назад, простачком с вытаращенными глазами. Я был зрелый человек. Умудренный, повидавший свет, уже поездивший поездом и уже походивший пешком, прошедший через огонь и воду, за эти два месяца прямо, можно сказать, постаревший.

Бельцкие высокие фабричные трубы, крыши, телефонные столбы, потом поля, сады, дороги — все уходило, кружась, не вызывая во мне никакого удивления, я уже знал, что так это происходит — так вот это крутится…

На вагонную скамью сел рядом со мной дедушка Зуся. Сердце разрывалось, когда я глядел на него. Маленький, съежившийся, с

белыми губами и нерасчесанной грустной бородой. Сплошь закутанный в скорбь.

— Ну, спрашиваю тебя, разве делают так?

— Как?

— Ай, как ты проиграл…

— Не проиграл, дедушка, выиграл.

— Не понимаю, что ты имеешь в виду, внучек мой?

— Ведь это вранье, дедушка, обман.

— Знаю. Хорошо знаю, что все они жулики, воры, мошенники. Но оно-то чем виновато?

— Оно?

— Ну да, пение. Уродился с тем самым… во-во-во… и сам проиграл, как в карты…

— Нет, дедушка, может, это самое «во-во» в другом.

— В чем же?

— В стиснутых губах. В молчании…

— Не понимаю, что ты имеешь в виду, внучек мой.

Дедушка Зуся пожимал плечами, поднимал брови, пожевывал кончик своей бороды и вот так, ни с того ни с сего, на какой-то станции перебросил через плечо свой узелок и исчез. В вагон валом повалил народ. Бабки с корзинами кур. Вояжеры с полными чемоданами образцов. Попик с заплетенной косичкой на спине. Маклеры по зерну. Несколько солдат. Гимназисты. Какой-то слепой нищий…

У меня разрывается сердце, что дедушка Зуся не успел прочитать хоть одну из моих историй. Подойди ко мне, дедушка, и присядь рядом за стол. Помню, ты сажал меня на колени и говорил: «Слушай сюда…» Рашковские раввины придумали тебе прозвище «Зуся-босяк»… Ай-ай-ай… Сядь же, дедушка, возле меня и слушай сюда. Твой внучек, певец, почитает тебе. Послушай его пение…

Пер. Г. Перов.

В ДЕНЬ, КОГДА РАШКОВ СТАЛ СОВЕТСКИМ

Многое произошло в тот день.

Сам я тогда не был в Рашкове. Рашковцы рассказывают. А когда рашковцы рассказывают, то это как если бы ты видел все своими глазами, как если бы сам был при этом.

Портняжки тащили на плечах свои швейные машинки, говорили друг другу «мазлтов»[32]. Несли их, словно заранее между собой сговорились, вверх по улице, в магазин Шойхетмана с большими добротными ставнями, который уже давно пустовал, давно уже не был магазином. Выстроили там машинки одну за другой, как школьные парты в классе, начали строчить все вместе с веселым, задорным пением, распахнули настежь окна; пусть вся улица видит, что они, голодранцы с задворок, вонючие портняжки, как их тут величают, теперь сила: кончилось мое-твое, прощай вечная грызня из-за клиента, которому надо пошить пару штанов. Каким образом портняжки уже в первый день выяснили, что такого рода портновская работа сообща называется артель, — тут же появилась картонная вывеска на перильцах балкона у Шойхетмана, — трудно понять, но того, что знают портняжки, говорят, не знают и самые большие мудрецы.

Местечко ходило ходуном, люди целовались на улицах, чуть не приплясывая, как на веселом хмельном празднике. Но хмелели они не от рюмки вина, а от великой радости.

Матери вырядили своих детишек в синие субботние матроски, сами щеголяли в белых, туго накрахмаленных блузках. На лацканах у рашковцев расцвели красные ленточки — все жители от мала до велика с алыми ленточками на груди.

Лавки и лавочки стояли с полуоткрытыми дверьми: хочешь — пожалуйста, они открыты, а нет — закрыты; как будет угодно, как ветерок подует.

Мой друг детства, долговязый Лейб Кушнир с белесой кудрявой головой, пока суд да дело, пока Красная Армия не прибыла с той стороны Днестра, взял на себя ответственность за поддержание порядка в местечке, стал чем-то вроде начальника милиции. Перетянулся двумя ремнями — один вдоль, другой поперек.

«Штаб» свой он расположил внизу, на «гулянье», у самого двора раввина, в старой застекленной пристройке.

Здесь сошлись десять — пятнадцать ребят. Лейб давал команды, выкрикивал приказания, то и дело утирая рукавом вспотевшее лицо и зачесывая назад длинными пальцами буйную шевелюру, которая никак не лежала на положенном ей месте и

все время падала ему на глаза.

— Фридл, Нюка, Гриша, бегите к Гандельсману, узнайте, как идет у него торговля!

— Ионикэ, Боря, Арке, покрутитесь вокруг поповского двора, загляните вовнутрь!

— Мендл, Миша, возьмите на себя синагоги!

— Хаим, следи за мельником!

Мануфактурные магазины велено было открыть, но к каждому хозяину приставили двух представителей из рабочих. Хозяин мерил и резал, а деньги у покупателей брали представители. Покупателей было, конечно, не много; хозяевам пришлось по приказу представителей перемерить все, что у них было на полках, показать каждый кусок, и все до последнего сантиметра представители занесли в тетрадку, в общем произвели полную перепись.

Крупнейший мануфактурщик Рашкова Шойл Гандельсман — его магазин оценивали миллиона в три — стоял за прилавком у высоких, туго набитых полок, в нахлобученной на глаза шляпе, небритый, бледный, постаревший, и пытался объясниться высоким стилем с двумя представителями. Совершенно очевидно, говорил он, что новое время несется по стальным рельсам. Сам он, как известно, сын народа, человек труда, с мозолистыми руками. Революцию он всегда одобрял. Теперь он уходит с арены и готов вести с исторически закономерной пролетарской диктатурой мирные, гуманные переговоры. Двое представителей не очень-то ясно понимали, куда клонит Шойл. Чем меньше он будет говорить глупостей, сказали они ему, тем будет лучше.

Некоторые рашковцы в некотором роде стали сегодня именинниками. Их дети работали где-то в больших городах на фабриках, устраивали забастовки, даже отсиживали понемножку в тюрьмах, — словом, причиняли отцу с матерью немало горя, и теперь, когда наконец это горе окончилось, родители стояли, довольные, кружком посреди улицы, все, разумеется, с красными ленточками на распахнутых пиджаках, радовались происходящему и обсуждали это происходящее, наморщив лбы, но и с шутками, прибаутками, как рашковцы обсуждают самые серьезные и самые важные дела на свете.

Один сказал:

— Все! Слава богу, конец чесанию и расчесыванию!..

Какой-нибудь чужак ни за что бы не понял смысла этих слов. Но рашковцев не один год донимало это чесание и расчесывание. Несколько улиц так чесались, что люди сдирали с себя кожу. Последнее время разгулялась там такая злодейка чесотка, ну просто не было мочи. Как ни натирались бедняжки серной мазью,

никак не могли избавиться от этой напасти, обрушившейся на Рашков, как видно, и по причине пустых желудков, и из-за латаного-перелатаного тряпья, и из-за тесноты и грязи и других таких же причин, которые все вместе имеют одно-единственное название — бедность.

Второй сказал:

— Стойте, давайте-ка подсчитаем. У кого, например, сегодня поджилки трясутся? Шойл Гандельсман — раз. Хаим Ценер — два. Михл Симис — три. Те-те-те, всего-навсего три богача. Три буржуя. И то не ахти какие…

Третий сказал:

— Чего же мы тут стоим, уважаемые? Пойдемте на ташлих.

Ташлих — это такой обряд — выворачивать свой карманы, чтобы выкинуть в воду прошлогодние грехи. В прежнее время рашковцы шли в таких случаях раз в году, естественно, к Днестру. Румыны это им запретили, и последние годы люди ходили на магалу, к родничку, чинно выстраивались вокруг малюсенькой струйки — просто смех и горе. А сейчас уже можно было сказать: «Пойдемте на ташлих», подразумевая под этим: «Пойдемте к Днестру». И эти слова имели сейчас еще один смысл: «Пойдемте выворачивать карманы, вытряхивать наши грехи. Согрешили мы перед нашими детьми, работавшими в больших городах на фабриках, устраивавшими забастовки, сидевшими в тюрьмах, а мы, отцы и матери, отравляли им понемножку за это жизнь». И слова эти имели еще один смысл: «Надо идти к Днестру встречать Красную Армию. А кто же ее должен еще встречать первый, как не мы, отцы таких детей?..»

Вот как рашковцы разговаривают — намеками, недоговаривая: одно слово сказано, десять — в уме, в мыслях.

Полместечка стояло на берегу Днестра, вплотную один к другому, вдоль воды, совсем как на ташлих, и ждало. Откуда взялась у Рашкова уверенность думать, что Красная Армия возьмет и перейдет Днестр именно здесь, в Рашкове, — не вопрос: на то он и Рашков.

Но Красная Армия, конечно, Рашкова даже не видела. Танки с большими пятиконечными звездами, с красными трепетавшими флажками, с загорелыми, обветренными лицами красноармейцев в открытых люках двигались по широким шоссейным дорогам где-то между Бендерами и Кишиневом, между Сороками и Бельцами. Двигались среди тысяч людей, выстроившихся по обеим сторонам дороги и махавших платочками, забрасывавших танки цветами, выкрикивавших на все голоса приветствия Красной Армии, которая наконец-то пришла и наконец-то уже здесь.

В Рашков пришла только весть. Одна только весть. И эта весть была грозной. Ее было достаточно, чтобы за одну ночь, в одно, можно сказать, мгновение, удрали из местечка шеф поста со своими жандармами, весь пикет пограничников, примарь, перчептор и еще двое-трое таких же румынских начальников, которые всем своим задом сидели на Рашкове, и так им мягко сиделось, так неохота было слезать.

Одна эта весть была грозной настолько, что за один день сделалось то, что сделалось. Переменились старые привычки, исчезли старые, укоренившиеся предрассудки, люди почувствовали себя иначе.

Полместечка стояло у Днестра и ждало. На той стороне, в старом, советском Рашкове, начали мало-помалу тоже сходиться люди к Днестру. Одни люди стояли против других. Днестр тек посредине, равнодушный ко всему. Да и при чем тут река? Люди начали понемногу перекликаться, все громче, сильнее, словно из этих криков мог сделаться мост и по этому мосту люди могли побежать друг другу навстречу, сойтись как раз посредине, обняться и расцеловаться.

Лейб Кушнир, перетянутый двумя ремнями — один вдоль, другой поперек, — спустился к Днестру с четырьмя ребятами, и четверо ребят несли на четырех плечах лодку. Велели людям посторониться и лодку столкнули в воду. Лейб Кушнир и его четверо ребят с важными, серьезными лицами — они сейчас собирались сделать самое главное дело дня — вскочили в лодку и стали грести к той стороне.

Спустя полчаса лодка отчалила назад. Посередине, окруженный Лейбом Кушниром и четырьмя ребятами, сидел человек в белой вышитой рубахе, зеленой фуражке с четырехугольным козырьком, в синих галифе, заправленных в летние парусиновые сапоги. Это был председатель поселкового Совета на той стороне. Но рашковцы, которые испокон веку умели все преувеличивать, увидели в этом человеке не просто человека и даже не просто председателя. Они увидели перед собой «Советы», братьев, как наш бессарабский Рашков называл лежащий напротив советский Рашков.

В мгновение ока — Лейб Кушнир даже не успел заметить, как — вытащили человека в белой вышитой рубахе из лодки, подняли на руках и, подбрасывая его вверх и выкрикивая «ура», с берега всем скопом поднялись к местечку.

Это была первая большая демонстрация в Рашкове, первое большое «добро пожаловать», сказанное Рашковом новой жизни. Рашковцы, когда хотят, умеют. Как из-под земли вырос тут же красный флаг, появился даже узенький кусок кумача с белыми

буквами на нем: «Да здравствует освобожденный, объединенный советский Рашков!»

Все три с половиной рашковские улицы заполнились до отказа людьми. Негде было, как говорится, яблоку упасть. Председатель поселкового Совета с той стороны стоял наверху, на высоком балконе Хаима Давида Кейсермана, обеими руками держась за перила, и горячо говорил. И над всем местечком каждый раз, когда надо было и даже когда не было надо, гремели голоса всех звучаний: басовые, широкие — мужские, тоненькие, визгливые — женские, еще тоньше, нежные, певучие — детские. И все одновременно:

— Ура-а-а-а! У-ра-а-а-а!… …ра-а-а-а-а-а!

…Вот такие и еще другие такие же дела совершались в Рашкове в тот первый день, когда Рашков стал советским.

Я хочу сейчас рассказать о двух примирениях, двух великих примирениях, происшедших в тот день. Они произошли тихо, можно сказать, незаметно, в стороне. Но я хочу выдвинуть их на передний план. Ибо такие две постыдно жестокие ссоры ничто, кроме могилы, не могло бы прекратить и примирения никогда не состоялись бы, не случись всех этих событий в Рашкове.

Собственно, много произошло примирений. Сразу же, например, помирились рашковские еврейские парни и девушки с рашковскими нееврейскими парнями и девушками с двух молдавских окраин по обеим сторонам местечка. Никто им не велел это делать. Сам воздух сразу наполнился товариществом. Без никаких, сами собрались все вместе в рашковском «банке» — недостроенном помещении с заложенными кирпичом окнами, где местечко в кои-то веки раз «ставило театр», а ребята с окраин во время игры забрасывали жестяную крышу камнями. Стали сообща орудовать в «банке»: мазать, тереть, мыть, приносить стулья, убирать коврами, как молодая чета хлопочет в своей квартире, куда она въехала сразу же после свадьбы и где предстоит ей прожить весь свой век в согласии и мире.

Помирились между собой без конца враждовавшие братья, все годы препиравшиеся из-за наследства — хибарки какой-то, упаси боже.

Помирились между собой просто так поссорившиеся соседи, воевавшие невесть с каких пор, то и дело они мирились, и всякий раз на другой же день после мира все становилось по-старому: снова ссорились.

Но те два примирения, о которых я сейчас расскажу, несли в себе все, собрали в себя все раздоры и все примирения вместе, как читатель сейчас увидит.

Много лет назад в один и тот же день произошло в Рашкове большое несчастье: три девушки, все к тому же из «хороших» семейств, бежали из дому, и все три крестились.

Я был тогда совсем еще мал, но эту историю помню. Помню как сквозь сон, что творилось тогда в доме бабушки Енты и дедушки Зуси. Вдруг поднялся на улице страшный ветер, буря, вихрь — погибель, крыши срывало с халуп, вышибло у бабушки Енты в доме несколько стекол, дыры потом заткнули подушками, а бабушка Ента ходила, ломая руки, стеная, что это все из-за них, из-за тех трех девок-ублюдков, не посчитавшихся ни с богом, ни с отцом-матерью.

Говорили, что это случилось из-за любви, не дай боже; а кто говорил — из-за паскудных книг, которых они начитались; а другие считали, что было им просто в Рашкове ужасно скучно, прямо невмоготу — либо пойти на такое, либо наложить на себя руки.

Первая девушка — еще и поныне не знаю, кто она была. Ее родители то ли скончались с горя, то ли со стыда куда-то уехали из местечка, и никаких следов от всей семьи не осталось в Рашкове.

Вторая была дочь Мойше-Хаима, учителя. Через год-другой, когда я уже немножко подрос, приходил Мойше-Хаим в наш дом зимними вечерами, давал мне и меньшому братишке Исролику уроки. Он всегда сидел с нами за столом в пальто, упрятав голову в воротник. Мама ему подавала горячий стакан чая, а потом, бывало, со вздохом рассказывала отцу, что Мойше-Хаим, учитель, на глазах тает, становится, бедный, со дня на день все суше и меньше.

Он так и сидел, Мойше-Хаим, занимаясь с нами, очень маленький, ссохшийся, сморщенный, потерявшийся в своем толстом черном пальто, и все время ужасно вздыхал. Мы думали, он так вздыхает, глядя на нас, на своих двух учеников, из которых, как он видел, больших ученых не выйдет. Никогда он на нас не кричал, даже громкого слова не произносил. Говорил с нами тихо. У него были печальные глаза и кругленький втянутый ротик. Когда мой братик Исролик-байструк, бывало, просовывал руку под длинную бороду Мойше-Хаима, чесал там ее и даже пощипывал, Мойше-Хаим делал обычно вид, что ничего не замечает, и до наших родителей так никогда и не дошло, какой у них сыночек-сокровище…

Крещеная дочь Мойше-Хаима всю жизнь потом жила в деревне, никогда не казала в Рашков глаз. Она и сейчас еще в той деревне. Две ее девочки живут в Кишиневе, знают, что их мать из Рашкова. Когда я их иногда встречаю, они смотрят на меня

своими черными теплыми глазами не просто как на земляка, но как на близкого, родного.

Его самого, Мойше-Хаима, давно уже нет, конечно, в живых.

Третью девушку звали Гитл. После того, как это произошло, она себя назвала Евгенией — Женей. Гитл-Женя, дочь Шаи-шапочника. Она осталась жить в Рашкове. Ее любовью оказался рашковский молдаванин. Парень — золото, говорили, тихий, степенный, обходительный, каких мало. Он носит ее, говорили, на руках, ноги моет и ту воду пьет, так он ее любит. Они себе выстроили дом где-то поодаль, на «гулянье», против рашковской больницы. Красивый дом, с белой дранковой крышей, с большущей резной террасой. Когда рашковские парни и девчата выходили в субботу вечером гулять, они неизменно видели, как крещеная Гитл сидит на террасе с мужем, один ребенок у нее на руках, другой ребенок у него на руках, пьют чай из самоварчика и милуются друг с другом. Гитл, бывало, подзовет к себе парня и девушку, заговорит с ними по-еврейски, порасспросит об одних, о других, пригласит вверх, на террасу, и попотчует добрым стаканом вина и тарелкой сочных голубцов в виноградных листьях. Парень и девушка уходили от Гитл, не зная, хорошо они сделали, что поели голубцов Гитл, или нехорошо.

Кто был в то время самым несчастным человеком в Рашкове? Шая-шапочник. За семь дней, которые он отсидел шиве по Гитл, он поседел как лунь, одряхлел и ослаб, стал как глубокий старик. Он перестал говорить с людьми. Больше его не видели сидящим у окна с острой деревянной колодкой для кушм на коленях что-то мурлыкающим, подпевающим. В кушму, которую шил, он вкладывал всю свою душу. Мастерскую взял на себя его зять Иосл. Здоровяк с широченными плечами, грубым голосом и двумя большими «железными» руками, которые могли схватить телегу, поднять ее вверх и поставить, если надо, на крышу. При одном его имени трепетали самые отъявленные буяны Рашкова. Но против необузданной любви свояченицы Иосл был бессилен. Правда, кое-что, говорят, он все-таки попробовал сделать. В одну темную ночь мужу Гитл так наломали кости, что целый месяц он не мог стоять на ногах. Это, говорили, была работенка Иосла. Тогда между Гитл и ее родней пошла вражда. Начались страшные козни — друг другу пытались насолить где только могли. Гитл заколола кабана, встала за столиком на улице прямо напротив отцовской шапочной, в белом фартуке, а на столе лежали бруски сала, круги колбасы, торчала кабанья голова с двумя прокопченными, просмоленными ушами. У Шаи-шапочника заперли ставни, замкнули двери, все забились в темную спаленку, словно на местечко обрушился потоп или такой погром, какого

еще не бывало. День и ночь проклинали там собственную дочь и родную сестру такими проклятьями, какими не клянут самых заклятых врагов. Эта вражда длилась несколько лет. Со временем она понемножку утихла. Растаяла, как тает густой туман, оставляя после себя только нытье и ломоту в костях. И обе стороны, и все местечко свыклись с мыслью, что как оно есть, так оно, верно, и должно быть. В конце концов, бывают и похуже несчастья. Гитл, бывало, останавливала женщин на улице, говорила: «Сердце у меня разрывается, глядя на отца. Это же родная кровь!» Рассказывают даже, будто Гитл просила людей, чтобы они заходили к отцу вымаливать у него прощение, помирить их. Шая-шапочник гнал ее посланцев из дому, вымещая на них все свои злые сны. Потом, рассказывают, затаскивали иногда с улицы к шапочнику сынишку или дочурку Гитл, обцеловывали их с головы до ног, хорошенько при этом поплакав, набивали им карманы орехами и бубликами, а мальчишка или девочка даже не знали, что побывали в гостях у дедушки и бабушки, у дяди и тети. Большая вражда, как большая опухоль, начала потихоньку спадать. И дочь и отец — оба не хотели меж собой враждовать. Но вековая забитость и темнота не дали опухоли совсем рассосаться. Нужна была большая человечность, большое чудо, чтобы все стало на место, чтобы Гитл опять стала дочерью Шаи-шапочника, а Шая-шапочник стал опять отцом Гитл.

И это произошло в тот день.

Рашков был тогда слишком ошеломлен, день был слишком полон событий, чтобы кто-нибудь мог придать этому незначительному факту особую важность, чтобы кто-нибудь мог даже заметить, как Шая-шапочник перед вечером облачился в свой черный субботний сюртук, нацепил себе галстук под бороду, на белую-белую рубаху, зять Иосл вырядился в двубортный костюм, делавший его еще выше и шире, дочь Шаи Хая-Рейзе влезла в свое праздничное плюшевое платье, осыпала пудрой щеки, подмазала губы, и вот, так разряженные, все трое протолкнулись через уличную толпу и выбрались на «гулянье» — они шли мириться с Гитл.

У Гитл уже их, видимо, ждали. Потому что стол на террасе был накрыт чистой скатертью и уставлен бутылками вина, тарелками печений, блюдами со всевозможными яствами. У моих рашковцев, к сожалению, не было времени стоять поодаль и видеть лобзания и рыдания у Гитл на террасе, смотреть, как Шая-шапочник восседает впервые в жизни у дочери во главе стола с двумя уже подросшими внуками по обеим сторонам, как сидит с длинной седой бородой, немножко еще печальный, но уже и праздничный; как он ведет впервые в жизни беседу с дочкиным

мужем, зятем, а она, дочка, Гитл, стоит возле сестры и зятя с раскрасневшимися щеками и все еще влажными глазами, говорит, что никак уже не верила, что когда-нибудь будет вот так, что будут они все сидеть за одним столом. Дескать, смотрит и сама не знает, во сне это все или наяву.

В тот же вечер, можно даже сказать, в тот самый час, произошло в Рашкове второе примирение.

Примирение между раввином и столяром.

Рашковские раввины были известны во всей Бессарабии. Они разъезжали из местечка в местечко (раввины из рода в род — сыновья, зятья, внуки), каждый в своей округе, каждый со своим габе[33], и каждого звали одним и тем же именем — «рашковский».

Когда-то, годы назад, рашковский раввинский двор был двором по всем правилам: с несколькими флигелями, с длинными крашеными верандами, службами, широченными кухнями, серебряной посудой, пристройкой для выпечки мацы, молельней во дворе, просторной застекленной суке при переднем флигеле (там Лейб Кушнир и расположил свой «штаб»), с собольими раввинскими шапками и блистающими атласом кафтанами, с четырехсуточными свадьбами и помолвками, с субботними проводами, всеми раввинскими обрядами и обычаями и даже с высокой каменной оградой вокруг двора. В мое время ограда уже лежала разваленная. Веранды, давно не крашенные, рассохшиеся, скрипели под ногами. Некоторые флигеля стояли пустые, с выбитыми в дверях стеклами, с почерневшими, ободранными стенами, деревянные ступеньки высокого крыльца держались на честном слове. Во всех уголках двора чувствовались упадок и запустение.

Раввинские дела, по-видимому, последнее время шли неважно. После кончины ребе Залминкеле хозяином двора стал его старший сын Ицик-Меерл. Но Ицик-Меерла не любили. Злые языки говорили, что он небольшой грамотей, что он обкрадывает бога, что ни бог не боится его, ни он не боится бога.

Вообще мои рашковцы не очень-то уважали свой раввинский двор. Насмешники и хулители уверяли, что это дым, паутина, пыль в глаза — ничто. Что пожертвования, которые носили во двор, отнюдь не для господа бога, для жирных раввинских задниц. Рашковцы иногда любят крепкие выражения. Напяльте, уверяли они, на Авремеля-балагулу соболью круглую шапку — а балагула Авремель был еврей с красным лицом и раскоряченными ногами, который охотно барышничал краденными лошадьми, сам иногда уводил кобылку и вовсе не прочь был опрокинуть четвертушку, — напяльте, уверяли рашковцы, на

Авремеля-балагулу круглую шапку, и он вам будет больше ребе, больше раввин, чем все рашковские раввины вместе.

Кроме того, в последнее время случилось еще кое-что ускорившее падение раввинского двора. Самый младший из внуков, единственный сын ребе Нохемла Йосл, пошел по дурной дороге…

(Все имена во дворе, как повелось испокон, ласкательно уменьшались: Залминкеле, Ицек-Меерл. И как раз самого младшего внука, только его одного, называли просто и буднично — Йосл. Йосл, сын раввина.)

Йосл не пожелал носить пейсы, не захотел сидеть у деда в молельне и раскачиваться над геморами[34]. Видели его ходящим по улице без фуражки. Даже говорили, будто встретили его в лесу курящим в субботу папиросу. Йосл дружил с портновскими и сапожничьими подмастерьями, «играл театр», менял книги в библиотеке, даже будто бы как-то сказал отцу, ребе Нохемлу, что все это дело пустая выдумка, нету никакого бога на свете.

Одним словом, Йосл пошел по дурной дороге. Йосл, сын раввина, говорили в Рашкове, левый.

Но самая большая беда пришла потом. Йосл влюбился. И в кого Йосл, сын раввина, влюбился? В дочку столяра Ицика Манеса Эстерку!

Белый свет затмился. Рашков ходил ходуном. В раввинском дворе объявили пост, ходили на могилы предков, пытались предать нечестивого столяра с его распутной дочерью анафеме. Йосла раздели чуть ли не до исподнего, не выпускали из дому. Крики подымались выше небес. Летали над головами тарелки, серебряные вилки. В чинных раввинских покоях раздавались непристойные речи, звучали оплеухи. Зиму напролет двор кипел, как котел. Но не помогли никакие бури — в начале лета, сразу же после пасхи, Йосл и Эстерка тайно обвенчались.

Ицик Манес отдал молодоженам у себя в доме маленькую уютную спаленку с чистенькими вышитыми занавесками на окне и двумя-тремя полированными «мебелями» из орехового дерева, им самим, Ициком Манесом, изготовленными совсем-совсем по-особенному.

Когда молодая чета появлялась, бывало, на улице — Эстерка с двумя отливающими черным блеском косами на спине, Йосл со своей кудрявой головой, оба одного роста, рука об руку, оба влюбленные, — в Рашкове говорили, что прямо сердце поет, глядя на них, на такую красивую, славную парочку.

Но на раввинский двор навалилось большое горе. Большое горе и большое, зловещее молчание. По строптивому внуку, как по покойнику, отсидели шиве и обо всей этой грустной истории

перестали вспоминать. Двор потерял блеск, но не гонор. Все кончено с Йослом, кончено с этой историей. Никакого паршивца Йосла не было в раввинском роду, никакой паршивой истории с ним не произошло.

Так эта глухая, зловещая вражда тянулась несколько лет. Несколько лет — до того самого летнего рашковского дня.

Что происходило весь день на раввинском дворе, это особый разговор. Но к вечеру ребе Нохемл надел субботний атласный кафтан, праздничную круглую шапку поверх ермолки, взял в руки свою палку с костяной ручкой и вместе с габе Хаимом-Довидом обходным путем, по задворкам, собственной своей вельможной персоной отправился мириться со своим кумом, столяром Ициком Манесом.

Йосла и Эстерки, разумеется, не было дома. Ицик Манес услыхал, как кто-то возится у двери. Он вышел в сбитом на затылок картузе, с улыбкой.

— Ой-ёй-ёй, какой гость! Добро пожаловать! Осторожно ходите, ребе! Сюда, пожалуйста, сюда! Раздевайтесь, садитесь, поставьте здесь палку. Дети вот-вот придут. Ривка, подай бутылку с вишневкой. Сидите, мехутн[35], вот стул!

Ребе Нохемл сел как на раскаленные угли, глянул на габе, стоявшего в стороне и поддакивавшего бородкой, глянул на оживленного, разговорившегося столяришку и, кроме слов: «В самом деле», не в состоянии был ничего вымолвить. Жена столяра принесла бутылку вишневки, обтерла ее фартуком, поставила на стол. Ицик Манес вытащил пробку, наполнил рюмки. Ребе Нохемл понемножку пришел в себя.

— В самом деле, — сказал он, — если уж так нам было суждено, то, наверное, по воле божьей. И мы, сын мой, должны с этим смириться.

Ицик Манес протянул Нохемлу полную рюмку.

— Смириться-мириться. Зачем столько разговоров? Мирись не мирись — это есть, и лучше не надо. Чтоб я так жил. За ваше здоровье, мехутн!

— За ваше здоровье, сын мой! — пригубил ребе Нохемл.

Ицик Манес не сдавался:

— Э, нет! Хочу слышать золотое слово — «мехутн». Твердый же вы орешек, ребе, твердый орешек!..

Ребе Нохемл глянул на Хаим-Довида, габе, выпил залпом свою вишневку и сказал немного погодя Ицику:

— Ну, пусть будет в добрый час, мехутн!..

И Хаим-Довид, габе, подмахнул бородкой, дал согласие. Хорошо, чу́дно. Лучше не надо, как говорил столяр. Ей-богу!..

До поздней ночи горела у Гитл-Жени на террасе большущая керосиновая лампа — четырнадцатый номер. Все бутылки с вином, чтобы не сглазить, выпиты. В первый раз после стольких лет Шая-шапочник был, рассказывают, порядком-таки на взводе. Зять с дочкой вели его домой под руки, и по пути он то и дело останавливался, обращался ко всем встречным:

— Камень у меня свалился с души. Слышите, что я вам говорю? Вот такой камень с души!..

При всем том, что у Ицика Манеса пили одну вишневку, Ицик Манес тоже был изрядно под мухой. Он провожал Нохемла до раввинского двора, до самой веранды, и каждый раз требовал от него только одного:

— Хочу слышать от вас золотое слово — «мехутн». Так что, ребе, вы больше не будете, а, ребе?

Ребе Нохемл, говорят, без конца твердил:

— В самом деле, к чему это все? Ну хорошо, кончено. Больше не буду, мехутн, больше не буду!

До поздней ночи Рашков бодрствовал. На всех крылечках горели фонари, лампы. Все, и стар и мал, гуляли, смеялись, разговаривали громко, как никогда.

Не было больше ни пограничников, ни жандармов, чтобы вваливаться с винтовками наперевес, разгонять людей по домам, наводить страх.

На улице около «банка», получившего отныне новое название — «клуб», парни и девушки из местечка и с обеих его окраин отмечали пением и танцами союз, заключенный между ними сегодня. Пели с такой душой и плясали с таким пылом, что голоса и пыль поднимались выше рашковских крыш.

Лейб Кушнир созвал своих ребят в штаб, чтобы дать им последние команды дня:

— Фридл, Нюка, Гриша, ступайте домой спать. Завтра явиться в шесть утра. Как часы!.. Ионике, Боря, Арке, сделайте последний обход… Мендл, Миша, вы остаетесь дежурить до утра!..

Первый советский день в Рашкове.

Пер. Г. Перов.

БОЖЬЯ КАРА

Рассказы о его делах в гетто напомнили мне вдруг французскую новеллу.

Даже не сами его дела, а расплата за них.

Толком о его прегрешениях в гетто никто мне не мог ничего рассказать. Намекали, шушукались… Земляки мои, которые были в Транснистрии вместе с ним, сами ничего не видели, но слышать слышали. С уверенностью они рассказывали только, как он наказан был. «Божья кара», — твердили они. Мои земляки — люди жалостливые. Возможно, в их глазах наказание искупило грех. А возможно, кто знает, никакого греха за ним и не водилось? Одна только кара. Среди всех бедствий того времени на человека могло свалиться и такое бедствие, и такая кара. Кто знает?..

Но давайте сначала перескажем в нескольких словах французскую новеллу, которая мне припомнилась.

Автор новеллы замечает в парижской аптеке очень бедную, очень одинокую и донельзя отчаявшуюся девушку. Все это он определяет по ее лицу, одежде, по уныло погасшим глазам. В девушке он узнает свое собственное состояние. В окошке аптеки они просят одни и те же успокоительные пилюли. Автор следует за девушкой, хочет с ней поговорить. Но теряет ее в уличной толпе. Она сворачивает в один переулок, он в другой.

Назавтра в утренних газетах автор узнает лицо девушки. Рядом с ее фотографией портрет молодой американской туристки. Если бы не эта богатая американка, автор, наверно, никогда не узнал бы, что случилось с девушкой из аптеки, куда она навсегда исчезла.

Автор описывает во всех подробностях, как его героиня поднимается по ступеням собора Парижской богоматери. Он, автор, принял таблетки, чтобы успокоиться, она — чтобы придать себе смелости. Поднявшись на верхнюю площадку собора, она медлит несколько мгновений, перегнувшись через поручни, и… бросается в пропасть. В этот момент внизу у входа в собор шумно собиралась группа богатых, веселых, благочестивых американских туристок. Тело самоубийцы обрушивается на одну из них.

Смысл этого происшествия автор не истолковывает прямо. Его можно извлечь между строк этого плотно написанного рассказа-притчи: фатальный случай не просто фатальный случай. Это род высшей кары, роковой расплаты. (Иначе это происшествие убедительнее было бы перенести на Эйфелеву башню, чем в собор.) Здесь беззаботность одних наказана за

унижение других, пресыщенная веселость — за последнюю меру отчаяния, показная набожность за «богоотступничество».

Человек, о котором мне эта новелла напомнила, тоже мой земляк. Я помню его еще в местечке, ребенком. У дома бегал замурзанный мальчонка в латаных штанишках, со слишком большой головой на узких плечиках. Он, наверно, ходил в хедер, или учился в школе, или даже закончил потом несколько классов гимназии. Его родители были тихими, учтивыми людьми — как говорится, среднего достатка. Как мог этот парень потом, во время Транснистрии, имея жену и ребенка и никогда из местечка не выезжая (где ему было «испортиться»?), изменить своему местечковому достоинству, откуда взялись все эти толки, которые уже в гетто, и еще пуще потом, после Транснистрии, распространились о нем, — ума не приложу. Но повторяю: может, и впрямь произошло то, о чем шушукались, всякое тогда случалось, и, может, среди всех бедствий, среди всех несчастий в то кровавое время свалилась на человека и такая напасть, и такое горе. Кто знает?

Не подумайте, я вовсе не собираюсь оправдывать моего земляка, потому что он мой земляк. И не склонен делать трагедию еще трагичнее. Она достаточно страшна и без этого.

Но хочу уточнить свое «всякое случалось»…

Как известно, в Бессарабии «чисто от евреев» стало быстро. Румыны — тогдашние румынские фашисты, разумеется — всех оставшихся евреев, тех, кто не эвакуировался, и тех, которые во время эвакуации были схвачены на дорогах, изгнали из Бессарабии. Всех и вся. Старых и малых. Из всех городов и местечек. Гнали через Днестр в гетто и лагеря между Днестром и Бугом, в Транснистрию, как они эту местность называли.

Румыны не пытали своих жертв, не сжигали в газовых камерах. Они убивали не спеша, без лишней суеты. Конвоиры, жандармы, солдаты могли делать с гонимыми, что им заблагорассудится: старикам и больным, которые отставали, еле плелись в хвосте, «облегчали» мучения, их оставляли на вечный отдых позади колонны. Тех, кто помоложе, но осмелился произнести словечко наперекор, да к тому же старался подняться на ноги, заставляли «закрыть рот», «успокоиться». И еще утонченнее, еще остроумнее: в нескольких десятках миль от Транснистрии гоняли людей месяцами туда и обратно, по тем же запутанным дорогам, чтобы как можно больше старых и больных остались позади и чтобы как можно больше молодых попробовали стать на ноги.

И среди гонимых нашлось несколько субъектов, отыскавших общий язык с гонителями. Они, якобы по приказу, отставали от

колонны, чтобы похоронить покойников, а сами вытряхивали у мертвых карманы, сдирали перстни с рук; если на умершем был приличный пиджак, зарывали нагишом. Награбленным они делились с палачами. Сами гонимые этих типов прозвали «погребальной командой». По рассказам, могильщики ничем не гнушались, вырывали золотые зубы из окоченевших ртов. О нашем персонаже — моем земляке втихомолку поговаривали в гетто, что и он состоял в команде гробовщиков-мародеров.

Прямых свидетелей не было. Достаточно было одному шепнуть, чтобы этот шепоток прошелестел по всему гетто, распространился среди моих земляков. А мои земляки, по природе, отчаянные краснобаи, язык у них без костей. Из струйки дыма выпрядут нитку, из тонкой нитки смотают клубочек, из клубочка — клубок в три обхвата.

Земляки мои в гетто и смотреть перестали в сторону нашего субъекта, обходили его, как прокаженного, хотя этот человек, его жена и дети пухли от голода вместе со всеми, страдали от нарывов и язв, как и все прочие, исхудали, как палки, изо дня в день ждали встречи с ангелом смерти, как ждал этого каждый в гетто.

Мои земляки, как было отмечено выше, люди жалостливые. Они ютились в тесных лачугах гетто по три или четыре семьи в одной каморке, перевязывали друг другу израненные ноги, из единственного на всех пузырька смазывали исполосованные спины, при малейшем шорохе снаружи кидались к окошку, и все же, когда заходила речь о «погребальной команде», кое-кто старался наскрести и для этого отребья некоторое оправдание.

Один из моих соседей как-то проронил:

— Кто знает? Может, это все-таки не так?

— Как не так? — накинулись на него.

— Может, не так страшен черт, как его малюют?

— А каков же он, твой черт, скажи на милость!

— Да разве я знаю? Может, у «команды» был свой умысел, свой расчет, а? Вы же видите, какие взяточники — наши палачи, может, погребальщики искали, чем подкупить конвоиров, чтобы поменьше народу расстреливали. Откуда нам знать? В конце концов, покойники и есть покойники. Что им до того, как их зарыли — с кошельком или без кошелька? С зубами во рту или без зубов во рту?

Его слова вызвали в хибарке целую бурю. На моего соседа накинулись с бранью, с кулаками, чуть не разорвали его на части.

— Пойди прополоскай сейчас же свой непотребный рот, чтобы такого дерьма не изрыгал. А то мы сами тебе его прополощем.

— Тише, вы… Что я такого особенного сказал? — Бедняга совсем растерялся, не мог понять, чем не потрафили его слова.

Мои соседи, мои рашковцы к тому же и философы. Они любят повертеть пальцем у лба, допытываясь до сути дела, и, случается, доходят до истины. Как-то один из рашковцев вроде бы спросил:

— Скажите, пожалуйста… Но почему среди нас должны быть только самые лучшие? Избранные мы, что ли?

— А почему среди нас должны быть плохие? — ответили ему вопросом на вопрос.

— Имейте терпение. Вы понимаете, если среди хороших попадаются плохие, это значит, что среди плохих есть и хорошие.

— Что же из этого следует?

— Из этого следует, что мир не уничтожат.

— Ну и вывод — курам на смех! Такое лишь на пустой желудок сморозишь…

— Да постойте вы! Из этого следует, что настанет время, когда не надо будет говорить «мы» и не надо будет говорить «они». Все ясно — или вы хорошие, или вы плохие.

— Знаете что, ложитесь-ка спать и поднимитесь утром не с левой, а с правой ноги. Из ваших «следует» и «следует» в голове каша. «Следует-шмедует…» — В хмурой лачужке даже смех раздался. Рашковского философа хорошенько разделали под орех…

Короче говоря, шепоток в гетто насчет моего земляка со временем затих. Что толку от пересудов? Было — не было… Никому не дано ни измерить, ни взвесить. Так продолжалось до того дня, пока немцам не пришлось убираться восвояси. Румыны ринулись вслед за ними, задрав пятки, — бросили все награбленное и бегом из Транснистрии… До того прекрасного дня, когда наш молодчик с женой и ребенком тоже оставил гетто и побежал вдогонку за румынами. Теперь никаких доказательств его вины не требовалось. Ясно как день. Своим бегством он сам признался в совершенных «доблестях». Тьфу, тьфу. Пусть земля проглотит его и выплюнет, где бы он ни скрывался, где бы ни находился.

Какое, однако, отношение имеет наша история к французской новелле? Погодите немного, мы и до этого доберемся. История еще не закончена. Наш молодчик с женой и ребенком уехал в Бухарест… Страх — вовсе не пустая напасть и не мелкое наказание. Тем более когда чуть ли не весь мир перестал страшиться. Представим себе, что этот тип из-за своих делишек, несомненно, испытывал страх. Да и сама по себе дурная молва могла вселить в него страх. Поди докажи, что ты не верблюд.

Поди докажи, что мы не то, за что тебя принимают. Какой из страхов мучительнее, трудно определить. Да если еще учесть, что наш персонаж — уроженец Рашкова. Надо сказать, что особой отвагой рашковцы никогда не отличались. Так или иначе, в Бухаресте у нашего молодчика особенно поджилки тряслись. Немца все гонят и гонят. Вот уже и Кишинев освобожден. И вот уже гитлеровские палачи из Бухареста драпают. По обе стороны улиц — народу тьма-тьмущая. Машут платками, забрасывают победителей цветами. Наши проезжают через Бухарест на танках с красными звездами. Город велик — целое море. Наш молодчик плывет но этому морю со своей семьей в полном одиночестве. И не тонет, и ни к какому берегу не прибивается. Кому сейчас до него дело? У каждого свое, все оглушены, ошарашены. К кому обращаться за помощью и кому нужен? По его разумению, это скорее хорошо, чем плохо. Сколько, однако, такое положение может продержаться? А страх между тем в нашем молодчике растет, зреет. От человека уже ничего не осталось. Только тень. Только страх. И жена рядом с ним каждый день уменьшается в росте, тает. А дочка их, уже не маленькая девочка, не может понять, почему у отца такой отсутствующий вид, почему он не сразу отвечает, когда к нему обращаются, почему глаза его то и дело настороженно, испуганно вскидываются: что? где?..

И вот как-то они всей семьей, бродя по улицам Бухареста, останавливаются у витрины многоэтажного универсального магазина. Задержались они, собственно, ради дочки. Сами-то, мой земляк и его жена, стоят, смотрят и, пожалуй, не видят, на что смотрят. Вдруг наверху, на самом верхнем этаже магазина, с оглушительным треском разбивается стекло. Все трое задирают головы, и тут вместе с огромными осколками стекла наземь рушится человек и сбивает с ног жену моего персонажа. Женщина упала замертво. Мужчину с ребенком отвезли в больницу. Девочке осколки поранили руки, у отца было окровавлено лицо.

Несколько месяцев спустя — война была совсем на исходе — мой герой вернулся с ребенком в Кишинев. Будь что будет… Пусть земляки делают с ним что угодно. Он выглядел на десять лет старше своего возраста, сгорбленный, кожа да кости, пиджак топорщился на плечах. На лбу змеился шрам.

А земляки мои, которые были с ним вместе в гетто, нигде о нем и не заикнулись. Некоторые из них по возвращении обосновались в своем местечке, другие поселились в Кишиневе. Некоторые из них утверждали, что случай в Бухаресте у витрины — не просто случай, который может произойти с каждым. Это наказание, тайная, судьбой определенная кара — «божья кара». Самое точное доказательство, что говорили и

думали о нем справедливо. С другой стороны, более жестокого возмездия не изобретешь. Хватит с него. Мои земляки, как упоминалось выше, люди отзывчивые… С ним даже начали встречаться, порой проведывали его, иногда приглашали в гости. Он устроился на службу, работал исправно, добросовестно. Со своими обязанностями вполне освоился, стал человек как человек. Дочка его ходила в школу, превратилась в рослую симпатичную девушку. Вскоре он, кажется, женился.

Вспоминаю, что мой отец, тоже, конечно, рашковский, не отрицал то, что все его земляки говорили об этом человеке, но, однако же, рассуждал немного по-иному. Надо сказать, что мой старик отец за всю свою жизнь и мухи не обидел — самый тихий и уступчивый человек на свете — это, возможно, был его единственный недостаток. Но когда заходила речь о том молодчике и обо всем случившемся с ним, мой отец вспыхивал, губы у него белели:

— Божья кара или не божья кара, кто знает, — пустой разговор. Но наказание свершилось. Жаль только, что пострадала женщина. Почему ей, бедняжке, пришлось искупать чужие грехи?

Я долго колебался, писать ли мне рассказ об этом моем земляке. Рассказ, казалось мне, мог бы усугубить наказание. Ведь об его грехах никто мне определенно ни слова не сказал. Не исключено, что грехов-то и вообще не было. Было, может, только наказание.

Теперь, много лет спустя, мне припомнилась та французская новелла. О расплате, конечно, и разговора нет. Должно остаться лишь напоминание… Так уж устроены люди: не мешает им напомнить…

Пер. Е. Аксельрод.

БАСЯ, ДОЧЬ ИСААКА, И ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

Не знаю, может быть, я вздремнул, и это произошло между сном и явью. Но чего ради надо мне это видение мое оправдывать? Перед кем оправдывать?

Вдруг я увидел, что напротив меня в вагонном купе сидит тетя Бася, царство ей небесное. Я даже узнал черный платок с завязанными спереди, у шеи, концами; этот черный платок она носила на голове всю свою жизнь, во всяком случае, все те годы, что я ее еще застал.

Еще платок как платок. Та же морщинистость на ее лице; десятки морщин и морщиночек вокруг глаз, на лбу, по обеим щекам, которые мы с братиком, сидя однажды у нее на коленях, решили пересчитать. Она смеялась: «Считайте, детки, считайте». Мы водили по ее лицу своими пальчиками, каждый раз сбивались со счета, каждый раз начинали сначала: одна, две… десять… двадцать… Считали, и считали, и считали, а пересчитать никак не могли.

И те же самые синие и, как источник в глубоком колодце, ясные и блестящие тети Басины глаза. И то же самое подергивание острым подбородком при разговоре, и тот же округлый мимолетный жест, которым тетя Бася вытирала уголки рта, остановившись на миг перехватить дыхание, обдумать что-то посреди разговора.

Господи, боже мой. На станции в поезде Кишинев — Москва откатилась в сторону дверь, и проводница впустила в мое купе маленькую закутанную женщину с кучей узелков и кошелок. Женщина развернула свою толстую шаль, сняла пальто, расставила узелки и кошелки под сиденьем и уселась у окна, села не широко, ужавшись, как бы экономя место, локоточек пристроила на вагонном столике и стала смотреть, как уносятся родные заснеженные пустыри, дома, деревья. И как-то вдруг, приглядываюсь получше — на месте этой чужой новой пассажирки сидит, опершись локтем о столик, тетя Бася, царство ей небесное.

Что это такое? Что? В точности тетя Бася. Облик. Даже напевное воркование, просто так, для себя. Ясные и глубокие, небесно-синие колодезные глаза. Вытканные морщины и морщинки на лице: каждая морщинка — трудный час, тяжелая неделя, боль, стон; десятки морщин и морщинок, хоть становись обратно ребенком, садись тете Басе на руки, тыкай пальчиком ее

лицо, считай, и считай, и считай, а никак их, ну никак не пересчитаешь.

Нет, это не почудилось, я вижу это не во сне, я еще, кажется, вовсе не сплю. Может, эта женщина из наших краев, как и тетя Бася, из бессарабского местечка на берегу Днестра, где евреи перенимают облик молдаван; из поколения в поколение одна черная земля под ногами, одно пылающее солнце над головой, из поколения в поколение лицом к лицу друг с другом; так овечьи стада Лавана стали рожать ягнят только крапчатых, только пятнистых, сплошные пятнышки, стоя изо дня в день лицом к лицу с резными пятнистыми свирелями, развешанными Иаковом у родника, куда стада дважды в день приходили на водопой.

А может, это просто мое больное воображение, мне показывают одно, а я вижу другое? Или, может, просто я хочу так видеть? Почему же именно тетя Бася? Я уже столько лет о ней толком даже и не вспоминал.

— Тетя… — У меня чуть не вырвалось: «тетя Бася». — Скажите, пожалуйста, куда это вы, к примеру, едете? Домой или куда-то в гости?

Женщину напротив меня ничуть не удивил мой свойский тон. Она без всяких штук, с простой улыбкой на губах, тоже так же по-свойски сразу ответила:

— Домой я еду, мой друг. В гостях я уже была. Больше двух месяцев. У дочки, у зятя, у внуков, дай им всем бог здоровья… — и улыбка на ее губах — точно тети Басина улыбка, чтоб хоть чего-то ей недоставало, поклясться могу.

— А дом ваш, тетя, далеко?

— Ну, что значит, далеко? За Москвой. Три часа езды. Про город Переславль слыхали? Не такой уж большой, но город. Наша деревня называется Словеново, прямо сразу возле Переславля. О переславском озере Плещееве вы конечно же слыхали? Неужели нет? Как так? Знаменитое озеро. Кто только не приезжает туда летом! Море, рай, а не озеро. Не знать про озеро Плещеево, как так?.. — вкусно-напевная разговорчивость, и привычка облизывать губы во время разговора, и вытирать уголки рта таким мягким округлым жестом в паузах — точно тети Басины, чтоб хоть чего-то недоставало, поклясться могу.

— И как же зовут вас, тетя, если не секрет?

— Секрет? Чего это вдруг секрет? Катя я. Екатерина. А зовут меня Екатерина Ивановна.

Интересное дело: Бася Ицика, Бася, дочь Исаака — Екатерина Ивановна. Ничего себе расстояньице: Рашков, Днестр, бессарабские местечки и — Переславль, Словеново, озеро Плещеево. Я встряхнулся, постепенно очухался, и пожилая

женщина напротив меня в вагонном купе, новая пассажирка Екатерина Ивановна, начала понемногу становиться только собой, только Екатериной Ивановной. Тетя Бася осталась сидеть где-то за ней, заслоненная, скрытая в тени, и только время от времени высовывала голову из-за плеча Екатерины Ивановны, то с одной стороны, из-за левого плеча, то с другой стороны, из-за правого плеча, каждый раз даже с высунутым языком, как будто играла со мной в ловитки. Я задавал пассажирке напротив назойливые вопросы, навязчиво лез ей в душу. А ее это не смущало. Наоборот: на каждый мой короткий вопрос она отвечала долгой говорливостью.

Но чем больше она говорила и чем больше рассказывала, тем больше и чаще становилась она тетей Басей.

Вот сидит напротив меня Екатерина Ивановна, а за ней, у ее плеча, высовывает свою голову тетя Бася, и вот сидит уже напротив меня тетя Бася, а за ней, у ее плеча, высовывает свою голову Екатерина Ивановна. Бася, дочь Исаака, из маленького местечка Рашков на берегу Днестра, и Екатерина Ивановна из деревни Словеново возле Переславля, у озера Плещеево, слились воедино, стали одной и той же судьбой, одной и той же женщиной, одной и той же матерью, одним горем и одной силой. Оба черных вдовьих платка, которыми и тетя Бася, и Екатерина Ивановна всю жизнь прикрывали свои волосы, спрялись вместе, соткались, связались по всем четырем углам четырьмя узлами, заколыхались надо мной в тесном купе, расправились над моей головой, как черный балдахин. Морщины и морщинки, не пересчитать, на обоих тетиных лицах свились, сплелись одна за другой, морщинка за морщинкой, и длинная нить без конца и без края, как волшебная лента, потянулась сквозь оконное стекло наружу, опутала лес и поле, город и деревню. Поезд мчался и мчался, а нить морщин все тянулась и тянулась наружу, в мир, требовала, напоминала, предостерегала, сближала и роднила…

Екатерина Ивановна говорила, рассказывала, щедро выкладывала мне на ладонь всю свою жизнь. А я, на своей другой ладони, взвешивал тети Басину жизнь. Обе ладони сочетались. Одна другую не перевешивала. Обе жизни были похожи одна на другую, как две капли. Две капли крови. Две капли росы.

На одной ладони моей — рашковские сутульте домишки, крылечки, занавесочки, вьющиеся дымки от огоньков на припечках прямо к небу. На другой ладони — деревянные избы с резными карнизами вкруг стрешни, с наружными ставеньками на стенах у окон, с теми же самыми подрагивающими замысловатыми дымками над крышами.

На обеих ладонях — две красавицы. Бася — красивейшая

среди Басиных подруг, Катя — красивейшая среди Катиных подруг.

Я не взвешиваю на чашах моих весов особых, необыкновенных подвигов. Тетю Басю потом, когда она после войны осталась вдовой с тремя детьми-сиротами, с тремя мальчиками, стали называть в местечке Бася-молочница. Я помню ее уже иссохшейся, сморщенной, не молодой и не красивой. Ее строченая засаленная телогрейка вечно пахла коровьим навозом и кислым молоком. Меня и моего братика больше тянула к ней ее черная корова с красивыми белыми пятнами на лбу и на ногах, которую добрые люди, сложившись все вместе, привели ей с ярмарки, привели, говорили у нас в доме, и из большой жалости, и, немного, со стыда, и, наверно, как благодарственную жертву за то, что они с войны да вернулись, а может, не ходили на войну вовсе. На подоконниках в ее низеньком домике всегда стояли горшочки со сметаной. В сенях висели на крюках мокрые торбочки творога. Хоть была тетя Бася всегда забегана и замучена, она всегда усаживала нас себе на колени, обцеловывала и со слезами на глазах оправдывалась перед нами: «Не обижайтесь, деточки, я и сиротки мои пробуем разве хоть изредка это все? Это не наше. Это — для чужих чертей это…» И усаживала нас за миску белого водянистого борща: «Это все, что мы имеем, милостью людской, от этой коровы и от всего этого шума. Это вот и кусочек мамалыги в придачу. Кушайте, деточки, кушайте на здоровье!..» В доме у нас про тетю Басю говорили: «Посмотри только, что с нее стало… Кожа да кости и сплошные морщины. Упрямый таки хуже вора. А упрямую женщину вообще сравнить не с чем. Каких вдовцов ей уже только не предлагали! Люди с доходом, с ремеслом в руках, с толстыми кошельками. Она — нет и нет! Она хочет вечно носить черный платок на голове. Так носи его себе на здоровье, если тебе так нравится!..»

Трое сирот тети Басиных кое-как подросли, кое-как выросли без отца. Но это тоже произошло наоборот, не как у всех людей. Чем больше мальчики росли, тем больше росли принесенные ими беды. Все трое, один за другим, без прости-прощай, ушли из дома. Где-то в больших городах, рассказывали, стали они, каждый на свой лад, «босяками». Ходили об этом разные слухи. Что ни день, становилась тетя Бася, царство ей небесное, меньше, сгорбленней. Меня тогда уже давно в местечке не было. Ни она, тетя Бася, и ни они, три ее сына, к моему стыду, не занимали меня совершенно. А вскоре началась вторая мировая война…

Я взвешиваю на одной ладони тети Басино житье-бытье, а пассажирка напротив меня в вагонном купе, Екатерина Ивановна, выкладывает мне на другую ладонь свое житье-бытье:

— Сколько мне было? Представьте — всего двадцать четыре года. Я выглядела свежей, молодой и здоровой, никто мне даже и этих лет не давал. Хоть оставил он меня тогда дома уже с тремя детишками. Три девочки, одна — за ручку, другая — на ручках, а третья еще в животе. Не могу сказать, что мы остались на бобах, что мы, боже упаси, голодали. В нашем колхозе в Словеново он был трактористом. В доме оставалось два мешка муки, полный погреб картошки, поросенок в хлеву. И немного денег в узелке тоже. Он был ко мне такой добрый! Мы так любили друг друга! Слова «любовь», представьте себе, мы никогда друг от друга не слышали. Но такой любви я и до тех пор ни у кого не видывала, и по сей день тоже не видала ни у кого. Я, как родила, само собой, долго дома не сидела. Вы, верно, знаете, тогда еще на фермах электрических доилок не было. Среднюю дочку я оставляла дома на старшую, а маленькую брала на руки и каждое утро в четыре уходила на ферму. Дите лежало в сторонке, обвязанное подушкой, укало, гукало, а я трижды в день выдаивала двадцать коров, кормила, поила, чистила их, выметала навоз из-под их ног. Белых халатов доярки тогда еще не носили. Ватник мой, платье, рубаха на теле, да и само тело вечно пахли молоком и коровьим навозом. В тех нескольких письмах, что я получила с фронта, он мне все повторял: «Катя, душа моя, я помираю с тоски по твоему запаху. Запах твоего тела снится мне по ночам». Тридцать пять лет, друг мой, проработала я без него на ферме. До позапрошлого года, когда вышла на пенсию. Без него вытянула трех наших дочек. Вот так, как вы сейчас меня видите: худая и маленькая, и лицо все в морщинах.

Человек, говорят, может за одну ночь поседеть от горя. Со мной это случилось не как у всех. В ту ночь, когда мне принесли похоронку, я не поседела. Да вот только утром люди, полный дом людей, не узнали меня. Мне было двадцать четыре года. За одну ночь все лицо мое изъелось морщинами. Как у старушки. Вот так, как вы видите меня сейчас, друг мой.

Люди, родные люди, говорили мне потом: «Ты не одна. Таких, как ты, сейчас десятки тысяч». А я им отвечала: «Разве станет от этого боль меньше? Наоборот: она становится в десятки тысяч раз больше». Позже они опять уговаривали: «Война убила твоего мужа, хочешь, чтоб она тебя тоже убила?» «Мне, — отвечаю, — уж ничто не повредит. Да, — говорю, — я хочу вечно быть с ним, с убитым мужем моим». «Что-то у тебя не все в порядке, — говорят. — Женщина убивается по мужу год, два года, ты же носишь черный платок на голове, прямо будто это тебе мило, будто знамя носишь. Оглянись, Катя. Жизнь идет дальше. Другие давно уже замуж повыходили. Тебе ведь жуть, как тяжко.

Тебе ведь еще девочек в люди вывести надо. Да отыщется кто-нибудь и для тебя тоже. Вместе вам легче будет. Снова будешь вести дом как у людей. У тебя снова будет друг. Любимый человек рядом…» «Молчите, — говорю, — не оскверняйте памяти павших. За что это им такое? Они у нас такого не заслужили…» И вот, друг мой, так потихоньку прошло почти сорок лет. Дети мои — дочки, зятья, внуки — они одни понимают меня. Они не говорят, что я сумасшедшая. Наоборот: про себя даже гордятся этим. Они даже приносят мне среди других подарков такой же новый платок. Вечная память, говорят они, об их отце и об их дедушке…

Вот, собственно говоря, и вся новелла. В поезде Кишинев — Москва на какой-то станции подсела ко мне в купе пассажирка Екатерина Ивановна и была она, как две капли, похожа на тетю Басю, царство ей небесное. Но в конце новеллы хочу я сказать еще несколько слов о поэзии и о зле.

Потрясенный своим видением, измученный, как после сеанса гипноза, поэт откинул голову к вагонной стенке, прикрыл глаза, долгие минуты сидел так и думал о грядущем, о далеких-далеких днях мира.

Злодеи мечтают о конце мира. Чтобы мир после конца его был таким же, как до начала: пустотой и хаосом.

Поэт видел грядущее как пророк Исайя: наполненным солнцем, добротой, любовью, близостью и братством.

Верьте пророку и поэту.

Пер. Ю. Цаленко.

РАЗНЫЕ РАССКАЗЫ И НОВЕЛЛЫ

В ТО ЛЕТО, КОГДА МНЕ БЫЛО ЕЩЕ ТОЛЬКО СОРОК ВОСЕМЬ

1

Ох и хороший же это был месяц!

Широко раздутыми ноздрями вдыхал я в себя свежий воздух и чуть не дрыгал ногами, как шолом-алейхемовский теленок перед пасхой на согретой солнцем лужайке после тяжелой зимы взаперти, в тесном душном стойле. Я не хочу делать других сравнений. За этим слабым сравнением и так уже тянется полное горечи и тоски: мне хорошо, я сирота.

Вокруг меня, на этой стороне Днестра, молдавское село Косоуцы. Напротив, на той стороне, — городок Ямполь. Днестр плещет посередке, мудро сморщившись, по-стариковски задумчиво, время от времени волнуется вдруг, сердится, в конце села загибается коленом, исчезает с глаз — ногу от колена и ниже, опухшие-размокшие пальцы отсюда уже не видать.

Там, за селом, где-то в поле недалеко от леса, говорят косоуцкие жители, есть холмик, который называется «Мовилэ луй Балшем»: холмик Балшема. Кем или чем этот Балшем был, косоуцкие жители не знают. Но мне достаточно, что они знают: мне об этом холмике сказать нужно.

Почему холмик называется холмиком Балшема, мне, разумеется, не у кого было спросить. Значит, Балшем здесь, в селе Косоуцы, был. И наверно, не просто был — долго был.

Может, он дни и ночи простаивал так на вершине того холмика, задрав голову к небу. Днем все село смотрело, как этот святой «раввин» стоит, сжав веки, и часами не двигается с места. Ночью все село слышало, как этот святой «раввин» всхлипывает. Может, такой окаменевший, он стоял, закутанный в свой талес. Может, он и не стоял вовсе на холмике, а как раз холмик этот остался стоять на нем. А может, лежит под холмиком совсем не он, не Балшем, а какой-нибудь простой еврей, простой смертный, ходок и скиталец по селам и местечкам.

Никто этого не мог мне сказать. Но мне было достаточно того, что здесь, на дорогах, по которым хожу я сейчас, есть такой холмик. И что бы уж там ни было с этим холмиком, зовется он «Мовилэ луй Балшем» — холмик Балшема.

Жители Косоуц поняли, что мне нужно еще кое о чем рассказать. В лесу за селом немцы и румыны расстреляли

несколько сот эвакуированных евреев. Их стащили с повозок, раздели догола, каждого в отдельности привязали к дереву. Дерево — и еврей с белой бородой и белыми пейсами. Дерево — и растрепанная еврейка. Дерево — и едва ли совершеннолетний паренек. Все село в то утро слышало старушечьи, женские и детские крики. Целый год ни один косоуцкий житель в лес не входил. Окровавленные деревья не засохли. Я хотел посмотреть, где они, эти деревья, что стоят себе дальше и растут. Но точно указать мне место не мог никто. Лес как лес. Ни одно дерево среди деревьев не удостоилось того, чего удостоился один холмик среди холмиков. Увековечиться через чье-то имя. Нести хоть одно святое имя чье-нибудь в вечность.

Но и этот святой холмик, и окровавленный кусок леса, и много других окровавленно-святых мест тогда, в то лето, казались мне такими, будто происходило все это давным-давно. Казались — не то слово. Я сам, сознательно, как говорится, ногтями их с себя соскребал, отпихивал как можно дальше назад. Просто мне хотелось ощущать в себе одну лишь тогдашнюю каплю радости. Как можно сильнее, как можно чище, как можно торжественней. Эту радость в конце августа-месяца летом тысяча девятьсот шестьдесят первого я назвал возрождением, продолжением.

По утрам я шагал босыми ногами по мокрой траве, пробивавшейся там и сям на истоптанной тропинке в косоуцком дворе, где я жил в те дни, чувствовал под голыми ступнями своими утренне-прохладные капли росы и хотел быть как молодая трава. Я присаживался на низко срезанное дерево в конце двора, обнимал рукой единственную ветку с листьями, что выросла из пня, и хотел быть как дерево. Даже как лесное дерево…

Не знаю, хорошо ли то, чего я тогда хотел, или нехорошо. Радость может опьянить, сбить с пути. Чего бы я тогда ни хотел — мне было достаточно единственного слова: радость.

Этого желанного, долгожданного, простого, короткого слова.

Что за радость тогда великая была у меня, читатель узнает позже. Если он, читатель, не очень искушен в истории нашей литературы и ему не говорят пока ничего месяц и год, которые я только что, чуть выше, указал.

Пока что я хочу объяснить, чего вдруг оказался я в этом селе, в Косоуцах. На нашем профессиональном языке это называется творческой командировкой. Выйди, будь добр, автор, из своего тесного домашнего круга; выбери себе сам время и место, когда и куда немного прокатиться; оставь на пару недель свои домашние

заботы и повседневность; походи среди людей; наслушайся историй; наглядись на новые лица и новые пейзажи; может, оно тебя и натолкнет на что-нибудь; важное, во всяком случае, не пропадет, за столом оно тебе, глядишь, и пригодится.

Я себе для такой «творческой» поездки выбрал Сороки. Сороки, можно сказать, где-то родной мне город. Своего рода возвращение, значит, в мои голубые рашковские годы детства.

Для Рашкова Сороки были самым близким и таки самым знаменитым большим городом. Когда мы выехали в мир, когда осваивались в больших городах и даже в столицах, большой город Сороки становился, разумеется, в наших глазах раз от раза все меньше и меньше. Из города он постепенно стал местечком. Серым, пыльным, забитым, бедным, покосившимся, заброшенным бессарабским местечком.

Потом, годы спустя, как это бывает, стало в нас происходить обратное. Лента стала отматываться назад. Изменилась мера большого и малого.

Старая, очень-очень старинная Сорокская крепость у берега Днестра. Узкие извилистые улочки вверх-вниз. Резные крылечки домов. Наверху «гора» с цыганскими переулками, с виноградничками, разметавшимися ввысь у самой синевы неба. Литературный журнальчик со странным названием «Ветры», который ребята стали вдруг издавать в тридцатые годы в этих самых Сороках. Сорокская тюрьма, полная мальчиков и девочек, которых здесь вот, вот в этой пыльной дыре, заботила одна малость: чуточку выправить и чуточку переделать весь кривой мир. Белый, с острыми выступами скал по обеим сторонам, спуск в Сороки. Панорама при спуске: Днестр, зелень, крытые дранкой крыши, плетни, ряды окон, подожженных уходящим солнцем, переплетенные тоской предвечерние дымки, кусок красного неба над головой — таки надо было, наверно, сначала изъездить мир, освоиться в больших городах и даже в столицах, капельку таки умнее стать, чтобы увидеть, что этим заброшенным Сорокам нечего стыдиться ни в том, что называется красота, и даже ни в том, что называется величие.

В последние годы и вовсе не нужно долго мудрить, чтобы вывести, что Сороки — вполне приятный уголок.

Город сегодня — студенческий город. (Что может быть милее, чем стайки студентов и студенток на каждом шагу?) Курортное место. (Что может быть приятней, чем весело шумящие, загорелые курортники и курортницы с разных концов страны?) На «горе» стоят сегодня новые цыганские домики, выкрашенные снаружи теми же кричащими красками, что и длинные радужные платья на прекрасных дочерях сорокских цыган. Днестр внизу

полощет, как полоскал из поколения в поколение, старосказочные крепостные стены. В центре города — парк. Напротив парка, как возвышалась, бывало, в каком-нибудь селении надо всем барская усадьба или, хотя бы, роскошный дом богача, — просто-напросто швейная фабрика. Кругом — магазины, кафе, ателье, институтские вывески, все сорокские учебные заведения. Тот же самый белый спуск в город. К панораме, открывающейся со спуска, добавилось вдалеке немало многоэтажных корпусов, микрорайоны, как называют их сегодня. Короче: вполне приятный уголок, я совсем недурно выбрал.

Жил я один в комнате, в сорокской гостинице.

На стол в комнате в первые же дни легли несколько густо исписанных страниц моих. Всегда лучшим украшением в моем доме — такие вот белые странички, исчерканные моими мелкими буквочками, грубо разрисованные постоянными зачеркиваниями — над одним перечеркнутым словом, что не годилось, другое перечеркнутое слово, третье перечеркнутое слово, что опять не годилось, ступеньки, этажи, вставки, слова обкручены, обверчены, черточки под словом, которое вдруг опять стало годиться, строки выделаны, как какое-то полотно, как вышивка. Еще вчера эти странички назывались просто белой бумагой, сегодня носят они самое волшебное имя: рукопись.

Секретаря редакции в сорокской газете звали Исаак Соломонович Фрахт. Молодой человек с очень порядочным и очень круглым лицом. Чуть слишком полноватый и неповоротливый. Он уже несколько лет нес на себе все заботы о газете, дневал и ночевал то в редакции, у своего крошечного письменного стола, то в типографии, у печатных машин. Лицо его наверняка было бы еще круглее и еще порядочней, он сам — еще полней и неповоротливей, если бы он не работал секретарем редакции.

Его гостеприимство по отношению ко мне было таким широким, что мне аж не по себе было. Когда бы я ни появился в его редакционной комнате, он тут же вскакивал со стула и так и стоял передо мной, пока стоял я. Он говорил со мной мягким, заискивающим голосом, с улыбчивой добротой в глазах, голову чуть склонял, прямо будто в Сороки снизошел величайший из величайших. А я ведь не больше чем человек: его почести грели меня и ласкали. Но человек же не всегда брильянт. Мне было не по себе, что этот растолстевший, работящий и порядочный Исаак Соломонович — такой покорно-маленький, так готов такими щедрыми порциями раздавать почести направо и налево.

Вместе с Фрахтом мы подготовили для газеты литературную страницу. Фрахт морщил лоб, пощипывал кончик языка,

взгромоздившись, сопя, на стул, рылся где-то над книжными полками, в антресолях, раскрывал дверцы, выдвигал ящики, навалил на стол приличную кучу стихов и рассказов местных начинающих литераторов, учителей окрестных деревенских школ, студентов сорокских техникумов. Эти вещи уже достаточно вылежались в редакции. Мне было во что вглядываться целый вечер. На следующее утро Исаак Соломонович набросал на листе бумаги макет литературной страницы. Сверху, в левом углу, изящно расположились два стихотворения. Среди нескольких десятков прочитанных стихов они не очень-то и выделялись. Просто такое было их счастье. Крохотная капелька счастья, которая нужна даже настоящему таланту вместе со всеми прочими семнадцатью вещами, чтобы вырасти и созреть. Прозу в правом верхнем углу макета выбрал Фрахт. Он ее предложил, по обыкновению своему, с какой-то покорной скромностью, на этот раз даже с тихой мольбой. Рассказ о двух молодых доярках, которые закончили в селе десятилетку и не поехали учиться дальше ни в какие институты, остались дома, в родном селе, доить на молочной ферме колхозных коров. Автор рассказа был не просто учитель, не просто абы кто, а первый среди учителей — начальник районного отдела народного образования. Хотя история эта была написана очень просто и очень ученически-бесхитростно, ни за что невозможно было определить, то ли хвалит автор этих двух девушек за то, что они остались простыми доярками в родном селе, то ли, наоборот, автор критикует их за нежелание ехать учиться дальше в институтах; хвалит автор школу, которая под его руководством воспитала таких двух золотых девушек, или это, наоборот, какая-то самокритика — автор критикует подчиненную ему школу за этаких двух воспитанниц.

Мне, разумеется, досталось самое почетное место: подвал.

Маленькая районная газета — маленький подвальчик. Здесь как раз поместятся две мои миниатюры.

В первой миниатюре я рассказываю, как старая мама моя, уже тогда за семьдесят, читает мою новую вещь из тех, что я приношу ей иногда. Она насаживает на нос обмотанные проволочкой толстые очки свои, тянет плачуще-поющим молитвенным голосом строку, забывает посреди чтения, что я — это я, автор истории, которую она читает, поглядывает на меня всякий раз поверх очков, делится своим удовольствием со мной, просто так, как делится удовольствием мама с сыном: «Ты понимаешь, понимаешь, а?» И это «чужое» чтение ее — лучшее для меня чтение на земле.

Во второй миниатюре выходит маленькая девочка к шоссе

откуда-то из рабочего поселка посреди степи, подымает свою ручонку и останавливает автобус с пассажирами. Дверь автобуса открывается, девочка влезает и садится лицом к людям возле кабины, где всегда сидят дети. Люди расспрашивают нового пассажира, как его зовут, куда он едет. Девчушка разговорчивая, живая. Говорит, что папа ее работает вот здесь, на сахарном заводе, вон там вот, где она живет. А сейчас он в городе на курсах, вот она и ездит к нему, к своему отцу. Народ все не надивится. Кто языком цокает, кто плечами пожимает, кто качает головой. Сидит девочка, смотрит и не понимает, чему тут удивляться. Завтра же воскресенье, в школу ведь завтра идти не нужно. Вот и вышла она к дороге, подняла руку, остановила автобус и на воскресенье едет себе к папе. А то как же?

Обе эти миниатюры вместе с еще четырьмя такими же маленькими новеллами только что печатались в «Советиш Геймланд». Именно в том самом месяце в Москве начал выходить наш еврейский журнал. В свет уже вышел первый номер. Золотая нить, которая так долго была разорвана, концы раскиданы, спутаны, связалась вновь, вновь стала виться дальше. Первый номер как раз и открывался этими шестью маленькими новеллами моими. Не знаю, можно ли так выразиться: эту каплю радости я ощущал всеми ш е с т ь ю чувствами. Читателю, даже не очень искушенному в истории нашей литературы, уже говорят, наверное, что-то те месяц и год, что я раньше, выше немного, указал.

Я и сам тогда вновь завязался, вновь начался.

…Земляк мой, Фройка Рехтман, бухгалтер сейчас в сорокском медучилище, встретил меня на улице, очень обрадовался мне, оглядел меня потом с головы до ног прищуренными улыбающимися глазами, по-свойски ткнул меня пальцем в бок, вроде щекотнул меня, значит, и заявил:

— Скажи правду, мне ведь ты можешь сказать правду, ты таки видел где-то такую девочку, а?..

Рехтманов, помню, было в Рашкове три брата. У старшего, Давида Рехтмана, был на редкость красивый голос, рашковские ценители говорили: голос — ну прямо как у Карузо. Он держал лавку письменных принадлежностей. Зачем Рашкову нужна была целая лавка письменных принадлежностей, остается загадкой среди всех прочих рашковских загадок. Когда я заходил иногда в лавку купить за копейку тетрадь, тетрадь мне продавала Давида Рехтмана жена. Его самого слышно было целый день откуда-то изнутри дома. Рашков говорил, что пение его надо-таки только слушать, не смотреть. Он, когда поет, выделывает своим лицом

такие гримасы, что можно помереть со страху на месте. Давид Рехтман пел иногда в субботу в рашковской аристократической синагоге. Все аристократы носили на плечах узенькие аристократические талесы, он один стоял у амвона укутанный с головой в длинный, широкий талес, и из-под талеса доносились его изумительные переливы. В синагоге в ту субботу было битком набито. Народ потом выходил с мокрыми глазами и с пылающими лицами. Из-за этого Давида Рехтмана рашковцы утверждали, что всевышний таки, наверное, бог мстительный и злопамятный. Благословляет он уже кого-нибудь — так лишь проклинает его. С таким благословенным голосом, без таких проклятых гримас можно ведь было бы пойти ого как далеко. Самого младшего брата, Идла Рехтмана, я притянул, помню, к левому движению в Рашкове. Мне было тогда лет пятнадцать, а Идл был уже отслуживший; кажется, даже женатый. Когда мы вечерами стояли, бывало, вдвоем возле их крылечка и я расписывал ему золотые дали будущего, он слушал меня всегда с открытым ртом и с блеском в глазах и всегда спрашивал одно только слово: «Неужели? Неужели?» Он был очень честный, очень чистый, очень-очень рашковский. Ну а Фройку Рехтмана, среднего брата, помню я довольно смутно. Он, кажется, ничего особенного из себя не представлял и, наверно, поэтому и стал бухгалтером. Не знаю почему, бухгалтеров я недолюбливаю. Я хорошо понимаю, что без бухгалтеров мир не смог бы существовать, а без писателей, скажем, мир бы уж как-нибудь не развалился. Но почему-то не люблю я людей, которые могут до поздней ночи копаться в расчетах, десятки раз пересчитывать, распутывать, чтобы сходилось до самого последнего грошика. Точнее: я их ни люблю и ни не люблю.

Фройке Рехтман положил мне руку на плечо, крепко сжал его всеми пятью пальцами, чтобы, наверно, я не смог вывернуться и убежать:

— Бре. У меня, кажется, тоже есть глаза. Почему же я что-то не вижу таких девочек?

Другому на такой вопрос мне и отвечать не захотелось бы. Но все-таки — земляк:

— Если бы каждый мог видеть, если бы мог видеть как следует, миру не нужны ведь были бы писатели, не так ли?

— Ай, ерунда. Вы, извиняюсь, большие выдумщики, сочинители…

Он глянул на часы и взял меня под руку. У него еще есть как раз несколько минут времени. Он меня немножко проводит…

— Слушай, скажи мне, будь так добр, почему ты не напишешь лучше что-нибудь про Клару Финкель?

— Что это за Клара Финкель?

— Не делай из себя, пожалуйста, незнайку. Все рашковцы знают, что это за Клара Финкель, ты один не знаешь? Не знаешь, так я тебе расскажу. Кларочка Финкель рашковская аптекарша. Во время большой беды, в Транснистрии, она вытворяла, говорят, те еще штучки. Была накоротке, говорят, со всем начальством. Вернулась, говорят, оттуда с полной телегой добра. Говорят. Люди, ты же знаешь, какие. Я не люблю прислушиваться к тому, что говорят. Я люблю пощупать собственными руками. Там, где Клара была, переправляли, говорят, понемножку народ на ту сторону, к немцам; якобы, считалось, на работу. И рашковцам приходилось идти к Кларе Финкель. «Кларочка, душечка, вы же можете знать. Куда посылают? Таки на работу?» — «На работу, дорогие вы мои, на работу. Но не берите ничего с собой. Останетесь голые и босые. Вы же знаете этих бандитов. У вас там все заберут. Чтобы только, боже упаси, не всплыло, что это я вам сказала. Поезжайте, не волнуйтесь. Месяца через два, бог даст, вы снова будете здесь, дома». — «Кларочка, душечка, может, можно у вас что-нибудь оставить, хоть один чемоданчик?» — «У меня? Что вдруг у меня? Ой, ребятушки, что же мне с вами делать? Ну ладно, куда денешься? Мы же все свои». Пол-Рашкова осталось на той стороне Буга, и неизвестно даже, куда их кости подевались. А Кларочка Финкель — снова аптекарша в рашковской больнице. Говорят, поговаривают. Я решил докопаться, что и как. Как ты меня видишь, так я иногда любитель на такие дела. Я порасспрашивал одного, порасспрашивал другого, искал живого свидетеля. До конца я так и не добрался. Бе, ме, еле ворочают языками. Мы ничего не знаем. Те, кого переслали через Буг, те знают. Короче, где-то через год съездил я почтить могилы родителей. Кручусь себе по Рашкову, то есть там, где была еврейская часть Рашкова, и сердце мое кровью обливается. Разгром. Вырезанный Рашков. Даже то место, то пустое место, где стояли дома, улицы, что-то тоже не то место. Что-то оно маленьким стало. Съежилось как-то. Сделал два шага и уже прошел его. И где тут помещался базар с магазинами, три синагоги, мясницкая улица, портняжские улочки, баня, «сцена», где играл театр — целый еврейский Рашков? Я хожу и хожу, и все во мне рыдает. Разгром. Вырезанный Рашков. И я себе думаю: а подойду-ка я тем не менее к Кларе Финкель. Хотя бы ей в глаза глянуть. Она принимает меня очень хорошо. У-ва, такой гость, близкий человек, садитесь, отдохните и не думайте даже, что вы не будете у меня ночевать, вот я уже накрываю на стол». Сижу я, потягиваю чай из стакана, пожевываю какую-то закуску, глянул в один угол, в другой угол, окинул, со стороны так, и Клару тоже.

Ничего, я не вижу ничего, не вижу я. Говорю: «Кларочка, как, — говорю я, — можете вы здесь жить, в этом мертвом, разгромленном месте? Здесь же просто жуть берет». А она: «Что вы думаете, таки довольно скучно. Но что можно сделать? Надо взять себя в руки. Будем считать, — говорит она, — я живу где-нибудь в лесу, на даче…» Нет, ты понимаешь? Ты же писатель. Я — про то, что всех вырезали, а она — что ей скучно. Одно слово, простое слово, возьми и скажи его, так это обыкновенное гладкое слово — дача. И вот это одно слово все мне прояснило. И не надо мне уже было никаких живых свидетелей. А, что скажешь, красивая история, нет?

И бухгалтер, оказывается, умеет иногда вычислять не только дебет-кредит.

Я, наверно, грешил на бухгалтеров. Хоть эту красивую историю надо скорее приписать рашковцам, чем бухгалтерам. За историю, особенно за историю с крутым поворотом в конце, с «изюминкой», рашковец отдаст вам и мать родную с отцом в придачу.

История, которую он рассказывает другому, но отнюдь не та, которую рассказывают ему. К чужим историям рашковец всегда цепляется. Слушать рашковец не умеет.

Что нет, то нет.

Прощаясь со мной, Фройке Рехтман сказал: «Иди, иди, там ты увидишь много женщин». Хватился, взглянул на часы — минут на пятнадцать опоздал из-за меня к своему бухгалтерскому столу.

А я шел на швейную фабрику на «встречу с читателем», как мы это называем. В райкоме я просил послать меня туда, где я мог бы прочесть что-нибудь свое на идиш. «Много женщин» остались сидеть каждая за своей швейной машинкой, конвейер остановился, перестали стучать моторчики, тишина в цехе установилась сейчас гораздо более пронзительная, чем раньше до тишины, шум. Я стоял посреди цеха во весь свой средний рост, без всякого столика перед собой, с одним только первым журналом в руках. Не думаю, чтобы женщины за швейными машинками были большими читателями. Но все они выслушали мое чтение с величайшим, первозданным интересом. Я попросил тех, кто не знает языка, на котором я читаю, запастись терпением и посидеть спокойно, просил простить меня за минуты, что отнимаю у них даром. Но долго мучить я не буду никого. Меня, однако, никто не послушался. Там, где нужно было от души рассмеяться, все вместе, без исключения, все одинаково заходились от смеха. Там, где нужно было чуть повнимательнее вслушаться, чтобы не упустить нить, я видел, как каждая в

отдельности, вытянув шею, внимательно вслушивалась. Потом все швеи окружили меня. Одинаковые синие халатики. Из-под белых, узлом завязанных косынок выбивались седые, черные, русые пряди волос. Лица еврейские и лица не еврейские. Журнал мой ходил из рук в руки. Я спросил молдаванку, которая суетилась вокруг меня, отчего она так сильно смеялась, оттого, что она поняла, чего она смеется, или просто, потому что смеялись все. Молдаванка окинула меня удивленным, даже несколько обиженным взглядом. И ответила мне на простом родном идиш, что, наверно, я мало знаю Сороки и еще меньше — сорокских портних, портнихи, кто бы они ни были, говорили здесь всегда между собой только по-еврейски. Идиш здесь всегда был вроде как общий портновский язык.

Секретарь парторганизации швейной фабрики, высокая стройная женщина в легком летнем платье почти без рукавов, подала мне у себя в кабинете альбом в красном плюшевом переплете. Почетные гости, сказала она, которые приходят на фабрику, записывают в альбом свои впечатления. Она и меня попросила что-нибудь написать. Но написать просит она меня на том языке, на котором я пишу. Что я там писал, я уже сегодня точно не помню. Только помню хорошо, что в своей записи я несколько раз повторил слово «радость».

И, поверьте, я ничуть не преувеличиваю.

Вот чем дышал тогда тот последний месяц лета.

Ходил я, значит, среди людей, слушал истории, повидал новые лица и новые пейзажи.

То, что все это сгодилось мне лишь столько лет спустя, думаю, невелика беда, мир беднее не стал от этого.

То, что долго в голове не держалось и ушло, наверно, и должно было уйти.

Тьфу, тьфу, тьфу. И ну его подальше…

Хочу только рассказать здесь еще о двух походах, что я совершил тогда в Сороках. Оба — вверх, в «гору». В тот же день. Оба места — недалеко друг от друга.

Первое место: дом, двор, сад, столик на четырех вбитых столбах под орехом посреди сада, комнатка в доме с двумя узкими койками, с вышитой занавеской на окне — место, где Горшманы, Шира и Мендель, летом, почти из года в год, отдыхали пару месяцев в Сороках.

Не помню точно, то ли Горшманы были в Сороках в то лето, а я опоздал, пришел, когда они уже уехали, то ли их вообще в то лето в Сороках не было, а я тем не менее сходил туда, где они живут всегда, как будто они и сейчас там есть.

Хозяйка их сидела во дворе у дома, прямо на земле, держала в подоле сито зеленой фасоли, пальцами старательно разламывала фасолевые стручки. Вылущенные желтовато-белые фасолинки вкатывались ей в ладонь, из ладони укатывались дальше, в миску, быстренько-быстренько, живенько-живенько, как только что вылупившиеся пищаще-живые желтовато-белые цыплята. Сидела она, согнув спину, хмуро углубленная в свою работу. Но когда она подняла ко мне глаза и услыхала, что во двор зашел знакомый Горшманов, в мгновение ока спина ее выпрямилась, слетела нахмуренность с лица. Она похожа стала на свой портрет, рисованный Менделем, который я увидел чуть позже в доме, в комнатке Горшманов, висящим на стене над одной из двух коек.

И действительно, первым делом она подвела меня к портрету. За моей спиной стояла маленькая, буднично сморщенная черно-белая старушка. Напротив, из-под самого потолка, глядело на меня сверху вниз лицо полное красок, полное игривости и певучести, озабоченности и натруженности, жена, мать, бабушка, обласканная добротой и щедростью, пронизанная горестями и радостями, полем и небом — старость, перемешанная с юностью, как протяжно-печальная и весело-задорная старо-юная песня пастуха. Я, понятно, больше верил Менделю, чем себе, чем своим собственным глазам.

Он сам, Мендель, кажется, тоже был тогда с нами в комнатке. Он парил, едва касаясь земли. Легкий, как перышко, и тихий, как голубок. Изможденный и истонченный. Глубоко запавшие добрые и умные глаза его были как две капли воды похожи на глаза с портрета на стене. Или наоборот: маленькая, буднично сморщенная старушка стала понемногу походить на него, на художника, который, рисуя ее портрет, в немалой мере вырисовал там, выписал самого себя.

Затем хозяйка подвела меня к столу под орехом посреди сада. Я присел у стола на узкую, врытую в землю скамью. «Вот здесь-вот она и сидит целые дни», — сказала мне хозяйка Шириным голосом. Далеко-далеко внизу поблескивал Днестр. Между Днестром и столиком сорокские крыши выглядели как ступени, как ступеньки лестницы, по которой поднимаются и спускаются, спускаются и подымаются.

Я сидел и думал о Шириных сорокских новеллах, думал, как она любит, поговоркой: гость приедет на пока, а увидит на века…

Я думал и о других Шириных новеллах, где она, даже и не будучи гостем, видела на много веков. В общем, сидел я и думал, как один писатель, независимо от того, хороший он человек или нехороший человек, думает о другом писателе.

Маленькая хозяйка стояла в стороне, глядела на меня и покачивала головой:

— Ай, Шира и Менде. Ай, люди. Ай, люди!

Второе место: цыганская артель, где выделывают красные и розовые, желтые и оранжевые, синие, зеленые, шелковые, сатиновые, ватные и шерстяные теплые зимние одеяла. Открытые ворота без охраны, в широченном дворе без единого деревца — длинный одноэтажный дом с множеством окон вокруг. Для начала я прогулялся вдоль окон. Хотел глянуть пока что со стороны, сквозь стекло, на эти два слова, которые соединились воедино: цыгане и одеяла. Потом я опять стоял в стороне, в уголочке. Не как специально пришедший гость. Цыгане, показалось, даже и не заметили, что кто-то вошел и стоит, стоит и смотрит.

На длинных столах лежали пышные шелковые одеяла. Цыганки в разметавшихся платьях «вышлепывали» эти одеяла палками. Цыгане одеяла скатывали, вносили и выносили целые пачки одеял. Цыганки с заколотыми волосами стояли на коленях, их тонкие ловкие пальцы вышивали на одеялах узоры.

Цыганские лица напомнили мне дороги скитаний, дым костров. Взметнувшиеся от кузнечного меха искры в чистом поле. Эхо звенящей кувалды где-нибудь вдали от человеческого селения. Голые. Раздетые и разутые. Свое — одно только небо над головой.

Цыганские пальцы напоминают извечных гадалок, нищенок, выпрашивающих кусок хлеба, обманутые и дешево проданные ласки любви.

От одеял в цыганских руках пахнуло на меня дыханием мягкой постели, оседлостью, запахом согретого под-одеяла. Два совершенно различных слова сблизились, спарились: цыгане и одеяла. Цыганская артель вырабатывает сейчас то, чего они, цыгане, испокон веков не имели и не любили.

Не любили, потому что не имели. Или: не имели, потому что не любили.

Я стоял, помню, в стороне, в уголочке, смотрел, как цыгане делают эти пышные одеяла, и чувствовал, что от двух спарившихся слов исходит какое-то мягкое, ласкающее тепло.

Как раз тогда газеты часто говорили о цыганской оседлости. Исчезают день ото дня кочующие кибитки на дорогах. Остатки бездомности и неприкаянности.

Я смотрел, как палки в цыганских руках взбивают одеяла, делают их мягче и пышнее. Искусные волшебные цыганские пальцы вышивают на одеялах узоры. Я стоял, смотрел и все же не был уверен полностью, что тепло, которое я ощущаю, — нужное.

Хотят ли они этого тепла? Понимают ли его? Греет ли оно их?

2

Возвращаюсь в Косоуцы. Туда, откуда я начал эту историю.

В начале лета в Сороках и в нескольких селах вокруг Сорок проводилась Неделя молдавской литературы. Встречи с писателями в клубах, литературные концерты, читательские конференции, банкеты для писателей. Разъясняли народу важность литературы и тех, кто творит ее. Меня на этой Неделе не было. Но все равно, и мой авторитет здесь поднялся. Я здесь шагал, как говорят, по уже расстеленной дорожке. Косоуцкий председатель колхоза отложил на полтора часа все свои дела и занимался только мной. По телефону он вызвал к себе двух бригадиров и двух агрономов. Вместе решали, кто поедет со мной в тракторную бригаду, кто на молочную ферму, на птицеферму, кто мне покажет поля и сады, кто особо познакомит меня с людьми.

Вместе выбрали, у кого мне на эти несколько дней остановиться. Председатель пригласил меня потом на свободный вечер к себе домой посидеть, поговорить. И старенький вахтер из колхозного правления подхватил мой чемоданчик и отвел меня туда, где я буду жить.

По пути я несколько раз пытался отнять у него чемоданчик, но ничего у меня не вышло. Мне просто стыдно было перед людьми: я иду налегке, как барин, а он, белый старичок, наверное, далеко за семьдесят, тащит сзади мой чемодан. Я спросил, далеко ли еще идти, но он, видимо, не расслышал, что я спросил, прищелкнул языком и ответил, что он ведет меня к ветеринарному фельдшеру. О, лучший дом в селе, квартира — другой такой нет. На двери фельдшерского дома висел замок. Но старичок сказал, что это ничего, хозяйка уже вот-вот должна подойти. Затем он приподнял свою шапку, сказал «до свидания» и ушел. А я остался на ступеньках крыльца у запертой двери, сидел и ждал. Не так чтобы очень уж долго сидел. Где-то через час, солнце стало уже садиться, светило уже на один лишь верхний уголок дома, отворилась вдруг калитка, и к крыльцу подбежали две маленькие девочки: одна лет четырех-пяти, другая — года два, два с половиной. Я встал и увидел в калитке маму этих девочек — маму лет двадцати трех — двадцати четырех — с корзиной в руках и в красной кофточке, накинутой на плечи. Девочки обхватили оба моих колена и всё хотели, чтобы я их

покружил. Мать остановилась и, видно, не знала, мчаться ли ей отдирать девочек от моих колен, ругать их за такое избыточное гостеприимство или, наоборот, так и стоять у калитки и смеяться, глядя, как смеюсь, стоя со спутанными коленями, я. Освободившись потихоньку от детских пут, я шагнул к их матери и протянул ей руку. Лишь сейчас, вблизи, разглядел я толком ее глаза. На мгновение дольше, чем нужно, я держал ее руку в своей и уже еле слышал, как она представилась, — сказала: Надя. Лицо ее покраснело. Может, из-за недавнего, чуть грубоватого, детского гостеприимства, возможно, из-за знакомства нашего, а быть может, просто — отсвечивала так на ее лицо красная кофточка, накинутая на плечи.

— Вы, наверно, давно уже ждете?… — теперь она, Надя, прижимала к коленям обеих девочек.

— Нет. Только что… То есть да, давно!.. — возле Нади уже с того первого взгляда час времени стал значить для меня и только что, и очень-очень давно…

Грехи мои вспоминаю я сегодня. Еще и сегодня я называю это грехом и сегодня, здесь, признаюсь в нем, хотя через столько лет такие грехи можно считать уже прощенными и хотя единственному человеку, против которого я грешил, признался я еще тогда, сразу по приезде домой, и человек этот меня понял. (Правда, немало стоило ей крови это умение всегда понимать меня.) И этот грех прощен мне был еще тогда.

Конечно, было бы, я думаю, проще рассказывать о нескольких днях в доме ветеринарного фельдшера в третьем лице. Рассказывать такое в третьем лице конечно же легче, чем о себе самом. Свобода была бы более полной. Подробности — более откровенными, сочными. Я заметил, однако, у читателей странное умение ставить все с ног на голову. Рассказываешь иногда о том, что с тобой происходило, в точности так, как происходило, ничего не добавляешь и ничем не приукрашиваешь, не изменяешь даже ни имен, ни места и ни времени, рассказываешь все, разумеется, «от первого лица», не прячась и не выгораживаясь, просто и откровенно, как исповедь, — читатель знает, однако, что он «читает» и не дает себя «обмануть». «Э, — говорит он, — не чувствуется разве, что оно нарочно так сделано, чтобы всему верили? Не видно разве, что все это сказка? Красивая сказка, хорошая сказка. Но сказка».

И наоборот.

Рассказываешь иногда о происшествии, которого никогда с тобой не происходило, понесешься, как говорили когда-то, на крыльях фантазии. Имена с потолка — выдуманные, время и место — как тебе захотелось и как тебе понадобилось.

Рассказываешь, разумеется, в третьем лице. Тебя там нет. А если ты там и есть, ты спрятан за семью пологами, загорожен семью личинами. Читатель знает, однако, что он «читает», и не дает себя «обмануть». «Э, — говорит он, — не чувствуется разве, что оно нарочно так сделано, чтобы всему верили? Не видно разве ясно, что это он, автор? Якобы вымысел. Выдумка. Но это биография. Автора собственная биография».

Что же можно знать про то, как лучше?

Самое лучшее, думаю, рассказывать так, как нутро подскажет, как перо поведет.

Надя стояла в своей летней кухоньке и жарила перцы. Две девочки ее, как всегда, все шесть дней в неделю, были с утра до вечера в колхозном детсаду. Еще только светало, когда Надин муж схватил свою плоскую фельдшерскую сумку и умчался на ветпункт, оттуда — по стойлам фермы, обнимать целый день коровьи да телячьи шеи, раскрывать им рты — как раз тогда он должен был делать коровам и телятам профилактические прививки.

По утрам я сидел у длинного стола в каса-маре, которую отдали мне, и потихоньку пописывал.

Крахмальные занавесочки на окнах и на дверном стекле, накидки на моей прибранной постели, на подушках, пышно взбитых и посаженных друг возле друга углом вверх, оба полотенца, что обрамляли на стене пару десятков развешанных фотографий, все скатерочки и салфеточки на каждом шкафчике и в каждом уголочечке комнаты были вышитые, вырезанные, покрытые цацочками и цветочечками, обласканные Надиными руками. На буфете с посудой стояла ваза цветов, не вянущих круглый год, — бумажных, разумеется. Передо мной Надя поставила на стол свежий букетик бело-желтых ромашек в стакане воды — хоть бери цветочек в руки и мальчишески-глупо, с бьющимся сердцем, обрывай с него белые лепестки: «Да, нет, да, нет». Над головой, где-то наверху, заткнуты были за потолочные балки несколько засохших веточек мяты. В окне видны были уходящие вниз несколько рядов низеньких, наполовину побеленных яблонек и слив.

Надина летняя кухонька стояла во дворе перед домом, напротив парадного крыльца, далековато немного от двух моих окон, но сквозь открытую форточку слышались мне запахи Надиных жареных перцев, слышалось их веселое потрескивание и шипение брызжущего масла, доносилось каждое Надино движение и каждый шорох ее там, в летней кухоньке.

Или: мне казалось, что доносится сюда сквозь открытую

форточку и даже сквозь закрытые двери, даже сквозь стены, каждое Надино движение, каждый шорох ее.

Что я такого в ней увидал, в этой Наде? Не знаю, обязательно ли всегда точно представлять себе подобные вещи.

Сегодня уже третий день. Ночь, день, снова ночь, снова день и опять ночь. Я считал дни — не для того, чтобы поскорее уехать, а считал, как быстро они пролетают.

В первую ночь засыпал я тяжело. За стеной Надя расчесывает волосы. За стеной Надя моет ноги в тазу. Повисли на спинке стула ее кофточка, юбка, рубаха. Она лежит в постели под тонким одеялом. На одеяле проступают ее колени. Обнаженные руки ее разметались. Дышит. Может, она тоже не спит. Лежит раскрытая. За стеной — прямо будто рядом с Надей никого там нет.

И чего это я ворвался, как вор с поддельными ключами, в чужую спальню, ищу чужое добро по чужим комодам? Я, кажется, никогда ни у кого и нитки не тронул. Кажется, за всю свою жизнь малейшей низости никогда не сотворил.

Утром первым делом пойду к председателю, попрошу, чтобы перевел меня жить куда-нибудь в другое место. Хотя нет, лучше я прямо завтра вовсе отсюда уеду.

Утром я никуда не пошел и прямо завтра никуда не уехал.

Чуть не все утро ходил я за Надей из дома в кухоньку, из кухоньки обратно в дом, из дома — на крыльцо, с крыльца опять в кухоньку. Она пару раз глянула на меня вопросительно, спросила меня молча, чего я хожу за ней. Тоже молча я ответил, что я за ней не хожу. То есть, кажется, действительно хожу, но сам не знаю, хожу я за ней или не хожу.

Глаза ее потеряли на миг свой черный блеск, нахмурились пепельно-серой грустью, как сливы на дереве в хмурые утра прячут свой черный глянец за пепельно-серым налетом. Вот-вот пойдет она сама к председателю просить, чтобы он меня куда-нибудь перевел. А может, накинет сейчас на голову платок, бросит дом открытым и побежит раскрасневшаяся за мужем на ветеринарный пункт.

Как ребенок, играю я с соломой и спичками. Сам впутываюсь в некрасивую мальчишески-глупую историю.

Но Надя никуда не пошла и ни за кем не побежала.

Угар, понятно, вскоре развеялся, как может развеяться только угар. Еще витали где-то во мне оставшиеся завитки дыма, витали, как дымки над потухшим костром. Можно сказать, дымки стыда и дымки раскаяния. Хоть стыдиться мне ни перед кем не надо было и раскаяние свое показывать было не перед кем. Грешил-то ведь я только мысленно. Стыдно мне было перед самим собой. И

хлестал я себя раскаянно по собственным щекам.

Несколько лет спустя в новелле «Иов» я обыграл такую ситуацию: когда Иова не взяли беды, его стали испытывать счастьем, — и счастье он тоже выдержал. Сегодня, спустя еще несколько лет, считаю я совершенно искренне, что счастье — очень, очень тяжелое испытание. Слабые спотыкаются. Беды делают слабых сильнее, счастье — нередко еще слабей.

Эта простая деревенская Надя обладала морем деликатности. На лице ее, даже в ямочках на щеках, когда она улыбалась, лежала мягкая, очень тонкая, умная грусть. Она заходила, бывало, в комнату, где я сидел по утрам за столом, на цыпочках. Брала то, за чем приходила, без малейшего шороха, кажется, даже не прикоснувшись к нему руками. Выходила она еще тише, с таким благоговейно-трепетным святым взглядом вокруг, будто комната, привычно-обыкновенная комната ее, и вправду стала святой, потому что там за столом сидит писатель и пишет. Как мог я в первый же вечер не заметить этого, не вдуматься в те слова, что она сразу, прямо как на седьмом небе, сказала тогда:

— Ой… в нашем доме… писатель!..

Я стал вести себя как раскаявшийся грешник. Отдалился. Даже в мыслях не позволял себе ни одного лишнего взгляда в ее сторону. Она же, напротив, с каждым разом все больше, искала сближения со мной. Она становилась раз от раза приветливей, разговорчивей. Нежная грусть в ее ямочках еще больше оттенялась. Что-то, видно было, давит ее. Что-то она переживает. У нее есть сейчас здесь, в доме, под рукой, как раз тот, перед кем можно выговорить душу. Как раз тот, кто, возможно, сумеет ей все объяснить.

Она стояла возле меня и говорила, опустив глаза. Стыдливые? Застенчивые? Может, виноватые? А может, просто влажные — чтобы опущенные веки прикрыли влагу.

Мне было неловко, что она стоит, а я сижу. И мне неловко было, что я тоже каждый раз опускаю веки по одной-единственной причине: я сижу перед блюдцем с творогом, рядом с блюдцем стоит стакан молока, еще утро — я сижу и завтракаю.

И я, разумеется, отодвинул от себя блюдце, вытер губы Надиной салфеткой, встал и слушал ее тоже стоя. Она рассказала, что у нее есть подруга. Дружили они с малых лет. Вместе окончили в селе школу. Потом, в старших классах, они носились с мечтой поехать вместе учиться на врача. А она, Надя, вдруг влюбилась. Он как раз тогда вернулся в колхоз, окончил только что ветеринарное училище. Это была такая большая любовь, что величайшая и прекраснейшая мечта выглядела против нее мелкой и незначительной. Они поженились. Она родила ребенка, родила

второго. Подруга сейчас — глазной врач в сорокской больнице. Когда Надя приезжает иногда в город, она боится по городу ходить, боится встретить подругу… Ей стыдно. Она чувствует себя вроде как виноватой и стыдится своей вины. А когда они встречаются изредка на улице, подруга так рада ей! Обнимает ее, целует. Приглашает к себе. Разговаривает очень ласково.. И от этих слишком ласковых разговоров, от этого сочувствия подруги домой она возвращается вконец расстроенная, вваливается в дом с рыданиями. А он, ее муж, этих рыданий не понимает. Это все потому, говорит он ей, что она его больше не любит. Любовь ее, говорит он, выдохлась.

— А может, оно действительно так?… — очень осторожно спросил я.

— Ох, если бы это было так. Но оно же ведь как раз не так. Ничего же ведь не выдохлось. Те первые чувства были такими сильными, такими богатыми, что хватить их может на всю жизнь. И хватает. Ими я живу. Ими я дышу. Ну а две дочурки наши? Вы видели? Они же — копия отец. Наоборот: часто они еще сильнее, мои чувства к нему. Конечно, а как же. Наверно, в три раза сильнее. И все-таки часто бывают у меня такие минуты, что схватила бы детей и убежала б от него куда глаза глядят…

— Что, он больше не любит?

— Нет. Любит. Во всяком случае, он мне тысячу раз повторяет это — после того, как мы миримся. Целует меня; обнимает, ну точно как в наши первые счастливые дни. И это после того, как он только что обозвал меня худшим словом, каким зовут самую низкую женщину. Я лежу и плачу. Как ты можешь, говорю я, так меня называть? За что? Ты ведь хорошо знаешь, какой честной и чистой ты меня взял. Ты же видишь, говорю я, как я веду дом, как слежу за детьми, как я работаю, как я предана тебе и как я тебя люблю. А ему достаточно только опрокинуть лишний стакан вина. «Ничего не знаю, — говорит, — и знать не хочу. Я знаю только, что ты мне изменяешь». — «Откуда ты это взял, — говорю, — за что ты меня так обижаешь? Чего вдруг приходят тебе в голову такие сумасшедшие мысли?» — «А, — говорит, — знаю, я это знаю очень хорошо. Если ты могла, — говорит он, — променять свою учебу, свою медицину любимую на меня, на мужчину, — значит, ты можешь изменять своему любимому мужу с первым встречным идиотом». Такой ненормальный. И опять называет меня этим словом…

Опущенные Надины глаза ничего уже спрятать не могли. Она отвернулась и, как ребенок, вытерла глаза обеими ладонями. Не чувствуй я себя раскаявшимся грешником, я бы к ней, возможно, подошел, успокоил бы ее, может, даже погладил бы по голове. Но

я стоял и ждал. Наконец она снова повернулась ко мне и спросила:

— Скажите мне, пожалуйста, почему еще и сегодня, в наше время, называют такие вещи судьбой? Судьбой человека. Может, потому, что в жизни случается иногда такое, что от тебя не зависит? Такое, что тебе суждено?..

— Мы же говорим: твоя судьба в твоих собственных руках… — ответил я ей коротко.

Больше она ни о чем не спрашивала. В то утро, помню, я долго сидел у стола, пока взялся что-то делать. Я думал о том, что ответ мой был слишком поспешным и нетактичным. Эта простая деревенская Надя знала такой ответ сама. Иначе она бы не жаловалась, то, что суждено ей в жизни, принимала бы она легче, проще. От меня, наверно, ждала она каких-то других объяснений.

Таких объяснений, каких у меня и у самого нет.

Хочу закончить эту главу любопытной историей об одной маленькой новелле, которую я написал тогда в Косоуцах, в доме ветеринарного фельдшера.

Даже не о всей новелле, а только о конце ее. Об «изюминке», как это называют, без которой новелла не может, я считаю, называться новеллой.

И хочу при этом снова вспомнить моего земляка, Фройку Рехтмана. Эта «изюминка» подвернулась мне на сей раз именно благодаря ему, провинциалу, сухому, можно сказать, бухгалтеру.

Председатель колхоза очень хвалил мне одну молодую кухарку из тракторной бригады. Он расхваливал ее преданность, честность, говорил, что каждое самое маленькое дело, которое она делает, делает она с любовью. «На редкость скромная девушка, — сказал он. — О такой девушке надо бы что-нибудь написать. Сходите, познакомьтесь с ней. На такую девушку писатель должен взглянуть».

Я описываю в новелле, как подымаюсь к тракторной бригаде по виноградному склону. Каждый раз я останавливаюсь, оглядываюсь назад и все наглядеться не могу на родные пейзажи, что остаются внизу, становятся все дальше и, потому что все дальше, — все красивее. Все село — как на ладони. Напротив — городок Ямполь. Днестр посередине со своей мелкой рябью, блестящей, как рыбья чешуя, серебрится на солнце. Я подымаюсь и думаю, что председатель слишком уж что-то хвалил эту Аникуцу. Новеллу я так и назвал: «Аникуца».

Короче. Девушка, далеко не красивая, маленькая и худенькая, стояла, повязанная фартуком, чистила картошку, шинковала

капусту, носилась, раскрасневшаяся, вокруг кипящих котлов, мыла тарелки, выносила ведра помоев, то есть делала самую будничную на свете работу, какую только можно представить себе в наше время для молодой девушки. Времени постоять со мной подольше и поговорить у нее не было. А когда она услышала, зачем я сюда пришел, полыхающие щеки ее заполыхали по-настоящему. Буквально несколькими словами выложила она передо мной всю свою биографию. Самая короткая биография, какая только может быть. Она работает в колхозе. Она и ее мама. Отца у нее нет. Он ушел на войну, когда она была еще совсем маленькая, и не вернулся. Зимними месяцами она — доярка на ферме. Но как только на дворе становится чуть потеплее, приходят сразу трактористы и требуют ее обратно сюда. Они требуют сюда ее и только ее.

Я смотрел, как через оконце выдает она трактористам миски борща, тарелки с картошкой и кусками мяса. Я искал любовь, которую, как говорил председатель, она вкладывает в любое дело. Ничего особенного. Обыкновенно. Можно, конечно, что-то придумать. Можно, к примеру, сказать, что народ чувствует особый вкус не только в еде, которую она для них готовит, но даже в том, как она подает им эту еду. Но ведь это будет чистой выдумкой. И вообще, чего ради выдумывать, придумывать?

Послышалось, как снаружи, у двери, остановилась телега. Аникуца поставила в корзинку кастрюлю борща, миску мяса с картошкой, в две бутылки налила молока, вымыла и принялась вытирать стакан, сказала мне походя, что у нее еще два тракториста на силосе, вот и посылает она им туда обед на телеге.

Она терла стакан, терла, глядела в него каждый раз на свет. И в это мгновение пришел мне на ум рассказ моего земляка, Фройки Рехтмана. Одно только слово «дача» — и сразу все стало ясно про аптекаршу Клару Финкель в гетто.

В новелле я написал такую строку. Когда я прихожу к моей маме и моя сестра угощает меня чаем, она точно так же протирает стакан и точно так же проверяет его каждый раз на свет.

Снаружи послышалось, Аникуца кричала на ездового:

— Чего расселся тут, зеваешь? Трогай! Обед стынет!

И когда потом она снова показалась на пороге, я увидел в этой далеко не красивой махонькой девушке что-то от красавицы, что-то возвышенное. Больше того: что-то от сестры.

Новеллу я напечатал потом в журнале. Не скажу, что это одна из моих удачнейших вещей. Помню только, что когда писал ее, подумал: учиться писать можно иногда и у простого смертного,

который к тайнам писания никакого отношения не имеет. То есть даже у бухгалтера, который будто бы только и умеет, что высчитывать дебет-кредит.

3

Напротив, в местечко Ямпеле, или в город Ямполь, как он уже сейчас называется, я переплывал на пароме посидеть немного в ямпольском читальном зале (косоуцкий клуб и библиотеку как раз в те дни ремонтировали), познакомиться с ямпольцами и, само собой, посмотреть этот Ямполь — это же название, которое запечатлелось в моей памяти в те еще совсем ранние детские годы.

Крутый, Ямпеле. Названия этих двух украинских местечек на том берегу Днестра звучали в нашем доме чаще и обыденней, чем, скажем, названия ближайших соседних бессарабских местечек Капрешты, Флорешты, Маркулешты.

Мы, дети, даже пели слово Крутый в той песенке про бочонок пива, который отец приедет и привезет:

Наш отец поехал на ярмарку в Крутый.
Что привезет он? Бочоночек пивка.
Где мы поставим бочонок? За дверь.
Кто будет пить пиво? Я и ты.

Пива мы никогда не пили. Бочонка пива — никогда не видели. На ярмарку в Крутый отцы наши никогда не ездили. Днестр был уже тогда закрыт: стал границей меж двух миров. Но песенку мы пели. И наполняла эта песенка наши детские сердечки и игрой, и тоской.

Ямпеле мы ощущали как-то сказочно. Только в красивой сказке может городок называться так красиво. Узкие извилистые улочки. Резные островерхие теремки. Гномики с кистями на колпаках, скачущие на деревянных лошадках. Свистящие глиняные петушки, уточки, собачки. Городок — игрушка. Игриво-радостно от одного лишь повторения: Ямпеле, Ямпеле, Ямпеле.

Паромом жители Косоуц переправлялись в Ямполь на базар. Днестровский ветерок трепал цветастые платки. Женщины с корзинами яиц, с кусками масла и творога, укутанными виноградным листом, корзины слив и винограда, яблок и груш. У перил — два мотоцикла. Посередине парома — даже легковая машина с пассажирами.

Народ высыпал с парома на ямпольский берег, укоротил себе

путь наверх, в город, по узкой тропинке, вытоптанной в пожухлой траве. Я не торопился. Наверху я сразу свернул в первые же прибрежные ямпольские улочки. Шагал не спеша, все наглядеться не, мог на знакомо-резные крылечки домов, на крашеные наружные ставенки на окнах. Действительно сказочно, как в детстве, слово «Ямпеле».

Улочки эти были, наверно, когда-то портновскими улочками или улочками сапожников. За войну они, естественно, сильно поредели. Здесь домик, там домик. Собственные, дедами еще, наверно, строенные. Остались, наверно, стоять полуразрушенные, без крыш, без окон и дверей. Видно, восстановленные. Отремонтированные, отделанные, украшенные. На крылечке о двух ступеньках сидели, помню, старик со старухой. Сидели друг возле друга молча, просто так вышли посидеть на воздухе, сидели и отдыхали. Где-то в открытом дворе играли дети. Женщина звала мальчика обедать, кричала, надрываясь: «Яша, я тебе говорю!» На пороге стоял и выглядывал наружу старичок с очками на лбу и с сантиметром на шее.

Я посидел в читальном зале. Город по дороге сюда я уже посмотрел. Прогулялся по широкой и шумной центральной улице. Действительно город. Не намного меньше Сорок. Не крохотное местечко Ямпеле, как крохотно осталось оно с детства в моей памяти.

На центральной улице, у книжного киоска, стояли двое и разговаривали. Тот, кому я посвящаю эту главу, одет был в синий плащ, носил черный галстук, темно-синюю шляпу на голове. Человек уже в возрасте, но прямой, высокий, статный.

Когда я рассказываю иногда об этой встрече, я говорю, что он меня сразу узнал, узнал по фотографии, что напечатана была в первом номере нашего журнала. Хотя по одной только журнальной фотографии, даже если долго в нее вглядываться, нельзя еще так сразу узнать. Тем более что на фото я был чуть более молодым и напечатано оно было, как обычно, чуть подретушированным. Произошло, наверно, так. Я глянул на него, он глянул на меня, и я, помню, действительно подумал, что, наверно, это наш читатель. Он поднял руку и пальцем указал на меня:

— Кажется, я вас откуда-то знаю.

— Наверно, из журнала, — сказал я.

— Друг мой, так что же вы молчите? Надо же! Ну конечно.

И он назвал мое имя. Назвал, видно, совершенно случайно. Имена всех авторов в номере, от первой до последней страницы, он хорошо помнил. В этом я убедился позже. Он даже схватил меня и крепко обнял.

— Ты смотри. Так вы, значит, здесь, у нас, и никто еще даже не знает.

— Я напротив. В Косоуцах я.

— Почему вдруг там? Что, негде, боже упаси, здесь жить? Где вы хотите, где душа ваша пожелает. У моего зятя стоит пустой дом, дворец, не дом. Милости просим!

— Нет, — сказал я, — я, собственно говоря, нахожусь сейчас в Сороках. В командировке от нашего молдавского Союза писателей. Заехал на несколько дней и сюда напротив, в косоуцкий колхоз тоже. И уже перебрался к вам, глянуть на ваш Ямпеле.

— Подождите. Давайте сначала представимся. Зовут меня Ройзман, я все годы был учителем. Еще Овсей Дриз учился у меня. Когда я жил в Красном. Вы же знаете, что Шике Дриз из Красного. Городок возле Винницы. Он еще малышом подавал большие надежды. Голова у него была исключительная. Вы его знаете? Вы же бываете, наверно, в Москве. Что он делает, Шикеле?

— Он — один из лучших наших поэтов… Его очень уважают, Дриза.

— Да. Знаю. Все его детские книжечки есть у нас в доме. Мне таки очень приятно. Наша дочка просто влюблена была в его книжки. Она знала его стихи наизусть. Тоже была учительница, моя дочь, царство ей небесное.

Он вдруг тяжело вздохнул, выхватил из кармана платочек, взял меня потом под руку:

— Прошу вас, друг мой: вы должны ко мне зайти, хоть на полчаса. Не сейчас. Мне нужно сначала старушку мою подготовить. Завтра. Приезжайте, пожалуйста, завтра. Приходите к нам на обед. Ох, друг мой, уже скоро год, как случилось у нас большое несчастье. Дочка была — сокровище. Весь город ее любил. В Виннице ее знали. Одна из лучших учительниц во всей области. Тяжелые роды. Два профессора ее спасали, и ничего не помогло. Ребенок остался жив, а ее уже скоро год, как нет. Крошку взяла моя вторая дочь, тоже учительница. Оба зятя — тоже учителя. И старушка моя тоже все годы была учительница. Несколько лет назад получила звание заслуженного учителя Украины. Целая семья учителей. За гробом моей дочки шли все ямпольские школы. Приехало даже несколько школ из окрестностей. Что вам сказать, друг мой? Человек таки крепче железа. Я как я. Мужчина. Я уже, как говорится, взял себя в руки. Но она, старушка моя, не может этого вынести. Она еще по сей день, можно сказать, из дома не выходила. Сидит целыми днями в нашей спаленке и стонет, и плачет, и вздыхает. Я вас прошу, вот

увидите, я чувствую, что именно вы будете, как говорится, нашим спасителем. Она же всю свою жизнь была учительницей литературы. Что вы говорите — такой гость в доме! Вы мне вытащите мою старушку из спаленки. И я просто очень хочу, чтоб вы у нас были. Чтобы вы Шике могли передать привет. А как же? Если б не несчастье наше с дочкой, думаете, я бы вас так вот отпустил? Вам бы ничего не помогло. Вы бы уж пошли сегодня ночевать к нам.

Я записал адрес и назавтра снова переправился на пароме. Я шел и думал, что затея эта — «вытаскивать», как Ройзман это назвал, горюющую мать из ее траурной спальни — затея, разумеется, наивная. Но в том, как по-детски он меня об этом просил, и в том, как по-детски наивно верил в то, что я в силах это сделать, видел я беспредельную доброту. Ощутил величайшую награду, какую писатель, больший или меньший, может получить от людей за то, что он носит имя «писатель».

Кроме того, я подумал, что принести каплю утешения кому-нибудь, доброе чувство — это, в конце концов, тоже одно из тех деяний, для которых призвана литература.

Позже, в новелле, именно предназначение литературы имел я, конечно, в виду, вкладывая в уста деда Зусие такой наказ маленькому черноглазому внуку его: «Иди. На пустой желудок или на сытый желудок, иди, и будь своим человеком во всех наших домах. Заставь грустные лица улыбаться, появись на цыпочках у детских постелек в оспу и в корь. Иди, и да сопутствует тебе удача!..»

В город я поднялся опять по прибрежным улочкам. То ли сам Ройзман, то ли второй человек, который стоял вчера с Ройзманом у книжного киоска и разговаривал — кто-то из них двоих уже, видно, сообщил в городе, что приехал человек из нового журнала. Вчера я ходил и рассматривал улочки, сегодня же на улочках рассматривали меня. Еврейка у ворот даже крикнула в глубину дома:

— Иди скорей! Вот они идут!

Это особо уважительное обращение «они» я, разумеется, воспринял не только на свой счет. Я услышал это как символичное: вот они идут, еврейские советские писатели, еврейская советская литература.

С таким же чувством вошел я и в дом к Ройзманам. Ройзман, наверно, увидел меня через окно, широко распахнул передо мной дверь, с поклоном пригласил войти. В доме царила та тишина, при которой хочется ходить на цыпочках. На столе уже стояла полная фруктовница. Меж яблок и груш поблескивали синим глянцем сливы, свешивались гроздья винограда, такого

прозрачного, показалось мне, что в каждой виноградинке виднелась каждая косточка. Из-за тишины фруктовница с плодами выглядела как нарисованный натюрморт. Ройзман и вправду ходил на цыпочках. Старушка его, мадам Ройзман, сидела уже, представьте себе, в гостиной. Вышла, получается, из своей спальни еще до того, как я ее оттуда вытащил. Она сидела у стола в мягком кресле, укутавшись шалью. Голова вся белая, грустное, еще очень милое и умное лицо, высокий, исчерченный морщинами лоб, очки на глубоко посаженных, немного строгих, на первый взгляд, глазах. Очень милая старушка. Ройзман на цыпочках крутился вокруг жены, и довольный, и осторожный, чтоб чем-нибудь не напортить, как крутятся вокруг ребенка, которого с трудом уговорили принять ложечку лекарства. За ее спиной он делал мне знаки, чтобы я, боже упаси, ни слова не упоминал о дочери. Потом он выложил мне на блюдце яблоко из фруктовницы, пододвинул нож, чтобы я его очистил. А когда жена Ройзмана сказала мне: «Возьмите, пожалуйста, попробуйте!» — он и сам стал чистить яблоко. Из-под его пальцев заструилась узкая, все длиннее и длиннее, лента кожуры, улеглась на столе завитками как-то удивительно красиво, удивительно мило. Он насадил очищенное яблоко на кончик ножа и подал его ей, своей старушке.

— Ай, — сказал он, — я забыл вчера попросить вас, чтобы вы захватили с собой что-нибудь свое и почитали нам.

Мадам Ройзман тоже кивнула.

— Я могу почитать вам из тех вещей, что есть в журнале. Читать вслух я как раз очень люблю. Но вы ведь уже эти вещи, конечно, читали? — глянул я на жену Ройзмана.

— Нет-нет, — ответила мадам Ройзман, — нам будет очень интересно слышать самого автора.

Ройзман положил возле меня журнал. Я читал. Читал громко, со всеми нюансами, со всеми ударениями в каждом слове, читал с удовольствием, как всегда, но тогда, помню, — видя, как Ройзман слушает мое чтение, открыв рот, поглядывает каждый раз на старушку свою, верит, видимо, что благодаря моему чтению она забывает немного свою печаль и грусть исчезает с ее лица хоть на несколько мгновений, — с особым удовольствием.

Позже зашел в дом зять Ройзманов. Потом — их вторая дочь, та, что взяла сиротку-грудничка к себе. Ройзман познакомил меня с ними, представил. И хоть они знали уже, кто этот гость, смотрели они все время на нее, на маму, удивляясь, наверно, что она сидит сегодня здесь, в гостиной, у стола, где не сидела уже давно, говорит сегодня более громким голосом, как давно уже не говорила, говорит о литературе, перечисляет имена писателей,

рассказывает, что когда-то в Киеве она лично познакомилась с Ициком Фефером, что Павло Тычина сам на читательской конференции подарил ей свою книжку с автографом — они не раз слышали все это, но уже так давно, скоро год, очень длинный год, она о подобных вещах не говорила.

Мы пили потом чай с вареньем. Я сидел в доме у Ройзманов добрых два часа. Когда я собрался уходить, Ройзман стал приглашать меня на будущее лето приехать с семьей сюда, к ним, отдыхать. У зятя стоит пустой дом, «дворец, а не дом», — сказал он мне тихонько, чтобы старушка его не слыхала.

Он проводил меня до самого берега. По дороге несколько раз повторил:

— У нее сегодня был хороший день, у старушки моей!

Мы распрощались. Я взошел на паром, а он махал рукой мне вслед. Напротив, на косоуцком берегу, я оглянулся, захотел еще раз, издалека, посмотреть на этого старого доброго учителя. Поискал его глазами где-то наверху, на ямпольской горе. Но Ройзман все еще стоял внизу, у Днестра, и махал, и махал мне рукой.

У хорошего дня был еще потом и хороший вечер. Вечер, который затянулся до поздней-поздней ночи.

Косоуцкие хозяева мои, Надя с мужем и две их дочурки, сидели на улице, на скамье у своих ворот, и очень обрадовались, когда вдруг увидели меня.

Обе девочки были свежевыкупаны, красиво причесаны, с лентами в косичках, на ногах носочки и новые туфельки, на обеих одинаковые платьица в складочку. Надин муж — в черном костюме, в белой рубашке. Надя — с уложенными волосами, в крахмально вздувшейся блузке, лицо, кажется, даже чуть припудрено. Буднично, проще — она выглядела красивей.

— Мы уже целый час сидим здесь наряженные и ждем вас. Мы хотим, чтобы вы пошли сегодня с нами на наш семейный праздник, сегодня маме Николая исполняется семьдесят четыре года. Коля, говори ты. А то прямо слова сказать не можешь!

Ветеринарный фельдшер, Николай Васильевич, как звало его село, был, кажется, вообще не из любителей много говорить. За эти несколько дней мы с ним всего два или три раза перекинулись не больше чем двумя-тремя словами. Медленно, с расстановкой, он начал:

— У нас давно уже так заведено, еще с тех пор, когда маме исполнилось шестьдесят. В ее день рождения мы всегда собираемся, все пять братьев, и устраиваем ей небольшой праздник. А братья нам наказали, чтобы мы без вас и не думали

приходить.

— С огромным удовольствием, — ответил я. — Но вот так вот? Не одетым? Вдруг? С пустыми руками?

— Вы одеты, — ответила Надя, — как еще нужно особенно одеваться? Разве в этом дело? Букет цветов мы сейчас нарвем. И если вы сами преподнесете маме цветы, для детей это будет большая честь.

— Знал бы я раньше, я бы хоть бутылку шампанского взял напротив.

— Мы и сами точно не знали, — сказал Николай Васильевич. — Мы думали — в воскресенье. Но братья и золовки хотят именно сегодня, именно в день ее рождения. Все очень хотят, чтобы вы тоже были. Мы вас просим! Буфет еще открыт, мы можем зайти по дороге и купить шампанского там.

Пятерых братьев в селе звали братья Кетрару, Кетрару — такая у них была фамилия. Кетрар — по-молдавски каменотес. Кроме Николая, самого младшего из братьев, который пошел совсем по другому пути, стал фельдшером, да еще и не простым фельдшером, а ветеринарным, остальные четверо братьев действительно были мастера по камню, каменотесы в косоуцком каменном карьере. Семейная, получается, специальность. Наследственная, из поколения в поколение: даже фамилия как специальность. Косоуцкий камень в наших краях славится. Его так и называют: косоуцкий камень. Серовато-белый и твердый, как гранит. Когда-то из него тесали надгробья, придорожные кресты, карнизы вокруг барских домов. Сегодня из косоуцкого камня вырубают орнаментные плиты для украшения по фасадам цоколей зданий, плитку, чтобы замостить площадь вокруг памятника, выложить красивые дорожки в парках, у клубов. Двух братьев Николая, Штефана Кетрару и Иона Кетрару, я уже знал. В карьере меня как раз к ним — к лучшим мастерам, сказали мне, — подвели посмотреть, как работает каменотес. Я смотрел на их грубо тесанные, запорошенные каменной пылью лица, на напряженную внимательность к молоту и резцу в их руках, на готовые каменные плиты, сложенные друг на друга в штабеля до самого верха, выше головы мастера, и тогда, помню, отметил: зовут их Кетрару, стоят они за работой высокие, скально-величественные, сами выглядят как живые монументы — монументы каменотесам. Кроме косоуцкого камня славились Косоуцы еще одним: косоуцким хором. Тоже, наверно, передаваемая из поколения в поколение народная традиция в этом селе. Почти в каждом доме висела на стене фотография хора. Это значит, кто-нибудь в доме в этом хоре пел. Когда-то дед или сейчас внук, а может, сейчас и дед, и внук. Фотографии

старые и фотографии совсем-совсем новые. Хористы на фотографиях были каждый раз другие, хор — всегда тот же: косоуцкий хор. Среди хористов можно было увидеть старика с широченной белой бородой; старуху — всю в морщинах; молодого человека, наверно, баса, с опущенным кадыком и черными закрученными вверх усами; женщин, девушек, даже несколько детей можно было увидеть на фотографиях. Но большей частью — супруги вместе. Был у мужа красивый голос, так и у жены тоже был красивый голос, наверно, так и паровались по признаку, умеют петь или не умеют петь. Штефан Кетрару и Ион Кетрару, сказали мне, поют оба в хоре вместе со своими женами. Этих двух братьев я видел собранно-углубленными, с каменной пылью на скально очерченных лицах у косоуцкого камня. И я представил их себе собранно-углубленными, с тишайшим пианиссимо на губах в косоуцком хоре. Сейчас всех братьев вместе я видел, можно сказать, дома. Видел самое наиизысканнейшее — любовь к матери. Я не говорю уже о накрытом столе. Пять невесток, одна другой не намного старше, не меньшие, конечно, хозяйки, чем самая младшая, Надя, умеют красиво накрыть стол. Но в этом разве дело? — как перед вечером сказала Надя. Хотя блюда, особенно чисто молдавские, можно было бы и вспомнить: например, «плачинты», начиненные мясом, брынзой или картошкой со шкварками, которые прямо таяли во рту. Или отбивные, «костица», как у нас их называют, жаренные исключительно на древесном угле, перченые и начесноченные, «мэмэлигуца», которую попозже выкинули на круглую дощечку, нарезали ниткой, подали с блюдцами растопленного масла и тарелками размятой брынзы, уже не столько, наверно, для сытости, сколько просто ради колорита, а может, даже и ради меня, городского гостя — все-таки редкость такая мамалыга. Я не говорю уже о ровно семидесяти четырех свечках, воткнутых одна возле другой в круглый торт на самой середине стола. Свечки зажгли. Торжественное зажигание свечей предоставили старшему брату, Константину Кетрару. Язычки пламени заиграли один за другим на его лице. Затем все вместе, показалось мне, стали они играть вокруг маминого лица. Игра между светом огонька и морщинами, светом огонька и материнской радостью. Подрагивающие язычки вычерчивали на ее лице годовые кольца, как на дереве. Год — кольцо, кольцо — год. Больше семи десятков горящих свечей. Надя с золовкой ушли в другую комнату укладывать детей. Я спросил бабушку, почему здесь нет ее старших внуков. Она взмахнула руками, как крыльями. В смысле — разлетелись. «Ла ынвэцэтурэ!» — сказала она. Это значит: на учебе. Уже и в самом деле пошли первые дни

сентября — начало учебного года. Я рассудил, помню, так: то ли в семье Кетрару не будет со временем каменотесов, то ли, наоборот, — к их вековому фамильному ремеслу каменотесов добавляется сейчас то, что называется «ынвэцэтурэ». В памяти моей запечатлелся тем вечером навсегда еще один обычай выражать почтение матери в этой простой семье каменотесов. Все пятеро братьев сплели руки, посадили на это сиденье из рук свою старую маму и вот так, играючи, считая, поднимали ее раз за разом вверх. Невестки смеялись, прихлопывали. Их маленькая мама сидела на больших руках своих сыновей как ребенок. Из сморщенного маленького рта ее вырывался всякий раз тихий испуганный вскрик, когда ее поднимали, и детски-радостный смех, когда ее опускали. А сыновья все качали и качали маму вверх и вниз. Ровно столько раз, сколько лет ей исполнилось. И мне казалось: только вверх. Раз от раза все выше и выше. До самой-самой высокой ступени. Больше семи десятков лестничных ступеней. Я тогда, помню, подумал, что именно здесь, среди простых людей, каменотесов, тружеников, раскрывается сегодня вечером самое человечное, что есть в этом обычнейшем слове: мама. Два-три года спустя мы с молдавским поэтом Григорием Виеру провели вдвоем месяц в начале лета в прикарпатском лесу где-то возле Яремчи. Мы жили в двух деревянных гуцульских лесных домиках, сидели и работали. Я тогда написал там рассказ «Шолом Ханахес». Целую неделю почти каждый день шел дождь. Вот перестал, вот опять пошел. По утрам мы гуляли в мокро-сочной траве, подставляли губы под капли дождя, свисавшие с листьев. Блеснуло солнце, раззолотило мокрый лес, а несколько мгновений спустя снова начали хлестать меж деревьев косые плети дождя. Кто не любит стоять у окна и смотреть, как на улице идет дождь? Виеру сказал мне, что такой необычный дождь, со столькими красками, с такой тоскливо-мелодичной грустью, в таком густом сосновом лесу заколдовывает его, входит сам в его домик, косо хлещет на стол, сам, без него, без поэта, становится стихами. Несмотря на это, стихов о дожде Виеру тогда не писал, а наколдовал там в лесу свой лучший цикл стихов: стихи о маме. Простые сердечные стихи о простой старой деревенской маме. Я помнил тот косоуцкий вечер среди братьев-каменотесов и понял поэта. Нас в нашей семье тоже четверо братьев. Мы тоже собираемся все с женами в праздничный день в доме нашей старой мамы. Четыре золовки и три сестры мои тоже, слава богу, умеют накрыть стол. Наша мама уже старушка. Запавший рот, иссохшие, сморщенные щеки, глаза, наполненные горечью и кротостью, милая радостная говорливость. Она тоже сидит среди нас всегда во главе стола, на самой-самой верхней ступеньке. Но

не знаю почему, в тот косоуцкий вечер не пришли мне на ум наши семейные праздники, а наоборот: всегда после, когда мы собираемся в праздничный день у нашей мамы, я вспоминаю тот косоуцкий вечер. Во всяком случае, два этих совершенно различных обычая выражать почтение матери перемешались, слились воедино. День тогда напротив, в Ямпеле, у старого учителя Ройзмана, и вечер потом допоздна у братьев Кетрару, тоже, помню, смешались, слились в одно и то же ощущение человеческой доброты. Двое братьев, Штефан и Ион, с обеими их женами стояли все четверо выпрямившиеся, важные, как стоят они в косоуцком хоре, глаза их смотрели все время на мать, и в четыре голоса они пели ей, их старой маме, хоровую песню. Старушка сияла, даже пустила слезу. Не первый, конечно, раз за этот вечер. Все подхватили песню. Я — тоже. Я стоял, помню, и пел, а в голову мне лезли, как шолом-алейхемовский Тевье-молочник говорит где-то, какие-то странные думы и мысли. Мысли как раз о его, Тевьиных когдатошних вопросах. На старый вопрос: «Бог создал всех людей равными» я подсказал тогда Тевье еще доказательство. Возможно, наивное. Но тот вечер очень растрогал меня. Эта одинаковая любовь у всех — у городских и у деревенских, у белых и у черных, это великое чувство у всех добрых, разумеется, людей на всем белом свете к этому самому наипростейшему, самому наиобычнейшему слову:

— Мама!..

В деревенских дворах начали уже кричать петухи. Николай и Надя оставили спящих дочек у брата. Втроем мы шагали по тихой предутренней деревенской улице. Признаюсь: капельку я был опьяневший. Но ни на йоту не стыжусь я этой редкой капли опьянения. Мы все втроем шли и, представьте себе, продолжали петь.

Я тоже хотел считаться записанным в косоуцкий хор.

4

Последние два дня я снова жил один в комнате, в сорокской гостинице.

Первые дни сентября навевают какую-то особую тоску, недовольство собой, думы о том, что сколько ты ни делаешь, делаешь недостаточно.

Сорокские улицы сразу стали многолюдней и шумнее. Съехались студенты. Сновали вверх-вниз школьники и школьницы со своими ранцами на плечах.

Каждый ученик встал сегодня, может быть, раньше тебя,

носит на плечах своих более тяжелое и более нужное.

В воздухе пахло спелостью, на каждом шагу труды и заботы.

Только вчера-позавчера солнце, кажется, еще палило, от него еще прятались в тени. Сегодня, можно сказать, лишь ночь прошла, от одного знания, что уже сентябрь на дворе, чувствуешь, как оно греет своим ласковым теплом, ищешь лицом ласкающих лучей его.

Да и просто заскучалось уже по дому. Месяц в дороге уже и в самом деле кончается, казалось, однако, что начался он уже очень-очень давно.

Я ходил по сорокским улицам и улочкам просто так, прощался с ними.

Наверху, на «горе», в цыганских улочках, я стоял окруженный кольцом из цыганских мальчишек и девчонок. Я записывал цыганские имена, пару слов по-цыгански; может, потом оно мне пригодится. Я задал детям банальнейший из вопросов, что детям задают: кем каждый будет, когда вырастет. Глазки-уголечки загорелись. Кольцо цыганят замерло вкруг меня с крыльями у плеч: певцы, танцоры, летчики, инженеры, учителя.

Я зашел в редакцию попрощаться с Исааком Соломоновичем Фрахтом. Полный человек с добрым полным лицом встретил меня, по своему обыкновению, с тем же своим милым широким гостеприимством. Но на этот раз я его надолго не задержал. Что-то неудобно мне было сидеть сентябрьским днем просто так, бездельничая, казалось мне, возле человека, заваленного работой, и просто так разговаривать.

На улице я встречал новых знакомых и старых знакомых. С новыми знакомыми прощался. А с парой как раз старых, прежних знакомых только сейчас, в последний день, вдруг увиделись, обнялись: «О, столько лет! Гора с горой… А?»

Спустился к Днестру. Постоять немного в последний раз, полюбоваться старой Сорокской крепостью. Невысокие днестровские волны поплескивали о старую каменную стену. Почудилось, что очень старая река и седая крепость рассказывают друг другу истории. Мимо мертвых окаменевших стен, что стоят неизменно мертвыми уже века, беспрерывно текла жизнь, иногда затухала, сразу вновь разгоралась, текла, менялась, оживала, живет. На седовато-желтых каменных стенах, как на пожелтевших страницах летописи, запечатлелась живая жизнь. Наверху, между острыми зубцами стен, шумели птицы. Сколько десятков птичьих судеб прошумело уже на этих старых стенах. Днестровские волны все омывали берег и все мчались дальше. Я стоял и высчитывал, через сколько часов эта же самая волна, где-то ниже, недалеко отсюда, ополоснет или, красиво говоря, поцелует то именно

место, где я родился, где прошли мои детские годы, где жили мои деды и прадеды. С волнами передал я и свой поцелуй. Те же самые волны. Тот же самый Днестр. Мой дом. Моя река. Даже моя старая крепость. Возможно, как раз тогда и родилась во мне мысль возвести моему маленькому днестровскому местечку такие же летописные стены: мои последующие «Рашковские истории».

Сорокская крепость, казалось мне, стоит и дышит на город историей. Быть может, поэтому и творится то же самое со всем повседневным, что происходит в городе сегодня, что за последние десятилетия, за мое поколение произошло, — оно тоже дышит историей.

Я прочел на стенах-летописях несколько свежих строк, что вписало мое поколение. Несколько строк, которые мне знакомы. Сорокская молодежь. В тридцатые годы к этим двум словам ничего не надо было добавлять. В городе улица носит имя Изи Моргнштерна. Моргнштерн подпольно организовывал сорокскую молодежь, руководил ею. Я его хорошо знал. В сороковом году он был председателем Сорокского горсовета. Даже в самые опасные дни оккупации в Сороках работала подпольная молодежная организация. Моргнштерна фашистские изверги страшно пытали. Замученного, уже полумертвого, его повесили.

Сорокские товарищи — возможно, правнуки своих предков, сожженных на кострах инквизиции, — поехали помогать испанскому народу бороться с фашизмом. Я вспоминал героические истории об испанских боях, которые часто рассказывал мне Жак Свет, майор Интернациональной бригады, сын простого сорокского меламеда, сосед мой сегодня в Кишиневе.

Сороки даже удостоились во время войны называться столицей Молдавии. В те месяцы, когда Сороки были уже освобождены, а в Кишиневе еще бесчинствовали фашистские оккупанты.

Короче, с какой стороны ни глянь — милый уголок Сороки.

Пер. Ю. Цаленко.

УЗБЕКИСТАН — 42

I

Завлекательный заголовок никогда еще никому не помог. Хотя название произведения — иногда ключ к нему. Но великие не бренчали ключами — войди, милый читатель, в открытую дверь — просто, не задумываясь, как к себе домой. Мою новеллу я назвал, что видно невооруженным взглядом, проще простого. (Но не потому, что так учили великие.) Учиться у титанов вовсе не значит подражать им. Попытайтесь пойти по их стопам, но это не дает никаких гарантий, что вы тоже станете великим.

Мою узбекистанскую связку новелл «Три лета» я еще не довел до конца. Полагаю, она так и останется незаконченной, как никогда не найдут завершения мои «Рашковские истории», да и многое другое… «Завершить, — как-то сказал Пикассо молодому художнику — своему ученику, — значит испортить». Во всяком случае, на мой вкус, без конца как-то жизненнее, естественнее…

Несмотря на это, я чувствую, что в моих «Трех летах» чего-то не хватает. Что-то там не дописано, не досказано. К «Тевье-молочнику» Шолом-Алейхем, как известно, то и дело возвращался. И если бы он жил подольше, то и «Тевье», без всякого сомнения, получился бы длиннее, объемнее… Повторяю, следовать великим ни в коей мере не означает, что сам станешь великим.

И все же, что чего-то недостает в «Трех летах», то, что я чувствую сейчас или близкое тому, много-много лет назад, выступая на моем творческом вечере в московском клубе писателей, почувствовал Ноях Лурье, а все собравшиеся на том вечере писатели обвинили его в придирчивости.

Я сидел несколько ошарашенный за столиком у всех на виду и дрожащим от волнения голосом читал свою рукопись. Рядом со мной за столиком сидел Маркиш, председательствовавший на вечере. Напротив нас, в первом ряду на мягких стульях с высокими спинками, я разглядел Нистера, Галкина, Добрушина, Фининберга, Фальковича. Небольшой зал рядом с библиотекой, в который вела невысокая лестница, был полон. В семье еврейских московских писателей я был и новым автором, и гостем. Сердце мое заходилось, но я видел, как мне рады. Впервые в жизни я выслушал о себе столько добрых хвалебных речей. Да еще от кого? От таких известных мне, дорогих писательских имен, близких моей душе, священных для меня. Один вот только Ноях

Лурье… Прежде чем начать говорить, он поднялся, слегка перевел дыхание, подождал, чтобы стало совсем тихо. Удлиненное худощавое лицо его стало как будто еще длиннее, строже. Среди прочего помню такие его слова: «У него как-то все слишком радужно. Где переживания несказанно трудного времени, голод, тяготы войны?» Маркиш чуть не подскочил на стуле. Славный Самуил Галкин посмотрел на Нояха Лурье как и подобает славному человеку — без раздражения, но слегка озадаченно: «Что это вдруг? С чего это ты?» Добрушин сдернул очки, попросил слова во второй раз и, размахивая очками, будто втолковывая ими свою мысль, горячился: дескать, хороший писатель может подчас оказаться не слишком проницательным читателем. Правильно прочесть — это, во-первых, особый талант, во-вторых, необходимо еще и желание вникнуть в написанное. Потом неожиданно смягчился, спокойно водрузил очки на нос и с улыбкой рассказал анекдот о хасидском рабби, который, разъезжая по окрестностям, питался, чтобы, упаси бог, не пригубить трефного, одним только постным хлебом. Его хасиды решили, что дело плохо, их ребе усыхает не по дням, а по часам, и однажды утром подсунули ему свежеиспеченную булку. Ребе надкусил булку и ни жив ни мертв возопил: «Злодеи, там же внутри сыр!..» А ему отвечают: «Ешьте, ешьте, ребе, там поглубже вы найдете и мясо!» «Вы, очевидно, товарищ Лурье, — продолжал Добрушин, — надкусили только горбушку. Вгрызётесь поглубже, найдете там и скорбь. Еще какую скорбь!»

И все-таки теперь, через многие годы, я чувствую, что Ноях Лурье, мир праху его, был тогда не совсем неправ. Сейчас-то мы все хорошо знаем, что дозировать в художественном произведении, взвешивать — столько-то положительного и столько-то отрицательного, столько-то радости и столько-то грусти — это несерьезно, это противоречит жизненной правде. Самая малость доброго может быть иногда преподнесена так весомо, что перетянет пуды дурного. Дозировать значит лгать. Но все-таки почему в трагическое горькое военное время у меня перевешивала радость? Было бы, наверно, естественнее и вернее, и больше было бы художественной правды, если бы напрашивалось обратное: «Вгрызайтесь глубже, вы найдете там и радость!»

Еще бы не найти!..

II

Мордхе бессарабский, товарищ Бровер и Нохем

Патлажанер — вот и все мужчины в кишлаке среди эвакуированных. Три старых еврея среди нескольких десятков старых и молодых женщин да еще детей, чьи сыновья, мужья и отцы воевали с врагом на фронтах — пока никто не имел никакого понятия, где воюют их близкие и воюют ли они еще где-нибудь…

Надо сказать, что среди женского сословия была и Блюма, моя будущая золовка с бандажными повязками на обеих ногах. Не упомянул я и ее маленькую сестренку Розу, которая в считанные месяцы превратилась из маленькой девочки во взрослую девушку, работавшую на самых тяжелых работах в узбекском кишлаке наравне со всеми.

Обе девушки были уже круглыми сиротами. Их отец, служивший механиком на электростанции в еврейском колхозе под Одессой, и брат, только что закончивший институт в Одессе, погибли в первые дни войны — и об этом все знали. Их мать люди видели собственными глазами у железнодорожных рельсов на станции Армавир, окровавленную, с размозженным черепом, — в тот день, когда гитлеровские самолеты бомбили их эшелон, догоняли мечущихся людей пулеметными очередями. Сюда, в кишлак, прибыли едва две трети эвакуированных из еврейского колхоза.

И еще я не упомянул об Ольге, эвакуированной фельдшерице и акушерке. Моей Ольге.

Наряду с тремя старыми мужчинами среди эвакуированных появился молодой инвалид войны, поэт Исрол Бронштейн, возник в кишлаке нежданно-негаданно сразу после военного госпиталя, излеченный и конченый. Долго искал и нашел, куда меня занесла судьба. Осколок продырявил его сызмальства больные легкие… Он вырос передо мной в армейской гимнастерке, в пилотке на макушке, в солдатских обмотках вокруг ног-палок; на лице редкая светлая щетина; то и дело какой-то жесткий режущий кашель; поначалу он стоял передо мной растерянный, но вот по его лицу разлилось торжествующее сияние: он здесь, он живой и демонстрирует мне нечто более значительное, чем вновь написанное стихотворение. Но Исрол Бронштейн появился у нас в кишлаке несколько позже. И расскажу я о нем более подробно тоже несколько позже.

И еще я забыл вставить в рассказ себя самого.

Ни в одной вещи во всей низке новелл «Три лета» повествование не ведется от первого лица, хоть я и привержен этой форме. Мне было как-то не по себе, даже зазорным казалось, что я четвертый там, где только трое немощных мужчин, в ту пору, когда люди моего возраста нужны в другом месте.

Подобные мысли не давали мне покоя во время работы над новеллой «Голда». Поэтому я вывел себя в образе женщины, комбайнерши Голды — дочери Мордхе бессарабского. Я работал на хлебных полях бригадиром в бригаде эвакуированных. В женской бригаде! Рано утром я появлялся первым, ведя за собой осла, через круп которого были перекинуты две торбы свежих лепешек. При помощи измерителя я каждому отмерял его часть поля. С серпом в руке гнулся над колосьями пшеницы вместе со всеми. Сорок градусов жары. Солнце обжигает. Женщины из еврейского колхоза под Одессой обугливались в этом пекле, работали с рассвета до заката. Не ради трех лепешек, которые каждая из них получала ежедневно и даже не ради трудодней, а, в основном, для фронта. И меня они утешали: хлеб-то для фронта, ну а это разве не фронт? Голда — это я. Но в «Трех летах» под маской я почти неузнаваем, ни один читатель не догадается. Я сам с трудом узнаю себя в Голде. Может быть, найденный мною прием должен был звучать откровеннее. Что ж, теперь не исправишь… Вот и хочется сейчас, через столько лет, рассказать обо всем просто, отчетливо. Мордхе бессарабского на самом деле звали Ицик бессарабский — это мой старый, или, вернее, преждевременно состарившийся, отец.

Сильные люди не теряют себя даже в годину самых страшных потрясений. Но силу моего отца, возможно, правильнее было бы сказать — величие, я видел именно в том, что он казался потерянным, пришибленным больше, чем кто-либо другой. Вся боль войны, все ожесточение войны, вся скорбь войны проступили на его лице. Запавшие щеки, заострившийся подбородок, испещренные глубокими морщинами лоб и виски — все лицо было столь мрачным, что черные, обычно блестящие глаза его будто выцвели в таком трагическом обрамлении, стали серыми. Он теперь никогда не улыбался, никогда не говорил в полный голос. Приглушенно тяжело вздыхал. Редко, еле слышно издавал слабый стон, точно опасный больной. Столько городов, столько добра порушено, столько прекрасных жизней пропало… Ох-ох… Что будет с миром, если, не приведи господь, — нет, нет, язык не поворачивается… Отец вместе с товарищем Бровером, который после всех жизненных хитросплетений в двадцатые годы вдруг стал сапожником и «товарищем», о чем я в свое время рассказал в новелле «Товарищ Бровер» — так вот отец со старым Бровером топили колхозную баньку — пусть люди моются и парятся, чтобы, не дай бог, вдобавок ко всему не начала косить своей косой паршивая напасть под названием «тиф». Чтобы топить баньку, отец таскал на спине с далекой пустоши связки кольев — «утин», как узбеки называли это топливо. Не только на спине — он весь

уходил под них, и не связки это были, а целые груды — и не разглядишь отца под ними — так муравей тащит на себе в муравейник ягоду в десять раз больше себя самого. По ночам отец сторожил стог обмолоченной пшеницы, сидел, держа для виду между колен старое заржавленное охотничье ружье, которое давным-давно свое отстреляло, и каждую ночь грезил с открытыми глазами, что он затаился в окопах и вот-вот бросится в атаку на проклятого врага. Он все делал очень добросовестно, во все вкладывал душу: прежде и после — всю жизнь — к любой работе относился серьезно и честно, отдавался ей целиком.

Его слабость, подавленность, мрачность были только внешними, проступали на лице; из глубин его существа в самые тяжелые дни пробивался, как из источника, яркий свет, свет надежды. Я бы даже сказал: радость предвкушения — мы всё равно победим. Иначе не может быть. Не может правда не разбить кривду. И даже старые люди непременно доживут до победы.

Помнишь, наверно, дорогой читатель, как Мордхе бессарабский и товарищ Бровер, оба голые, суетятся вдвоем в колхозной баньке. Один трет спину другому, и отощавшие их тела бледны до голубизны. Все косточки на просвет, точно они находятся в стеклянной колбе, а не в Мордхе бессарабском и товарище Броверe.

Один окатывает другого водой из шайки. В густом парном мареве они друг друга едва различают. Вода со звоном обрушивается на каменный пол. Голоса звучат гулко, как в пустой бочке, и отдаются эхом, точно один здесь, а до другого верста.

— Что вы скажете про немца, а, товарищ Бровер?

— Паскудный немец!..

— Его одолеют!..

— И мы до этого доживем, реб Ицик.

— Оба?

— Оба.

— И мы вернемся домой…

— Так вы говорите, откуда вы? И молитвенно:

— Дон, Днепр, Буг, Днестр, Кишинев…

— Ай, Кишинев!..

— Ай, Вознесенск!..

Недаром в «Трех летах» именно ему, Мордхе бессарабскому, отцу моему, я передоверил несколько самых важных слов из того, что я хотел тогда сказать людям. Когда Мордхе бессарабский, уже вернувшись в родные края, вел за руку свою младшенькую, Эстерке, мимо руин и смотрел с болью и горечью, потупив глаза в свою грустную бороду, отворачивал взгляд от черных провалов окон в одиноких проломленных стенах, сохранившихся кое-где,

узких, остроконечных, как могильные камни на кладбище, — все же свет, вспыхивавший в его глазах, устремлялся куда-то вверх, выше развалин:

— Если стоят стены, то будет и крыша. Не может не быть!..

…Рано утром, когда я сидел на ослике с двумя торбами свежих лепешек с обоих боков, иногда на дороге я встречал отца, возвращающегося из своего ночного дежурства у стога пшеницы. Я на несколько минут задерживался, расспрашивал, как прошла ночь, доставал для него лепешку, чтоб червячка заморил. Однажды, помню, я не мог сдержать улыбки, глядя, как он приближается ко мне, прямо-таки маршируя, твердо держа на плече старое ржавое охотничье ружье, которое давно перестало стрелять. Моя улыбка его, видимо, сильно задела. Он даже в лице изменился. Но не попрекал меня, не сердился. Как ни в чем не бывало, тихо и членораздельно проговорил:

— Наше оружие — это вера и надежда… И работать надо… Не сидеть сложа руки… И делать все как нельзя лучше. Езжай, езжай на поле, сын мой. И пусть вам всем сопутствует удача!..

Ловкачи, горлопаны, умники, которые эвакуировались с тугими узлами и вернулись с еще большими, считали бы, наверно, такого Мордхе бессарабского простачком, недоумком.

Спасибо, отец, что я унаследовал от тебя не тугие узлы и не барские хоромы, а вот этого самого простачка в тебе.

III

Ольга.

Чего только она не принесла сюда с собой, в далекий узбекский кишлак между высящимися, как стадо верблюдов, серыми сутулыми горами со всех четырех сторон — эта вроде бы ничем не замечательная женщина, которая никогда не ставила себя выше самого незаметного человека на свете!

Море доброты — это еще не все. Любовь — и этим недостаточно сказано. Благожелательность, открытость, простота, преданность людям и делу, сочувствие чужой беде, приветливость, обаяние — все, все богатства своей души, которыми была наделена без меры.

Никто не начал так скоро, как Ольга, говорить по-узбекски. Никого узбечки так сходу не полюбили, как Ольгу. В колхозном родильном доме на четыре койки не кричали так надрывно, как у других акушерок. Новорожденные младенцы, выкупанные, туго спеленатые, в первый раз в своей жизни насосавшиеся материнского молока, на Ольгино характерное цоканье начинали,

казалось, отвечать осмысленными улыбками. Я ничуть не преувеличиваю. Такую необыкновенную чарующую силу таила в себе эта обыкновенная фельдшерица и акушерка.

Тесная рамка новеллы не позволяет мне написать ее портрет с тем полнокровием и размахом, как он того требует.

В первые несколько недель в кишлаке Ольга ходила в белой косынке, плотно повязанной на ее и без того небольшой голове. Эту косынку Ольга носила не только вместе с белым халатом в амбулатории или в родильном доме, за работой, но всюду, всегда, на улице и дома, ночью и днем, так как под косынкой была обритая голова — голая безволосая голова. Никакие мои уговоры не помогали. Уверения, что обритая голова делает ее еще красивей, были не более чем слова. Здесь, в парикмахерской кишлака, ее обрили во второй раз. Впервые это случилось в Хавасте, в больнице, когда Ольга болела тифом и волосы у нее начали выпадать прядями. Говорили, что после второго раза волосы начнут расти быстро и снова станут такими же густыми, как и раньше, до тифа.

Из Хаваста моих отца, мать и трех сестричек направили в колхоз «Сталин — 3» — в Хавастском районе три колхоза носили имя Сталина: «Сталин — 1», «Сталин — 2», «Сталин — 3».

Что касается меня, то днем я слонялся вдоль больничного забора, ночью спал не раздеваясь на полу в хавастской чайхане.

К больным никого не пускали. Но когда Ольге стало совсем плохо — к тифу присоединилось еще воспаление легких — мне разрешили навещать ее, но это уже больше походило на прощание. Врач из больницы посоветовала мне подъехать в Ташкент и попытаться раздобыть сульфидин — может, больную удалось бы спасти. В Ташкенте я провел два дня. Случайно я встретил на улице Сиди Таль и ее мужа Фалика. Фалик мне тут же обещал достать где-нибудь три упаковки сульфидина. Ночевал я обе ночи на вокзале. Трудно сказать — ночевал: понятно, глаз не сомкнул. Едва дождавшись утра, взял у Фалика сульфидин и поспешил на вокзал, где весь день мерил взад-вперед привокзальный скверик, опускаясь то на одну скамейку, то на другую. Так промаялся до четырех часов утра, пока поезд не отвез меня наконец в Хаваст — и я побежал к Ольге в больницу.

Через несколько дней Ольге стало лучше. В одной палате с ней — на соседней койке — лежала еще одна больная тифом, родом из Бессарабии, по имени Минна. Вместе со мной под окнами больницы слонялись два молодых человека — родственники Минны. Одного звали Сема: рослый широкоплечий парень с черными усиками, смуглый — ярко выраженный брюнет.

Второй — Хаймеле — был, напротив, узкоплечий,

субтильный; светлые волосы цвета мамалыги, светлые голубые глаза, белокожее, розовое, улыбчивое лицо — типичный блондин. Эти два молодых человека частенько называли меня «простофилей». Я навещал Ольгу почти с пустыми руками. Они приносили Минне каждый день полный доверху котелок с еще теплым благоуханным куриным бульоном. В записке, которая сопровождала котелок, они разрешали Минне дать Ольге отведать бульона: два добрых милых молодых человека. Однажды я спросил Сему (он производил впечатление более активного — настоящий делец, но всему), где они достают кур и сколько, к примеру, стоит сейчас на базаре птица. Сема и Хаймеле переглянулись и дружно рассмеялись.

— Сколько стоит птица? — переспросил Сема. — Мурашки по коже и два пальца в рот.

— Иногда и без мурашек обходится, — поправил Хаймеле друга.

Я сообразил, что они имели в виду, но мне почему-то не верилось.

— Что вы хотите сказать? Что это значит? — прикинулся я и в самом деле простофилей.

— А значит это, — ответил Сема, и Хаймеле утвердительно кивнул, — что в Хавасте еще, слава богу, прогуливаются у дворов совсем недурные хохлаточки. Раз-два — пиджак набрасывают на курицу, а потом остается только шейку свернуть — бедняжка и квохтнуть не успевает…

Этот ответ не удивил меня. Я не стал горячиться. Я только раздельно и даже с прохладцей сказал:

— Я хочу вас попросить — напишите Минне, чтобы она Ольгу больше бульоном не угощала. Трефных бульонов Ольга не ест.

— Вот вам и фунт изюма, — обернулся Сема к Хаймеле. — Ко всем напастям, он еще и набожный еврей. Беги скорей и найди ему резника в Хавасте!..

— Нет, зачем же? Я считаю, что бульон из краденых кур — для всех трефной.

Сема рассердился:

— Хаймеле, ты только полюбуйся. Перед нами самый настоящий простофиля. Ротозей из ротозеев. Уши вянут…

— Ладно, — не настаивал я, — как-нибудь сам дам знать Ольге.

Со временем Ольга начала понемногу вставать, выходить ко мне в больничный коридор, стриженая, с черными кругами под глазами, еле ноги волоча. Мы садились в коридоре на скамейку, я одной рукой ее обнимал, другой гладил ее изможденное лицо. Ольга говорила слабым голосом, с трудом выдыхая слова.

Она рассказала мне, что Минне было похуже, чем ей. Болезнь она перенесла еще тяжелее. Никто и не надеялся, что Минна останется в живых. Несколько дней она лежала в таком жару — сгореть можно было. Непрерывно говорила, и плакала, и смеялась, несла про себя невесть что, такую несуразицу, что волосы вставали дыбом от этих слов! Ольга засмеялась в первый раз за время пребывания в больнице.

— Было не до смеха! — сказала она. — Теперь, когда все позади, можно смеяться. Как ты думаешь, о чем она говорила в горячке? О том, что живет с двумя мужьями. Один высокий, верный, красивый — глаз не оторвешь. Второй — белокурый, деликатный, ласковый — нежный, как цветок. На кого же она их оставляет, что с ними будет без нее? Да, от такого можно и в самом деле отдать богу душу или умом тронуться. Ох, бедная Минка!..

Сема и Хаймеле оказались, по существу, совсем неплохими людьми. Сема в Хавасте стал трактористом, считался лучшим трактористом в районе. Несколько МТС спорили из-за него, прямо носили на руках. Хаймеле мобилизовали в последний год войны, отправили на передовую. Он вернулся из Берлина более уверенный в себе, окрепший, раздавшийся в плечах, гордо носил две медали на груди, изрядного запаса его фронтовых рассказов хватило бы на много лет. В Кишиневе после войны я их обоих, Семена и Хаима, часто встречал, то есть не обоих, а всех троих: Семена, и Хаима, и Минну. То, о чем Минна в хавастской больнице, в лихорадке, говорила, как на исповеди, для многих кишиневцев не являлось секретом. Все их старые знакомые об этом знали. Поначалу удивлялись, пожимали плечами. Потом привыкли — мало ли какие штуки иногда выкидывает жизнь! Новых знакомых Минна, не стесняясь, сама ставила в известность, даже, казалось, с некоторой гордостью сообщала: оба — Семен и Хаим одинаково ее любят. Да и сами они не только друг друга любят, но и живут как братья — может быть, даже лучше, чем братья…

Странно? Непонятно? Необычно? Но разве это единственная загадка и в подобных делах и в более значительных?..

Если бы сокрытое можно было открыть, загадку разгадать, у нас были бы основания сказать более определенно: «Не по-людски»! Или, не исключено, и наоборот: «По-людски!..»

Повозка везла в бригаду трактористов две железные бочки с керосином. Опираясь на бочки, прислонившись друг к другу, в повозке сидели я и Ольга.

Ольгу направили фельдшерицей в амбулаторию кишлака и

одновременно акушеркой в колхозный родильный дом. Меня, пока суд да дело, назначили секретарем в деревенскую узбекскую школу.

Стоял не холодный не теплый среднеазиатский январь. На полях, сколько охватывал глаз, не заметно было ни одного пятнышка снега. Только широко разбросанные, оторванные друг от друга, зимние голые деревца — здесь деревце, там — деревце. И по длинным горным спускам, и по еще более длинным подъемам обе лошадки тянули упряжку неторопливо, почти шагом. Возница — старый узбек в подпоясанном полосатом чопане и тюбетейке — сидел на перекинутой через повозку доске к нам спиной, приспустив вожжи. Сидел с ногами наружу, на дышле — за всю дорогу он не проронил ни слова.

Зато мы с Ольгой не замолкали ни на минуту. Рассказывали один другому о том, что происходило с каждым из нас днем раньше, неделей раньше, месяцем раньше и даже годами раньше. Точно мы целую вечность не виделись. Говорил, конечно, больше я. Ольга, в основном, слушала. Слушала меня, как всегда, внимательно. И когда я коснулся эпизода с крадеными курами, когда я заслужил звания «простофили» и «ротозея», у Ольги глаза вдруг налились слезами и она так горько, навзрыд расплакалась, что я не на шутку испугался, а возница-узбек на несколько мгновений остановил повозку.

— Что случилось? Успокойся! С чего это ты? — я обеими ладонями вытирал ей слезы.

Ее глаза так же внезапно снова стали ясными и голубыми. Голубые, цвета неба глаза — ее особое достояние.

— Это от радости, дорогой!

— От радости?..

— А разве мне нечему радоваться? Во-первых, тому, что я выздоровела, осталась жить. Во-вторых, что мы наконец едем на место, едем работать. Знаешь, я так тоскую по работе, просто слов нет. Когда я лежала и усыхала с каждым днем, была уже больше на том свете, чем на этом, я в больнице завидовала не только сестрам, но и нянькам. В-третьих, в-третьих… эти слезы от радости, что ты оказался… простофилей…

Мне захотелось обнять Ольгу и поцеловать, но, как всегда в таких случаях, она меня опередила:

— Дорогой… самый любимый… замечательный мой «простофиля».

Влюбленная парочка целовалась и целовалась, прислонясь к железным бочкам с керосином… Возница-узбек осерчал почему-то на лошадей, стал их понукать, стегать кнутом. И бедные лошадки вынуждены были прибавить шагу. Хотя дорога как раз

потянулась вверх, в гору…

IV

Первое мая 1942.

Мы отправились на праздник к отцу, матери и сестренкам в «Сталин — 3». Шли двадцать с лишним километров пешком. Я, Ольга и с нами молодая учительница русского языка в деревенской школе осетинка Ангелина Дзагаева.

Жара уже стояла такая, как в наших краях в знойные летние дни. Хлеба на полях хорошо поднялись, шуршали острыми коронами колосьев. Зелень цветущих трав начинала кое-где переходить в желтизну. Мы пустились в путь на рассвете около четырех и для того, чтобы часть дороги проделать в прохладе, и для того, чтобы пораньше оказаться на месте.

Ангелина Дзагаева только в прошлом году окончила в Ташкенте педагогический институт. У нее угольно-черные волосы, полные губы, ямочки на пухлых щеках. Она, пожалуй, красивая и очень застенчивая. Ее лицо начинает пылать жарким румянцем не только при первом обращенном к ней слове, но даже при ничего не выражающем взгляде на нее. Все четыре года в институте — рассказывала она мне после, когда мы стали друзьями, — Ангелина чуралась общества молодых людей. В голове у нее было одно — хорошо учиться. Теперь здесь, в кишлаке, молодых людей нет. Все на фронте. Одни только старики. А те несколько местных парней, которые еще здесь остались, ее не волнуют: ни богу свечка ни черту кочерга. Мне пришло в голову, что пунцовое пламя так часто проступает на ее лице не столько от застенчивости, сколько от накала страстей. Ольга с Ангелиной тесно сошлись, стали будто сестры, и простодушная Ольга ни разу не заподозрила, что Ангелина больше дружит или хочет дружить со мной, а не с ней.

Я это отмечаю между прочим, чтобы не распространяться на эту тему потом и, понятно, не для того, чтобы признаться, упаси господь, в каком-либо грехе. Просто так. К слову пришлось.

Колхоз «Сталин — 3» издали не был похож на обжитое место. Желтые глиняные кибитки, громоздящиеся друг над другом плоские крыши — скорее, потолки, а не крыши; ни одной купки деревьев между кибитками; не слыхать ни собачьего лая, ни рева ослов, будто мы приближаемся к безлюдному брошенному кишлаку. Мне уже было известно, что узбеки обыкновенно только зимуют в кибитках. В начале весны, как только потеплеет, они перебираются со всем скарбом, с детьми и домочадцами в сады, в

собственные виноградники куда-нибудь подальше, но другую сторону кишлака. Поэтому безлюдье меня не удивило. Возникшую перед глазами картину воспринял спокойно, как должное.

Отец бежал нам навстречу, он был так худ, что казалось, живот его присох к внутренностям. Отец, конечно, не бежал нам навстречу, а, вернее, ковылял, едва волоча ноги. Мама его обогнала, расцеловалась со мной, обняла со вздохом и поцеловала Ольгу. Ангелине для знакомства с прохладцей протянула кончики пальцев. Три сестренки мои — Зисл, Ханця и Ида выстроились в шеренгу, заглядывали, сияя, в наши лица, но где-то вокруг их носиков витала тень обиды на то, наверно, что мы столько месяцев не наведывались к ним, не интересовались их житьем-бытьем.

Внутри сумрачной кибитки, куда немного света проникало только через открытую дверь, мы в мгновение ока развязали два привезенных нами свертка: изрядную горку лепешек, две дюжины крутых яиц, зеленый лук, редиску, сыр. Ольга спросила у мамы, что подстелить, и вместе с Ангелиной начала готовить на полу праздничную трапезу. Мама немного мялась: не так давно поели сытную затируху, и если так быстро сметать одно за другим, далеко не уедешь. Но в честь праздника — ладно уж. Вот сейчас она вскипятит казанок чаю… И мама затеяла возню с двумя кирпичами в огороженном уголке кибитки, закопченном до самого верху, до сквозной дыры в потолке. Сестра пожала плечами: «Снова чай? Мы едим, то есть мы пьем, достаточно чаю всю неделю, три раза в день». Папа ее урезонивал: «Ничего, от глотка чаю становится теплей на душе». А мама вдруг рассмеялась, по своему обыкновению закатываясь и взвизгивая. Смеясь, она показала рукой на жестяной сосуд возле двери, накрытый крышкой: «Если бы не чай, как бы мы определяли время? Часов нет. О часах давно забыли. Так, благодаря чаю, этот сосуд — самые лучшие часы наши. Если встанешь ночью и увидишь, что он пустой, значит, еще совсем рано. Можешь пока дрыхнуть на здоровье, отлеживать бока. Но если видишь, что сосуд полон до краев, это доказательство, что уже светает. Продери же глаза, натяни свое тряпье, соверши омовение рук, произнеси молитву, разведи огонь и поставь новый казанок чаю».

Несмотря на все расспросы и все рассказы, а рассказывать и расспрашивать хватало о чем, мама все-таки отвела меня в сторонку и сердитым шепотом спросила о том, что ее больше всего волновало:

— Скажи-ка, кто эта Шменгелина, которая таскается за вами? Что-то мне не нравится, как она глазеет на тебя, слышишь!.. Не

причиняй Ольге неприятностей… Она этого не заслужила. Слышишь?.. Особенно после такой болезни… И вообще… Слышишь, что тебе говорят?..

Трапезу, усевшись в кружок, мы совершали не спеша, совсем не налегая на пищу. Не потому, что старались растянуть удовольствие, подольше смаковать такие редкостные яства. Отец, мать и три сестрички мои, видно, боялись нам показать, как они изголодались, что для них такая невидаль обыкновенное яйцо, ломтик сыру, луковка, редиска, кусочек свежей узбекской лепешки. Мы, я и Ольга, не спешили, так как хотели, чтобы пиршеством насладились в первую очередь они — только отец все время сосредоточенно жевал — слова не вымолвил. Жевал без помощи зубов, вставная челюсть выскользнула у него из рук в первую же ночь, когда вышли из горящего Кишинева и ночевали в скирде соломы. Слегка натешившись непривычной едой, отец, не переставая жевать, спросил меня, что слышно на свете, какие новости на фронте. Его глубоко запавшие глаза блестели. На всем лице — кожа да кости — проступил бледный румянец, точно он запивал еду не бледным спитым чаем, а белой крепкой водкой.

— Да, досталось им под Москвой, этим душегубам, этим убийцам… Получили на орехи… Увидишь, сын мой… Клянусь жизнью. Они за все поплатятся… Их будут гнать до тех пор, пока от них и мокрого места не останется.

Ольге отец задал медицинский вопрос. Пусть она будет так добра и точно скажет ему, что означает слово «дистрофия». «Ничего страшного, — ответила Ольга, — истощение. Это происходит от недоедания». Отец вдруг воодушевился. Повысив голос, стал жаловаться на маму — дескать, она не та, что была. Стала его обманывать. Стыдно даже рассказывать об этом. Затируху, которую готовит каждый день, она делит не по совести, несправедливо. Детям отдает самое густое, со дна. А ему — пару ложек пустой воды, жижицы.

— Ну, а себе самой? Что я наливаю себе самой? — стыдливо понурясь, с горечью спросила мама.

— Себе ты наливаешь, сколько хочешь. Кто тебе начальник? А если и себе наливаешь ложку жижицы, справедливее от этого не становится.

Мама тоже повысила голос:

— Я весы на стенку не повешу, как Файнштейны. Слышишь? Этого ты не добьешься. Хозяйка в доме пока что я. Мне лучше известно, кому какую порцию наливать. Уму-разуму меня учить не надо.

Мама с насмешливой улыбкой рассказала нам, что здесь, в кишлаке, по соседству с ними, расположилась буковинская семья

Файнштейнов. Там из-за тарелки супа каждый день такой тарарам — светопреставление. Где-то раздобыли две пустые консервные банки, сварганили из них что-то вроде весов, чтобы взвешивать все, что бог пошлет, каждую крошку — чтобы никому ни граммом больше, ни граммом меньше. В доме у них шаром покати, пусто, как во рту без единого зуба, только на стене шикарное украшение — две консервные банки, чтобы суп взвешивать.

— Вот я и спрашиваю вас, дети, — продолжала мама, — это порядочно, это пристойно? Врагам бы моим так, боже праведный! Жижицу я ему даю? Чтоб у Гитлера так сгустились мозги в голове! Все ему стало представляться наоборот. То одно кажется, то другое. Лучше не дожить бы мне до этого, боже милостивый!

Отец почувствовал, что перебрал, и принялся вертеть колесо назад, заглаживать сказанное сгоряча:

— Слышите, дети, если вдуматься, то мама права. Все верно говорит. Если бы не она, с ее умом и упорством, нас, может быть, уже и на свете не было бы. А так — вы же видите: мы еще перебиваемся с хлеба на воду, кряхтим. И вот даже празднуем все вместе Первое мая. Колхоз здесь в кишлаке слабый, бедный. Мужчин почти нет. Попробуйте хозяйствовать с одними бабами да с дряхлыми стариками. Малость пшеницы да горстку ячменя на складе оставили на посев, еле удержали. Может, позднее, когда лето пройдет, станет иначе. Пока нехорошо. Хуже не придумаешь. Зима была тяжелая. Из последних сил перезимовали. Председательша-то что надо, замечательная узбечка, просто золото. Каждые десять дней, как по часам, выдает эвакуированным муку. Ни одного дня ни разу не пропустила. Сколько может, столько и дает: на нос сто граммов муки в день. Так что приносишь домой не такой уж тощий узелок. Это ведь не ее вина, что люди так изголодались. Норму уписывают за три дня, а остальные семь лежат, подтянув животы. У кого что-нибудь и было с собой, те ушли в города. Другие остались здесь, на узбекском кладбище. Мама-то ловко придумала: этот узелок муки каждый раз распределять на десять одинаковых частей: сколько получил, столько и ешь. Еще повезло, что зима здесь узбекская. На полях иногда отыщешь зеленый листочек щавеля или какой другой овощ. Ячменные лепешки, которые мама печет на таганке, из одной зелени. Затируха — ладно, пусть по ее, густая — дальше некуда. Главное — мы живы и мы здесь. И вот мы встретились. Только обидно, сын мой, что через столько месяцев. Правда, обидно. Я бы к вам сам пришел! Так вы же видите, какой я герой!

Мне было не по себе, я чувствовал, что обида отца впивается в меня, укореняется во мне. Малейшую несправедливость на свете

я всегда воспринимал болезненно, а вот собственную вину как бы и не заметил. Даже отчета в ней себе не отдавал. Конечно, можно оправдать себя десятками предлогов. Вина от этого все равно не станет ни меньше, ни слабей. Вон отец чуть раньше оплошал перед мамой, но тут же вину свою загладил. Я встал и несколько приподнятым тоном, будто тост провозглашая, заговорил:

— Папа, мама, сестры мои, я вам обещаю, что завтра же побегу к начальству, сам не сам буду, если не добьюсь, чтобы за вами сразу же прислали повозку и привезли вас к нам в колхоз. У нас все совсем иначе. Составили бригаду эвакуированных. Все работают на полях. Каждый день получают еду, трудодни. Условия человеческие, нормальные кибитки. Некоторые даже держат козу, выращивают птиц. Живут и войну переживут… Завтра же побегу. Ни на один день откладывать не стану.

Вокруг «стола» на минуту воцарилось молчание. У мамы глаза налились влагой. Блеснула слеза. Быстро скатилась по ее щеке. Быстро куда-то запропастилась.

— Твоими устами да мед пить, — еле выговорила мама.

Никогда в жизни я не вел дневников. В ту пору, конечно, тем более. Эти несколько дневниковых страничек я записал позже, по памяти. Так, как если бы я тогда вел дневник, тогда их писал.

Через несколько дней к амбулатории нашего кишлака подкатила повозка с папой, мамой и с тремя моими сестричками. Для них уже была приготовлена кибитка. Ольга угостила их царским, по тому времени, завтраком.

Нохем Патлажанер, товарищ Бровер и все женщины, эвакуированные из еврейского колхоза под Одессой, начали звать моего отца Ицик бессарабский.

Это впоследствии, в «Трех летах», он стал у меня Мордхе бессарабским.

V

Исрол Бронштейн, без сомнения, был поэтом. За всю свою жизнь — короткую мучительную жизнь — он издал две тоненькие книжки стихов: «Молдова — мой дом» и «Я раскрыл широко ворота». В самих этих названиях витает, как ночная бабочка, искра той образности, которую мы называем поэзией. Но не об этом я сейчас думаю, вспоминая Исрола Бронштейна. Я размышляю о том, что если бы он остался в живых, пережил войну, он несомненно бы вырос, созрел как поэт и на полках

книжных магазинов и библиотечных полках его книги стояли бы рядом со всеми нашими книгами. В конце концов, кто посильнее, кто послабее, один стоит на стремянке ниже ступенькой, другой — выше ступенькой (небес достигают редко, только особо одаренные, избранные, отмеченные божьим даром), главное — это лестница. Вся лестница. Я полагаю, что Исрол Бронштейн, если бы пережил войну, занял бы на лестнице свое место.

Война — самое страшное проклятие на земле — косит на фронте и вне фронта миллионы молодых жизней, умерщвляет не только их настоящий день, но и будущее их, все, что со временем расцвело бы в них.

Я думаю, что среди десятков тысяч детей, вырванных из жизни войной, был, безусловно, грядущий гений, который, например, освободил бы нас от другого бича человечества — раковой болезни.

Исрол Бронштейн ходил по кишлаку потерянный; из всех своих товарищей, знакомых, близких, уже не говоря о жене, Розе, он отыскал только меня. Выписавшись из военного госпиталя, он старался заходить ко мне почаще, быть рядом со мной. В солдатских обмотках на тощих ногах, в пилотке на макушке, в расстегнутой гимнастерке — он совсем не походил на поэта. Но и солдатского в его облике было немного — белокурая реденькая растительность на удлиненном лице Иисуса, растрепанные волосы, выбивающиеся из-под пилотки…

В бытность Бронштейна в Бухаресте литературный деятель Шлойме Бикл невзлюбил его. Невзлюбил и за его несуразность, и за его озорство. Биклу, очевидно, было не по душе, что никому не ведомый, неимущий пекарь-подмастерье откуда-то из местечка Штефанешты у Прута, без крыши над головой, без настоящего дела в руках, но уже с отбитыми кровоточащими легкими — можно сказать, просто побирушка, бездомный бродяга, — а тоже пишет стихи, не испытывая перед ним, Биклом, ни трепета, ни почтения. По здравому смыслу, все должно было быть иначе. Именно самородка — такое чудо — должны бы опекать, пестовать. Но случилось наоборот. Как все тогда было «наоборот». И может быть, этот выдающийся представитель поколения — «великий» Бикл невзлюбил Бронштейна именно из-за того, что это «ничто», маленький Бронштейн, — недолюбливал его, Бикла. Мы тогда еще были сосунками, совсем зелеными, едва начали заниматься сочинительством — мальчишки только что из хедера — но, очевидно, у нас уже доставало понимания, а возможно, и просто живого чувства, чтобы суметь отличить хорошее от дурного. Бронштейн доказывал: Штейнбарг своей остроумной притчей принес в литературу отточенную мысль,

сочный, благородный народный язык. С Мангером мы обрели приподнятость, крылатость, звезды на крышах, баллады, проникнутые болью. Бикл тащит с собой в литературу Карла Крауза — какое отношение имеет к нам Карл Крауз? «Крылатые фразы» Бикла сверкают внешней позолотой, а внутри они жесткие, точно булыжник. Ни пригубить, ни разжевать. У откровений Бикла розовые щечки, как у яблочка на флажке в праздник торы, а внутри свернулся черный червячок.

Так как же можно было допускать такие дерзкие мыслишки?

Бронштейну часто приходилось лежать в туберкулезных лечебницах — и в его первых стихах слышался стон агонизирующих. Бронштейн иногда устраивался работать на маленькие текстильные фабрики — стихи его печалились о бледных, преждевременно состарившихся девушках-ткачихах; Бикл с пеной у рта утверждал, что это вовсе и не стихи, а если и попадется строчка, то она такая неуклюжая, что можно об нее язык сломать, подавиться. Как произошло, что такому знатоку литературы было невдомек, что именно под неуклюжестью кроется подчас тот самый золотой слиток, который называется подлинной поэзией? А может, случается так, что искушенные знатоки искусства порою мало в нем понимают?

Исрол Бронштейн в кишлаке начал работать вместе со мной на ржаных полях в бригаде эвакуированных. Квартировал у вдовы, потерявшей мужа на войне, в женской бригаде ее звали «лейтенанткой». В послеобеденные часы в самый разгар зноя женщины силой усаживали его в тень у стены глиняной бригадной постройки. Ни за что не допускали, чтобы он в такую жару гнулся со своими дырявыми легкими над колосьями пшеницы.

Однажды я Бронштейна издали о чем-то спросил. Он не расслышал и громко переспросил:

— Что ты сказал о борще?

Все рассмеялись. Он сам тоже смеялся. Но с тех пор его в кишлаке то и дело поддразнивали: «Что ты сказал о борще?» Чему удивляться? Отчего эвакуированные женщины в кишлаке должны были лучше понимать его несуразность, чем изысканный Бикл?..

Иногда по вечерам мы выходили с Бронштейном размять ноги. Пилотку он уже сменил на тюбетейку. На мой вопрос, почему он вдруг украсил макушку тюбетейкой, он мне ответил как всегда непредсказуемо:

— И мне, как всем людям, хочется, чтобы земля не уплывала из-под ног. Хочу иметь пристанище на здешней земле и хочу, чтобы она тоже чувствовала меня своим.

В другой раз он замедлил шаг и стал, прищурившись,

вглядываться в стопку кибиток — одна в другой — на уличке, ведущей в гору, где жили в кишлаке эвакуированные. Белые накрахмаленные занавески на окнах, дворики, огороженные остроконечным штакетником. Женщина, опустившись на колени, доит во дворике козу. Вторая раскладывает огонь во дворе, прополаскивает горшок. Глиняные кувшины с разинутыми ртами нанизаны на штакетник. Бронштейн тянул ноздрями, вбирал в себя воздух:

— Как в библии, да? Чувствуешь?

— Да как сказать, — ответил я, — плоские крыши, пестрые полосатые чопаны, ермолки-тюбетейки на головах, горбатые верблюды, нежная белая козочка… Похоже на театр. На театральную декорацию.

— Брось, ты что-то слишком мудришь. Лучше посмотри, как женщины постарались. Все перетасовали. Все сделали по-своему. Глаз бы не отрывал от этой картины, только бы вбирал душой эти запахи… Все как дома. Точь-в-точь как в местечке, в детстве, когда я бегал в хедер учить пятикнижие. Дом, дом! Если он в тебе живет, его у тебя не отнимешь. Он с тобой даже за тысячу миль. Хороший у вас кишлак…

И все-таки Исрол Бронштейн вскоре из кишлака ушел. Я помню тот вечер, ту ночь, когда мы в последний раз были вместе. Он сказал, что хочет сегодня остаться у нас ночевать. Ольга приготовила ужин. Испекла несколько больших лепешек. Сварила кабачковую кашу, заправила маслом, разлила по мискам горячее молоко. Бронштейн ел необыкновенно много. Как человек, который хочет насытиться впрок перед дальней дорогой. На столе остались две лепешки. Ольга их придвинула гостю: «Кушайте, кушайте, утром испеку другие!» Бронштейн, однако, эти две лепешки прикончил ночью, в темноте, когда мы уже легли спать. Он, очевидно, всю ночь глаз не сомкнул. На рассвете, еще как следует окна не посинели, он поднялся, оделся, как-то виновато повернулся к нашему топчану и вдруг начал с нами прощаться:

— Я уезжаю. Не могу так долго здесь оставаться. На фронте я чувствовал себя лучше. Я был крепче. Еду в военкомат. Если я летом в такую жару мог работать на поле, то и в другом пекле сгожусь…

— Что ты несешь? Ты ведь так болен! Лучше бы в госпиталь лег! Кто там, в военкомате, захочет даже слушать тебя?

— Захочет. Не отстану, так захочет. Меня и в тот раз отказывались брать.

— Тебе бы надо Розу разыскать. Это в тебе одиночество говорит. Одиночество хуже всего.

— Кто знает? Может, я и в самом деле Розу найду. Здесь я

чувствую, что погибаю. Кроме того, хочу подъехать в Ташкент. Навестить Маркиша. Дожить хотя бы до того, чтобы увидеть Маркиша…

Рано утром мы с Ольгой зашли в контору колхоза. Бронштейну выписали два пуда муки. У конторы стояла грузовая машина, направлявшаяся в Хаваст. У меня и теперь перед глазами, как Бронштейн карабкается вверх, в кузов, я подаю ему мешок муки. Грузовик отъезжает, мы машем друг другу руками. Больше я Бронштейна никогда не видел.

Позже рассказывали, что Розу он нашел в каком-то поселке у Андижана. Она его, конечно, приняла, обогрела. Поначалу он пришел немного в себя. Потом несколько месяцев пролежал в ташкентском институте легких. Однако его продырявленным легким уже немного времени оставалось…

В Кишиневе в сороковом году, перед войной, Исрол Бронштейн написал большую поэму: «Двадцать восьмое июня», посвященную тому дню, когда Бессарабия воссоединилась с Советским Союзом. Поэму он так и не успел напечатать. И еще печальнее: рукопись даже не сохранилась. Затерялась где-то на дорогах войны. Я не однажды слышал, как Бронштейн читал поэму перед публикой — мы тогда вместе разъезжали в писательской бригаде с литературными вечерами. Я помню, как глубоко меня волновали печаль и радость, с которыми он хрипловато-напевно дарил слушателям кусок своей жизни.

Сын неимущего пекаря из местечка Штефанешты по ту сторону реки Прут. Плутал по большим городам, не имея крыши над головой, не имея работы, затурканный, униженный, одинокий, с недужными легкими и со стихами в сердце — горестное средоточие поэзии и бездомности. Я помню, как рвалась из строк поэмы тоска по дому. Мальчик мечется на волнах, как щепка, сорванная с тонущего корабля. Когда его отбрасывает к берегу, он хватается руками за прибрежные травы, припадает губами к прибрежному песку: дом, дом… Недоступный, вожделенный дом, дом…

Война отняла у поэта дом и отняла у дома поэта.

Так слава его памяти!

VI

Ну-ка давайте еще раз разберемся: Ноях Лурье был прав в его «придирках» ко мне?

Тогда, на моем первом творческом вечере в Москве, на моем московском празднике — нет. Теперь, спустя годы, если бы он

сказал то, что тогда, — безусловно, прав.

Литература, что бы мы с ней ни вытворяли (копировали жизнь, разукрашивали действительность мифологическими образами… микророман, антироман, белые стихи, никакие стихи; лирическая проза, прозаическая лирика, и прочее, и прочее, и прочее), всегда настаивает на одном: скажи что-нибудь миру. От первых великих слов, когда мир только зарождался: «Да будет свет!», до последних великих слов умирающего поэта: «Свет! Больше света!»

Прислушалась ли литература к тому, что от нее требовали? Подвинула ли она мир чуть ближе, хотя бы на один шаг, к лучшему, к светлому? Если даже не более, чем на шаг, склонимся перед этим священным шагом.

Тогда, во время войны, в начале войны, когда враг с оголтелой злобой поднялся на нас, желая стереть нас с лица земли, я видел ни с чем не сравнимую скорбь войны, великую трагедию войны, видел эшелоны, вырвавшие из огня сотни тысяч семей, чему придавалось такое же решающее значение, как и другим делам, навалившимся на нас в ту пору. Я видел эвакопункты на вокзалах, где несчастным подносили миску горячего варева, я видел, как встречать эшелоны, прибывавшие в далекие тихие места, приходили председатели райсоветов, представители парткомов. Я видел длинные вереницы повозок, которые растерянных, оставшихся в одном рубище погорельцев везли в колхозы, чтобы дать им крышу над головой и делить с ними скудный паек. Радость взмывала вверх над ужасом войны. Первый раз в нашей длинной и мучительной истории государство организованно спасало мой народ от погромов и насилия. Когда я писал «Три лета», я хотел поднять этим дух у читателей. Сказать: «У него как-то все слишком радужно» — означало тогда не просто придираться, но — сказать поверхностно и еще поверхностнее видеть.

Это тогда.

Теперь, спустя столько лет после войны, все совсем по-другому. Мрачные поджигатели во всем мире грезят о том, чтобы этот мир был последним, чтобы все повторилось. Они гонят в наше небо черные тени гигантских дымных столбов, норовят загрязнить наш воздух чадным зловонием: канун войны, канун войны, канун войны. Теперь наша первейшая задача не дать забыть весь ужас войны, всю скорбь войны: остерегись, читатель, будь начеку, читатель, помни, читатель! Возможно ли, что Ноях Лурье уже тогда это чувствовал?

И еще.

В то время по улочкам своего порушенного края между

остовами стен, как между треугольными кладбищенскими памятниками, Мордхе бессарабский вел за ручку свою младшую дочь Эстерке, утирал ладонью слезы, которые скатывались на его бороду, и с надеждой в глазах гладил дочь по головке:

— Если есть стены, дитя мое, будет крыша, должна быть крыша!

Теперь далеким эхом отдаются во мне отцовский наказ и благословение:

— Эту крышу цените и почитайте, берегите ее от искр пламени, от пожаров. Цените днем лучи солнца, а ночью звезды над крышей. Пусть под стрехой пищат в своих гнездах весенние ласточки. И пусть всегда живут в согласии праздник и будни, радость и удача!

Пер. Е. Аксельрод.

ДВЕ СВАДЬБЫ

Свадьбы у нас справляют в больших залах.

В залах кафе.

В залах ресторанов.

Можете сколько угодно загибать пальцы, пересчитывая приглашенных, все равно никаких пальцев не хватит, наберется еще человек сто пятьдесят.

Как бы жених и невеста ни доказывали, что не надо печатать пригласительные билеты: это, мол, провинциально, старомодно, родители стоят на своем: н а д о.

Билеты заказывают продолговатые, глянцевитые, аккуратно, с прищелком сгибающиеся пополам, отпечатанные розовыми буквами. Сверху в одном углу фото жениха в рамочке. В противоположном углу — невеста. Оба хороши — глазам больно. Оба полны очарования. Оба сияют так, как могут сиять только жених и невеста. Как же не радоваться родителям?

Некоторые трудности с музыкой.

Музыканты семь шкур дерут.

«Лабухи» — что с них возьмешь?..

Но в конце концов и это улажено. Рублем больше, рублем меньше… Кто на свадьбу скупится?

Играйте, музыканты, пока день не разгуляется! Подумаешь, рублем больше, рублем меньше!.. Играйте веселое и грустное! Играйте, чтобы стекла звенели!

Ну и стараются, наяривают!

Давайте же первую свадьбу начнем с них, с музыкантов.

Скрипач — руководитель оркестра — родом, говорят, из цыган. У него угольная чуприна, черные горящие глаза, хитрые ямочки на смуглых щеках. На нем черный костюм, увенчанный черной бабочкой, от этого белые зубы и белая рубашка кажутся белее белого. Среди сорока скрипачей в симфоническом оркестре, где он играет круглый год, его и не видно. Сегодня на свадьбе он король. Он целую ночь на ногах. Даже не на ногах — на цыпочках. Вот-вот оторвется от земли. Край уха и край щеки прижаты к скрипке. Он вслушивается в мелодию, которую извлекают его пальцы.

Струны поют, ворожат, всхлипывают, сердятся, звенят, лопочут, как ребенок в колыбели, захлебываются, окутывают гостей шелковыми лентами, ласкают, убаюкивают, внезапно будят, взвихривают снег под тенькающими полозьями на зимних дорогах, не дают покоя ногам, раздвигают плечи, сплетают руки, празднично соединяют сердца, мысли, слова.

Скрипач ведет оркестр прищуром глаза, движением локтя, пляшущей прядью волос надо лбом. Капли пота проступают на его лице, как оспинки, появляются и исчезают, исчезают и появляются. Послушные мощи и поворотам мелодии.

Рядом со скрипачом аккордеонист — он сидит на табурете, сверкает глянцевой почтенной лысиной, его плоское круглое лицо сохраняет полное хладнокровие.

Ремень, перекинутый через плечо, на самом деле ничуть не связывает его движений, аккордеон легко стоит на коленях, растягивается и сжимается, то броский, яркий, а то совсем маленький.

Тут все размеренно.

Точно высчитано.

Будто бы с полнейшим безразличием.

Кажется, что пальцы аккордеониста бегают по черно-белым клавишам аккордеона отдельно, независимо от его воли, а сам музыкант сидит на скамейке тоже отдельно, сам по себе. Согнутые пальцы его быстро бегают по клавишам, а глаза с загадочным блеском озирают потолок. Создается впечатление, что одно он играет, а о другом думает. Перед ним и вокруг него свадебный гомон, кружатся пары, мелькают ноги, спины, распаленные лица, а над ним, где-то высоко на потолке, тишина, отъединенность, песчаный берег моря, морская трава под боком, пиджак у изголовья и черт знает что еще…

Но это только кажется.

Присмотритесь к нему внимательней, прислушайтесь хорошенько к его игре.

Между мехами аккордеона плещутся барашки волн, между костяшками клавиш шепчутся кроны деревьев — тысячи подветренных трепещущих веток; свистит пастух, блеет заблудившаяся овечка, летний дождь шлепает по крышам, и заходится неприхотливая гармошка в запыленной ночи.

Всмотритесь хорошенько в прикрытые поволокой глаза, и вы увидите, что в этом человеке что-то бурлит, клокочет, где-то глубоко внутри, скрытое от посторонних глаз. Пусть лицо его кажется отрешенным, спокойным. Зачем выдавать себя?

У саксофониста, совсем еще молоденького, губы как будто специально устроены для дутья. Над губами у него тоненькие реденькие усики. Мамино молоко еще не просохло на этих еле-еле усиках.

Саксофон — это у него дополнительный инструмент. Музыкальную школу он заканчивает по альту. На саксофоне играет по случаю — на свадьбах, на танцевальных вечерах, — и этот навык не повредит. Видимо, он все-таки чувствует себя

немного неловко в подобной обстановке. Ресницы у него застенчиво опущены к саксофону, и выражение лица как у человека, который, стараясь стать невидимым, просто закрывает глаза.

Понемногу музыка все-таки завладевает им, отодвигает все другое, он даже не прочь несколько высокомерно, сверху вниз подмигнуть ударнику, который в свои тарелки и в барабанные палочки всю душу вкладывает.

Ударник длинный и тощий. Его острые колени высоко задраны. Вокруг этих острых колен широко расставлено все его снаряжение: барабаны и барабанчики, тарелки и тарелочки, бубны, литавры, колокольчики — чего здесь только нет! Если бы не длинные руки, как бы он дотянулся до всех своих инструментов?

Медные тарелки вверх тормашками отражаются у него на макушке. Все его тело в постоянном движении, то он бросается к тарелке — дрынь! — перебивает он ее звучание, чтобы приняться за бубен, и колокольчики звенят, не ждут — и все это покрывает стук барабана. Брови ударника тоже прыгают вверх и вниз, качаются колени, взмывают руки. Ну и вихрь — этот ударник!

Свадьба давно началась. Уже час как стемнело. Музыканты сыграли все поздравительные мелодии. Родственники в сборе. Гости вволю наплясались. Почему же накрытые столы стоят нетронутые? Почему еще не приглашают усесться вокруг них? Что случилось? Чего ждут?

Эй, подружки невесты! Вы, наверно, знаете, в чем дело? Но в каком углу невеста с подружками? И где главный сват? Где отец невесты?

Тетя Ривка, его сестра, стиснута гостями, просто не успевает поворачиваться в такой толпе. Отвечай тому, объясни этому… Возьми да расскажи каждому в отдельности всю историю… Не слишком ли она напудрилась, тетя Ривка? Слеза радости, которая время от времени вспыхивает у нее в глазах, задерживается на миг и неумолимо выкатывается. Но тетя Ривка во всеоружии. Она смотрится в маленькое зеркальце и запудривает слезу. Однако не проходит и нескольких минут, она снова ищет в сумке зеркальце, потому что, в самом деле, что за свадьба без слезы и разве можно просто так, надушенным платочком стереть эту слезу?

Невеста в белом свадебном платье, в длинной до полу фате — у нее красивые голубые глаза, белокурые волосы распущены по плечам; с ее губ не сходит улыбка, которая, казалось бы, не говорит ничего особенного и в то же время говорит очень многое. Например, «я счастливая и усталая, мне нравится этот шум вокруг, но мне бы понравилась не меньше

маленькая уединенная комнатка и маленький уединенный островок тишины. Мне хочется, чтобы этот танец поскорей закончился, и хочется, чтобы он длился вечно, и вообще я улыбаюсь, потому что все мне улыбаются, потому что улыбаться гораздо приятней, чем сидеть печально потупясь, в оцепенении и озабоченности, как, говорят, положено сидеть невестам в день свадьбы».

Жених рядом с ней старается изо всех сил выглядеть не слишком парадно, держаться попроще, не как подобает жениху, но ему это, видимо, не слишком удается. Он не знает, куда девать руки, — одной рукой он поддерживает обнаженный локоть невесты, а второй то и дело теребит белую бабочку на шее, оттягивая резиночку и отпуская, будто вспомнил, как маленьким озорником оттянул резинку рогатки и в последний раз пустил камешком в птичку на ветке. Ему чуть страшно, страшнее, кажется, чем на дипломных экзаменах, которые он недавно сдавал. Страшнее, чем на следующий день после окончания института руководить цехом на заводе, куда его назначили мастером. Неприятнее всего, что скоро начнут кричать: «Горько! Горько! Целуйтесь! Целуйтесь!» Как это можно с самой первой, прекрасной и любимой целоваться по чьему-то приказанию? Но ничего. Он не мальчишка. Человек должен все в жизни претерпеть — даже свадьбу. Гости собираются: кружок родственников в одном конце зала, кружок друзей — в другом.

Женщины со свежевзбитыми, только что накрученными волосами, у мужчин празднично расчесаны усы, девушки в новых платьях, коротко подстриженные дружки жениха в черных костюмах, детей выстроили на скамейке, оркестр неистовствует. Четыре музыканта заглушают целую толпу. Такое впечатление, что все здесь глухонемые, жестикулируют, а не говорят. А когда оркестр замолкает, впечатление такое, что все кричат, каждый внушает соседу что-то в самое ухо, как глухому.

— Что он так задерживается?

— Кто задерживается?

— Да он, Бума!

— Кто он? Говорите так, чтобы вас понимали!

— Ну он, отец невесты!

— А, Бума, где же он задерживается?

— Как это где? Там, конечно, на аэродроме.

— Как это: свадьба и вдруг аэродром?

— С вами нужно каждый раз все начинать сначала.

— Ну и начинайте, за это платить надо, что ли?

— Не могли своевременно послать телеграмму!

— Какую телеграмму?

— Чтоб она прибыла вчера.

— От кого телеграмма?

— Можете не сомневаться, что она знала день свадьбы за неделю вперед. Сама сегодня отстучала телеграмму, что вылетает. Как тут предположить нелетную погоду! Это каким провидцем надо быть!

— Прошу вас, кто он?

— Чья мама?

— Видали таких зануд! Мама Ципеле.

— Кто такая Ципеле?

— Как, кто такая Ципеле? Невеста, невеста!

— Ах, Ципеле? Разве вы не можете говорить по-человечески? А меня еще обзывает занудой!

— Да что вы мелете? Мама невесты, пусть земля ей будет пухом, Бася, лежит расстрелянная уже больше двадцати лет! Горе нам! Вечное проклятье нашим палачам!

— Это известно и без вас. А черкешенку, которая спасла ребенка и вырастила его — как же ее еще называть — конечно, мамой!

— Положим, она украинка, а не черкешенка. Просто это случилось возле города Черкесска. По ту сторону Кубани. Но сам-то колхоз — украинский. Я даже знаю, как ее зовут — эту женщину: Марфа. Марфа Никитична.

— Слушайте, добрый человек, смешно прямо: если вы обо всем так хорошо осведомлены, почему же вы столько спрашиваете?

— Я хочу знать, знаете ли вы.

Тетя Ривка пытается угомонить спорщиков: «Что за споры-раздоры до закуски? Тем более на свадьбе?» Но не так-то легко вклиниться в историю. Да еще в такую историю! Она идет своим чередом.

Гостьи с пышными волосами — только из парикмахерской — сбиваются вокруг тети Ривки, как вокруг бадхена. Платочки тянутся к глазам, будто уже невесту уговаривают.

— …Так вот, является однажды добряк староста из деревни и рычит на Никитичну: «Негодяйка, бери свое жидовское отребье и поспешай в штаб! Дождалась своего. Будете висеть обе на одной веревке! Айда!..»

«Висеть так висеть, — отвечает Никитична, — на одной веревке так на одной веревке. Лучше висеть на веревке, — продолжает она, — за то, что делаешь людям добро, чем свободно ходить по земле за то, что убиваешь да грабишь, с такой бандитской мордой, как твоя. Идем, — говорит она, — идем в штаб!»

И она надела на себя все лучшее, что у нее было, и ребенка принарядила. И вот так, в чистой одежде, с ребенком на руках, отправилась в штаб, отправилась на собственные похороны.

Вся деревня шла за ними. И в самом деле как на похоронах. Только что покойник в гробу не лежит. Никто его не везет, не несет. Покойник шагает сам впереди. Собственными ногами. Прямо к могиле.

Вошли в штаб. А там стоит комендант с черненькими остренькими усиками — итальянский комендант, как оказалось, и со смешком говорит:

«А ну, покажи свое грязное отребье!»

Никитична разматывает шаль на Ципеле, но коменданту ребенка не дает.

«Не грязное, господин офицер. Чистое дитя. Чистая душа».

«Цыц!» — взревел комендант, схватил девочку, посадил ее к себе на ладонь, поднял чуть ли не до потолка, видит голубые глазки ее, красивые белокурые волосики и сомневается, держит он на руках ребенка или куклу. Он причмокивает, цокает, а ребенок — что знает ребенок? — отвечает ему улыбкой. Комендант снова причмокивает, а ребенок расходится, подскакивает у него на руках, и комендант кричит:

«Свиньи! Откуда вам известно, что это еврейское дитя?»

«Да это им и неизвестно, господин офицер, — втолковывает Никитична, — откуда им может быть известно? Я нашла ее посреди поля, в пеленках — неизвестно, конечно, неизвестно!»

Комендант своим смешком прочищает горло:

«Так, наверное, она упала с неба? Небесное дитя — падший ангел?»

«Может, и так, господин офицер? Откуда мне знать?»

«А чем ты кормишь ее? Растишь как?»

«Как придется… Немножко чая с размоченным кусочком сахара. Иногда ложка борща перепадет, господин офицер».

«Это не еврейское дитя! — орет комендант на старосту и подает девочку обратно Никитичне. — Вон! Иди корми ее дальше… Свиньи!»

Бума был тогда на фронте. Куда девалась Бася, он не знал. Оставил ее беременной. Ну и что же, ей удалось эвакуироваться? И она благополучно родила? Она, упаси бог, не попала в руки к немцам? Бума пальцы себе до мозолей натер, пока писал, искал ее по всем концам страны. Только через год после войны получает он письмо из Москвы; так, мол, и так, такая-то и такая-то были эвакуированы под Черкесск в такой-то колхоз. Отстукивает он туда телеграмму и сразу же получает из сельсовета подробный ответ. Басю немцы увели на расстрел, а ребенка — Ципеле — ей

удалось оставить у одной крестьянки — Никитичны. Ребенок жив и здоров.

Ципеле уже минуло шесть лет, когда он взял ее к себе. Посмотрите-ка на нее, на невесту, как две капли воды Бася. Точь-в-точь Бася. Сокровище, а не невеста. Благословение доброму сердцу этой Никитичны…

Все собравшиеся уже более или менее в курсе этой истории. Конечно, надо подождать. Сколько бы ни пришлось ждать. Но ждать оставалось не так долго. Родители Бумы, братья, дядя Иосл внезапно стали протискиваться под мышками у гостей, рваться к музыкантам с криком:

— Марш! Играйте марш!

Весь вечер музыкой ведал дядя Иосл. То и дело подбегал к музыкантам. Он поминутно спешил в переднюю к открытой двери, и если видел, что приближается кто-нибудь из гостей, тут же мчался к музыкантам с распоряжением. Быстрота обратного бега и громкость приказания зависели от ранга родственника. Если какой-нибудь почтенный человек, близкий родственник — Иосла не обгонишь, не перекричишь. Если ничего особенного — далековатая родня, — взмах рукой, кивок:

— Эй, сыграйте-ка что-нибудь, гости идут!

Но на этот раз он прямо перескакивал через людей, из кожи вон лез, надрывал как мог свой баритон, чтобы все услышали — от мала до велика.

— Эй, музыканты, марш! Всем маршам марш!

В дверях показались Бума и Никитична. Она размотала цветастую шаль. Он нес ее свитку.

Никитична стояла перед толпой гостей — гладко зачесанные седоватые волосы, глубокие морщины вокруг живых глаз, приветливое выражение лица.

Аплодисменты заглушили музыкантов. Публика раздвинулась, пропустила Ципеле, та подбежала к Никитичне, и они расцеловались. Потом с Никитичной целовалась тетя Ривка. Потом жених, потом дядя Иосл, потом родители жениха. Потом по очереди все родственники. За порядком следил дядя Иосл:

— Люди, не толкайтесь! Станьте здесь! Соблюдайте очередь!

Наконец пригласили к столу. Раскупорили бутылки коньяка, женщинам разливали по рюмкам вишневую настойку. И в самом деле, успели хорошенько проголодаться.

После теплых слов, которые Бума, поднявшись с бокалом в руках, сказал с увлажнившимися глазами в честь Никитичны, принялись за закуски.

Столы ломятся, не сглазить бы. Всех блюд не перечислить. Как это народ так долго терпел? Селедка так и манит,

обложенная маслинами… Настоящая фаршированная рыба. Холодец из крылышек и пупков. Печеночный паштет. Черная и красная икра в розетках. Шейка, нашпигованная яйцами. Начесноченные ломти пастромы. Сардины. Сыры. Соленые помидоры. Жареный перец, маринованные огурчики. Соленые арбузы. Хрен. Не менее восемнадцати сортов закусок, а предстоял еще бульон с миндалем и жареная курица…

— А восемнадцать, — провозгласил дядя Иосл, — переводится словом «хай»! А «хай» означает «жить».

Ели шумно. С шутками-прибаутками. Вино снова разлили по бокалам, и дядя Иосл затянул, а все подхватили:

Давайте все вместе
Никитичну почтим!
Никитичну!
Никитичну!
Никитичну!..

Потом парень и девушка, сидевшие на другом конце стола против молодых, начали кричать: «Горько!» И жених чуть застенчиво, будто нехотя, приподнялся, наклонился к Ципеле и, освободив ее щеки от фаты, взял ее лицо в обе руки и у всех на глазах крепко поцеловал ее в губы — даже, может быть, слишком крепко. Но ничего. Он уже не мальчик. Он даже озирался, выжидал, откуда снова последует такой крик. Ведь и вправду ничего страшного. Поцелуй по приказу, оказывается, имеет тот же вкус, что и прочие поцелуи.

Гости ели и пили, шутили и смеялись, а скрипач — руководитель оркестра — подошел к столу, склонив голову к скрипке. И теперь уже соло, медленно проходя за спинами гостей, стал сплетать венок из еврейских мелодий.

Струны звенели, пели, заливались соловьем, лепетали, как дитя в колыбели, сплетали вокруг гостей длинные многозвучные праздничные ленты, тешили, радовали душу. Чистые лица, глаза.

Играйте, музыканты. До самого рассвета.

Играйте веселое и печальное.

Играйте так, чтобы стекла звенели…

* * *

Вторая свадьба.

Точно такая же, как первая.

Ничем не уступает.

Тот же оркестр, тот же ресторан, так же много гостей, так же организована на широкую ногу.

Жених и невеста, Фрейдка и Виктор, оба студенты Политехнического института, влюбились друг в друга не на шутку. Чего тут только не было — переживания, огорчения, все сладкие и горькие томления первой любви.

Родители Фрейдки — еще молодые люди. Отец — доктор Давид Наумович Вайнер — работает хирургом в детской больнице, мать — Сарра Лазаревна — учительница.

Дом ведет старая мама Сарры Лазаревны — бабушка Лия. Она еще прочно сидит в седле — бабушка Лия, еще полноправная хозяйка в доме. Вмешивается во все дела детей, точно дочь и зять ее были в самом деле малолетками. Вся семья ест то, что она готовит. А готовит она так, как захочет. Дочь, скажем, и есть дочь, но бабушка Лия порой не прочь расчихвостить и зятя — доктора; о внучке Фрейдке и речи нет. Бабушка Лия никогда не была ни в школе, где работает дочь, ни в больнице, где лечит детей зять. И уж тем более в Политехническом институте, где учится внучка. Но она в курсе всего, что у них происходит. Хотя дети посмеиваются над ее владычеством, но втихомолку радуются ему, сами этого не замечая — пусть она до ста двадцати лет так хозяйничает и остается таким казаком — их старая мама. Ей первой открылось, что внучка влюблена. Сидели как-то вечером за ужином. Хотя время уже было позднее, Фрейдка, как обычно, задерживалась. Бабушка Лия обхватила стакан с чаем обеими руками, как-то более сосредоточенно, чем обычно, согревала руки о него. Покряхтывала, вздыхала и вот так, кряхтя, вдруг промолвила:

— Сами увидите, что я права, — дети играют в любовь.

— Откуда ты это взяла, мама? — засмеялась Сарра Лазаревна.

— Я это взяла? Горести мои это взяли. Как же так? Разве я не вижу, как она худеет с каждым днем, в каком чаду ходит, разве я не вижу? Да и что же я, слепая? Вон как он все время вертится под окнами… Разве я не вижу?

— Играть в любовь как будто совсем не так худо, мама?

— Да, но с кем-нибудь подходящим.

— А ты уже знаешь, что здесь что-то неподходящее?

— Да не я знаю! Мои беды знают!

— Что же они знают?

— Во-первых, это не еврейский мальчик.

— А во-вторых?

— Тебе еще надо во-вторых?

— Что же, милая теща, прикажете делать? — подмигнул зять.

— Ты, зятек, можешь смеяться себе на здоровье, сколько хочешь. Но я тебе скажу свое: прежде всего надо устроить, чтобы парень не вертелся все время под окнами.

— Ты права, в городе парков много.

— Да нет, говорю, чтобы он не где-то болтался, а вот здесь, в доме.

— Тогда во-первых будет уже не «во-первых», тещенька милая!

— Смейся, смейся! Что у этой старухи в пятке, у других, молодых, в голове не ночевало. Даже если они доктора. Всем известно, что сейчас с такими вещами не считаются. Но приличным молодым человеком из хорошего дома должен он быть? Пожалуйста, пусть приходит, мы тоже на него посмотрим, послушаем…

Короче говоря, Виктор начал бывать в доме, поначалу парочка немного стеснялась, но со временем все привыкли. Да и правда, одно удовольствие поглядывать, как они сидят рядышком, согнувшись над книгами и чертежами, как будто учат что-то, как будто готовятся день и ночь к сессиям, как они это называют, а сами пламенеют да витают в облаках — разве бабушка Лия не понимает, что делается? Да ладно. Не такой плохой парень, этот Виктор. Стройный, черные глаза смотрят с добротой, улыбка умная, да и тихий, вежливый — радость перекинуться с ним несколькими словами. Он говорит, что Фрейдку любит как жизнь. И так оно и есть. Иначе — о чем бы им столько разговаривать? Говорят, говорят и никак не могут наговориться. И зачем им так поздно сидеть? Сидят и сидят, может, до двух ночи сидят. Никак не могут расстаться. Поверьте бабушке Лии — она понемножку вызнала у них, что к чему. У него самые серьезные намерения. Он вообще серьезный парень. Не прощелыга, как другие, не пустельга, не мот, не забияка, не обманщик, упаси боже, не кружит девушкам головы. Там, в институте, он получает самую большую стипендию, цели у него самые высокие — погодите, говорит, он на институте не остановится. И тянет, видно, Фрейдку за собой. Где же лучше найдешь, а? Конечно, он не говорит по-еврейски, но сколько, если начистоту, знает Фрейдка по-еврейски? Он называет ее «бабушкой Лией» так же ласково, как и внучка. Бабушка Лия разговаривает с ним по-молдавски, точь-в-точь как когда-то в местечке разговаривала с молдаванами, когда они приходили к ее Лейзеру, мир праху его, заказать упряжь, вожжи, шлеи для коней. Лейзер был простым кожевенником. Зато понятливый человек, умница — если молдаванин оставался у них с ночевкой, Лейзер велел ему постелить самую лучшую постель, подать самый лучший ужин.

«Слышишь, Лийка, — обращался он к ней, — когда-нибудь наступит время, когда все люди и все народы станут братьями. Пророк Исайя еще предсказал это. Зачем же так долго ждать, чтобы нас с тобой уже при этом не было?..» Вот если бы ее Лейзер жил теперь! Интересно, что бы он сказал? Он бы сказал, что в доме затевается совсем не плохое дело. Он, наверно, тешился бы тем, что дети так по душе друг другу. Человек должен прежде всего быть человеком. Если ты даже тысячу раз еврей, но не человек, так свинья тебе товарищ. К тому же видишь, как они просто исходят от любви друг к другу. Что может быть вообще на свете сильнее любви? В ее время вроде об этом и не подозревали. И ничего страшного. Прожила с Лейзером жизнь. Но для детей — для Давида и Сарры — это самое главное. Больше ничего им и знать не надо. Одно им подавай: любят ли влюбленные друг друга по-настоящему… Если, мама, они по-настоящему друг друга любят, о чем еще беспокоиться? У Давида и Сарры вмиг согласия добились. Еще в прошлом году не возражали, чтобы дети поженились. Сколько ночей баба Лия провела без сна на своей постели, ворочалась, мяла старые кости свои, все прикидывала да взвешивала… Тысячу раз «да» и тысячу раз «нет». Летом Фрейдка прокатилась с Виктором к нему в деревню. Вернулась на седьмом небе от счастья. До чего же ей повезло! Отец и мать Виктора так ее полюбили: «Больше чем ты, бабушка Лия…» Кто разберет, может, это действительно счастье? Простые честные люди, колхозники, трудяги — каким был ее Лейзер, — беда ли, что они не знают библии и талмуда? А Лейзер, что ли, в профессорах ходил? Лишь бы дитя было довольно. В этом году они оба кончают институт. И уже будут женаты. Обоих пошлют работать в одно место, или же вместе пойдут учиться дальше. Без согласия бабушки Лии, конечно, не обошлось. Уважение и почтение, и последнее слово пока еще оставались за ней. И она таки сказала «да». Еще бы она сказала «нет»! Она, слава богу, еще при своем уме.

И вот теперь играют счастливую свадьбу.

Музыканты наяривают, гости танцуют. Вот уже уселись за столы, где коврижки и водка, коньяк и закуски. У приглашенных слегка порозовели лица. Ноги стали легче. Глаза блестят. Настроение лучше не придумаешь. Все вокруг вертится, вертится, вертится.

Гости снова танцуют.

Столько народу, не сглазить бы!

Пара за парой. Круг в круге.

Друзья и подружки невесты и жениха. Студенты, студентки. (Минутка. Расступитесь немножко. Молодежь танцует ча-ча-ча.

Ах, как у них каждая жилочка пляшет, у этих молодых!)

Врачи — друзья Давида Наумовича, учителя и учительницы — сослуживцы Сарры Лазаревны. (Ну-ка, музыканты, вальс. Легкий воздушный вальс. Танго. Танго на скрипке. Порхают веера. Плывут обнаженные плечи. Пальцы едва касаются пола.)

Сторона невесты. Родственники бабушки Лии, две сестры доктора со своими мужьями, соседи, добрые друзья. Кто-то надумал затеять хору. Поднимайтесь, друзья, кто умеет водить? Бабушка Лия тоже еще кой для чего годится! Бабушка Лия машет платочком!

Сторона жениха. Отец и мать Виктора. Их бригадир. В синем костюме, с подстриженными усами. Тетя Виктора. Несколько смуглых застенчивых девушек. Они приехали с бочкой вина, с круглыми плетеными куличами. Со свадебными полотенцами, присобранными на плечах. (Гей, музыканты, волох, хору, родимую молдовеняску, руки на плечи. Поворот в одну сторону, поворот в другую. Колени взлетают в воздух. Все ноги притопывают в такт. Круг в кругу. И в этом кругу еще круг. Быстрей-быстрей! Загоревшиеся лица. Чубы на лбах. Еще, еще раз.)

Бабушка Лия пляшет посередке. Танцует одна, одна-одинешенька, это ее особая пляска. Ее собственная. Платок с головы соскользнул у нее на плечи. Белый, жиденький кренделек волос растрепался. Голова с лукавым кокетством склонилась к плечу. Ее поднятые руки, как два расправленных крыла. В одной руке конец платка, другой рукой она прищелкивает в такт музыке. Вот она нагибается и присматривается к чечетке, которую выбивают ее ноги. Потом она на миг выпрямляется, устремляет взгляд ввысь и застывает где-то далеко в поднебесье.

— Поздравляем, бабушка Лия!

— Пусть счастье вам улыбается, друзья мои!

— Чтоб вы, бабушка Лия, еще праправнучка дождались!

— Спасибо, и вам того же!

— Пусть не коснется вас дурной глаз!

— Ай-ай, я уже не танцевала бог знает сколько!

— С вами, бабушка Лия, никакая молодка не сравнится — так скачете!

— Для последнего раза набираешься молодых сил.

— Бросьте, бросьте, последний раз — это для наших недругов.

— Что вы говорите! Ноги уже не ноги. Глаза уже не глаза. Сердце уже не сердце. Но разум — еще разум. И воля еще воля. Тьфу! Трудно пускаться в пляс на старости лет.

— Держитесь, бабушка Лия, ради правнука. Такая Фрейдка, не сглазить бы, чтоб никому вреда не было!

— Ну а Виктор? Никудышный, что ли?

— Пусть все наши любимые будут не хуже.

— Только бы здоровье, друзья мои!

— А дети… Такой Давид и такая Сарра! Лейзер — кожевенник, а зять — доктор. Он, бедняга, за всю свою жизнь доктора ни разу в глаза не видел.

— А на себя обернитесь, друзья мои!.. Такая отменная публика! Почет и удовольствие…

— Всем бы нашим любимым так!

— Да, Лейзер не дожил. До свадьбы дочки не дожил и до свадьбы внучки не дожил, ах, Лейзер, Лейзер!

Бабушка Лия начинает кружиться на одном месте быстро-быстро, как юла. Непонятно, все ли она еще танцует или вдруг остановилась среди танца, пошатываясь, вот, кажется, запрокинет голову и упадет на пол.

Фрейдка и Виктор подбегают и подхватывают ее. Она стоит минуту, как в чаду, с неловкой улыбкой на губах: «Это пустяки, глупенькие, это просто так», — она чуть пережидает дурноту и кладет обе руки на плечи детям. И вот уже втроем они пляшут снова.

Фрейдка втягивает в танец отца и мать. И Фрейдкины родители вовлекают в танец родителей Виктора. В круге семь танцоров. Семейный хоровод. Гости, обступившие их, бьют в ладоши. Музыканты играют громче, живее. Пиджаки расстегиваются, полы разлетаются, платья взвихриваются. Руки вокруг шеи, руки на плечах, руки в руках, круг сужается, ширится, снова сужается, снова ширится. Он растягивается и собирается, вновь растягивается и вновь собирается, мнется и складывается, как аккордеон в руках аккордеониста. Бабушка Лия уже не чувствует ног под собой, ни одной жилочки своей не чувствует. Локти ее вяло расставлены, лицо залила бледность, голова опущена, но она не сдается. Она взбрасывает плечо, из-под длинного платья мелькает колено, она пляшет, она притопывает, она живет.

Сильнее!

Выше!

Больше огня!

Вдруг… То есть пока, сразу после танца, ничего особенного не приключилось. То, о чем надо рассказать, произошло после. Все гости снова уселись у столов, сразу после семейного танца — и только старик Архип Павлович — отец Виктора — почему-то слишком отяжелевший и измученный, остался на том же стуле,

где сидел, и Виктор, не отходя от него, вытирал ему лицо платком. Кто заметил это, а кто и не заметил. Да и как можно было заметить, если старик сидит в таком положении весь вечер и в душе колеблется, мучается — сказать или не сказать? Если сказать, то когда сказать? Прямо на свадьбе или, может быть, позже, со временем? Нет, зачем и дальше откладывать? Почему бы людям сразу не открыть правду? И всем этим родственникам и самому Виктору? Когда будет более подходящий момент, чем сейчас? Ну, а если правильнее, чтобы никогда? А? Как до сих пор не знали, так и дальше знать не будут. Но как скрыть такое? Да и зачем скрывать? Ему тут вроде бы нечего стыдиться. Наоборот. И как вообще таить такие серьезные вещи от родственников? А если потом все равно узнают? Ну ладно, сложись все как-то иначе, может, Виктору действительно ничего не следовало бы знать… Но раз уж сложилось так, и вроде бы совсем недурно сложилось (родственный танец разрешил все сомнения Архипа)… Как же можно от таких людей скрывать правду? И в конце концов, что здесь зазорного, а? Виктор все утирал платочком капли пота с отцовского лица, но капли пота набегали все снова и снова на отцовское лицо.

— Оставь, сынок, не надо. Я уж сам. Иди к гостям, к невесте.

К Архипу Павловичу подсела его жена — мать Виктора, Лукерья, маленькая, коренастая, круглолицая, в длинной блестящей кофте, по нраву молчунья.

— Слышишь, жена, — шепнул Архип Павлович, — сейчас пойду и все им расскажу. Да, да, пойду и расскажу.

— Дорогой мой! — всплеснула руками жена, так что непонятно было, согласна она с ним или нет.

— Говорю, я решил им рассказать.

— Умом тронулся, что ли?

— Только не знаю, как это сделать.

— Мы потеряем Виктора, Архип.

— Наоборот.

— То есть как это наоборот?

— Я уже не могу это больше в себе носить.

— Не хочу вмешиваться.

— Вот увидишь, наоборот, он нас будет еще сильнее любить.

— Я не вмешиваюсь. Поступай как знаешь.

Повторили приглашение к столу. Во главе стола, как и положено, сели жених и невеста. Возле жениха его родители, а рядом с невестой бабушка Лия. Родители невесты, парни и девушки, пока суд да дело, затянули песню. Тем временем начали обносить курятиной, ароматной маиной. По бокалам разлили красное вино. Скрипка подыгрывала поющим.

Внезапно все затихло. Отец жениха Архип Павлович поднялся с места, стал перед народом с бокалом вина в руке, у него был такой значительный вид, он держал бокал так по-особому, что гости почувствовали, что сейчас услышат что-то непростое. Кто-то крикнул: «Тише!» Скрипачу мигнули, что надо переждать.

Дед Архип стоял прямой, высокий, казалось, стал еще выше. Глаза его смотрели куда-то поверх голов, в какие-то, видать, далекие воспоминания. На стол шлепнулась капля из полного бокала. Губы Архипа Павловича медленно зашевелились, пока без слов, тихо и благоговейно, точно он вот-вот начнет читать кидеш. Дед Архип окинул глазами всех собравшихся, взглянул на жену, сидевшую рядом, и остановил взгляд на Викторе.

— Сын мой, — его губы дрожали, — я хочу тебе сейчас… здесь вот… открыть тайну…

Он склонился к Виктору и поцеловал его. Виктор смеялся: не иначе, какая-нибудь наивная шутка отца, Архип Павлович повернулся к жене, провел кончиками пальцев по ее волосам:

— Мы с моей старушкой, дорогие друзья, давно договорились между собой: если Виктор женится на ком-нибудь из наших, молдавских девушек, пусть тайна остается тайной. Если же ему полюбится еврейская девушка… Потом мы одумались: нет, все равно будем молчать… Но красота этой свадьбы, весь этот вечер, вы все, эта родственная близость между вами — почему бы ему не знать, кто он такой? Да и зачем нам это на душе носить? Правда, старушка?

Мамаша Лукерья сидела разинув рот и все время кивала мужу. Тишина вокруг стола стала глубже, гуще. Малейший шорох был бы неуместен. Нет, вы только посмотрите внимательней на гостей… Что за свадьба без воспоминаний и без слез?

* * *

Не знаю, есть ли среди собравшихся кто-нибудь, кому довелось пройти по той адовой дороге.

Мало кто оттуда вернулся, дожил до внуков. И совсем-совсем единицы, по пальцам пересчитать после той уносившей жизнь дороги, дождались того, чтобы женить внуков.

Дорога скорби, адская дорога, смертельная дорога.

Бессарабских евреев фашисты истребили просто, по-старомодному, по дешевке — и газа не понадобилось, и в эшелонах не возили — без громоздких затрат, без лишних церемоний. Просто гоняли их неделями пешком, нарочно вперед и назад, или по кругу — по всей ширине и длине этого

бессмысленного, гибельного пути.

Гнали изголодавшихся, измученных, без еды и питья, опухших, раненых сквозь сырую осеннюю ночь. Некоторых старых и больных подстреливали в сумерках на лесных опушках… Гнали избитых, истоптанных сапогами, гнали девушек, изнасилованных в слепоте тех дождливых и холодных ночей; гнали пожираемых эпидемиями, задавленных издевательствами и унижениями, наполовину погубленных еще до того, как они достигли наконец лагерей Транснистрии.

Старик в агонии. Родственники несут его, одеревеневшего, на плечах, как погребальные носилки. Палачи штыками сбрасывают его с их рук. Старик на земле еще жив, стонет: «Кадиш… кто-нибудь хоть скажет кадиш?..» И успевает услышать слова своего изнемогшего сына: «Да святится имя твое!»

Рассказывают, что у одной женщины из Рашкова по дороге начались роды. Она упала. Бандиты не дают ей лежать, подталкивают штыками, и она бредет дальше с новорожденным в подоле. От младенца идет пар. Даже пупок не перерезан…

На той дороге, сказывают, где-то возле Вертюжан фашистские изверги выщипали у рашковских раввинов бороды, вырезали языки, заставляли раввинов плясать перед ними веселый еврейский танец.

Несколько старых рашковских евреев и евреек собрались в одном доме и отказались куда бы то ни было идти. Будь что будет. Пусть с ними поступают как хотят. Здесь, где жили их деды и прадеды, они все вместе покончат с собой. Разбойники вытащили их наружу и стали бросать в колодец около дома. Скрипучий колодец со студеной водой моих детских лет.

Где-то на той дороге остались качаться на деревянной виселице два школьных товарища моих, Хоне Одесский и Мойше Гульчин, за то, что они агитировали толпу. Пытались вырвать у солдат ружья, поднять бунт против представителей нового порядка в Европе.

И это только несколько случаев, происшедших с жителями одного маленького местечка.

Дикие звери, убийцы, вооруженные всевозможным оружием — винтовками, автоматами и даже пулеметами на повозках, гнали толпу, по большей части женщин, детей и стариков, по заброшенным пустым дорогам, по запущенным полям и степям, стараясь миновать деревни, не особенно мозолить глаза деревенским, проходили, не задерживаясь, чтоб, с одной стороны, в деревнях понимали, что с ними шутки плохи, но, с другой стороны, не полностью понимали, что именно творится.

Да и самим этим деревням несладко приходилось. Они стояли поодаль черные, замкнутые, пришибленные. Кое-где низко по крыше змеились один-два дымка.

Снова в деревнях распоряжались жандармы, да еще пуще, чем прежде. Обшаривали дома, в каждом крестьянине, получившем в прошлом году при советской власти кусок земли, видели врага, бунтовщика, красного партизана… Вернулись на свои бывшие усадьбы господские сынки со своими прихлебателями — пьяницы и погромщики. Эти то и дело ходили к дороге полюбоваться да потешиться тем, как ведут на уничтожение покоренных евреев.

Рассказывают такой случай. Из деревни вышел к дороге какой-то субъект с собакой. Собака села на задние лапы, а человек весело пошлепывал хлыстиком по своим высоким сверкающим сапогам. Оба смотрели на гонимых. Собака скалила зубы, злилась. А человек скалил зубы — смеялся:

— Эй, унтер-офицер, подари мне вот тот костюм. Зачем евреям костюмы?

— На, я тебе его оставляю!

И унтер-офицер тут же продемонстрировал свою сноровку: одна секунда, один выстрел.

Некоторые крестьяне выходили на порожки, крестились, видя беду, темнеющую вдоль дороги, заламывали руки. Крестьянки кусали губы, кое-кто рыдал в голос, как будто бы горе было их личное.

Кое-кто, рискуя жизнью, бегал по дворам, созывал народ:

— Идемте, надо что-нибудь делать! Как можно молчать? Вдруг кого-нибудь спасем, хоть чем-то поможем!

Как стемнеет, крались по огородам, вдоль плетней, подползали к гонимым, незаметно передавали торбочку — сыр, хлебец, бутылочку молока.

Архип и Лукерья походили по соседям, наскребли у кого что оставалось. И с двумя полными котомками обогнули деревню, вышли к виноградникам у старого орешника; забежав вперед по дороге, они дожидались у трех высоких колодцев, стоявших один подле другого, внизу, у самой дороги. Супруги уселись под орешником с таким видом, будто только откуда-то вернулись и перед входом в деревню решились отдохнуть.

Вот уже слышно за холмом, как приближается толпа… Стоны, крики. Три колодца с тремя длинными скрещенными журавлями, устремленными вверх, напоминают три черные виселицы. Ох-ох-ох, что тогда творилось у этих трех колодцев!

Народ бросился к трем висящим деревянным ведрам. Фашисты били людей прикладами по головам и по плечам. Вокруг колодцев вой, топот, земля ходила колесом. Архип и

Лукерья кому-то сунули торбы и едва дыша укрылись позади плетня в виноградниках. Была еще слышна стрельба, топот погони. И вот в этой суматохе над плетнем нагнулась молодая растрепанная женщина с младенцем на руках.

— Возьмите его, люди добрые! Я оставляю его у вас… Он будет жить… Вот увидите, что он будет жить…

Что здесь могло жить — это синее, без сознания, кости да кожица! Всеми болезнями переболел, все хвори перенес, но жил. Выжил.

Вся деревня для отводу глаз судачила о том, что Лукерья на старости лет родила Архипу сыночка. Кому какое дело, как да отчего… Ребенок живет, ребенок растет.

Женщину Лукерья даже рассмотреть не успела, и в глаза друг другу не взглянули, Лукерья слова в ответ не молвила, но все время чувствовала мать ребенка рядом с собой, чтобы ни стряслось с мальчонкой, советовалась с ней. Лукерья малыша уберегла. Как будто она тогда дала слово молодой женщине и сдержала его.

Ребенок будет жить… Вот увидите, что он будет жить…

* * *

Конечно, какая же свадьба без слез?

У женщин платки хоть выжимай, они, не стесняясь, всхлипывали. Мужчинам пришлось взять себя в руки, кто покривил губы, кто поскреб рукой по усам — все ж таки мужчины!

Слезы, упаси бог, не помешали свадьбе. Напротив, сделали ее еще благородней, возвышенней, значительней.

Музыканты играли, гости танцевали.

Играйте, музыканты, пока не настанет рассвет!

Играйте веселое и печальное.

Играйте, чтобы стекла в окнах звенели!

Пер. Е. Аксельрод.

ПАРЕНЬ ИЗ МЛАВЫ

Памяти Ливиу

Я завидовал.

Я завидовал тому, что он поэт и может работать вот так, запросто — без крыши над головой, без чернильницы и пера, без единого клочка бумаги.

Бледнея от зависти, я убеждался, что стихи, в отличие от прозы, можно сочинять на ходу, ковыляя с разбитыми в кровь ногами по страшным дорогам беженства. Позади оставались разрушенные, пропахшие смертью города, впереди ждала неизвестность, с неба сыпались бомбы, и в их зверином вое музы, по логике вещей, должны были помалкивать.

Если бы они молчали, притихла бы и зависть.

Поэт никогда не был говоруном, а в те дни особенно. Он плелся кое-как, с рассеянным отрешенным видом, и молчание в нем каменело, как схватившийся цемент.

Из пылающего Кишинева он вышел чин чином: в руке аккуратный портфель с медными уголками и застежками, костюм разутюжен в лоск, туфли блестят, светлая шевелюра заботливо приглажена и чуть ли не смазана брильянтином — франт, да и только! Он обожал выглядеть чистеньким и ухоженным. Когда спустя несколько дней мы встретились на другом берегу Днестра, в Григориополе, или, может, в Дубоссарах, я едва узнал его: волосы всклокочены и торчат в разные стороны, брюки изжеваны, на щеках щетина. Он постарел сразу на несколько лет, и так мы и обнялись — словно годами не виделись.

Свой щегольский портфель с несколькими книгами и парой чистых сорочек он превратил в ранец, продев под его ручку полотенце, которым и обвязался через левое плечо, наискось. В другой обстановке это полотенце напомнило бы мне молдавский свадебный рушник, но теперь оно было больше похоже на грязный бинт, прикрывающий кровавую рану.

Шел он, как уже сказано, медленно, с трудом. Нас обгоняли даже воловьи упряжки, дети и собаки. Его длинные руки мотались, как шатуны, вперед-назад, вперед-назад, неустанно гребли, борясь с дорогой, точно он шел по шею в воде. Вдруг, помнится, он сел на землю, разулся, стащил носки с багровых ступней и высоко закатал штанины, будто и впрямь собирался перейти вброд речку. Ноги его были стерты, носки слиплись от сукровицы. Он небрежно сунул их в карман, подхватил туфли и встал, как-то смущенно улыбаясь: поэт решился идти босиком.

И вот он, стало быть, сочинял. Да не что-нибудь такое-этакое, а стихи о любви. Еще минуту назад мы лежали, втянув голову в плечи, в некошеной ржи у дороги. И не просто лежали, а унизительно, на карачках, переползали с места на место, не ведая, какой клочок земли под нашими телами окажется наконец роковым. Пронзительно кричали дети, выли женщины, и два «мессера» с черными крестами на крыльях усердно, словно работу делали, засевали поле свинцовыми семенами.

На обезлюдевшем асфальте истошно ржали и рвались из постромок брошенные кони.

Когда «мессеры» ушли, мы не сразу отыскали один другого в наступившей тишине. Он схватил мою руку и, прижав ее к своему сердцу, долго, без слов, смотрел на меня. В его глазах стояли слезы. Казалось, больше, чем самой смерти, он боялся, что мы опять потеряем друг друга в этой смертельной суматохе.

С того дня мы решили по возможности избегать крупных шоссе и железнодорожных линий. Фашисты налетали не слишком часто, но и не редко, и в первые часы после налетов народ шел по дороге тревожно задирая головы к небу. Люди словно молились кому-то — но кому?

По-прежнему не отпуская мою руку, он шагнул молча, весь в своем, весь в далеком мире. Поэтому я страшно завидовал, когда он спросил своим обычным будничным голосом:

— Хочешь, прочитаю новое стихотворение?

— Сейчас? После такого?

— Когда же еще? То есть сочинил я его вчера, в совхозном клубе, на сене. Ну, послушаешь?..

Я не поверил. Поэт соврет — недорого возьмет. Прочитает с подвыванием что-нибудь старое, а я ахай. Вы бы, например, поверили? Ведь это ни с чем не сообразно — пули и стихи.

Но, понимаете, в его голосе не было ни вот столько вранья, как нет вранья в огне, в костре. А голос был именно похож на пламя костра.

И попробуй пересказать, о чем поет огонь. Да и совесть не позволяет мне делать вид, будто я запомнил все до последнего слова. Пусть он, вечная ему память, не сердится на меня. Короче, я упрощаю и огрубляю, а примерно так:

«Я люблю тебя. Ты у меня самая красивая, самая лучшая. Я целую твои нежные, твои полные груди, приникаю губами к твоим запыленным ногам.

Через поля и горы звал меня твой голос.

Ты лежишь без чувств, осквернённая и поруганная, ты, моя самая чистая, самая вечная.

Насильники хотят истребить нашу любовь глумленьем и

ненавистью, но она, любовь, испепелит их самих.

Лань моя ненаглядная, я люблю и буду любить тебя до последнего вздоха».

Вот в таком роде.

Тогда-то я и начал ему завидовать.

По правде говоря, в те дни и ночи у меня и самого стало что-то пробуждаться в душе: фразы, диалоги, наметки сюжетов. Снедаемый завистью, я все это выкладывал ему — в ответ на стихи, — зажигался, помогал себе руками, глазами, лицом, всем своим существом, дескать, я тоже не лыком шит, вертятся у меня в голове шарики.

Но рассказанное, как известно, перегорает. Перегорели и мои сюжеты. Разлетелись, рассыпались, словно отгоревшие листочки бумаги, стали пеплом и прахом.

Он одобрительно кивал: «Хорошо. Ты напиши это…»

Выходило так, что, пока я не запишу или не напишу, всему этому цена — копейка. Но где взять силы, где найти место и время? А он, пожалуйста, ручку в руки не брал, за стол не садился и — читает готовые законченные стихи.

Меня болезненно задевала его непрактичность и беспомощность в соединении с каким-то простодушным мужеством. Я ни разу не слышал, чтобы он жаловался на голод или жажду, а когда как-то раз я, не сдержавшись, заныл, он только пожал плечами. И похоже, он скорее умер бы без куска хлеба, чем стал бы тревожиться, где этот кусок раздобыть. Наши бесприютные ночи его не печалили: он, казалось, мог бы жить без сна и спать, положив голову на камень, на кол забора.

Вы спросите, не стыдно ли мне признаваться в зависти, этом низменном недостойном чувстве? Как известно, оно до добра не доводит, чему есть тысячи примеров от Каина до Сальери. Но я скажу так: может быть, «зависть» не совсем то слово, которое выражает мое отношение к спутнику давних скитаний. Назову это иначе: ревнивой любовью и преклонением. Во мне и сейчас живет трепетное благоговение перед всяким творцом, особенно пишущим и сочиняющим. В детской беспомощности моего товарища, в его неприспособленности ко всему, кроме стихов, в самих стихах, которые он создавал как бы походя, без видимого приложения труда, я все зорче усматривал приметы истинного поэта, и они рождали во мне ответное стремление помочь ему, спасти, уберечь от невзгод. Ради него я становился нахрапистым пробивным шустряком. Если мне удавалось добыть две постели, он получал лучшую. Первый глоток воды из колодца доставался ему. Я залечил его израненные ноги, заставил отмыться, почиститься, привести себя в порядок. Нередко, усадив его под

тенистым деревом где-нибудь на околице села, я бегал по колхозным конторам, выцыганивая буханку хлеба, кучку красных помидоров, пару луковиц. Позже, на Северном Кавказе, в сутолоке и вони привокзальных эвакопунктов, я заставлял его проходить дезинфекцию и наскоро париться в вагонных баньках. Словом, я нянчил и пестовал его, как Сендерл у Менделе[36], этот еврейский Санчо Панса при обожаемом Дон Кихоте.

Тут нужно, видимо, объяснить, почему мы, тридцатилетние мужчины, уходили с потоком беженцев в тыл, все дальше от фронта. Нас, бессарабцев, всего год как ставших советскими гражданами, в действительную армию до поры не брали — нас просто вырвали из когтей врага. Женщин и детей эвакуировали эшелонами, а мужчин отправляли за Днестр пешком, с наказом обращаться по дороге в военкоматы. Но в глухих селах, через которые мы проходили, военкоматов не было. В райцентрах же объясняли коротко и ясно: ищите семьи, устраивайтесь, вас вызовут. Это звучало не отказом, а приказом. И когда кто-то из земляков-бессарабцев однажды вздохнул: «Не верят», — мой молчаливый, застенчивый, как барышня, спутник, от которого я ни разу не слышал грубого слова, внезапно закричал:

— Подонок! Скотина! Не верят ему!.. А почему тебе должны верить? Кто ты есть? Откуда взялся? Что совершил, чтобы тебе поверили?..

Сам он был родом из Ясс. Вырос рядом с театром «Помул верде» («Зеленое дерево»), основанным Авромом Гольдфаденом[37], а к нам приехал уже автором трех поэтических книжек, в которых не кричал, не бил себя кулаком в грудь, а просто и естественно, как птица, пел Революцию. В Румынии торжествовал тогда разнузданный фашизм, и он, поэт, переехал в Бессарабию: «Через поля и горы звал меня твой голос». Словом, я понял, почему скользкое «не верят» так обожгло его: он и себя, уже немало совершившего для нашего дела, усовещивал и успокаивал.

Где-то в районе Кривого Рога мы попали в эшелон, который довез нас до Черкесска, а оттуда подались назад, в Краснодарский край. С жадностью читали мы на вокзалах и вокзальчиках вывешенные для всеобщего обозрения списки эвакуированных, уже осевших в окрестных городках и селах. Мы переворошили сотни и тысячи писем от людей, которые искали потерявшихся в пути родных. Многие таким образом находили друг друга.

Вскоре повезло и нам.

Но перед этим произошла одна, то есть одна из множества, маленькая история, которую я хочу рассказать, прежде чем закончу воспоминания о поэте.

Уже не помню, как называлась та крошечная станция неподалеку от Невинномысска. Мы попали туда поздно вечером, измученные и голодные, без гроша за душой. Эвакопункт, где днем можно было бы разжиться талоном на несколько сот граммов хлеба и миску супа, встретил нас огромным висячим замком. Рядом, в пыльном скверике, вповалку лежали на узлах беженцы. Мой товарищ нашел себе среди них место и тут же уснул, как невинный младенец.

Я заглянул в зал ожидания. Темнота. Зал забит спящими. Только светила над окошком закрытого буфета тусклая лампочка, затененная куском синей оберточной бумаги. Пышные четырехгранные колонны с грубой лепниной по углам подпирали низкий потолок. За одной из них я и притаился, дожидаясь, пока люди, сидевшие вокруг единственного столика, закончат свою трапезу, — быть может, оставят кусочек-другой хлеба. Сердце меня не обмануло. Столик опустел, и я с оглядкой протянул руку к хлебнице.

В то же мгновение из-за колонны вынырнула другая рука.

Я замер, пытаясь разглядеть лицо конкурента.

Не вовремя подоспевшая уборщица решительно «разогнала» наши руки, как разгоняют кур, сбежавшихся к горстке зерна:

— Кыш… бесстыжие!

И она одним движением смела огрызки в подол передника.

Теперь я мог смотреть на соперника без злости. Неудача даже как-то сблизила нас.

Мы вышли из вокзала и отыскали в каком-то закутке незанятую скамейку. Вокруг — ни огня. Тем ярче пылала на небе светлая луна, отражаясь в толстых очках моего голодного собрата. Она оттеняла его длинный тонкий нос, впалые щеки, резкую складку у губ.

Он заговорил первым.

— Не могу усидеть на месте. Бегу. Мчусь. Лечу. Куда несешь меня, господи? Отца с матерью гансы зарезали, а я живой… Здесь меня обогрели, приютили. Думаешь, плохо было в Усть-Лабинске, на хуторе? Как бы не так! Кормили от пуза, постель как у пана. Скажи «спасибо» и живи не хочу. Так нет, не сидится… Во Львове у меня тетка эвакуироваться не захотела. Тоже теперь мертвая, наверно… А Россия большая, я-ах, большая! Она одолеет Гитлера, ты не думай… На голод плевать, я привык… Русские ему наломают бока, отплатят и за себя и за нас…

Что мой собеседник родом из Польши, я догадался сразу, как только он открыл рот: его выдавал распевный польский говор и знаменитое протяжное «я-а-ах». Все же я спросил:

— Ты откуда?

— Сам не видишь? — усмехнулся он. — Варшавянин на все сто двадцать процентов! Ну, может быть, на восемьдесят пять. Родился-то я в местечке, как все евреи.

— И в каком, например?

— Я-а-ах, местечко как местечко. Млава называется, но что толку?

— Млава? Так ведь оттуда вышел Опатошу![38]

Его очки снова блеснули.

— Ты это мне рассказываешь? Хорошенькое дело… У нас в Млаве до последнего времени жила его родня. Так их и звали — Опатошками. Ты читал «Польские леса»?

— А ты?

— Я? Да я наизусть знаю все его рассказы, не то что роман!

— Какие? — пристал я. — Хоть один назови…

Он опять усмехнулся и поглядел на меня поверх очков. Потом возвел руки к луне, словно жалуясь:

— Дожил, слава богу, экзамены мне устраивают!

— Да нет, — смутился я. — Просто интересно.

Он молчал. Его длинный нос, казалось, удлинялся на глазах.

— Интересно? Ну хорошо, послушай… Есть у Опатошу рассказ про двух молодых бродяг. Дело происходит в красивом богатом Нью-Йорке, где многоэтажные дома целуются с небом, а доллары сыплются как монетки из задницы заколдованной козы. Вот… А на улице ливень, оба парня промокли до нитки, жрать нечего, в животе урчит, в башках свистит… Стоят они так под небоскребом, тулятся друг к другу и объедаются… воздухом. Выдуманным ужином, понимаешь? Пустым вонючим воздухом, и даже без масла…

Я сглотнул слюну.

— Я-ах! — воскликнул он. — Ты, кажется, тоже не против закусить? А я тебя кормлю разговорами… Постой!

Он вскочил со скамейки и, изогнувшись в три погибели, как заправский официант, сорвал со сгиба руки скатерку. Она затрепыхалась и легла на скамью. Тем временем в его руках оказался доверху полный дымящийся котелок. Пар, поднимавшийся оттуда, ударил ему в лицо, и стекла очков мгновенно запотели. Услужливо склонив голову набок, он мигом разложил тарелочки, вилки и ножи с пожелтевшими костяными ручками, потом пробормотал: «Нет, это лишнее», — и выхватил из котелка ароматную куриную ножку. Она обжигала ему ладони, за рукава потекла юшка. Он несколько раз перекинул добычу с руки на руку, потом приспособился, зажав ее в пальцах и как-то жеманно оттопырив мизинцы. Набив рот, он внезапно набросился на меня:

— Что сидишь, как истукан? Тащи, там должна быть еще одна!

Я не шевельнулся.

— А, понятно! Перед жарким хочешь отведать рыбки! Разумно. Изволь…

Он отбросил чисто обглоданную и даже размозженную косточку, вытер пальцы о скатерку и достал из-за спины скворчащую сковороду жареной рыбы. Ему пришлось изогнуться, и она чуть не выскользнула из его рук. Он уронил ее на котелок, подул на пальцы и сердито буркнул, словно с чем-то разговаривая обо мне:

— Видали пана! Его еще надо упрашивать!

— Хлеб… — пробормотал я.

— Хлеб! — он покачал головой. — Чего нет, того нет! И так обойдешься…

Запах рыбы соблазнительно смешивался с благоуханием жаркого. У меня аж кишки свело. Где вы, далекие вечера в канун субботы? Где вы, мама и сестренки?.. Я взял кусок рыбы и откусил. Косточка уколола мне нёбо — забытое ощущение. Тепло волнами расходилось по моему телу.

Тут-то и появился поэт.

Как он нас нашел, не ведаю.

Добродушно потягиваясь, он сказал с легкой обидой в голосе:

— Я жду, а ты где-то ходишь и ходишь. Уже черт знает что начал думать… Пируют тут…

Он протянул руку парню из Млавы и назвался. Тот молча кивнул. Он вообще выглядел в те минуты смущенным грешником. А мой товарищ решительно отодвинул меня и подсел к котелку.

— Меня тут черняшкой угостили, — сказал он, раскрывая ладонь. — Берите, ребята.

Спустя четыре года по вызову издательства «Эмес» («Правда») я приехал в Москву. На сердце было радостно. Шел первый год Победы, и у меня готовилась к изданию первая московская книга. Литературовед Моисей Нотович пригласил меня на занятие в еврейское театральное училище. Я читал свои рассказы, потом предстояло обсуждение. В перерыве ко мне подошел молодой человек в армейской гимнастерке с двумя нашивками над левым карманом — значит, дважды раненный.

— Мы, кажется, знакомы…

Честно сказать, я немного ошалел от Москвы и узнал его не сразу. Только блестящие толстые очки и длинный нос напомнили мне давнюю встречу на станции.

…Мы долго сидели тогда втроем на скамье у вокзальчика. Я

попросил моего товарища почитать стихи. Он не заставил себя уговаривать, и светлая лунная ночь наполнилась отзвуками его тихого голоса. Отзвуки набегали друг на друга, сталкивались в воздухе, и казалось, не он один, а все мы нестройно, но от души произносим слова, похожие на клятву, на присягу:

«Я люблю и буду любить тебя до последнего вздоха».

Пер. А. Бродский.

ГОРЕСТИ И РАДОСТИ ДЯДИ ЮЗИСА

Он снова остался один — без нее. Снова одинок, как старый холостяк, один как пень, к тому же расколот пополам — без нее.

После ее смерти он целыми днями мерил шагами комнату — от стены до стены, небритый, в шлепанцах на босу ногу… присядет время от времени на краешек дивана, зароет лицо в ладони и рыдает в голос, всхлипывая и вскрикивая, как малое дитя.

Он ее любил и был с нею счастлив. Что может быть прекрасней и завиднее? И все-таки эти слова не выражают вполне того, что он чувствовал к ней. Других, более сильных слов я не нахожу в человеческом языке. Если угодно: он ее о ч е н ь любил и был о ч е н ь счастлив с нею.

Он ее любил, как любят что-то непререкаемо свое, отроду свое, как, известно, любят мать. Хотя женился на ней, когда ему было уже под пятьдесят. Он ее любил, как любят сестру. Без условий и притязаний, без «за что» и «почему». Любовь естественная, не требующая громких слов. Любовь, которая никогда не может превратиться в нелюбовь. (Хоть и были у него сестры, две сестры. Но в данном случае оправдывалась поговорка: две сестры не стоят одной жены.)

И, само собой, больше всего он любил ее как жену. Он любил каждую морщинку у ее глаз, каждую нотку ее голоса, каждую частичку ее тела. Они были сплетены в одно целое — в один клубок любви. Он любил в ней преданность, любил в ней товарища и друга, любил ее нежность, само ощущение ее любви к нему. Он чувствовал ее частью себя. И себя он чувствовал частью ее. Она была плоть от плоти его, он — плоть от плоти ее. Единое тело, единая душа, единые помыслы. Они друг друга о ч е н ь любили и были друг с другом о ч е н ь счастливы.

Эту великую любовь, как он ее украдкой, про себя, называл, эту долгожданную любовь, которую он столько лет искал и не мог найти и считал, что — кончено, этого никогда не будет, ему все-таки удалось обрести, но в такую позднюю пору — ему уже вот-вот пятьдесят.

Как же не чувствовать себя счастливым? И как теперь, когда счастье так внезапно оборвалось, не чувствовать себя несчастным, самым несчастным среди людей?

Она его любила как ребенка. Она любила в нем детскую незащищенность, простодушное, открытое, обновленное существование его рядом с ней, хотя он уже прожил на земле больше половины отпущенного людям срока. Она любила в нем

все, что можно было любить, и даже все, что любить было трудно.

Она его называла уменьшительными Юзи, Юзик, Юзчик. И в пору детства никто к нему так не обращался. Он не помнит, чтобы кто-нибудь когда-нибудь назвал его Юзик. Она его баловала как могла, даже изобретая для него имена. Он ее, напротив, неизменно называл Ревеккой Израилевной. Во время серьезных разговоров, во время совместного чтения, в повседневной домашней работе и в самые интимные мгновения — всегда: Ревекка Израилевна. Так звали ее все. Все роженицы в родильном доме, где она работала главным врачом, весь медицинский персонал, которым она руководила, все соседи, знакомые. Она его — как никто, он ее — как все. Она свою любовь выражала по-женски: балуя его. Он проявлял свою любовь по-мужски: кроме всего прочего очень высоко ценил ее, преклонялся перед ней. Имя «Ревекка Израилевна», или просто «Волынова», как звали ее по фамилии, было весьма почитаемым в городе. Он молча гордился этим, это делало честь и ему. Два слова «Ревекка Израилевна» он произносил всякий раз на особый лад, как того требовал момент, но всегда с любовью и удовольствием, всегда с чувством, что он произносит самые сокровенные и важные слова. Ему даже нравилось, когда он с кем-нибудь говорил о ней или отвечал на какой-нибудь вопрос о ней, называть ее, как все, «Волынова». Да, да, не кое-как, по-домашнему, запросто — «моя жена», или вчуже — «доктор», или совсем официально, сухо — «заведующая родильным домом» — нет: «Волынова». Известнейшая, любимейшая, почтеннейшая, и врач исключительный, и человек замечательный, и самая дорогая, и самая ненаглядная — Волынова.

Она умерла внезапно. В жизни никогда не болела, никогда, можно сказать, не страдала даже обычной простудой. Ее сердце в ту ночь остановилось сразу, без предупреждения, хотя, казалось, до тех пор всю жизнь, больше шестидесяти лет, работало без перебоев, без малейших сигналов, что в нем уже что-то израсходовано, изношено и надо вовремя прислушаться. Она умерла, как жила, без колебаний. Ее смерть была под стать ее характеру.

Он по натуре был ее полной противоположностью. Все любил взвешивать, отмерять: вот тут перевешивает «да», а вот тут, похоже, что «нет». (Единственный раз в жизни «да» оказалось весомее сотен «нет» — тогда, когда они встретились.) Возможно, эта особенность его нрава развилась там, в крошечном бессарабском местечке на берегу Днестра. Прикинуть, взвесить на ладони, разобрать на части, обнюхать, попробовать на вкус и решить: выбросить или спрятать покуда подальше, в ящик стола?

Ее характер сложился на заснеженных широтах Сибири. Ее родители — иркутчане, урожденные сибиряки. Уже сама фамилия «Волынова» вызывает мысль о чем-то раздольном, устойчивом и крепком. Нечего сидеть сложа руки и вертеть большими пальцами. Дело покажет, что хорошо, что плохо…

Она была красивая, высокая, здоровая, никогда не жаловалась на усталость. Хоть и сибирячка, а темноволосая, с черными густыми бровями, черными мягкими глазами, смуглой кожей на лице и обнаженных руках, будто только что загорала на юге.

Он, опять же, хоть и родился здесь, в наших краях, где евреи в основном темноволосые, в большинстве случаев похожи на молдаван, был светлокожим, русым, с голубыми глазами.

Она была по-мужски решительной, деловой, он — тихим, податливым, склонным к грусти.

Один в другом любил свою противоположность, то, чего ему самому недоставало. Противоположности дополняли друг друга, обогащали, довершали гармонию.

В тоске он мерил шагами комнату — от стены до стены… Присев на краешек дивана, долго смотрел в одну точку, заломив руки, потом зарыл лицо в ладони и снова заплакал о ней в голос, как малое дитя. Теперь, когда ее уже нет, теперь, как никогда, все уголки в их комнате и все уголки его души полны ею. Она о нем тоже плакала бы так, дни напролет? Он уверен, что да. Может, еще больше. Но — иначе, умнее.

Не так по-женски отчаянно, потерянно, навзрыд, а молча, в себе, с прикушенными до крови губами.

Нет, она не опустилась бы, не металась бы между стенами, заломив руки, отрешась от всего, — а делала бы дело, не давая себе передышки, неся жизнь дальше. Теперь уже за двоих — и за себя, и за того, кто был ближе и дороже всех и кого больше нету рядом…

Он побрился, нехотя натянул на себя другую пару брюк, пиджак, носки, влез в ботинки и вышел на улицу. Куда идти? Куда бы она направилась? Туда, конечно, куда ходила каждый день весь год, к молодым роженицам, к только что рожденным пичужкам в крошечных колыбельках, расставленных рядами по всему просторному детскому залу.

Он много лет работал старшим корректором в полиграфическом комбинате. Держал в руках тысячи книг, прежде чем они попадали в печатные станки, прежде чем они становились книгами. Внимательно следил за тем, чтоб они вышли в свет без единой опечатки, без малейшего пятнышка. Уйдя на пенсию, он купил пишущую машинку, научился стучать

на ней и стал работать дома: перепечатывать авторам рукописи. Хоть теперь он был «дактилограф», как он сам себя именовал, а слово «дактилограф» ни на грош не уступает слову «корректор», все-таки это дело в основном для девушек-машинисток, и от ученого слова его новое занятие не перестает считаться женским. Ладно, пусть зовется как угодно… Для него это была самая прекрасная и достойная работа. Одно то, что он останется дома, в их комнате, где все дышит ее дыханием, где он всегда чувствует ее рядом с собой, даже в часы, когда она отсутствует… Она смотрит, как он сидит, выпрямившись, перед пишущей машинкой, на руках, до локтей, два черных нарукавника, чтобы манжеты сорочки, не дай бог, не испачкались. Пальцы его проворно бегают по клавишам машинки, свинцовые буквы прыгают; звонок, движение рычага. Листок бумаги становится все значимее, красноречивей; она смотрит и радуется. Ставит ему возле машинки стакан теплого молока. Помогает разобрать в рукописи неразборчивую строчку. Она стоит за его спиной, и он чувствует всем телом ее тепло. Она обеими руками обнимает его за шею и говорит, что на сегодня достаточно, надо же что-нибудь на завтра оставить.

Она. Она. Она.

Ему кажется, что каждая женщина, повстречавшаяся ему на улице, знала ее, рожала у нее, каждая напоминает ему ее. Он выходит из дому, чтобы немного стряхнуть с себя тоску, но тоска сопровождает его, ведет его, как черный поводырь, за руку — с улицы на улицу и снова к ней.

Сгорбленный, с букетиком цветов, бредет он в гору, вдоль ограды кладбища, чтобы снова согнуться над ее свежей могилой. Он шепотом повторяет строчку, написанную на черной плите, торчащей из могильного холмика, точно этими словами безответно зовет и зовет ее: Ревекка Израилевна… Волынова… Ревекка Израилевна… И опять не выдерживает: зарывает лицо в ладони и рыдает в голос, всхлипывая и вскрикивая, как малое дитя.

Люди среди могил, такие же осиротевшие, как он, глядя на него, сокрушаются, качают головами: мужчина в возрасте, человек вроде бы спокойный и сдержанный, чтобы так отчаянно убивался у всех на виду…

Его рыдания надрывали сердца, вызывали то тут, то там ответные стенания. Кладбище выглядело печальней, чем обычно. Три месяца подряд он день за днем поднимался, сгорбившись, в гору, проходил вдоль кладбищенской ограды с букетиком цветов в руке. Его здесь уже привечали, все про нее и про него людям было досконально известно. Его здесь, казалось, ждали, в его горе

искали некоторого утешения, облегчения собственного горя. И он сюда приходил как за утешением, чтобы отключиться от своего одиночества и безнадежности.

Сегодня, ровно через три месяца после ее смерти, люди на кладбище впервые выглядели не такими печальными. Они будто приветствовали его взглядами, поздравляли с чем-то. Скорбная дама с фиолетовыми волосами под черной траурной шалью кивнула ему: «Правда! Правда!» Подалась к нему с этим «Правда! Правда!», так широко улыбаясь, с таким сиянием на лице, будто возвещала ему великую радость — Волынова вдруг воскресла! Он никогда до сих пор не замечал, что эта женщина — фиолетовая. Черная шаль и фиолетовые волосы. Капелька юмора, первый раз за три месяца, освежила его, как первая капля дождя на лбу. Люди окружили его. Кто-то вытащил из кармана газету, тыкал в нее пальцем:

— Весь мир шумит об этом… Мы его вчера вечером видели по телевизору. Родной племянник! Что же вы молчите?

Другой вмешался:

— Откуда вы взяли, что он молчит? Конечно, будешь молчать, когда слова не даете вставить, сами говорите да говорите…

Третий Бориса Волынова звал запросто Борей, даже Борькой:

— Борька-то вырос на ее руках. На руках Ревекки Израилевны. Его, если угодно, можно кишиневцем считать. Разве вы не знаете?

— Это вам кажется, что вы все знаете, а на поверку самого главного не знаете. Борис Волынов — один из первых космонавтов, близкий друг Гагарина. Это вам не шутки шутить…

— Да я ж не спорю! М о я, мир праху ее, у Ревекки Израилевны три раза рожала; я даже слышал, что Борис звал Волынову мамой. А товарища Юзиса обычно называл «дядя Юзя из Кишинева». Ну, вы убедились, что сведения у меня самые исчерпывающие?

— Бросьте, это все пустые разговоры, главное совсем другое. Главное — человек в космосе, человек в небесах. Тот, кого посылают туда, не встречный-поперечный. Это самый-самый… Лучший из лучших…

— Это и без вас известно.

— Что же вы спорите со мной?

— Это вы со мной спорите все время, и вдруг оказывается, что это я с вами спорю… Это ж надо набраться нахальства…

Он стоял среди людей, обступивших его, не слыша слов, щеки его горели. Он не мог оторвать глаз от газеты, которую кто-то сунул ему в руки, смотрел на фотографию Бориса: Борис ему

улыбался, и он отвечал Борису улыбкой.

Конечно, это он, их неизменный любимец Борис. И действительно, здесь черным по белому написано, что Борис Волынов взлетел в космос.

Первое, что пришло ему на ум: почему он, дядя нового космонавта, узнает об этом последним? Ответ на это «почему» не за семью печатями. За три месяца он еще ни разу даже к телевизору не прикоснулся. Телевизор стоит на столе, накрытый темным платком, матовое стекло под платком молчит, мрачное, как сама смерть. И сегодняшняя газета лежит пока в почтовом ящике, висящем снаружи на дверях. Ее видно через дырочки в ящике, но он вынимает теперь почту только поздно ночью, перед сном.

(Сегодня он вернет к жизни телевизор, снимет с него траурное облачение, сотрет пыль, усядется против него, чуть отодвинувшись, стул подле стула, весь любопытство и внимание, как сидел три месяца назад — с нею.)

С сегодняшнего дня он каждое утро будет высовывать голову за дверь, чтобы взглянуть, брошена ли уже в ящик свежая газета, а когда получит и развернет ее, держа в обеих руках, быстро пробежит все полосы глазами, прочтет последние новости вслух, с оживленными возгласами, прищелкивая языком, как он это делал ради нее изо дня в день — до трех последних месяцев.

Второй мыслью, поразившей его, было: ой, если бы она до этого дожила!.. Как же так, почему же она не дожила?.. И слезы хлынули у него из глаз, покатились по щекам, по обе стороны рта; глаза — по-детски распахнутые, вымытые, а слезы по щекам струятся и струятся, словно глаза существуют отдельно, а слезы отдельно…

С букетиком цветов в одной руке и с газетой в другой он двинулся дальше, своим путем, к ее могиле. Люди последовали за ним. Точно все вместе идут сообщить Ревекке Израилевне добрую весть. Он положил газету на могильный холмик; на газету, рядом с фото Бориса — цветы. Вроде бы Борис сегодня сам принес цветы Ревекке Израилевне, или цветы сегодня поднесены вот здесь, возле Ревекки Израилевны, ему, Борису. Цветы — отрицание смерти, цветы — жизнь. Несколько минут все стояли молча. Потом он попросил тихо, будто про себя, чтобы его здесь оставили одного.

Дорогая моя, ты представляешь себе нашего Бориса? Прости меня, что я сейчас еще полон им. Прости, что сейчас, возле твоей могилы, у меня так светло на душе. Почему ты не можешь со мной говорить? Почему мы не можем разделить нашу радость? Почему эта небывалая радость должна быть только моей? Я

помню, как Бориска в первый раз пришел к нам. Школьная форма так ему шла, сидела на нем как влитая, как будто он в ней родился. Ты его целовала и обнимала, а я, дурень, сидел в стороне надутый и грешил против тебя. Я решил, что это сын твой, а ты его прячешь, скрываешь от меня. Как я мог подозревать, чистая моя, хотя бы только раз в нашей жизни, что ты обманываешь меня? Ты иногда звала его в шутку «Береле», потому что в переводе на русский это значит «медвежонок». Ты гордилась тем, что поэт Иосиф Уткин, мир праху его, несколько лет был в Иркутске твоим школьным товарищем. Уткина ты тоже иногда звала ласково «Иоселе». Поэму Уткина «О рыжем Мотеле» ты часто читала всю подряд наизусть и радовалась тому, что рыжий Мотеле — кишиневец. Иркутск — Кишинев. Иоселе — Мотеле — Береле. Ой, как бы ты теперь гордилась фантастическим полетом нашего Береле, его поэмой!..

Дорогая моя! Я не могу как следует объяснить ни научно, ни философски, что именно называют космосом, вселенной. Я только знаю, это находится в недоступных высотах. Мир и мирки. Земля с ее морями и берегами, лесами и реками, странами и городами, похоже, один маленький мирок среди других мирков, одна блестящая звездочка в высоких необозримых небесах. Человек — крошечная-крошечная точечка среди милли-миллионов еле заметных точечек на земле. Но эта точечка-человек несет в себе самую большую космическую силу — мысль. С нею он может перевернуть горы, переставить города. Переродить миры и создать миры. С нею он может стать господином, и с нею он может стать рабом. И умение мыслить — эта космическая сила человека — не остается незыблемой, развивается, делается все острее, многограннее. Вот человек в наши дни вырвался вверх, во вселенские высоты. В космическом пространстве гудит его голос, ему отвечает эхо. Он гонит с небес выдуманных богов и становится сам владыкой, богом, хозяином вселенной. И остается человеком. И совершает это ради брата своего — человека. Только избранным, самым лучшим, самым надежным, самым смелым дано такое… Посмотри, любимая моя, на нашего Бориса в космическом корабле. Корабль парит в космосе, облетает несколько раз нашу Землю. И он, космонавт, хозяин вселенной, держит землю на своей ладони, как голубку. Отражается в ее волшебной красоте. Попискивает своей аппаратурой, переговариваясь с землею. Дышит ее теплом. Сдувает с ее перышек каждую пылинку. Красота ее пусть множится и множится, становится все прекрасней и чудеснее. И наш Борис удостоился быть среди самых благородных и самых достойных, среди горстки избранных…

Дорогая моя, однажды, помнится, тебя вызвали на трудные роды куда-то в далекую деревню. Ты туда летела на аэроплане санитарной авиации. Бориска тебя упросил, чтобы ты его взяла с собой — до тех пор он никогда на самолете не летал. Весь путь туда и обратно, рассказывала ты после, он стоял у кабины летчика и смотрел на руки пилота, его невозможно было оторвать. На следующий вечер дома, у стола, мальчонка встал и объявил во всеуслышание: «Я буду летчиком!» Мы с тобой переглянулись. Эти слова он выкрикнул с такой уверенностью, с таким трепетом в голосе, что ты ему сразу ответила: «Будь, дитя мое!» Ты его обняла и поцеловала, и сказала ему: «Если ты тянешься к высоте, ты высоты достигнешь. Ты будешь летчиком, Береле». Позже, когда он присылал нам фотографии, где был снят в авиационной форме, ты любовалась им, приговаривая: «Благословение-то он от меня получил, значит, есть здесь и моя доля». Потом планету озарило имя «Гагарин». И мама Бориса, сестра твоя Евгения Израилевна, писала нам, что Юрий и Борис — закадычные друзья. Она часто, приезжая в Москву, заставала их вместе. Но до сих пор не знала, что фамилия Юрия — Гагарин. Никому загодя не известно, кто есть кто. Даже родным и близким. Может быть… может быть, Борису тоже выпадет такая судьба… И ты ему тихонько опять посылала свое благословение. «Пусть будет так, сестра. Так, как ты хочешь и как он сам мечтает». Почему же ты сейчас не можешь видеть собственными глазами, что благословение твое не пропало втуне?.. Почему тебе не суждено было взять у жизни всю долю счастья, которая тебе причитается?..

(Однажды Борис Волынов сам рассказал корреспонденту нашей местной газеты: «Мой путь в космос начался в Кишиневе, да, да, представьте себе — в Кишиневе. Когда я был еще маленьким мальчиком, я часто гостил у моей тети Ревекки Израилевны. Моя тетя была доктором. Она иногда вылетала с санитарной авиацией к тяжелым больным. Однажды она взяла меня с собой. В Кишиневе я первый раз поднялся в небо. Тот первый полет я буду помнить до конца моих дней. Он совершил переворот в моей жизни: я заболел «небесной болезнью».

Кишинев я видел из Космоса. Чудесная картина! Ваш город растет космическими темпами.

Привет и счастья вам, кишиневцы!»)

На кладбище было тихо, так, как может быть тихо только на кладбище. Люди разошлись. На черных ветках голых зимних деревьев щебетали птицы. На сей раз дядя Юзя щебетанье это слышал… Вдоль ограды он спустился с холма обратно в город, все отдаляясь от кладбища и чувствовал, что кладбище

отдаляется от него. Он теперь об одиночестве своем не думал. И одиночество начало отступать от него.

Он не пошел домой. Просто так прогуливался по улицам. Стоял южный светлый январский день, солнце играло на бровях, ресницах, румянило щеки. Каждому встречному он заглядывал в глаза — вот незнакомец кивнет ему, с улыбкой поздравит его. Но незнакомцы есть незнакомцы. И ноги сами повлекли его на полиграфический комбинат, где он столько лет был старшим корректором.

Его окружили печатники, линотипистки, переплетчицы. Каждый хотел о чем-то спросить, что-то узнать. Руки тянулись к нему, поздравляли, звали. Кто-то позвонил в редакцию. Несколько минут спустя в книжном цехе вырос фоторепортер с аппаратом в руках. В тот же день весь город видел в вечерней газете, как дядя Юзя из Кишинева стоит, оживший, среди товарищей по бывшей работе и рассказывает им о своем племяннике Борисе Волынове, который несется сейчас где-то в небесной вышине на космическом корабле.

Еще одно фото появилось тогда в вечерней газете: дядя Юзя прижимает к уху телефонную трубку, разговаривает со Звездным городком. Разговор был такой:

Он:

— Тамара, поздравляю тебя! Как твое здоровье? Как дети? Как Борис чувствовал себя перед полетом?

Звездный городок:

— Хорошо, дядя Юзя! Борис, как всегда, был спокойный, веселый, шутил с детьми. Мы как раз накануне вспоминали вас. Не переживайте. Все будет отлично, дядя Юзя!

Он:

— Евгения Израилевна у вас? Передайте ей сердечный привет.

Звездный городок:

— Нет, пока она в Прокопьевске. Приедет сюда через пару дней. Будем вместе встречать Бориса.

Он:

— Целуй Бориса, когда прилетит, и за меня тоже. Я горжусь им. Он моя гордость, моя жизнь.

Звездный городок:

— Спасибо, дядя Юзя. Возьмите себя в руки, все будет хорошо. Я целую вас, дядя Юзя…

Эти события происходили пятнадцать лет назад. Дяде Юзе теперь вот-вот восемьдесят. Как-то он навестил меня. Сидел против меня на стуле прямой, оживленный, нарядный. Полный портфель его (как только он его дотащил?) был набит

множеством вырезок из газет, журналов, сборников, альбомов — все про космос и космонавтов. Где бы хоть строчка ни появилась на тему космоса, дядя Юзя тут же ее раздобудет — и в свою коллекцию.

— Я заболел небесной болезнью, — усмехнулся он, — и она вылечила меня. Вернула мне вкус к жизни…

И я видел, как маленькая точечка среди милли-миллионов точечек на земле, точечка, которая носит название «корректор» или «дактилограф», поднялась в загадочную высь.

И высь приветствовала его, говорила «доброе утро», сулила душевное здоровье…

Пер. Е. Аксельрод.

ПЕСНЬ СТАРИКА

О любви его к пению в городе ходили легенды.

То есть не о любви его слушать пение, сидеть затаив дыхание у радио и наслаждаться хорошим хором, особенно детским хором, певцом или певицей; это, понятно, тоже; легенды ходили о его любви самому иногда попеть; не «иногда» и не «попеть», а распеться-таки на всю катушку, и — всегда, по всякому поводу и даже без всякого повода, когда лежала у вас душа выслушивать его пение и даже когда не лежала душа; тогда — в особенности: вот он вам споет, и на душе у вас станет веселее; так, во всяком случае, думал, видимо, он сам.

«Всегда ему поется! — говорили люди, кто с восхищением, а кто ворча, даже кривенько улыбаясь, — одна только забота у него!»

Забот, разумеется, слава богу, хватало. Однако собственные свои заботы он, идя к какому-нибудь знакомому, запихивал себе поглубже в карман или вовсе оставлял дома. Знакомых же, не сглазить, было у него море. Ходил он, ближе к вечеру, то к одному, то к другому. И именно ради этого — попеть.

С одной рукой у сердца, другая — поднята немного вверх, он, бывало, склонял голову прямо у порога и не просто говорил «добрый вечер», как все люди делают, а выпевал его: «Добрый вечер вам, друзья, живите-здравствуйте!» Это лишь была всего только проба голоса, своего рода продувка. Сейчас польется мелодия за мелодией. Песня русская и песня еврейская, молдавская песня и украинская песня. Песен он знал, наверно, миллион. Древние, старые, совсем-совсем свежие. Я не уверен, что он хорошо знал слова всех песен. Но мелодии, напевы — все. И в точности, хоть бы один тон где потерял. С трелями и руладами, с верхними и нижними переливами, с мимикой, со «страданиями». Будто большой какой-то мастер хорошо отработал их с ним, вдохнул их в него, отрежиссировал.

А голос, чтобы петь, инструмент, как говорят, у него был? Возможно — когда-то, много лет назад. Сейчас, на старости, когда я его знал, голос его был уже надтреснутым, с хрипотцой, трудно уже было определить, был ли он когда-то баритоном, а со временем стал таким басом, то ли не был он никогда ни тем и ни другим. Но того, кто мог прочувствовать напев и даже того, кто только готов был послушать, стариково пение разбирало, хватало за душу.

Напевность, если хотите, была не в пении его, а в нем самом. Начиная с его морщинистого лба, который не знал во время

пения покоя и морщился гармошкой вверх-вниз. Плечи раскачивались туда-сюда, отсчитывая такты и размеры, как маятник метронома; пальцы прищелкивали прямо как кастаньеты; нога притопывала, так что он как бы пританцовывал.

Поющим выглядело все лицо его. Поющим, сияющим и счастливым даже в паузах между песнями, когда горло уже отдыхало, уже не пело. Горло таки отдыхало, но рот, губы отдыха не знали. Между одной песенкой и другой он сыпал словечками, каламбурами, рифмами, придуманными прямо вот сейчас, прямо здесь, на месте, зависящими от того, что это за знакомый, у кого дан был «концерт», привязанными к профессии знакомого, к его имени и фамилии и к именам, в рифму же перечисленным, всех домашних его.

Я сидел, бывало, и поражался. Откуда у этого пожилого человека, простого, обыкновенного еврея, такое взялось? По-видимому, это наследие или по меньшей мере отзвук давнишних трубадуров, бадхенов, трактирных певцов, балаганных комедиантов и тому подобной веселой голытьбы. Почему же след этот припетлял именно к нему? И каким образом это произошло? И почему оно так сильно отозвалось в нем именно сейчас, на старости лет? Не то чтобы я тогда слишком в это вдумывался. Но — думалось.

Легенды о любви старика к пению ходили по городу всякие.

— Ай-ай-ай. Чтобы человек был настолько влюблен в свое пение. У него ж ни одного, кажется, зуба во рту уже нет. Жизнь бы отдал, только чтоб его слушали. Дитя. Старик — а дитя…

Так говорили одни — с восторгом, с удивлением. Ворчуны, те, что имеют обыкновение все обворчать, на все кривиться, говорили иначе, рассказывали со смешком:

— Нет, вы только послушайте! Человек лежит в постели, душа в нем уже еле держится. Печень у него разыгралась, сердце схватило — конец света. Вызывают, понятно, «скорую помощь». Доктор, как обычно, велит фельдшеру сделать укол. Фельдшер раскрывает свой ящик, отпиливает у ампул носики, наполняет шприц. И только он втыкает иголку куда следует, тяжелый больной как распоется, с ума можно сойти. Вся «скорая помощь» стоит и плечами пожимает: «Ты посмотри, другие кричат «ой», а этот поет себе. Ну прямо чокнутый, честное слово». Ладно, это еще можно вынести. Слушайте дальше. Когда ему припечет вдруг — петь очень захочется, он умирает аж — кто бы его послушал, выходит он потихоньку к телефонной будке, набирает ноль-три и стонет в трубку: «Алло, я кончаюсь, приезжайте, пожалуйста, скорей!» И все. Через несколько минут уже будет публика и будет концерт. Как вам шуточка?

Чего только не могут сочинить ворчуны и завистники! Но очень уж далеки от правды все эти выдумки не были. Сверхъестественную любовь старика попеть изображали они совсем неплохо.

Еще одну вещь он очень любил: книги.

То есть не просто читать книги, держа в руке у одного глаза свое крупное увеличительное стекло (другой глаз ему давно уже не служил), не читать строки в книге, строку за строкой, а напиваться ими, как мучимый жаждой на коленях у родничка. Это понятно. Особенно же любил он взять в руки у кого-нибудь со стола новую книгу, осторожно раскрыть ее, нанюхаться первонаперво запахом свежей краски, вытащить потом из нагрудного кармашка то самое увеличительное стекло, листать книгу от корки до корки, мерить ширину полей на страницах, разглядывать шрифт, большие буквы в заглавиях, меньшие в тексте, рассматривать начальные буквы и конечные знаки в главах, снова и снова изучать обложку, форзацы, радоваться книге с таким счастливым и сияющим лицом, будто он держал в руках первую в мире книгу, которая только что, в первый раз, напечатана.

Кто был немного знаком с биографией старика, знал, откуда у него эта любовь к книге. В городе Балта, на той стороне Днестра, где он родился, он, мальчиком еще, работал в типографии — был наборщиком, печатником. Вырос на глухой улочке, у бедной матери-вдовы. В школу, понятно, не ходил. Уже в десять-одиннадцать лет — посыльный в типографии. Сам по себе выучился со временем читать и писать и по-еврейски, и по-украински, и по-молдавски. («Сам по себе» — столько всяких буквочек целый день перед глазами.) Постепенно дошел от посыльного, разносчика, подручного до наборной кассы, до набора — наборщик в те времена считался чуть ли не ученым.

Короче. Как раз таки на глухой улочке, у бедной вдовы, парень вырос на зависть. Веселый, живой, душа балтской рабочей молодежи, самый начитанный и самый активный. Кружки, массовки, листовки — не один раз оставался в типографии до поздней ночи якобы на сверхурочные и на «американке» печатал такие листовки собственными руками.

Перед революцией, семнадцати-восемнадцатилетний тогда, он работал какое-то время в типографии в Одессе. Тогдашнюю предоктябрьскую Одессу хорошо впитал в себя. Повсюду был в самой гуще. На собраниях и на концертах. Наверху на галерке в опере и с красным флагом в руках на уличных демонстрациях. В свободные вечера — за столом в читальном зале, на лекциях, у друзей на Пересыпи и на Молдаванке.

Мне любил он рассказывать, как однажды вечером был в гостях у Менделе[39]. Вошел, поклонился и представился: тот самый наборщик! Менделе улыбнулся, пригласил его сесть, старушке своей велел принести стакан чаю, стал расспрашивать его про то про се, главное: почему тот самый наборщик делает при наборе, не сглазить бы, столько ошибок. Тот самый наборщик покраснел, стал оправдывать ошибки, говорил и говорил о том и о сем, наверно, целый час. Потом, представьте себе, когда все сказал, даже спел для Менделе пару песенок. Так запел, что стекла у Менделе в окнах раззвенелись. Как раз в это время зашел к Менделе Бялик[40], уселся в стороне, все тихо выслушал, пение, разумеется, тоже, и потом произнес:

— Знаете, реб Менделе, вот эти вот ребята пишут слово «дэрэх» — «дорога» — с ошибками, но, похоже, все так повернется, что эта их дорога еще и правильной окажется.

Про этот вечер у Менделе он любил часто рассказывать мне, всякий раз спрашивая: «Я вам еще не рассказывал?» Возможно, это тоже была легенда. Легенда, которую он сам для себя сфантазировал. Но я смотрел, с каким удовольствием, как сияя он рассказывает мне ее всякий раз, и сам получал от этого немалое удовольствие.

Еще одну историю любил он часто пересказывать. Как он во время гражданской войны, в бригаде Котовского, набирал и печатал бригадную газету. Печатный станок, наборная касса, ящички со шрифтом, банки с краской, рулоны бумаги, редакторский столик — все находилось в одном вагончике. Целыми днями простаивал он возле кассы, винтовка рядом, по полтора часа в сутки спал, не раздеваясь, сегодня вагончик остановился на одном полустанке, завтра — на другом полустанке, в самых тяжелых боях газета должна была выходить в срок. И выходила в срок. От недосыпания и усталости слипались глаза, голова иногда падала на свинцовые литеры в кассе. Лучшим его средством не чувствовать усталости и отгонять сон было — стоять и, набирая букву за буквой из ящичков наборной кассы, напевать себе. Поначалу — тише; потом — все громче; позже, когда выдалось как-то несколько спокойных дней где-то на полустанке, он так распелся, что чувствует вдруг, стоит у двери вагона Котовский, а возле него комиссар бригады. Он, понятно, тут же умолк, вытянулся перед ними. А Котовский ему: «Пой, пой. Совсем недурно поешь!» И поднимается в вагон, подходит к наборной кассе, улыбается и говорит комиссару:

— Видишь, как поют, когда набирают «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Истории за историями. Кроме пения и кроме книг старик

совсем «не любил» порассказывать истории. Одну за другой. Его надо было только зацепить. Хотя говорил он, что истории свои рассказывает он не лишь бы кому. Такую честь оказывает он только мне, может, они мне где-нибудь пригодятся.

История о том, как он тогда же, в гражданскую, был ранен, жизнь его висела на волоске, чуть не остался без обоих глаз, ездил несколько лет подряд лечиться в Москву, в клинику Бехтерева, и его вытащили, поставили на ноги. История, как он потом, в Балте, женился; жену его, простую швею в артели, выдвинули в те годы судьей в тогдашний народный суд в Балте. Довоенные балтинские истории, истории про войну, про эвакуацию. История, каким образом он после войны обосновался в Кишиневе. История про обеих дочерей его и про его внучку Лидочку, дедушкину внучку, говорил он, которая пошла по дедушкиным стопам, будет вся в него и которую он любит, говорил он, как саму жизнь.

Нас же пока что интересовала только история про любовь дедушки к пению. В глубокой старости это осталось сильнейшей его любовью.

Однажды я его прямо спросил:

— Что за смысл в том, что вы везде поете, что всегда вам поется?

Он глянул на меня так, будто рассматривал в свое увеличительное стекло. С таким удивлением, будто я задал ему вдруг вопрос, почему днем день, а ночью ночь. Он слегка растерялся, кажется, даже немножко и обиделся, раздумывал с минуту и так потом ответил:

— Скажу вам правду, от вас услышать такой вопрос я не ожидал. Но, раз спросили — что делать, надо вам что-то отвечать. Слушайте же. Смысл простой: я люблю петь, вот и пою.

— Да, но любить, знаем мы, любят за что-то.

Он рассмеялся. Смеясь, еще и руладу пустил.

— Я пою без философий. Мне поется, я пою. Когда делают что-нибудь и имеют при этом в виду философию, почему это делают, оно уже ни к черту не годится. Но если вы хотите все-таки услышать философию, дам я вам сейчас и философию тоже. Конечно, во всем есть причина. Даже зевать не зевают без причин…

И он разговорился, разгорячился, аж рукава закатал. Я передаю его речь коротко, насколько возможно — сжато, только самое главное в его длинном монологе:

— Любить, очень любить что-то, то или это, или все вокруг себя, то, что ты делаешь, и то, что ты творишь, то, что ты уже сделал, и то, что ты еще должен сделать, любить утро и вечер,

лето и зиму, дорожки, по которым ты ступаешь, самого близкого твоего, друзей, вообще людей, вообще сильно любить — все идет от одной великой любви, которую называют «любить жизнь». Я по себе знаю, что жизнь любят больше всего в двух возрастах: когда еще молоды, и потом, еще сильнее, когда уже стары. Мой пример не для каждого, разумеется, пример. Но мне кажется, что даже тот, кто всегда кряхтит и все вокруг ни во что не ставит, думает про себя, внутри, точно то же самое: ах, какая же красивая эта жизнь! Не поворачивается у него просто язык сказать это. Лишь сейчас, в старости, чувствую я, до чего дорог мне каждый день, каждый час и каждая минута. Как жизнь вокруг нас красива даже со всеми недостатками, с болью сердечной, со всяческими уродствами. Всякое создание бережет жизнь пуще глаза и поет ей хвалу, как бы коротка его жизнь ни была. Мотылек, например, жужжит вокруг света лампы только одну ночь, а жужжание его — не что иное, как пение. А что тогда плеск в воде немой рыбы, как не сильное желание запеть? Птичка воспевает жизнь щебетом, ворона — карканьем, орел — ударами своих крыльев, муравьи — своей суетой. Ну а что делает дерево, когда зашумит вдруг листочками? А лес в союзе с ветром? А дождь по крыше? Я не говорю уже, как распевает вовсю гром. Как поют ручейки. Вслушайтесь хорошенько! Каждый звук и каждый шорох — хвала жизни, песнь жизни, и нам, живым созданиям, нашептывание, напоминание: берегите! Берегите ее! Воспевая жизнь, мы защищаем и бережем ее. Вы воспеваете ее пером. Другой — долотом. Третий — дирижерской палочкой. Четвертый и пятый молотком в руке, окуляром у глаза, трескотней трактора, шумом мотора в небе и на земле. Всё вокруг нас — пение, песнь. Я, старый человек, своими несколькими десятками прожитых лет на плечах, белой головой и надтреснутым басом моим на старости тоже воспеваю жизнь. Мне тоже всегда поется. Сейчас еще больше, чем прежде. И я люблю, когда люди слушают меня. И я таки хочу, чтобы меня слушали. Что же мне за это следует? Именно от вас такой вопрос, а? Но, вы спросили, вот же вам ответ. Вот вам весь смысл. Очень, кажется мне, простой смысл, дружок, или нет?

Я сидел, помню, и слушал чуть слишком многословный и слишком патетичный монолог старика с тем же вниманием, с каким слушал всегда песенки его, его словечки и рифмы, его истории.

Он сидел, бывало, у меня в доме, одетый в свой старомодный, чуть длинноватый и широковатый пиджак; воротник рубахи на шее — расстегнут, как у молодого человека; на глазах — пара темно-зеленых очков, которые, что днем на солнце, что вечером у

электрической лампы, защищали его единственный, уже тоже слабоватый глаз от слишком яркого света.

Я сейчас вижу его перед глазами живым, сидящим точно так же против моего стола. Очки он снял, держит их в руке, кажется, дирижирует себе ими. То ли поет он мне что-то, то ли что-то рассказывает, то ли даже слушает, что рассказываю я, — все равно вижу я перед собой всегда сияющее, всегда поющее лицо его.

Прежде чем поставить в конце новеллы три слова, что просятся уже здесь, я хочу черкануть еще один штришок к образу деда.

Мой сын был тогда еще совсем маленьким, ходил всего лишь в третий или в четвертый класс, вбегал, бывало, в дом из своей музыкальной школы раскрасневшийся, со скрипочкой-четвертушкой в руке. Дружба деда с моим сыном в глаза особенно не бросалась. Обычно он спрашивал: ну, что ты уже умеешь? Ойстраха еще не обогнал? Концерт Бетховена играешь уже? И тому подобное. Когда учительница задала сыну на дом написать первое «литературное» сочинение на тему «Мой лучший друг», сын мой трудился несколько дней, разжевал вконец свою ручку и исписал в тетради целые четыре страницы. Кто же, вы думаете, был у моего сына в сочинении его лучший друг? Он, дедушка.

Не зря, наверно, те, что встречали его у своих порогов с восхищением, говорили: «Дитя. Старик — а дитя!»

Светлая ему память!

Пер. Ю. Цаленко.

СВЯТОЙ БАШМАЧНИК

Откуда взялась у простого башмачника такая праведность, такая страсть к святому, что в несколько мгновений могла сотворить в его душе переворот, поставить весь мир вверх тормашками?

Маленький башмачник сидел на неизменной своей скамеечке, держа мой ботинок между колен, крепил к нему новую подошву длинной белой шелковой дратвой и с каждым стежком разводил руки так широко, что, казалось, вот-вот они взмахнут, как крылья, и вознесут его куда-то высоко-высоко; поглядывая на меня доверительно и победоносно, он то и дело кивал мне, и тоненькие усики добродушно вздергивались; и вот здесь, у сапожного верстачка, среди коробочек гвоздков и шнурков, с кучей стоптанной рвани в стороне, среди запахов пересушенной кожи и прокисшего бумажного клея, как ласточки из гнезда под стрехой, изо рта маленького башмачника вылетали слова о создателе и об идолах, о вере и неверии, об истине и лжи, и все это в его рассуждениях не путалось, не искажалось, а наоборот, прояснялось, находило свое место.

Монолог маленького башмачника вписался в мою память слово в слово, как на бумаге. Я мог бы его проиграть, как хороший актер, со всеми гримасами, со всей жестикуляцией. Хоть и только перестукиваю его строчка за строчкой на пишущей машинке. Передаю его, насколько это в моих силах, с малейшими деталями, в тех же выражениях, тех же внешних черточках, со всеми ударениями, восклицательными знаками, остановками, многоточиями…

— В бога верь, но богу не верь. Эту присказку я уже однажды слышал, но смысла не понял. Зато с того самого дня, о котором я вам расскажу, даже с того самого часа, с той самой минуты я стал таким вероотступником, таким богоненавистником, что и эта поговорка сделалась для меня недостаточной. Не в кого верить и некому верить. Клянусь жизнью! Это такая же правда, как то, что я сижу сейчас с вашим ботинком в руках и кладу вам подошву — одна такая на свете, вы еще в своей жизни таких подошв не видели, такая подошва вам и не снилась…

И вы думаете, из-за чего это? Вычитал, может быть, в книжке, или навидался всяких бед на земле, которые всевышний допускает и молчит, и дела ему нет?.. Это само собой, но моя история особая. Из-за пустяка, слышите вы? Из-за маленькой точечки, которую и разглядишь еле. Другой между пальцев пропустил бы: подумаешь, тоже мне дело! Но не Файвл, не

кишиневский башмачник. Файвл не потерпит. То есть он, конечно, терпит. Но до поры, до времени. И не сомневайтесь — вот как видите меня на этой скамеечке с вашим ботинком в руках…

Рассказывать с самого начала, а? Вижу по вашим глазам, что вы любите всякие истории точно так же, как я. Да еще какая история! Тут и кишиневский башмачник, и поп-разбойник, и свиток торы, и кишиневский раввин Довидзон, самый ученый во всей Бессарабии.

Ну так навострите уши. В Кишиневе, если вы помните, располагался тогда на Шмитовской шикарный отель по названию «Париж». Я сидел на своей скамеечке на тротуаре в конце улицы у отеля, прибивал прохожим набойки, клал рубчик на каблук, не стыдился подчас и сапоги барину почистить, надраить до такого блеска, до такого глянца, чтобы господин мог отражаться в своих сапогах с головы до ног, только вверх тормашками. Возле этого роскошного «Парижа» с двумя высокими вертящимися дверями и с двумя долговязыми швейцарами с серебряными пуговицами я выглядел как прыщик на заднем месте, извините за выражение, конечно. А что я там высиживал? Одни беды с несчастьями! Но я все равно принимал это за благо. Только бы в кармане звякнуло пару раз. Чтобы жена и, главное, птенчики мои не ходили весь день по дому, высунув от голода язык, и не просили: «хлебца, хлебца!»… Но не об этом сейчас речь… Это другая история…

Сижу я так однажды на моей скамеечке, высматриваю во все глаза дырявую пару башмаков, и вдруг вырастает надо мной длинный швейцар с серебряными пуговицами, наклоняется ко мне и говорит:

— Идем, Файве. Тебя просят подняться в отель.

— Меня? Подняться в отель?

— Да, тебя. Оставь свое хозяйство и пойдем. Никто на него не позарится.

— Кто меня просит! И для чего просит?

— Священник сидит и ждет тебя. Спустись, говорит, и приведи первого еврея, какого встретишь на улице. Пойдем.

— Так я этот первый еврей?

— Не морочь голову, Файве. Так нужно. Ты на этом ничего не потеряешь. Ну, шевелись… Пошел!

Вот он только что наклонялся ко мне и звал, как люди зовут, и вот уже стоит против меня, прямой, как фонарный столб, и командует: «Пошевеливайся!» Мы двинулись. Я впереди, он сзади. Входим в отель, он поднимается со мной по мраморным ступеням с медными перилами, ведет меня из коридора в коридор по мягким дорожкам, останавливается у белой резной двери,

стучится деликатно, дверь открывается, швейцар сгибается в три погибели, я переступаю через порог, и дверь захлопывается за мной.

Священник, тоже высокий, с красными щечками и черной аккуратной бородкой, ходил по комнате в рыжем жилете. Поповская ряса висела напротив на вешалке, длинная — от потолка до пола, глянцевито-черная, как адская смола. Так мне с первого взгляда показалось. Священник сразу окрестил меня Янкелем. Даже реб Янкелем. «Не пугайся, реб Янкель, садись на лавку, и мы сейчас подойдем к делу». Сам он повалился в глубокое кресло, одну ногу протянул прямо на кровать, другой ногой стал что-то нашаривать под кроватью. Я задрожал. На полу между мною и священником лежал свиток торы. Настоящий свиток торы. Обернутый плюшем, с четырьмя точеными деревянными ручками сверху и снизу. Меня даже ужас охватил. Может, остался где-нибудь после пожара или после погрома, или просто так взят откуда-то, украден, осквернен. Священник взглянул на меня, как я сижу, одеревеневший, с пересохшими губами, — вся кровь от лица отхлынула, — и с усмешечкой обратился ко мне с такими словами:

— Видишь, реб Янкель, тора ваша у меня в плену. И вы должны ее освободить.

Я онемел, язык у меня будто отнялся. Потом в горле у меня раздалось какое-то бульканье, какой-то хриплый клекот, как у недорезанного петуха:

— Как так «освободить»? И кто это «вы»?

— Вы значит вы. Весь ваш кагал. И освободить — значит выкупить. Деньгами, реб Янкель. Наличными.

— И сколько, к примеру, нужно денег? — Я и сам не понимал, что спрашиваю, — будто я мог раскрыть сейчас пухлый бумажник и выложить перед священником на стол столько денег, сколько он пожелает.

— Четыре тысячи, — говорит он, — почти задаром. Столько я вчера вечером проиграл в карты. Больше я не запрашиваю.

— А сколько, к примеру, вы даете нам времени?

— Четыре часа. Через четыре часа мой поезд отправляется в Бухарест. Если вы за это время вашу тору не выкупите, я вышвырну ее через окно на середину улицы, под копыта лошадей и колеса бричек…

Назад я не бежал по ступенькам, а скатился сверху вниз, словно сам вдруг стал колесом брички. Что делать дальше? Разумеется, скорее к нему, к самому главному раввину города, к Довидзону. Первым делом я подхватил рабочую скамеечку мою со всем моим снаряжением, с двумя щетками — в общем, со всеми

потрохами, и отнес к женщине, у которой я это обычно оставлял на ночь. Женщина схватилась за голову: «Что вы такой белый? Что вы так дрожите?» Что да как — я ей даже не отвечаю. Я бегу. Одну улицу пробегаю, в другую вбегаю, до Довидзона изрядное количество улиц. Однако у дома раввина я оказался уже несколько минут спустя. Вот как видите меня живым! Как видите меня сейчас сидящим на скамеечке с вашим ботинком в руках.

Тем не менее, пока я попал к нему самому, к Довидзону, прошел, может быть, целый час. Мне он показался годом, а не часом. Секретарь, или попросту синагогальный служка, двадцать раз меня осмотрел сверху донизу, изучил всю красоту моих заляпанных штанов, смерил мою убогую сапожничью физиономию величиной с кулак, выслушал мой жалкий писк и заикание и наконец возвестил, что раввин сейчас сильно занят и никого не принимает. Короче — крик да гвалт — но меня все-таки допустили до него. И вот сидит передо мной сам раввин Довидзон. С белой окладистой бородой, в крошечной ермолке на макушке; вовсе не высокий — можно сказать, низенький, плотный, но видно, что на лице его почиет вся благодать господня и глаза его струят только мудрость, только знание. А против него стоит нищий башмачник, сгорбившись и скрючившись, и трепещет, как листок на ветру. Довидзон обращается ко мне:

— Придите в себя, реб еврей. Что стряслось?.. — Как будто ему секретарь или служка тот ни о чем до сих пор не доложил.

— Большое несчастье, — отвечаю, — случилось!..

— А что это значит? — спрашивает раввин ровным голосом и просвечивает меня своими лучистыми глазами.

Рассказываю я ему все, как есть, с начала до конца. Так, мол, и так. Свиток торы в плену у священника. Требуется выкуп — четыре тысячи. А то, грозит поп, вышвырнет он его через окно под копыта лошадей и под колеса бричек. Смотрит на меня Довидзон пару мгновений, морщит лоб, сжимает в руке белую длинную бороду свою и отвечает мне такими словами:

— Э-э! Есть, слава богу, свитки торы. В синагогах, хвала создателю, достаточно свитков торы.

Я будто ослышался:

— Ребе, как это «достаточно»? Речь ведь не о том, достаточно или не достаточно. Речь ведь о нашей торе, которая валяется под кроватью у разбойника попа. Надо все сделать, ребе, чтобы ее выкупить.

Но Довидзон свое:

— Есть свитки торы. Слава всевышнему, есть свитки торы.

Тут и я за свое:

— Ребе, это не просто так — больше свитков торы, или меньше свитков торы. Это же сокровище, святыня. У злодея священника. Под копытами лошадей и под колесами бричек…

Довидзон говорит:

— Скажите мне, реб еврей, может быть, вы пришли учить меня уму-разуму?.. — И зовет секретаря.

И все. И дело с концом. Что было, то было. Вот вам и вся история. Другой, не исключено, пропустил бы такое сквозь пальцы. Но не Файвл, не кишиневский башмачник. Целый день я места себе не находил. Бегал по улицам, будто свет перевернулся. Что мне мое ремесло и зачем мне ремесло — жизнь мне была не дорога. Вечером я ввалился в дом, истерзанный, с дикими глазами, в кармане ни один грош не звякнет… Голда моя с мелюзгой у подола обступают меня — с утра маковой росинки во рту не было: «хлеба», «хлеба!» Хватаю я одного ребенка на руки, другого ребенка на руки и кричу ей, моей: «Голда, сердце, нет!» — «Что нет, кого нет?» «Нет, — говорю я, — раввина, и нет, — говорю я, — бога!..» Как видите меня живым. Как видите меня сидящим на скамеечке с вашим ботинком в руках.

Итак, с того самого дня — нет. Нет и нет. Вели вы меня спросите: кишиневский башмачник, чем же виноват создатель, если раввин черт знает что? Так я вам отвечу: нет и нет. Кишиневский башмачник не потерпит. Всевышнего я не вижу и не слышу. Никогда не видел и никогда не слышал. А заместителя его, великого раввина, я и видел, и слышал. Ой, я его хорошо видел. Ой, я его хорошо слышал…

Так вы меня снова спросите: кишиневский башмачник, чего же ты добился этим? С чем же ты остался, а? Без создателя, без учителя — без того и без другого! На бобах остался! Так я покажу дулю и отвечу: нет и нет. Все у меня осталось — вся моя праведность осталась. Она ведь моя — не ихняя. Вам ясно самое главное, или вы не понимаете разницы? Постоянно, повсюду и во всем — я остался с ней.

Знаете, что я вам скажу? В две подошвы, которые я вам только что пришил, я тоже вложил каплю святости. Вы таких подошв и во сне не видали. Нате, вот они готовы, и носите их на здоровье. Вы будете ступать по земле святыми подошвами, как видите меня живым.

…Я взял мои ботинки и не смотрел на белые шелковые стежки вокруг рантов. Я все смотрел и смотрел на него — на маленького кишиневского башмачника. Подошва как подошва. Но башмачник наверняка святой башмачник.

Могу под этим подписаться.

Пер. Е. Аксельрод.

РАССКАЗ О СМЕХЕ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА

— Вот вы говорите так, а я вам расскажу кое-что поинтереснее!..

Так в одном местечке сразу после войны, после Шолом-Алейхемовского вечера, начал свой рассказ один еврей. Тот самый еврей, который вылез из братской могилы, чудом остался жив, а местечко зовет его Расстрелянным. Глаза его так и упрашивали выслушать. Рассказ он начал без вступлений, с самой сути:

— Представьте себе такую картину: нас ведут расстреливать. Мокро, льет холодный дождь. Мы тащим тяжелые от налипшей грязи ноги, дорога раскисшая, трудная, и вся толпа евреев, все мы, думаем о том, что до той самой, известной всем нам ямы еще тащиться и тащиться. Хотя нет. Никто уже, кажется, ни о чем не думал. Потому что я и сам вдруг поймал себя на том, что тащусь опустошенный и ни о чем не думаю. Аж краска ударила мне в лицо: что бы, например, произошло с простыми быками, если бы они знали, куда именно их ведут? И я увидел мысленно, как быки бегут обратно с мясниками на рогах. По той же дороге. Увидел так же ясно, как вы видите меня живым.

Но что делать? У нас нет рогов.

Измываются над нами наши убийцы: «Быстрей-быстрей, еврейчики!.. Всё!.. Сейчас-сейчас — не будет еврейчиков!..» А я себе думаю: на-кося, выкуси!.. Ну а брат мой, который со всей своей семьей эвакуировался? Ну а сын мой, красноармеец? А? И я хочу сейчас, перед смертью, представить себе своего брата и не могу — не помню его лица. Вы слышите? Я не помню, зовут ли моего единственного брата Тевье. Хочу я подумать о сыне моем. Не помню. Я не помню, что мой сын в Красной Армии, любимый сын мой, зовут Перчик. Я аж похолодел. Как же так? Подождите: а жена моя, царство ей небесное? Жизнь прожил с ней… А как звали шурина моего, жестянщика, который так здорово читал вслух еврейские книжки? Ну а все родственники? Полный город родственников. А все соседи? Целая улица соседей…

И мои тяжелые ноги становятся еще тяжелее, начинают подгибаться, тянут меня в грязь. Всё!.. Всё!..

Рядом шагает мокрая растрепанная старушка с промокшим насквозь узелком в руке. «Мамаша, — хватаюсь я за нее, — всё, мамаша? Никого не останется?» Но язык заплетается у меня во рту, будто я подавился, и она не понимает моего вопроса. «Поднимите, — говорит она, — кверху лицо, смочите губы дождем, освежитесь, крепитесь…» Поднимаю я лицо к небу,

ловлю губами несколько дождинок, но освежиться мне не освежается и крепиться тоже не удается.

— Мамаша, — бормочу я дальше, — всё, мамаша? И имени даже не останется?

И вдруг, как ниспосланный ответ, по сей день не знаю откуда и каким образом, вспыхивает во мне имя Шолом-Алейхем. Сразу же в памяти у меня становится светло. Язык во рту перестает заплетаться. Ноги выпрямляться начинают. Неужели такое простое, близкое имя несет в себе такую воскрешающую силу? «Алейхем шолом, — шепчу я имени, — алейхем шолом!» И я чувствую, как теплеет у меня на душе. Я уже начинаю уговаривать себя на его языке. Просто. Светло. По-шолом-алейхемовски. «Фе! — говорю я. — Противно! Как может у человека быть такая забитая память? Как можно забыть имя родного брата? Тевье, Тевье! Из книжки «Тевье-молочник». Как это — не помнить имя собственного сына? Такое имя. Перчик, Пер-чик! Перчик Тевье-молочника!» И лишь только приходит в себя моя память, является мне масса имен: Менахем-Мендл и Шейне-Шейндл, Годл и Хава, Гитл Пуришкевич, Мальчик Мотл, Иосиф, все родственники, все соседи, весь Шолом-Алейхем.

— Мамаша, — дергаю я растрепанную старушку рядом со мной. — Остается!.. Остается, мамаша!

Поднимает она на меня свои большие одичавшие глаза:

— Что остается? Где остается?

— Шолом-Алейхем, мамаша!

Огромные глаза ее наливаются слезами. Она жалостливо качает головой:

— Горе мне, горе! Уже тронулся, бедняжка!..

Но мне, мне пока легки мои тяжелые ноги. Не растрепанная старушка шагает рядом, а он — он сам.

— Ну, — спрашиваю я, — красиво, а?

— Шшш, — отвечает он. — Смеяться. Смеяться здорово. Доктора велят смеяться!..

Ну конечно. Вот же они, наши рога!..

Конечно, смеяться!.. Не будет еврейчиков? Ха-ха… А где мой эвакуированный брат Тевье с дочерью? А мой сын в Красной Армии — Перчикл? Не будет еврейчиков? Ха-ха!.. Хо-хо!

Когда смех вырвался из меня, мы были уже почти рядом с ямой. Вот-вот. Еще два шага до открытой могилы нашей.

Уже стемнело. Кто-то подхватил мой смех.

Сквозь дождь наш хохот прорвался странным свистом, и убийцы наши как с цепи сорвались.

— Прекратить! — направили они на нас автоматы. — Кто позволил евреям смеяться? Выстроиться в один ряд! Прекратить!

Раз… два… три… Конец еврейчикам!..

— Ха-ха!.. Хо-хо!..

Представьте себе картину: хохот и стрельба. Стрельба и хохот.

«Расстрелянный» еврей в том местечке остановился на мгновение, отдышался и довел рассказ до конца:

— Как я тогда с жуткой тяжестью в теле, закиданный мертвыми окровавленными людьми, среди покойников, вдохнул вдруг свежий воздух, снова увидел небо над головой — про это у меня есть отдельная история.

Главное — я живу. Я есть.

Благодаря кому? Благодаря кому все мы есть? Благодаря надежде нашей. Благодаря Перчикам нашим дорогим, дай им бог здоровья на долгие годы!

Что же касается смеха, так с тех темных дней мы уже не один раз смеялись в радости. И я, «расстрелянный», и вернувшийся эвакуированный брат мой — Тевье с дочерьми. И он — Перчикл. И каждый раз я вспоминаю тот окрик убийцы:

— Кто позволил евреям смеяться?!

Так кто же, кто сделал, чтобы евреи жили и смеялись?..

Пер. Ю. Цаленко.

ДОКТОР ЯМПОЛЬСКИЙ

Это был человек с добрым сердцем.

Я перебираю в своей памяти многие другие его достоинства. Неплохой врач; не дурак; очень простой; за всю жизнь никто не слыхал от него злого слова — ни жена его, ни тем более их несчастный сын, ни — хоть иногда — сосед, ни близкий или не очень близкий знакомый, ни даже скверный родственник или вредный пациент. Ни разу он никого не притеснял, не обманул; в практической жизни — неловкий, нерасчетливый, скорее, пожалуй, неудачник. Не говорю уж о порядочности и честности, о сострадательности, искренности, скромности. Короче, если выписать в один столбик все положительные качества, то под всеми ними можно подвести итог в нескольких словах, которые я хотел бы высечь на его надгробии: человек с добрым сердцем!

Среди немалочисленных более или менее возвышенных миссий, возлагаемых на писателя его творчеством, есть и такая, как установка памятников.

Его звали доктором Ямпольским уже более полувека тому назад, когда он был еще совсем молодым, как и все мы тогда — кто чуть старше, кто еще моложе. Он только что окончил медицинский факультет в Праге и поселился в Бухаресте, в бедном еврейском квартале, где-то за Дудештом. Хорошо помню его докторскую вывеску — латунную табличку на старой, давно не крашенной, облупившейся двери, выходившей из квартиры прямо на улицу. Дипломированный врач мог тогда взять за себя папенькину дочку с очень хорошим приданым — не из первейших красавиц, разумеется, — открыть богатый кабинет, а не сидеть, поджидая пациентов. С приданым можно было играть на бирже или попросту отдавать деньги в рост, всю жизнь носить почетное звание доктора, шикарно живя отнюдь не на врачебный гонорар. Но он женился на Бете, бедной ткачихе — и тоже не писаной красавице — черноволосой, худенькой, малорослой бессарабской девушке с провинциально смущенным взглядом черных глаз. Вскоре у них родился ребенок, мальчик.

Мне хорошо помнится, как выглядел доктор Ямпольский: вечно в выцветшей, помятой шляпенке на макушке, на шее — шнурок, вывязанный двумя свисающими концами, на носу — круглые очки с неестественно толстыми, сильно выгнутыми стеклами, отвороты брюк — обтерханные, висящие бахромой, башмаки — с искривленными, сильно стоптанными каблуками. Его маленький кабинет, впрочем, отнюдь не пустовал. Однако пациенты были большей частью безгонорарными. Все наши

товарищи, особенно жившие тогда в Бухаресте бессарабские парни и девушки, стали звать доктора Ямпольского «наш доктор». Привяжется ли к кому-то скверный кашель, или — то ли от хорошей еды, то ли от хорошей голодовки — дикая боль вдруг скрючит в три погибели, или выскочит чесотка, или просто кого-то прохватит простуда, понос и тому подобное, — все знали один спасительный путь: к доктору Ямпольскому. Каждый знал: он широко распахнет перед тобой свою облупленную дверь, с почтением пригласит войти, в кабинетике разденет тебя, уложит на узкую кушетку, прослушает, приложив ухо прямо тебе к груди, мягкими подушечками пальцев пощупает живот, скажет, как водится, что, мол, ничего страшного — пройдет, однако пропишет тебе мазь или микстуру, а в особо тяжелом случае даст тебе бумажку с печатью, чтобы тебя «цито» — срочно — положили в больницу. И попробуй-ка потом затолкать ему пару пятерок в широкий карман его белого халата! Двадцать раз оттолкнет твою руку, взглянет на тебя поверх очков с толстыми стеклами и скажет, с некоторой неприязнью даже, что если ты не хочешь, чтобы твой визит оказался первым и последним, то брось пихать ему деньги в глотку — для своих он не платный доктор.

И вообще кабинетик Ямпольского не пустовал. Там всегда кто-нибудь был. Если там не говорят о болезнях и лекарствах, значит, решают мировые проблемы, измеряют температуру эпохи — не слишком ли сильный у планеты жар и каков прогноз. А то и вовсе беседуют о литературе, об искусстве, чуть ли не на аптекарских весах взвешивают прочитанные книги, увиденные на выставках полотна, новые кинофильмы. Окно в кабинетике распахнуто настежь, но клубы папиросного дыма все равно вьются, пританцовывая, под потолком. Окно прикрывают, ибо спорят уже громко, в голос, не говорят, а кричат. В другой комнатке вдруг начинает хныкать ребенок в люльке. Бетя появляется на пороге кабинетика и молчит. Ей надо позвать на минутку Ямпольского, чтобы он помог управиться с малышом, но ей тоже хочется постоять немножко и послушать, о чем люди говорят. Наконец все расходятся. Ямпольский возится вместе с Бетей у колыбели. Вместе они купают ребенка, вместе пеленают, вместе кормят его. А через несколько минут уже опять звонит колокольчик у парадной двери.

Кое-как они перебивались от субботы до субботы — больше на Бетин заработок, чем на его докторские гонорары. А когда из люльки совершенно явственно выглянуло их великое несчастье, Бетя волей-неволей оказалась привязана к малышу и могла теперь работать на фабрике только по полдня. Тоску их полуголодного существования усугубило поселившееся в доме

горе.

На первый взгляд ребенок рос обыкновенно. Жадно сосал пустоватую материнскую грудь, хлебал манную кашку, облизываясь нормальным розовым язычком, нормально прибавлял и в весе, и в росте. К полутора годам — немножко поздновато — в люльке сидел, обложенный подушками, мальчонка с пухлыми, точно надутыми щеками, тяжеленький — не сразу возьмешь на руки. Короче, в ширину он рос даже больше, чем следует. Но чем дальше, тем становилось яснее, что разум ребенка стоит на месте.

Супруги носили сына к знакомым детским врачам, специалистам, показывали его детскому психиатру. Им отвечали: возможно, все дело в тяжелой беременности, а может быть, нечаянно ударился головкой в грудном возрасте; не исключено, что со временем все придет в норму. Преодолевая голод и дремоту, Ямпольский целые ночи напролет просиживал над медицинскими книгами, пытаясь самостоятельно что-нибудь в них отыскать. Он писал длинные письма к знаменитым парижским профессорам, писал и в Прагу своим университетским преподавателям. Возможно, будь Ямпольский со своей супругой Бетей богатыми людьми, они свезли бы сына в какой-нибудь европейский медицинский центр, а будь они хотя бы пообороТливее, умей они подобно другим куда угодно втираться без мыла, то раздобыли бы все самые дорогие и новейшие заграничные лекарства, которые им в ответных письмах советовали испробовать. Возможно.

Но время бежало и бежало — неделя за неделей, месяц за месяцем. Это только так говорится — бежало. Оно тянулось тяжело, словно кандалы, с рвущим душу, тоскливым лязгом и звоном.

И вот в доме стал ползать по полу, позже — ковылять, держась за стенки, еще позже — прыгать вокруг стола, по скамьям, по кроватям толстенький мальчик с пухлыми щечками и большими водянистыми глазами. Он произносил всего два-три гортанных звука — даже не звуки, а какое-то ворчание.

Мальчик рос, и вместе с ним росло горе в доме. И чем больше оно росло, тем больше к нему привыкали. Хотя слово «привыкать» не подходящее для таких людей, как доктор Ямпольский и его Бетя. Они стали воспринимать свое горе все более смиренно, все с большей любовью: это наше горе, и оно нам милее и дороже, чем целый мир.

Доктор Ямпольский, разумеется, неохотно и очень редко с кем-либо говорил об этом. Однажды я видел, как он остановился как вкопанный среди улицы и долго глядел поверх очков вслед

пробежавшему мимо живому молодому пареньку. В воспаленных близоруких глазах доктора при этом не было, упаси боже, ни зависти, ни обиды на судьбу. Все годы, сколько я его помню, взгляд его всегда выражал глубокую, почти болезненную задумчивость. Если ему и доводилось иной раз беседовать с кем-то о своем несчастном сыне, то говорил он не так, как обычно говорит отец, мужчина, а скорее как женщина — мать: «Золотце мое, мальчик мой! Пошли, господи, мне все горе, что ему причитается!»

Он звал его «мальчик мой» все пятьдесят лет, что сын прожил рядом с ним. Изо дня в день, все пятьдесят лет, он целовал сына на сон грядущий и говорил: «Доброй тебе ночи, мальчик мой, спи спокойно, золотце мое». Я сам это видел и слышал раза два-три. А когда я спросил Ямпольского: «И вы так прощаетесь каждый вечер?» — он взглянул на меня с таким изумлением, словно я задал самый дикий вопрос на свете. Да, каждый вечер, все пятьдесят лет, до тех самых пор, когда трагедия Ямпольских завершилась, когда все трое — вначале Бетя, жена и мать, затем сын и наконец он сам, доктор Ямпольский, — в несколько недель один за другим покинули этот мир.

Я перебираю в памяти все добрые дела, совершенные доктором Ямпольским в своей жизни. С чего я вдруг ставлю ему сейчас такой памятник? Обыкновенный человек. Какими-либо героическими лаврами история его жизни не увенчана. Никаких открытий он не совершил. Ценностей материальных, суетных после себя не оставил. В семье он всю жизнь тихой и спокойной мощью рассудка развеивал печаль. Радость же черпал изо дня в день в клинике, где ставил на ноги больных, принося несчастным счастье (из-за сына он стал невропатологом, в последнее время считался одним из лучших невропатологов в городе). Эту свою радость он все той же тихой и спокойной мощью рассудка принужден был гасить в себе, не приносить ее домой, не делиться ею с сыном и женой. Его радость лишь усугубила бы печаль в семье: ведь сотни больных он сделал здоровыми, а собственный его сын так навеки и остался неизлеченным, несчастным.

Конечно, это тоже героизм, пусть иного сорта, измеряемый иными мерками: ежедневный, незаметный. Достаточно ли его, чтобы быть выдающимся человеком?

Так вышло, что в течение многих лет я часто мог наблюдать Ямпольского вблизи. Когда в сороковом году Бессарабия вновь стала советской, мы возвращались домой с ним вместе, в одном вагоне. На ясском вокзале румынские жандармы, наставив пулеметы, перегружали в товарные вагоны всех съехавшихся туда в тот вечер бессарабцев. Длинный грузовой поезд из вагонов,

набитых людьми, как бочки сельдями, потихоньку тронулся, часа полтора еле полз сквозь ночь, пока не остановился в пустой темной степи. Вдоль всего поезда выстроились солдаты, направив винтовки на вагоны. Слышны были команды вынуть шомполы, чтобы быть готовыми по первому приказу стрелять выше вагонных колес. До самого рассвета, когда солдат с ружьями внезапно убрали от вагонов и поезд медленно двинулся к Пруту, к мосту через реку, поседевшие за ночь люди лежали в вагонах ни живы ни мертвы. Не у всех потом хватило сил перебежать через мост, чтобы через считанные секунды обняться по ту сторону реки с гостеприимными красноармейцами. Так вот, больше, чем кто-либо другой из людей в вагоне, даже больше моей собственной семьи, мне врезался в память доктор Ямпольский с женой и мальчиком. Я видел, как Ямпольский то и дело привлекал сына к себе, прикрывая его собой, и как все время подтаскивал к себе Бетю, и как они оба сидели, прижимаясь друг к другу, заслоняя собой ребенка, чтобы защитить его от пуль, вот-вот готовых посыпаться сквозь стенки вагона. Во время войны я неожиданно встретил Ямпольского в Ташкенте. Я с трудом узнал его. В длиннополой армейской шинели, в пилотке, в неуклюжих кирзовых сапогах он выглядел непохожим на себя. Толстые стекла очков на близоруких глазах мало подходили к его одеянию. Он, по своей привычке, взглянул на меня поверх очков, чуть нагнув голову, и воспаленные глаза его засияли. Веселым и едва ли не хвастливым тоном, какого я ни до, ни после той встречи от него не слышал, он сказал мне, что работает в военном госпитале и еще никогда не был так удовлетворен собой, не ощущал себя таким полезным, как сейчас. Я осторожно спросил его, как Бетя, знает ли он что-нибудь о ней. Он взглянул на меня с неудовольствием: с чего это я вдруг спрашиваю о Бете? — и также с неудовольствием ответил, что и она здесь, и мальчик их тоже здесь, с ними, в Ташкенте, здоров и чувствует себя хорошо — не хуже, чем прежде. Ни с того ни с сего он вдруг начал пересказывать мне новые и совсем старые известия с фронтов, словно я явился откуда-то из дикой пустыни и меня надо обучать всему, начиная с азбуки, и рассказывать мне все до мелочей. Прощаясь, он сказал, что война вот-вот окончится. Совсем скоро мы победим самого страшного и жестокого людоеда в истории человечества. Весь мир будет торжествовать нашу победу. Все — стар и млад, дети и взрослые, даже младенцы в колыбелях. И вместе со всеми его мальчик тоже доживет до разгрома Гитлера.

После войны, уже здесь, в Кишиневе, мы встречались с доктором Ямпольским до самых последних дней его жизни. Среди своих, близких, его опять стали звать «наш доктор». Долго, до

самой пенсии, он работал ассистентом у профессора Шарапова в нервной клинике. Для знакомых и для давних «бесплатных» пациентов он по-прежнему оставался доктором от всех болезней. При легком ли, при тяжелом ли заболевании его совет, доброе его слово утешало и исцеляло. Помню, как мой отец за неделю до смерти окучивал во дворе помидоры и вдруг упал. «Скорая помощь» определила инсульт. Все мы в ошеломлении стояли вокруг его кровати. Он раскрыл глаза, отыскал меня взглядом. Речь он потерял, но по движению его губ я угадал, что он говорит мне: «Ямпольского позови ко мне, Ямпольского!..»

Летом по вечерам я иногда встречал Ямпольского, гулявшего по улице с сыном. Сын вырос выше и шире отца. Лицо его было в морщинах, волосы на голове — редкие, глаза блуждали. Он выглядел немногим моложе отца. Ямпольский вел сына под руку, крепко держа его рядом с собой, чтобы тот, упаси боже, не вырвался, не сошел с тротуара, не побежал куда глаза глядят, В таких случаях Ямпольский никогда со мной не останавливался, а лишь кланялся мне и шагал дальше, полностью погруженный в это гуляние с сыном.

В последние несколько лет Ямпольский частенько заходил ко мне в гости и нередко приглашал нас к себе. Бетя сильно сдала, на шее у нее появились морщины, голова совсем побелела, и вся она как-то съежилась и стала еще ниже ростом. Она принимала нас как самых дорогих гостей. Сын их был здесь же; видимо, в нашу честь выбритый, причесанный, одетый в новую накрахмаленную рубашку. Доктор Ямпольский сажал сына за стол рядом с собой. Бетя ставила перед сыном тарелочку, и доктор клал ему понемногу от каждого блюда. Сын сидел, одутловатый, с заплывшими глазами, отрешенно глядя куда-то в одну точку. Вдруг он хватал со стола бутылку и совал ее под мышку, направив на нас горлышко. Ямпольский гладил сына по голове, отбирал у него бутылку и говорил ему: «Ешь, сынок, почему ты не ешь?» И когда он, издавая урчание, лез всей пятерней в блюда на столе, Бетя подходила к нему, кричала на него и шлепала его ладонью по пальцам. Ямпольский поднимался и очень спокойно говорил Бете, что детей не воспитывают с раздражением и тем более распуская руки. «Добром, — говорил он, — только добром!» Он тщательно вытирал сыну испачканные пальцы салфеточкой, целовал его, потом давал ему в руку вилку и начинал учить его, приговаривая нараспев, что есть ребенок должен вилкой, только вилкой, и только с той тарелки, которая перед ним, и если ребенок слушается, то и мама его любит, и папа, и все любят. И в этих напевных словах звучала такая ласка, словно перед ним действительно сидел маленький ребенок, а не

человек сорока с лишним лет.

— Ничего, не беда, — заключал Ямпольский, — главное — ты здоров и сидишь с нами за столом, сынок!

Ко мне в гости Ямпольский частенько приходил со своими записками. Писал он изо дня в день, с удовольствием и упорством. Писалось ему, как он говорил, легко: стоит лишь взять перо в руки — и сразу рождаются строчки и даже целые страницы. Писал он в толстых общих тетрадях, почерк у него был с завитушками, с вычурными, будто им самим выдуманными буквами, так что приходилось разбирать через пень колоду. В старину доктора так писали рецепты: будь ты хоть семи пядей во лбу — не прочтешь, и никто, кроме старичка аптекаря, ничего не разберет.

Сдвинув очки на лоб и держа тетрадку перед воспаленными глазами, чуть не утыкаясь в нее носом, доктор Ямпольский садился передо мной и прочитывал мне свое новое произведение. Читая, он то и дело прищелкивал пальцами. Часто сам, где следовало, улыбался или, напротив, хмурился, а представляя действующих лиц в диалоге, менял голос от самого низкого баса до самого тонкого фальцета. На меня он при чтении не глядел, лишь время от времени поднимал глаза куда-то поверх моей головы. Трудно было понять, то ли, читая, он представляет перед собой целый зал, полный публики, то ли забывает даже обо мне одном.

Он писал рассказы, повести, романы. Тема у него везде была одна: любовь. Его творчество осталось для меня загадкой, хотя, кажется, было ясно как день, что с литературой — я имею в виду истинную литературу — все это имело мало общего. Все у него выглядело нарочито, нежизненно, неправдоподобно, напоминало что-то читанное в книгах и к тому же было изложено крайне примитивно, по-школярски, без малейшего проблеска остроумия. Напротив, во многих местах даже глуповато, неловко, растянуто, без чувства меры и вкуса. Признаюсь, иной раз мне казалось, что судьба, сочтя несчастье с сыном слишком легким, отпустила доктору его страсть к писанию как довесок. Конечно, лучше было бы по-дружески сказать ему: «К чему вы впустую тратите силы и время? У вас получается не то. Не годится!» Но, во-первых, сказать такое человеку — не значит ли сразу подрубить ему крылья? А во-вторых, можно ли вообще говорить такое кому бы то ни было и возможна ли абсолютная и окончательная уверенность в этом деле? Я видел, как лицо его светится от наслаждения, когда он мне читает что-нибудь. Подумал я и о тайной силе, каждый день сажающей его за письменный стол с пером в руках и властно повелевающей: пиши! Я задумался и над единственной

его темой — любовью: видимо, она копилась в нем всю жизнь и вот теперь, на старости лет, перехлестывая через края, выливается на бумагу. Уже в этом одном, думалось мне, есть нечто глубоко человечное, доброе, нечто особо свойственное именно и только ему — Ямпольскому. Наконец, в эти убористо исписанные тетради вложены его мысли, чувства, картины и видения, пусть непрофессионально сочиненные, неловко и беспомощно изложенные на бумаге, но эта неловкость и беспомощность — его собственные, в них — он сам. И если он испытывает радость, если даже это не более чем несбыточные мечты, утешающие его на старости лет, — можно ли взять и отрезать: «Не годится»?

Кроме того, доктор Ямпольский так или иначе осторожно давал понять, что он прочитывает мне свои вещи совсем не для того, чтобы узнать, хороши они или плохи, — он приходит ко мне, только чтобы я его выслушал.

Свои толстые исписанные тетради он отдавал машинисткам перепечатать, рассылал их в редакции, в издательства, а мне делал намек, что ему все равно — пусть его произведения не печатают, это его не волнует. Он пишет не для того, чтобы его писания стали известны миру и уж, конечно, не из тщеславия. Он пишет, потому что ощущает в этом какую-то сверхъестественную потребность. Ничто его не удержит. Что бы там ни было, все равно он изо дня в день будет отсиживать свои несколько часов за столом.

И вновь я возвращался к прежней мысли о том, что писание привязалось к доктору как некая болезнь, как злой недуг. И именно он — врач, исцелитель болящих, вылечивший за свою жизнь десятки и сотни болезней — о собственном своем недуге даже не подозревает!

А Бетя как раз подозревала что-то в этом роде. Однажды она сказала мне:

— Какой же вы ему друг? Почему вы его не остановите? Разве я не вижу, что это его писание — кара божья на наши головы? Нет у него ни минуты покоя. Ходит как потерянный. Сидит целыми ночами и марает, марает бумагу — целые горы уже исписал, на несколько лет хватит растапливать печку. Что, к чему, зачем? Ясно же, что никому это не нужно.

Но тут же она спохватилась:

— Я знаю? Кому от этого плохо? Что-то да находит он в этом. И кто знает, что у него в конце концов выйдет, до чего он допишется? Такое ведь уже случалось. Да и потом, если суждено нам еще одно несчастье, то пусть уж лучше эта его малахольность, а не что-нибудь похуже.

Она как в воду глядела. Через некоторое время я получил от нее открыточку с несколькими словами:

> «Прошу вас, зайдите к нам. С Ямпольским очень нехорошо».

Доктор Ямпольский встретил меня лежа в постели. Он лежал с открытыми глазами и глядел в потолок. Без очков его изменившееся лицо казалось помертвелым, отупевшим — именно казалось, что в этом виноваты очки. В доме был беспорядок. Стол с середины комнаты сдвинули куда-то в угол. У кровати стояли табуретки — видно, только что кто-то навещал больного. Сын в другой комнате уже спал, хотя было еще рано — солнце село часа полтора назад, не больше. Бетя встретила меня, заломив руки, громко воскликнула: «Кончился Ямпольский!» — и жестом пояснила, что можно говорить громко: он все равно не соображает, что вокруг него делается. Она всхлипнула:

— Ох, какое несчастье! Он потерял память — не помнит совершенно ничегошеньки. А так вполне здоров. Вы ведь знаете, он никогда ни на что не жаловался. Сердце у него здоровое. Легкие тоже. Все у него в порядке, только жуткий склероз. Все его горести, все переживания легли ему на мозги, совершенно ничего не помнит. Совсем потерял память. Родной мой!

Я присел на табуретку у кровати и взял его руку в свою. Доктор Ямпольский перевел глаза с потолка на меня, несколько секунд всматривался, а потом взглядом спросил, кто я такой. Я назвал свое имя, и он улыбнулся:

— А! У меня когда-то был такой товарищ. Хороший был друг.

Бетя опять всхлипнула:

— Да что говорить! Он не помнит даже, кто такой Лев Толстой, кто Шолом-Алейхем. Ой, сколько тысяч книг он прочел за свою жизнь — и всё помнил наизусть. А сколько книг он прочел со мной вместе! Сколько мне всякого порассказал! Учил меня… Потом уж, бывало, я сама скажу что-нибудь такое, а он улыбается и спрашивает меня: Бетя, ты откуда это знаешь? Смотри-ка, да ты у меня совсем интеллигентная! Ой, родной мой…

— А что говорят врачи? — спросил я.

— Что они скажут, врачи? Лечат его. Уколы делают, достали ему какие-то таблетки особенные. Вот только что, перед вечером, было трое знакомых врачей — много лет вместе в клинике проработали. Сидели, напоминали ему то, другое — никакого толку. Темно в голове, как в яме. Что они скажут, что? Против этого никакого средства нет. Пропал Ямпольский, совсем пропал!

И она опять расплакалась:

— Как в глубокой темной яме. Даже кто я такая, уже не помнит, горе мое! Одно-единственное осталось у него в памяти: сын наш. Каждый вечер, перед тем как лечь спать, он по-прежнему целует его в лоб с теми же словами, что и всю жизнь: «Доброй ночи, мальчик мой, спи спокойно, золотце мое!» Ох! Ох!

Недели через две мы с женой, зайдя как-то вечером проведать, как дела у доктора Ямпольского, увидели во дворе много народу — тут группка, там кружок. И тут же нам сообщили невеселую новость: Бети больше нет. С самого утра она была на кухне, жарила, парила, заправляла, закручивала на зиму баклажаны. В обед она еще покормила мужа и сына и опять возилась на кухне. Днем, часа в четыре, она, видно, присела на скамейку к мужу — немного перевести дух. Так соседка и нашла ее сидящей на скамейке с запрокинутой головой. «Жила как праведница и умерла как праведница: даже не почувствовала, что умирает», — говорили люди во дворе.

На следующий день состоялись похороны. Во дворе было шумно. Гроб с покойницей стоял снаружи на двух табуретках. Соседи и знакомые обставили его венками из живых цветов. В помещении крутились Ямпольский с сыном, возможно, даже подходили к окошку, но ни тот, ни другой не понимали, что происходит на дворе. Вскоре во двор въехал автокатафалк, и все опять стало пусто и тихо.

Точно так же не узнал доктор Ямпольский, что добрые люди постарались и через несколько дней после смерти Бети увезли его сына в психиатрическую больницу. Не в больницу, собственно, а скорее в пожизненный интернат для неизлечимых больных. Пятидесятилетний изнеженный сын Ямпольского там сразу же перестал есть, не мог спать. От слабости, а может, и от тоски он схватил там воспаление легких и через такое банальное заболевание оставил этот мир. Ямпольский не знал об этом, но, видимо, что-то почувствовал. Соседи, каждый день приносившие ему поесть горячего, рассказывают, что он сразу перестал говорить, не стал сходить с кровати и лишь иногда, чаще, конечно, по вечерам, бормотал глухо, так что едва можно было разобрать: «Спи спокойно, золотце мое, мальчик мой!», — а потом и этих слов уже не говорил, только лежал на кровати, уставясь остекленевшими глазами в потолок.

Так быстро совершилась трагедия Ямпольских. Почти так же быстро, как прочитываются полтора десятка этих бедных строчек, только что написанных мною об их печальном конце.

Во дворе доктора Ямпольского вновь толпился народ. Гроб, накрытый черным покрывалом, вновь стоял снаружи на двух табуретках. Венков из живых цветов — без числа. Две надгробные

речи, как водится, полные восхвалений, прежде чем поднять гроб и задвинуть в автокатафалк. Я как раз стоял поблизости, когда двое присутствовавших на похоронах даже поссорились:

Один сказал:

— А, что говорить — без ума жил. Пожертвовать жизнью сыну, которого не дай бог никому и который вовсе в этой жертве не нуждался. Дельный человек, с головой на плечах, сдал бы мальчонку еще младенцем в какой-нибудь институт, жена родила бы другого ребенка — и жили бы они себе в удовольствие и в радость, как все люди живут.

Другой так и загорелся и сразу стал ругаться:

— Закройте рот и перестаньте чушь пороть! Гляди-ка, кто нас учит, что умно и что неумно! О дельности говорит! Скажите лучше — пронырливость — вот это будет правильно. В ней-то, в пронырливости — все наши несчастья. Честность, товарищ, человечность! На такой человечности, как его, и держится мир.

Так вот, я знаю, почему ставлю доктору Ямпольскому свой совсем особенный памятник. На простом камне я вырезал бы не список десятков его положительных черт и даже не итоговую строчку «Человек с добрым сердцем». А проще, короче и скромнее. Одно-единственное слово:

Человек.

Пер. А. Белоусов.

ДАВИД, КАПРИЗНЫЙ И ВСПЫЛЬЧИВЫЙ

Когда Давид иной раз возвращается домой с работы в растрепанных чувствах, явно не в своей тарелке, то лучше его не трогать, а оставить в покое. Рохеле это хорошо известно не со вчерашнего дня. Она тихо разогревает в кухне ужин, накрывает на стол, прислушиваясь, как Давид сердито копошится в комнате и что-то ворчит. Она негромко зовет его: «Ну, пойдем, — кажется, пора уже взять что-нибудь в рот». И потом они оба сидят молча, опустив глаза в тарелки, словно что-то произошло, словно черная кошка пробежала между ними.

Но Рохеле хорошо знает, что так нельзя. Возможно ли: жена, друг сердечный, видит, что ее родной и любимый мучается, переживает — а она и не спросит, что и как? Ее это не касается? Или она ничего не замечает? Да нет же, такого и вообразить себе невозможно. Нет, она, разумеется, спросит, в чем дело. Только подойти к нему надо так бережно, с такой ловкостью и осторожностью, чтобы, упаси господи, не напортить, чтобы, боже избави, не сделать ему еще хуже. В такие минуты надо обращаться с Давидом осторожнее, чем с яйцом всмятку. Вот такой уж он. И такой, какой он есть, он ей мил и дорог, ее Давид.

— На сердитых воду возят, — говорит она, словно ни к кому не обращаясь. — Все плохое проходит, пролетает, как тень птицы. Разве ты сам не знаешь, Давид?

— С чего ты взяла, что я сердитый?

— Здравствуйте! Что я, слепая?

— Что же ты видишь, зрячая моя?

— Что вижу, то вижу. Он опять цеплялся к тебе, твой прораб?

— Как раз нет. Наоборот, он в этом месяце даже выводит мне какую-то премию.

— Так что же он тогда тебе сделал?

— С чего ты решила, что именно он что-нибудь мне сделал?

— А разве не видно по твоему лицу, по тому, как ты взвинчен, как на стенку лезешь?

— А, ерунда.

— Догадываюсь, что ерунда, — я ведь знаю тебя. Ну а все-таки, что стряслось?

— Он рассказал мне анекдот.

— Господи боже мой! И из-за анекдота надо так кипятиться?!

— Анекдот из тех еще анекдотов.

— А именно?

— А, ерунда…

— Это что, секрет?

— Не секрет, почему вдруг секрет?

— Тогда почему не рассказываешь? Стесняешься? Вроде бы стеснительностью ты никогда не страдал.

— Поганый анекдот. Не хочу даже повторять.

— Ну конечно! С женой разве можно о чем-то поговорить! К чему ей что-то рассказывать: она ведь никто, как чужая собака в доме. Жена — всего-навсего жена…

Этого хватило. Рохеле хорошо знает, что такие слова, да еще со слезами в голосе и на глазах сразу делают злого, вспыльчивого и капризного Давида мягким, как тесто, и кротким, как голубь, — хоть веревки из него вей. Ни одного слова в повышенном тоне от него больше не услышишь. Сейчас он всё расскажет, да так разговорится, что там, где достаточно одного слова, он скажет десять.

Так и случилось. Во мгновение ока Давид стал совсем не тем Давидом, который всего полчаса назад ввалился в дом. Его озлобленность, раздражение как рукой сняло. Вместе с табуреткой он придвинулся к Рохеле, склонился к ее плечу и тихо, протяжно-певуче, с бархатной мягкостью в голосе прогудел: «Ду-у-рочка!» Это для Рохеле самая большая похвала и самое ласковое имя, какое она только может себе представить.

Он стянул с себя рубашку и остался по-домашнему, в одной майке. А еще полчаса назад, умываясь, даже ворот не расстегнул. И так, полуголый, он еще ближе подсел к Рохеле, обнял ее рукой за шею, прокашлялся и даже, кажется, заулыбался. Но то, что он начал выкладывать ей со всеми подробностями, вновь навело облака на его лицо.

— Ну, слушай. Сама по себе байка, которую он рассказал, — глупость, яйца выеденного не стоит. Из хохмочек типа «пощекочи меня, я посмеюсь». Но вот умысел, с которым он ее рассказывал, желание уколоть меня засело в сердце, как нож острый. В другой момент мне бы в одно ухо влетело, из другого вылетело. Мало ли кто что сболтнет языком. Он, ты знаешь, не великий умник. Когда дураку захочется сострить, тут-то и видишь, какой он дурак. Но, понимаешь, в этот раз… — мы ведь недавно вместе праздновали Девятое мая, сидели за одним столом и пели фронтовые песни! Он, кажется, хорошо видел и медали у меня на груди, и карточку мою на Доске почета фронтовиков. И вдруг он возьми и расскажи мне такой гнусный анекдот!.. Я знаю? Может, он и правда не имел в виду ничего плохого. Но меня так обожгло, так полоснуло по сердцу, что, будь у меня в руках что-нибудь тяжелое и будь я другой человек, я взял бы его за глотку — и больше от него таких дурацких шуток не слыхали бы.

— Что ты тянешь, выматываешь душу? Говоришь, говоришь, а

ни слова еще не сказал. Что он тебе сказал такое, ну?

— Не спеши. Над нами не каплет. Что он мне сказал? Мне он ничего не сказал. Слышала ведь: он просто рассказал дурацкий анекдот. Может, он ничего плохого и не хотел. Может, у него просто было хорошо на душе и ему захотелось поострить. В конце концов, анекдот и есть анекдот. Чтобы посмеяться. Кто-то рассказывает умные анекдоты, а он рассказал глупый. Анекдот? Ерунда, куценький анекдотец. В другое время — провались он с ним вместе. У тебя хорошо на душе, хочется шутить — ну и шути себе как хочешь и сколько хочешь. Как шутишь, так себя и показываешь. Но в этот раз, именно теперь, когда я только что получил наш журнал с двенадцатью нашими героями — у каждого по три Славы на груди! Понимаешь? Помнишь ведь, как мы с тобой сидели вот тут вот, у стола, читали журнал и оба умилялись. Я люблю прочесть в журнале роман, иногда стихотворение, другое что-нибудь о еврейской жизни. Но такой радости и такой гордости, как от тех нескольких страничек с двенадцатью снимками, и на каждом по три ордена в ряд, — такого чувства я еще ни разу не испытывал, читая. Помнишь, я тогда сказал: «Рохеле, ставь-ка на стол вишневку, выпьем по малой ради такого случая!» Ты знаешь, что такое орден Славы всех трех степеней? Спроси меня, я тебе скажу. Я хорошо знаю, что такое война, что такое фронт и что значит даже самая простая медаль. Ты ведь знаешь, у нас, евреев, слава богу, сто тридцать Героев Советского Союза. Это большая гордость и великая честь. Но мне кажется — слышишь? — что три ордена Славы — это чуточку больше. Герой Советского Союза получает звездочку за большой и самоотверженный подвиг. Орден Славы всех трех степеней дают только за три великих, самоотверженных подвига. Я прямо нарадоваться не мог на эти двенадцать фотоснимков. У меня тогда был большой праздник. И вот он со своим паршивым анекдотом — хотел он этого или не хотел — берет и лезет сапогом мне в душу, портит, понимаешь, праздник.

— Ну, хватит уже, давай к делу, дай наконец услышать этот прелестный анекдот!

— Потерпи. Сейчас услышишь. Мелочь, чушь. Пощекочи мне пятки, я умру со смеху. Двое идут мимо могилы Неизвестного солдата. Один говорит: «Неизвестный солдат Абрамович!» Другой спрашивает: «Если Абрамович, то почему же неизвестный?» Тот отвечает: «Неизвестно, был ли Абрамович солдатом!»

Долгое молчание.

Р о х е л е: Да, до самых печенок достает. И ты смолчал? Ничего ему на это не ответил?

Д а в и д: Я побелел, как стена, аж губы затряслись. Такой

анекдот, сказал я, можно было услышать от тех, которые нам стоили двадцати миллионов жизней, чтобы мир больше не видел таких зверей.

Р о х е л е: А он что сказал?

Д а в и д: Он, кажется, даже не понял как следует, что я имею в виду. Минуту стоял обалдело, а потом рукой махнул и улыбается: «Давид, но ты-то ведь не Абрамович!»

Р о х е л е: А ты что сказал?

Д а в и д: А я говорю: «Я-то, — говорю, — не Абрамович, а вот ты-то, — говорю, — если рассказываешь такое, ты настоящий антисемит, фашист, пробы на тебе негде ставить!»

Р о х е л е: А он что?

Д а в и д: У него лицо помертвело, он подошел ко мне ближе, так что другие едва могли разобрать, что он говорит, и сказал: «Я и не знал, Давид, что у тебя нет чувства юмора». А я отвечаю: у меня нет чувства юмора, а у тебя, говорю, нет чувства человечности, вообще никаких чувств нет.

Р о х е л е: И что он на это ответил?

Д а в и д: Ничего. Положил мне руку на плечо и так стал передо мной извиняться, что жалко было на него смотреть: «Я не имел в виду ничего плохого, Давид, я просто пошутил. Не беда, Давид. Если я тебя обидел, то прошу тебя, прости меня, Давид».

Р о х е л е: А что? Может, так и есть? Это как посмотреть. Может, и действительно ничего страшного, и вся история не стоит ломаного гроша. Может, он и не имел в виду ничего плохого. Нельзя уже и пошутить человеку? А ты ворвался в дом с такими глазами и такой взбудораженный, словно за тобой с топором гнались. Нельзя же быть таким вспыльчивым, заводиться с пол-оборота и из-за каждой глупости лезть в бутылку. Ну, теперь-то хоть отошло? Пойдем, я тебе дам подушку, приляжешь, отдохнешь. Любая мелочь стоит ему здоровья! Нельзя так, Давид. Идем, поздно уже, оглянуться не успеешь, как уже ночь, а в шесть утра опять вставать. На, вот тебе подушка. А мне еще с полчасика надо повозиться на кухне.

Давид включает телевизор и ложится на диван. Много ему не надо: дневной усталости, обиды и раздражения, а потом исповеди и облегчения души достаточно, чтобы сразу начали слипаться глаза и тяжелеть голова. Телевизор играет, певица что-то поет, но Давид при этом уже не присутствует. Он посвистывает носом, похрапывает, потом вдруг смолкает и поворачивается лицом к стене.

В доме раздвигают стол. Рохеле в белом фартуке суетится. Она выкрасила и уложила волосы, похорошела и помолодела лет на десять. Она уставляет весь длинный, широкий стол

бесчисленным множеством блюд и тарелок — глубоких, мелких. Блюда и блюдца, тарелки и тарелочки теснятся, едва не налезая друг на друга. В центре стола красуется бутыль вишневки. Давид тут же: путается у Рохеле под ногами, суетится, помогает, раскладывает вилки и ножи, расставляет стаканы и стопки. «Наливай, Рохеле, радость моя, двенадцать стаканов, полней наливай вишневкой!» — «Почему именно двенадцать, Давид, и почему ты так торопишься наливать — ведь никого пока еще нет?» — «Ты же помнишь, Рохеле, когда-то на пасху во всех еврейских домах ставили полный бокал вина для Илии-пророка и оставляли чуть приоткрытой дверь, чтобы пророк мог войти. Сегодня, Рохеле, к нам должны прийти двенадцать пророков. Так поставь же для них, прошу тебя, двенадцать полных бокалов!» — «Так что же, Давид, ты мне сразу не сказал? Никогда ты не предупредишь заранее! Ша, ведь действительно уже звонят в дверь — иди открывай, Давид!» — «О, заходите, заходите, дорогие наши гости! Поцелуемся! Вот моя жена — Рохеле. Тогда мы были еще женихом и невестой. Она, бедная, за войну тоже достаточно намучилась. Ждала меня до самого последнего дня, до конца. Рохеле, знаешь, кто это? Это двенадцать наших богатырей, двенадцать героев. Садитесь, садитесь все за стол, товарищи родные! Гляди, Рохеле, как сверкают их ордена Славы. Будто солнце сияет у каждого на груди!..»

Телевизор играет, певица что-то поет. Тарелки и тарелочки, ножи и вилки, стаканы и стопки подзванивают в такт. Потом гости за столом сами затягивают песню, тихо и торжественно. Давид поет вместе с героями. Эта песня и для него родная и близкая:

Идет война народная,
Священная война…

Стол, завертевшись, исчезает куда-то. Перед глазами расстилаются заснеженные поля и дороги. Гремят взрывы, трещат пулеметы, сипло свистят минометы. Дома рассыпаются. Растерзанные тела мешаются с обрушенными потолками, с кирпичной крошкой. Дым. Огонь. Стенания. Давид ползет с винтовкой в руке по снегу, оставляя за собой кровавые пятна. Навстречу ему тарахтит танк с черным крестом на брюхе. Давид зарывается в снег, танк с лязгом проползает над ним, поднимается по склону холма и взрывается на только что установленных Давидом минах. Давиду оперируют ногу. Опять землянки, загогулины траншей. Давид поднимается из окопа. Справа и слева, насколько хватает глаз, так же поднимаются из

окопов десятки, сотни бойцов, подобных ему. Одной лавиной бегут они по полю, через дорогу, с единым, слитным протяжным криком: «Урраа-а-а-а-а!»

Рохеле трясет Давида за плечо:

— Давид! Давид! Что с тобой опять? Снова кричишь во сне!

Давид садится и улыбается заспанными глазами:

— Ай, Рохеле, какая у нас только что была отличная компания! Ну и гости!

Рохеле подает Давиду стакан шиповника:

— На, выпей и вставай, давай стелить постель. Поздно уже, тебе надо хорошо отдохнуть. Вставай. Как говорится, вставай спать ложиться.

Рохеле раскладывает диван, застилает его простыней, кладет в изголовье две подушки. Давид обнимает ее и говорит: «Дурочка».

Это протяжно-певучее, с бархатной мягкостью в голосе: «Дуурочка!» — самая большая похвала и самое ласковое имя, какое ей хочется слышать от ее Давида.

Пер. А. Белоусов.

ПОДРОБНОСТИ О СОНЕ

— Возможно, что все это произошло не совсем так, как я рассказываю. Меня ведь не было при этом. А тех, кто был там, уже нет в живых. Единственный, кто остался, это художник, артист, человек с ярким воображением. Я искала Соню несколько лет подряд. Я искала какие-нибудь, хоть мало-мальски достоверные сведения. Думала, что, может быть, где-нибудь остался ребенок моей сестры, хоть один ребенок. Мне хотелось узнать хотя бы — как, когда, где… Ведь за месяц до войны я гостила у Сони несколько дней. К ней в Ригу я летела из Ленинграда. В Ленинграде я провела целых шесть недель. Я мечтала об аспирантуре, о выступлениях. Каждый вечер я бегала на концерты. Я до сих пор неравнодушна к Баху. Нет. Неравнодушна — это слишком легковесное слово. Неравнодушна я была когда-то к избалованному мальчишке, моему сокурснику по консерватории, у которого ничего не было, кроме красивого голоса и черных хорошеньких усиков. Почему я была к нему неравнодушна, я не знала и по сей день не знаю. Так же скоропалительно, как влюбилась, так же — ни с того ни с сего — я разлюбила его. Баха я слушаю опустив глаза, как когда-то слушала слова моего старого отца. Его седые волосы, черная фуражка на голове, его упреки — все казалось мне ужасно старомодным. Но разве может кто-нибудь выбирать себе отца? Это такая любовь, что сам вопрос, любишь ты или нет, уже преступление. Может быть, это не самое удачное сравнение, по крайней мере, с точки зрения музыки. Это сравнение стало меня мучить, когда я узнала, как был убит мой старый отец. От Сони я улетела обратно в Ленинград. Двадцать шестого июня, через четыре дня после того как все началось, я уже была у себя дома, в Одессе. Вызвать по телефону Соню уже нельзя было. Но отцу уведомление я послала. Я ждала его несколько раз, часами, у телефона, но он не явился на переговорную. Четвертого или пятого июля я добралась до нашего местечка на берегу Днестра, но нашла замок на дверях; отец, как мне сказали, отправился пешком. Я надеялась, что он придет в Одессу, но он не пришел. Два или три дня спустя, нас, несколько девушек, вызвали в военкомат. Мы помогали гасить бомбы на крышах. Ночью мы дежурили на улицах, следили, чтобы нигде в окнах не горел свет. Еще через несколько дней я с забинтованными руками очутилась на пароходе среди раненых. Возможно, именно в один из этих дней мой старый отец остановился по дороге, там, у колодца. Это было уже далеко, на другом берегу Буга. Об отце я позднее узнала

все подробности. Люди из нашего городка были при этом. Я знаю, где это произошло. Каждый раз летом, во время отпуска, по дороге в Ригу, я останавливалась в этой долине, у дороги, и, посидев молча некоторое время, отправлялась дальше в Ригу, в поисках Сони. Должно быть, отца тогда мучила жажда. И тут внезапно немцы примчались на мотоциклах. Люди рассыпались по пшеничному полю. Возможно, что он не услышал воя моторов. Может быть, у него не хватило сил побежать. А может быть, жажда, неистовое желание пить, в тот момент было сильнее всего на свете. Он стоял, согнувшись над срубом колодца, держа обеими руками ведро, и медленно глотал воду. Возможно, их привело в ярость то, что этот нахальный еврей стоит и пьет воду, не обращая на них никакого внимания, спиной к ним. А может быть, они просто решили развлечься, устроить себе веселый привал по дороге, посмеяться немножко в той долине. Они натянули ему на голову мешок и столкнули его в колодец. Каждое лето целые часы я проводила дома со скрипкой, играла. Отец сидел и слушал. Самыми любимыми мелодиями для него на старости лет были эти грустные адажио и фуги, которые играла его дочь. Он их тихо, с благоговейной радостью напевал за столом или вечером во дворе, сидя на завалинке. Не моему старому отцу, а Баху, своему Баху, надели они на голову мешок. Теперь я слушаю Баха с закрытыми глазами. Я одновременно слышу робкое, вполголоса пение моего отца. Мне не кажется странным это не очень профессиональное сопоставление — отец и Бах. Прежде, когда я исполняла Баха, я наслаждалась, восхищалась. Теперь же я испытываю к нему такую любовь, что спрашивать себя, любишь или нет, уже преступление. Теперь у меня к нему чувство, которое можно назвать обожанием. Да, да, я не стыжусь этого банального слова. Может быть, я немного старомодна? Нет, я бы этого не сказала. Когда я дома одна, я ищу иногда по радиоприемнику джазовую музыку. Джаз кричит, джаз вопит, в джазе слышны стоны «Хижины дяди Тома». Джаз кричит, что мир неправильный. Однажды соседка сказала обо мне: «Как видно, эта старая дева отплясывает в одиночку рок-н-ролл!..» Меня смех разобрал. Не будь дураков на свете, и посмеяться бы не пришлось… Чайковского я люблю слушать поздно ночью, когда вокруг стоит тишина. Чайковский у меня записан на магнитофонной ленте. Мне приятно, когда он со мной одной разговаривает. Чайковский мне нужен. Я включаю магнитофон как можно тише. Он словно нашептывает мне, что жизнь все-таки прекрасна. «Люби! — говорит. — Послушай, мир ведь полон музыки». Чайковского я слушаю, когда хочу увидеть Соню. Сентиментальность тоже банальное слово, правда? Пусть!

Наоборот, я хочу быть сентиментальной. Соню я, конечно, любила как сестру. Но Соня в детстве немало носила меня на руках, заменила мне мать. Соню я любила и как мать, которой нам обеим не хватало. Соню я любила и так, как только Соню можно было любить. Соня была красивой, Соня была душевной. Соня была умной. Соня была счастливой. Она была на несколько лет старше меня — теперь она на несколько лет младше. Она была уже матерью троих детей. Но тогда, в те немногие дни, когда я гостила у нее в последний раз, она так хорошо выглядела — моложе, красивее, счастливее, чем до замужества. Она целыми днями пела и смеялась, смеялась и разговаривала. Рядом со своими детьми — двумя девочками и мальчиком в колыбельке — она казалась не матерью, а как когда-то рядом со мной — старшей сестричкой. Зятя — офицера Красной Армии — я тогда не застала. Он уже больше месяца находился в военном лагере. Когда я узнала об этом, мне на мгновение вдруг стало почему-то не по себе — как от недоброго предчувствия. Но, глядя на Соню, я устыдилась за свои мрачные мысли и прогнала их. Я сидела за пианино и учила своих двух племянниц играть «Чижик-пыжик», а Соня собирала меня в дорогу: пекла, жарила. Когда при прощании мы целовались, я впервые увидела ее грустной. Должно быть, она заразилась моим предчувствием. «Смотри, в случае чего, — сказала она мне, — позаботься об отце, ты ближе, свободнее!» Об отце я узнала все сразу. О Соне и о детях я «раскопала» подробности лишь несколько лет спустя. Год за годом, возвращаясь ни с чем, я спрашивала себя: «Зачем мне подробности? Погибли. Я уже это знаю. Как миллионы других». И сама себе отвечала: «Нет. Мне нужно!» Во-первых, может быть, таким образом я найду хоть одного из детей моей сестры; потом, без подробностей, это слово «погибли» с каждым годом становится бледнее, обыденнее. Подробности в миллион раз умножают это слово. Каждый в отдельности, думаю я про себя, даже так, нагой среди других таких же нагих, в газовых камерах погиб сам, отдельно, своей собственной смертью, исполнив свой реквием. Но печаль — это не такая вещь, за которой стоит гнаться, не так ли? Ошибаетесь! Мне нужна эта печаль, чтобы не перестать петь с моими учениками в музыкальной школе, где я преподаю. Подробности не позволяют забыть. А я хочу помнить, хочу и напоминать. Возможно, эти слова не все мои. Они скорее всего принадлежат тому художнику. Виктор так поступает: он напоминает. С Виктором я познакомилась в Риге, на берегу моря. Случайно. Я ездила уже в Ригу просто так, чтобы пройтись по улицам, по которым шла когда-то Соня. Поди узнай, что этому человеку в нахлобученной на голову соломенной шляпе,

лежащему вот так, на песке, на пляже перед мольбертом, известны все подробности о Соне. Меня словно что-то потянуло к нему. Почему это он, сидя вот тут, на берегу у моря, и глядя на волны, пишет на холсте колючую проволоку, узкие сторожевые вышки, скелеты? «Вы ошиблись адресом, барышня! — рассмеялся он. — Фотограф вот там, возле своего аппарата!» Слово за слово, мы разговорились. Он меня пригласил к себе в мастерскую. Мы пошли вдоль берега. Дома, среди четырех стен, сказал он мне, он не может писать такие вещи. Тишина и одиночество воскрешают только ужас. Только ужас — еще не искусство. А только радость — может быть искусством? Радость, по крайней мере, радует. Ужас пугает. «Нужно раскрыть, найти смысл. Мрак хорошо виден лишь тогда, когда где-то загорается огонек фонаря. Внутри, в мастерской, меня тянет к черной, темно-синей, коричневато-зеленой краскам. Морские волны успокаивают, проясняют. На берегу играют парни и девушки. Игра и радость, галдеж и молодость говорят мне: рисуй, показывай, предупреждай». Он спасся оттуда не только для того, чтобы стать простым свидетелем. Ему потребовались там силы, чтобы перенести все, что переносили другие, и понадобились ему еще силы, чтобы непрерывно держать одно око раскрытым и все видеть. Ему понадобились силы, чтобы верить, что он должен все это увидеть, потому что ему нужно будет потом это показать. Чтобы противостоять зверствам, нужны были человеческие силы, чтобы верить, что вынесешь их, нужна была сверхчеловеческая сила. Может быть, благодаря всем этим силам он и выжил. Виктор много говорил тогда. Мне уже начинало казаться, что он так много говорит потому, что я иду рядом. Мне вдруг пришло в голову, что я ему нравлюсь. Возможно, и я так много говорю, потому что речь идет о нем… Тогда я об этом не думала. Мне хотелось только спросить его: а мою сестру… Соню… не заметил ли он где-нибудь там своим этим раскрытым оком? Но я и это не спросила. Все пришло потом, в мастерской. Он стал показывать мне свои картины. Он расставил их на полу, прислонил их друг к другу. Меня он усадил на стульчике перед ними, как будто я была большим знатоком. Светлые колхозные пейзажи, портреты рыбаков. Виды новых районов. Мирные домашние вещи — натюрморты. Время от времени он вставлял между ними какую-нибудь композицию из Освенцима. Выходило как бы наоборот: не огонек фонаря, чтобы лучше увидеть мрак, а куски мрака — чтобы свет был еще светлее. Или, может быть, и то, и другое. Картину, о которой я расскажу, он назвал «Отец и мать». Гитлеровец стоит с автоматом возле широко открытой двери барака. За спиной эсэсовца — тени детей. Множество теней,

больших и малых. С одной стороны, на переднем плане перед каким-то заграждением протянутые в ожидании десятки рук — длинные, тощие руки: материнские руки. Где-то в глубине силуэты эсэсовцев, силуэты вагонов, полоски дыма. Возле двери барака немец, человек зрелого возраста, стоит ошеломленный, как бы испуганный немного, как будто даже призадумавшийся. Я разбиралась тогда в живописи еще меньше, чем сейчас. Так что я описываю эту картину как-то слишком упрощенно, слишком неумело, как профан. Виктор, разумеется, описывал бы ее иначе. По сути дела, мы потом уже не столько говорили о живописи, сколько о Соне. Я уже точно не помню, как все сплелось. Может быть, вдруг невольно я произнесла имя моей сестры, может быть, Виктор начал вдруг рассказывать о молодой женщине с тремя маленькими детьми, которые были с ним в гетто. Возможно, он даже сказал, что я похожа на ту женщину. Что-то сказала я, что-то сказал он. Виктор все думал, что он рассказывает историю картины. Но я уже знала, что я слушаю подробности гибели Сони. Я сидела на низком стульчике и молчала. Молчала, естественно, потому что все во мне онемело. И молчала, чтобы не умолкал Виктор. А он говорил. Когда их повели из гетто, у матерей отобрали всех детей. Малышей впихнули в барак на платформе. От той молодой женщины силой оторвали обеих девочек — два нежных тельца, высохших, истощенных, с ножками как палочки, и мальчика, которого мать несла на руках. Эсэсовцы погнали людей к вагонам. Дети кричали. Матери бросались к баракам. И в этой суматохе, вспоминает Виктор, немец, стоявший у дверей, подал знак Соне, что она может войти в барак и взять одного ребенка. Одного ребенка. Он хорошо разглядел своим открытым оком этого немца. Среди всех нечеловеческих ужасов, творившихся вокруг, невзирая на бушевавшую в Викторе ненависть, у него хватило сил увидеть этого немца таким, каким он его показал вот здесь, на холсте: отцом. Ему даже показалось тогда, что два эсэсовца позже сняли этого немца с поста и увели куда-то. Теперь он говорит, что ему показалось, тогда он был уверен. Что случилось там внутри с Соней? Об этом нетрудно догадаться. Одного ребенка. Но кого? Какого из них взять?.. Соню он больше не видел. Кто-то сказал, что ее вынесли оттуда на руках, другой говорил, что ее выволокли. Двери вагона, где находился Виктор, были уже захлопнуты. Кто-то высказал предположение, что это было лишь издевательством немца над матерью. Что ему просто хотелось вдвойне насладиться. Еще кто-то высказал мысль, что немца сняли с поста просто потому, что сменился караул. Всех этих «кто-то» уже нет в живых. Один он уцелел. Картину он назвал так, как видел и чувствовал это тогда, когда все

происходило. Почему он говорит теперь, что ему показалось? Мир еще полон живых эсэсовцев. Они находят друг друга, дружат, размножаются. Почему так трудно находят общий язык отцы? Когда Виктору ночью видятся кошмары, к нему обращаются все погибшие. Он встает утром, весь растревоженный, и стирает название картины. Постепенно, прислушиваясь к рассудку, он успокаивается и опять надписывает картину. Пока он еще не выставлял ее. Тогда, в тот самый момент, он был уверен. Теперь — нет. Кто же тот немец, который стоит здесь у дверей барака, а за спиной у него детские тени? Может быть, отец, опечаленный, словно окаменевший от бушевавшего вокруг него горя и вспомнивший свою деревушку где-то на Рейне или на Майне, своих белокурых деток — таких, как у Сони, на руках у своей немки. А может быть, это убийца Сони… Я сидела и слушала. Мы еще много раз потом говорили об этом. Виктор и сейчас живет в своей Риге на берегу моря. Я живу в Кишиневе. Мы видимся один раз в году. Летом я укладываю в чемодан несколько платьев, сажусь в поезд и сама себя обманываю, что якобы еду побродить в тех местах, где когда-то бродила Соня. Мы идем вдвоем с Виктором. Сидим на берегу моря. Он возле мольберта, я — возле него. Два года тому назад он был здесь, у меня. Я взяла его раза два с собой в класс на урок сольфеджио, усадила лицом к поющим ребятам, как он меня усаживал перед картинами в своей мастерской. Виктор — человек с пылким воображением. Я хотела просто немного прихвастнуть перед ним, он же воспринял это как упрек. В прошлом году, как только я вошла в его мастерскую, он сразу же поставил на полу свои новые работы, прислонив их друг к другу. Целая серия портретов. Портреты детей. Мастерская вдруг вся окрасилась, наполнилась шумом, как на берегу моря. Я сидела перед полотнами, как сижу в своем классе, когда дети передо мной поют на уроке сольфеджио. После летних месяцев я возвращаюсь домой с какой-то тоской в душе. Я стесняюсь назвать ее настоящим именем. Как будто еще маленькая. Стесняюсь себя и в какой-то мере старшей сестры. Ночь. Уже поздно. Кругом царит тишина. Я включила магнитофон как можно тише и слышу, как он будто бы говорит мне, что все-таки жизнь прекрасна. Люби — говорит! Жизнь полна песен… Через несколько дней снова первое сентября. Первый школьный день. Вот это, пожалуй, все, что я хотела рассказать о Соне…

Пер. Ф. Миренер.

ДВА СЮЖЕТА ДЛЯ РАССКАЗОВ

1

Должен признаться: оба эти сюжета давно вертятся в моей голове, но мне трудно было приняться за них. Такое, конечно, происходит не только со мной. Однако зачем читателю об этом знать? Но, с другой стороны, к чему от него скрывать? Почему ты можешь выложить перед ним, как на блюдечке, страдания и радости всех на свете, а твои собственные поиски, блуждания, помехи на твоем пути должны оставаться где-то вне, во всяком случае — в тени? Твое право, разумеется, не слишком вмешиваться в поступки твоего героя, но в свои собственные запутанные узлы, в свое топтание на одном месте разве ты волен не вмешиваться?

Я боялся осквернить прикосновением эти две трогательные житейские истории. Принаряжать — как красотами, так и трагизмом — преступление. Допридумывать, перепридумывать — кощунство. Но диалоги-то все-таки должны быть моими! Я ведь их ни на какой магнитофон не записывал, даже в записную книжку не занес. Как рассказать — ритм, интонация, тон, форма — тоже только мое дело. Есть в этих историях святое — волоска не тронуть. Может быть, лучше совсем не касаться их?

Но я девяностолетнему слепому старику — герою первой истории — дал слово. Самого этого старика уже давно нет. Живет его вдова. Моя история и про нее. Собственно, именно она, если подумать, героиня рассказа.

Год за годом я все откладывал, мучался: как ухватить двумя пальцами тонкую шелковую нить? Но у меня не так уж много лет впереди. Я не могу не сдержать слова. Хотя бы вышить на бумаге простыми суровыми нитками только сюжет. Пусть ограничусь неприкрашенным сюжетом — но не надо будет так терзаться, требовать от себя больше, чем могу, рвать себя на части.

Девяностолетний старик — мир праху его — это рижский профессор, литературовед и известный революционер Шац-Анин. Его вдова Фаня Самойловна — обаятельна и хороша собой и ныне, в старости, не менее, чем когда-то в молодости. Ее портрет я попытаюсь написать ниже. («Слепой старик». Я снова не нахожу себе места: словами «слепой старик» не исказил ли я, не дай бог, чего-нибудь, не огрубил ли?)

Шац-Анин сидел на стуле с маленьким транзистором на коленях, всматривался своими слепыми, полуоткрытыми глазами

в звуки скрипки, которые неслись из нутра ящика, — слушал в исполнении Ойстраха скрипичный концерт Бетховена. Сидел одетый в отутюженный элегантный костюм, с аккуратно вывязанным галстуком, даже уголок платочка красовался в верхнем кармане пиджака. Фаня Самойловна, выйдя из комнаты на балкон, показала мне книжку Шац-Анина, одну из его самых первых книжек, которую заметил в свое время Ленин. Несколько строчек об этой книге — Фаня Самойловна как будто даже помолодела — можно найти в произведениях Ленина.

Музыка в приемнике прервалась. Раздались аплодисменты. Шац-Анин выключил транзистор, и воцарилась глубокая, отсекавшая все звуки тишина. Мы с Фаней Самойловной неслышно вошли в эту тишину, словно боясь спугнуть шагами песню.

Шац-Анин нас услышал. Он пошарил рукой в воздухе — долго искать не пришлось — нашел пять моих пальцев, вобрал их в свою руку, сжимал их, согревал, потом заговорил:

— Вчера вечером допоздна Фанечка читала мне ваши рассказы. Любопытно: вы идете и от Шолом-Алейхема и от Переца. Вы их удачно совместили. Хорошие учителя. И немножко от Бергельсона, немножко от Опатошу. Тоже разные, а совмещение удачное. Но все-таки в основном — от Шолом-Алейхема. Шолом-Алейхем — это не литературная школа. Он не мог стать определенной литературной школой, потому что он — «все». Он — народ. Мысль народа, чувство народа, юмор народа. Народ в нем покатывается со смеху и вопиет от страданий. У Шолом-Алейхема характер народа такой, каким он сложился тысячи лет назад, когда еврей только начал говорить на идиш, и каким он еще будет добрый отрезок времени, даже тогда, когда еврей перестанет говорить на идиш.

Он усмехнулся тонкой деликатной улыбкой и своим глуховатым голосом, рождавшимся где-то в глубине и с трудом выбивавшимся наружу, продолжал:

— Много лет назад, в восьмом или девятом году — память подчас отказывается служить, как служила, — мы с Шолом-Алейхемом встретились в Швеции. Да, да. Встреча была для меня большим праздником. Сегодня у меня тоже праздник: я встретился с внуком Шолом-Алейхема. Невероятно — внук! До таких лет дожил, не сглазить бы, — внук!..

Минутку он помолчал. Тишина уже была не такой густой, как прежде, после игры Ойстраха. Прошуршало платье Фани Самойловны. Я громко перевел дыхание. Шац-Анин выпустил из руки мою пятерню, стал рукой нашаривать мое плечо, нашел рукав, усадил меня возле себя на подлокотник кресла, и рука его

осталась на мне, округлившись вокруг моей шеи и подбородка.

Он повернулся ко мне лицом:

— У меня к вам просьба. Но я хочу, чтобы вы мне не отказали. Даже хочу, чтобы вы обещали исполнить ее. Вы должны написать — пусть это будет совсем маленькая вещичка — о житомирской уроженке Фанечке, которая пятьдесят лет своей жизни отдала слепому человеку. Пятьдесят лет она была его глазами, его руками и ногами. Она была ему женой, матерью, сестрой, нянькой, сиделкой, доктором, поводырем, секретаршей, чтицей — она была ему всем на свете. Из-за его незрячих глаз она была пятьдесят лет и собой и им. Нет, только им. Обещайте мне, что вы этот жизненный подвиг запечатлеете хоть на нескольких страничках. Я хочу, чтобы вы дали мне слово.

Он столько раз повторил «была», ресницы его слепых глаз при этом так часто моргали, что я понял: его мучает тяжелое предчувствие, слова его — больше завещание, чем просьба.

Я поднялся, взял в обе ладони сухое, с обтянутыми щеками лицо его, поцеловал в бело-серую голову и сказал:

— Даю вам слово, отец!

2

Я всегда полагал, что бóльшей идиллии между мужем и женой, чем в «Семейном счастье» у Переца не бывает. У нас дома отца с матерью тоже связывали любовь, преданность, гармония. Но все-таки иногда в папе «разыгрывался сочинитель», как мама говорила. («Сочинитель» — это потому, что нашу родню с папиной стороны называли «детьми сочинителей». Почему считалось, когда папа выходил из себя, что «сочинитель» в нем разыгрался, известно, наверно, одной маме.)

Однако такую супружескую идиллию, какую я наблюдал между Шац-Анинами, я до тех пор даже представить себе не мог. Я вместе с ними провел почти целый месяц в Дубултах, в писательском доме. Наблюдал, как она надевала ему шляпу: двумя пальцами убирала несколько волосков с его лба и летнюю панаму, которую он любил, сажала ему на голову щеголевато, слегка набекрень, потом расправляла поля, выравнивала ямочку… На прогулках всегда срывала для него полевой цветок, давала ему в руку. Он подносил маленький цветочек к ноздрям, вбирал в себя аромат, который ему наверняка казался в десять раз крепче и нежнее, чем другим людям, — слепое лицо его при этом выглядело сосредоточенным, отрешенным, устремленным в другие миры. Они часто сидели на скамейке под деревом

напротив моря. Он — опираясь на подушечку, которую она приносила из комнаты; она — читая ему вслух книжку — с живым интересом, с нажимами и с паузами там, где им надлежало быть.

Я смотрел и думал: беда придумана для людей, она может настигнуть каждого; но и в несчастье человек может испытать счастье.

Мне казалось, что никаким другим именем, кроме «счастье мое», он ее не называл — и она его тоже звала не иначе, чем «солнце мое», «радость моя». Это не звучало слащаво, поскольку эти слова питались истинным чувством. И я об этом не где-нибудь у кого-нибудь прочитал, но слышал собственными ушами и видел собственными глазами. За все четыре недели я не заметил, чтоб она хоть раз поморщилась, не видел ни одной гримаски неудовольствия на ее лице; мол, ей трудно, ей это все уже по горло, это ее подвиг. Нет, совсем просто: это ее жизнь, и она благословляет эту жизнь. Я никогда не видел в ее чертах ни малейшего признака нервозности, ни малейшего облачка усталости. Мелькнула однажды мысль: интеллигенты, подлинно воспитанные люди, может быть, они просто умеют вести себя, держаться с достоинством при посторонних. И сразу отбросил эту мысль: чтоб за четыре недели не выдать себя ни полусловом, ни случайным жестом? Неужели они такие опытные актеры, а я такой невнимательный зритель? И я выговаривал себе: грешишь. Подобные предположения — признак недоброты. Видишь перед собой красоту и хочешь найти в ней изъян…

Фаня Самойловна рассказывала во всех подробностях о встречах мужа с писателями, учеными, с революционерами. О его сложных лекциях по философии для специальной аудитории и о его выступлениях перед широкой публикой, для которой он находил самые простые слова, самое прозрачное изложение мысли. Она говорила о его редкостном благородстве. Рассказывала о книгах его, которые он издал и которые написал. Рассказывала о конгрессах и конференциях, подпольных и легальных, куда они ездили вместе. Говорила о двух дочерях, которых они вместе вырастили. Все о нем, все о них. Многие ее рассказы повторялись дважды, трижды. Ее не волновало, что это могло свидетельствовать о старости, — память изменяет, недержание речи… Зато она снова и снова смакует то, что для нее так дорого и незабываемо.

Дважды, например, Фаня Самойловна при мне вспоминала, как они ездили в Париж на еврейский антифашистский культурный конгресс, ночью миновали гитлеровскую Германию. Рано утром, когда в Германии хватились, кого пропустили ночью, поднялся шум во всех газетах. Назад ехать через Германию им

было запрещено. И о том, как они на два часа опоздали на конгресс. Заседание было в разгаре, но когда она вывела мужа на сцену, в президиум, все в зале поднялись. И как же он потом выступил!.. Ах, как он тогда говорил!..

Три раза, и все три раза с одинаковым оживлением она рассказывала, как жандармы пришли его арестовать, и она ни за что не давала взять его одного, без нее, как пришлось потом бежать к прокурору, требовать, чтобы ее с ним не разлучали. И как именно она этого добилась: ее арестовали, и она отсидела несколько месяцев в одной камере с ним… Ах, солнце мое, свет мой!..

О чем бы Фаня Самойловна ни вспоминала, самый рассказ возвращал ей добрые несколько лет. Рассказывая, она оживлялась, даже становилась стройнее. Ему тогда было за девяносто. Ей — на пятнадцать лет меньше; тоже, конечно, старая женщина. Но слово «старая» никак с ней не вязалось, искажало ее образ. Ни одна черточка не выдавала ее семидесяти пяти лет. Вся ее красота и женственность были при ней до сих пор. Менялись краски: волосы из черных стали серыми, из серых — белыми; но изменившиеся краски, как это случается у некоторых женщин, делали ее еще благороднее. На полных обнаженных руках под тонким шарфом, наброшенным на плечи, еще сохранились притягательные ямочки. Волосы, шея, плечи, ноги, вся ее стать были воплощенной женственностью. Я смотрел на нее и думал: в чем секрет этого? Мне было известно, что он ослеп через год после их свадьбы. Я пытался представить ее такой, какой она осталась в его памяти. И отвечал себе: секрет заключается единственно в ней самой. В ее неординарности. В ее необыкновенной любви. В ее удивительной неутомимости, позволившей ей в течение пятидесяти лет быть любимому человеку и глазами его, и руками его, и ногами. В ее поразительном даре навсегда остаться для него такой, какой она была, когда его глаза еще видели…

Целый месяц я наблюдал, как она выдвигает в столовой стул, усаживает мужа, засовывает под его воротник салфетку, как это проделывают с малым ребенком. Я видел, как она стирает платочком пот с его лба. Я видел, как она неизменно водит его под руку, прижав к себе, защищая собой; и шаги их, казалось мне, отзываются одним эхом, будто идет один человек.

Мне приходило на ум: не слишком ли она его нянчит? Если бы она оставляла его на время одного, может быть, он бы еще держался на ногах? Все, что слишком, — то лишнее. И сразу отбрасывал эту мысль: для чего же оставлять его одного? И снова

себя бранил: грешишь. Все, что слишком, — всегда лишнее, но не для любви, не для доброты…

3

Второй сюжет подарила мне еврейская поэтесса из Киева Рива Балясная.

Рива Балясная была тонким лирическим поэтом. В жизни — экзальтированная, девически восторженная, открытая, подчас взбалмошная, подчас обескураживающая. В Кишиневе она тогда гостила у приятельницы. Но именно в ту неделю у подруги случилось страшное несчастье, сын ее, паренек шестнадцати или семнадцати лет, утонул в плавательном бассейне. Что в том доме тогда творилось, нетрудно представить. И я пригласил Риву на несколько дней к себе.

Вначале она больше молчала, чем говорила. По ночам просыпалась, всхлипывая; эти всхлипы продолжались недолго, несколько минут, она засыпала, и снова слышалось ее неровное дыхание. Днем она все равно больше была там, у подруги. Но последний перед отъездом день весь отдала мне. Она уже пришла в себя, стала живее. Мы вместе гуляли по аллеям проспекта, где тогда находилась моя квартира. Рива много говорила, читала наизусть свои новые стихи, я, разумеется, тоже не молчал. Внезапно она остановилась, повернулась ко мне и с упреком спросила:

— Слушай, друг. Почему ты мне не говорил, что у тебя есть в Киеве родственники?

— У меня нет в Киеве родственников.

— Нет, есть. Ты просто об этом не знаешь. Целая семья с такой же фамилией, как у тебя.

— Такая же фамилия еще не означает, что это родственники.

— Не хочешь, не надо. Твое дело. Но существенно не это, важнее другое. У меня есть о твоих родственниках, об этой вот семье такой сюжет, до которого ты бы никогда не додумался. От этого сюжета ты тоже вправе отказаться. Вольному воля… Но выслушать его ты должен, чего бы мне это ни стоило…

Короче говоря, мы с Ривой Балясной уселись на скамейку в аллее; скамейка-дом: подлокотники и спинка переплетены виноградными лозами с густыми листьями… И Рива Балясная взялась за непростой переплет своей истории. Я передаю эту историю отчасти Ривиными словами, отчасти, конечно, своими собственными:

— Девушку мы пока назовем Соней. Красивая, глаз не

оторвешь. Медицинская сестра. Война, Киев оккупирован, Соня эвакуировалась с родителями в Ташкент, работает в военном госпитале. Госпиталь не очень большой, но работа — трудней не придумаешь. Тяжелораненые, многочасовые операции, фронтовики без ног, без рук, без глаз, их оперируют, лечат, а потом еще сколько усилий, чтобы они снова почувствовали себя людьми, вернулись к жизни. Однажды привезли парня, тяжело раненного в оба глаза. Назовем пока этого парня Виктором. Ему сделали две операции, два раза снимали бандажи — и все попусту. Виктор навсегда остался слепым. После повторной операции шесть месяцев Виктора держали в госпитале. Но в одно прекрасное утро именно на Соню пал жребий: его, такого вот, навсегда слепого, отвезти домой, в деревню, где он жил до войны. Поезда ходили в то время еще медленнее, чем сейчас. Соня с Виктором провели четыре дня в дороге. В первый день Виктор был в сносном расположении духа, иногда даже словечко произнесет. На второй день замолчал. На третий — и молчит, и еду не принимает. На четвертый день, перед самым прибытием на место, он сказал Соне:

— Все равно я жить не буду!..

— Что это значит? Как это понимать? — Соню аж затрясло.

— Как говорю, так и надо понимать. Не хочу оставаться вечной обузой для родителей, изо дня в день торчать бельмом в глазу. А кроме них — кому еще я нужен?

— Мне. Мне ты нужен!.. — Соня припала к нему головой и разрыдалась.

Родители Сони в Ташкенте чуть с ума не сошли. Летели телеграммы, звонили телефоны — урезонивали и по-хорошему и по-плохому. Когда отец Сони через десять дней приехал в ту деревню, чтобы убедиться, что да как, Соня и Виктор жили уже вместе в отдельном домике, уже расписались в сельсовете, были мужем и женой. Родители Сони решили, поразмыслив, что все это — романтические бредни их дочери, каприз ее восемнадцати лет — пусть даже безумный каприз, — но это пройдет. Война тем временем продолжалась, свершались крупные события. Киев был освобожден. Немного погодя старшие вернулись из Ташкента домой. С Соней поначалу даже не переписывались; потом начали понемногу отвечать на ее письма, сами засыпать ее письмами; в конце концов послали Соне и Виктору вызов в Киев — чтобы хоть жить рядом с ними. У Сони и Виктора в ту пору уже и ребенок был.

Что я тебе скажу, дружище: «любовь» — не то слово. Для того, что происходит между этой парой, пока нет названия. Она для него бог. Он для нее — все на свете. Она в лепешку расшиблась,

бегала, просила, требовала, чтобы его, как он есть, со слепыми глазами, приняли в Киевский университет. Сама она успевала и работать в госпитале, и ходить с ним на лекции, переписывать конспекты, читать ему их дома… Сидела и с ним «учила уроки», как с ребенком — учеником первого класса. Не знаю, писал ли он и прежде стихи. Если и писал, то это наверняка было несерьезно — юношеские пробы. И вдруг ни с того ни с сего в один прекрасный день — но ты, конечно, сам понимаешь, что не совсем «вдруг» — он начал писать. Вначале — в голове, в одиночестве, для себя. Потом, стоило ей только выслушать несколько первых его стихотворений, они уже писали вместе. Это означает, что он сидит или лежит на кушетке и диктует, а она записывает. Если он велит ей строчку вычеркнуть, она вычеркивает; изменить слово — она изменяет; если он заставляет ее стихотворение порвать, она обещает порвать — и прячет. Короче говоря, он теперь — поэт. Мой киевский знакомый. Успел издать несколько книжек стихов. Часто выступает на вечерах поэзии. Она его выводит на сцену, и он наизусть читает. Сначала совсем тихо, еле слышно, потом все громче, сильнее, голос накаляется, звенит. Очень трогательные стихи, вовсе не плохие, его стало интересно слушать. Поэзия сделалась смыслом его жизни. Поэзия и Соня. Поэзия благодаря Соне. Здесь можно с полным основанием сказать ей спасибо. Спасибо ей в самом большом смысле слова и спасибо в самом простом смысле…

История, которую рассказала мне Рива Балясная, так взволновала ее саму, что, замолчав, она не могла унять возбуждения, щеки у нее пылали. Я подумал, что этим рассказом она подняла свое настроение, отвлеклась от переживаний последнего времени. Мы поднялись со скамейки, и Рива бросила:

— Настоящих имен Сони и Виктора я тебе не скажу. Если сподобишься снова породниться с ними, сам узнаешь…

— Разве в этом дело? — почему-то виновато ответил я.

4

Как-то я опять поехал к морю, в Дом писателей.

И там, на вечере, где поэты читали свои стихи, я увидел поднимающегося на эстраду поэта, имя которого только что объявили, вместе с ним поднималась женщина. Она не вела его под руку, не поддерживала. Просто шла рядом с ним, и он чувствовал ее шаги рядом. По нескольким ступенькам, ведущим на сцену, он взошел уверенно, легко, не нашаривая их ногами; казалось, знал, куда идти.

Женщина оставила его на сцене, и поэт начал читать. Слепые глаза открыты. Никто в зале не заподозрил бы что на сцене стоит незрячий. Поэт сам рассказал об этом в стихах.

Он читал и военные стихи, и стихи о любви. Он читал сперва тихо, еле слышно; с каждым стихотворением голос звучал сильнее и увереннее, так что стены в зале звенели. Все было так, как Рива изобразила мне это чтение. И стихи сами такие же — и тихие, и звонкие. Патетически-звонкие не менее трогали, чем лирически-приглушенные. Стихи нельзя пересказать. Попробую только смысл этих пронзительных стихов изложить в нескольких словах: я глаза мои отдал в бою против зверства бесчеловечности, и я победил — я вижу теперь воочью, как велик и возвышен ты, человек…

На том вечере я познакомился с Соней и Виктором. Оказалось, и они обо мне знали — Рива им тоже внушала, что у них есть родственники в Кишиневе.

Следующие две недели в Доме писателей мы провели вместе. Я присматривался к Соне и Виктору с таким же любопытством и восхищением, как в те, другие две недели, к Шац-Анину и его жене. Рижская пара и киевская пара стали жить во мне, словно одно поразительное явление. Нет нужды повторять здесь о чете из Киева все, что я уже рассказывал о рижских супругах. Хотя люди были совсем разные.

Прижавшись к жене, защищенный ею, ступая с нею в ногу — даже у шагов их был общий отзвук, — Шац-Анин рядом с Фаней Самойловной не выглядел слепым.

Идя рядом с Соней, свободно, не держась за нее, только чувствуя ее присутствие, Виктор казался зрячим.

Я смотрел, как они купаются в море. Всегда врозь. Когда он плавал, она в воду не входила. Сидела у берега, глаз с него не спуская, лишь иногда крикнет ему что-то, позовет — руку ему протягивала, только когда он выходил из воды. Похоже, она не хочет, размышлял я, чтобы он даже перед лицом всемогущего моря чувствовал себя немощным.

Старики — рижская пара — представлялись мне монументальными, как монументален фасад старого храма, пережившего поколения, со скульптурными фигурами, с крылатыми ангелочками в нишах, со львами у ступеней, со священной тишиной в затаившихся тенях.

Младших — киевскую пару — я бы мог уподобить новому зданию из стекла и алюминия. С простотой и четкостью линий, с прозрачностью, свободно пропускающей во все углы солнце и воздух.

Настоящих имен Сони и Виктора я не называю читателям.

Так же, как Рива Балясная мне их не называла. (Но я знаю, что у поэта в Киеве известное имя…)

Оба сюжета витали надо мной, как кружатся ласточки, что гнездятся вместе, одна подле другой, под одной стрехой.

Я ставлю пока двум замечательным женщинам — Фане Самойловне и Соне — только мраморную доску. На доске надпись: здесь, на этом месте, будет воздвигнут памятник.

Пер. Е. Аксельрод.

ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ

Сидит напротив меня девушка и читает мне стихи. Стихи о любви. Звезды висят низко, прямо над головой; он где-то высоко в небесах; она бежит по полю с трепещущим в руке платком; она несет ему навстречу самое чистое — первый поцелуй.

Признаюсь: не все, что она читает, я слышу. Каждый раз она поднимает на меня глаза от своей тетрадки, и каждый раз я теряю нить. Чувствую, что самые прекрасные строки побледнели бы перед этими двумя ямочками, появляющимися, когда она читает, на ее щеках.

Смотрю на ее загорелые руки, на ее летнюю кофточку, на ее черные с блеском волосы, разметавшиеся по плечам, и думаю, что об этих стихах, какими бы беспомощными и школьными они ни были, ни одного худого слова я не могу произнести.

— Скажите, прошу вас, — спросил я, когда она на миг умолкала, — сколько вам лет?

— Ну двадцать один! — скороговоркой ответила она, как бы обиженно, надув губы.

— Понимаете… — начинаю я как-то мямлить. — Стихи… вообще… искусство… должно быть правдивое… земное… Попробовали бы вы, скажем, просто показывать в стихотворении себя… Просто себя… Понимаете?..

— Нет. Не понимаю!

— Неужели?.. Неужто таким и был у вас первый поцелуй?..

Она слегка краснеет, опускает глаза, теребит листки тетради и молчит.

Я становлюсь моложе и в то же время чувствую, что я уж старше. Мне мерещится свадьба в местечке. Музыканты играют, народ танцует во дворе, мы стоим и смотрим. Ее приглашают танцевать… Она дает мне подержать свое потертое пальтишко. И тихонечко, чтобы никто, не дай бог, не заметил, я медленно нагибаю голову и отдаю свой первый поцелуй… потертому пальтишку.

Девушка снова подымает глаза, вскидывает их куда-то к потолку, и ее наморщившийся лоб прямо прелестен.

— Я понимаю… — говорит она. — Я об этом просто никогда не думала… Но это уже другое… Это уже проза…

— Проза не годится? — улыбаюсь я.

— Что вы, — смеется она. — Напротив… Но тот случай произошел как-то, знаете, очень буднично… Я о нем вообще хотела забыть. Но — произошел! — разводит она руками и, как бы спохватываясь, смеется, показывая глазами на исписанную

тетрадку. — Нет. Первый поцелуй все-таки этот!

— Проза, — смеюсь и я, — любит прежде всего ясность…

Она вздыхает, как ребенок, которому задали трудную работу:

— Ну, хорошо… Это случилось совсем давно…

— …и точность… — говорю я. — Что, например, в двадцать один год значит «совсем давно»?

— Ну, года три назад… Я тогда только что… сразу после медучилища, приехала в деревню… Маленькую деревушку, в лощине, всю в цветах акации. Так любила свой белый халат, даже снимать его было неохота… Хотя в первые дни редко-редко наведывались больные в медпункт. Перевязываю кому-нибудь палец, ставлю старушке банки, пробую суп в яслях, хожу по дворам смотреть за чистотой и часами просиживаю у застекленного шкафчика, опираясь локтями о белый столик, и тоскую странной тоской — по настоящему больному…

Она рассказывает точно так же, как раньше читала: тот же тон, та же мелодия, будто говорит в рифму. Она часто останавливается, переводит дыхание, подыскивает, видимо, слова, рассказ ее получается и чуть принаряженный, и чуть растрепанный.

Но я сижу и слушаю. Руки мои лежат на столе. На папиросе уже целый столбик пепла, но его не стряхиваю. Мне кажется, что малейшее мое движение смутит ее, она вдруг поднимется и уйдет. А я хочу, чтоб она сидела. Хочу смотреть на ее ресницы, хочу слышать ее голос.

Вдруг через несколько дней, на рассвете, стучат в ее окно.

— Сестра!.. Быстрей!.. Срочный вызов!.. Сестра!

Она ждала настоящего больного, но когда очутилась перед ним, колени ее задрожали, руки похолодели, лицо ее, она чувствовала, стало бледней, чем у женщины, лежавшей в постели. Что делать, с чего начать?.. Словно никогда не занималась в медучилище. Она обложила больную компрессами, вспрыснула камфору. Но все валилось из рук: вдруг она делает не то, зачем рисковать? Надо немедленно отвезти женщину в больницу.

Как раз была жатва. Все машины на полях. В колхозной конторе ни у кого нет времени даже взглянуть на тебя. Председатель что-то кричит в телефон, велит толком объяснить, что ей надо, и вдруг, не дослушав, оставляет ее. Она выбегает в коридор. Кто-то спросил, чего она тут путается под ногами, она хотела что-то ответить и… расплакалась.

Только теперь ее заметили. Председатель погладил ее по голове, увел к себе в кабинет и сказал:

— Вот тебе на!.. Ходит по селу девушка в белом халате… Да у нас все доярки в белых халатах… Поди угадай… Замечательно…

Замечательные слезы!.. Ну беги, приготовь больную… Сейчас приеду на своей машине… Мне все равно сегодня в район надо!

Через несколько минут они выехали из села. Председатель сидел за рулем, а она на заднем сиденье примостилась рядом с больной, поддерживая ее.

По дороге, не останавливаясь, он то и дело приоткрывал дверцу, перекликался с комбайнерами, бригадирами, с людьми, сгребавшими зерно на току.

Они въехали в лесок, и вдруг на полпути, как на грех, хлопнуло колесо.

Председатель выскочил из машины и начал чинить его. Приподнял домкратом, залез под нее, крутил, мастерил, потом закричал:

— Эй, сестра… Выйди-ка, помоги!

Она сняла халат и вот так, в тонком летнем платье, стала помогать ему. Руки его были измазаны. Он чуть ли не обхватил ее локтями. Она оттолкнула его и бросилась обратно в машину, к больной.

С минутку сидела сердитая, опешившая. Потом начала гладить руки больной. Председатель все звал: «Сестра, куда ты удрала? Иди сюда, помоги!» Его голос слился с натужным стоном женщины. И казалось ей, что зовет ее нечто с рогами и копытами; дрожь отвращения пробежала по ее телу.

Но больная то и дело открывала и закрывала глаза. Ее бледные губы шептали:

— Иди, доченька… Умираю… Иди.

И она пошла…

* * *

Девушка, что сидела напротив, давно уже оставила меня одного в доме.

Лежит на столе ученическая тетрадка со стихами. Я сижу и листаю ее. Я еще, кажется, слышу мелодию ее импровизированного рассказа.

Собственно, это один и тот же первый поцелуй. Нет разницы, бежит ли она по полю с трепещущим в руке платком и несет свой первый поцелуй навстречу первому человеку, ставшему хозяином небес, или дарит его первому своему больному, губы которого шепчут: «умираю».

Председателя колхоза я понимаю. Я даже не злюсь на него.

Признаюсь: я сам — как тогда, склонившись к пальтишку на руке, — тоже целовал ее.

Не ямочки на щеках и не загорелые руки, а сердце ее, я даже сказал бы, ее поэтическое сердце.

Пер. М. Хазин.

АНИКУЦА

Я поднялся наверх, на поля, по узкой тропке, среди редких разбросанных виноградников, прорезанных глубоким, каменисто-заросшим оврагом.

Когда я на миг остановился и оглянулся, увидел как на ладони село, зеленое, раздольное; за селом — Днестр, за Днестром, на взгорье — украинский городок.

Лодка, расцвеченная белыми косынками, светлыми пестрыми кофтами, медленно покачиваясь, пересекала реку.

Я взбирался все выше и выше и пробовал представить себе Аникуцу прежде, чем увижу ее. Такое громадное село, столько девушек, женщин, а я карабкаюсь куда-то в небо. Парторг колхоза мне почти ничего не рассказал о ней: «Подымитесь, посмотрите». Что может быть такого великого в работе кухарки? Он молод, этот парторг. Я вообразил жгуче-смуглую улыбку Аникуцы, обнаженные загорелые руки или, может, ослепительно-золотистые волосы и мягкие голубые глаза.

Но, открыв дверь, я увидел перед собой низкорослую, веснушчатую, далеко не красивую девушку. Подол ее фартука был подоткнут, словно она собиралась месить глину; в одной руке она держала запотевшую крышку, в другой — большую деревянную ложку.

Несколько мгновений она не сводила с меня своих узких рыжеватых глаз и вдруг обрушилась:

— Закройте дверь поскорей, пожалуйста! Мух напустите полный дом! Заходите, не мешкайте!

Тем не менее нахлобучка мне понравилась. Я сел на табуретку, вынул блокнот.

Сквозь оконце для выдачи еды виднелась другая комната со стопками газет на столиках, с плакатами и лозунгами на стенах, а за ней, через большое окно, — длинный стол под деревьями, вдоль которого стояли простые длинные скамьи. Чуть дальше сверкали на солнце большие лемеха плугов. Стояли прислоненные к стене мотоциклы, лежали железные колеса. Где-то в отдалении гудели тракторы.

Аникуца сказала:

— Простите, я буду делать и рассказывать. Время не ждет. Люди вот-вот придут обедать.

На кухне пахло борщом, жареным луком, пригоревшим молоком. Аникуца накрошила картошку, сбегала за водой, достала тарелки, нарезала хлеб, занималась делом и тем временем рассказывала. Как обычно, начала с биографии,

короткой биографии. Отец не вернулся с войны. Мать в колхозе с первого дня. Сама она уже восемь лет куховарит у механизаторов. Зимой? Зимой она становится дояркой. Работа на ферме у нее идет неплохо. Несколько раз занимала первое место. Но весной приходят трактористы и требуют ее назад. Не хотят другой. Почему? Не знает! Не хотят, и все.

— А вот недавно меня в партию приняли! — сказала она горделиво, но тут же слегка покраснела, словно поймала себя на том, что хвастается, а лицо ее выражало: мол, если не скажу — не будут знать, а я хочу, чтобы знали.

Образ уже почти вырисовывался. Но в блокнот я пока ничего не занес. Недоставало мелочей — тех мелочей, благодаря которым незначительное вдруг становится важным.

Аникуца дала понять, что разговор окончен:

— Вы меня извините. Вот уже подвода едет. У меня сегодня двое на силосе. Далеко. Надо послать им обед. Все равно народ уже собирается. Да и рассказывать больше нечего! — смущенно улыбнулась она.

Аникуца вынула из ящика плетеную корзину. В синюю кастрюлю налила борща, поставила на нее миску с жареной картошкой, а миску накрыла тарелкой. Наполнила бутылку молоком. Осторожно поставила все это в корзину, положила завернутый в газету нарезанный хлеб и принялась мыть стакан. Она вымыла стакан, подержала его вверх дном, чтобы вода стекла, затем начала вытирать полотенцем, то и дело поглядывая на свет, чисто ли вытерт.

И примечательно: этот простой стакан все довершил. Погоди, где я видел такое? Когда я прихожу к своей старой матери и меня угощают чаем, младшая сестренка точно так же моет стакан, так же старательно вытирает его полотенцем, с такой же любовью проверяет на свет его чистоту.

На дворе, у подводы, послышался голос Аникуцы:

— Ну, что там такое? Поезжай! Обед стынет. Давай.

Когда она вернулась назад и я увидел ее на пороге, передо мной стояла удивительно красивая девушка. Веснушки на ее шее были необычайно милы, а в узких рыжеватых глазах светились десятки солнц.

У оконца стояли черномазые трактористы, в засаленных спецовках. Я видел, как Аникуца подает им полные тарелки, ломти хлеба, ложки, вилки. И я понял, почему они требуют ее назад. Не хотят другой — и все.

Пер. М. Хазин.

ТРУДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Каждое воскресенье, хоть гром, хоть град, целый год ходит она к нему, вся в черном, с заплаканными глазами.

В будни день за днем семь часов на работе, да и дом еще, который все-таки надо как-то поддерживать — и в магазин сбегать, и тарелку супа сварить, и уборка, постирушка. Так в повседневных хлопотах, работе день пробегает, утекает сквозь пальцы — и успевает она не больше, чем прежде, когда он был рядом, а может, и меньше, и усталость к вечеру наваливается.

Свободный день — воскресенье — приносит на своих крыльях все одиночество ее, саднящую боль, всю безотрадную тоску.

Постель ее остается неприбранной, шторы на окне неподнятыми. Она торопливо натягивает на себя черное вдовье платье, которое носит теперь постоянно; накидывает на голову черный платок, машинально бросает в коридоре быстрый взгляд в зеркало и отправляется к нему.

Она идет пешком. Пусть дорога — печальная дорога — длится как можно дольше, чтобы горе заполнило ее всю до краев, ни лазейки не оставило. Глаза наливаются слезами. В темно-синих кругах под ресницами сгустился весь мрак ее сломанной жизни. Она ступает, с несколькими цветами в руке, все тяжелее и медленнее с каждым шагом. По обе стороны дороги ее сопровождают восемнадцать лет, которые они прожили с Симоном под одной крышей, под одним одеялом, слившиеся друг с другом, вросшие друг в друга; в последние годы люди говорили, что они даже похожи стали, как будто не два чужих человека случайно встретились, увиделись и объединили свои судьбы, а так, как если бы одна мать в одно время родила обоих.

Когда Симон был жив, она и не представляла себе, что эта «мать», которая зовется «любовью», может стать тебе ближе и роднее, чем твоя настоящая мать. Теперь, когда Симона нет, она чувствует, что это так. И теперь, когда Лия не может поделиться с ним этим чувством, оно ее не радует.

Детей у них не было. Возможно, именно поэтому их любовь всегда оставалась молодой, принадлежала им одним, не была даже частично отдана ребенку — плоду этой любви. И последние годы их взаимная привязанность не утратила ни трепетной чистоты, ни страстности, ни новизны — ничуть не изменилась.

Правда, они иногда ссорились по пустякам, как это случается и у самых счастливых пар, ходили надувшись, день-два не разговаривали друг с другом. Но их любовь от этого ничуть не страдала. Наоборот. Становилась свежее. После размолвки будто

снова росла, накалялась. Как бывает нередко. Как бывает у счастливейших пар.

Самой вершины их нежность достигла в последние месяцы его жизни, когда Лия уже не сомневалась в том, что он обречен, да и Симон, хоть это от него тщательно скрывали, ничуть не обольщался. От рентгенотерапии у него выпали волосы на голове, борода перестала расти, по вечерам появлялся сильный жар, он лежал в постели с неузнаваемым пепельным лицом. Однажды он попросил зеркальце, она попыталась его отвлечь, и он бросил ей: «Представляю, как я теперь выгляжу в твоих глазах!..» Она припала головой к его ссохшимся щекам и не смогла сдержать рыдания: «Ох, дорогой! Ты сейчас в моих глазах красивее, желаннее, чем когда-либо!» И не обманывала его. Такой, наполовину уничтоженный раком, который пожирал его тело, истощенный, непохожий на себя, он оставался для нее по-прежнему самым любимым и самым красивым. Он брал ее руку, клал под рубашку себе на грудь, от этого простого жеста ему становилось немного легче, лицо просветлялось, она же это тихое касание его тела даже за день до его смерти ощущала с такой же полнотой, как когда-то, в их первые недели, как потом, всегда, все восемнадцать лет. Чем она могла ему помочь? В последние месяцы его мучений она его без конца целовала. С нарастающей нежностью целовала лицо, руки, оголившуюся голову. Может быть, этим на несколько дней она продлила его жизнь, облегчила, во всяком случае, невыносимые боли. Он скончался на ее руках, в ее объятиях. Она зашлась в крике, припала губами к его губам. Не целовала его — в последний раз целовалась с ним. Прощалась с ним навсегда.

И вот стоит она, как обычно по воскресеньям, заплаканная, у его могилы. Деревянная скамейка внутри могильной ограды окрашена темно-зеленой краской, той же, что и переплетения железных узоров ограды. Цветы в каменной вазе у надгробья не завяли за неделю. Лицо Симона, выбитое на черном граните памятника, неотрывно смотрит на нее. Ей кажется, что грустные глаза Симона внезапно веселеют, улыбаются ей: «Ой, Лия! Неделя — точно год. Я так соскучился по тебе!» Она вытирает платочком слезы, садится возле него на скамейку, молча смотрит на него. Потом поднимается, достает из-за памятника высокую жестяную банку с проволочной ручкой сверху, как у ведра, приносит полную банку воды и начинает мыть памятник, вытирать, оглаживать его. Хоть памятник совсем новый, поставлен не больше чем месяц назад и за несколько дней, которые Лия здесь не была, ни одной пылинки на него не упало. Она моет, принаряжает, ухаживает за памятником, а в мыслях:

«Симон мой, Симон любимый. Вот мы и снова рядом. Мы всегда будем рядом».

Из глаз льются слезы, катятся по щекам, по шее, по платью, она сидит на скамейке ссутулившаяся, голова втянута в плечи. Будь ее воля, Лия никогда бы с этой скамейки не поднималась, сидела бы так без конца.

По выходным на кладбище шумно. Лия здесь не одна. Где-то вдруг раздается истошное рыдание, скорбные стенания мешаются с тихим плачем. Где-то слышен молитвенный напев, если можно это назвать «напевом». На возвышении, у водопроводного крана рядом с центральной аллеей кладбища, стоят с разнообразными посудинами в руках в длинной очереди потерявшие близких. Между десятками по большей части белых памятников плывут, как темные пятна туч, черные платки женщин, черные мужские шапки и шляпы, почерневшие от горя лица. Черно-белое. Игра тьмы и света, жизни и смерти.

Лия сидит на скамейке уже долго. Мысли, воспоминания об их былой жизни сызнова и сызнова прокручиваются перед ней. Она сидит, отгороженная своим одиночеством, как черным покрывалом колесницы. Будто маленький зверек с глазками-буравчиками, высунувший голову из травы, к ней подкрадывается мысль, что по сути слова «вот мы и снова рядом» — не более чем слова. Она вздрагивает, и зверек исчезает, снова прячется в траве. Ее подруги по работе смотрят на нее как на отсутствующую, видят в ее поведении что-то ненормальное. Что знают, что понимают ее приятельницы? Общий удел сближает, объединяет ее сейчас только с некоторыми совсем чужими людьми, теми, кого до недавнего времени она и в глаза не видывала, ни с одним из них она и словом не перекинулась — вдовы и вдовцы, рассеянные тут и там по кладбищу, каждый на своей скамейке, у родной могилы. С некоторыми вдовами она познакомилась, разговорилась с ними, шла вместе по воскресеньям до троллейбуса, возвращаясь домой. Говорили они о самых будничных делах: как привезти из Житомира гранит для памятника, где можно достать золотой порошок для надписи на камне, и тому подобное. Со вдовцами свела знакомство и того проще: один помог ей отставить в сторону железные стенки ограды, положить их одну на другую, когда рабочие бросили их кое-как на дороге, загородив проход. Второй помогал ей два воскресенья подряд, когда она в фартуке, повязанном поверх черного платья, перемазанными пальцами красила уже готовую ограду вокруг могилы Симона.

Зверек с колючими глазками высовывается из травы. Ту могилу, которую навещает ее помощник, отсюда хорошо видно.

Исподтишка, будто она этот взгляд украла у себя самой, на одно короткое мгновение она взглядывает в ту сторону. Почему его еще нет? Может, с ним что-то случилось? Может, он больше не придет сюда? Стыдно, она даже не спросила, как его зовут. Даже как следует лица его не разглядела, — загоняет она зверька снова в траву.

Но тот вдовец здесь. Ему, видно, за пятьдесят, он среднего роста, у висков седина, лицо приятное и открытое. Он уже принес второе или третье ведро воды. Всполоснул одним броском из ведра выложенные на могиле мраморные плитки; снаружи, у тропинки, выполол разросшуюся сорную траву; ладонью опрыскал землю вокруг из ведра, чтобы осела пыль; замок на дверке ограды снова запер, обернул его целлофаном, чтобы не ржавел от дождя.

А потом подошел к Лии. Просунул оба локтя между заостренными концами железных кольев ограды, пару минут мялся, не зная, с чего начать, и сказал первое, что пришло в голову:

— Ну, как вы себя чувствуете?

Лия не шелохнулась. Еле слышным шепотом ответила:

— Разве вы не знаете, как я могу себя чувствовать?

— Да нет, просто так, вообще.

— Да и я говорю просто так, вообще.

Он снова замолчал, стоял и смотрел на согбенную спину Лии, ее опущенную голову; потом заговорил так задумчиво, так отрешенно, как будто обращался не к ней, ни к кому; говорил без пауз, как заученное; не говорил — ронял слова:

— Величайшее несчастье не может длиться вечно, без передышки, должно иметь конец. Нельзя ангела смерти за его прекрасные дела награждать еще и премиями, он и сам достаточно взял. У евреев траур продолжается год. Маловато, может показаться. У того, кто избежал этого, двенадцать месяцев пробегают вдвое быстрее. Но когда умирает твой близкий, год — вечность. Он отнимает у тебя половину жизни. Мы оба, вы и я, успели перебраться за второй год. У нас уже больше болезнь, чем горе. Вернее было бы сказать, грех… Одно и то же несчастье равно обрушилось на нас обоих. Одинаково оставило нас одинокими. Больше года предаваться одиночеству и тоске — грешно. Наши умершие — любимые и незабвенные — подтвердили бы мои слова. Общее несчастье нас объединило. Не спрашивая нашего согласия, оно уже совершило половину дела. Теперь, когда прошел год, такой долгий горестный год, надо сделать остальное, призвав наши подспудные желания, наш здравый смысл. Наши умершие — любимые и незабвенные —

подтвердили бы это…

Лия оторвала от земли потупленный взгляд и недоумевающе уставилась прямо в лицо внезапно замолкшему вдовцу. Хотя она не совсем ясно понимала, имеют ли услышанные речи тот самый смысл, который до нее дошел, глаза ее раскрывались все шире, все сильнее блестели. Вдовца, судя по всему, блеск ее глаз смущал больше, чем ее смутили слова, сказанные им.

Помедлив в растерянности, он ласково заметил:

— Никогда не видел, чтобы черный платок был женщине так к лицу! Платок делает вас еще красивее. Но скиньте его, прошу вас! Хватит. Белый платок вам еще больше пойдет!

Из травы выскочил зверек с шустрыми глазами, скакнул Лии в лицо, ощерив зубки, пропищал ей в ухо:

— Слушай, слушай… Можно здесь еще и свадебку сыграть!..

Лию пробрала дрожь. Она охватила голову обеими ладонями и, заходясь в рыданиях, трясясь всем телом, прогнала от себя этого зверька, это наваждение. На миг она замолкла. Потом подняла глаза на своего собеседника, и ее плач перешел в неудержимый, икающий смех. И — снова рыдание. И — снова смех.

Испуганный вдовец приблизился к ней, тронул пальцами ее рукав.

— Что с вами? Что с вами происходит?

Она отстранилась, ушла в свою раковину, скрючилась, сузилась от его прикосновения, как от чего-то обжигающего и скользкого. Как будто под рукавом зашевелилось множество серых ползущих гадов.

Лия ушла с кладбища в конце дня. Никого из посетителей уже не оставалось. Вокруг была распростерта только смерть, только молчание. Солнце в небе проделало три четверти своего пути, клонилось к ночи, к закату, но пекло еще сильно и грело исправно, а завтра, на рассвете, снова взойдет, снова рассияется.

Лия спускалась с холма к троллейбусу измученная и задумчивая, ей все время казалось, что зверек с острыми глазками где-то рядом, то по одну сторону, то по другую, а вот и скачет следом за ней. Она то и дело останавливалась, озиралась, наклонялась к земле и палочкой или щепкой, или голой рукой отгоняла зверька. Но он тут же возникал снова. Вот щерит на нее зубки, вот поглядывает на нее с озорной веселостью в пронырливых глазках.

Лии стало жарко, ее окатило по́том — и от всего пережитого, и от палящего солнца. И она сняла платок. Скинула черный платок с головы.

Но не сложила его, как обычно, вчетверо, и не просто несла в

руке. Она расправила его на одном плече, на ходу, не замедляя движения, и черный платок на ее плече трепетал как флажок.

Пер. Е. Аксельрод.

ДЕВУШКА ИЗ ВИЛЬНЮСА И АВТОГРАФ

Спасибо тебе, девушка из Вильнюса, что ты принесла, как голубь ветку маслины в клюве, эту маленькую озорную новеллу мне на старости лет.

Автобус Адлер — Пицунда. Не короткий путь. Требует времени не меньше, чем совсем недавно самолет Кишинев — Сочи. Место в автобусе рядом со мной еще свободно. Появляется белокурая девушка в джинсах, в тонкой прилегающей плащевой курточке и садится на свободное место рядом со мной. Такая девушка, что если бы салон автобуса не так был залит солнцем — даже занавески приспущены — можно было бы сказать, что ее появление все озарило светом.

Автобус мчится. Мандариновые деревья и чайные кусты по обе стороны дороги, приплясывая, бегут навстречу. Горы вдали чуть покачиваются. Слово за слово. Улыбка, смех. Зардевшееся лицо. Мне уже известно, откуда девушка едет, какая у нее профессия и в каком пицундском пансионате она будет отдыхать восемнадцать дней. И для нее не секрет, куда я еду, кто я да что я. Она краснеет еще ярче и говорит, что мое имя ей знакомо. В это я не очень верю. Ну что ж, если так, я приглашаю ее прогуляться как-нибудь, посмотреть Дом творчества писателей. Она с готовностью кивает: придет обязательно. Я объясняю, как добираться из ее пансионата к нам, прошу записать, на каком я этаже и номер комнаты. «Зачем записывать? — говорит она, слегка осмелев. — Разве я такую малость не запомню?» Уподобляясь настоящему зануде, спрашиваю еще раз: «Так вы, значит, объявитесь?» Она смеется: «Тому, кто зря обещает, нетрудно и повторить обещание». Автобус внезапно останавливается. Я и не заметил, что мы уже подкатили к писательскому дому. Так быстро? И вот я стою снаружи с моим чемоданом и машу рукой вслед всем автобусным окошкам. Минуту спустя автобус скрывается. Эту минуту я стою возле чемодана какой-то оглушенный и сиротливый. Вот только что у меня в ладони был целый автобус и эта вильнюсская девушка в нем, и вот, будто пальцы разжал, в мгновение ока все исчезло, как летняя бабочка, как короткий сон в летнюю ночь…

Я ехал сюда, чтобы отгородиться хоть на месяц от повседневной домашней жизни, сидеть в тишине и писать, думать этот месяц, как подобает писателю, только о работе. И вот первый день, а я слоняюсь здесь неприкаянный, и занимает меня, кажется, пока только одно: появится она или не появится?

Если она, прикидываю, там, в пансионате, сразу не

познакомится с кем-нибудь, кто ей придется по душе, то появится. Но как может мимо такой девушки пройти самый лучший, самый достойный? Нет, она не приедет. Однако, сдается мне, что блеск ее глаз меня не обманывал: приедет. Приедет или не приедет?

В конце концов я очухался, задал себе взбучку: прогони, балда, этот дурацкий чад из головы! Даже назвал себя «старым греховодником» (себе самому, когда никто тебя не подслушивает, иногда можно так сказать).

И я справился с этим наваждением, очнулся от зловредного сна: тьфу, тьфу, убирайся на все четыре стороны, хоть за тридевять земель!

Я сел к столу. Помаленьку начали завязываться строчки. Что нам еще надо? Какая радость сравнится с этой? Строчки собирались в страницы. Ни один скупердяй в мире так не тасовал свои сотни, так не смаковал свои тысячи. От вильнюсской девушки едва сохранились смутные воспоминания. Если бы кто-нибудь меня в те дни, когда шла работа, невзначай спросил: «Помнишь? В автобусе даже светлей стало?» — я бы уставился на него с недоумением: «Какой еще автобус? Где светлей стало?»

Работал я больше по вечерам, сидел за столом до поздней ночи. Днем я гулял по берегу моря, на ходу продолжая работать. Два раза в день купался в море. Лежа на волнах, раздувая ноздри, лицом к небу, все искал точную мысль, шлифовал слова. Учился у моря, которое шлифует сотни лет свои неповторимые камушки и, закончив отделку, разбрасывает их по берегу: собирайте, люди! Глядите, как я для вас постаралось!

Дни были длинными и наполненными. Каждый новый день за моим письменным столом — новые события, находки, характеры и поступки, споры, неожиданности, миры и мирки. Десять дней, которые я уже здесь провел, своей насыщенностью перевешивали сжеванные городом десять месяцев, казались мне не полутора неделями, а невероятно долгим куском времени, чуть ли не отрезком вечности.

Однажды под вечер, на одиннадцатый или на двенадцатый день, кто-то постучался в мою дверь. Я только задремал. Прошлую ночь сидел за столом до четырех утра; перевел дыхание лишь перед нынешней ночью. Я сошел с кровати, взглянул в коридоре в зеркало и увидел себя помятого, с растрепанными бровями. Может быть, мне показалось, что стучат? Но стук повторился.

— Кто там?

— Я… Помните, из Вильнюса!

— Одну минуту!

В комнате кавардак. Все у меня валилось из рук. Но каким-то чудом кровать мгновенно была застелена, книги вокруг кровати — сложены. Пепельница с окурками опорожнена в мусорное ведро. Я быстро влез в брюки, натянул на себя свежую рубашку, ладонью прошелся по волосам, пригладил взлохмаченные брови.

Вильнюсская девушка на пороге в длинном в складку платье, в белой блузке с короткими рукавами казалась теперь выше, проще и еще притягательнее, чем тогда в дорожных джинсах и в яркой куртке. Но так же, как тогда, она перед каждым словом краснела:

— Я, наверно, приехала не вовремя.

— Нет, почему же? Входите. Я после работы решил немножко отдохнуть. Садитесь. Будьте как дома.

— Мы заблудились. Кондукторша не предупредила, когда нам выходить. Не беда. Подышали морем. Лишнюю часть дороги прошли пешком. Главное, что мы вас отыскали, застали дома.

— Кто это «мы»? — преодолевая волнение, я достал из холодильника несколько яблок, помыл их и поднес на тарелке гостье.

— Спасибо. Меня внизу ждет знакомый. Ни за что не хотел подняться. Совсем оробел.

— Неужели? Мне представляется, что он-то как раз не робкого десятка.

— Старый знакомый. Он тоже из Вильнюса. Мы здесь случайно встретились. Когда в отъезде встречаешь земляка, так радуешься, будто увидел кого-то родного.

Минуту мы помолчали. С яблоком в руке вильнюсская девушка оглядывала стены моей комнаты, исчерканные странички на столе, смотрела в окно на гущу деревьев, на море. Хоть стены в комнате были обычными голыми стенами, на страничках бумаги — крошечные буковки, перечеркнутые и заклеенные, море в окне — то же море, что и в окне ее пансионата, она все-таки, надкусив яблоко, сказала:

— У вас так хорошо! Жалко, что мой приятель слоняется внизу один. Первый раз в жизни я разговариваю с живым писателем, вижу писателя так близко.

— Ну и как? — спросил я.

— Ничего особенного. Человек как человек.

— Только снаружи, — усмехнулся я. — Что происходит у него внутри, знает только он.

— Почему? Все знают. Я тоже.

Она открыла свою сумочку, и я увидел мою последнюю книгу. Девушка держала ее обеими руками, чуть накренив, ласково,

бережно — голова склонена к обложке — как держат, мне очень понравилось такое сравнение, младенца в пеленках. Девушка опять зарделась:

— Вашу книгу я купила у нас, в Вильнюсе. Еще в прошлом году. Я позвонила домой, чтобы мне ее сюда прислали. Только вчера получила. Прошу вас, дайте автограф…

И она протянула мне книгу с такой благоговейной осторожностью, будто та была из стекла и могла, упаси господь, упасть и разбиться.

— Можно подумать, вы и читали ее? — нетактично поинтересовался я.

Девушка из Вильнюса не сразу ответила мне:

— Как же иначе, разве книги покупают не для чтения?

— Выходит, вы знаете еврейский? Что же вы молчите? — шутливо прикрикнул я.

— У нас в доме с бабушкой постоянно говорили по-еврейски. А папа и мама разговаривали по-еврейски, когда хотели, чтобы я чего-нибудь не поняла. Но я все равно научилась их понимать. И секретов больше не стало: мы все говорили по-еврейски. Читать и писать я начала благодаря урокам в еврейском журнале. Журнал «Советиш Геймланд» я видела у нас в доме с тех пор, сколько себя помню.

Я взял авторучку. Подумать только, такая молодая, такая прелестная, такая притягательная читательница! Что написать этой девушке?

— Меня зовут Ева. Просто Ева, — выдохнула моя гостья, словно боясь, как бы я вдруг не передумал.

Я медлил, зажав авторучку между пальцами. И в самом деле, размышлял немного больше, чем следовало. Наконец я надел очки и, как водится, на титульном листе вывел убористыми буковками первые три строчки, которыми выше я начал этот рассказ:

> «Спасибо тебе, Ева, девушка из Вильнюса, что ты принесла, как голубь ветку маслины в клюве, эту маленькую озорную новеллу мне на старости лет».

Я точно знал, что вильнюсская девушка сейчас уйдет, на прощание мы расцелуемся, и сочность этого поцелуя надолго останется в моей памяти. И такое привычное, близкое сердцу моему имя — Ева.

Пер. Е. Аксельрод.

ЛЕВА

Простое незамысловатое имя. Человек небольшого роста, можно даже сказать, низенький, с изрядной сияющей плешью на голове, туговатый на ухо.

Говорят, слегка глуховат стал на работе. Столько лет провел на заводе среди гула и грохота моторов и станков. Большой завод у нас. Тракторный.

Жена его, Хаюся, — наша дальняя родственница. То есть родство с нею мы никогда как следует не вычисляли. Во всяком случае, землячка наша — из Рашкова: это уж точно, вернее верного.

Раз в год, в январе, Лева и Хаюся приходили к нам на день рождения нашего сынишки, и один раз в год, примерно через месяц-полтора, мы, я и моя жена, мир праху ее, навещали их в день рождения их дочурки.

В те трудные, печальные и веселые времена сразу после войны Хаюся (она была еще молодой и красивой, а он, кажется, даже выше ростом был, и волосы почти все на голове) изворачивалась, как могла, выгадывала, экономила, у одного занимала, другому отдавала — но дочурке, Миечке, такой день рождения закатывали: свадьба, а не день рождения, говорили гости.

Бульон с миндалем, фаршированная рыба, жаркое, клецки, маленькие соленые огурчики, зеленый и красный перец зимой, такой салат и сякой салат, пряники и прянички, большой торт посреди стола с белыми аппетитными буквами, выложенными кремом: «Миечке два года», «Миечке три года», «Миечке четыре года», и так далее, и так далее.

Лева суетился среди гостей, доливал в рюмки, помогал Хаюсе подавать на стол и убирать со стола, крутился волчком, одетый в свой излюбленный наряд: на выходной костюм наброшен синий застиранный, но отутюженный заводской халат. По складу не слишком словоохотливый, считался молчуном, но о синем своем халате не молчал — то одному гостю, то другому бросал — не понять, всерьез или в шутку:

— Этот халат для меня лучше смокинга!

Миечка сидела во главе стола с большим алым бантом в волосах. Хаюся красовалась возле дочки. После нескольких первых тостов Лева, этот молчун, затягивал песню. Гости подхватывали ее и уже пели песню за песней сами, не дожидаясь Левы. А позже, когда столу было отдано должное, обижен он, упаси господи, не был — пустые бутылки, тарелки и рюмки

отправлялись на кухню, стол складывали, задвигали в угол, стулья и табуретки отъезжали к стене и на том самом месте, где только что зазывно благоухали яства, гости начинали кружиться да притопывать в свое удовольствие. Расходились поздно, в первом часу; домой, разумеется, шли пешком. Такой день рождения не забудешь. Во всяком случае, до следующего, через год, когда все повторится снова.

В комнате у Левы и Хаюси над столом висела люстра с четырьмя лампами, сплетенная из тонких никелированных трубочек, поверх изящный проволочный абажур, украшенный узорами, фигурками, всякими точеными вензелями — вокруг и между лампами — совсем особая люстра. На тумбочке стоял ночничок, тоже особенный — просто загляденье! Часы с кукушкой и с буквами на циферблате вместо цифр отсчитывали время с кукованьем, с игрой. Ни для кого не было секретом, что все эти вещи — Левины произведения. Сам смастерил своими золотыми руками. И еще кое о чем это, без сомнения, свидетельствовало: хоть Лева и любит руки приложить к разным домашним штучкам, любит свой дом, комнату, но все это только отсвет любви к ней, его Хаюсе, и, разумеется, к дочке — маленькой прелестной Миечке.

Заводом Лева гордился. До сегодняшнего дня работал там в своем синем неизменном халатике все сорок послевоенных лет — не больше и не меньше.

Лева гордился не только заводом, но и ростом его, тем, что тот год от году становится все более мощным. И завод, надо отдать должное, гордился Левой. Подумать только, какой Лева! За все сорок лет — и это не просто слова — ни одного разу на работу не опоздал, зато домой, как правило, возвращался с опозданием. И работу свою постоянно исполнял с завидным усердием и добросовестностью. К тому же и со своей врожденной скромностью. Да и дело делал, ему одному подвластное. Лишь только какая-нибудь новинка, тончайший инструмент, деталь — Лева первый в своем инструментальном цехе опробовал их, оттачивал, отшлифовывал. И если Лева говорил «да», так инженеры и главные конструкторы, комиссии и подкомиссии не могли сказать «нет», и эта вновь изобретенная вещица, деталь или какой-нибудь инструмент, шли на конвейер. Заводу было кем гордиться. Почти все сорок лет в просторном, усаженном цветами дворе внутри завода Левин большой портрет был выставлен среди портретов других мастеров с золотыми руками, среди тех, кто в этом году работают в счет следующего года, среди самых уважаемых людей завода. На собраниях Леву приглашали в президиум. Но его врожденная скромность славы не искала. Он

по обыкновению передергивал плечом, бормотнув: «Для чего? Почему это именно меня?» Среди приглашенных в президиум его имя было названо, но он оставался сидеть внизу, в зале, в своем синем халате, сияя плешью, среди всей массы рабочих. Рабочий среди рабочих.

Признаюсь, я всего этого как следует не знал, а если знал, то недостаточно вдумывался в Левин характер. Я за время нашего знакомства столько людей изобразил на бумаге, но чтобы очередь дошла до Левы, должно было пройти два десятка лет — надо было прийти не на веселый день рождения, а в горькую годину…

Но зачем забегать вперед?

Когда мы моложе, годы нам кажутся более длинными, но все равно пролетают они быстро. Вот только что Миечка была маленьким ребенком, малышкой: «Миечке три года», «Миечке четыре года», и вот она уже школьница, носит коричневую ученическую форму с белым фартуком и белым стоячим воротничком, туго обхватывающим шею. Наш сынишка ходит в музыкальную школу, и дочка Левы и Хаюси ходит в музыкальную школу. Наш мальчик учится играть на скрипке, Миечка — на фортепьяно.

Левин и Хаюсин дом оживлен, весел. На заводе Лева получает каждый месяц премии. К единственной большой комнате пристроили еще одну комнату. Кухоньку увеличили, провели к тому же удобства. Появилось место, чтобы поставить две кровати, одну у другой, а в первой комнате (конечно, она уже зовется «детской») пианино для Миечки. Каждый день Хаюся водит ребенка за ручку к учителю музыки, во второй ручке ребенок держит большую черную нотную папку с портретом Чайковского, выложенным никелированной проволокой на переплете. Каждый вечер из дома доносятся звуки пианино. Хаюся кричит с кухни: «Нет, нет, фа диез, Миечка», а Лева шутит, усмехаясь: «Послушай, Хаюся, в школу-то ходит она, а пианисткой станешь ты!»

На днях рождения, год за годом, Миечка теперь действительно в центре внимания. Ее тоненькие удлиненные пальцы проворно бегают по клавишам, играют для гостей сложнейшие сонаты и этюды. Гости диву даются, у счастливых родителей влажно блестят глаза. Люди восторгаются не так самими сонатами и этюдами, как тем, что их извлекает та самая Миечка, которая только что, кажется, была от горшка два вершка. И вот пожалуйста, сидит у инструмента на вращающейся табуретке, что ввинчивается год от году все ниже и ниже, рослая девочка с густейшей копной волос и с такими очаровательными

ямочками на щеках — только позавидовать можно тому парню, который, когда придет время, влюбится в эти ямочки.

Танцуют и сейчас, не сглазить бы, но стол теперь не надо ни складывать, ни отодвигать. Гости топчутся по кругу, а внутри круга Лева и Хаюся. И Миечка не капризничает — пошла в отца — не отказывается еще разок сесть к инструменту и сыграть тот танец и этот танец — все, что ни попросят гости. Пальцы не отрываются от клавиатуры, а светящееся лицо с ямочками повернуто к папе и маме, к поющим и пляшущим гостям.

Полон радости и жизни был в те годы дом Левы и Хаюси.

И вдруг — это случилось двадцать семь лет назад — Хаюся чем-то тяжко захворала. Говорили: осложнение после гриппа, или грипп прошел сам собой, а эта напасть обрушилась сама собой. Причины врачи не могли установить. Лева места себе не находил. Привозил одного профессора, привозил другого профессора. Пробовали все средства: уколы, массажи, компрессы из нагретых простыней, ванны, электрические процедуры — ничего не помогало, болезнь не желала отступать, напротив: все глубже и глубже укоренялась.

Суставы, пальцы на руках начали искривляться, щиколотки расти, опухать. Невыносимые боли при каждом движении, ни рукой, ни ногой не пошевельнуть. Месяцами Хаюся лежала распластанная. Когда ей становилось чуть лучше, ее одевали и поднимали с постели, но она сидела на стуле скрючившись, с искаженным болью лицом, покачиваясь, как в тех случаях, когда про несчастье известно, что оно ниспослано не на день и не на год — навсегда.

За хозяйку в доме стал Лева. Бегал по воскресеньям на рынок, приносил больной самое свежее, самое отборное; вечера простаивал на кухне, готовил, крутил стиральную машину; когда требовалось, мыл полы, вытряхивал на улице дорожки из Миечкиной комнаты.

Миечка, со своей стороны, ухаживала за мамой: приносила ей что понадобится, уносила за ней, каждое утро освежала ее лицо влажным полотенцем, подавала ей лекарства. Раз в неделю причесывала ее.

Долгое время пианино стояло закрытым. Играть на нем в такой обстановке руки не поднимались, да и голова была не тем занята. Но Хаюся настаивала, что если хотят продлить ей жизнь и вернуть здоровье, она должна видеть собственными глазами, что Миечка не пропускает музыкальной школы — болезнь матери не должна отразиться на судьбе ребенка. Нетрудно себе представить, что звуки пианино теперь каждый день раздавались в доме. Кроме того, Хаюся, вот так — получеловек уже, интересовалась всем, что

делается у Левы на заводе. Над чем муж работает сейчас. Как эта часть работы получается. Как ее оценили. И Лева в свободную минуту присаживался подле нее на кровати и отвечал ей на все вопросы во всех подробностях, как сидят у постели заболевшего ребенка и развлекают его сказками. То, что происходит у Миечки в школе, само собой, обсуждалось не менее подробно: сегодня — сколько она получила по сольфеджио, завтра — по истории музыки, по гармонии; что этот преподаватель сказал и что тот преподаватель сказал; как ее готовят к академическому концерту, к экзаменам. Прикованная к постели, Хаюся каждый день давала Миечке советы, советы-приказания: какое платьице и какую кофточку дочка должна надеть и как волосы причесать. С постели же — Леве на кухню: что он должен сегодня сварить и сколько сварить.

Дни рождения Миечки, конечно, больше не отмечались. Иногда мы с женой, пусть земля ей будет пухом, к Леве и Хаюсе заскакивали. Хаюсю заставали или лежащей в постели, от раза к разу все больше изменившейся в лице, или сидящей в комнате на стуле, в свежем халате, в нарядном цветастом платке на голове, непрерывно раскачивающейся из стороны в сторону.

Болезнь, по словам врачей, приостановилась: это значит, она не развивается, но и не отступает. Так вот и живет Хаюся. Живет и мучается. И понемножку к этому привыкли. И домашние, и друзья, и знакомые, и она сама тоже. Годы тем временем бежали. Мия поступила в консерваторию, окончила ее, стала сама преподавателем фортепьяно в музыкальной школе. Про Леву говорили, что такого, как он, нечасто встретишь. Все эти годы, столько лет, кроме завода, жил только одной заботой, одной мыслью: Хаюся. Раньше, до ее болезни, он всегда на время отпуска брал на заводе путевку в санаторий. Теперь, когда он нуждался в санатории как в самой жизни, он что ни год от путевки отказывается, уже столько времени не знает отдыха! Ни на один день. Наоборот: только когда он в отпуске, Хаюся может по-настоящему ощутить, что такое преданность, что такое любовь. И благодаря этому жизнь в ней еще теплится. Это держит ее, не дает уйти.

Мия вышла замуж. Однако не захотела покинуть свой дом. Как можно оставить мать на одного отца? Он ведь уже немолодой человек. В семье стало мужчиной больше. Но вместе с мужчиной, с зятем, вскоре, как бывает обычно, прибавился и ребенок, внучок. В доме и на сердце и взаправду веселее. Но легче, как можно себе представить, Левино существование не стало. Капельку труднее.

Все это я знал уже больше по слухам. В те годы и м о е й не

стало после тяжелой операции, и время у меня наступило не приведи господь! От Левы и Хаюси я поневоле отдалился. По рассказам было ясно, что у них совсем невесело. Хаюся чувствовала себя намного хуже. Лева буквально валился с ног. Болезнь ее действительно как будто приостановилась, но сама-то больная не делалась здоровее, с каждым годом старела и слабела. Мучается, бедняжка, говорили знакомые. Мучается сама и мучает близких.

Два года назад ее к тому же разбил инсульт. Теперь Хаюся лежала совсем неподвижно, лишилась речи, рот скривился на сторону, руки и ноги отнялись напрочь. Лева водил в дом докторов одного за другим. Почти каждую ночь вызывал «скорую помощь». Мия и ее муж за два последние года стали неузнаваемы. Так все тянулось до совсем недавнего времени — две недели прошло, не больше.

Утром зазвонил телефон, и Миечкина двоюродная сестра Алла, тоже преподавательница музыки, известила меня:

— Вчера ночью умерла тетя Хаюся. Похороны в четыре часа. — В трубке раздался глубокий вздох, который, мне показалось, означал: «наконец-то…».

На похороны собралось много народу. Тут были и заводские, и Миечкины друзья, учителя и некоторые ее ученики из музыкальной школы, знакомые знакомых, друзья, соседи. Несли венки с надписями на черных лентах: «Дорогой Хаюсе», несли и несли цветы. В комнату протискивались с трудом. Левин зять, взбудораженный, то и дело выскакивал на улицу, ждал своего отца из Баку, который телеграфировал, что летит на похороны, уже давно должен был появиться, а все нету… Люди кучками стояли на улице и, как водится, негромко разговаривали. Говорили больше о Леве, чем о Хаюсе. О нем — по обыкновению: какой человек! Самоотверженность его и любовь не поддаются описанию. Чего он только не делал: из кожи вон лез, в лепешку разбивался. Все те годы, что она болела. Двадцать семь лет! И сокрушенно вставляли об умершей: «Бедняжка… Смерть — избавительница!»

Я пробился внутрь дома. Хаюся лежала с умиротворенным разгладившимся лицом, мертвой выглядела моложе, напоминала прежнюю Хаюсю. Мия, одетая в черное, сидела на табуретке, измученная, с желтым от бессонной ночи лицом. Собравшиеся молча смотрели, как Лева, совсем маленький теперь, стоит возле Хаюси и не переставая гладит ее лицо, волосы, руки, то и дело целует в лоб, в щеки. Вокруг царила, в буквальном смысле, мертвая тишина. Ни слез, ни прощальных слов. Внезапно у Левы

вырвалось рыдание. Какое-то ни на что не похожее, душераздирающее. Голос совсем не Левин. Мужчины так не плачут — с клекотом, заходясь, захлебываясь. Я подобного рыдания в своей жизни не слышал.

На кладбище, прежде чем гроб опустили в землю, снова раздался Левин ни на что не похожий плач… Его поддерживали под руки, отрывали от гроба, у всех глаза были мокрые. Кто-то спросил: «Заупокойную молитву муж произнесет?» Другой ответил: «Разве он ее не произнес?»

Я стоял в толпе и тоже больше думал о Леве, чем о Хаюсе. Почему-то я чувствовал себя виноватым перед ним. Я стоял и терзался: почему мы зачастую так плохо видим человека? Почему мы нередко совсем не видим человека? Должно было пройти столько лет, надо было дождаться скорбного дня, услышать это нечеловеческое рыдание моего близкого знакомого, скромного, честного, преданного человека, чтобы охватить его суть целиком, почувствовать всю высоту и красоту его души.

Я не пытаюсь этой новеллой искупить свою вину. Я просто отдаю Леве то, что ему причитается. И делаю это именно сейчас. Две недели спустя после смерти его любимой жены.

Откладывать на потом уже оба не могут себе позволить: ни автор, ни герой его.

Пер. Е. Аксельрод.

ЛЮБОВЬ

Клубы чада повалили от потухшего примуса, и запах горелого картофеля и керосиновых паров наполнил мансарду. Серая волна дыма поползла по горбатым стенам, заволокла убогий скарб, заполонила в свои сети Эстерку. Женщина торопливо бросилась к примусу. Она отвинтила колпачок и широко распахнула небольшое оконце. Мрак из комнаты потянулся в раскрытый глазок под самой крышей. Прояснилось. Вот уже стали видны голые руки Эстерки, ее плечи, губы, черные горячие глаза — ее двадцать три года, жадно тянущиеся к жизни сквозь тоненькую, прозрачную блузку.

Каморку вновь залил свет. Сквозь оконце ворвались обрывки солнечных лучей, выгравировав на полу золотые, медные пятна.

Эстерка разжигает примус и вновь чистит картофель. Часы над кроватью показывают без четверти шесть. Через двадцать минут вернется домой Шварцберг, уставший, голодный, а она не сможет его накормить. От досады у нее разгорелись щеки. Ведь когда он работает в ночной смене, а она в дневной, то еда ожидает ее на столе. Картошка выскальзывает из рук. Эстерка чувствует себя несчастной. Ей очень хочется, чтоб время замедлило свой бег или чтоб Шварцберг опоздал…

Когда картофель начинает закипать, она слышит скрип шагов на лестнице. Напрягает слух. Шаги чужие. Вот стучат в какую-то дверь в коридоре. Спрашивают ее. Она торопливо одергивает блузку, но волосы поправить не успевает. Дверь распахивается и — на пороге смуглый, улыбающийся юноша. Он небрит, в поношенном костюме, через руку перекинут потертый плащ.

Кровь бросается Эстерке в лицо. Руки обессиленно падают, подкашиваются ноги. Более трех лет она не видела Герца.

А когда-то ведь его имя отыскало себе гнездышко в ее сердце, заполнило все ее существо. Рука об руку они делали первые шаги по жизни. Вместе стали членами местечковой организации «Красный школьник». Потом исключение из гимназии, работа в селе, среди крестьян.

Они были ровесники, но ей всегда казалось, что он старше, умнее, серьезнее. И красивее всех. Они вместе читали книги, вместе работали в нелегальном кружке, вместе распространяли листовки. Но, когда он говорил, она слушала молча, как слушают учителя. Ночью во сне ей чудился его голос; виделась его улыбка, сверкающие глаза.

Но случился провал. Нет, не забыть ей тот январский день! Жандармы вели Герца. Он шел угрюмо, потупив взор. Позднее

заговорили, что во время допроса он вел себя недостойно… Может быть, это были только слухи. Но для Эстерки образ Герца словно потускнел, стал каким-то серым. А вечера, когда они возвращались из сел или прогуливались в роще, стерлись в памяти.

Она уехала в город, поступила на фабрику. Он был осужден и заточен в Дофтану[41]. Порой, когда из глубины забытого волна воспоминаний поднимала на поверхность одно из тех чудесных мгновений юности, она вздрагивала, пытаясь отряхнуть с себя былое, как кошмарный сон. Дни текли. Дни, полные труда, нелегальной работы с новыми людьми.

В прошлом году она повстречалась с металлистом Шварцбергом. Шварцберг с корнем вырвал из ее души Герца. Изредка, когда заходила о нем речь, Герц казался им чужим, чуть ли не врагом…

Эстерка быстро пришла в себя. Сказала как можно спокойнее:

— Заходи… Чего стоишь на пороге?

— Любуюсь твоим хозяйством… Ты, вижу, стала настоящей хозяйкой!

Она почувствовала, как в ней глухой волной нарастает гнев. Много раз в жизни она слушала его, но никогда слова не выдавали настоящего Герца. А теперь — с первой же фразы… Разве она когда-нибудь любила эту улыбку? Эстерка говорит:

— Значит, ты пришел искать со мной ссоры?

Он сдерживается.

— Кажется, у меня на это нет прав… Я прямо из тюрьмы!

— Ты потерял это право давно, еще до тюрьмы!

У Герца зазвенело в ушах. Он чувствует легкую слабость и на мгновенье опускает глаза. Эстерка видит его смущение и понимает, что она неправа. Может быть, не следовало его оскорблять с самого начала? Ей начинает казаться, что она не должна быть жестокой, непримиримой. Откуда-то из забытого всплывают месяцы и недели, полные любви. И она не пытается отогнать воспоминания. Но нужна ли ему ласка? Не испортит ли она его еще больше?

Герц, сгорбившись, садится на краешек стула. Глаза у него затуманились. Сначала в тюрьме он чувствовал себя одиноким. Его мучили целый месяц: в местечке — жандармы, в городе — сигуранца. Он никого не выдал, но подписал протокол. Тюремный комитет выяснил, как он вел себя, и принял его в коллектив, решив, что он сможет реабилитироваться.

Эстерка не написала ему ничего за все время. А он ждал, надеялся — придет тот час, когда он сможет рассказать ей обо всем, и она поймет его, поверит ему. Но вот теперь она не только

заменила его другим, но и попрекает, пытается унизить… Он сидел потрясенный.

— А твоего друга ты выбрала себе сама или…

Она метнула в него такой взгляд, что слова невольно замерли на губах. Если бы перед ней сидел другой человек, она бы вылила на него всю горечь обиды и показала бы ему спину. Но Герц… Перед нею поверженный. Это сразу видно. На кого она сердится? Разве один неверный шаг может уничтожить человека?

Эстерка прерывает молчание.

— Не говори хоть, пожалуйста, глупостей…

— Но если на миг ослаб человек? — вскочил он со стула. — С каких пор слабость стала преступлением?

— Нечестность! — спокойно ответила она. — Нечестность — это преступление!..

Оба замолчали. Печальная тусклая тень пала на стены. Солнце спряталось за крышу. Исчезли с полу золотисто-медные пятна.

На виске у Герца бьется красная жилка. Она то надувается, то исчезает, то надувается, то исчезает. Он еле слышно шепчет:

— Но по отношению к тебе? Что я сделал нечестного по отношению к тебе?

— Ко мне? Если бы ты обманул только меня, кто знает, может быть, эту еду я б готовила сегодня для тебя.

— Но если человек оступился, ошибся? — беспомощно произносит Герц, как ребенок.

— Он исправляет ошибку!..

Как будто скрипнула дверь. Герц вздрагивает. Глаза его просят: надо кончать разговор. Продолжать его бесполезно. Конечно, минет время, и он исправит свою ошибку. Но не перед нею, нет. Он теперь понял, что между ними ничего не исправится.

Входит Шварцберг. Высокий, открытый, простой. В одно мгновенье Эстерка забывает о молящих глазах Герца. Шварцберг вынимает из кармана газету, кладет ее на стол, вешает шапку на гвоздь, снимает куртку. Эстерка приносит миску с водой. А Герц в своем углу делается все более незаметным, тускнеет.

Шварцберг умывается. По тому, как ведет себя Эстерка, он понимает, что чужак — это Герц. С каждой минутой молчание становится все более тягостным. Шварцберг вытирает лицо полотенцем и окидывает Герца взглядом. Как может дорогой тебе человек стать вот таким чужаком? Он чувствует, что хоть Герц и бывший друг Эстерки, а можно было бы обрадоваться его приходу и сказать:

«Товарищ… оставайся. Оставайся у нас!»

Но он молчит. Молчит и Эстерка. Молчит и Герц. Когда

молчание возрастает до таких размеров, что становится невыносимым, гнетущим, — Герц срывается с места и хватает свой плащ.

Напряжение рассеивается, как рассеивается дым. Глаза Эстерки и Шварцберга встречаются. Оба шагают друг другу навстречу. Оба уверены, что не сделали ошибки. Жизнь впереди. Если Герц прав, то он сможет начать сначала, добиться, перегнать…

Эстерка ворошит пальцами волосы на голове Шварцберга и чувствует, как он ей дорог. Кто знает, может быть, Герц все равно нашел бы ее с ним? Жаль, что он так скоро ушел. Может, нужно было расспросить его обо всем, сказать что-нибудь одобряющее?

Шварцберг берет со стола газету, рассеянно просматривает ее, но глаза его не могут разобрать ни единого слова.

Сквозь оконце мансарды врывается свежий ветерок, гладит их лица.

Пер. И. Герасимов.

ЕВРЕЙ В ДЕРЕВНЕ

1

Не знаю почему, тема эта как-то притягивает меня. Может, потому, что в мире сегодня очень редко евреи живут в деревнях. Может, из-за когдатошнего деревенского еврея Берко из моего рассказа «Праправнук», который, бедняга, чтобы не быть изгнанным из деревеньки где-то на Украине, где он жил, должен был заплатить самым тогда дорогим и самым ужасным — креститься, перестать быть евреем. Какая мелочь, а? Отец, деды и прадеды испокон веков поливали землю вокруг крошечной деревеньки кровью и потом, а он, Берко, с полным домом детей, чтобы остаться и дальше в своем крестьянском прадедовском домишке на этой земле, должен был уплатить самую страшную цену. «И пот… и кровь… и душа тоже?..» — вырвав кол из плетня, задал миру свой вопрос одичавший Берко.

А может, преследует меня эта тема еще с тех пор, когда я сам, пятнадцатилетний парнишка, целую зиму — почти от самых кущей и до пасхи, то есть целые полгода — был учителем в селе Сесташ. Видел собственными глазами, впитал умом и всем существом своим жизнь нескольких бессарабских деревенских евреев. По сей день ощущаю я живым совершенно седого девяностолетнего реб Шимшла, который, кажется, как раз в тот год и, кажется, как раз в те пасхальные дни, где-то через неделю после моего отъезда из села, и умер. Грязный овчинный тулупчик, высокая черная кушма на белой голове. В доме он — прямой, с широкой, надвое расчесанной бородой, в жилете на цветастой фланелевой рубахе, под жилетом талескотн, кисти его болтаются у колен, хлещут о голенища больших, жестких юфтевых сапог. Он затаскивает меня в спаленку, озирается, не слышит ли, боже упаси, кто, и шепотом хочет он у меня, у городского, у «ученого», узнать, где же справедливость. Справедливо ли, что его дети — сын, невестка и все внуки, не сглазить бы — не дают ему больше ни во что вмешиваться. Не дают больше ничего делать. Они хотят, чтобы он только сидел и смотрел в книгу. Смотреть в книгу — для него дело? Слоняться на старости лет без толку? От безделья сохнут у него руки, дрожат, никому не пожелаешь, ноги. От безделья останется он на старости лет без царства небесного. А поговори с ними, так они этого не понимают. Он чувствует, что ему конец. Кончается он. Жизнь его вся вышла. Так справедливо это, а?

Командовала парадом невестка реб Шимшла, Бобця. Огонь-баба. Горы могла перевернуть. Где брала она столько сил, эта маленькая коренастая женщина? Много лет назад реб Шимшл привез ее сыну своему в жены из другого села, кажется, из Олчедар. За все время я ни разу не видел, когда народ в доме ложился и когда вставал. Зимой, ведь крестьяне же, в поле работы нет, никто, однако, в доме ни на минутку не присаживался. Двадцати четырех часов в сутки не хватало. Красили для всей деревни шерсть. Нанимались со своей упряжкой возить камни, бревна, товар для деревенского лавочника. Ходили постоянно запыленные, задрипанные, с заскорузлыми руками и пылающими щеками. Носили жесткие, громыхающие одежды, ну прямо рыцарские доспехи. От народу в доме пахло всегда коровьим навозом, грязью, керосином, иногда морозом, ветром, а главное — трудом, трудовым потом.

Сын реб Шимшла, Ореш, прихрамывал на одну ногу и тоже был совсем седой. Бороды, как реб Шимшл, он уже не носил. Брить, однако, бороду он еще тоже не брил — стриг ее ножницами. И лицо его всегда было обрамлено короткой и колючей поблескивающей щетиной, как, да не сравнимо будет, пшеничные поля вокруг деревни после покоса.

Бобця родила Орешу пятерых сыновей и одну дочку. Эти пять сыновей были все одного роста, на голову выше отца. Не отстал от братьев в росте даже младшенький, четырнадцатилетний Аврэмл, мой ученик.

Я бился с Аврэмлом, бился, и еле-еле научил его писать строчку. Аврэмлу плевать было на мое учение. Для чего таки нужна ему была моя наука, когда он уже и без нее мог повалить на землю крепкого бычка, в один миг связать все четыре ноги бычка и острым ножом, зажатым между пальцами, в следующий миг лишить бычка его мужского достоинства. А мог промчаться по селу верхом на жеребце, чтобы выглядело, будто пролетел орел, а он, Аврэмл, с раскинутыми в стороны руками — крылья у орла на спине.

В середине зимы, на зимние каникулы, приехала домой в деревню сестра Аврэмла, единственная дочь Бобци и Ореша — Малке. Она училась в Кишиневе в каком-то реальном училище. Это была красивая девушка с парой толстых светлых кос и с синими глазами, чуть полновата, но очень статная, очень привлекательная. Она любила лежать, опершись на локти, в спальне на топчанчике и приглядываться, как я занимаюсь у стола с Аврэмлом. Она приглядывалась к моему учению, а я всякий раз приглядывался к ней. Та строчка, которую я вписывал каждый день Аврэмлу сверху в тетради, чтобы он потом, строка за

строкой, до самого низа, ее переписал, один раз выглядела так: «Господин учитель сильно влюбился в мою сестру, в красивую Малке». Аврэмл, как всегда, прочел образец вслух и разразился в этот раз таким хохотом, что под носом аж надулся здоровенный пузырь. Красивая Малке тем не менее не растерялась. Она прикрыла свои босые ноги, отвернув угол коврика на топчане, и, надувшись, сказала, что господин учитель мог бы знать, что с любовью не шутят. У нас с ней был после этого длинный разговор. Я говорил, что это очень хорошо, что она вырвалась из деревни, я тоже мечтаю вырваться из местечка. А Малке мне ответила, что все это не так. Она из деревни не вырвалась и даже думать не думает вырываться. Она только закончит реальное училище, сразу вернется сюда, в деревню, и уже останется здесь навсегда. Здесь, в деревне, она будет учительницей у бедных крестьянских детей поля. (Так она и сказала — детей поля.) Здесь, в деревне, где она родилась, распространит она знание. (Так она и сказала — знание.)

Помню, сидел я тогда перед этой деревенской девочкой и краснел. От моего учительства на душе у меня стало совсем невесело.

2

Сегодняшнее село, село, о котором я собираюсь сейчас рассказать, называется Пепены. Находится оно в Лазовском районе. Где-то между двумя местечками Капрешты и Теленешты.

Лазовским район называется потому, что отсюда, из этих краев, вышел известный революционер и герой гражданской войны Сергей Лазо. Читатель знает, конечно, что в гражданскую войну японцы бросили Сергея Лазо живым в полыхающую паровозную топку. Когда-то серое бессарабское село Сынжерей, где родился Лазо, сегодня — неимоверно разросшийся, по-городскому застроенный райцентр, носит имя своего легендарного земляка — Лазовск.

Сегодняшний еврей в селе, о котором я собираюсь сейчас рассказать, Арн, сын Хаима, Арон Хаимович Заславский, испокон веков здешний, пепенский. В этом селе, которое имеет свыше тысячи дворов, он — председатель сельсовета, то есть руководит всем хозяйством села. В своих искони родных Пепенах, где жили отец его, деды и прадеды, где были они простыми земледельцами, крестьянами, сегодня Арн, сын Хаима — глава села, советская власть, которую представляет в селе сельсовет.

Целых двадцать семь лет, до позапрошлого года, Арон

Хаимович Заславский был председателем пепенского колхоза имени Карла Маркса. Не знаю, много ли колхозных председателей было председателями так долго. Какая мелочь — двадцать семь лет. На первом общем собрании, сразу после войны, когда колхоз только создали, пепенские старожилы избрали своим руководителем Заславского, которому тогда было немногим более двадцати, да так и избирали его потом снова и снова на своих годовых колхозных собраниях из года в год.

Чего только не сделал Арон Хаимович за двадцать семь лет! Он выстроил в селе трехэтажную мельницу, пекарню, комплексную механизированную молочную ферму. Он насажал вокруг села триста гектаров садов, пятьсот гектаров виноградников, на довольно-таки неважной земле — длинные рощицы орехов. Он поставил посреди села современнейший универмаг, ресторан, Дом культуры, здание школы. Он поднял напротив правления колхоза мемориал пепенцам, павшим на фронте. В каждый сельский дом протянул он электричество, провел по трубам родниковую воду. Старая молдавская поговорка гласит, что каждый человек должен за свою жизнь вырыть колодец. Заславский предложил правлению взять все колодцы в селе под колхозную опеку. Колодцы вычистили, заново изнутри облицевали и смастерили вокруг каждого резной раскрашенный деревянный домик, как в сказке. За двадцать семь лет ни один пепенец не остался без нового дома. Меж деревьев тут и там блестят на солнце красные черепичные крыши, застекленные веранды, синие и зеленые, красные, белые, апельсиновые стены.

Сам он жил в старом доме, доставшемся по наследству от родителей Сони, его жены. За эти двадцать семь лет он поседел. Молодое энергичное лицо, черные брови, живые черные глаза — и совершенно белые волосы. Когда председатель колхоза ложился и когда он вставал? Руководить таким хозяйством и столькими людьми совсем не легкая работенка. Он покорил народ одним — правдой. Слово всегда было словом. То, скажем, что председатель колхоза обещал людям, люди получали, даже когда год был не таким уж удачным. Десятки трудностей не пугали его и не останавливали. Он делал свое. Но трудности потихоньку тоже делали свое. Сердце постепенно стало пошаливать. Болезнь печени, которую он заработал, голодая в годы войны, со временем разыгралась. Кроме того, дети Заславского, сын и дочь, выросли, позаканчивали в Кишиневе институты, обзавелись семьями, остались жить в городе. Сын — инженер-механик, дочь — инженер-проектировщик; уже есть, не сглазить бы, внуки; Соня стала его дергать — она хочет быть рядом с детьми, она хочет жить на старости вместе с детьми. Короче — Заславский

стал просить, чтобы его освободили от председательства. В позапрошлом году, на годовом колхозном собрании народ уступил ему, он этого добился.

Во дворе у Заславских, возле унаследованного дома, растет старая ветвистая груша. Не многие читатели смогут себе представить, чтобы дерево, простая груша, было в состоянии определить судьбу, дальнейший путь человека в жизни. Женщина остается-таки, наверно, женщиной. Раньше Соня не давала покоя — она хочет быть рядом с детьми. Потом, когда Заславский уже уволился с работы и тоже начал уже поговаривать о переезде в город, Соня расплакалась, как малое дитя. Как она расстанется с этой грушей? Здесь, под ее ветвями, прожила она жизнь. Еще дедушка собственными руками посадил ее. Здесь она провела свои детские годы, росла вместе с деревом. «Видишь, Соня? — ответил жене Заславский. — Ну а сотни, тысячи деревьев, которые я своими собственными руками, можно сказать, посадил?» Бесконечные разговоры в постели по ночам. Обдумывание. Взвешивание. В конце концов решено было здесь, в селе, где прожили все годы, так и остаться уже до конца дней. Заславский отправился в райком, так и так. И в райкоме Заславскому предложили — председатель Пепенского сельсовета. Должность не менее видная и не менее ответственная, чем прежде. Но немножко поспокойнее, посвободнее.

За двадцать семь лет, что Заславский был председателем колхоза, у него и времени не было, да и руки не доходили выстроить себе возле старого домика, как сделали в последнее время все пепенцы, новый современный дом. Сейчас, на старости, можно сказать, пришло время и для этого.

Пусть их дети, что живут сейчас в городе, имеют у родителей приличное жилье, чтобы было куда приехать на субботу-воскресенье или таки на целые несколько недель во время отпуска, хорошо отдохнуть здесь, в родном доме.

Пусть внуки имеют у дедушки с бабушкой в селе свою отдельную, неприкосновенную детскую, чтобы могли проводить здесь на свежем воздухе пару летних месяцев или даже целое лето у скучающих деда с бабой.

В молдавских селах существует старый красивый обычай. Когда человек строит себе дом и собирается уже класть потолки, приходят к нему в выходной близкие друзья и кладут потолки все вместе, в один этот день, и белят стены внутри дома. По-молдавски называется эта совместная укладка потолков «клакэ». В новый дом вложены будут каждым своя доля и труда, и тепла, и дружбы. Хозяин готовит стол. А потом все веселятся. Это еще не новоселье. Но уже праздник. Дом уже вот-вот будет домом.

Когда у Заславских дело дошло до потолков, они об этом никому особенно не говорили. Зачем беспокоить людей? Лес и чамур для потолков все же приготовили. И чего-нибудь поесть, понятно, тоже. Кто придет, тот придет. А тот, кто только придет, будет желаннейшим гостем, любимейшим другом.

С раннего утра пошел народ. У Заславских во дворе собралось полсела. С кувшинами вина в руках и с полотенцами, повязанными выше локтей, как на свадьбу. За какой-то час потолки были уложены, стены в доме побелены. Женщины помогали Соне жарить-парить. Мужчины даже сколотили из досок столы и скамьи. Вокруг длинных белых столов под старой грушей до поздней ночи лилось вино, слышались возгласы пожеланий, пение, каждый раз, с Заславскими в середке, выходили на другой танец. И вправду как на свадьбе. Как на серебряной свадьбе Арна, сына Хаима и Сони, дочери Исроэля.

Писателю, думаю, на самом деле не обязательно куда-то далеко ездить в поисках литературных героев. Герои могут быть под рукой. В доме, где ты живешь, среди близких твоих, десятки — на твоем жизненном пути. Это уже не ново.

Молдавский прозаик Василий Галайку был однажды в Лазовском районе на встрече с читателями. Из села Пепены он возвратился, взахлеб рассказывая о председателе. Не думаю, чтобы он сам, Заславский, столько говорил о себе. Скорее все это об Ароне Хаимовиче рассказали пепенские старожилы. Галайку сказал, что об этом человеке просто легенды ходят. Это легендарная фигура в селе, сказал Галайку. И посоветовал мне съездить на пару дней в Пепены и посмотреть самому. Я молчал. Тогда Галайку, показывая на меня, сказал третьему:

— Если он об этом человеке чего-нибудь не напишет, я перестану его уважать!

И я поохал.

3

До войны в селе Пепены жило сорок еврейских семейств. Была у них своя крошечная синагога, хедер, небольшая еврейская библиотека для молодежи. Евреи — большей частью земледельцы, такие, каких я описывал выше, в первой главе, а кроме них — два-три ремесленника, пара лавочников и даже семья богачей в селе, зерноторговцы, купцы по имени братья Клингер. За двадцать два года, что румыны находились в Бессарабии, в Пепенах построено было одно-единственное здание — жандармский пост. Шефа жандармов, по-румынски

шефа-де-пост, звали Бурдеем — он был тогда в селе, можно сказать, полным хозяином. В тысяче пепенских дворов было и двадцать-тридцать кузистов тоже. Перед выборами, рассказывают, теоретик антисемитизма, фашистский «профессор» Куза именно сюда, в Пепены, направил сынка своего на предвыборную агитацию — богатые жиданы в селе, братья Клингеры, могут служить прекрасным примером этой агитации. Но один из этих братьев был тогда какое-то время шишкой в Бельцах — аж субпрефект. И он Бурдею приказал, чтобы тот не дал кузистам безобразничать. Бурдей, рассказывают, со своими пятью жандармами остановил сынка Кузы у самого въезда в село, и потом, за свою преданность, значит, и дружбу с Клингерами, стал даже называться защитником евреев. В сороковом году, в первый и единственный советский год в Пепенах до войны, одного брата Клингера из села выслали. Он один из всех Клингеров остался жив. Сразу, как только началась война и шеф-де-пост Бурдей, «защитник евреев», вернулся в Пепены, он с пятью жандармами своими в первую же ночь стащил всю семью Клингеров с постелей и поутру всех расстрелял. Помогали шефу-де-пост в этой работе взбесившиеся двадцать — тридцать пепенских кузистов. Всего за пару дней погибли почти все сорок еврейских семей. Сониному отцу, реб Исроэлю Пепенскому, один кузист — кстати, их сосед — отрубил сапой голову, а труп обезглавленного реб Исроэля проволок по земле через все село и кинул его в глубокий местный овраг — на свалку. Соня была тогда четырнадцатилетней девочкой. Ночью она убежала в поле, лежала, полуобморочная и дрожащая, в кукурузе, потом поднялась, побежала дальше и каким-то чудом наткнулась на повозку, в которой ехал Арон со своими родителями. Арону тогда было лет семнадцать. Его с отцом и матерью ночь и день прятали у себя в подвале как раз тоже соседи, а потом подвезли на повозке до Реута — на той стороне реки еще стояли наши. Арон с Соней и родители Арона переплыли Реут, доползли до красноармейских позиций, а красноармейцы укутали их в одеяла, утешили их, обсушили и накормили, обогрели и взяли потом с собой дальше на своих машинах. В эвакуации Арон прошел курсы агрономов, в последний год войны был на фронте. Сразу после войны Арон с Соней, к тому времени муж и жена, вернулись домой. Чтобы начать здесь, дома, где жили и умерли многие поколения их предков, новую жизнь, чтобы вить здесь, в Пепенах, на родине предков, нить поколений дальше. Прежде всего в глубоком овраге за селом они отыскали кости и упокоили их в местечке Теленешты на кладбище. Потом подремонтировали Сонин дом. А затем, по, своей наследственной природе, стали честно трудиться.

В первые два года, до того как все село избрало его председателем колхоза, Арон работал секретарем сельсовета и в то же самое время учился заочно, стал дипломированным агрономом. Соня пошла работать на сельскую почту, где работает заведующей и по сей день. Двадцать кузистов-убийц судили по советским законам. Осудили кого на десять, кого на пятнадцать, а кого на двадцать пять лет. Когда убийца реб Исроэля Пепенского тащил его мертвое тело через все село, следом шла жена убийцы и грозила кулаками — так, дескать, будет со всеми евреями и со всеми их друзьями. Люди все это видели и слышали. Женщины стояли у порогов и, заламывая руки, слали им вдогонку проклятия. Сельсовет постановил выслать жену убийцы из села. Арон Заславский и еще два сельских активиста пришли за ней ночью. Корчась, валялась она в ногах, просила пощады, потом стала потихоньку собираться, паковаться, чего-то тянула и вдруг выскочила через заднюю дверь во двор, скрылась в темноте в бурьянах, исчезла, и отыскать ее никак не могли. Три дня и три ночи простояла она в нужнике под доской с дыркой, по горло в нечистотах. На четвертый день явилась в сельсовет сама. Несло от нее за километр. После этого ее уже оставили в селе. А где-то через год она умерла.

4

Все это рассказал мне Арон Хаимович Заславский.

Ни одной строки из написанных до сих пор не придумано. Воображения мне не понадобилось. Оно, возможно, могло еще и напортить. Во всяком случае, оно бы ничуть не сделало сильнее все то, что взаправду произошло, а я в точности так, как оно произошло, всего лишь записал на бумаге.

Арон Хаимович встретил меня жарким летним днем, одетый в темный костюм, воротник рубашки повязан галстуком. Он только что вернулся с районного совещания. Вот так, по-праздничному одетый, стоял он возле двух человек, сгружавших с машины асфальт, и что-то обсуждал с ними.

От свежего асфальта шел пар. Черные смолистые зерна блестели на солнце. Кругом, куда ни повернись — запах асфальта.

Я люблю запах асфальта. Асфальт чем-то сродни цементу. Напоминает мне книгу «Цемент» Федора Гладкова, которую я буквально проглотил, которой восхищался, я еще не мог тогда, наверно, понять ее до конца, был еще мальчишкой.

Последние несколько дней Арон Хаимович, председатель

сельсовета, занят новым для него делом: тротуары, асфальтовые тротуары в селе.

По всем сельским улицам, вдоль заборов, срывают слой земли, обрамляют отрытые полосы кирпичом, засыпают гравием, заливают их асфальтом, и по обеим сторонам улицы тянутся уже вдаль черно-серые асфальтовые тропинки, тротуары.

Мы шагали оба по недавно посыпанным мелом асфальтовым дорожкам, и я наслаждался свежим запахом смолы. Арон Хаимович сказал мне, что точно так же наслаждается он с детства запахом коровьего навоза. Он не знает, кто-нибудь, наверно, не сможет его понять, но ему кажется, что запах коровьего навоза — самый приятный запах на свете. Он вспоминает свое детство, мама в честь субботы обмазала земляные полы у них в доме глиной, замешенной на коровьем навозе. Во всех уголочках пахло родным домом, мамой. Жена его, Соня, как только заходит он вечером домой, уже знает, что сегодня он опять пару часов был на ферме: он любит набраться запахов фермы, запахов молока и запахов коровьего навоза. Запахи, собственно говоря, вещи условные. Запах травы, запах хлеба, запах кожи, запах вина, запах нефти и, конечно, запах стойла. Кому что нравится. Отец его, например, мош Хаим, как звало его село, до опьянения любил запах пыли, пыли от пшеничных колосьев при обмолоте. Он прямо упивался этим запахом, принюхивался к нему, как к лучшим духам. И действительно, где написано, что именно духи — короли запахов? Все это условно. Через вкус к запахам у человека можно иногда понять, что это за человек. Чем он дышит и чем он пахнет. Какой жизнью он живет и чего хочет от жизни.

Если бы Арон Хаимович не сказал бы мне этого, я бы такого в жизни не смог придумать.

Мы оба сидели в его сельсоветовском кабинете и беседовали дальше. Он нажал на кнопку, вделанную в стол, и попросил дежурного, который появился на пороге, принести свежий кувшин воды. Из кувшина он налил воду в стакан с такой торжественностью, будто этот стакан воды предстояло освятить.

Он смотрел, как я пью, и с улыбкой на губах, со своего рода победной улыбкой, казалось мне, спросил:

— Ну?..

Я что-то не понял это «ну», но он мне его тут же пояснил:

— Ну и как вы оцените вот такую вот воду?

Признаюсь: оценить как следует я не могу даже вино. Все вина для меня на одно лицо — вино. Тем более вода. Простая вода. Что тут оценивать?

— Вода. Хорошая вода, — ответил я.

— Э, нет, — Арон Хаимович не был доволен моей оценкой. —

Просто хорошая вода? Выпейте, пожалуйста, еще немножко и прислушайтесь к ней как следует. Пощупайте ее нёбом, кончиком языка. Посмакуйте ее.

— Действительно, отличное холодное питье, — сказал я.

— То, что холодное, неудивительно. — Так и не угодил я Арону Хаимовичу. — Холодной может быть всякая вода. Наоборот, наша вода, когда ее подогревают немножко, лишь тогда она разыгрывается, лишь тогда показывает, чем она обладает. Родниковая вода, товарищ. Кроме минеральных солей, полезных для здоровья, то есть для каждой клеточки, в ней есть все прелести мира, для души, как говорят. И не так просто родниковая вода. Но самая лучшая, наивкуснейшая родниковая вода. Мы откопали ее у одного нашего колхозника во дворе. Маленький родничок, из него еле-еле сочилось. Но когда мы этот родничок раскопали вширь и вглубь, из глубины стали бить такие источники, что не остановишь. Мы вырыли два глубоких бассейна, забетонировали их, герметично закрыли двумя запертыми железными крышками — за одни сутки набирается туда двадцать тонн воды. Из бассейнов мы протянули под землей трубы по всему селу, и каждый колхозник имеет теперь родник у себя в доме. Повернул кран — и пей, и вари, и пользуйся ею на здоровье, родниковой водой, сколько хочешь. Мы подъедем с вами и туда, к двум родниковым бассейнам, тоже. Честное слово, стоит посмотреть.

Потом на машине сельсовета мы с Ароном Хаимовичем поехали смотреть колхозные хозяйства вокруг Пепен. Ездили мы часа три-четыре. Солнце начало уже потихоньку опускаться. Заросшие деревьями долины стали чуть темнее, приобрели остывший темно-зеленый цвет. Холмы и холмики тут и там лишь сейчас, к вечеру, зажглись, как облитые пылающим золотом. Машина бежала и бежала среди бесчисленных высоких виноградных шпалер, между бесконечными рядами яблонь и груш. Посреди садов, под длинной крышей без стен, под крышей на одних столбах, девушки укладывали в ящики сливы. Арон Хаимович подал мне пару слив попробовать с той же торжественностью, как чуть раньше, наверху, у себя в кабинете, подал стакан воды. Рассказывал об этом новом пепенском сорте слив с той же говорливостью, с тем же сочным удовольствием. Мы ехали мимо табачных плантаций. Машина бежала меж длинных рядов желтых «шалашей» табака. Арон Хаимович показал мне механизированные электрические «печи», где сушится зеленый табак. Вошел со мной в большой зал, там, вдоль конвейера, юноши и девушки сортировали высушенные табачные листья, выравнивали их, а автоматический пресс их прессовал, выдавая в

конце конвейера спрессованные и обвязанные, готовые к отправке на табачную фабрику, кипы табака. Уже в машине Арон Хаимович сказал мне, что за высокие урожаи, и на табачных плантациях, и в садах, и на виноградниках, он был награжден орденом Ленина. Теперешний председатель колхоза, сказал он, его ученик, молодой, но очень способный, очень честный, простой, дает себя учить, всегда с ним советуется. И он, Арон Хаимович, спокоен — колхоз в хороших руках, есть на кого положиться. В опущенное окно машины задувал ветерок. Пахло остывающим летним вечером, вечерними запахами полей и садов, спокойствием, чистотой и честностью. Я подумал, что не каждому, как вот этому человеку, возле которого я сейчас сижу, дано взглянуть при жизни как бы со стороны на то, что он сделал, сделал за длинные дни и короткие годы, и на все, что останется после него, когда отпущенные ему дни иссякнут.

Ночевать, разумеется, Арон Хаимович взял меня к себе. Жена его, Соня, Софья Израйлевна, усадила нас обоих за стол в их заросшей «беседке» во дворе, где-то неподалеку от груши. Она обвязала бедра полотенцем и стала в летней кухне жарить перцы, печь синие, подала потом на стол такое, чтобы говорили и помнили. Добрую порцию красного вина для заздравного тоста, разумеется, тоже. Заславские уступили мне свою спальню. Соня приготовила постель, а перед сном, по старинному обычаю гостеприимства, принесла мне тазик воды — омыть ноги.

Утром мы с Ароном Хаимовичем отправились к двум бассейнам родниковой воды. К роднику Заславского, как называют в селе эти родниковые бассейны.

Маленький дворик, огороженный высоким забором со всех четырех сторон. Кроны деревьев внутри по всей длине забора. Высокая дверь с большим замком. Как в сказке. В волшебной сказке — показалось мне.

Мош Цуркан, весь белый — от белых волос на голове, белых-белых бровей, до длинной белой рубахи поверх пары белых же штанов — вышел из своего дома встречать нас со связкой ключей в одной руке и с глиняным кувшинчиком в другой. Я здесь, видно, не первый. Мош Цуркан знает уже без слов, с чем нужно выходить к гостям.

Арон Хаимович сказал мне, что именно в этом дворе, у мош Цуркана, и открыли родник. Теперь мош Цуркан сторожит бассейны, содержит всегда дворик в чистоте, посадил внутри деревца, цветы, следит, чтобы пылинка сюда не упала, и получает за это в колхозе трудодни.

Мош Цуркан отпер замок на двери, снял с крышек бассейнов замки, откинул крышки. Я стоял и любовался ясной, прозрачной

родниковой водой, вглядывался в нее до самого низа, до самой глубины. Мош Цуркан зачерпнул кувшинчик и подал его мне с не меньшей торжественностью, чем Арон Хаимович. Но оценки моей он не спрашивал. Оценку он дал сам:

— Я, знаете ли, повидал мир. Был в Будапеште, в Бухаресте, в Берлине. И нигде, нигде я такой хорошей воды не пил.

Я подумал, что каждый мог бы, наверно, сказать такое о своей воде, которую пьет он всю жизнь. Не каждому, однако, дано чувствовать такое.

Я же эту простую воду почувствовал, как своего рода символ.

Родник Заславского. Родниковая вода. Вода жизни. Или живая вода. Как ее ни назови, все будет хорошо.

Пер. Ю. Цаленко.

ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ

Я стоял на самой вершине Ай-Петри и встречал восход солнца.

Едва брезжил рассвет. Небо над нашими головами здесь, наверху, оставалось таким же высоким, как и в низине. Даже еще более высоким.

Все это должно занять считанные мгновения. В самом деле, сколько длится восход солнца? Мы, однако, провели добрую половину ночи у подножия вершины, вокруг пылающего костра, ожидая, когда проклюнется день. Мы сидели у огня, жались один к другому, кто обняв колени, кто полулежа в траве, кто накинув на плечи легкое одеяло, кто подбрасывая в костер охапки хвороста. Мы отгоняли сон то песнями, то разными историями. Напевали и смотрели, как вокруг нас, вблизи, вдали, вдоль всей лесополосы, отделявшей нас от вершины, пылают такие же костры.

И когда из темноты медленно стала проступать темно-зеленая стена высоких хвойных деревьев, мы все поднялись, стряхнули с себя дремоту, затоптали тлеющие угли, и, взявшись за руки, зигзагом, стали подниматься меж деревьями выше, выше, выше.

Одновременно, словно сговорившись, со всех сторон потянулись вверх сквозь лес десятки стаек. Большинство молодежи. Юноши и девушки с рюкзаками на спинах, пешеходы в запыленной одежде, пионеры из Артека в своих одинаковых панамках, другие юноши и девушки с фотоаппаратами, свисающими с плеча, с лицами, наполовину смеющимися, наполовину еще сонными, словно мамы только что прервали их самый сладкий, самый детский утренний сон. Один я, кажется, был среди них старше. Вдвое, втрое старше.

Мы остановились на самой вершине. Еще шаг — и глубокая, бездонная пропасть. Остановились и молчали. Голова хмельновато кружилась. Возможно, из-за такой высоты, а возможно, из-за красот, которые открылись на много километров внизу, в бездне.

Совсем-совсем близко — казалось, один прыжок, и ты там — как бы прорастая из пропасти, торчали острые верхушки нескольких высоченных, узкогранных, диких скал. Они, видимо, остались торчать, отколотые, когда смешались море, лес, горы и поля. Из сосновых лесов, окаймляющих скалы внизу, ветры, наверное, взвихривают ввысь лесные семена. То здесь, то там растут в расселинах скал старые сосны с горбато-скрюченными

ветвями, подобно оленьим рогам. Черные провалы в трещинах скал, вероятно, огромные гнезда. Орлы в своих гнездах еще спят.

Бесконечно простирается море, где-то далеко-далеко сливаясь с небом. Теперь, утром, море безмятежно. Кутает свои волны, словно плечи, в тонкую прозрачную дымку. Кусок моря синеват, кусок — зелен, кусок — сер, лилов, розоват. Но когда хорошо всматриваешься в море, оно повсюду черное. Особенно у берега, где оторочено яростно-белой пеной прибоя.

Море. Лес. Горы. Извилистые шапки холмов. Асфальтированные дороги, петляющие среди горных лесов. Белые корпуса санаториев. Ряды кипарисов, пальм, кедров. Плоские крыши громоздятся одна на другую уступами, словно ступени. Корабль в море. Пестрые пляжные зонты вдоль берега.

Дымка на волнах тает. Становится все светлей и светлей.

Я стоял на самой вершине Ай-Петри, ждал восхода солнца и думал о тебе, коллега, собрат мой по перу. Мы уже две с лишним недели живем в ялтинском Доме творчества, дверь в дверь. В коридоре тихо и прохладно. Тихая мягкость лежит на коврах под нашими ногами. Прохладным спокойствием веет от штор, затеняющих окна. Сквозь обитую дверь твоей комнаты еле-еле слышен стук пишущей машинки. На моем столе лежит уже несколько дней чистый, непочатый лист, и я завидую коротким, рифмующимся строчкам, которые выскакивают одна за другой из твоей машинки. Как смело, быстро и весело ты их отстукиваешь. Вчера мы с тобой встретились в коридоре. Я предложил тебе подняться с нами сюда. Ты посмотрел на меня; кажется, смерил взглядом с головы до ног; кажется, усмехнулся и сказал:

— Ну костер… Вершина… Ну восход солнца… Я сам могу это сделать лучше!..

Я стоял и смотрел на юношей и девушек, рассевшихся вокруг на валунах, ловил удивление в их взглядах, устремленных к кромке неба, и подумал о том, что ты мне вчера сказал. Я хотел вникнуть в твои слова. Хотел их с чем-то увязать. Я вспомнил, как мои маленькие племянники, столпившись вокруг стула, листали мою только что вышедшую книжку. Новые листы шелестели под их пальцами, свежая краска пахла, рассказики в книжке были с иллюстрациями. Дети переворачивали лист за листом, больше, конечно, рассматривали картинки, чем строки, каждый раз поглядывали на меня, и один племянник, помню, воскликнул:

— Как хорошо быть писателем!.. Можешь сам написать себе какую захочешь книгу!

Нет, не увязывается. Не то сравнение. В том детском преувеличении много мечты, чистоты, капель росы. Я всегда люблю его пересказывать. Оно вызывает радость, смех. Твои же

слова омрачили меня. Хотя в них нет ничего преувеличенного. Ты произнес их взвешенно, деловито, даже как-то лихо.

Наконец солнце начало всходить. Узкая, острая огненная полосочка на небе стала медленно-медленно шириться, круглеть, раскаляться.

Десятки лиц вокруг меня вдруг распалились, засияли. Все рванулись с места, наставили фотоаппараты, встрепенулись, словно это случилось вот сейчас впервые на земле.

Но я стоял и все думал о тебе. Ты не дал мне насладиться. Я поискал другое сравнение для тебя. Однажды, помню, ехал я на месяц в деревню. Сидел в автобусе до отправления и мечтал о грубоватой льняной скатерти на низеньком столе, о торбочке со свежим сыром, висящей на гвозде в сенях, о старушке с добрым морщинистым лицом, хлопочущей вокруг меня, о маленьком оконце в запечье, и главное — о множестве цветов, живых цветов, виднеющихся далеко-далеко за окошком. И вдруг в автобус поднялась девушка с букетом в руке. От больших раскрывшихся цветов как бы стало светлей. Больше того: едва-едва было заметно, что они бумажные. Автобус катил, а я сидел и терзался: кто же из нас прав? Может, эта деревенская девчушка? Цветы за окошком растут сами по себе. А ее цветы кто-то создал, сделал.

Неужто ты, мой коллега, более прав?

Солнце взошло. Взошло без фокусов, обычно, как всегда. Я стоял среди молодежи и так же юно, так же жадно, как все, щурил глаза на солнце, чувствуя его первые лучи, подставляя щеки его нежному рассветному теплу.

Не берусь описать все в точности. Не хочу даже глубоко вдаваться в смысл ежедневного восхождения уймы людей, чтобы встретить рассвет. У меня для этого одно-единственное слово: жизнь.

Люди стали расходиться. Десятки юношей и девушек рассыпались по склонам Ай-Петри. Встречный ветер раздувал белые кофты, трепетал в красных галстуках, теребил зеленые рюкзаки за плечами. А я все думал о тебе. Далеко-далеко, за тем крохотным деревенским оконцем, пахли живые, растущие цветы.

Погоди-ка: тот красивый букет в автобусе разве пахнул?

Ты теперь, наверное, тоже встал. Быть может, сидишь уже за столом. Короткие рифмованные строки выскакивают из твоей машинки быстро, смело и весело. Ты сам себе выстукиваешь восход солнца покрасивей.

А есть лучи у твоего восхода?

Нет, друг мой, правы живые цветы.

Пер. М. Хазин.

ЗДЕСЬ

Слово среди многих других коротких слов. Один звучный слог. Всего каких-то пять буквочек.

Оно вздымает в душе твоей простор и тоску. Самые сильные и нежные привязанности. Радости и печали. Все годы и все мгновения твои.

Здесь. Отчий дом. Узел, в котором завязалась жизнь. Твоя жизнь.

Не каждому, наверно, суждено глубоко прочувствовать в себе это короткое волшебное слово. Быть пронизанным этим словом, слитым с ним. И тот, кому это не дано, уже от себя самого не убежит, самого себя не перепрыгнет. Он уже такого нигде и никогда не почувствует. Душа его всегда будет блуждать между небом и землей, между здесь и там. Как вырванное дерево, будет он вянуть, сохнуть, и своего Здесь уже никогда и нигде не найдет.

Эти мысли у Боруха Пинкуса не новые, наоборот, в последние пару лет часто думанные, хорошо обоснованные и накрепко укоренившиеся в нем, сегодня, в утренние часы, роились в его голове с особенно сильной болью. И с сильной болью, и с гневом.

Он натянул брюки, воткнул в шлепанцы босые ноги; стоял перед книжным шкафом в одной распахнутой рубахе. Он уже два дня не брился, не ходил в свою мастерскую, кисти в руки не брал. В полдвенадцатого отходит поезд. Бася встала сегодня рано, звякала на кухне посудой, убрала в передней, чистила на балконе щеткой пальто как ни в чем не бывало, как будто сегодня день как все дни. Перед уходом на работу она подошла к его постели, склонилась над ним, поцеловала и сказала: «Ну, одевайся, побрейся, не будь упрямым, это же брат». Поцеловала и тем не менее назвала упрямым. Как она не понимает, что эти дни для него — черные дни? Именно потому, что это брат. Ладно он, брат, Залмен, не хотел понять, не мог понять, не дал даже говорить. Любой, самый маленький разговор между ними сразу же приводил к ссоре. А каждую ссору Залмен заканчивал хватаясь за сердце, глотая таблетки. Залмен плохой? Нет. Глупый? Кажется, тоже нет. Он попал в эту несчастную круговерть и даже родному брату не дал себя вытащить. Но она, Бася? Ведь с нею, с женой, столько лет связан Борух Пинкус одной плотью, одной мыслью. Все это они за последнее время не один раз обговаривали. Его мысли это и ее мысли. Почему же она воспринимает это вот так-вот, легко и просто, как ни в чем не бывало? Она отпросится на час с работы и придет на вокзал. «Послушай меня, — сказала она, — побрейся и приходи тоже. Это же брат. И это же навсегда».

Как не понимает она всю глубину трагедии? Нет. Он к поезду не пойдет. Именно потому, что это навсегда. И именно потому, что это брат.

Борух Пинкус стоял перед книжным шкафом и вместе с думами, что перелистывались в эти утренние часы в его голове, стал листать в руке книгу стихов, которую ночью все читал и читал. Одно другому не мешало. Наоборот: два измерения объединились, свернулись, приобрели глубину, взлетели вверх, увеличились. Он листал стихи за стихами, шептал тут строку, там строку. И хоть нужные ему строки были уже подчеркнуты в книге, и хоть он знал их уже наизусть, тем не менее, не спеша перелистывая, добрался он до них, приблизил книгу к глазам и, будто распевая псалмы, вычитал оттуда:

Из далей всех,
Что видел я без мер,
В сиянье солнечном увидел:
Это здесь
Мой дом большой —
СССР!

Вот так-вот, тоже не наизусть и тоже, приблизив книгу к глазам, вычитывая слово за словом и указывая на слова пальцем, чтобы Залмен, значит, видел черным по белому, прочел он эти строки Залмену. При их последней ссоре. Залмен сидел напротив него со сложенными на груди руками, обе ладони под мышками, скорчившийся, узкогрудый, несколько мгновений он молчал, а потом побелевшими губами произнес: «Здесь — не здесь, ерунда». Боруха аж подкинуло со стула: «Подожди, мы ведь, кажется, два брата, от одного отца. Почему же ты не помнишь, что говорил отец? Почему ты не помнишь радость отца, счастье отца? Что стало с тобой?» Золовка, Мальвина, подала Залмену стакан воды, назвала его, как всегда, Зямочка. Она, как всегда, сладенько выпевала свои речи, а Залмен, как всегда, этой сладости поддакивал, кивая головой. «Зямочка, что ты споришь с ним? Разве два брата не могут быть разными людьми? Ты же знаешь, что он витает всегда в небесах».

Борух уселся обратно на стул, собрался с духом и спокойнее, «приземленнее», начал тем не менее снова тыкать пальцем в тот же стих, но уже в другие четыре строчки. Более близкие, можно даже сказать, братские. Он говорил мягким голосом, с болью: «Послушай, Залмен. Ты ведь, кажется, не глупый. Я говорю с тобой как брат с братом. Я понимаю — воссоединять семьи. Ведь так называется это в мире, но семьи ведь дробятся и ломаются.

Ты знаешь это так же хорошо, как и я. Дети, бывает, оставляют старых родителей, мужья — жен. Я не говорю уже — брат брата. Потом оказываются где-то под Бостоном, или в какой-нибудь Австралии, или еще черт знает где. Помнишь, Залмен, как мы во время войны искали друг друга? Как жались мы друг к другу, когда после войны нашлись, вернулись сюда. Помнишь, какая была радость, когда вдруг объявился Шмулик дяди Довида? Еще один Пинкус вместе с нами, в нашем обжитом поколениями Здесь. Ладно уж простой человек не понимает, не чувствует, что он игрушка в руках дьявола. Но ты, Залмен, ведь не простой человек. Ты же человек с образованием, человек, кажется, с головой на плечах. Помнишь, как наш отец, жестянщик, был на седьмом небе, когда ты закончил институт, получил это образование? Помнишь, как отец сиял, когда мы, все вместе, собирались у него на майские праздники или в октябрьские дни? Что за напасть на нашу семью? За какие грехи должны мы снова терять друг друга? Вот послушай, Залмен, эти строки нашего большого еврейского поэта. Прямо будто он сидел сейчас вот здесь, среди нас, как будто переболел нашей семейной болью. «Рассеялось опять, расплылось, разметалось, что уже вместе собралось…» Ай, Залмен, Залмен…»

Залмена побелевшие губы слились с бледным лицом, еле заметно подрагивали. Он вытащил ладони из-под мышек и без слов, пожимая плечами, развел руки. Мальвина пропела: «Зямочка, что он хочет от тебя? Что такое, ты не даешь ему разве быть с нами вместе?» А Залмен, молча поддакивая ей, кивал головой. Это снова подкинуло Боруха со стула. Все. Пропало. Брата он теряет. Это, наверно, и означали разведенные руки Залмена. Борух схватил книгу, сунул ее под мышку и направился к двери. Из боковой комнаты вышел Роберт, Залмена сын, племянник Боруха. Роберт в последнее время отпустил себе бородку. Редковато-черная заостренная бородка парнишки из ешибота — не хватает только, чтобы сверху, по обеим сторонам, вились пейсы, заложенные за уши. Роберт вытащил книгу из-под дядиной руки, полистал ее и рассмеялся: «Дядя, разве жаргон это язык? Это же исковерканный немецкий!» Сорвалось слово «ничтожество», слово «невежда». Потом в ответ: «Идите. Идите отсюда!»

Борух Пинкус сейчас, в утренние часы, шагал по комнате от стены к стене. Стены то раздвигались, исчезали — простор и тоска расстилались во всю свою длину и ширину; то снова вставали перед ним, жали и щемили — он вышагивал между ними боль и печаль о потерянном брате.

В полдвенадцатого поезд отходит.

Может, с Залменом надо было говорить иначе? Мягче. Терпеливее. Чаще. Убедительней. Может, он его, как лекарь больного, должен был деликатно выспросить, где болит? А может, наоборот, следовало накричать на него посильнее, как старший брат на младшего, который делает глупости, хотя прекрасно знает, что делает глупости? Может, надо было отхлестать его по щекам, чтобы он пришел в себя, как хлещут упавшего в обморок? Все это он, кажется, делал. Может, недостаточно? Все. Поздно. Сейчас он может его как брат брата только жалеть, только посочувствовать ему.

Ай, Залмен, Залмен…

Борух Пинкус пошел в ванную и стал бриться. На лице своем в зеркале, сейчас отчетливей, чем всегда, увидел он все морщины и морщинки отца, брови отца, точно тот же самый лоб, те же отцовские глаза. Что бы отец сказал, узнай он про эту выходку Залмена? Он бы, возможно, молчал, как молчал в горе всегда, тихо рвал бы на себе одежды, посыпал голову пеплом.

Отец прожил нелегкую жизнь. Горькие годы войны, трудные послевоенные времена. Но каждый недостаток в отдельности и все тяготы вместе он, простой жестянщик, принимал с пониманием, понимал с любовью. Глаза его, всегда затянутые усталостью и заботой, откуда-то глубоко изнутри постоянно светились радостью и счастьем. Слово «советское» было у него самым гордым и самым высоким словом. В сочетании со словом «Бессарабия» — его выстраданной, свершившейся мечтой.

В хорошую минуту свою, в радости, мама любила рассказывать, как в годы эвакуации, в далеком узбекском кишлаке, однажды, тяжелым и голодным зимним днем, отец вдруг сказал: «Слышишь, Броха, мы забыли важную вещь. Надо было взять с собой в торбочке немножко бессарабской земли». Она вытаращила на него глаза и назвала его сумасшедшим: «Сказал бы хоть, хороший кусок бессарабской мамалыги».

Отец, вернувшись домой, радовался каждому новому окну в каждом разрушенном доме. Смотрел, сияющий, на каждый лучик света в каждом восстановленном здании, как будто восстанавливались его собственные имения, собственные владения его. Вместе с нами, с детьми, на открытые четыре стены уложил он потолок, приколотил стропила, старыми кусками жести покрыл крышу. И по этой бедной квартире, где дверь была пока сколочена из пары досок, окно заделано кусочками стекла, расхаживал он как царь по своему дворцу, гордо называя свой дворец и — отчий дом, и — Здесь.

Ай, Залмен, Залмен…

Как можно взять и поссориться с таким отцом? Как можно

взять и осквернить такую мечту отца, такую светлую память отца? Как можно вот так-вот бросить могилы таких родителей?

Есть на свете писатель Габриель Гарсиа Маркес. В его книге «Сто лет одиночества» герой хочет оставить маленькое селение, которое он, вместе с женой, несколько лет подряд помогал строить где-то в дикой глуши. Отвечает жена: «Нет. Мы вложили сюда наш пот, наше сердце. Это наш дом. А дом не бросают». Муж говорит: «До тех пор пока нет у нас здесь могил, оно еще не может зваться домом». Отвечает жена: «Я готова сама превратиться в первую, могилу, лишь бы дом наш назывался домом!..»

Ай, Залмен, Залмен…

Ну, а могилка твоей двенадцатилетней Фирочки, которая в своих школьных тетрадках писала уже стихи, воспевала деда и его осуществленную мечту? Ты эти могилы хоть сфотографировал? Или тебе достаточно, что мы, я и Бася, в поминальные дни обмоем могилку твоей дочери, весной покрасим штакетник, посадим цветочки на вскопанном вокруг клочке земли? Или все эти вещи тоже означают у твоей Мальвины витать в небесах? Ай, Залмен, Залмен…

Борух Пинкус подставил голову под кран, одной только холодной водой умыл лицо, освежил шею, вымылся по пояс. Затем надел свежую рубашку, обулся, взял в руку пиджак и вышел на улицу.

Он пошел пешком. Влажный туман, что с утра окутывал город, начал подниматься, таять, открыл девятиэтажные и шестнадцатиэтажные здания, поставленные углом справа и слева, вдоль обеих сторон, улица за улицей. Люди ходят уже все без пальто. Полотнища травы, молодые побеленные деревца уже зеленеют. Опять весна. Здешняя, родная весна. Борух сейчас выше обычного задрал голову вверх, к высоким зданиям. Белые, новехонькие, с солнцем, разыгравшимся по всем их окнам, они, квартал за кварталом, улица за улицей, то удаляясь, то приближаясь, кружили перед его глазами, как взявшись за руки. Как белые невесты с той сияющей прелестью на лицах, какая бывает только у невест. Отец все эти кварталы уже не видел. Тогда здесь еще было пустое заброшенное место. В нескольких проектах этих домов заложена и Залмена доля тоже. Как может человек отвернуться от такой родной красоты? Как это берет человек и сам себя поджигает? Еще хорошо, что отец не дожил до этого пожара.

Больше часа кружил так Борух Пинкус по новым улицам и кварталам, надышался воздуха и солнца и наконец остановился с ключом в руке перед дверью своей художнической мастерской.

Первым делом он подтянул гирю старых резных часов с кукушкой на стене, встал на табурет, вызвонил часы, качнул маятник. Остановившиеся стрелки передвинул на три четверти одиннадцатого.

Мастерская начала дышать. Борух сменил брюки — надел свои заляпанно-цветастые рабочие брюки художника. Он взял веник, вымел мастерскую, стер везде тряпкой пыль. Издалека, из угла, бросил взгляд на незаконченный девичий портрет на натянутом на весь мольберт полотне. Остановился и стал смотреть на портрет отца, что так и висит здесь все годы наверху под длинным узким окном мастерской у самого потолка. Смотрел на отца — смотрел на себя.

Потом он просто так полистал пару альбомов со своими репродукциями, листал книги, иллюстрированные его графикой. Затем поднялся по лесенке на галерею-балкончик в мастерской. Часы на стене прокуковали одиннадцать.

На балкончике рядами, сериями — его полотна в больших и меньших рамах, полотно к полотну, рама к раме, как корешки книг в книжном шкафу. В них вписывал он свою жизнь, свою и своего отца мечту, свое и своего отца Здесь. Его полотна не раз вывешивались в сельских колхозных клубах, выставлялись во Львове, в Новосибирске, в Москве. Лучшие из них находятся в государственных музеях. Некоторые картины его висят на стенах у товарищей, у друзей. Радость людей — это его радость, она умножает его радость, его счастье, его жизнь, его причастность к слову Здесь.

Здесь.

Борух Пинкус стал выносить местечковую серию — воспоминания детских лет. Полотна он расставил на полу полукругом, оперев одну раму о другую. Он уселся напротив, под окном, под портретом отца, в низкое широкое кресло, куда сажает он всегда дорогого гостя.

Замшело-зеленая дранка на крышах, черно-синяя перекошенная дверь, домик, опоясанный огненно-красной завалинкой.

Тощий портняжка в развевающемся кафтане, заломленный козырек на лбу, порхает в воздухе; по местечку, внизу — разбросанные буквы: «Хаим-Зейлик — врунишка». От портняжкиных глаз под козырьком веет фантазией и поэзией.

Дедушка. Высокий. С рыжей длинной бородой, аж сапоги дедушкины рыжие.

Побеленная передняя стенка осеннего молдавского винного погреба.

Свадьба в местечке.

Похороны — черные простыни, белые-белые лица скорбящих.

Старушка — сплошная шаль. Две длинные жилистые руки свисают из-под шали, касаются кончиками пальцев земли.

Соседи, один возле другого: один сосед в талескотне, другой в строченой молдавской телогрейке, в высокой остроконечной кушме на голове.

Три мальчика в косоворотках.

Два посиневших румынских жандарма швыряют между собой, как мяч, голого окровавленного юного паренька.

Днестр, загибающийся коленом, на одном берегу черный лесок, на другом — виноградный склон.

Целое местечко стоит на берегу Днестра в один ряд, ноги — шаг в воду, распростертые руки тянутся к тому берегу, с той стороны подплывает сюда лодка с тремя красноармейцами, с красно развевающимся флагом.

Здесь.

Борух Пинкус стал сносить с галереи военную серию, серию гетто. Полотна он выставлял по кругу, заслоняя ими прежние. И опять уселся в кресло напротив.

Местечко горит.

Два эсэсовца, склонившиеся над колодцем; колодец доверху закидан стариками и старухами; ведро в воздухе — зевом вниз, раскачалось, как колокол; вокруг ведра — разлетевшиеся буквы: «Г»… «В»… «А»… «Л»… «Д»… !..

Толпы, толпы всевозможных спин, гонимых в Транснистрию. По обеим сторонам дороги обугленные поля; справа, в долине, горюющая деревушка; слева ряд орехов, ветер треплет их ветви, с листьев капают слезы; за гонимыми толпами — трупы: старики без рук и без ног, грудные дети в распотрошенных пеленках, беременные женщины — животами вверх, как застывшие посреди родов; меж мертвыми на узком кусочке пергамента — «Никогда не забудем!».

Красноармейцы за танком штурмуют стену; пятнами черных зарешеченных дыр-окон по всей стене разметалась свастика.

Лес. Партизаны в подпоясанных полушубках возле землянки. Лесная чаща заснежена. Наверху кроны деревьев одеты в красное цветение.

Три высокие трубы. Крематории. Меж тяжелыми черными бичами дыма вращается земной шар, на кирпичах труб намечены звериные морды Гитлера, Геббельса, Геринга.

Красноармеец с автоматом за спиной, в промокшей гимнастерке, склонился к кувшину воды в руках старушки.

Разлетевшиеся складки венгерских платьев мелькают вокруг красноармейца с гармошкой в руках.

Советская Армия на разрушенных варшавских улицах.

Два красноармейца взламывают ворота Освенцима, полосатые тени-скелеты тянутся к ним длинными сияющими пальцами.

Борух Пинкус сидел напротив собственных полотен своих, опершись лицом о ладонь, в низком широком кресле, куда он сажает всегда гостей, и смотрел сейчас на полотна, как кто-то другой, как не он сам. Сейчас он видел в них скорее «что», чем «как». Всеми этими видениями мучился он не один день, почти везде сам все видел. Сейчас больше обычного думал он о том, что он и его семья, и все его оставшиеся в живых близкие, и весь народ его до единого, все были бы уничтожены, были бы стерты с лица земли. И больше обычного думал он сейчас о том, кто спас от уничтожения, кто уничтожил уничтожителей. И сколько труда и скольких мук это стоило. Двадцать миллионов жизней. Какие реки крови!

Борух Пинкус снова поднялся по ступенькам на балкончик и стал носить оттуда портреты и пейзажи. Все свободные уголки мастерской заполнились, рама к раме, близкими и любимыми, близким и любимым. Образы рабочих людей и образы ученых. Еврей — председатель колхоза. Близкий друг скульптор. Певица. Три девочки-цыганки. Молдавский поэт. Швеи на швейной фабрике. Молодые студентики. Сталелитейщик. Пейзаж с виноградником. Сады. Мост через Днестр. Уголки нового города. Кавказские ландшафты. Портрет Баси. Двенадцатилетняя племянница Фирочка. (Ай, Залмен, Залмен!..)

Кукушка на стене кукукнула один раз. Полдвенадцатого. Залмен исчезает сейчас в дальних далях, растворится там, как растворяется горсточка соли в кипящей воде. Он, Борух, стоит в эту минуту, окруженный своим Здесь, и будет так свое великое Здесь писать и писать дальше.

Борух Пинкус взял в руку кисть, выдавил из тюбика немного краски, разбавил краску парой капель масла, потом приблизился к свежезаконченному полотну на мольберте.

Девушка на полотне, с гладко зачесанными волосами и глазами в глубоком раздумье, похожая на Хаю Лившиц, после еще нескольких новых мазков начала жить. Ее глаза наполнились радостью. Радость эта отразилась, разрослась и умножилась на лице ее создателя.

Пер. Ю. Цаленко.

КРУГИ И КРУЖОЧКИ

Анатолий Иосифович идет домой с работы. Он любит ходить пешком. Работает он в научно-исследовательском институте. Часами сидит согнувшись над книгами; стоя в белом халате в лаборатории, взвешивает что-то зеленое, микроскопическое на крошечных весах — едва язычок их дрогнет, Анатолий Иосифович взбалтывает эту красоту в стеклянной пробирке, заполняет целые страницы математическими формулами, ищет, умножает, зачеркивает. И когда подчас садится в изнеможении, просто так, передохнуть немного, он и тогда не отдыхает. Его вздымает в воздух, он рвется вверх, вверх — десятки километров в секунду, выше, выше. Земля остается где-то в стороне, отчужденная, маленькая — в детскую ладошку уместится. Далекие таинственные миры становятся ближе, понятней, поддаются ему, доступны для общения. Он носится среди них в пространстве по-свойски, чертит большие круги.

На улице сентябрьский вечер. День сегодня был жаркий — тихий вечерний ветерок холодит и освежает. Люди на тротуарах одеты еще по-летнему — голые загорелые руки, бойкость в глазах, благоприобретенная где-то на море или в горах.

Ряды каштанов на бульваре сбрасывают с себя листья не спеша, неохотно, редко-редко листочком пожертвуют, и все-таки стали за день тоньше и жиже. Кто-то мертвые листья смел в кучку, поджег, и кипы листьев тлеют, вспыхивают и гаснут, дымятся, напоминая сухие лепешки навоза на пути деревенского стада. Дым держится низко над землей, витает, кружит, а то повиснет и вдруг запорошит глаза по-земному бесцеремонно, по-земному нагло.

Люди ждут троллейбуса. Люди высыпали на улицы. Парень задрал голову к балкону и что-то кричит. Киоск «Вина-воды» плотно окружен. Две девушки смеются. Два школьника с портфелями в руках гоняются друг за другом.

Анатолий Иосифович чувствует, как усталость покидает его, уступив место невыносимой будничности. Через окна магазинов он видит, как люди галдят в очередях за селедкой, за колбасой. Точечки. Маленькие серые точечки. Дверь ему отворит будничная теща. Со сладким приветствием примет, как всегда, пальто у него из рук, назовет его Толик, Толечка, как будто он вернулся домой из детского сада. Позавчера Вовка начал ходить в школу. Друзья семьи завалили его подарками: форменный костюмчик, фуражка, ранец, пеналы. Баловень Вовка. Роза любит гостей. Ей доставляет радость накрытый стол. Ей доставляет радость собственное

хлебосольство. Она весело смалывает кофе в электрической кофемолке. Она испытывает истинное удовольствие, когда Анатолий Иосифович, сидя среди гостей, шутит, смеется. Все хорошо, замечательно, но для него в этом нет праздника. Точечки, маленькие серые крапинки. Его праздник там. В усталости его. Среди высоких и тихих институтских стен. В конце концов, не каждому дано в таком еще молодом возрасте внедряться в небеса. Он, безусловно, в институте не первый, не единственный. Но и он причастен. Что может сравниться с радостью от бурения глубочайших глубин, от поиска в высочайших высях? Чтобы все как на ладони, чтобы мир вокруг стал невероятно огромным, невероятно просторным. И круги, миллионокилометровые круги станут дорогами, станут мостами. Необыкновенно! Колоссально!

Анатолий Иосифович звонит в свою квартиру. Как и следовало ожидать, дверь ему открывает теща — он ее зовет мамашей.

Но что-то слишком быстро вырывает она у него сегодня пальто, хватает его за руку и, поднеся палец ко рту, двигаясь как-то чересчур порывисто и легко, тянет его за собой внутрь квартиры.

— Что случилось?.. Ну говорите же…

— Ш-ш-ш… — сияет она, — идем. Идем, сам увидишь.

Дома ничего не случилось: Вовка сидит у стола и готовит уроки. Облокотись на другой край стола, стоит, согнувшись Роза, стоит так, похоже, уже давно. Ее напряженные ладони подпирают разрумянившиеся щеки. Она кажется разгоряченной и взволнованной. Роза поднимает на мужа празднично сияющие глаза и переводит это сияние на ребенка, на Вовика.

— Что произошло?

— Ш-ш-ш…

Вова не поднимает головы от тетради. Лоб у него вспотел. Выражение лица — возбужденно-сосредоточенное. Макая перо в чернильницу, прикусив кончик языка, он осторожно и усердно выводит на строке кружочки-колесики. Одно колесико за другим. После каждого кружочка он переводит дух, моргает с удовлетворением, набирает воздух и выводит следующее колесико. Вот-вот доколесит до последней строки.

Воплощение будничности — теща, стоя позади Анатолия Иосифовича и теребя край передника, тянется к зятю:

— Ну? Что скажешь, Толик?.. Мне бы его золотые руки!..

И Роза тихонько шепчет мужу, касаясь локтем его рукава:

— Я так боялась, дорогой… Но взгляни только, с какой любовью он это делает, с каким упорством…

Анатолий Иосифович только теперь заметил, что в квартире сегодня зажжены все лампы.

Пер. Е. Аксельрод.

ДВА ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЯ

Первый из этих двух героев вообще первый литературный герой в истории человечества.

Ему мы обязаны возникновением того непостижимого удивительного явления, которое называется «литературой».

В самом начале, несколько тысяч лет назад, «литература» о нем передавалась из уст в уста, потом она зазвучала у амвонов, записанная на свернутых пергаментах, а еще позже заняла место на миллионах книжных полок.

Автор этого первого литературного героя так мастерски его создал и отшлифовал, так гениально вдохнул в него жизнь и душу, так художнически угадал его, что тот — не более, в конце концов, чем выдуманный литературный персонаж — начал овладевать всем миром, да, читателями и нечитателями, стариками и младенцами, с колыбели до гробовой доски.

Ему начали служить, ему начали льстить, его стали бояться, строить для него жертвенники, исполнять его приказания, чувствовать его постоянно рядом с собой, ложась и поднимаясь, воздавать ему хвалу, умирать с его именем на устах.

Кто был тот, кто создал этого первого литературного героя? Никто никогда этого не узнает. Может быть, авторов была целая толпа. Может статься. Но счастлив был этим величайшим озарением несомненно один-единственный — Поэт этой толпы. Толпа его озарение подхватила, понесла, обогатила, утвердила в песнопениях и плясках.

Но Поэт наедине с собой присматривался к косым дождям, которые текли с небес, к мокрым листьям на ветках, к солнцу, восходящему над всем этим, к вечерам и к утрам — и только он единственный, Поэт, тихонько, то ли для себя, то ли для других, прошептал:

— Бог!

Этого первого литературного героя автор его — Поэт не пожелал изображать зримо, так чтобы его могли видеть и осязать. Он создал своего героя таким, чтобы его можно было только чувствовать. Поэт понимал, что чем более сокрыто, загадочно будет лицо его героя, чем выше поместит он его в небесах, тем сильней окажется художественное влияние этого героя: если каждый человек будет представлять его на свой лад, тем больше будет внимать ему, верить ему.

Поэт, творец, создал героя своего по своему образу и подобию — подарил ему свою душу, свою мысль — сделал его творцом.

Первое деяние, которое он ему поручил, всего-навсего — сотворение мира.

Первый момент, который он вложил в его уста, был самым коротким и самым благодатным:

— Да будет свет!

Поэт не сотворил его добрым. Поэт не сотворил его злым. Он сделал его и добрым, и злым. Доброту и недоброту своего героя поэт не стал примитивно отмерять. Он связал их одну с другой, вплел одну в другую.

Вот этот герой благодушен и мягкосердечен, а вот он мстителен и жесток. Не успел он сотворить мир, как вздумал слегка вспрыснуть его потопом. Вот он говорит: «Возьми сына твоего, единственного твоего… и принеси его во всесожжение!..» И вот он останавливает жертвоприношение устами ангела: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего!..»

Своего героя Поэт так гениально выдумал, что почти никому за сотни лет не пришло в голову, что он выдуманный.

Первый литературный герой пережил не только Поэта, создавшего его, но и сотни поколений после него. Пережил не просто как литературный персонаж, так сказать, абстрактно, по-книжному, но буквально, видящим и слышащим, знающим, что делается в каждом уголке каждого дома и в каждом уголке каждой души. Вечным, Всемогущим, Царем царей. Одним словом, бессменным хозяином и властелином всего мира.

Как у древнейшего, наверно, очень наивного художника, хватило таланта, художественной смелости, фантазии и интуиции, чтобы вылепить образ такого воздействия и такой живучести, откуда взялись такие богатые и тонкие художественные средства, до которых после, через много столетий, медленно дошло искусство, литература, в частности?.. Это трудно понять. Почти невозможно.

Конечно, этот первый литературный герой, этот образ бога, каким мы знаем его теперь уже по Библии, по пророкам, по многочисленной письменной литературе, приобрел новые качества и краски у других, более поздних художников. Но все равно его создание остается литературным чудом, непостижимым волшебством.

Чудом, которое до сегодняшнего дня профессионально очень мало или совсем не исследовано.

Они не сравнимы, эти два героя… Второго зовут Дон Кихот. Я уверен, что этот герой будет жить и воздействовать на людей, так долго, как долго будет существовать и жить человек.

Сервантес вовсе этого не подозревал. Он и не думал столько вложить в своего героя. Обычно художник вкладывает в свои

создания больше, чем из них извлекают. Смешно полагать, что истолкователь умнее создателя. Художник играет подчас в простачка, дело которого — сторона. Я тут, дескать, ни при чем. Так ему интереснее. В конце концов поймут, что это не больше чем игра. А пока он не спрашивает, он только слушает, смотрит и извлекает больше, чем если бы он и в самом деле спрашивал. Оттого что он открыто не заявляет о своих мыслях и намерениях, они становятся только глубже. Сервантес, как каждый подлинный художник, достаточно вложил в своего Дон Кихота. Но снова случилось литературное чудо. Извлек мир все-таки больше. В десять раз больше. В сто раз больше. Извлек донкихотство.

Дон Кихот стащил с чердака заплесневевшие, давно вышедшие из моды рыцарские доспехи, по-рыцарски воссел на свою кобылку и с неизменно верным, неизменно добрым Санчо Пансой позади пустился но миру играть комедию — пусть люди видят, как потешны писатели — современники Сервантеса, пишущие рыцарские романы, в то время как рыцарство плесневеет на чердаке, как вообще смешны и безмозглы, те, кто хочет во что бы то ни стало воскресить умершее, кто прямо ногтями вцепляется в отзвучавшее, отошедшее, отжившее.

Тогда, под горячую руку, и в этом было достаточно смысла. Разве известно, что Сервантес хотел сказать больше? Может, да, а может, нет. Но со временем мир в этой игре в Дон Кихота увидел больше и почувствовал больше.

Увидели, что Дон Кихот — род чудака, фантазера, мечтателя, род борца, род влюбленного, род насмешника, род господина и род слуги, увидели в нем скромность и гордость, мягкость и вспыльчивость, род того и род другого — и все это вместе представляет донкихотство. И из этого донкихотства состоит человек. Вечное в человеке. Непреходящее.

Со временем мир стянул с Дон Кихота прежнее шутовское облачение: клоунский колпак, горделивый проволочный панцирь, рыцарские сапожки выше колен, цветные лампасы, шнурки, ленты и прочие бирюльки. Дон Кихот остался голым. И в своей наготе он перестал быть собой — тем самым, с удлиненно-костистым лицом и с хитроумно стриженной острой бородкой. Он начал быть нами: мной, тобой, ею.

А после и вовсе лишился плоти и крови, сделался только понятием, только символом, только характером. От Дон Кихота осталось донкихотство.

И каким парадоксальным и неприятным это ни казалось бы, но именно эта деконкретизация, обобщенный литературный образ живет среди нас и влияет на нас. Живет уже сотни лет, все углубляется, ширится, распространяется и как понятие, как норма

будет жить так долго, сколько будет жить человек, так долго, покуда останется жизнь на земле.

В каждом отдельном случае донкихотство наполняется своим особым смыслом. Потому что оно содержит в себе столько многосторонне-человеческого и столько вневременного человеческого, вбирает в себя прямо противоположные явления, и хватит его навсегда. Донкихотство.

Глупец наряжается в генеральские погоны и аксельбанты Николая Второго, размахивает шпагой, из кожи вон лезет, чтобы кровью и слюной приклеить оторванные календарные листки. В то время когда «мы, Николай II» уже давно не «мы, Николай II». На петербургских улицах хозяйничают рабочие и матросы в остроконечных полотняных шлемах, украшенных красными звездами. Никогда никакой календарь в истории не поворачивал вспять.

Глупца подмывает жечь города, рубить головы, раздувать газовые крематории, очищать землю от народов, взрывать атомные бомбы, ему не терпится погубить мир.

Мечтатель грезит о таком мире, который кажется не более чем нереальным сновидением. Мечтатель жаждет, чтобы повсюду был свет, хочет озарить электричеством любую страну, в которой пока темно. Мечтатель твердит о тех далеких временах, когда волк и ягненок поймут и возлюбят друг друга.

Мечтатель хочет дать миру хлеб, мудрость, красоту, истину.

Если бы не мечтатель, который постоянно слышит: «Бред, донкихотство», мы бы и по сей день сидели по вечерам при восковой свече. Не исключено, что и до восковой свечи еще бы не додумались. И разумеется, не знали бы ничего о том, например, что называется «телевидение», и тем более, и тем более не отважились бы ринуться в глубь небес.

Дон Кихот? Это мечтатель, это человек!

Два великих литературных героя.

Бог и Дон Кихот.

Первый литературный герой начал жить и воздействовать на людей с той поры, как человек поднялся на ноги, стал человеком.

Второй литературный герой будет жить и воздействовать так долго, пока человек будет стоять на ногах, останется человеком.

Пер. Е. Аксельрод.

МАЛЕНЬКИЕ НОВЕЛЛЫ, ДЕТСКИЕ МОТИВЫ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ МИНИАТЮРЫ

МАЛЕНЬКИЕ НОВЕЛЛЫ

СТАРАЯ ВЛЮБЛЕННОСТЬ

Пожилой человек любит сильнее, чем молодой…

Мари Дюпен — бабушка Жорж Занд — в письме к внучке

Старая жена старого профессора слегка простыла. У нее болело горло. Она покашливала, и у нее даже чуть-чуть поднялась температура.

Весь дом отдыха не мог надивиться на старого профессора, который метался из конца в конец коридора перепуганный и только и знал, что таскать к жене докторов, три раза в день он носил в комнату еду, и ее, и свою, чтоб сидеть и есть вместе. Целые сутки глаз не смежал, даже не раздевался, дремал на стуле возле кровати жены, держа ее руку в своей.

Старый профессор — известный востоковед, знаток языков. Когда я услыхал, что жене его полегчало, я остановил его в коридоре — давно хотелось перекинуться с ним несколькими словами. Но говорил профессор только на одну тему — о своей «голубке».

— Посмотришь, кажется, маленькая, щупленькая, катаракты на обоих глазах, а сама все годы, дай ей бог здоровья, не жила, а горела. Кто, вы думаете, создавал первые колхозы в стране? Она, моя Фирочка. Ну а в девятнадцатом году? Вам ведь, наверно, встречались две прибитые крест-накрест дощечки на дверях комитета комсомола и надпись сверху: «Все ушли на фронт»? Моя Фирочка своими собственными руками эти слова писала. Голубка моя…

Тогда-то, в комсомоле, мы и встретились и до сих пор, можно сказать, дня не провели врозь. По воскресеньям садятся вокруг нашего стола, не сглазить бы, семнадцать душ. Два сына и три дочери, три зятя, две снохи и пять внучат… Голубка моя…

…Фирочке сегодня уже немножко лучше. И мы вспомнили одну вещь и так хорошо посмеялись. Как вы думаете, что же нас рассмешило? А то, как мы тогда, в комсомоле, объяснились друг другу в любви. Мы были молоды, чисты, счастливы, ум наш занимали, разумеется, совсем другие дела. Но и это, очевидно, было у нас на уме. Только будто само по себе, без нашего участия.

Однажды я набрался смелости и подошел к ней. Я чувствовал, как к лицу у меня попеременно приливают то жар, то холод. Клянусь честью, если не верите.

— Фира, — пробормотал я, — я решил тебе сказать…

— Молчи, — перебила меня Фирочка, — знаю, что ты хочешь сказать. Лучше помолчим. Молчать красивей.

— Откуда ты знаешь, что я хочу тебе сказать?

— Знаю.

— Знаешь или догадываешься?

— Нет, я знаю.

— Как же ты можешь знать?

— А вот так, знаю.

— Нет, не знаешь.

— Нет, знаю.

— Нет — нет…

— Нет — да…

— Если знаешь, так скажи-ка, что знаешь.

— Ты хочешь сказать, что ты меня любишь.

— Ой, откуда ты знаешь?

— Ты тоже мог бы уже знать об этом…

Вот и весь наш разговор. Больше мы никогда об этом ни словом не обмолвились. Но сам разговор мы в добрые минуты всегда вспоминаем. Помнить-то мы его помним оба слово в слово, как будто стольких лет не прошло.

Вот и сегодня — жар уже у Фирочки спал, слава богу, она оделась, ходит по комнате, у нас праздник — и мы сегодня вдоволь посмеялись. Ласточка моя…

ЧУДЕСА

Я притворяюсь глухонемым.

Да нет, я не притворяюсь глухонемым, я просто говорю на языке немых, произвожу пальцами и глазами то, что, разговаривая, производит глухонемой.

На языке немых я обращаюсь к Марине. Из конца в конец троллейбуса.

В троллейбусе давка и теснота. Я вошел через переднюю дверь, она — через заднюю. Мы стоим оба, сжатые людьми, далеко друг от друга. Кто-то потом уступает место Марине — потому что она женщина. Кто-то потом уступает место мне — потому что я не молоденький. Она сидит в одном конце, я сижу в другом конце. Я взываю к ней издали на языке немых. Показываю ей ладонь — чтобы мы, значит, вышли; палец — одной остановкой раньше. Опускаю два пальца, размахиваю ими

попеременно — это значит, мы идем; всеми пятью пальцами касаюсь рта, активно двигаю челюстями — это значит, идем за хлебом.

Марина смотрит на меня из-за голов и смеется, веселится. Ей нравится, что я ребячусь, — похоже, у меня чуть улучшилось настроение.

Но я вовсе не ребячусь. Я вполне серьезен. Мой немой язык должен втолковать Марине: на одну остановку раньше, чем обычно, мы должны выйти из троллейбуса, забежать в магазин и купить хлеба — к завтраку ни крошки нет. Люди в троллейбусе на мои ухищрения не обращают никакого внимания: мало ли что там говорит немой на своем немом языке. Тем более на этой линии троллейбуса: где-то в наших краях находится швейный комбинат, где работают только глухонемые.

Немного погодя, перед выходом, мы уже стоим с Мариной рядом. Марина все еще смеется.

— Что это ты вдруг вздумал дурачиться? — спрашивает она меня.

— Самая большая «дурь», — отвечаю я, — это помнить, что в доме нет ни крошки хлеба к завтраку.

— А если бы ты об этом не помнил?

— Тогда ты бы помнила.

Пассажиры в троллейбусе делают большие глаза, рассматривают меня с изумлением. Чудеса в решете: немой заговорил!

Вот как легко можно творить вокруг себя чудеса.

КРАСОТА

Я гуляю по берегу моря. Справа оно само — гигантское море. Вдоль берега сосновый лесок. Я прохаживаюсь посередине — между волнами моря и волнующимися сосновыми ветками.

Первые ряды сосен на разрыхленной почве уже подмыты. Черные корни обнаженные, голые. Корни такой же длины, как ствол от корней до вершины. Сверху сосна зеленая, свежая, игольчатая, но ершистость ее кажется мягкой, ласковой. А корни жесткие, узловатые, скрючившиеся, как змеи и змейки. Они шерстисты и взлохмаченны, точно диковинные звери.

Я слышу, как кто-то произносит походя:

— Какая красота!

И слышу, как замечает другой:

— Какое уродство!

И в самом деле: я долго стоял в смятении, разглядывал, примеривался, не мог определить чувство, вызванное увиденным:

красиво? Приближался, отходил, жмурился: уродливо? Уродливо-красиво?

Наконец найти ответ помог мне мой характер, присущий мне подход к вещам, моя жизненная философия:

— Красиво!..

ЗАУПОКОЙНАЯ МОЛИТВА

Да святится имя твое!

Да возвысится над всем и всеми высокое имя «мама»!

Ведь в самом деле оно — имя «мама» — основа жизни. Благодаря ей, маме, и слову «мама» существует мир. Можно сказать еще больше: благодаря слову «мама» все люди на земле объединены общим чувством.

Люди, белые и черные, умные и глупые, добрые и, вероятно, даже злые к слову «мама» относятся одинаково. Недаром звуки, образующие это слово, близки на самых разных языках.

Дорогая мама! Я — твой старший сын, еврейский писатель Ихил Шрайбман, произношу первую поминальную молитву по тебе на простом идиш.

Высокое имя «мама» ты носила столько лет с достоинством, гордостью и величием.

Ты это слово заслужила, и слово заслужило тебя.

Ты была подлинным человеком из народа. Ты обладала всеми лучшими качествами нашего народа. Казалось, все в тебе из Шолом-Алейхема. А отец, как герои Переца, был скуп на слово. Как у героев Переца, вздох его часто влек за собой многоточие. Ты была по-шолом-алейхемовски словоохотлива; как его героини, любила смеяться; как его героини, украдкой вытирала слезу. Но смеяться — в этом была твоя суть.

В институтах ты не училась, но иногда в шутку говорила, что окончила институт смеха. Поэтому у твоей могилы более подобает вспоминать не печальное, а веселое.

Ты была человеком из народа, подлинным и удивительным. Больше всего на свете ты ненавидела фальшь, фальшивых людей, чувствовала малейшую фальшивую ноту, где бы она ни звучала.

Больше всего на свете ты любила влюбленность и любовь.

Влюбленность в людей, влюбленность в жизнь, влюбленность в мысль, всепоглощающую любовь к детям. И обычную земную любовь между мужем и женой.

Я не раз слышал, как ты говорила, что главное в жизни — это любовь.

Простая женщина из маленького местечка, женщина по имени Рейзл, несла в себе огромную мудрость, вечную правду

жизни.

И еще одно ты любила всею душой.

Землю, где ты родилась и где ты родила нас, своих детей.

Маленькое заброшенное местечко на берегу Днестра.

Привязанность к этому родному краю ты носила в себе всю жизнь, до последнего вздоха.

Вот твои последние предсмертные слова:

— Дайте попить воды из Днестра!

Ты была настоящим человеком из народа.

Я произношу заупокойную молитву по тебе, дорогая моя мама, без слез в глазах, потому что выше и сильнее слез — гордость от того, что у меня была такая мама, и светлая уверенность, что мы, твои дети, твои внуки и правнуки, станем твоим продолжением.

Да возвысится над всем и всеми высокое слово «мама»!

Да святится имя твое!

ОЧКИ

Мы сидели со старым знакомым на скамейке в городском саду и спорили.

Сад был полон людей, полон красок, полон звуков. Знакомый мой за несколько лет, что мы не виделись, почти не изменился. Те же узкие плечи, то же вытянутое лицо, хмурые глаза, те же мелкие брызги серебра у висков.

Как и раньше, он поминутно вынимал очки из футляра, вертел их на пальце, которым помогал себе в рассуждениях, нацеплял их на нос, срывал, снова надевал.

То, что он некогда осуждал, потому что все это защищали, он сейчас отстаивал, потому что все это отрицали. В прежние годы он шептал с жаром: «А где же коллектив, общество?» Теперь он горячился: «А где индивидуум, личность?..» По правде говоря, я с ним не спорил. Я сидел и с жалостью наблюдал, как он мучается. Слова его повисали, ничем не поддержанные, одинокие и бессвязные. Высказанная мысль не помогала предыдущей, напротив: подставляла ей ножку, отбрасывала, отрицала ее.

— Сила коллектива, говоришь ты?.. Да, да… Красивые слова! — иронически ухмыльнулся он, показав редкие зубы, и снова надел и снял очки.

Я поднялся с места, и мы двинулись по асфальтированной садовой дорожке. Навстречу нам неслись детские крики, девичий смех, где-то высоко, среди крон деревьев, из репродуктора просыпались аплодисменты. Люди толпились у книжного киоска. Мой знакомый продолжал горячиться. А поскольку все кругом

заглушало его, он то и дело напоминал мне о себе толчком острого локтя.

Внезапно он остановился. Его лицо в одну секунду покрылось испуганной бледностью. Куда сразу девались все его глубокие соображения! Обеими руками он стал ощупывать свои карманы. Сначала — верхние, потом — нижние. Сперва — медленно, потом все торопливее, обескураженнее. Высокие речи, которые только что слетали с его губ, уступили место растерянному бормотанию:

— Очки! Потерял… украли… вместе с футляром…

Он почти бегом кинулся назад, я с любопытством его сопровождал. Скамейка, на которой мы сидели, была занята. С одного края до другого. Но где-то посередке, на аккуратном пятачке, лежал и ждал очешник.

Лицо моего знакомого приобрело обычный цвет. Глаза — их обычное хмурое выражение. Он снова начал говорить.

Это незначительное происшествие, хмыкнув, он истолковал на свой лад, начал глубокомысленно комментировать. И его совершенно не заботило то, что его теперешние слова подставляют ножку тому, что он утверждал прежде, отрицают, перечеркивают ранее сказанное.

— Хм, хм… Счастье, что вся скамейка была занята… Если бы это случилось в будни… Здесь бродит один тип, ты видел?..

«Всё так, если этот «один» такое же сокровище, как ты!» — подмывало меня возразить.

Но возражения здесь были ни к чему. И я просто помахал на прощание рукой.

ЯМОЧКИ НА ЩЕКАХ

Тетя Маша расставила на столе стаканы, тарелки. Мы уже, наверно, около часа спорили об искусстве, о воспитании. В комнате клубился дым. Мы перекрикивали один другого, цитировали наизусть стихи, «изречения», устали, шутили, смеялись, снова горячились.

Он несколько раз порывался вмешаться в разговор, явно желая высказаться обстоятельно, не спеша. Но его непременно кто-нибудь перебивал. Он махнул рукой и нахмурился. А когда сдвинулись вокруг стола и на мгновенье воцарилась тишина, он с усмешкой на губах все-таки вставил:

— Значит, баловать, баловать надо… детей, значит, и поэтов…

— Как? Боже упаси! — кто-то рассмеялся. — Надо их бить по рукам!

— По голове. Как в прежние времена… — подхватил

другой, — нагайкой!

Собравшиеся потешались.

— Позвольте, позвольте!.. — он прикрылся локтем, будто защищаясь от удара. — Это же просто несерьезно!

Все снова рассмеялись.

— Да, несерьезно! — его лохматые брови подскочили, он быстро поднялся, снова сел на место, еще раз поднялся и снова и снова сел.

— В чем дело, старина? — балагурил кто-то рядом. — Ты ведь, кажется, еще ничего не выпил?

— Он пьет только воду… Терпкую воду, — сосед по столу налил полный стакан минеральной воды, торжественно поднес ему под общий смех, да и он сам в конце концов начал улыбаться.

Тетя Маша подала сыр, топленое масло, соусницы, из котелка опрокинула на стол мамалыгу. Комната наполнилась паром. Мамалыга лежала на белой полотняной салфетке, напоминая летнее поле, солнечный осенний день, молдавские свадебные полотенца, мелодию свирели, лежала, сверкая желто-золотым глянцем, горячая, круглая, я бы даже сказал, лучистая, как будто нам вдруг на белой салфетке подали солнце. А когда эту солнечную мамалыгу располосовали, мы почувствовали ее вкус прежде, чем отведали. Мы макали кружочки мамалыги в сыр и масло, окунали в чесночный соус или заглатывали ее свежесть просто так, без приправы.

Мы ели торопливо, шумно, так, как прежде говорили.

Кто-то похвалил:

— Спасибо, тетя Маша! Замечательно! Мамалыга приготовлена мастерски. Золотые руки!

Старая тетя Маша стояла в стороне, не снимая цветастого фартука. Лицо ее вдруг стало полнее и румянее. Ее глаза смеялись, стирая глубокие морщины, окружающие их. Она вытянула из-под фартука сморщенные, жилистые руки и прижала их к сердцу.

Кто-то шепнул:

— Вот видите, а!.. Одно доброе слово… Нет, вы только гляньте. У нее даже ямочки на щеках появились…

— Я поднимаю бокал, — озорно продекламировал другой, — за ямочки на щеках… Ямочки на всех щеках!..

Он сидел и молчал. Тихонько вытирал губы бумажной салфеткой. Кто-то тронул его за рукав:

— Поверни хоть голову… Посмотри!

— Где? — стал он шарить глазами по лицу тети Маши с такой миной, будто ему среди ясного дня показали звезды на небе. Но согласно кивнул, поддакнул, стесняясь выдать свое

недоумение.

НА БЕРЕГУ МОРЯ

Мы сидим и смотрим на этого человека уже почти час.

Нас четверо.

Один — сатирик, второй — драматург, третий — поэт, и я, четвертый, — прозаик.

Мы все загорелые, обнаженные, в одних плавках. Все четверо умеем, слава богу, немножко плавать. Море сбросило с наших плеч добрый десяток лет. Мы входим в воду, взбираемся на волны, плещемся, играем, наслаждаемся. Выходим изменившиеся, освеженные, вода стекает с наших рук, с волос, с кончика носа, как у тринадцатилетних мальчишек. Растянувшись, мы сушимся на лежаках. Мы даем отдохнуть мозгам — шутя, перебрасываемся острыми словечками. Мы уже обсудили все на свете. И вот час кряду наблюдаем этого человека.

Под большим зонтом он сидит неподалеку от нас. На нем очки. Он такой же обнаженный, как мы, на нем такие же узенькие плавки, но тело белое, без следов загара, даже бледно-белое, неприглядное, к тому же дряблое, круглое, с изрядным брюшком над плавками.

Рядом с ним, одетая в кокетливый, слишком открытый купальник, расположилась вполне привлекательная особа. У нее живые смеющиеся глаза, высокая взбитая прическа, брови — выщипанные, ресницы — подкрашенные, губы — намазанные. Но выглядит она еще по-девичьи молодой, намного моложе его.

Вместе с ними под зонтом сидит пожилая пара. Он — сутуловатый, с седыми коротко подстриженными волосами, с простым лицом. Она низенькая, сморщенная, никогда, видно, особой красотой не отличалась.

Мы смотрим на того человека, задавшись целью вот так, ничего не зная о нем, по нескольким замеченным гримасам, мелким штрихам точно определить, кто он такой, блеснуть нашей проницательностью.

Мы смотрим, как он сидит, оседлав нос очками, раскрыв газету, повернется так, повернется этак — и все читает ее, читает и молчит. Молчит, угрюмо насупясь.

На серьезные разговоры о нем этот человек, пожалуй, не потянет. Мы, пока суд да дело, разглядываем его очаровательную соседку. Мы слышим, как она звонко рассмеялась. Кажется, от какой-то шутки одного из пожилых супругов. А он сидит все с той же раскрытой газетой в руках и все молчит. Одна деталь, а вызывает град наших насмешек, иронических предположений.

Сатирик — профессиональный остряк, охотник до всяких розыгрышей, изрекает:

— Понятно. Наверняка критик!..

Второй углубляет тему:

— Живот еще в прошлые времена отрастил…

Третий возражает:

— Начальник, из тех, которым некуда время девать… Времени полный портфель… Посетителей принимает по четвергам. Только по четвергам!..

Четвертый говорит:

— Пустяки… Просто дурак, который молчит… Чтобы казаться умником!

— Чтобы собственной жене казаться?..

— Это уже стало привычкой…

— Потеха, да и только…

— Смотрите, люди добрые, как он боится воды!..

Он стоит у моря, повернувшись к нам спиной. Руки, чтобы удержать равновесие, расслабленно подняты в стороны. Он пробует кончиком ступни воду и выдергивает ногу обратно — вода достаточно прохладная.

Он начинает осторожно входить в море, неловко ступает по камешкам, покачивается, то и дело останавливается, понемножку ополаскивает лицо, грудь, погружает тело в воду и наконец ложится… И… плывет… Нет, вы только подумайте, еще как плывет!.. Да где там! Мы уже с трудом отыскиваем его глазами.

Кто-то из нас бросает:

— Ну и дела!..

— Он нас, выходит, просто одурачил!

Сатирик слегка теряется, но пока еще не уступает:

— Я и не сомневался, что он умеет плавать. Еще бы! Небось все время барахтаться приходится!..

Потом драматург заводит, стоя в воде, разговор с низкорослой женщиной, которая сидела под зонтом рядом с нашим героем, и выходит на берег точно информированный. Он улыбается и хмурится одновременно, как будто и слегка расстроен тем, что все получилось шиворот-навыворот, и доволен, даже важничает оттого, что добыл ценные сведения.

— Не угадали! — сообщает он. — На этот раз попали пальцем в небо!.. Оказывается, обыкновенный хирург. Ленинградец. То есть совсем не обыкновенный. Нейрохирург. Делает тяжелые операции на мозге. Пишет докторскую диссертацию. «Не человек, а чистое золото», как выразилась эта женщина. Она его двоюродная сестра, а с нею муж. Оба — мастера по текстилю. Все четверо каждый год вместе ездят отдыхать. Что касается

кокетливой дамочки — это не просто кокетливая дамочка. Переводчица с испанского. Объездила весь мир.

Вот так-так! Опростоволосились, значит!

— Что же он все молчит, ты не спросил?

— Спросил.

— Ну и что?

— Ничего. Она ответила: просто так. Не любит болтать попусту.

Сатирик подводит итог:

— Да… Не угадали… Быть по сему!

— Боюсь, мы не впервые не угадываем, — меланхолически протянул поэт.

— Ну что поделаешь? Пойдемте. Лучше пойдемте познакомимся с ними!

Слегка пристыженные и одновременно довольные, мы подходим к большому раскрытому зонту…

ПУСТЯК — УКУС ПЧЕЛЫ

Первые осенние дни.

На дворе ласковое тепло. Дома живительная прохлада. Свежо и солнечно.

Повсюду пахнет виноградом, арбузными корками, сливами, всей благодатью земли.

Заблудившиеся пчелы залетают из садов в город, бьются в оконные стекла, врываются в открытые двери. Жужжат внутри домов, в каждом из которых, не сглазить бы, есть чем полакомиться и что лизнуть — не хуже, чем в щедром саду.

Зажужжало и у меня на шее, где-то возле уха. Удар ладонью, отбрасываю руку и вижу, как пчела-самоубийца, оставившая свою силу на моем пальце, еле живая, улетает куда-то умирать. Я потираю палец и моментально забываю об этом происшествии. Пустяк — укол пчелы. О чем говорить?

И —

Вспоминаю детство. Это было в канун еврейского Нового года. Я уже довольно большой мальчик. Мама ставит на стол миску с виноградом. Я вбегаю с улицы, протягиваю руку к миске, и пчела, затесавшаяся между гроздьями, впивается жалом в мой палец. Что тут поднялось! Мама отсосала яд, присыпала ранку сахарным песком, наложила компресс, я плакал, всхлипывал. Все вокруг, ходуном ходило.

Каким сильным и закаленным стал я на старости лет!

СТРАХ БОЖИЙ

Обычно мы называем это чувство «страх божий», «страх перед высшей карой».

И таким образом утешаем себя.

Но на самом деле это просто страх. Страх, который живет в любом существе, летает оно или ползает.

Дрожь каждой пичужки и каждого червячка.

Желаю вам, дети, чтобы вы выросли добрыми людьми, чтобы вам было хорошо на земле. Но больше всего я вам желаю, чтобы вы никогда не знали этого «божьего страха».

Человек, если подумать, не червячок и даже не птичка.

ЖИЗНЬ

Бабуся принесла в корзинке живых карасиков.

Она их вывалила в кухне на стол, рыбки надували щеки, приоткрывали ротики, смотрели круглыми стеклянными глазами. Они били хвостами, кидались в разные стороны, прыгали и прыгали.

Потом бабуся надела передник.

Она соскребла с карасиков чешую, вскрыла брюшки, почистила.

(«Пузырьки» она отдала нам, и мы их давили ногами.) Рыбок она старательно промыла под краном, подсолила. Но как только она выпускала карасика из рук, он снова все прыгал и прыгал.

Наконец бабуся поставила на плиту сковородку, полила ее подсолнечным маслом. Карасиков она обваляла в муке, приперчила и начала жарить.

Горячее масло шипело, брызгало, потрескивало. А карасики на сковородке все еще прыгали.

СНЕГ

Заснеженные деревья. Заснеженные крыши. А снег все сыплет и сыплет.

Голова у меня снежная, лицо снежное, одежда снежная. Я не я. Я — снежный человек.

Снежно-белый и снежно-чистый. Как сплошной снег, как снегопад. Заснеженные дети вырастают рядом со мной. Заснеженные дети оглаживают мне бока, округляют мне щеки, вставляют мне угольки-глаза, засовывают мне в рот ветку — люльку.

Заснеженные дети пляшут вокруг меня и радуются мне.

Вдруг снег перестает падать. Выходит горячее солнце. Заснежен теперь только я один.

Солнце греет, шпарит, и снежный человек тает, тает…

Я чувствую, как у меня отваливается рука. Голова оседает в плечи. Я рассыпаюсь. Я превращаюсь в беззащитную плоскую горстку снега.

Кто-то проходит и ногами разбрасывает серую горстку.

ТОПОЛЬ У АПТЕКИ

Когда мне доведется побывать в Новых Аненах, я подойду к аптеке, остановлюсь у высокого тополя, буду смотреть на гладкие разросшиеся ветви, на серебристо-зеленые нежные листья его и поклонюсь ему, передам привет от Веры Владимировны.

Она просила меня:

— Если вы когда-нибудь будете в Новых Аненах, не затруднитесь подойти к аптеке и передать поклон моему тополю!

Я познакомился с Верой Владимировной в столовой санатория. Она в белом халате переходила от столика к столику с блокнотом в руках и каждого в отдельности расспрашивала, нравится ли ему еда, точно ли он придерживается предписанной диеты, какие у кого претензии.

Обыкновенная диетическая сестра. Обыкновенное русское лицо. Белизна халата не скрывала ее возраста: несколько морщинок у рта, слегка воспаленные глаза, чуть деформированный овал, следы усталости — женщина за сорок.

Мне она особенно обрадовалась:

— О, мы с вами почти земляки!

— Вы родом из Молдавии? — оживился и я.

— Жила в Молдавии. Восемь лет. Первые восемь лет после войны.

— В Кишиневе?

— И в Кишиневе часто бывала. Я слышала, он стал очень красивым, большим городом. А каким же он был разрушенным, мрачным. Я жила в районе. В Новых Аненах. Вы когда-нибудь там были?

— Конечно. И не раз.

— Свои лучшие молодые годы я оставила в Новых Аненах. Вы, может быть, обратили внимание — у самой дороги, посреди Новых Анен — аптека с раскидистым тополем у входа? Ой, да как же нам далась эта аптека!.. Легко ли было строить в ту пору! Ни гвоздочка, ни стекла для окон, крышу настелить не из чего, все приходилось где-то добывать.

— Вы тогда работали на стройке?

— Нет. После фронта и окончания медицинских курсов меня направили в Новые Анены заведовать аптекой. Вы, наверно,

полагаете, что в Новых Аненах меня ждала отстроенная, приготовленная для меня аптека? Господи, как же мы тогда намучились в этих Новых Аненах! Сколько хвороб навидались, нищеты! Сколько мы пережили в один этот голодный год! Зато как не хотелось потом уезжать! Лучшие годы оставила я в Новых Аненах. Но когда моего мужа перевели сюда, в Крым, пришлось собираться и ехать. Как же иначе?

Так, между делом, записывая в блокнот, сколько бутылок минеральной воды заказывают мои соседи по столу, Вера Владимировна сбивчиво рассказала, как когда-то, срочно давая свою кровь тяжело больному (кто же еще мог это сделать немедленно, если не она, заведующая аптекой?), она чуть не осталась в больнице на столе. Специальных измерительных приборов для трансфузий тогда еще не было в Новых Аненах. Ну так вот. Пришлось быстро привести школьника из Новых Анен, положить его рядом на стол и перелить ей ту порцию крови, на сколько хватили лишку.

— Наверно, из-за той крови, перелитой мне в Новых Аненах, — усмехнулась Вера Владимировна, — во мне столько лет не остывает тоска по ним…

Обо всем этом она говорила мимоходом. Но когда речь зашла о тополе, который она посадила возле аптеки, Вера Владимировна на миг забыла о блокноте, забыла о диете для отдыхающих, сунула блокнот в карман халата, села рядом с нами на стул и, смакуя, рассказала, как она тогда это тоненькое деревце огородила штакетником, летом дважды в день поливала, зимой укутывала во что-нибудь теплое, чтобы не замерзло, и как деревце становилось все выше, крепче, как разрасталось. И может быть, еще из-за него она так скучает по Новым Аненам.

— Если вы когда-нибудь будете в Новых Аненах, не затруднитесь подойти к аптеке и передать поклон моему тополю!

Вот так и сказала: «Моему тополю».

Я смотрел, как пролетаю по родным молдавским шляхам. Мимо окошек машины проносятся сады, лесные опушки, поля, холмы, низины. Памятные милые деревушки, разбросанные в долинах. Здесь и там стоят один подле другого по три, по пять высоких тополей, стоят стройные, пережившие поколения, воспетые поэтами, тянутся макушками высоко-высоко в небо.

Если мне придется проезжать через Новые Анены, я подойду к аптеке, стану перед разросшимся тополем у входа, присмотрюсь к раскидистым веткам, к серебристо-зеленым трепещущим листьям и поклонюсь ему, передам привет от Веры Владимировны.

Этот тополь ее.

Никаких возражений я не допущу.

Он стоит, он растет.

МОЛОДЫЕ ВЛЮБЛЕННЫЕ

В коктебельском Доме творчества мне достался тишайший уголок.

Большая, полная воздуха комната. Заросшая веранда. Путаница деревьев и кустов вокруг окон. Над тропинкой, ведущей в комнату, переплетенные ветви. Днем — сумеречные тени. Вечером — прохлада. Успокаивающий треск сверчка. Птица читает вечернюю молитву где-то на верхушке дерева. Шуршание листьев. Запахи трав. В отдалении среди веток — море. Над верхами деревьев вершина горы. Ни одного постороннего отвлекающего звука вокруг, никакого докучного шума.

Священная «творческая» тишина.

Буду сидеть в этой тиши и работать. До полуночи. До утра.

Но в этом тишайшем заросшем уголке слышу я вдруг между деревьями тихий шепот молодых влюбленных.

И это самый могучий шум на свете.

Он не дает работать. Мешает спать. Лишает покоя.

РАННЯЯ ВЕСНА

Выпал реденький снежок, вслед за ним взошло большое теплое солнце, и снежок в мгновение ока исчез.

Снова оголились прошлогодние травы, почерневшие, скрючившиеся листья, которые осенние ветры нанесли с огородов. И среди всего этого, под всем этим и поверх всего этого искрилась свежая прозрачная зелень, молодая трава, становившаяся, казалось, с каждой минутой все гуще и зеленее.

Только вдали на проволоке виноградников еще висели капли воды; висели незамутненные, цепляясь капля за каплю, как жемчужные бусины или как детские недолгие слезы, которые еще стоят в раскрытых глазах, чистых и ярких, когда личико ребенка уже смеется.

Солнце сияет, сияет, и капли на проволоке становятся мельче и мельче…

ДЛИННЫЙ БЕГУЩИЙ ПОЕЗД ПОСРЕДИ МЕСТЕЧКА

Начал писать я не с того, что изображал и оживлял маленькие буковки на бумаге, как я это делаю теперь, а с рисования на стекле нескольких больших корявых букв.

Несмотря на то что я больше никогда в жизни не рисовал. И по сегодняшний день я не могу как следует изобразить даже стул, даже простой круг.

Дело было так.

Сестра моего приятеля неожиданно овдовела, бедняжка. Осталась совсем неимущей, дома ни крошки хлеба, голая и босая.

В местечке начали чесать затылки, как ей помочь: собирались, обсуждали, морщили лбы, вертели большими пальцами сложенных рук. Кто-то однажды сказал, что в городах водится нечто такое, что называется «мороженое», и люди зарабатывают этим на кусок хлеба, сводят концы с концами.

Вдове собрали немного карбованцев, сняли для нее окно, выходящее на улицу, жестянщик смастерил что-то вроде высокого ящика с ручкой на крышке, нашли деревянную кадку, ящик обложили льдом, и вдова принялась месить для местечка мороженое.

Но для того чтобы мальчишки и девчонки несли сюда свои гроши и лакомились мороженым, нужна была вывеска. И сестра моего приятеля закатала мне рукава, дала мне кисточку и миску, в которой развела немного сажи. Я взобрался на подоконник и дрожащими пальцами медленно начал выводить на стекле большие аляповатые буквы — «Мороженое».

Первая буква получилась несуразно растянутой вширь. Вторая буква, хоть и немножко поменьше — зато кривобокая, шестиугольная, плоская. Третью букву я хотел исправить, слишком, похоже, старался, и она вышла жирной, косолапой, какой-то пятнистой. А за нею пошли буковки все мельче и мельче. Словом: у меня жутко колотилось сердце, я был уверен, что угробил всю затею.

Но когда я слез с окна и вышел на улицу посмотреть, как моя работа выглядит оттуда, снаружи, я увидел зардевшуюся от удовольствия вдову. Она была на седьмом небе от счастья — вот-вот со всех сторон посыплются лакомки и ее озолотят.

Я опустил глаза: мне было грустно и стыдно: вот каково оно — «седьмое небо» моего местечка!.. А когда я снова поднял глаза, там, где я изобразил слово «Мороженое», по стеклу бежал поезд. Посреди местечка, посреди убогого, одичалого местечка моего, вдали от вокзалов, вдали от большого мира, между жестяным ящиком и деревянной кадкой, несся на всех парах длинный праздничный поезд — видение, мечта.

Мое сердце ликовало. И позже, когда это призрачное видение стало явью, когда поезда и в самом деле уносили меня в большие города, эту радость мне постоянно хотелось повторить.

Мне хотелось оживить ее и возродить себя, прошлого, в таких

вот маленьких буковках на бумаге, как я это делаю теперь.

СОЛНЕЧНЫЕ ГОРКИ

Я ребенок. Все предпасхальное местечко залито солнцем. Окна распахнуты. Снег почти совсем сошел. Крыши красуются вымытые, без единой пылинки, свеже-черные, блестящие, как гладко причесанная, аккуратная головка девушки. Кто-то гасит известку, кто-то выколачивает постели, кто-то окучивает деревце. Ручейки бегут среди улицы быстро-быстро, сердито что-то приборматывая. Только что обнажившаяся земля еще мягкая и влажная. Но вокруг, как разбросанные солнечные пятна, все заметней и заметней сияют по-летнему сухие, светлые холмики.

В расстегнутой выбившейся рубашке, приоткрыв жадно вдыхающий рот, я прыгаю с горки на горку.

Я тянусь, поднимаясь на цыпочки, становлюсь выше, задираю лицо к солнцу и чувствую, как пригревает оно и румянит мне щеки.

Я сажусь на корточки, наклоняюсь к теплой земле, расчесываю пальцами первые тоненькие травяные ниточки, и мне кажется, что редкая зелень вокруг моих ног становится у меня на глазах все гуще и гуще.

Я поднимаюсь, извлекаю из всей глубины моих легких победный дикарский клич и слышу, как мне отвечает эхо. Минуту я стою замерев. Тишину нарушает стук швейной машинки в открытом окне. Где-то поет пила. Где-то протирают стекло, и оно весело свистит в ответ. Где-то гулит младенец. Я поднимаю глаза к голубому небу, вижу по ту сторону крыш осыпанную белым ветку и бегу, раздувая ноздри, вверх, на другую горку.

И вижу внизу стоящего в грязной луже городского сумасшедшего. Лицо его, как обычно, обрамлено черной жидкой бородкой. Пола сюртука задрана и заткнута за пояс. Одна штанина закатана выше колена. Узкое тело его изворачивается и корчится. Одной рукой, заломленной за плечо, он тычет куда-то в сторону уха, второй рукой крутит ус. Заросший рот его хохочет и страдальчески кривится. А ноги, тяжелые, деревянные, топчутся, пляшут, месят грязь.

Городского сумасшедшего я всегда пугаюсь. Но теперь, вот отсюда, с моей солнечной горки, я его только жалею.

Я вижу, как сухое пространство вокруг меня становится все шире и шире, и в голове у меня мелькает: вот-вот, еще день, еще два — и что же он тогда бедняжка — городской сумасшедший — будет делать без грязи?..

ДВОЕ НА МОГИЛАХ ПРЕДКОВ

Один из них подходит к могиле тихо. Кладет охапку цветов, стоит, молчит.

Если его спрашивают: «Сотворить заупокойную молитву?» — он отвечает: «Сотворить, конечно».

Если не спрашивают, обойдется и без молитвы.

Уходя, он раздает милостыню у ворот так же незаметно, без лишнего шума, бродит между нищими задумчиво, потерянно — и не поймешь с первого взгляду, что он — одаряет, или, не дай бог, сам просит.

Второй приходит на кладбище запыхавшись, деловито сопя, словно торопится на некое мероприятие, не терпящее отлагательства. Он шагает к могиле выпрямившись, будто марширует, за ним поспешает старик, который прочтет заупокойную молитву, — прямо генерал с денщиком. Во время молитвы он стоит в стороне наготове — с кошельком в одной руке и с платком для слез — в другой. Лицо его выражает и богобоязненность и важность — лицо, обращенное и к богу, и к людям.

Возвращаясь, он раздает милостыню у ворот с тем же деловитым сопеньем; побирушки окружают его, как некоего высокого гостя. Он достает из кошелька по одной монетке, упаси бог кого-нибудь пропустить, и каждому, кому опускает в ладонь копейку, повторяет высоким, возбужденным голосом:

— Всем будет! Всем будет!..

Первый сходит с холма пешком. Идет неторопливо, хмуро опустив тяжелую голову. И могила следует за ним. Следом за ним идет все кладбище. Могилы сопровождают его к троллейбусу, плывут за окошками, провожают его домой и пребывают там с ним, страшно сказать, всегда, изо дня в день, весь год.

Второй с разлетающимися по́лами ловит такси.

Несколько минут спустя он уже где-то в другом измерении. Вдали от печальной молитвы, вдали от «святого места», вдали от могилы предков.

Кто из них лучше — мне известно.

Мне только неизвестно, кому из них лучше.

МОРЕ

Море большое.

Море зачаровывает.

Море молодит.

Море лечит.

Море тихое, доброе. И гневное, грозно-кипящее.

Море голубое. Море зеленовато-белое. Море розовое. Море серое. Море черное.

Море наряжается несколько раз в день и каждый раз в другой цвет.

Море обнаженное. Открытое. Ни во что не наряжается.

Море морщится и собирается в складки, как морщится и собирается в складки лоб мыслителя.

Море мудрое: несет в глубинах миры, а на поверхности вод одно черно-белое крыло чайки. Море бурлит, пенится.

Море просторное. Великодушное. Мягкосердечное.

Море красивое…

Где взять для моря новые свежие слова? Оно старо, как мир, — поэты давным-давно все слова растранжирили.

Признаюсь: сегодня, море, я против тебя согрешил! Я поднялся утром разбитый. Взлохмаченный и встрепанный. Всю ночь истязал себя. Ночь без сна, без отдыха. Ночь мучительных сомнений в самом себе. Кто я и что я? Что я успел сделать на этом свете? Люди собирают год за годом урожаи, одевают и обувают мир. Люди расщепили атом. Люди изобрели телевизор. Люди жертвовали жизнями ради людей. Люди оставили после себя вечные слова… Я придумываю истории. Так хоть бы они мне доставались полегче! Сидеть бы и делать свое дело день за днем с утра до вечера, как исполняет свою работу обыкновенный портной. Чтобы я мог своими историями хоть кого-то согревать и радовать, как согревает и радует одежда!

Трудная ночь. Ночь мучительных сомнений в себе. Первая моя ночь в это лето в ялтинском Доме писателей.

Утром я слонялся по комнате и кряхтел. Уныло, без аппетита позавтракал. И такой вот, помятый и хмурый, слабыми шагами сошел к морю.

Я лениво разделся и погрузился в его воды.

Через полчаса я вышел из моря другим человеком.

Я шагал вверх, к дому, веселый, успокоенный, ровный, довольный собой.

И вот по дороге, признаюсь, я согрешил против моря.

«Море делает из тебя, — подумал я, — что хочет».

И не отдавал себе отчета в том, что это оно, море, направило мои шаги в комнату, обняло меня за плечи и усадило за стол.

И я понемножку начал колдовать, и новая сказочка моя, как всякая новая сказочка, казалась мне лучшим из того, что я написал.

Хоть я и понимал: она всего лишь крупинка, крохотная крупинка в этом огромном мире!

Сейчас я стою у окна, держу в руке две исписанные странички и вижу за деревьями отдаленный кусок моря. Вечер. Море темное. Рябое. Волнистое. Волны играют с берегом, шлепаются об него, полощут, обдают тысячами брызг.

Море красивое.

Море великодушное, у него широкая грудь.

Море мудрое.

Море обнаженное. Спокойное. Не наряжается ни в какие цвета.

Море тихое, доброе.

Море молодит.

Море завораживает.

Море большое.

. . . . . .

Море большое даже в своих самых маленьких каплях…

СТАРАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

Ко, ко… ко, ко, ко.

Ко, ко, ко-ко-о.

Сегодня, кажется, день ее рождения. Если она не ошибается. Если она еще помнит счет своим дням.

Она сидит перед домом на завалинке, с головой укутанная в шаль, маленькая, сгорбленная, жилистые руки ее под шалью опущены, как у квочки крылья.

Один глаз дремлет полуоткрытый, точь-в-точь как у рябой ее клуши в хмурый день, на насесте.

Курица уже давно не несла яиц, давно не высиживала цыплят. Вертится одна-одинешенька у дома, с головкой на сторону, смотрит своим единственным глазом (второй ей выклевали), разгребет горку мусора, пощиплет высохшую травку, попьет из грязной лужицы. Когда небо еще больше заволочет, она (курица) просеменит в каморку, вскарабкается на насест, задремлет, и один глазок у нее полуоткрыт, затянут пленочкой.

Философские вопросы донимают сегодня учительницу. Вопросы старые, как мир. Например, что было раньше: яйцо или курица? Кто кого породил — яйцо курицу или курица — яйцо?

Ну и трудягой была когда-то ее рябая квочка! Не квочка — чудо материнства! С каким мудрым упорством она сидела на яйцах, согревала их своим пушистым телом, перемешивала их подушечками лапок, поровну делила тепло. Как горделиво она шествовала потом по двору с крошечными голыми детками. А победный клич ее, когда она выкапывала для цыплят свежего

розовенького червячка! А как укрывала малышей своими крыльями при малейшей опасности! А какой поднимала крик, когда замечала на земле хотя бы тень нависшего над ними врага! Детки начинали понемножку облачаться в перышки, стали, как говорится, мужать.

Чего она только им не показывала! Чему она только их не учила, о чем не рассказывала! А позже стояла в сторонке и нарадоваться не могла, что двор пестрит ее курочками и петушками. Она им еще нужна, но понемножку отучает их от себя. Становитесь, миленькие, на собственные ноги. Будьте свободными и смелыми. Сами распоряжайтесь своим временем. И вот однажды днем случилось так, что самый красивый сынок ее, в шпорах, с закрученными баранкой голубыми перьями на хвосте, прыгнул ей прямо в лицо. Забыл, выходит, кто она ему. Или, возможно, хотел ей продемонстрировать свою удаль. И она, боже пронеси, осталась при одном глазе. Второй у нее вытек. С тех пор, кажется, больше на яйцах не сидела. Цыплят не выводила.

Старая учительница греется у дома на завалинке, с головой замотанная в шаль, маленькая и сухонькая, жилистые руки ее под шалью — опущенные крылья, как у квочки.

Сегодня вроде бы день ее рождения. Если она не ошибается. Если еще помнит счет своим дням.

Она уже очень стара. Отцы взрослых детей и даже дедушки были когда-то ее учениками. Десятки и десятки учеников. Вот здесь, где она сидит на завалинке, — половина села по одну сторону, половина — по другую, когда-то находилось маленькое местечко. Из всех притулившихся здесь хибарок остался только ее родительский дом. Из всех жителей местечка осталась здесь только она одна. Правда, ей здесь неплохо. Деревенские относятся к ней уважительно — а село стало богатым, разросшимся, — проходят мимо с размашистым «здравствуйте», мужчины снимают перед ней шапку. Близкие соседи, а подчас и далекие, идут через всю деревню, чтобы принести ей в дом кружку молока, десяток яиц, кружок сыра, кусок масла, завернутый в виноградный лист, пакетик кукурузной муки. Заботятся. Помнят еще о ней. А почему бы о ней не помнить, не заботиться? Один ученик ее — когда-то был лучшим ее учеником — кажется, совсем забыл старую учительницу. Он теперь в городе известный человек. Ученый. Сказывают, директор института. Она его помнит хорошо. Он у нее с самых азов начинал. Несколько лет она вела его из класса в класс. Был ее лучшим учеником. Когда он иногда летом приезжает сюда на своей машине, может быть, показать родителям свое преуспеяние или просто повидаться с ними, и проходит со своей компанией

мимо ее завалинки, он никогда не спросит даже, как ей живется. Нет, он и не видит ее вовсе. Наверное, совсем не узнает — такую сморщенную, такую сгорбленную, какой она стала на старости лет. Да и впрямь, кроме как о ней, ему и думать не о чем? Нет забот поважнее?

Один глаз старой учительницы дремлет полуоткрытый. Второй глаз смежается, смежается… Голова ее клонится ниже, ниже. Ш-ш-ш… Старая учительница спит.

В день ее рождения, как это бывает с очень старыми людьми, снится ей детский сон: петушок в шпорах, с задранными блестяще-голубыми перьями хвоста, вертится, распушась, около нее. Не петушок — большой петух, с галстуком, повязанным у горла, с молодецким гребнем на голове, вертится и вертится вокруг нее и прыгает ей прямо в лицо.

Ко, ко… ко, ко, ко.

Ко, ко, ко-о-о-о-о…

ГОЛЫЕ ВЕТКИ, ЗАДРАННЫЕ КВЕРХУ

В Таллине у большого мемориала, сооруженного в честь Победы и в память жертвам фашизма и героям, павшим в Эстонии, я задержался у мраморной надгробной плиты, плоско прислоненной к земле, обложенной белыми и красными кирпичиками, украшенной рядами цветочных кустов, а в головах — дерево без листьев с голыми черно-смоляными ветвями.

Под глыбой мрамора покоятся останки молодого иваново-вознесенского слесаря Евгения Никонова.

История Никонова короткая и в своей краткости еще более страшная. Сразу после того, как гитлеровцы захватили Эстонию, этого слесаря из Иванова-Вознесенска спустили на парашюте в лесу за Таллином. В течение некоторого времени Никонов помогал таллинской молодежи организовать антифашистское подполье. Потом руководил сопротивлением. Несколько месяцев подряд Никонова истязали в гестапо так, как гестапо умело истязать. Но до конца своих дней он ни одного имени эстонских товарищей не произнес, в самые невыносимые минуты его губы оставались сомкнуты. Полумертвого, Никонова вывели в лесок, сорвали с него исполосованную рубаху, привязали его веревкой к дереву, раскаленным железом выжгли у него на груди серп и молот, выкололи глаза, потом развели под деревом костер. Никонов горел с упавшей на грудь головой, а палачи его, отойдя с револьверами в руках, продолжали измываться над ним: упражнялись, кто точнее попадет ему в обожженный лоб, в

пылающие колени, в веревку, которая уже обвисала, тлела обрывками, огоньки вспыхивали как погребальные свечи.

Эстонские товарищи отыскали в леске останки замученного, бережно их спрятали, как знамя, зарытое до светлых победных дней.

В мемориальном проекте памятника погибший был изображен вместе с деревом. С деревом-эшафотом, виселицей, деревом, на котором он так по-людоедски был казнен. Но когда, строя мемориал, пришли в лесок к могиле Никонова, чтобы выкопать дерево и перевезти его, дерево оказалось высохшим, почерневшим — только отдельные листочки еще зеленели где-то сверху.

Долго всевозможными научными средствами биологи пытались оживить дерево. Но ничего не помогало. Со временем перестали пробиваться и верхние листочки.

Стою я сейчас у могилы Никонова против мертвого дерева у него в головах. Дерево потрясает. Костер, по рассказам, вовсе не был таким уж большим: злодеи хотели, чтобы Никонов умирал медленно, чтобы до конца осознавал, что погибает. Почему же дерево тоже погибло? Вокруг этого дерева витают легенды: после навязанного сотрудничества с палачами оно не хотело больше расти, сдерживало дыхание, перестало питаться, отказалось пить капли дождя — само лишало себя жизни.

Голые черно-смоляные ветви дерева, задранные кверху, кажутся мне воздетыми к небу руками с расставленными костяшками пальцев. Ветви — простертые руки тысяч и тысяч жертв, словно предупреждение остановить новое людоедство. И другие ветви — руки, склоненные над могилой Никонова, как благословение ему.

Дерево стоит мертвое, и своей смертью делает иваново-вознесенского слесаря живым.

Нет, и жертва-дерево и жертва-человек, один подле другого, будут жить вечно.

ДЕТСКИЕ МОТИВЫ

САМАЯ КРАСИВАЯ ТУФЕЛЬКА НА СВЕТЕ

Сегодня воскресенье. Папа и мама ушли за покупками. Я просыпаюсь и вижу — я дома совсем одна. Одеяло на мне залито солнцем. Наверно, уже очень поздно.

— Доброе утро, солнце, — говорю я. — Вот-вот протру глаза и встану!..

Я спрыгиваю с постели и осматриваюсь. Дома никого нет. Кровати еще не застелены. В комнате не убрано. Только кран в кухне зовет: кап, кап, кап… Ему тоже, наверно, скучно одному.

У цветов в вазах сухие ротики: они хотят пить. В спешке папа и мама забыли погасить свет в коридоре. Лампочка бледно светится высоко на потолке и просит испуганно:

— Погасите меня, наконец. Я слепну. Я так хочу спать. Спать.

Возле папиной и маминой кровати лежит на полу раскрытая книжка:

— Меня листали и листали, читали и читали. А когда я упала, так и осталась лежать. Ой, у меня ломит плечи. Что же ты стоишь и смотришь? Подними меня!..

Только часам на комоде нет дела — день или ночь, есть здесь кто-нибудь или никого нет. Они идут, идут, идут, идут…

— Эй, сколько времени, часы?

— Идем, идем, идем, идем…

Больше ничего не отвечают. Надо смотреть самой. Но я еще маленькая. Я еще не умею различать время по часам.

В кухне на столе тарелочка. На тарелочке два куска хлеба с маслом, два яблока. Возле тарелочки стоит стакан молока. Они меня зовут:

— Девочка, девочка!.. Твоя мама нам велела, чтобы мы тебя накормили и напоили… Иди сюда!..

— Тише, подождите немного. Потерпите!

А вдруг уже очень поздно? Папа и мама могут подумать, что я еще сплю. Вот будет дело!..

— Скорее! Скорее! Пока папа и мама не вернулись!..

Это я говорю маминому халату. Я путаюсь в маминых длинных рукавах, еле-еле закатала их. Наступаю на подол и чуть не падаю. Я подпоясываюсь и накрепко затыкаю полы за кушак. Голову оборачиваю маминым платком. Я смотрю в зеркало и прыскаю со смеху. Ну и вид! Я похожа на ту девочку из сказки, на ту девочку, которой принц надел хрустальную туфельку.

Но если тебя никто не бранит, никто не щиплет и не дразнит, кто же тебя найдет, чтобы примерить туфельку?..

Однако пора приниматься за работу.

Кап, кап, кап… Подожди, подожди, краник, сейчас я тебя закручу. Один поворот, другой поворот. Не упирайся! Еще маленький-маленький поворотик. Все. Тихо. Замолчал…

Я втаскиваю в коридор табуретку, осторожно влезаю на нее и гашу в коридоре свет. Щелк!.. Лампочка за крыла глаза. Минутка, и она уже спит. Спи, спи. Спокойной ночи! Ш-ш-ш…

Я поднимаю с пола открытую книжку, уношу ее и ставлю на полку:

— Отдохните, странички-сестрички!.. Расправь, книжка, плечики. Не беда… Если ты понадобишься, тебя найдут!

Я даю напиться цветам. Они открывают большие круглые глаза и удивленно смотрят на меня: вот как, это ты? Ну, спасибо!..

Потом я подхожу к кладовке и тащу на себя пылесос. Ой, какой тяжелый неподатливый пылесос!

Сам-то стоит наготове, ждет маму. Немножко вроде поддается и немножко вроде упирается. Немножко хочет меня слушаться и немножко нет.

Но в конце концов никакое упрямство ему не помогает. Я нажимаю на кнопку, и он начинает гудеть. Он трясется, шатается, свистит, урчит, собирает все пылинки, продувает насквозь все уголки, находит то бумажку, то ниточку, то волосок, то бусинку.

Я держу длинный шланг в руке и орудую им. А часы, я вижу, идут, идут, идут. Папа и мама не узнают комнату! Каждая вещь на своем месте, все блестит, все благоухает.

Вдруг я слышу — кто-то возится в дверях. Кто бы это мог быть? Папа и мама, или кто-нибудь другой? Не знаю, надо ли бежать смотреть, кто там, или скорей спрятаться за подушками? Я выпускаю шланг из рук, и он вдруг хватает полу маминого халата. Тащит и тащит ее, засасывает все глубже внутрь, и меня переворачивает на полу, когда я пытаюсь вывернуться. Мне страшно, я начинаю кричать… И что же? Именно в этот момент в комнату входят папа и мама.

— Боже мой! Только посмотри, что ребенок натворил! — кричит мама.

А папа держится за бока. Он просто не может успокоиться. Тут и мама заходится от смеха.

Я еле выдергиваю халат из пылесоса; путаясь в полах, понемножку поднимаюсь, сердитая, но папа целует меня, и мама целует меня. Они достают из сумки пакеты с продуктами и откуда-то снизу вытаскивают картонную коробку. Они

развязывают ее и говорят, что это мне.

Мама разворачивает бумагу и вынимает туфельку, протягивает ее мне и велит примерить.

Не хрустальную. Простую. Прошитую белой ниткой. С бантиком. Самую красивую туфельку на свете.

НОВЫЕ ЗАБОТЫ

Сашок-малышок дома совсем один. Совсем один, если не считать Мики-Мурлыки. Как, вы не знаете, кто такой Мика-Мурлыка? А ну, Мика-Мурлыка, представься. Покачай головой. Помурлычь. Подай белую лапку. Мягкую, без коготков, слышишь? Не забывайся.

Мика — котенок. Сашкин верный дружок. Белый котенок с желтыми пятнами. Серо-зеленые горящие глаза. Маленький сомкнутый ротик. Задранный хвостик. Симпатичный котенок, честное слово.

Сашок-малышок сидит у стола, а Мика-Мурлыка стоит возле него на полу, склоняет головку то вправо, то влево и все норовит заглянуть Сашке прямо в глаза, хочет понять, что случилось с этим Сашкой за последние несколько дней. Совсем не тот Сашка, что раньше. Будто подменили. Поднимается ни свет ни заря, куда-то исчезает с туго набитым ранцем за спиной и возвращается к обеду какой-то совсем другой… Сашка больше не играет с ним, как прежде играл, даже не следит за ним… Никакого внимания — только изредка, для виду… Кажется, Сашка за эти несколько дней стал старше, серьезнее, взвалил на себя какие-то заботы. Пообедает в два счета и начинает копаться в своем набитом ранце. Возится, ищет что-то, выкладывает книгу, вкладывает книгу, шуршит тетрадями, пощелкивает карандашами, листает новые свистящие странички — так, что голова кругом идет. Потом садится у стола с ручкой, как настоящий хозяин, настоящий бухгалтер. Ф-р-р, братишка, так не годится!

— Мур, мур… Сашка. А, Сашка… Ну, расскажи… Что случилось?..

— Брысь, говорят тебе! Убирайся с глаз долой! Не мешай!

— Нет так нет. Но стоять в стороне и смотреть, тихо смотреть, можно?..

— Иди туда, в уголок!..

Мика садится в углу на задние лапки, умывает лапкой носик и то и дело исподтишка бросает плутоватый взгляд на Сашку: ну ладно…

Сашка сидит за столом. Забот полон рот — разве пустяк —

целая страничка палочек и кружочков? Такая длинная пустая страничка! Когда же это он ее заполнит? Все кружочки должны быть круглыми. Круглыми одинаковой круглостью. Между одним кружочком и другим должно быть одинаковое расстояние. Все палочки должны стоять прямо, как столбики. Ни в коем случае не вылезать из строчки и во что бы то ни стало упираться в строчку. Все бок о бок, одна за другой — загляденье! Сказать-то легко, да вот попробуй сделать! У, непростое занятие — учиться в школе! Он думал, это просто так — ушел и пришел. Нет. Надо показать, что ты можешь. А что показывать-то? Это вам не забава. Это забота. Настоящая забота.

Сашка зевнул. Он вытер рукавом лоб, почесал лоб рукой. Он пока едва заполнил три строчки. А сколько еще до конца! Такой долгий путь! Разве нельзя немножко передохнуть посреди дороги!

Он сидит дома один-одинешенек. Папа на работе. Мама нарочно ушла к соседке.

— Если ты, мой малышок, сам садишься к столу и не надо тебя подгонять, делай и дальше все сам. Ничего, детка, потом пригодится!.. — И мама его поцеловала.

Но что ему этот поцелуй, если такой тяжкий труд! Колоть дрова, таскать камни — и то легче. Но что ему этот поцелуй, если приходится сидеть и коситься украдкой на Мурлыку и завидовать ему: он котенок, ему хорошо! Счастливый Мурлыка! Котенок-барчонок! Ему не надо писать палочек и кружочков. Не надо морочить себе голову. Не надо взваливать на себя такую заботу!

— Эй, Мика-Мурлыка… кс, ксс…

Мика-Мурлыка выгибает спинку, вытягивает назад затекшую лапку, и одним прыжком он на Сашкиных коленях. Он тянется шейкой к столу, задирает головку вправо, влево, вынюхивает, что там делается, в Сашкиной тетради. Но Сашка опять какой-то сердитый. Не разрешает Мурлыке и минутку на себе посидеть. Он пинает его в бок, гонит от себя, кричит:

— Брысь, говорят тебе! Брысь, везунчик… Чтоб духу твоего здесь не было!..

Зелено-серые глаза блестят откуда-то из-под дивана. Он плачет, Мурлыка. Тихонько. Еле слышно. Ему не так больно от Сашкиных колотушек, как обидна Сашкина брань. Нет, значит, доброго дружка… Почему? Отчего?

Тем временем Сашка снова подналег. Трудится с каплями пота на лбу. Крупными каплями пота. Жемчужинами. Весь лоб в жемчужинах. Чем дальше, тем этих капель все больше и больше. Кружочек — капелька. Палочка — капелька.

Ручка ему уже до боли натерла палец. Кончик языка, который точно отмеряет расстояние между кружочком и кружочком,

палочкой и палочкой, как следует покусан.

Дело подвигается трудно. Очень трудно. Но подвигается.

Вот что интересно: трудно — по страничка-то все заполняется, и чем гуще она заполняется, тем, кажется, становится легче.

Левая рука Сашки придерживает розовую промокашку, чтобы, не дай бог, не посадить кляксу, и сползает вместе с промокашкой ниже, ниже, к концу листочка. Еще чуть-чуть. Самую капельку!

Исписанные строчки выплывают как из-под Сашкиной правой руки, так и из-под Сашкиной левой руки. Еще не так давно листок бумаги был совсем пустой, а теперь — нет, вы только посмотрите! — что на нем теперь! Ну и красота! Неужели он сам, собственной рукой, вывел эти палочки и кружочки!

Мика-Мурлыка осторожно выбирается из своего укрытия и снова останавливается посмотреть на Сашку… Опять наклоняет головку вправо, наклоняет влево, фыркает ноздрями. Завороженно замирает с головой на сторону и никак не может понять, почему Сашка вдруг стал таким веселым. Отчего это он пляшет на одной ножке, не выпуская перо из рук? По какой причине он так распелся — ля-ля-ля да ля-ля-ля? Отчего такая радость? Загадка с этим Сашкой, да и только!

— Эй… Мика-Мурлыка… кс, ксс!..

Мика трется у Сашкиных ног, выгибается, мурлычет. Сашка подхватывает Мику на руки, подходит с ним к столу:

— Ну-ка, посмотри, нравится тебе, а?..

— Мур, мур… нр-равится!

— Возьми себе несколько кружочков… покатай их…

Мика послушно протягивает лапку, хочет соскрести с тетрадки кружочки и палочки. Но Сашка взрывается таким хохотом, что Мику отбрасывает в сторону. И чего он так потешается? Сашка сует Мике в лапку перо:

— Мика, возьми-ка, пиши сам!

Внезапно у Сашки становится очень грустное лицо, он спускает Мурлыку на пол, водит пальцем по его голове и сокрушается ласково:

— Бедный Мика!.. Никаких забот в голове… И нет готовой странички с кружочками и палочками… Несчастный Мика!..

Сашка выходит на кухню, приносит оттуда полную миску молока, ставит ее перед Микой на пол:

— На, Мика-Мурлыка, хлебай!..

Мика-Мурлыка лижет язычком молоко из миски и посматривает одним глазком, как Сашок-малышок выбегает из комнаты: наверно, звать домой маму. У Мики уже никаких сомнений: нет больше, нет доброго дружка.

ЗИНОЧКА-СЛЕЗИНОЧКА

Все дети играют, едят, поют, бегают, возятся в песочнице, плещутся под душем — одна Зиночка стоит и плачет.

— Что ты плачешь, Зиночка?

— Я не знаю.

— У тебя что-нибудь болит?

— Нет.

— Тебе здесь не нравится?

— Нравится.

— Может быть, ты хочешь на горшочек?

— Нет.

— Что же ты плачешь, Зиночка?

— Не знаю.

Зиночка не знает, но все дети знают. Так бывает. В первые дни в детском саду очень хочется домой.

Однако Зиночка и вправду просто Зиночка-слезиночка.

Ее понемножку успокоили, отмыли слезы, размазанные по лицу, накормили, дали ей самую красивую куклу и посадили на скамейку вместе с другими детьми: пусть постепенно привыкает, сама увидит, что здесь не хуже, чем дома.

Напротив сидит воспитательница. Все окна раскрыты. В большом зале солнечно, свежо. Как здесь нарядно, чего здесь только нет!

В углу стоит большое сверкающее пианино. Оно блестит, как зеркало, и кажется, что внутри пианино тоже сидят полукругом дети на скамейке.

В другом углу вырос настоящий лес, с зелеными настоящими деревьями, с маленьким домиком среди деревьев, с бабушкой, которая собирает хворост, с воришкой-медвежонком в чаще. Это немножко страшно. Если бы Зиночка знала, что все здесь не совсем настоящее. Что это просто сказка. Сказка с хорошим и веселым концом.

В третьем углу красуется высокий серебряный дворец. У него много-много крылечек, много-много ступенек. Во дворце живет петушок золотой гребешок.

В четвертом углу ворона на ветке держит во рту кусок сыра, смотрит глупыми глазами на хитрую лису под деревом. Вот она сейчас раскаркается, несмышленая ворона: кра-а!..

Зиночка сидит, глядит. Здесь и в самом деле очень красиво. Но все равно она то и дело всхлипывает. Вдруг откуда-то из глубины вырывается забавный такой — хлипо-хрипо-вздох!

Дети вот-вот рассмеются. Но воспитательница смотрит на них строго, и они понимают, что смеяться нет причины: разве они не

были такими же?

Как всегда в этот час, воспитательница просит каждого рассказать, как он помогает маме.

Один мальчик вскакивает первый и выкрикивает:

— Мама мне вчера чистила ботинки, а я держал тюбик с кремом!.. Я сам хотел почистить, но мама не разрешила!

Другой мальчик рассказывает:

— Вечером я ходил с мамой в магазин. Мы накупили полную кошелку. Мама шла с кошелкой, а я нес две бутылки кефира!..

— Моя мама стояла в ванной и мылась. Я тоже стояла в ванной комнате и умывалась. Мама сказала: уходи. Не путайся под ногами. Не мешай мне!.. И я сразу ушла.

А еще одна девочка вот что сказала:

— А я поливала цветы. Все цветы. Во всех цветочных горшках. Ни одной капли не пролила на пол. Потом я немножко постояла возле цветов. Чтоб им не скучно было расти…

Один рассказывает, как помогал дома, другой рассказывает… Только Зиночка как воды в рот набрала.

Но вот и она несмело поднимается. Сначала — всхлипо-хрипо-вздох, а потом тихонько говорит:

— Я тоже помогаю дома… Папа и мама ушли в кино… И я сидела дома одна… И плакала…

Послушай, Зиночка-слезиночка, сидеть и плакать — да какая же это помощь?

Детям очень хочется засмеяться. Но воспитательница бросает на них строгий взгляд, и они понимают, что смеяться нечего: разве они были лучше?..

ПЕТУХ

— Какой белый!.. Перышки золотом обрызганы… Какой гордый огненный гребень!..

— Вы только гляньте, с какой сноровкой он точит клюв: ширшир, туда-сюда, туда-сюда…

— Как ловко подгребает землю…

— Он ищет клад… в мусоре… ха, ха!

— Смотрите, смотрите, он опустил расправленные крылья и радуется. Гребет и кричит, кукарекает…

— Нашел!.. Он нашел…

— Червячков…

— Зернышки…

— Ха, ха, какой смешной петух!.. Нашел — молчи! Кричит от радости благим матом и всем выдает секрет… Сейчас сбегутся куры, растащат его сокровище…

— Это ты, ты глупый! Да, да!.. И плохой!.. Он кричит так нарочно… Он всегда так поступает… Что же ему, одному есть?..

ВОВА

Двор полон детей.

На улице летний прохладный вечер.

В одном из окон стоит, упираясь головой в стекло, бледный мальчик, горло закутано шарфом; по унылому личику мальчика и по белому пятну, которое стекло отпечатало у него на лбу, ясно, что он стоит в этой тоскливой позе уже немало времени.

Вова подбегает снаружи к окну с большущим мячом под мышкой. Рука его едва обхватывает этот мяч. Вова босиком. Лето окрасило его тело в цыганскую смуглоту. Русые кудряшки на голове выцвели под солнцем. Носик у него задран и покрыт веснушками, как птичье яичко. Он останавливается против окна, важно расставив ноги, будто держит под мышкой не простой мяч, а весь земной шар.

— Ты выйдешь все-таки или не выйдешь?

— Не пускают, — разводит руками мальчик в окне.

— Кто?

— Тетя Буся. Она говорит, что у меня болит горло!..

— Ерунда. Ладно, скажешь, что я, я тебе велел!..

И Вова распрямляется, как пружина, становится чуть повыше, а лицо у него при этом такое, будто он на все деревья вокруг смотрит сверху вниз.

— Не знаю… Ну ладно, иду!.. — растерянно бормочет мальчик по ту сторону окна, поворачивается к стеклу спиной, снова лицом, снова спиной, будто вертится в клетке, садится в конце концов на подоконник, подвигает к себе ногами табуретку, чтобы влезть на нее.

Изнутри слышится крик тети Буси:

— Не смей, говорят тебе… Не смей!.. Я скажу папе… На улице ветер!..

Но Вова перекрикивает ее:

— На улице нет ветра. На улице я — Вова!..

МОИ МАЛЕНЬКИЕ КОРАБЛИКИ

Арик большой. Кто может с ним сравниться? Какой красивый большой корабль он себе смастерил! С множеством узких трапов, с палубами, с круглыми окошечками кают, с высокими черными трубами… Какой замечательный корабль!

Что же придумать мне?

Я беру белый листок бумаги, складываю его вдвое, складываю вчетверо, загибаю один угол, загибаю другой, выпускаю кончик, делаю аккуратную вмятинку, надуваю ее моим теплым дыханием, и тоже получается кораблик. Я осторожно спускаю его в ручеек, и он плывет. Переваливается с боку на бок, качается, бежит быстро-быстро вниз по течению, медленно, колеблясь, движется вверх, но держится, плывет.

Маленький кораблик — но тоже корабль!

Хорошо, что идет такой свежий душистый дождь. В речушках булькает; по улицам несутся широкие теплые ручейки; плещут лужи.

Я стою босиком, с закатанными штанинами, пускаю свои кораблики и смотрю, как они уплывают один за другим: маленькие, белые, шустрые.

Вот и солнышко всходит над нами. Я и мои кораблики в рамке радуги.

ВЕЛОСИПЕД

Папа купил Валерику велосипед. Новенький с иголочки, голубой и очень-очень красивый. С тремя резиновыми колесиками, с никелированным блестящим рулем, со звонком впереди. А на задней оси перемычка, чтобы еще кто-нибудь мог встать на нее и прокатиться вместе с Валериком.

Чудо-велосипед.

Одна беда: когда Валерик садится и касается ногой педали, вторая нога повисает в воздухе, поэтому езда получается не очень быстрая. Валерик еще маловат, вот и не дотягивается обеими ногами до педалей.

Но Гавруша говорит, что это не помеха. Можно сиденье немножко опустить.

Гавруша — пионер. У него полный ящик клещей, ножовок, ключей. Во дворе он всегда окружен малышами. Кроме того, что он читает им книжки и обучает интересным играм, он еще учит их пилить, точить, строить. Все велосипеды на свете Гавруша может разобрать, починить и снова собрать.

Велосипед Валерика он переворачивает колесами вверх, опускается рядом на одно колено, вынимает ключ из ящика, и, когда кончик его языка начинает бегать из одного угла рта в другой, все знают, что сейчас нельзя мешать — Гавруша мастерит.

В мгновение ока сиденье опущено… Валерик едет на велосипеде, важный, с гордой прямой спиной. Обеими вытянутыми руками держится за руль. Тротуар гладкий,

асфальтированный. Ноги быстро, быстро крутят педали. Звонок звенит. Велосипед катит…

«Дзинь, дзинь… Посторонитесь, Валерик едет!..»

К тротуару подходят маленькая Вероника с длинными черными косичками, маленький Вадик, Изик, и даже самый младший — Григорел, который только что сидел во дворе на травке, окруженный множеством игрушек, подходит посмотреть, как Валерик испытывает велосипед.

Валерик слезает с седла и объявляет, что теперь все могут прокатиться. По очереди. От одного конца тротуара до другого и обратно. Вероника аж приплясывает от радости и, приплясывая, пересчитывает ребят, приговаривая, как считалку:

— Я немножко, ты немножко, он немножко!..

— И я немножко!.. — напоминает Веронике самый маленький, Григорел.

Ребята смеются. Ребята веселятся. Ноги быстро-быстро вращают педали. Велосипед мчится. Звонок заливается:

«Дзинь, дзинь… Посторонитесь!.. Вероника едет!.. Изик едет!.. Григорел едет!..»

Но в воротах появляется бабушка Валерика. Она почему-то сердитая. Вытирает руки фартуком и качает недовольно головой.

— Валерик, — кричит она, — ты сломаешь велосипед!..

— Я не сломаю, бабушка! — кричит ей Валерик.

— Ты же собрал детей со всей улицы!..

— Мы ездим по одному!..

— Но вы же ездите все. Сломаете велосипед!..

— Но мы же катаемся, бабушка, всем же хочется!.. — кричит Валерик, поднеся ладони ко рту, как будто бабушка его где-то за тридевять земель…

И маленькая Вероника с длинными черными косичками подходит к воротам, останавливается против Валериковой бабушки, перебрасывает косички через плечо и говорит:

— Бабуся, во-первых, если он всех возит, значит, не сломается. Во-вторых, если все его сломают, все его и починят. Я немножко, он немножко…

— И я немножко!… — перебивает Веронику самый маленький, Григорел.

Все смеются. И бабушка Валерика тоже смеется. Смеясь, она машет рукой, — это значит: больше не сердится — и уходит обратно во двор.

Что же ей еще делать? Ребята ведь правы…

ЛЕДЕНЕЦ

Динку — дочку тети Фиры — мы называем «леденцом».

Дядя Фима и тетя Фира живут далеко. К ним надо ехать двумя троллейбусами, потом идти пешком почти целую улицу.

Когда мы иногда приезжаем туда, это не просто так — взяли да приехали. Это значит, что мы «дорогие гости».

Дядя Фима встречает нас с распростертыми объятиями.

— О! — восклицает он. — Нет, вы только посмотрите! Посмотрите, кто к нам приехал!.. Небылица в лицах!..

В каких лицах и какая небылица, ничего не понимаю…

Тетя Фира после долгих поцелуев снимает с нас в коридоре пальтишки, стягивает с нас сапожки (вместо того чтобы сказать: «Вы испачкаете паркет!» — она говорит: «У вас устанут ноги!»).

Тетя торжественно вводит нас в комнату и усаживает во главе стола. Потом выбегает во двор и возвращается с Динкой.

— Динка, — велит она дочке, — подойди, подай двоюродным братьям руку и поклонись!

Будто мы из другого города и впервые сюда приехали. Вот что значит жить далеко! Каждый раз надо начинать сначала. Словно никогда не были знакомы.

Динка берется за углы своего платьица, слегка подгибает колени и красиво кланяется. Мы багрово краснеем. По очереди мы протягиваем Динке руку и выкрикиваем одинаково:

— Додик!

— Вовик!

Дядя Фима и тетя Фира покатываются со смеху:

— Глупышки… Разве вам надо знакомиться?.. Интересное дело! Вы уже так давно двоюродные…

Тетя Фира накрывает на стол: яблоки, печенье, сельтерская — и с ними книжки, игрушки. Но конфеты она никогда не подает. Конфеты тетя Фира потихоньку кладет нам в карманы пальтишек. И только уходя, когда одеваемся, мы обнаруживаем, что́ у нас с собой.

Нетрудно догадаться, что это из-за Динки. Динка — лакомка. Ей нельзя есть конфеты, а она во что бы то ни стало хочет их есть.

Однажды мы видели собственными глазами: тетя Фира, наверно, забыла про Динку и поставила на стол целую вазу с разными конфетами. Динка недолго думая потянулась к вазе и начала хватать горстями — схватила одну горсть конфет, схватила другую. А потом рывком придвинула всю вазу и опорожнила ее к себе в подол.

Тете Фире было ужасно стыдно.

— Динка!.. — закричала она. — Динка!.. Ведь в доме люди сидят, гости! Фу, имей совесть, Динка!..

Дядя Фима тоже очень расстроился, прямо в лице изменился.

Оно у него как-то исказилось. Но дядя Фима наш очень добрый. Даже исказившись, его лицо все равно улыбалось. Он заступился за Динку:

— Ну, ну… Оставь ее в покое, Фира!.. Дитя так любит сладкое!..

Но тетя Фира не сдавалась. Она отняла у Динки конфеты, все до одной, снова высыпала их в вазу, а вазу вынесла прямо в прихожую…

Шепотом, чтобы никто не слышал (но мы все равно слышали), она сказала Динке:

— Ой, дочка, горе ты мое горькое…

Как это горе горькое, если так любишь сладкое? Непонятно.

Но с тех пор мы называем Динку «леденцом».

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МИНИАТЮРЫ

ВООБРАЖЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ

Задумать, придумать — не самое главное для писателя. Хоть оба слова имеют непосредственное отношение к слову «думать». Настоящее искусство, как известно, вызвано мыслью и зовет мыслить.

Я сейчас в таком возрасте, что могу не стесняться признания: я долго жил в заблуждении. Свое «я верую», подлинную правду естества я понимал слишком плоско, всегда полагая, что чем вернее и правдивее ты рисуешь людей и вещи — точь-в-точь такими, как они есть или какими были, тем ценнее, честнее твоя работа. И не отдавал себе отчета, что так называемая писательская интуиция не всегда ведет по истинному пути. Уводит тебя подчас от себя самого. От своего собственного понимания этого «я верую». Чтобы жизненная правда была еще полнее, чтобы не поступаться ею, я постоянно должен был немножко вмешиваться в нее. Чуть приукрашивать или слегка искажать. Преувеличивать или преуменьшать.

Давайте это признание растолкуем яснее.

Почти везде в произведениях, восходящих к моей биографии, все происходит так, как происходило в действительности, и в то же время все выдумано. Без работы воображения житейские факты и переживания оставались бы только дневниковыми записями. Как птица с подрезанными крыльями, не поднимались бы выше собственного плетня, не имели бы ничего общего с орлиным полетом искусства. Благодаря «задумать» и «придумать» жизненные события, не изменяя тому, что пережито лично мною, но укрупненные и высвеченные, становятся тем, что пережито другими, что происходило с каждым.

Один пример из собственной практики. В своей новелле я заступился за неправдоподобные выдумки местечкового поэта-мечтателя — еще на заре еврейской литературы — портняжки Шолома Ханахеса, которого невежественное местечко, к несчастью, не могло оценить и за его сгущенное видение прозвало лгуном. Я, захваченный его фантасмагориями и возмущенный несправедливостью по отношению к нему — через Бергельсона, через Шолом-Алейхема, Переца и Менделе — протянул руку этому нищему портняжке, признался к концу новеллы, что тяну свою нить от него. Мне не было дела до того, что его фантазии люди действительно могут воспринимать как

злокозненную ложь — мол, бедняга просто водит их за нос. И впрямь кто поверит, что карпы, огромные, как индюки, подплывают к берегу, зазывно глядят кругленькими глазками, умоляют прямо: вспорите нас и сварите нас, нафаршируйте нас и полакомьтесь нами? А если нет горшка, чтобы сварить рыбу, так почему не позаимствовать кусок воска из бочки, которую везут на телеге в Киев, вылепить из воска горшок, разложить под ним такой огонь, что не успеет воск расплавиться, а карпы уже готовы. Я понимал, что Шолому Ханахесу этот сказочный вымысел, сама его тональность нужны были для последнего реалистического и трезвого аккорда: «Ах, кусочек карпа! Какое великолепие — кусочек вареного карпа!..»

Если хотите, то и «Путешествие Вениамина третьего» Менделе Мойхер-Сфорима и «Заколдованный портной» Шолом-Алейхема с начала до конца выдуманы, но все в них — каждое слово, каждое движение — голая неприкрашенная правда. Золотая истина. Выдумка поднимает эти два гениальных произведения на самые вершины, проносит над нашими головами на крыльях высокого искусства так же, как летят за ними над Витебском молодожены Шагала.

В одном из сильнейших произведений современной мировой литературы, в романе Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества», сплавлены безграничная фантазия с донельзя реальными житейскими обстоятельствами и с точно зафиксированными страницами истории. И мы при чтении даже не воспринимаем их как вымысел — эти невероятные события. Они не затемняют действительности, а наоборот: выстроенные вокруг нее, как прожекторы хлещут ее снопами света, подчеркивают ее, усиливают жесткость и драматизм происходящего. Вечно старого и вечно молодого сына Урсулы убивают в его собственной постели. Ручеек крови сползает с его висков на пол, змейкой вьется через пороги из комнаты в комнату, устремляется на улицу, сворачивает в одну сторону, в другую, поднимается по ступенькам в дом Урсулы и подбирается к самой Урсуле. Следы кровавого ручья ведут мать к застреленному сыну.

Эта необычайная выдумка не претит нам.

Мы ее ни на волосок не ощущаем как выдумку. Мы воспринимаем еще сильнее, еще напряженнее зверское убийство сына и высокую человечность материнской любви.

Так в чем же дело? Может, два слова «задумать» и «выдумать» — просто ошибка? Нет, все вроде остается как есть. Перо виновато. Именно э т о перо именно э т о г о писателя, который разрешает своему воображению вести себя не туда, куда

слова «задумать» и «придумать» должны вести настоящего писателя.

Дорогой читатель! Разве мы с тобой не встречали произведений, где все скопировано точь-в-точь, будто снято фотоаппаратом, а правды в них с гулькин нос, все вдоль и поперек выдумано, напридумано?

Ох, тяжелая задача то, что называется «писать».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЧИ И ПОСТУПКИ

Французский драматург Анри де Монтерлан — трагическая сложная фигура, большой художник, человек, заболевший идеей, будто старик в последние дни своей жизни должен встречать смерть один на один, как в свои первые мгновения ребенок встречает жизнь. И согласно своей теории он сел как-то вечером в 1972 году у письменного стола и пустил себе пулю в висок…

Анри де Монтерлан однажды, прочтя на случайно попавшей ему в руки книге стихов эпиграф «Гражданская война — лучшая из войн, ты знаешь, за что и за кого убиваешь… *Монтерлан»,* схватился за голову:

— Караул, это же не мои слова! Это герой мой так сказал! Теперь мне каждый прохожий на улице может бросить в лицо: ты велишь убивать! Хочешь войны!

Сколько непосильной ответственности лежит, к сожалению, на слабых, всегда усталых плечах писателя. Рассчитывайся, плати! Не только за то, что ты сам делаешь и говоришь, но и за речи и поступки всех твоих героев, всех твоих персонажей.

Получай за их добрые дела и плати за их дурные дела.

Если ты, художник, хочешь все-таки ускользнуть от этой ответственности, плати слепотой (не замечай, что происходит вокруг тебя), плати глухотой (не слушай, что волнует окружающих), изображай что полегче, что само плывет в руки, и плати тем, что ты больше не художник.

«Художник, — замечает, кстати, Монтерлан, — страдает тогда, когда не страдает».

И еще кое о чем задумываешься по этому поводу. Если слова эпиграфа, приведенные выше, принадлежат даже не автору, а его герою — они все равно его, создавшего эти слова. Они долго вызревали у него в душе, где-то между сном и бодрствованием.

И поэт правильно поставил под эпиграфом не имя персонажа, который эти слова произнес, а имя художника, который эти слова создал.

СОВЕТЫ

Про «Письма к незнакомке» Андре Моруа моя соседка, обыкновенная читательница, сказала:

— Советы… Дельные советы!

Я не мог удержаться от смеха. От смеха с привкусом горечи.

Виртуозный эссеист, безукоризненный стилист — проницательность, тонкость, жизнь, боль, исповедальность, острый французский ум — и… «советы».

Не больше и не меньше.

Дельные советы.

Если можно от такой литературы подобным образом отмахнуться, что же тогда делать с твоими сочинениями?

На душе скребло. Понемножку наскреблись слова утешения:

«А может, эта обыкновенная читательница права? Может, моей соседке небеса подсказали самые точные слова? Грубо говоря: что такое, в конце концов, литература, если не подспудные, весьма тактичные, благородно-сочувственные, едва заметные, умные и честные советы?»

Позже «выскреблось» и того чище. Как же быть с твоей литературой? С той литературой, которая, как старик, что вот-вот угаснет, чувствует вокруг себя кривые усмешки избалованно-отчужденных внуков:

— У тебя, дедушка, советов не спрашивают!

УА… УА…

Читатели любят допытываться, к о г д а писатель начал писать. В этом «когда» кроется подчас и «почему», а возможно, и «для чего».

Писатели не всегда отвечают одинаково. Я и сам, когда задаю себе этот вопрос, отвечаю каждый раз иначе.

Трудно сказать, о чем ты думал и думал ли ты вообще о чем-нибудь в самом-самом начале. Проще, естественнее ответить то, что ты думаешь сейчас, в ту минуту, когда тебя спрашивают. Но кажется, что ты и тогда так думал.

И еще одно я заметил: я не только отвечаю всякий раз иное, но и отодвигаю это «когда» все дальше и дальше… назад.

В прошлом году, на вечере, я рассказал историю, которая со мной случилась в раннем детстве. Я тогда ходил во второй или в третий класс. Был я тогда худощавым черненьким мальчиком и носил тужурку с клапанами на двух верхних карманах. Однажды у кого-то пропал пенал. Учитель взял на подозрение весь класс, требуя, чтобы «вор» признался и сам вернул похищенное. Я вспоминаю, что сидел без кровинки в лице и мне казалось, что учитель смотрит только на меня. И в самом деле, думал я, почему

бы ему не подозревать и меня? Потом, когда он начал обыскивать всю ребятню и меня тоже вызвал к доске, я, как виноватый, стоял с опущенными глазами, сердито насупившись, чувствовал, что рядом совершается что-то неприглядное, несправедливое, и внезапно пальцем стал писать на клапане верхнего кармана. Своей обидой я исписал весь клапан. И мне как-то легче стало… Возможно, это были первые мои строчки.

— Позже, в последующей жизни, — рассказывал я, — мне не раз приходилось писать на клапанах карманов. Но это уже другой разговор.

Кто-то рядом заметил:

— Надо бы писателям такие карманы издавать!..

Но это уж тем более совсем другой разговор.

Недавно моя старая мама рассказала мне случай, который произошел, когда мне было всего четыре недели и я лежал распеленатый в люльке.

Женщина за восемьдесят рассказывает своему сыну — а он тоже не мальчик: стукнуло шестьдесят — историю, приключившуюся с ним, когда ему было двадцать восемь дней:

— Я подметала комнату, а ты лежал в люльке, задрав ножки и ручки, и ангелы с тобой играли… Вдруг я слышу: «У-а! у-а!..» Понимаешь — первый ребенок и в первый раз заговорил! Я позвала бабушку, сдернула с себя фартук и побежала на улицу искать отца… «Бросай все скорее, Ицик, — кричу ему, — и пойдем домой, там ты кое-что услышишь!»

Мы оба запыхавшись кинулись к люльке — ты лежишь, дрыгаешь ножками, смотришь вверх, на потолок, и молчишь. И вдруг снова: «Уа-а-а! У-у-у…»

Тебе надо было бы видеть лицо отца. Мы потом прожили такую долгую жизнь. Отведали и горького, и сладкого: больше, конечно, горького, чем сладкого… Но тогдашнее лицо отца всегда стояло у меня перед глазами. И сейчас, после стольких лет, я вижу его. К чему я тебе все это выкладываю, а?..

Я и сам не знаю, к чему она мне это рассказала. Знаю только, что потом надолго задумался о моем изначальном «у-а… у-а-а!..» и счастливом лице отца.

Может быть, это и была моя первая строчка? Думаю, что так и не так. И боль, и обида могут вызвать к жизни первую строчку. И только первые строчки могут вызвать такую радость и такое счастье.

По крайней мере, у отца с матерью.

ОДНИМ СЕРДЦЕМ

Мы трое говорили по-русски с тремя разными акцентами.

Учительница истории Урбалина Петровна может многое рассказать о первых фашистских бомбах, обрушившихся на испанских детей. О тогдашней встрече этих детей с жителями Ленинграда, о детском доме в Крыму, о Московском университете.

Флорика Беженару, молодая женщина — директор школы, подала к столу пироги, разливала чай по стаканам. Мы сидели у нее в комнате. С чайником в руке она продолжала рассказывать, как девочкой бегала босиком в школу. Ну совсем босиком. И как однажды школьный инспектор велел детям показать пятки.

— Говорят, — смеялся он, — что в Бессарабии люди рождаются удачливыми — с готовыми ботинками на ногах. Ха-ха…

Я рассказывал о своем местечке. Одна четверть жителей страдала от скуки, а три четверти — от голода. Я вспомнил о первом конспиративном письме, которое получила молодежь местечка, о том, как мы — несколько юношей и девушек — сгрудились у закопченной лампы. Писал нам из областного центра подпольный Коммунистический союз молодежи. Как будто чистый листок бумаги. Но когда мы посмотрели его на свет, начали проступать буквы: «Товарищи!..»

Потом зашел разговор о литературе. Флорика сказала:

— Да, короткие рассказы, а такие емкие. Рассказы Чехова я люблю читать дважды: первый раз, чтобы почувствовать красоту рассказа, второй — его глубину.

— А наоборот не бывает?

— Бывает. Вначале поражает глубина, а после проникаешься красотой.

Трудно отделить у Чехова одно от другого.

Потом на мой вопрос Урбалина Петровна ответила:

— Читала. Конечно, читала: «Тевье-молочник», «Мальчик Мотл…»

Тем временем Флорика Беженару достала из своего книжного шкафа новое издание «Дон Кихота», и мы долго разглядывали его.

Потом я и Флорика перелистывали Крянгэ, и Урбалина попросила:

— Почитайте, пожалуйста, немного вслух.

— Разве ты поймешь?

— А вы мне будете переводить.

Мы произносили русские слова с тремя разными акцентами, что не мешало нам говорить и о Чехове, и о Шолом-Алейхеме, и о Сервантесе, и о Крянгэ — говорить одним языком — языком

сердца.

ЯЗЫК И КРАСИВОСТИ

Мне хочется снова и снова задуматься над этим непостижимым чудом, великой тайной, которая называется «человеческий язык».

Над загадкой, такой же, как однажды привидевшееся и постоянно повторяющееся сновидение.

Бог мой, почему я ни от кого не слышу, что именно язык — самое прекрасное творение из созданного людьми — с тех пор, как человек стал человеком!…

Единственное, ни с чем не сравнимое. Возникло из небытия и осуществилось — как сотворение мира. Чудо, повторенное тысячи тысяч раз и всегда новое, как рождение человека.

Никто не может дать точный ответ, каким же образом это происходит. Единственное произведение, которое создается незаметно, таинственно, тихо. Даже более таинственно, чем зачатие ребенка. Единственное творение, создатели которого — все.

«Вначале было слово». Принято считать, что словом творец создал небо и землю. Но как же возникло само слово? Кто же сотворил говорящего творца? Об этом в священных книгах ни гугу. Теперь-то мы проникли в эту тайну: вначале было слово, но — после человека. Не бог создал слово. Слово создало бога. А самое слово создается и создается постоянно, до сих пор. Одно поколение приходит, другое уходит — и слово рождается заново и передается дальше от поколения к поколению. День за днем, миг за мигом — сотни и тысячи лет.

Господи! Как же не чувствуют, что когда о языке говорится «инструмент человеческой речи», это унижает творчество, изгоняет простого человека, простого Адама из рая искусства?

Прислушайтесь хорошенько к языку. К повседневной речи любого человека. Вы слышите, как все в ней играет? У каждого слова свой звук и свой смысл, своя неровность, своя особость, своя складка. Все пригнано одно к другому. Лишнее слово — не лишнее. Все естественно и закономерно. Как прожилки на зеленом листке, как на ветке трель певчей птицы.

Произведение искусства, которое, как воздух, никто не может осязать. Музейный бокал — но из него вне стен музея пьет каждый. Единственное произведение искусства, творимое из ничего. Никто из нас не может сказать определенно, кто автор. Автор всюду среди нас и каждый из нас.

А что же исследователи языка — филологи, лингвисты?

Они сколачивают рамку для произведения искусства. Пусть рамку позолоченную, но все-таки рамку. Они берут певчую птаху на ладонь, прощупывают все ее косточки, дают имя каждой прожилке, приглаживают взлохмаченный хохолок, причесывают торчащие перышки и преподносят ее нам, аккуратную и прибранную — в клетке. Пусть в золотой, но в клетке.

А мастер слова — писатель?

Конечно, его можно назвать создателем высокого словесного искусства, если так уж необходимо называть. Конечно, вначале было слово. На устах у поэта. Первые слова создал именно поэт, хотя никто его не называл поэтом. Вслед за ним все начали эти слова произносить, нести дальше, выдумывать новые. Пусть про каждое произведение искусства, которое творит народ, говорят «создано всеми», но создает-то все равно один. Один — здесь, другой — там, один сегодня, другой завтра. Невидимые и безымянные создатели — поэты.

Мастер слова — писатель так, однако, увлечен этим чудом, которое называется «язык», так влюблен в словотворчество, что иногда перегибает палку. Он хочет вложить в слово слишком много красоты, как можно больше. Он щебечет с певчей птичкой, балует ее и подчас повязывает ей шейку бантиком красивостей.

Из-за чрезмерной влюбленности писатель временами не чувствует, что искусство, которое создавали «все», не любит принаряжаться, не терпит щегольства, оно красиво и полно очарования в своей простоте и безыскусности. Он не замечает, как певчая птица клювом срывает бантик. Ее горлышку тесно в этих кокетливых путах. Бант иногда больше самой певуньи. Заслоняет естественную пестроту и пестроту естественности.

Примеров не счесть. Предположим, самое скромное украшательство: «медные косы». Простой человек, невидимый и безымянный создатель языка, никогда такой красоты не примет. Если и разрешит себе когда-нибудь банальность, так она будет добрее и щедрее: «золотые косы». Медь для него и есть медь: «медный грош», «медная кружка», а если и скажет образно, то образ будет такой силы, какая доступна только народу — «медный лоб».

Бог мой, не согрешил ли я в этих строках тем же самым грехом?..

МАМИНО СЛОВО

— Одна лишь Ханця никогда у меня не болела. Раз только рано утром встала какая-то не такая. Сидит на кушетке в своей рубашонке и хнычет. «Рейзл, — говорит папа, — дитя что-то не в

себе. Кто знает, может, хворь какая прицепилась…» «Ай, — отвечаю, — прости меня, но ты большой пентюх. Разве ты не видишь, что она сидит и смотрит, — говорю, — на фасоль?»

На столе стояла тарелка с холодной фасолью от вчерашнего супа. «Подойди сюда, — зову я, — Ханцеле! И мама тебе даст фасоли». Она подходит к столу, раскрывает рот, и две щербинки во рту разбегаются в разные стороны: у нее в это время менялись зубки. Я зачерпнула горсть фасоли, вложила ей понемногу в обе ладошки, и она стала пересыпать фасоль из одной ручки в другую — ручки у нее были кругленькие, пухлые — и так постепенно всю фасоль умяла, начала смеяться, озорничать и, благодарение богу, выздоровела…

Надо, понятно, прислушиваться к словам Шекспира, Толстого, Шолом-Алейхема, к словам Хемингуэя, но иногда не мешает прислушаться и к маминым словам.

МОЙ ПЕРВЫЙ КРИТИК

В Рашкове были тогда в ходу у молодежи два новомодных слова: «оптимизм» и «пессимизм». Когда один спрашивал другого: «Ты, например, кто: пессимист или оптимист?» — тот, разумеется, отвечал: «Оптимист!»

Куда же девать пессимизм? И вот я однажды сел и написал рассказ, и дал ему название «Пессимист».

На подростка лет пятнадцати — героя моего рассказа — обрушиваются всевозможные беды. Хозяин прогоняет его с работы, когда узнает, что герой мой левых взглядов. В местечке он чувствует себя одиноким, никто его не понимает, вдобавок мать умирает от чахотки. Короче говоря, подростком овладевают мрачные пессимистические мысли. Он поднимается на чердак и продевает голову в петлю.

Я взял рассказ и пошел с ним к Пейсе Вассерману. Пейся Вассерман служил механиком на мельнице у Мойши Корноса. Во дворе, в отдельной постройке, где работал мотор, стоял верстак с большим винтом, с бесконечным количеством точил и точилок. В помещении пахло маслом и керосином. Присесть было некуда — так все замызгано. Пейся в лоснящихся штанах вытер черные руки жирной тряпкой и велел мне читать. Когда я закончил чтение, он неторопливо раскурил самокрутку и сказал:

— Что ж, красиво. Неплохо написано. Но то, что ты своему парню стянул веревку на шее, ни черта не годится. Наоборот: если парню в голову лезет всякая блажь, он должен набраться сил, задрать нос и воскликнуть: «Ах, как здорово жить на свете назло всем палачам!..» А так он у тебя задрипанный пессимист, не

тот пессимист, который нам нужен…

Пейся Вассерман завершил работу, вымыл во дворе лицо, надел свою тужурку с четырьмя карманами, и мы вместе вышли немного погулять. Я шел молча. Что мне было еще говорить? Мне уже было совершенно ясно, что я должен изорвать, искрошить свой рассказ и крошки развеять по ветру, чтоб и духу от них не осталось.

На нашем горизонте появилась Женька — дочка Максима Лунгу. Женька Лунгу была самой красивой девушкой в Рашкове и в окрестностях Рашкова. Она шла нам навстречу с распущенными волосами в легком коротком платье и в ботинках на высоких каблуках. Она ступала, покачиваясь, как на пружинах.

Пейся Вассерман кивнул на Женьку и, раздувая ноздри, заметил:

— Ты только глянь на эти грудки — обрезаться можно!

Я не знаю, обращался ли он ко мне или таким образом объяснился с моим пессимистом, который, бедняга, в пятнадцать лет покончил с собой. Знаю только, что из-за этих нескольких слов я всю ночь не спал. Меня не столько огорчал рассказ, который я в тот же вечер действительно изорвал в клочья, сколько он, Пейся, считавшийся у нас самым сознательным и серьезным парнем.

Как же это Пейся после нашего разговора оскоромился подобными словами!

А когда я под утро наконец заснул, мной овладели кошмары. Мне снился Пейся — а рядом девичьи спины, бедра, грудки. И Пейся в ту ночь стал для меня «трефным», как для набожного еврея свинина.

Таким трефным, что дальше некуда.

СЛИШКОМ МАЛО И СЛИШКОМ МНОГО

Существуют писатели, поэты, которые написали две-три удачных вещи. Если бы к этим двум-трем удачным вещам прибавилось со временем еще несколько не уступающих им произведений, было бы ясно, что не произошло никакого чуда, ничего случайного. И из этих писателей, возможно, получилось бы что-нибудь путное.

И наоборот:

Существуют писатели, поэты, которые написали несколько удачных вещей. Если бы эти несколько удачных вещей остались единственными, не растворились бы в неистощимой «плодовитости», в которой их автор впоследствии захлебнулся, то, возможно, от этих писателей что-нибудь осталось бы.

Я говорю это не ради парадоксальности или оригинальности высказывания. Но потому, что подобные казусы я наблюдал своими собственными глазами, мог бы даже сказать, где и у кого.

Какой же выход? Золотая середина?

Думаю, что еще хуже. Писательство — такой же кровный враг слову «средний», как, например, словам: «нормально», «сносно» и еще нескольким десяткам таких же приличных слов.

Как больного ни положить, все равно не скроешь, что ему плохо, что ему больно… Что писательство — та же болезнь, конечно, можно оспорить. С тем, что писателям не так уж сладко живется, не каждый согласится. Но что писать больно, признает из стыдливости даже тот, кто при этом занятии никакой боли не испытывает.

Даже в своей левой пятке.

ЧИТАТЕЛИ

Большая литература должна, конечно, служить массовому читателю, миллионному читателю, как говорится.

Без этого о большой литературе и речи быть не может.

Вместе с тем большая литература, которая служит миллионам читателей, должна включать в себя нечто для сотен читателей и нечто для десятков читателей и нечто для одного… Для считанных читателей.

Без этого о большой литературе и речи быть не может.

РУКИ И НОГИ

Человек без детства — но такого ведь не бывает — так выразимся определеннее, яснее: писатель, в произведениях которого нет его детства, подобен нищему калеке без обеих ног на коляске с четырьмя железными колесиками под плоской платформой — вы, разумеется, такую низенькую коляску видели на старом рынке.

Образ, конечно, «художественный», даже скульптурный. Бюст, высеченный из мрамора или из бронзы. Но все же это убогий калека, инвалид, полчеловека.

У литературы должны быть ноги. Она должна на что-то опираться. Должна стоять и ходить.

СОЧНОСТЬ И ЦВЕТ

Несколько лет назад будучи в Киеве, я позвонил весьма уважаемому литературному критику и литературоведу, спросил

как обычно:

— Что у вас нового? Как дела?

— Дела как сажа бела, — ответил он мне. — Уже неделю из дому ни ногой. Лихоманка напала, и не спрашивайте: дохаю да чихаю…

Этот разговор навел меня на такие размышления: литературная критика, эссеистика, публицистика, за что вам такое наказание, почему вы обделены тем образным народным языком, не пропитаны теми языковыми соками и красками, которые живут в тех, кем вы занимаетесь?

Я недавно перелистывал старые издания материалов о Черновицкой языковой конференции. Шолом-Алейхем, как известно, на эту конференцию не смог приехать. Он лежал больной на станции Барановичи. Свои соображения об языке идиш он прислал в Черновцы в письменном виде. На конференции в речах Шолома Аша и Переца переливались соки и краски, составляющие очарование и мудрость национального языка еврейского народа. Я имею в виду, конечно, не мысли о языке в этих речах, но самый язык, которым эти мысли были выражены. Что язык этот глубок, богат и органичен для народа, доказать очень просто — высказываясь глубоким, богатым, органичным народным языком. Когда мы перелистываем сейчас, отдаляясь на семьдесят лет, все, сказанное тогда на конференции в Черновцах, мы видим, что «документ», который исчерпывающе доказывает эту мысль, — единственное письмо Шолом-Алейхема. Точно не он, Шолом-Алейхем, а весь народ с помощью его письма пришел и высказался. И доказал.

Шолом-Алейхем в своем письме говорит о тех же вопросах языка, о тех же проблемах жаргона, о которых бубнят все кому ни попадя. Его письмо — не беллетристика. Скорее чистая публицистика. Но не поленитесь заглянуть в него. Шолом-Алейхем пишет о народном языке тем языком, которого требует народный язык. В течение почти тысячи лет народ обогатил так называемый «жаргон» живительными соками и разнообразием красок. Где-то красоты прибавил, где-то убавил. Все перемешано, перетолковано, перепахано и снова засеяно. Письмо Шолом-Алейхема свидетельствует, что за тысячи лет не только взошел новый национальный еврейский язык, но долгое время оставался единственным живым еврейским языком.

Язык — не наука. Язык — искусство. Язык — торжество фольклора. Народное творчество.

Я размышлял: литературная критика, эссеистика, публицистика — вы ведь тоже, кажется, ветви искусства, жанры искусства. Почему же вы не в силах принять этот дар — образный

народный язык?

Почему те, кто творят вас, не могут впрыснуть в свои создания те же соки и краски, ту же кровь, которые живут в самих пишущих?

По крайней мере.

ТРИ ЗВЕЗДОЧКИ И ЗАНАВЕС

Когда-то одну главу от другой отделяли черточкой, звездочкой или даже тремя звездочками. Теперь это считается старомодным. Между одной главкой и другой ничего не ставят. Просто отступают на строчку.

И что же? Пустая строчка между главами и в самом деле пуста. Черточка или три звездочки что-то содержали в себе, о чем-то говорили. Просили читателя немного задержаться, перевести дыхание, прибавить что-нибудь от себя.

Пустая строка остается пустой и не говорит ничего.

Как через всякую пустоту, мы через нее торопливо перепрыгиваем. Читая некоторые произведения, даже невзначай подумаешь: к этому «так мало сказано» не грех присовокупить и еще чуточку «ничего не сказано».

Почти то же самое происходит в театре. Часто мы видим дань современным веяниям — входящих в театральный зал встречает сцена без занавеса. Эта свобода от условностей, открытость — хоть она только внешняя, поверхностная, всего лишь разновидность декорации, отнимает, однако, у публики, прежде чем что-либо на сцене произойдет, чудо театра, нечто таинственно-внезапное. Любопытство к тому, что сокрыто, что происходит там, по ту сторону занавеса. Действия спектакля кончаются как бы незаконченными. Занавес не может «шумно упасть» и не может «медленно опуститься». Нагота сцены не волнует, как не волнует нагота на пляже — заданная нагота.

Я не представляю себе, чтобы театральные режиссеры этого не понимали.

Однако я отлично себе представляю, что «модерновость» может быть выше всякого понимания.

Вот я поставил черту. Одному нравится небесно-романтическая звездочка, второму любезней по-земному простая черточка. Третьему нравится «ничего». Мне по душе черточка.

Если кто-нибудь, однако, решит, что я пишу эти строки, ратуя за старомодность и воюя с «модерном», я заранее этому «кое-кому» выражаю свое сочувствие…

КАК СКАЗАЛ БЫ ОМАР ХАЙЯМ

Ну что поделать, раз судьба такая:
Не подобает так не подобает.
Коль благостной причины не найдешь,
Ты согрешить не сможешь ни на грош.

КРУПИЦА ВЫСОКОПАРНОСТИ

Иногда нам трудно обойтись без крупицы высокопарности. Если это в тех случаях, когда душа наша воспаряет, трепещет сильнее обычного, — нам этот грех простят.

Если же не воспаряет и не трепещет — все-таки некоторое разнообразие в нашем бедном мире.

ДИДАКТИКА

Все, все без исключения — мои учителя, мои меламеды.

Давайте не бояться этого обруганного слова «дидактика».

Давайте не бояться правды.

Разница между плохим писателем и хорошим писателем не в том, что один тебя учит, а второй не учит.

Разница такая: плохой писатель учит указкой, плеткой, оплеухой или, напротив, тем, что гладит по головке.

Хороший писатель учит намеком, взглядом, душой, светящейся в глазах.

Даже лучший из лучших, величайший из величайших — Гёте — в последние мгновения перед смертью произнес:

— Света. Больше света!..

СТИХИЯ

Читаю коллеге свою новую повесть «Его величество Столяр». Вижу, коллега моргает, морщит лоб. Я больше не отрываю взгляда от рукописи. Только слышу, как он вставляет:

— Вот это да!.. Тут ты даешь… Здесь ты в своей стихии!

Эх, дружище, если бы ты знал, скольких бессонных ночей, скольких колик в животе, скольких сомнений и разочарований, скольких правок и вставок, скольких мук стоила мне эта стихия…

МЕДИТАЦИЯ О МЕДИТАЦИИ

Поэт Иосиф Ролник пишет в одной из своих миниатюр-медитаций:

— Умный с простаком должны были перейти через узкую речку. Простак упал в воду, а умный по нему, как по мостику, выбрался на берег.

Ролник был поэт божьей милостью. Но жил он в другие времена, в другой среде и сам, похоже, был другим: слишком тихим, слишком терпимым к мировым катастрофам, слишком Бонце-молчальником в требованиях к жизни.

Его скорее привлекал «простак», чем «умный». Себя самого видел он таким «простаком».

В наше время больше бурь, трагизма, подвижничества.

Настоящий поэт, разумеется, не может не быть «простаком», он не может, однако, не быть одновременно и «умным».

Мысль Ролника следовало бы несколько переиначить:

«Поэт, то есть умный вместе с простаком — должен был перейти через узкую речку. Простак упал в воду, а умный перешел по нему, как по мостику».

Падая, самого себя превратить в мост, пройти по самому себе — только так можно выбраться на берег, преодолеть воды.

Хоть в наши времена эти воды — совсем не узкая речка.

РУЖЬЕ НА СТЕНЕ

Когда в начале рассказа на стене висит ружье, в конце рассказа оно обязано выстрелить. Если не так — ему незачем висеть.

Во всяком случае, так учил нас Чехов.

А если иначе, размышляю я, в начале повествования ружье висит на стене, а в конце вовсе и не выстреливает? Может, и нет в этом греха?

Чтобы все-таки не противоречить Чехову, надо во втором случае иметь в виду не маленький рассказ, а большой.

Короткая вещь, новелла, знакомит нас преимущественно с одним жизненным эпизодом. Большая вещь дает кусок жизни целиком. Но разве можно в обоих случаях рисовать жизнь без быта? Без мелких, даже совсем незначительных деталей? Просто так, без особого повода. Просто потому, что они есть в жизни, хоть в этом конкретном рассказе определенной роли не играют.

Как можно изобразить внутреннюю стену дома, пренебрегая предметами, которые висят на ней? Даже без особой нужды для рассказчика. Просто для непустоты, небезжизненности изображаемой стены…

Висит на ней ружье, пусть и висит себе. Висит и ржавеет.

Честное слово, это даже лучше, если ружье не выстрелит.

СТРОЧКА ПРОЗЫ

Проза, по многим утверждениям, — тоже поэзия. Но я считаю, что проза чем-то больше поэзии. Если не больше, то во всяком случае — самая высокая поэзия.

И в прозе есть определенный ритм, так же как в стихе. Свой ритм, своя мелодия, даже рифма. Рифма — внутренняя, скрытая. Чтоб естественность не стала противоестественной. Чтобы, упаси боже, ни на волосок не повредить правде. Правде жизни, правде прозы.

В поэзии нет той безыскусной разговорности, художественной безоглядности, как в строчке прозы. Щедрости говора, и в то же время сдержанности, скупости, чтобы не взять тоном выше. Чтобы прекрасное, высокое слово не начало звучать высокопарно, чересчур красиво. Чтобы в слово, упаси бог, не прокралась фальшивая нотка.

Возьмем, к примеру, такой прозаический отрывок:

«Страх против страха — один против другого два повздоривших козленка на узком мостике через бурную реку».

Не только каждое слово — каждый звук выразителен, красноречив, — занимает свое место не произвольно, не случайно: он там, где он должен быть.

«Страх против страха» — звуки Р скалят друг на друга зубы. «Два повздоривших козленка» — З — это их острые рога. Звук У в «узком мостике» делает этот мостик еще у́же, обрывистее — вот-вот козлята угодят в воду. В «бурной речке» бурлят и брызжут звуки Р.

Где я нашел эти строчки, говорить не буду. Пусть читатель сам на них наткнется.

ПЕРЕВОД

Когда пересаживают художественное произведение с одной почвы на другую, на переводимом появляются горбики, наросты — здесь горбик, там горбик. Чем талантливее перевод, тем больше горбиков.

(Читатель пожмет плечами. Это парадокс. Что-то здесь навыворот. Видимо, только художнику дано понять, в чем тут дело. Это одна из тех тайн искусства, у которых нет разгадки. Тайна навсегда останется тайной. Читателю не привыкать стать — пусть и на этот раз поверить на слово.)

Хороший переводчик, переводчик-художник, так же как,

скажем, портной-художник, обкладывает горбики ватой, оттого, я полагаю, и горбики исчезают. Во всяком случае, не бросаются в глаза.

Горки ваты на ровном переводе восстанавливают холмистую прелесть и естественность оригинала.

Плохой переводчик, переводчик-калека, возможно, и знает, что надо делать, не исключено, что теория ему известна, ему недостает, однако, крохи того, как это надо делать, капельки таланта.

Он тоже орудует клочьями ваты, но накладывает их не вокруг, и не рядом, а на самые горбики.

И горбики превращаются в большие, нелепые горбы. Торчат сзади и спереди. Рождается урод. Без гармонии и обаяния, без души и тела, без божьей благодати.

ТАК ЭТО ПРОИСХОДИТ СО МНОЙ

Когда я не пишу, когда мне не пишется — я ничто. Любой пигмей больше, чем я. Самому негодящему лучше, чем мне.

Любое ничтожество может на меня накричать. Я этот крик проглатываю. Он прав. И его крик прав.

Я хожу как в воду опущенный, состарившийся. Разыгрываются камни в желчном пузыре. Я бегаю по врачам. Болезнь не просто болезнь — это оправдание перед самим собой, утешение, единственное спасение.

Все, что я в своей жизни до сих пор написал, не в счет. Хотя, если судить здраво, мысль о сделанном могла бы утешить. Нет. У меня все наоборот: от этого мне становится еще мучительнее, еще тяжелее.

Стоит в таком состоянии сесть за стол, попытаться работать — тут уж совсем никуда: на меня обрушиваются небо и земля. Я сижу и маюсь, сижу и стенаю. Мука мученическая, но все-таки вожу пером.

Так чувствует себя ребенок, только что начавший ходить. Шаг — миля. От стены до стены — тысяча миль. За что бы ухватиться? Лужица — море. Ступенька — пропасть. Кто услышит твой лепет? Кого твой крик сдвинет с места?

Зверёк-сомнение, который, как известно, частенько усаживается против пишущего у письменного стола, сверлит меня ехидными глазками, прыгает прямо в лицо: разве у тебя что-нибудь получится? И что, собственно, должно получиться? В силах ли твоя гортань издать хоть один новый звук, которого мир до тебя не слышал? Поднесешь ли ты к пустому гнезду хоть одно зернышко в клюве, один листочек заблудившемуся кораблю?

Я стенаю — но сижу. Терзаюсь — но пишу. И когда мне удается наконец перебраться через лужицу, оказаться на другом берегу и перед глазами мельтешат дорожки, проложенные мной: испещренные буквами абзацы, вычеркнутые строчки, а над ними вставки, слова замененные, изъятые, одно над другим, как лесенка, ведущая вверх, к тому единственному слову, которое должно остаться незачеркнутым; строчки расползшиеся, уголки, клинья между строчками; и когда я принимаюсь проложенные дорожки шлифовать, обдувать, наводить глянец; когда испещренные страницы отстукиваю на машинке и вижу перед собой результат ворожбы, который называется «чистая рукопись», углубляюсь в нее заново, привыкаю к ее колченогости и начинаю думать, что я худо-бедно выровнял гору, открыл новый кусочек суши, — только тогда я понемногу распрямляюсь, становлюсь выше и стройнее, стройнее и выше.

Зачем мне врачи? Откуда они взяли, что сердце мое слегка пошаливает, печень немного вздута, желчный пузырь набит камнями?

Я лечу. Вверх, вверх. Радость несет меня на крыльях. И снова опускаясь на твердую землю, даже воинственность обретаю. Ни на одну свою мозоль я больше не позволю наступить. Но к чему ссорится, да и с кем? Все, до сих пор казавшиеся недругами, представляются мне лучшими друзьями. Неблаговидные поступки стираются, обиды превращаются в благодеяния. Сводить счеты? Мне? На столе законченная рукопись — теперь дело за ней: возмущаться там, где надо, благословлять того, кого надо. Теперь все она сама. Я свою миссию выполнил.

И когда выношенное и наболевшее уже публикуется — что же? — я нормальный человек. С женой и с ребенком. С заботами о воспитании детей, с необходимостью бриться по утрам, с книжными шкафами, телевизором и собачкой у порога. Человек как человек.

И все начинается сначала.

СКОЛЬКО ПИСАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЖИТЬ

Это я спрашиваю о себе самом. И спрашиваю у самого себя.

Через некоторое время стукнет пятьдесят лет с тех пор, как я напечатал свой первый рассказ в пролетарском журнале «Сигнал».

Чему я как писатель больше всего научился за такие долгие и совсем короткие пятьдесят писательских лет?

Лучшие произведения даже у самого крупного художника — те, которые замешены на собственной жизни.

В собственной жизни художнику досконально известны и

требуют воплощения в необходимой художнической манере все тайное тайных, все заблуждения, плутания, весь смех и весь плач, все признания и все умолчания. Самые широкие ворота и самые узкие щелки. Все лица и все маски. Все закруты и все раскруты.

Как новеллист я еще кое-чему научился за пятьдесят лет работы. Но самые значительные создания в литературе все-таки, без всяких исключений, широкие полотна, эпические произведения. Хочет новеллист с этим смириться или не хочет.

Сейчас, в позднее ночное время, я сижу за столом. И говорю только с собой одним. И себя самого могу я — дело уже к старости — в этот поздний и тихий ночной час не обманывать.

Десятки и сотни новелл, чуть побольше и чуть поменьше, в том числе и совсем короткие вещи мои — не более чем искры, брызги. Могучий огонь еще не пылает в них. И сильный свет не разливается вокруг этих, пускай даже сверкающих огоньков.

Точнее, правдивее, глубже, трагичнее и радостнее, вернее исторически и даже, решимся сказать, долговечнее замес в моих объемных вещах: в двух романах — «Семнадцатилетние» и «Далее» — и в большом рассказе «Кантор и его певчие».

И когда я пытаюсь подвести некоторые итоги, я вижу, что во всех этих трех самых значительных вещах моих едва представлена моя жизнь до этих пятидесяти лет, когда я напечатал свой первый рассказ.

Сколько же еще пятидесятилетий мне нужно, чтобы выразить на бумаге все, что пока есть во мне? Все, что, возможно, останется ненаписанным.

Я утешаю себя: а не обычный ли это знак писательской судьбы, естественный и неизбежный писательский удел?

ИНТЕРВЬЮ

Собственно, мои «литературные миниатюры» отвечают на воображаемые интервью — интервью, которые я беру у себя самого.

Известные писатели, разумеется, дают такие интервью. Как им пишется. Когда начали писать. Для чего пишут. Как они понимают искусство вообще. Каким традициям следуют, под чьим влиянием находились. Что думают про то и про это, и так далее, и тому подобное.

Никаких интервью, я знаю, никто у меня никогда брать не будет. А отвечать хочется — прямо язык чешется. И я сам себе задаю вопросы и называю свои ответы «литературными миниатюрами».

И еще кое-что. Я не люблю спешить. На вопросы интервью

надо отвечать быстро, не задумываясь. Я же ответы слегка растягиваю во времени. Мою первую литературную миниатюру в стихах под названием «Словно камень в руке скульптора» я опубликовал в апреле 1936 года. Теперь уже, слава богу, апрель 1986 года.

Пятьдесят лет.

И я еще не на все вопросы ответил.

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Марине

Оба — люди в возрасте. И вдруг однажды поздним вечером она обнаруживает у него новый талант. Да, было уже довольно поздно.

Они лежали в постели. Телевизор еще работал. Пел эстонский хор, знаете, из тех, самых больших эстонских хоров, и о н этому хору подпевал: дидл-дадл-дидл-дадл…

— Ну и красота, — восхитилась она, — как это у тебя замечательно получается, заслушаться можно…

Она тоже попробовала подпевать хору, но язык ее, верно, от волнения, путался во рту, «дидлы» цеплялись за «дадлы», будто клеем склеены, попробуйте когда-нибудь сами — поймете, каково это.

— Ну-ка, еще раз… еще, еще! — подначивала она его и сияла от блаженства.

— Дидл-дадл-дидл-дадл-дидл… — выводил он на все лады, будто не гортань у него была, а свирель, и лицо его тоже сияло.

И снова она обнаружила у мужа, как когда-то, как в незапамятные времена, новый талант… Недаром рашковские кумушки твердили:

— Ой, эта глупая любовь. До чего доводит…

Пер. Е. Аксельрод.

notes

Примечания

1

Перец Ицхок Лейбуш (1851—1915) — еврейский писатель, классик еврейской литературы.

2

Штейнбарг Элиэзер (1880—1932) — еврейский писатель, баснописец.

3

Мангер Ицик (1901—1972) — известный еврейский поэт.

4

Друцэ Ион Пантелеевич (р. в 1928 г.) — молдавский советский писатель.

5

Росин Самуил Израйлевич (1890—1941) — еврейский советский поэт.

6

Иоффе Юдл (1882—1941) — еврейский советский писатель.

7

Кульбак Мойше (1896—1940) — еврейский писатель.

8

Бергельсон Давид Рафаилович (1884—1952) — еврейский советский писатель.

9

Шомер (Нохем-Меер Шайкевич) (1849—1905) — еврейский писатель, автор множества популярных в 80-е годы прошлого столетия бульварных романов.

10

Шимеле Сорокер — герой комедии Шолом-Алейхема (1859—1916) «Крупный выигрыш» (1915).

11

Дайен — раввин-судья.

12

Стрефниться — нарушить запрет (трефное — запрещенное для еды).

13

Халеф — специальный клинок резника.

14

Бармицве — совершеннолетие, когда мальчику исполнялось тринадцать лет.

15

Казенный раввин — раввин, ведавший гражданскими делами (в отличие от духовного).

16

Слихес — отпущение грехов.

17

Рошашоно — Новый год.

18

Йомкипур — Судный день.

19

Хоймеле — никудышный.

20

Суке — легкая пристройка под открытым небом, в которую набожные евреи переселялись на осенние праздники в память о скитании по пустыне.

21

Эфшер — возможно.

22

Беленький чистый козлик — герой еврейской колыбельной песенки, символ счастья и удачи в жизни.

23

Швара — бечевка с нанизанными на нее листьями табака.

24

Обидные, похожие на цыганские, слова.

25

«Как бережет…» — название песнопения.

26

Гройсман — большой человек.

27

Куролапничка — торговка живой птицей.

28

Балемер — возвышение в центре синагоги.

29

Колнидре — вечернее песнопение в канун Судного дня.

30

Шадай — бог.

31

Шекер — ложь.

32

Мазлтов — поздравление, пожелание счастья.

33

Габе — помощник раввина.

Геморы — книги Талмуда.

35

Мехутн — слово, обозначающее родственные отношения между родителями супружеской четы.

36

Менделе Мойхер-Сфорим (1836—1917) — классик еврейской литературы. Сендерл — один из героев его романа «Путешествие Вениамина Третьего» (1878).

37

А. Гольдфаден (1840—1908) — поэт и драматург, «отец еврейского театра».

38

Иосиф Опатошу (1887—1954) — известный еврейский писатель, автор исторической трилогии «В польских лесах», посвященной национальному восстанию 1863 года.

39

Менделе Мойхер-Сфорим (Ш.-Я. Абрамович) (1836—1917) — классик еврейской литературы.

40

Бялик Хаим-Нахман (1873—1934) — еврейский поэт, писавший на древнееврейском языке и на идиш.

41

Дофтана — бывшая румынская тюрьма для политзаключенных.